PHILOSOPHY

Иван
ИЛЬИН

РЕЛИГИОЗНЫЙ
СМЫСЛ
ФИЛОСОФИИ

Иван
ИЛЬИН

РЕЛИГИОЗНЫЙ
СМЫСЛ
ФИЛОСОФИИ

PHILOSOPHY

Иван ИЛЬИН

РЕЛИГИОЗНЫЙ СМЫСЛ ФИЛОСОФИИ

ACT
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва
2003

УДК 1(091)(470)
ББК 87.3(2)6
И46

Серийное оформление А.Л. Кудрявцева

Текст печатается по изданию:
Ильин И.А. Путь к очевидности. — М.: Республика, 1993. — (Мыслители XX века)

Подписано в печать 5.05.03. Формат 84×108 $^{1}/_{32}$.
Усл. печ. л. 36,96. Тираж 5000 экз. Заказ № 1065.

Оригинал-макет подготовлен издательством «Фолио»

Ильин И.А.

И46 Религиозный смысл философии / И.А. Ильин. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. — 694, [10] с. — (Philosophy).

ISBN 5-17-019076-X

В настоящее издание вошли три наиболее значительных работы известного философа и политического мыслителя русского зарубежья И.А. Ильина (1883—1954), которые дают целостное представление о его философских, этических и политических взглядах.

УДК 1(091)(470)
ББК 87.3(2)6

© Оформление.
ООО «Издательство АСТ», 2003

РЕЛИГИОЗНЫЙ СМЫСЛ ФИЛОСОФИИ

ТРИ РЕЧИ
1914-1923

I

ФИЛОСОФИЯ КАК ДУХОВНОЕ ДЕЛАНИЕ

Всякий, кто любит философию, — а я обращаюсь мысленно к тем, которые ее любят, — наверное, не раз спрашивал себя, откуда это проистекает, как это слагается, что в философии такое бесчисленное множество разноречий, несогласий, неразрешенных споров, взаимных отрицаний? Отчего это философия, существующая более двух с половиною тысячелетий и признающая себя за некое высшее, лучшее, безусловно достоверное знание, — живет доселе в притязании на столь великое и с неопределенностью в своем существе? Приступающие к ее изучению нередко выносят и осуществляют убеждение в том, что именно творчество в распоряжении личного произвола и усмотрения; что философствование есть дело субъективного вкуса, личной склонности, личного настроения; что всякий философствует сообразно своим влечениям и симпатиям, и что никто не в праве мешать другому в этом занятии: ведь, все равно, общеубедительной истины нет, или, что (якобы) то же самое, она не находима, или во всяком случае *еще не найдена;* но, если бы даже ее вдруг нашли, эту единую, общеобязательную истину, самоё истину, то можно быть вполне уверенным, что она не встретила бы общего и полного признания. И вот, слагается успокоительная уверенность в том, что на наш век хватит сектантского духа в философии, что не иссякнет так скоро поток распрей и субъективистических построений, и что в этой сумятице мнений, в этом водовороте разноречий можно будет с успехом проложить себе путь к «ори-

гинальной» философской системе; ибо, как говорили еще софисты, истинно то, в чем ты сумеешь убедить других...

Всякая наука имеет свой особый предмет и судьба ее связана теснейшим образом со свойствами этого предмета.

Наука слагается тем легче и достигает содержательной и формальной зрелости тем быстрее, чем менее внутреннего напряжения и умения, чем меньше душевной и духовной зрелости надо для того, чтобы заметить и воспринять явление ее предмета. В этом отношении бесспорное преимущество имеют все те науки, предмет которых дан *внешним образом,* в чувственно-воспринимаемом виде «вещи» и «вещественности». Здесь, кажется, стоит только «взглянуть повнимательнее», прислушаться, измерить, сравнить одну вещь с другою — и вот уже первые начатки знания состоялись. Предмет, данный с самого начала в виде постоянно окружающей нас материальной или вещественной обстановки, доступен всякому, у кого есть достаточно досуга, интереса и желания для того, чтобы сосредоточиться на показаниях зрения, слуха и осязания, и далее на «бесхитростном» размышлении о воспринятом.

В этой чувственной данности, в этой внешней, телесной наличности того, что для начала признается «исследуемым предметом», есть некое великое преимущество, которого лишена философия. Опытное знание о вещественном мире имеет здесь некую гарантию того, что разногласия не будут бесконечны и безмерны по диапазону своих колебаний. Возможность апеллировать к легко осуществимому, повторному — если нужно, но постоянному — восприятию наблюдаемой вещи; возможность многократно справляться и проверять свои восприятия, утверждая наличность или отсутствие известных свойств у данного предмета, — эта бесценная возможность и ее сравнительно легкое осуществление облегчает и обеспечивает развитие естествознания. Волны субъективной фантазии, легкомысленного произвола и злокачественного уклонения — оказываются не в состоянии захлестнуть корабль научного познания. Ошибку зрения или слуха исправит повторное восприятие, эксперимент или, наконец, бесстрастная кривая, зачерченная измерителем.

Мало этого, в естественных науках прогресс и единство знания поддерживаются еще и угрозой возможных в

будущем роковых последствий, порождаемых ошибкою: кажется, что возопиют самые простые вещи, если их исказит или о них умолчит человеческое сознание. Здесь человечество не может и *не смеет* распустить энергию своего внимания, ослабить волю к верности знания, субъективистически исказить подлинное обстояние: *практическая расплата* приходит слишком быстро, обрушивается слишком нещадно, сметая с лица земли *самую жизнь* людей, допустивших ошибку или не исправивших ее. Знание о внешнем, вещественном мире ограждено как бы внутренним, естественным образом от того бедствия, под бременем которого страдает философия: *от разложения воли к предметной истине* и *от ослабления теоретической совести.* Здесь есть некий, беспощадно карающий перст: самое земное существование человека стоит в зависимости от его верного знания о внешнем мире и от технических умений, вырастающих из этого знания. Забывающему о требованиях теоретической совести, погрешающему этим против *духа,* материальная природа слишком скоро напомнит о том, что он сам существует на земле в виде тела, и если он не сумел познавательно господствовать над вещью, то он погибнет, подчиняясь недопознанным законам природы...

Эта предметная гарантия осуществляется далеко не с тою же силою и верностью в области гуманитарных наук именно постольку, поскольку они изучают не внешний, телесный состав человеческого существа, но внутренний, *душевный.* Здесь предмет, в его первоначальном виде, дан внутренно, т. е. уже не в виде пространственно-временной вещи, одинаково доступной многим, наблюдающим ее со стороны, но в виде субъективно-душевных переживаний, лично испытываемых, у каждого своеобразных и доступных каждому только про себя и для себя. «Душевное» — не пространственно, не протяженно, не материально, хотя оно и длится во времени и потому нередко описывается как «душевный процесс». Но этот процесс всегда *субъективен,* — это есть процесс или в субъективном сознании, или в субъективном бессознательном, так, что «душевное состояние» многих лиц всегда представляет из себя множество субъективных, личных душевных состояний. Для того чтобы уловить «душу» как предмет

научного изучения, недостаточно замечать и рассказывать то, что человек бесхитростно переживает; на самом деле здесь нужна гораздо более сложная и тонкая познавательная техника, и, с этой точки зрения, понятно, что психология и психопатология становятся научным знанием только в девятнадцатом и двадцатом веке, а социальная психология, психологическая история и философия доселе стоят еще под знаком научного сомнения. И в самом деле, как много еще в этих «науках будущего» — случайных догадок, верных предчувствий, неверных предвосхищений, несобранного и недоступного материала, не систематических, хотя, подчас, и глубоких интуиций...

Бесспорно, что эта трудная уловимость «души» как предмета исправляется несколько *практическими* опасностями и угрозами: ибо воспитание, душевное лечение и политика как деятельности, основанные на знании о душе, о ее «одинокой» и «общественной» жизни, несут в себе все-таки известные гарантии от чрезмерных уклонений познающего *ума* и некоторые побуждения к надлежащему напряжению познающей *воли;* люди, душевно измятые уродливым воспитанием; люди, бессильно присутствующие при душевном разложении близких, или далеких, но духовно дорогих индивидуальностей (Хельдерлин, Шуман, Ницше, Врубель*); политические правители, пожинающие плоды созданного их невежественными или порочными предшественниками духовного и нравственного разложения массы, — все эти люди, и мы сами, через знание о них, получаем практическое напоминание и действенный призыв к активности и бодрствованию нашей теоретической совести.

Но, несмотря на то, что гуманитарные науки не лишены некоторых практических гарантий от чрезмерных уклонений от истины; несмотря на то, что в них возможна и предметная проверка, — через подведение уклонившегося ума к строгому восприятию самого предмета, и практическая угроза — в виде горьких последствий, встающих в итоге познавательной лени или недобросовестности; несмотря на все это — как часто приходится здесь взывать к чистой и бескорыстной жажде знать истину как таковую исключительно ради того, что она сама по себе так прекрасна и что знание о ней самой по себе так радост-

но. Практический вред, проистекающий от ошибок в гуманитарных науках, слишком часто не возвращается на голову того, кто в них повинен; тяжелые последствия, созданные ложным учением о «душе», слишком легко распыляются в окружающей общественной среде, настолько, что бывает трудно доказать с наглядностью причинную зависимость между теоретическим искажением и практическим бедствием. Уже в гуманитарных науках требования теоретической совести, во всей их чистоте и силе, могут оказаться в душе исследователя *единственной* гарантией научного уровня.

Не подлежит никакому сомнению, что требования теоретической совести и вытекающее из них чувство ответственности должны лежать в основании *всякого* научного творчества как такового; это определятся самым основным заданием, самою единою и единственной целью научной деятельности: *познать истинное,* т. е. уловить опытом и мыслью подлинное предметное обстояние. Ученый, который *не* имеет в виду этого задания, ученый, который работает не ради этого достижения, — есть своего рода трагический курьез или явление нравственного уродства. Бесспорно, практическая деятельность во всем ее разнообразии знает подобные и даже еще более резкие уклонения действующего от той цели, к которой он призван. Но, среди этих уклонений, самым тягостным по духовным последствиям и наиболее искажающим человеческую жизнь — является уклонение *священнослужителя, художника* и *ученого* от чистого и последовательного определения их деятельности содержанием их верховного задания. Эти люди, по самому положению своему, по роду того дела, которому они открыто и сознательно посвятили себя, стоят непосредственно лицом к лицу с тем *высшим, верховным жизненным содержанием, через которое жизнь человеческая вообще имеет значение и ценность.* Изъять из жизни человечества: живое Добро, которое священнослужитель раскрывает в форме религиозной очевидности; художественную красоту, осуществленную и осуществляемую в чувственно-реальных образах; и истину, открываемую в опыте научной очевидности, — значило бы превратить ее в сумятицу инстинктивных влечений и в судорожную, озлобленную борьбу за их удовлетворение. Жизненное дело

священнослужителя, художника и ученого есть труд, протекающий в непрестанном *предстоянии* высшему Предмету; их служение отличается от обычного жизненного дела именно *призванностью, непосредственностью* и *непрерывностью,* в которой они стоят пред лицом *последнего* и *безусловного,* пред лицом тех сфер, где кончается и отмирает все «только человеческое» и где открывается подлинное духовное и *божественное* обстояние.

В повседневной житейской суете, в погоне за личной удачей и за удовлетворением инстинктивных влечений — в их примитивном или слегка приукрашенном виде — все это забывается с чрезмерной легкостью, и сознание людей, незаметно привыкающее к известному уровню разложения и порочности, изумляется и негодует только тогда, когда замечает деяния, из ряда вон выходящие. Процесс обыденной жизни вырабатывает «скрытые» и «терпимые» формы искажений, и только в минуту острого нравственного отрезвления перед человеком встает въяве их сущность и их значение. Если священнослужитель мертв в молитве и корыстен в обряде; если художник льстиво служит своим и чужим больным страстям; если ученый слагает выводы в угоду толпе или силе и непредметно приспособляет научное творчество, — то значение этих явлений имеет всегда трагическую глубину. Те люди, которые, по самому основному делу своей жизни, стоят ближе всего к живым истокам *духовной значительности;* которые взяли на себя непосредственное служение раскрытию и осуществлению самого добра, самой красоты, самой истины; которые добровольно прияли на себя величайшее бремя и с ним величайшую ответственность, — эти люди, если они попирают требование *творческой совести,* являют по истине величайшее падение, ибо и высота их задания, и размер их ответственности суть величайшие.

И вот, если это сказано о всяком ученом как таковом, то к *философу* это должно быть отнесено с особенною силою и значением. Ибо, во-первых, философ, единственный из ученых, берет на себя разрешение вопроса о том, *что́ есть истина;* подобно священнослужителю, он стоит постоянно перед лицом *добра,* испытуя его природу и раскрывая другим испытанное; подобно художнику он

имеет дело с самою *красотою,* исследуя ее сущность и обнаруживая пути к ее осуществлению, узрению и уразумению. Так, теория познания раскрывает природу истины; этика исследует сущность добра; эстетика познает природу красоты. Во-вторых, философия как познавательное творчество, есть в особом и углубленном смысле *внутреннее делание* и притом такое внутреннее делание, предмет которого — и по сложности, и по значительности своей, и по неуловимости своей для какой бы то ни было внешней и механической проверки — требует особой, напряженной *душевно-духовной культуры,* особой остроты и чуткости *теоретической совести,* особой *чистоты ока и воли.* Философия, как никакая другая наука, стоит перед последними, самыми углубленными и утонченными, и притом самыми духовно-значительными проблемами; утверждать что-либо в этой сфере — есть дерзание, и философ, больше, чем кто-нибудь, должен помнить о размерах своей ответственности.

Философствование, как всякая познавательная практика, есть не внешнее умение или делание, но внутреннее; это есть *творческая жизнь души.* Однако это не есть просто душевное, но *душевно-духовное* делание. Душа не то же самое, что дух. Душа — это весь поток не-телесных переживаний человека, помыслов, чувствований, болевых ощущений; приятных и неприятных, значительных и незначительных состояний; воспоминаний и забвений, деловых соображений и праздных фантазий и т. д. Дух — это, во всяком случае, лишь те душевные состояния, в которых человек живет своими главными, благородными силами и стремлениями, обращенными на познание истины, на созерцание или осуществление красоты, на совершение добра, на общение с Божеством — в умозрении, молитве и таинстве; словом, на то, что человек признает *высшим и безусловным благом.* Этим различие между «душою» и «духом», конечно, не исчерпывается; но в пределах человеческого опыта оно начинается именно здесь. Дух это то, что *объективно значительно* в душе; и, философствуя, человек живет в сфере именно этих, объективно значительных состояний. Стать участником в духовном делании — значит, прежде всего, создать в своей душе необходимый уровень внутренней жизни, отсутствие

которого делает неизбежными совлечение и пошлость. Тот, кто создал в себе этот уровень, испытывает нечто, как *самое лучшее* и *высшее,* и поставляет его надо всем остальным; но он испытывает и сознает это лучшее, не как лучшее только *для него,* не как субъективно наиболее приемлемое, приятное, но как *объективно ценнейшее,* как объективно-главное; как главное не только для всех людей, но безотносительно, как главное и совершенное *само по себе* и *на самом деле,* так, что оно не может потерпеть ущерба в этом качестве своем даже и в том случае, если бы никто из людей не захотел признать его, или если бы все от него отвернулись и отвергли его совершенно. Это «нечто» испытывается притом как *бытие* или как *проявление* некоего высшего Предмета, и в то же время как объективная *мера* для всего остального; может быть, как самый этот Предмет, *главный* в жизни мира и в делах людей. И человек, обращающийся к нему, чувствует и всегда должен чувствовать себя — стоящим *перед лицом Божиим.*

Именно за это, в силу такого своего значения и совершенства, это «нечто» делается предметом любви и радости. Оно любится всем сердцем, всею душою, всем помышлением; душа радуется ему и стремится к нему, как к источнику истинной радости; но это «нечто» не потому хорошо, что оно приятно, что оно радует; но радует оно потому, что оно в самом деле драгоценно и объективно прекрасно. Человек любит его не просто «душевно» — по сильному и слепому влечению, поверяя своему настроению и полагаясь на свое чувство; но *духовно* — по столь же сильному, но предметно удостоверенному и объективно правому, зрячему и *все более прозревающему* влечению. Душа оказывается побежденною объективным качеством Предмета, следует его зову, готовит себя к его восприятию, к полной и чистой радости его явления. Эта любовь к совершенному есть любовь, поглощающая личный интерес, личную страсть, личную корысть человека; она приходит с сознанием, что невозможно не любить этого предмета; с непреложною уверенностью, что раз увидивший его, пойдет за ним, оставляя иное. Это чувство, эта *бескорыстная радость объективному качеству предмета,* приучает человека к тому, что все, что есть в нем самом *только* личного, *только* субъективного, — второстепенно

и несущественно; что важно, значительно и ценно — и в нем самом, и в других людях, и в вещах — то, что *объективно* ценно, *объективно* значительно; что эрос души должен принадлежать и не может не принадлежать именно объективному, безусловному качеству предмета: истинности знания, нравственному совершенству душевного настроения и делания, красоте воспринимаемого и осуществляемого образа, таинственной божественности мироздания. Уметь бескорыстно радоваться объективному и безусловному качеству предмета — вот первое условие и первая основа истинной и благородной философской атмосферы. Это есть тот уровень, на котором философствование, действительно, получает значение *духовного делания.*

Предметная чистота воли, направленной к истинному знанию — вот необходимое условие для жизни и роста философии. Конечно, не только в том отношении, чтобы не подчинять процесса познания и обнародования познанного — грубым соображениям о личной жизненной выгоде. Нет, того, кто единожды возвысился душою до самозабвенной радости объективному качеству Предмета, для того опасность этих элементарных, деморализующих уклонений не страшна. Но есть в пределах самого процесса философского познания не столь заметные, но тем более опасные возможности уклонения от истинного пути, с которыми каждому из нас предстоит бороться всю жизнь. Философия как духовное делание должна быть и здесь свободна от незаметных упущений и попущений, от уступок личным потребностям, влечениям, тайным симпатиям, от потакания своей личной, осознанной и неосознанной несчастности и от вырастающих изо всего этого — ложных проблем и их мнимых решений.

Дело в том, что предмет философии, по первоначальному способу своего «бытия», не подобен предметам других наук: он не дается нам в пространственно устойчивом или легко повторяющемся внешнем виде. Философствующий человек имеет перед своим внутренним взором предмет незримый, неслышимый, нечувственный, не материальный, не существующий в пространстве и не длящийся во времени. Правда, все, что предстоит другим людям, предстоит и ему: и цветы, и реки, и горы, и звез-

ды, и люди; и слово ему звучит, и звук поет ему; и цвета, и линии, и люди говорят его оку. Но философская мысль ищет в явлении *не* явления; она не прельщается видимостью и не успокаивается на знаке. Видимое и слышимое, телесное и душевное радует ее как верный знак, подлежащий приятию и уразумению, ибо лесной огонек горит там, где таится сокровище. В содержании всякого явления и всякого состояния философская мысль видит *духовный смысл* его, полагая в этом духовном смысле свой предмет, а в его разумном, для каждого очевидном раскрытии — свою задачу. Познавательно обращаясь к этому предмету, вступая с ним в познающее «общение», человек сосредоточивается на своем собственном, непосредственно переживаемом опыте и потому оказывается внутренно замкнутым и отъединенным от других людей; в своем духовном опыте человек представлен всецело самому себе, на основе самопомощи и самоконтролирования. В этом внутреннем отъединении философ должен сам, одиноким и самостоятельным напряжением воли, внимания, воображения, чувства, памяти и мысли *вызвать в себе реальное переживание* того *предмета,* который он хочет исследовать; он должен предоставить силы своей души для того чтобы в них осуществилась, стало непосредственно и подлинно наличным то содержание, которое подлежит изучению. Познаваемый предмет должен как бы завладеть тканью души и состояться в ней; содержание его должно выступить как бы объективным узором на ткани отдавшейся ему души. Этим и только этим философ может поставить себя в положение ученого, исследующего объективную природу предмета; творческое и согласованное сотрудничество всех указанных сил души в совместном напряжении и общей заботе о верном испытании предмета, его отчетливом увидении и точном описании — дает философу возможность обрести подлинный опыт и объективность в подходе к своему предмету. Мысли предшествует видение (интуиция); видению предшествует опыт. Создав в себе душевным напряжением подлинное переживание своего предмета, философ приступает к одинокому напряженному *внутреннему вглядыванию в сущность внутренно данного содержания.* Понятно, что это внутреннее вглядывание тоже требует участия всех сил души, напряжения ее

сознательных способностей и ее бессознательных сил. Здесь осуществляется своеобразное удивление, интуитивное вхождение духа в исследуемое содержание; то, что опыт принял, включил в свой жизненный состав, то, что осуществилось в его недрах, — является теперь предметом систематически интуитивного восприятия. При этом само собой разумеется, что воспринимающее внимание сосредоточивается не на субъективном переживании, не на состоянии или настроении испытавшей души, но на сущности испытанного предмета; эта духовная сущность самого предмета и есть то искомое, философски познаваемое, радующее и любимое обстояние, к которому стремится познающий разум философа.

И вот это *испытывание* и это *вглядывание* имеют известный, теоретическою совестью определяемый необходимый уровень, по достижении которого наступает третья стадия: аналитическое описание и разумно-логическое раскрытие испытанного и усмотренного содержания. Душа, переходя к этой последней стадии, должна иметь твердую уверенность в чистоте и верности выполненной ею работы; но для этого она должна использовать сначала все пути и средства, могущие ей дать гарантию в этом, она должна уметь творчески сомневаться, испытующе вопрошать и беспристрастно проверять; она должна создать в себе твердую и обоснованную уверенность в отсутствии субъективистских искажений. И только тогда, когда все это сделано и осуществлено, она имеет право приступить к разумному раскрытию того, что она испытала и увидела, — к непредвзятому, отчетливому описанию и логически ясному формулированию того предметного содержания, которое как бы ждет своего окончательного раскрытия; к избавлению видимого предмета от той видимости неразумного пленения, в котором он томится. Настоящее подлинное философствование дает человеку истинное знание и притом в форме разумной мысли, которая должна заключить в себе все, что объято опытом и преодолено видением. Вот почему философия всегда имеет единое задание: раскрыть с силою разумной очевидности подлинное содержание предмета, систематически испытанного и усмотренного философствующей душою.

В этом, внутренно сосредоточенном и утонченном *духовном делании,* философствующая душа, как это уже ясно, пребывает в отъединении и своеобразном одиночестве. Она остается в непроницаемом для чужого сознания замкнутости, с глазу на глаз с самостоятельно добытым, испытываемым, интуитивно исследуемым и мысленно раскрываемом содержании предмета. Вообще говоря, — никто никого не может впустить в свою душу; никто не может заменить другого в делах духовного строительства; никто не может снять с чужой души бремя самодеятельного очищения души и самостоятельного вынашивания очевидности, — бремя одинокого опытного и разумного, духовного познавания. Философское познание требует высокой, *лично* выращиваемой и осуществляемой духовной культуры. И в этом деле необходима именно та неустанная *нравственная активность в познании,* которой учил Сократ и к которой взывал Фихте. Здесь необходима личная непреклонная воля к совершенному знанию и напряженная чуткость личной теоретической совести. Теоретическая совесть ставит перед познающей душой всегда одно и то же единое требование: «ты можешь и должен признать и открыто исповедовать как истинное только то, в познании чего ты, по крайнему проверенному разумению своему, освободил себя от всех субъективистических искажений, осуществил все средства личного очищения и предметного углубления, известные человечеству, и достиг на этом пути испытания личной, по душевному переживанию, но сверхличной, по содержанию и значению, познавательной очевидности». Это требование теоретической совести поистине неуклонно и неумолчно; и философ, больше чем какой-либо другой ученый, должен постоянно иметь его в виду, уже по одному тому, что философское познание имеет в теоретической совести свою главную, а может быть и единственную ограду и от субъективистического вырождения. Ибо практический жизненный вред, приносимый ложным философствованием, виден воочию только тому, и постижим только для того, кто уже закалил свою душу в требованиях духовного уровня; и этот вред не всегда есть вред материального или только душевного характера, как в других областях знания и жизни, но прежде всего вред духовной природы; он выражается в том

коренном вырождении религиозного, познавательного, эстетического и политического уровня жизни, которое обладает свойством — в течение долгого времени быть незаметным и вдруг обнаруживаться с вопиющей очевидностью уже состоявшегося падения и разложения всей духовной атмосферы.

Философствование обязывает. Сознание этого должно непрестанно гореть в душах тех, кто говорит от лица философии. Оно обязывает уже потому, что философия есть *знание;* а всякое знание дает духовные права и возлагает духовные обязанности. Знание есть дар и богатство, потому что знающий именно в том, что он знает и поскольку он знает, знает не только «наверное», но знает верно, подлинно, объективно: он выбрался из колеблющейся трясины мнений и достиг очевидности. У того, кто знает, знание и вера не расходятся и не стоят в противоречии: то, что он знает, достоверно той единой достоверностью и очевидно той единой очевидностью, которая силою объективности своей создает *верующее знание* и *знающую веру.* Верить и веровать можно лишь в то, что верно, что *в самом деле* так. Нельзя верить во что-нибудь, зная, что *на самом деле* «это иначе»: такой человек был бы невменяем. Но нельзя и знать что-нибудь, веря, что *на самом деле* «это иначе»: такой человек был бы лишен и веры, и знания. Знать — значит иметь объективно обоснованную уверенность; но как же может тогда человек, говорящий о знании, не верить в знаемое? Верить значит гореть признанием истины; но как же может тогда человек, признавший истину, не иметь объективно обоснованного знания? Знание может быть еще не раскрытым, вера может временно пребывать в состоянии бессознательного аффективного опыта; но *по существу* — они одно. Ибо гипотеза и предположение не есть еще знание; а воздыхание и мечта, ожидание и вожделение, чаяние и упование не есть еще вера. Вот почему знание есть дар и богатство.

Но философия как знание о важнейшем, о духе, о безусловном есть лучший дар и большее богатство. Философия, познавая сущность духа и безусловного, должна вынашивать именно ту обоснованную уверенность, достоверность, без которой нельзя ни знать, ни верить. Но эта очевидность и достоверность не должна храниться в тай-

не и открываться только посвященным. Философский предмет объективен и един для всех; он должен быть доступен всем вопрошающим и ищущим; и то, что знается, и то, во что веруется, что утверждается как очевидное и достоверное — должно быть раскрыто всем жаждущим знания, ибо философия есть наука, она организует свой опыт, проверяет свое интуитивное восприятие, описывает воспринятое, анализирует, синтезирует и доказывает. В философии не должно быть места для произвольных построений или воздушных замков, для самообмана, мнимых наитий или волшебства. Философия не мистифицирует ни себя, ни других. Она может и должна быть вполне свободна от *суеверия,* когда человек достаточно «верит», чтобы бояться, и не достаточно «верит», чтобы не бояться, «верит» от страха и боится от «веры», унижая себя своею «верою». Философия ищет *света* и находит свет и работает всегда при том свете, который ей дан свыше и умножен ею самою; и потому она не только не питает и не создает страха, но стремится не оставить и места для него: ибо страх возникает лишь там, где противоразумные вожделения и отъединившиеся силы, томясь, работают во мраке и грозят из темноты. Начиная, как и всякое знание, с опыта, и испытуя природу духа и Духа, философия не имеет основания к тому, чтобы прятать дающееся ей в опыте предметное богатство от разумного раскрытия, побеждающего и возводящего, и потому радостного. И если истинно религиозный человек приемлет лишь то, и верует лишь в то, что открылось ему с очевидностью, в личном, но подлинном духовном опыте, то философия по содержанию своему есть религия.

Вот какая ответственность встает перед душой, которая решает посвятить себя философии. И тот, кто, философствуя, будет иметь перед своими очами это высшее назначение философии и неизменное требование теоретической совести, тот сразу увидит и до конца будет помнить те опасности и уклонения, которые могут встретиться на его пути. Необходимо продумать эти опасности и увидеть, куда они ведут, для того чтобы их преодолеть.

Первая опасность в том, что философствование может потерять свою единственную верховную цель и превратиться в не самодовлеющее, не самоценное, не самоза-

конное делание, т. е. начать служить посторонним и чуждым ему целям. О намеренных и сознательных искажениях истины можно здесь и не говорить: своекорыстное извращение правды о духе и софистическая апология сильного может осуществляться только тем, кто никогда не знал, что есть настоящая философия. Однако здесь есть и другие уклоны. Философское знание должно быть свободно не только от посторонних мотивов, но и от всяких непредметных явлений, основываясь на *самостоятельно* добытом опыте и *лично* испытанной очевидности. Это испытание очевидности, как бы вырастающей из глубины самого предмета, не может быть ничем заменено и вытеснено. Правда, авторитет есть великая культурно-воспитательная сила; но задача его в том, чтобы *временно* заменить очевидность, предварительно, лишь в виде педагогической или пропедевтической опоры, необходимой на первых порах для сохранения и утверждения благих традиций. Задача авторитетного руководства состоит именно в том, чтобы воспитать неопытную душу к самостоятельному познанию, чтобы научить ее самодеятельно обретать предметно обоснованную зрелость и предоставить ей свободный путь. *Заменить* очевидность — авторитет не может, и, как только она состоялась, так, строго говоря, между нею и авторитетом невозможен даже конфликт. Философ как ученый и как верующий может быть верен только одному — предметной очевидности; и всякий авторитет призван уступить ей добровольно, так, как некогда ему самому уступали авторитеты прошлого. Повиновение *не* предмету, *не* Богу, но «человекам», — не может быть добродетелью философа: в этом основа философии как верующей науки — в этом *автономия духовного опыта.*

Вторая опасность в том, что суровая, очищающая личную душу борьба за объективно-верное испытание и за действительное усмотрение предмета, — может замениться или скорым легким нахождением субъективных впечатлений, или же нагромождением хаотических созданий личной бессознательной сферы.

В первом случае происходит подмена философского опыта личными впечатлениями, догадками или мнениями; и философия вырождается в праздные разговоры, в

претенциозные, хотя, с виду, и ни к чему не обязывающие сообщения, которые, может быть, и не лишены автобиографического интереса, но свободны от философского значения. Именно на этом пути философствование оказывается во власти людей, не имеющих отношения к философскому предмету и все же слагающих более или менее легкомысленные суждения и мнения по поводу предметов и проблем. Этим философское искание перестает быть исканием, оно утрачивает свою практическую серьезность и превращается в непрерывное и легкое «нахождение»; оно отвязывается от предмета, порывает с опытом и очевидностью и слагает вокруг себя атмосферу вседозволенности. Философское общение вырождается в более или менее искусную «диалектику» и теряет свое глубокое, духовное и нравственное значение. Понятно, что на этом пути нетрудно дойти и до принципиального субъективизма и релятивизма, до успокоительного учения о том, что «все относительно». Философское исследование превращается в более или менее неудачный рассказ о том, «что я за человек» и «каковы мои мнения», а призыв к предметности, к ответственности и сверхличной очевидности объясняется претенциозностью и самоуверенностью призывающего.

Во втором случае предметный опыт заменяется нагромождением хаотических созданий личной бессознательной сферы, и философствование вступает на путь своеобразного вдохновения. Двигаясь на этом пути, люди становятся профессионалами «тайноведами» и разделяются на две большие группы: одни технически владеют приемами своего «тайноведения» и искусно прививают их своим неприхотливым, простодушным, наивно-доверчивым ученикам; другие сами оказываются во власти своих мнимых откровений и растерянно несутся в их неуравновешенном течении.

К первым принадлежат, например, современные «антропософы», которые любят прикрываться словом «наука», а на самом деле проповедуют некую, якобы мистическую, душевную практику. В этой сумеречной душевной практике, которая представляется им, если не мудростью, то во всяком случае истинною дорогою к мудрости, меркнет чистый свет философского знания, и разумная жизнь духа

растворяется в культивировании наиболее физиологических сторон и способностей души. Таково их «ясновидение», покупаемое ценою беспредметности и отказа от предметного опыта. Напрасно говорят они о науке: их «наука» не имеет ничего общего с тою наукою, которая ищет объективности в исследовании, открыто утверждает и открыто доказует; их «наука» есть *магия,* а содержание их «учения» — смутная химера. «Антропософ» старается магически овладеть тайною своей личной бессознательной сферы и вступает для этого в практическое жизненное общение не с предметом, а со своим собственным бессознательным. Это общение погружает центр его личной жизни в непонятную для него глубину родового инстинкта; и совершается это *не* ради знания: как истинный «маг», антропософ ищет не знания, а господства, *власти* над непокорной и несчастной стихией своего существа. Играя и ужасаясь, страдая и наслаждаясь этим процессом медленной, постепенной утраты своего *личного духа* в предписанных «учителем» «медитациях», он идет ко дну, не выходя из себя, ничего не познавая, хотя испытывая «новые ощущения»; и так он покупает себе, наконец, личное успокоение ценою своей духовной личности, ценою отказа от разума и философического бремени. Трагедия его в том, что, ища овладения и господства, он вступает на путь, приводящий его к успокоенной подчиненности, к содержательному и формальному торжеству бессознательной стихии над духом и сознанием; душевное равновесие иногда приобретается, но личность выводится из ряда духовных борцов и свершителей. И тщетно пытается антропософ сослаться на свое оправдание на свою «мировую» «умудренность». Он имеет, конечно, некоторую видимость «учения», но оно представляет из себя не более, чем несамостоятельную и эклектическую химеру. Знание как предметный опыт, вернее видение и разумеющая очевидность, — вообще не ценятся и не культивируются ими, а то, что они называют «оккультным», т. е. сокровенным знанием, не скрывает за собою ничего, кроме родовых содержаний бессознательного. Они, по-видимому, не знают, что научный опыт проник дальше их и глубже их в жизнь бессознательного, проник знанием не беспредметным и сокровенным, а предметным и открывающим, и

что самая «тайна» их таинственной практики уже во власти науки. Они «ворожат» всю жизнь вокруг непонятного им самим центра и не видят, что от их «мудрости» умаляется свет на земле.

Другая группа «тайновидов» по иному уклоняется с философского пути. Эти искатели сами оказываются во власти своих, якобы религиозных, «откровений» и, изнемогая от их смутного и нередко вполне личного содержания, они блуждают потому, что не выдерживают бремени личной душевной несчастности, и, запутываясь все больше, чувствуют себя все более несчастливыми. Та особенность философского опыта, в силу которого в его осуществлении должны участвовать *все* силы души и притом в обращении к невещественному предмету, приводит к тому, что в дело вовлекается вся бессознательная сфера во всей ее утонченности, страстности и трудноуловимости. Но, именно вследствие этого, все тайные влечения и желания, обычно не допускаемые на порог дневного сознания и хоронящиеся, подобно Нибеллунгам, в тайниках ночной души; все особенности личного «вкуса», приобретенные в жизни и духовно неочищенные; все те ранения душевной ткани, которые у каждого из нас приобретаются с детства и живут, не исцеленные, всю жизнь, нередко разъедая душу и повергая ее во всевозможные психозы и неврозы, — все это, при отсутствии надлежащей очистительной работы, при отсутствии безжалостности к своей душевной традиции и к своему душевному самочувствию, вторгается в философскую работу и делает душу мало способной к предметному опыту и исследованию. Философия становится тогда игралищем скрытых страстей; она оказывается более или менее удачно найденным компромиссом между запросами личного бессознательного и сознательной идеологией; она говорит гораздо более о личном укладе души, чем о предмете. При этом энергия познания нередко растворяется в субъективную слепую убежденность, которая следует за всеми превращениями все вновь перестраивающейся «идеологии» и, в сущности говоря, может найти себе успокоение только в гетерономном приятии той или иной догмы.

Наконец, есть еще третья опасность для философии, это опасность рассудка, открывающегося от живого пред-

метного опыта и интуиции. Этот опыт ведет философию не к волхованию и не к субъективистическому вырождению, а к смерти в безводной и безвоздушной пустоте. Здесь философия сохраняет, правда, видимость научного знания, но именно одну только видимость; и отстаивая ее, она как бы гибнет на посту с оружием в руках. Такие мыслители начинают ценить выше всего формальные различия и определения понятий, формальное единство философской «системы», формальные проблемы и постановки вопросов. Утратив живое отношение к предмету, не сознавая, что, при таком положении дела, философия неминуемо выродится в комбинацию беспочвенных понятий, они остаются нередко без всякой предметной опоры и начинают заменять ее опорою *чужой мысли.* Но чужая мысль, быть может, в свою очередь ведет оторванное, беспредметное существование, опираясь на более ранние системы и учения; и тогда в философии начинает обнаруживаться какая-то наследственная опустошенность. Пишутся книги о книгах; строятся особые толкования и понимания чужих идей; чужие воззрения исследуются, как некая самостоятельная ценность; культивируется изощренная библиографическая осведомленность. Мысль как бы высыхает и запутывается в сетях собственных мертворожденных утонченностей. Потомки бессильно увязают в наследстве, оставшемся от предков; и тогда история философии не только не научает предметному философствованию, но прямо уводит от предмета: отжившие системы вырастают перед эпигоном как заколдованный лес, через который нет ни прохода, ни проезда и скудный свет абстрактного рассудка не может пронизать эту чащу и показать заблудшему дорогу к истинной цели.

Таковы основные опасности философского пути. Преодолеть их возможно только через верность предметному опыту и требованиям теоретической совести: философ должен утверждать и исповедовать только то, что он сам испытал в духовном опыте и с очевидностью узрел в исследованном им предметном состоянии. И если он будет верен этому правилу, то в философии начнет уменьшаться число беспочвенных разногласий и бесплодных споров и она получит возможность превратиться в подлинное знание о сущности духа, о его путях и законах.

Философия не в отвлеченности, не в сплетениях хитроумия и не в праздно-лукавом мудровании. Нет, настоящая философия духовна, опытна, честна и проста; и именно в этих свойствах своих она приближается к настоящей религии.

Когда-то Гегель сокрушался о низком уровне той национально-духовной культуры, которая не создала еще своего самостоятельного религиозно-метафизического чувствования и понимания Бога, мира и человека. Он знал, как до него разве один Аристотель, что духовный опыт и философическое созерцание составляют самую глубокую сущность всей национальной жизни; что именно *предметное раскрытие жизни духа* есть то делание, то совершаемое немногими творчество, ради которого в слепоте жили, в слепоте страдали и умирали столь многие; что именно *разумное утверждение духовного Предмета* (метафизика, вырастающая из подлинного религиозного откровения) есть та вершина духовного горения, которая религиозно питает и завершает культуру народа как живого единства и которая действительно может быть источником подлинной духовной *чистоты* и *силы*.

II
ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

1

Философия больше, чем жизнь: она есть *завершение* жизни. Но жизнь первее философии: она есть ее *источник* и предмет.

Среди людей, чуждых и предмету и заданию, издревле существует распространенное воззрение, согласно которому философия не имеет никакого отношения к «действительной жизни» и, сама по себе, не есть «наука». Философия — это в лучшем случае «прекраснодушная мечта»; тогда как жизнь и наука суть нечто трезвое: трезвая практическая деятельность и трезвое практическое знание. Именно поэтому жизнь нуждается в науке и *не* нуждается в философии; а наука проверяется жизненной практикой, но вполне может обойтись *без* философских отвлеченностей.

Философия, думают многие, есть «мечтательное умствование» или «умственное мечтание»: человек, слабый волею, но сильный воображением и праздный умом, бежит от очередных, «больших» запросов жизни и создает мир химерических отвлеченностей. Он утешается этим миром, «верит» в него и замыкается в нем; он пытается «заговорить» себя, «обмануть» и свой и чужой разум; и постепенно ограждает себя стеною громких слов, туманных настроений, утонченных и непонятных выдумок.

Здесь нет единого, общего всем предмета; нет единого и зрелого научного метода; здесь все субъективно и произвольно, ибо каждый говорит про себя и о своем: каждый твердит о своей «химере». Ни один не понимает другого; но «все не согласны»: каждый не приемлет чужую

химеру, ибо чужая — никому не нужна. Нужна *своя:* только она есть «истина» — она, родная выдумка, *личный миф, «моя* сказка». В ней излилась, ею закрепилась личная мечта о себе, о мире и о Боге; отсюда ее чисто личное значение. «Чужая философия» это чужое *излияние;* сколько же надо терпения, чтобы слушать подолгу и внимательно чужие излияния? Вот почему философы не могут спорить друг с другом и не умеют друг друга выслушивать: они подобны, в лучшем случае, сонму дервишей, выкликающих, каждый про себя, никому не понятную молитву никому не известному божеству.

Для чего же все это утонченное препарирование личной мифологии? И как можно *преподавать* философию? Разве история не есть история духовных блужданий и недугов? Разве возможно какое-нибудь *научно-философское* достижение?

Бесспорно: если философия порождает одни «личные химеры», вненаучные излияния или умственные мечты, то ее *нет вовсе* и преподавание ее невозможно. Все создания ее порождены игрою ума и таланта; они войдут, может быть, в объем искусства, и тогда история философии будет поглощена историей литературы.

Однако верно ли это? Верно ли, что философия творит одни «беспредметные химеры»? Что самый способ ее творчества делает ее индифферентною истине? Что она оторвана от жизни и не нужна ей?

Среди тех, кто занимается философией, или говорит от ее лица, есть и в наши дни немало таких, которые виновны в столь неверной репутации, сложившейся у философии и у философов. Так, германская философия последних десятилетий действительно создала немало мертвых отвлеченностей, не нужных для подлинной жизни; а философская культура России не сумела еще побороть в себе ни беспредметного импрессионизма, ни склонности к увеличению чисто личною, релятивистическою химерою. Но разве недостатки *осуществления* компрометируют самое *задание?* Разве недуги составляют самую сущность организма? Разве можно заключать от того, что чего-то *нет,* к тому, что оно *не может* или *не должно* быть? Разве чье-нибудь неумение доказывает что-нибудь, кроме того, что не умеющий не умеет? Если отрицать

философию по этим соображениям, то следует навсегда покончить не только с философствованием, но и с политической деятельностью, с врачеванием, с педагогикой, и вообще со *всякой* другой деятельностью; ибо везде были ошибки, всюду есть неумение, всегда будут неудачи.

Однако, быть может, враги философии допускают, что именно *она* является несчастным исключением из всех других деятельностей и наук; что именно у философии недуг составляет самую сущность организма; что самое *задание* ее таит в себе внутренний порок неосуществимости; что здесь есть *мнимая проблема,* порождающая сплошные гнезда недоразумений. Но это значило бы, что у философии нет и не может быть особого, самостоятельного предмета; что ей недоступен систематический метод; что она никогда не могла доказывать и никогда не сможет доказать своих утверждений; что она пуста и мертва; что у нее нет и не может быть подлинной, творческой связи с жизнью.

Тот, кто взялся бы доказать и доказал бы эти тезисы — оказал бы великую услугу человечеству: он положил бы раз навсегда конец претензиям и посягательствам философов; он упрочил бы пределы истинной науки; он указал бы философии ее истинный предел и направил бы силы молодых поколений в сторону *искусства* и *религии.* И в результате этого подвига философия оказалась бы культурным пережитком наряду с философским камнем и жизненным эликсиром, наряду с perpetuum mobile и гомункулом.

2

Доныне врагам философии не удалось доказать этих тезисов, они иногда побеждали там, где доказывали недостаточную методичность того или иного философствования; они всегда бывают правы, когда указывают на расхождения и разногласия между отдельными философскими учениями; они всегда будут иметь основание отвергнуть мертворожденные выдумки философов всюду, где такие выдумки возникнут. Однако все это нисколько не подтверждает их принципиального отрицания философии. Доказывая ее невозможность или несостоятельность, они

имеют перед собою творчество, сущность которого скрыта от них, и предмет, доступа к которому они не знают. Их сомнение порождено не опытом или исканием, а непониманием и предвзятостью. Они отрицают то, чего не видели; они объявляют неосуществимым то, чего сами не пытались осуществить. Их рассуждения не восстают из страдания в предмете и не покоятся на подлинном познавательном напряжении; они судят со стороны, лишенные запросов, органа, опыта и компетентности. Поэтому соображения их имеют всегда априорный и неубедительный характер; а компетентный ум спокойно созерцает комизм их усилий — доказать *невозможность* того, что на *самом деле уже реально.*

Ибо, вопреки мнению, философия имеет свою *научную лабораторию* и свои *жизненные достижения.*

Эта лаборатория доступна далеко не всякому и многим войти в нее удается. Даже из тех, которые мнят себя философами и имеют соответствующую репутацию, не все служат философии и творят ее. Зато в этой лаборатории живут и работают многие, не знающие о том и не понимающие своего жизненного дела, так, что они удивились бы, узнав об истинном значении своей деятельности. В этой лаборатории накапливается и осмысливается *духовный опыт,* без которого нет, не было и не будет настоящей философии; из нее выходят все подлинные философские *достижения, научные* по своей форме и глубоко *жизненные* по своему содержанию.

Доказать невозможность таких достижений нельзя потому, что они фактически имеются налицо в великом историческом хранилище философии. На протяжении истории философия *уже* показала, что она имеет подлинную, творческую *связь с жизнью;* каждым серьезным свершением своим она доказывает, что у нее есть особый, самостоятельный *предмет;* ее лучшие творцы и вожди выковывали систематический *метод* и владели им; она по самому существу своему ищет *доказательств* для каждого своего утверждения и многие уже доказала. Поэтому тому, кто не признает философию, приходится отрицать факты или закрывать себе на них глаза; ему предстоит доказывать, что состоявшееся не состоялось, что предстоящего нет, что оно невозможно; для этого он должен обеспечить сле-

поту и себе и своему слушателю. И потому, если он «победит», то его «победа» будет свидетельствовать только о его некомпетентности; а это значит, что он совсем не победит.

Напротив, сама история философии есть живое доказательство того, что философия — не бред, не пустословие и не беспредметное блуждание; мало того, что философия есть *наука о жизни.* Ибо, в самом деле, *философия есть систематическое познавательное раскрытие того, что составляет самую глубокую основу жизни.* Сама жизнь *в ее истинном смысле и содержании* составляет ее *источник* и является ее *предметом,* тогда как форма ее, задание, приемы, категории, итоги — все это делает ее *наукою* в строгом и подлинном значении. Философия родится в жизни и от жизни, как ее необходимое и зрелое проявление; не от быта и не от животного существования, но от *жизни духа,* от его страдания, созерцания и жажды. И, рожденная духом, ищущая *знания,* она восходит к его зрелой и совершенной форме — к сознательной мысли, с ее ясностью, систематичностью и доказательностью. Философствовать значит *воистину жить* и *мыслью* освещать и *преображать сущность подлинной жизни.*

Естественно, что философия чужда и недоступна тем, кто не знает или не чувствует различия между *бытом* и *духом,* кто исчерпывает свою жизнь бытовыми содержаниями или отдает ее на служение технике быта. Для таких людей «не существует» ни того *задания,* которое движет философию, ни того *предмета,* который она созерцает, ни того *измерения,* в котором она движется и раскрывается. Быт, слепой для духа, не знает философии и не творит ее; но вправе ли она отрицать ее значение и ее возможность, отправляясь от своей слепоты? Для того, чтобы жить философскими содержаниями и тем более для того, чтобы придавать им форму мысли, человек должен иметь как бы особый орган; или, вернее, душа его должна быть достаточно *глубокой* для философского содержания, достаточно утонченной для философского мышления и достаточно *творческой* для дела оформления. Каждое из этих свойств, каждая из этих способностей может быть присуща человеку в большей и меньшей степени; и каждая иная комбинация этих сил даст иную творческую индивиду-

альность. Однако душа, лишенная *первой* способности, т. е. совсем не живущая на той *глубине,* на которой впервые открывается наличность философского предмета — окажется пораженною философской слепотой, а потому и не компетентной в вопросе о бытии, значении и жизненной силе философии.

Для того, чтобы судить о философии, надо *жить ею;* и тот, кто не может или не хочет жить философским предметом, обязан воздерживаться от суждений и о самой философии, и о ее предмете.

3

Итак, философия по самому существу своему не только не чужда жизни, но связана с нею, как со своим *источником* и *предметом.*

Как бы ни определить философию, она всегда окажется *знанием.* Но знание не может состояться иначе, как в форме встречи, или схождения, или соединения между *объектом* и *субъектом.* Отсутствие объекта сделает знание лишенным предметного содержания, т. е. беспредметно-неопределенным, и, в смысле истины, бесплодным состоянием души; т. е. *незнанием.* Отсутствие субъекта оставит предметное содержание субъективно-не-испытанным, не усмотренным, не помысленным; т. е. *непознанным.* Но, для того чтобы знание состоялось, необходимо чтобы *содержание* объекта вступило, так или иначе, *в пределы субъекта.* Ибо знание есть разновидность обладания, мнения; чтобы иметь, надо взять, по-ять; без взятия, по-ятия, не может быть ни по-нимания, ни по-нятия.

Это значит, что содержание предмета должно состояться, обнаружиться, выступить в душе субъекта. Познающая душа должна *предоставить свои силы и средства предмету;* это необходимо для того, чтобы принять в себя его содержание, дать ему *осуществиться* в себе. Предмет должен как бы прозвучать своим содержанием в познающей душе; высказаться в ней; как-бы выжечься в ее ткани; подлинно присутствовать в ней так, чтобы душа зажила стихией самого предмета и стала *одержимою* его содержанием. Только тогда человек может сказать, что он *испы-*

тал предмет, что он приобрел первую основу всякого знания — *предметный опыт.*

Вне предметного опыта невозможно никакое знание. Каждый ученый посвящает свои силы именно тому, чтобы приобрести и накопить *подлинный предметный опыт.* Каждый ученый превращает свою душу в хранилище испытанных содержаний. Именно присутствие их в нем делает его ученым, или, вернее, дает ему возможность научного познания. Человек может быть назван ученым лишь постольку, поскольку он превратил свою душу в среду, *систематически одержимую предметом;* ибо научное изучение есть, прежде всего, *систематическая практика предметной одержимости;* этим знание не исчерпывается, но именно в этом его начало и его подлинная основа. Вне мобилизованного предметного опыта *никакого* знания *никогда* не было и не будет.

И вот возникает силлогизм; всякое знание есть опытное знание; всякая философия есть знание; следовательно, *вся философия есть опытное знание.* Неопытная, сверхопытная философия есть недоразумение или легенда. Известно, что философы не раз пытались утвердить свое знание «независимо от опыта»; об «априорном» знании написано немало исследований. И тем не менее безопытной философии никогда не было и не будет. Именно тогда, когда философ думает, что он освободил себя от опыта, он или *предвосхитил* его и совершил самообман; или освободил себя от известного, *специфически* определенного опыта и обратился к другому опыту (например, от чувственного — к нечувственному, от «внешнего» — к «внутреннему», от созерцающего — к мыслящему); или освободил себя от восприятия *одного предмета,* осуществляя восприятие другого; или же уклонился *совсем* от *предметного* опыта, удовлетворяясь его беспредметными суррогатами. На самом же деле опыт остается налицо во *всех* этих случаях; ибо предвосхитить не значит обойтись *без* него, но значит получить его на неверном, на дурном пути; специфический опыт не перестает быть опытом, а неверный или беспредметный опыт отнюдь не открывает душе сверх-опытную сферу.

Необходимо покончить раз навсегда с предрассудком «внеопытного знания». Философские учения делятся не на

«опытные» и «сверх-опытные», а на такие, которые *сознательно* культивируют предметный опыт, и такие, которые этого *не* делают. Ибо от опыта не освобождает никакая *интуиция,* никакое «прозрение», никакая метафизическая *спекуляция,* никакая рационалистическая *дедукция.*

То, что обычно называют *интуицией* или «прозрением», есть или *случайное опытное восприятие предмета,* над которым философ не властен, которого он не умеет ни повторить, ни проверить, ни подвергнуть систематическому очищению — и именно потому беспомощно ссылается на таинственную «интуицию»; или же это есть *систематическое, методически руководимое опытное созерцание предмета.* В обоих случаях опыт имеется налицо; однако в первом случае философ не владеет им, не организует его, не превращает его в сознательно практикуемый *метод,* тогда как во втором случае опытное восприятие становится подлинным, систематически применяемым орудием или *методом познания.* Это значит, что «интуиция» не только не «освобождает» от предметного опыта, но сама не что иное, как известная стадия осуществляемого опыта; и так обстоит дело не только в философии, но и во всяком *религиозном* откровении, и в *нравственном* наитии, и в творческом воображении *художника.*

Подобно этому от опыта не освобождает никакая метафизическая *спекуляция.* Во всякой подлинной, глубокой философии «спекуляция» покоится на систематическом созерцании предмета; она питается этим опытным восприятием, почерпает из него свое содержание и проверяет себя его показаниями; так, что истинный философ дорожит в своем творчестве отнюдь не игрою мысли и не комбинациями понятий, но именно систематическим опытом и *систематическою интуициею предмета.* Бывает и так, что опыт и созерцание прерываются или восполняются чисто мысленным, гипотетическим или дивинаторным напряжением; но именно такие перерывы и восполнения порождают наиболее *субъективный* элемент всего учения. Аналитическое или синтетическое придумывание всегда рискует исказить, изуродовать предметную ткань теории и этот риск слишком часто ведет к глубоким искажениям и ущербам. Философ додумывает и при-вдумывает именно там, где он *не-до-внял* предмету, т. е. где его внимание, или,

что то же, его предметное «внутрь-имание» — не выдержало и изнемогло. Конечно, в этом додумывании он иногда верно предвосхищает возможные показания опыта, к которому он всегда обязан обратиться в дальнейшем; но понятно, что это предвосхищение будет содержательно верным и ценным лишь постольку, поскольку ранее состоявшийся опыт был действительно предметным.

Напрасно думать, будто возможно спекулятивное знание в смысле *неопытного происхождения*. С идеей такого знания победоносно боролся еще Кант; и, когда его ближайшие преемники — Фихте, Шеллинг, Гегель снова вернулись к «метафизике», то в основе ее лежал уже *новый опыт,* почерпнутый из ново-открытой Кантом духовно-творческой сферы в «субъекте». «Метафизические» выдумки, сложившиеся на основании случайного, непроверенного, или, еще хуже, *чужого* и *беспредметного* «опыта» — остаются всегда возможными; но такие построения будут всегда подобны карточным домикам: первое же прикосновение предметной действительности превратит их в развалины.

Наконец, и *дедукция* невозможна без опыта. Великие философские учения, подобно системе Спинозы, дедуктивны только *по форме изложения*. Ибо их «верховная идея» *уже* сосредоточивает в себе результат долгой и систематической интуитивно-опытной практики; она *уже* таит в себе все испытанное содержание предмета и, развертываясь, обнаруживает дедуктивно то, что добыто долгим опытным страданием в предмете. Понятно, что предметная верность всей последующей «дедукции» зависит именно от предметной верности первоначального опыта. В таких учениях опыт до известной степени отрывается от последующего разумного развертывания, но он отнюдь не отсутствует и не смолкает; он *не* обогащается и *не* исправляется в процессе дедуктивного построения и в этом есть известная опасность и дефект; но вся теория покоится на его эксплуатации и, принципиально говоря, не смеет дать более того, что она получила из опыта. Вот почему мыслитель, который созерцательно продумает «определения», установленные Спинозою в начале «Этики», — усвоит без труда все дальнейшие «теоремы» и никогда не примет «геометрический» *способ изложения* за подлинный познава-

тельный метод великого «рационалиста». Настоящая философия понимается не отвлеченною мыслью, но только *конгениальным предметным ви́дением.*

Понятно, что без опыта не могут обойтись и повседневные «дедуктивные построения» в философии; но в них опыт остается случайным, непроверенным и часто дурным и убогим. Это бывает особенно тогда, когда строящий ум сознательно разрешает себе пренебрегать опытом и сочетает дедуктивное тяготение с релятивистическою постановкою вопроса: тогда возникают произвольные и беспочвенные комбинации, прикрываемые нередко ссылкою на безысходный «субъективизм» всякой философии. «Можно *так* построить», рассуждает беспочвенный комбинатор понятий, «тогда выйдет то-то; а можно иначе — тогда выйдет другое». Но *как* именно *необходимо* и *должно* строить, повинуясь предмету, — он не знает и не может знать, потому что опыт его беспредметен и не систематичен. Такие «строители» философских теорий не обходятся *совсем* без интуитивного опыта; но они не культивируют его предметную основу и довольствуются случайными, мимоходом добытыми данными; они не созерцают, а подглядывают; не испытывают, а похищают; и, подвергая свой скудный материал произвольной и беспринципной перетасовке, они уродуют в корне свои, ни для кого не убедительные, построения.

4

Философское знание есть *опытное* знание. Что бы ни исследовал философ, он не имеет другого источника; и в этом его положение подобно положению всякого другого ученого. Философская наука как таковая покоится на предметном опыте, т. е. на проверенном, верном, адекватном восприятии изучаемого предмета изучающею душою. Без этого восприятия душа философа остается познавательно-бессильною и некомпетентною. Так, сознание, не воспринимающее чистого, безобразного понятия, не в состоянии формулировать законов логики; душа, отвращающаяся от показаний совести, бессильна судить о добре и зле; суждение о красоте и художественности беспредметно и праздно,

если орган эстетического восприятия пребывает в бездействии и немощи. Самое обычное, отвлеченное мышление, при всей своей «формальности» есть своего рода опыт и этот *опыт* нуждается в *культуре;* именно поэтому так бесплоден спор с некультурным человеком, не привыкшим испытывать неизменную тождественность понятия и принудительность верного силлогизма. Итак, *не испытанное содержание — не познано; неиспытуемое содержание — непознаваемо.* Такова *первая аксиома философской методологии.*

Однако это совсем не означает, что *всякий* опыт есть *чувственный* опыт, т. е. что он *состоит* в восприятии *вещи телесными «чувствами».* Бесспорно: всякий чувственный опыт есть опыт; но далеко не всякий опыт есть опыт чувственный. И вот, философия творится именно *нечувственным опытом;* в этом *вторая аксиома философской методологии.*

Душа человека может испытывать и фактически испытывает многое *не* чувственное. Правда, обычное сознание занято по большей части чувственными восприятиями: оно-то живет непосредственно в наплывающих извне звуках, красках, пространственных образах и ощущениях своего тела, ориентируясь через их посредство в мире вещей и строя по ним свою жизнь; то оно занято тем, что воображает поблекшие тени воспринятых вещей, возрождая их из прошлого и подчас разжигая еще сильнее их яркость. И даже тогда, когда она имеет дело с нечувственными предметами, она воспринимает их в их чувственном воплощении, подставляя вместо общего — частное и вместо идеи — одноименный образ, осуществляя волевой порыв телодвижением, выражая напряженное чувствование смехом, рыданием, воплем. Даже «отвлеченное» мышление обычного сознания бредет по чувственным образам и схемам; и двигаясь в лесу понятий, оно опирается на чувственные костыли и спотыкается о чувственные образы.

Тем не менее и оно имеет дело с нечувственными содержаниями. Конечно, сенсуальные образы вещей проникают глубоко в бессознательное человека; они служат ему легким, гибким орудием, то радуя дух созданным совершенством, то угнетая душу загадочными ночными страхами. Но в то же время они легко блекнут, тают и исчеза-

ют в неопределенности. И именно тогда, когда они становятся совсем неопределенными и неуловимыми, каждый из нас может заметить, что *дух иногда продолжает жить с интенсивностью, не соответствующею чувственной бессодержательности акта.* Дело не сводится к тому, что душа «продолжает волноваться» под воздействием *забытых* ею, т. е. вытесненных в бессознательное, *чувственных содержаний.* Здесь можно обойти вопрос о том, сохраняет ли чувственное содержание свою сенсуальную природу *после того,* как акт вытесняющего забвения отрывает его от ощущающих и воображающих сил души, сберегая его аффективные следы и его травматическое влияние на весь строй души. Можно даже *условно* принять, что *всякий* душевный процесс нуждается в качестве возбудителя или разрядителя в чувственном раздражении или восприятии. Но даже это условное допущение отнюдь не предрешит еще вопроса о том, *исчерпывается ли весь объем души чувственными* содержаниями? Если даже допустить, что душа просыпается *только* от сенсуального толчка или воздействия, то остается еще возможность, что этот толчок пробуждает в ней *нечувственные акты* и соответственно *нечувственные содержания.* Повод не предопределяет еще свойств результата; пробуждающаяся сила может быть инородна возбудителю. Именно этому благодатному восхождению души от чувственного восприятия к нечувственной жизни и был посвящен в древности пафос Платона.

На самом деле силы души могут быть заполнены *нечувственными содержаниями,* т. е. такими, которые лишены не только пространственно-материального, но и протяженно-образного характера, и не имеют для себя *никакого,* не только «адекватного», но даже «подобного» чувственного коррелата.

Так, самый *строй содержаний,* открывающихся логически-зрелому *мышлению,* имеет нечувственную природу и являет зрелище, привычное оку нечувственной мысли, но невидимое для глаза, взирающего на вещи. Современная логика, в лице Хуссерля, следуя за Больцано, убедительно показала, что человеку доступно, при известной внутренней культуре, *безóбразное мышление* и что именно такому и только такому мышлению открывается строй

понятий, во всей его законченности и чистоте. Понятие и вещь, смысл и образ предметы различных измерений. Чувственной вещи свойственно непрерывно меняться: понятию и смыслу свойственно ненарушимое *тождество.* Различие чувственных содержаний и вещей доходит только до противоположности; различие понятий всегда закреплено остротою *противоречия.* Только нечувственное содержание и нечувственный предмет могут иметь логический «объем» и логическое «содержание»; только им может быть свойственна «родовая-видовая» связь; именно они слагаются в логические «суждения-тезисы»; только при их помощи можно строить силлогизмы, доказывать, познавать и спорить. Примешиваясь к этому строю, чувственные образы отчасти искажают его, отчасти подчиняются ему, но *отнюдь не совпадают* с ним и не отождествляют своих законов с его законами. Зрелая мысль видит инородность и специфичность этих рядов; незрелая душа блуждает, смешивается и запутывается. И тем не менее *всякий* человек, поскольку он *умозаключает* или *спорит,* имеет дело с *нечувственными, логическими* содержаниями, как бы беспомощно, сбивчиво и недоуменно он не обходился с ними. Именно в этом нечувственном виде мыслитель познает *истину,* ибо истина есть всегда *истинный смысл,* подлежащий закону тождества и закону внутренней непротиворечивости. Итак, истина имеет нечувственную форму, и путь к ней ведет через восприятие нечувственных содержаний.

Далее, и *воле* доступны нечувственные содержания. Обращаясь к какому-нибудь содержанию и приемля его, воля делает его *целью,* т. е. предвосхищаемым предметом своих творческих напряжений. Это предвосхищение и творчество может относиться к вещественно-чувственным явлениям, но может возводить душу и к нечувственным обстояниям. Такова, например, воля к истине. Но еще доступнее для обычного сознания *воля к добру,* также возводящая душу к особым нечувственным содержаниям. Когда добро является искомым и осуществляемым заданием, то душа имеет перед собою проблему *объективной ценности* своей цели и обусловливает приятие цели именно ее объективною ценностью; она вопрошает о нравственно-наилучшем, *совершенном,* и к нему применяет

свою волю. Это вовлекает волю в особое ценностное измерение действий и состояний, и делает предметом ее особое *нечувственное качество,* именуемое *нравственным совершенством.* Нравственное совершенство обретается особым нечувственным органом души, именуемым совестью и не поддается никакому чувственному восприятию. Совестный акт, имеющий сложную, эмоционально-познавательную, но прежде всего, *волевую* природу, заставляет человека воспринять нравственное *совершенство* как *живую сверхчувственную силу* — сначала в самом себе, а потом и в других людях; и на этом пути душа вовлекается в особое, опытное, но нечувственное созерцание мира и привыкает вращаться среди тех содержаний, нечувственный строй которых может быть ориентирован на чувственных явлениях и образах, но отнюдь не совпадает с ними своим строем и своими категориями. Таково, например, обстояние *нравственной правоты, побеждающей в жизни вопреки своему житейскому бессилию.* Великие создатели этики всегда утверждали, что совестный опыт вводит душу в новый порядок бытия, как бы ни охарактеризовать этот строй, как «даймонический», вместе с Сократом, или как «нравственный миропорядок», вместе с Фихте, или же как сферу «всеобщей воли» вместе с Гегелем.

Добро есть нечувственный предмет; совесть есть живой о́рган, открывающий к нему доступ. Поэтому *всякий* человек, поскольку он не стал жертвой исключительной, сатанинской злобы, поскольку он способен видеть нравственно лучшее и желать его — имеет дело с *нечувственными, эстетическими содержаниями,* как бы беспомощно и сбивчиво он ни обходился с ними.

Подобно этому человеку доступен целый ряд *аффектов,* посвященных нечувственным содержаниям. Напрасно было бы думать, что аффекты души могут пленяться и возгораться только от восприятия вещей или их протяженных образов. Если даже обычно страсть человека прилепляется к внешней видимости, то это еще не значит, что ею не руководит в этом смутное искание сверхчувственной сущности. *Искусство* обнаруживает это искание с несомненною определенностью и силою: ибо то, что вынашивает и осуществляет истинный художник, есть всегда обстояние, несводимое к чувственной видимости

его произведения. Художественный аффект, приводящий в движение творческую фантазию, всегда глубже своего чувственного повода; так, что предметное содержание эстетического произведения никогда не исчерпывается его чувственно воспринимаемою материею. Истинный художник ищет не «удачного» выражения и не «красивого» сочетания, но *красоты:* он стремится *явить сверхчувственное, предметное содержание своего аффекта* в виде адекватного, чувственно-единичного образа, «красивость» и «удачность» которого могут быть только порождением сверхчувственного предмета, уловленного в адекватном опыте. Такова природа всего художественного.

Однако жить сверхчувственным содержанием дано не только аффекту, обращенному к *красоте,* но и аффекту, религиозно обращенному к *Богу,* этически обращенному к *добру* и познавательно обращенному к *истине.* Молитва, умиление, покаяние, мировая скорбь, сомнение и очевидность — вот состояния души, которые доступны всем людям и в которых аффект одержим сверхчувственным содержанием. Историку духовной жизни достаточно указать на молитвенный экстаз брамина, на одухотворенный эрос Сократа, и на ту «интеллектуальную любовь к Богу», о которой говорил Спиноза: а христианину надлежит вспомнить о том поклонении «духом и истиною», которому учил Христос.

Наконец, самое *воображение* может быть посвящено нечувственным содержаниям — и в повседневной жизни, поскольку человек воображает себе душевные состояния своих ближних, и в искусстве, поскольку оно изображает состояние человеческого духа, и в религии, поскольку душа восходит к созерцающему восприятию Божества, и в философии, поскольку воображение покорно следует указаниям безобразной мысли или сверхчувственного воленапряжения.

Все это означает, что старая классическая формула «nihil est in intellectu, quod non fuerit ante in sensu»* — неверна; и не только потому, что она принимает генетический повод переживания за самое содержание возникшего акта, но и потому, что *сенсуальность* отнюдь не есть черта, свойственная *всем* содержаниям души и духа. Здесь недостаточна даже оговорка «nisi intellectus ipse»**; ибо дело не только в

том, что сам познающий интеллект имеет нечувственную природу, но в том, что дух человека *может* и *должен* иметь дело с нечувственными содержаниями и — через них — со сверхчувственными предметами.

Духовная же значительность этого опыта говорит сама за себя.

5

Значительность этого опыта определяется самою природою его предметов. Философия исследует сущность самой *истины,* самого *добра* и самой *красоты;* она исследует самую *сущность бытия* и жизни, вопрошая об их сверхчувственной первооснове; она исследует самый *дух человека* и природу его основных *актов,* воспринимающих эти предметы; она исследует *право,* как необходимый способ духовной жизни, как естественный атрибут человеческого духа. Иными словами, она исследует божественную природу во всех предметах и, наконец, восходит к познанию самого *Божества,* как единого лона и источника всего, что божественно.

Все эти предметы философия утверждает как сверхчувственные и в то же время как *объективно обстоящие;* причем недоступность их для телесного восприятия нисколько не умаляет их объективности. Сверхчувственный предмет объективен; это значит, во-первых, что он сохраняет свой особый *способ* обстояния, отличающийся от того способа, который присущ его отражению в человеческой душе (*категории* предмета не совпадают с *категориями* одноименного «содержания сознания»); это значит, во-вторых, что он сохраняет свои *самобытные черты и качества* в отличие от тех, которые человек приписывает ему по недоразумению (*содержание* сознания может не совпадать с *содержанием* предмета); это значит, в-третьих, что он сохраняет свое *единство,* несмотря на множественность тех субъективных актов, которые направлены к его восприятию и тех содержаний сознания, которые человек нарекает его именем. Так, *понятию* свойственно обстоять по категории тождества, несмотря на то, что философы не раз приписывали ему процессуальность и

изменчивость; так, *праву* совсем не присуща черта насильственного принуждения, несмотря на то, что юристы не раз приписывали ему эту черту; так, *Божеству* свойственно объективное единство, несмотря на множество субъективных религиозных воззрений и концепций. *Добро* едино, хотя история создала множество «этических учений»; *красота* объективна, хотя художники видят ее «субъективно» и осуществляют ее по-своему; и *самая жизнь человеческого духа* имеет трагическую природу, вопреки всем попыткам изобразить ее как идиллию.

Понятно, что объективность сверхчувственного предмета усматривается не всеми и познается немногими. Исследование его требует особого подхода, особого восприятия, особой культуры воли и внимания; оно возможно только при спецификации душевно-духовного опыта и удается только тому, кто выработал в себе *умение внимать сверхчувственному предмету*. Исследуя свой предмет, философия начинает с реального восприятия и подлинного опыта; она останавливается первоначально на единичном восприятии и добивается в его пределах адекватности, стремясь воспринять предмет, как он есть *на самом деле,* т. е. так, как он есть *для всех и каждого,* т. е. так, как он есть *сам по себе* и как, следовательно, он должен быть правильно и адекватно воспринят всеми; этим она как бы переселяет содержание предмета в среду испытующей души, чтобы вслед за тем сосредоточить все внимание на усмотрении *сущности* этого адекватно испытанного содержания, на уловлении ее — мыслью и на выражении ее — словом.

Все это удается, конечно, не сразу, не всегда и не при всяких условиях; это требует большого напряжения всех сил души, и притом не только позитивного, но и негативного напряжения, т. е. и в смысле интенсивного *участия,* и в смысле произвольного *задержания* той или иной функции. Здесь бывает необходима и своеобразная, утонченная, индуктивно-экспериментальная проверка внутреннего опыта — то скепсис и осторожное, крадущееся вопрошание, то наблюдение за собою, самоанализ и humor sui*, то забвение о себе и сосредоточенное погружение в непосредственное переживание предмета.

Но и этого мало. Философ больше, чем всякий другой ученый, должен *овладеть силами своего бессознательного,* очистить их, придать им гибкость и покорность, сделать их совершенным орудием предмето-видения.

В древней философии, и ранее еще, в древних религиях, была выношена уверенность в том, что человеку, ищущему познать подлинную природу высших предметов и ценностей, необходимо осуществлять в постоянной внутренней работе особое *очищение ума и души.* Человечество долго и мучительно отыскивало верные пути к такому очищению. История этих исканий полна глубокой значительности: начиная от аскетических упражнений индийских йоги, искавших духовной чистоты через волевое покорение индивидуального тела, она восходит к греческим мистериям с их искупительными жертвами, покаянием и символическим восхождением от мрака к свету. Древние народы знали государственно-узаконенные обряды, совершавшиеся ради очищения души всякого, ищущего в жизни предметной чистоты. Христианство, сосредоточившее внимание человечества именно на его внутренней жизни, установило посты, учредило исповедальни и очищающие, подъемлющие душу таинства. И когда современная наука в лице князя С. Н. Трубецкого глубокомысленно связывает историю философии с историей религий и мистерий, то она движется по верному пути: ибо *философия с самого начала приняла в себя тот самый предмет, в аффективно-иррациональном переживании которого пребывала религия.* Философия, по слову Гегеля, есть культивирование *религиозного содержания,* но в иной форме — в форме систематического опыта и разумного, очевидного и адекватного, мыслящего *познания.*

Вот почему еще древние философы унаследовали от религии, вместе с предметом, *идею очищения души;* а история превратила ее в глубокую и утонченную традицию. Достаточно вспомнить мистерии пифагорийцев и их деление адептов на «акусматиков» и «математиков»; или учение Гераклита о том, что познание божественного огня доступно только душе, обладающей «сухим блеском»; или требование Парменида об отречении от чувственных восприятий и об обуздании воображения мыслью. Недаром Сократ соединял познание добра с воспитанием души к

добру и, следуя за дельфийским богом, начинал с «самопознания»; недаром Платон чтил мистерии и учил о том, что философ при жизни умирает для земного мира; недаром Аристотель требовал от философа высшей, дианоэтической добродетели. Это искание живет и в новой философии; достаточно вспомнить медитации Декарта или глубокомысленный трактат Спинозы об «очищении интеллекта». Фихте прямо высказывает эту связь между *знанием* философа и его жизненно-духовным опытом: человек выговаривает в философии только то, что он сам творит духом и жизнью; а Гегель дает немало тонких указаний человеку, ищущему подлинного философского созерцания. Наконец, современная наука о душевных болезнях, в лице осторожного и зоркого Зигмунда Фрейда, открывает *психоанализ* как метод, которым человек может не только исцелить и очистить свое бессознательное, но и сообщить своему духу органическую цельность, чуткость и гибкость.

В жизни философа душа является *орудием богопознания*. Естественна и необходима забота о здоровии, чистоте и гибкости этого орудия, о его непомраченности и свободе. Целостно испытать сверхчувственный предмет значит сделать свою душу одержимою им. Но для этого душа должна быть способна к произвольному сосредоточению внимания, к непредвзятому подходу, к целостной преданности предмету, к легкой покорности его зовам и откровениям; она должна владеть — и бурями своих страстей, и своими жизненными предрассудками, и своими житейскими попечениями. Философ должен выковать себе *свободу духа* для того, чтобы наполнить ее силою и славою своего Предмета и на этой силе утвердить энергию своего познания и своего жизненного акта.

Человечество веками вынашивало уверенность в том, что философия есть знание *ценнейших* предметов в их основной сущности; что это знание требует особого, внутреннего нечувственного *опыта;* и что добиваться его адекватности необходимо посредством особого внутреннего *труда* и жизненного *очищения*. И человечество не ошиблось в этом. Все люди различны и своеобразны; каждый чувствует, желает, воображает и думает по-своему; и у каждого желания и чувства руководят воображением и по-

ставляют мысли такой опыт и такие содержания, которые, может быть, субъективно наиболее приемлемы, приятны, а объективно — нередко наиболее неприемлемы. Но, при всей этой пестроте субъективных состояний, *предмет* остается *единым, объективным* и *для всех общим*. Люди различны; но предмет один и истина одна. Отсюда необходимость приспособления субъективного своеобразия к объективной природе предмета, необходимость адекватного «переселения» предметного содержания в личный опыт. Для того чтобы верно познавать, философ должен *жить* так, чтобы его предмет становился его *собственным* жизненным содержанием; он должен *жить тем, что познает;* так, чтобы его *личная жизнь* стала *жизнью предмета в нем*.

Такова основа философии, усмотренная еще пифагорейцами и Гераклитом, выношенная Сократом и Платоном, и возрожденная Спинозою, Фихте и Гегелем. Только через признание и соблюдение ее возможна и *философия*, и *история философии*.

Философия как наука возможна только тогда, если возможен *спор* о ее предмете; а спор есть *предметное* состязание об истине, допускающее с самого начала, что предмет *един* для двух субъектов, то он *общ* им, и что они могут *одинаково воспринять* его, одинаково *зажить* им и *тождественно формулировать* его объективное содержание.

История философии имеет смысл только тогда, если люди, разобщенные душою, эпохою, культурою и языком, пространством и временем — имеют дело с единым, *общим предметом* и могут одинаково переживать его, понимать *видение своих предшественников,* усваивать его и видеть благодаря этому больше, чем виделось ранее; и так накоплять богатство истинного знания.

Философия и история покоятся на *живом испытании сверхчувственных предметов,* и притом *важнейших и ценнейших в жизни человечества*. В этом основная природа обеих наук; отсюда и возможность их преподавания.

6

Все это с очевидностью свидетельствует о том, что философия как наука, основанная на *предметном опыте,*

не только не чужда жизни, но связана с нею глубочайшею и драгоценною связью. Настоящая, большая философия, заслуживающая своего имени и ведущая к действительной мудрости, слагается в предметном переживании им верном познавании тех *ценностей,* через которые самая *жизнь человеческая получает свой смысл и свое значение;* она исследует то, *ради чего человеку и человечеству только и стоит жить на земле;* и исследование это требует от исследователя *подлинной жизни в предмете.*

Именно *опыт* делает философию *наукою* и вводит ее в глубину *жизни.* Ибо наука вообще невозможна вне опыта; она питается опытным переживанием предмета, его *систематическим восприятием и созерцанием.* Систематическое восприятие есть уже, само по себе, *живая и жизненная практика,* воспитывающая душу и населяющая ее предметными содержаниями. Но философ вводится этою практикою именно в те предметные содержания, через которые жизнь человека есть *жизнь,* а не быт, не прозябание и не пресмыкание. Ибо, на самом деле, жизнь человека есть не игра естественных сил и не беспринципная борьба за существование, но *творческий процесс,* протекающий *пред лицом Божиим* и при участии *божественных сил,* живущих в человеке. Жить значит сочетать, соединять подлинную *ценность* с подлинною *силою;* придавать объективно-ценному природу силы и сообщать силе значение объективной ценности и правоты; иными словами: осуществлять *ценность,* как *побеждающую силу* и осуществлять силу, как духовную ценность. Но именно таково признание философии, которая исследует *все* в меру его *божественности* и тем *населяет души людей Божественными содержаниями.* Вот почему она является настоящим источником великих жизненных убеждений, без которых нет и не может быть достойной жизни для человека. Ибо нельзя иметь убеждение по приказу; не стоит иметь убеждение по суеверию или из страха; его можно иметь только по *самостоятельно испытанной очевидности.* И вот, философия, приемля в себя предмет религии, имеет задание открыть *каждому* доступ к *самостоятельному испытанию очевидности* в вопросах *высшего и последнего жизнеопределения.* Этим она соблюдает *автономию личного духа;* но этим она соблюдает и *предмет* религии, преодолевая вся-

ческий нигилизм, релятивизм и беспринципность. Предметный опыт философии есть путь достойный и человеческого духа, и его божественного предмета.

Итак, в основе философии лежит систематическая практика духовного опыта. Однако этот опыт, ведущий философию, совсем не является достоянием замкнутой коллегии ученых. Напротив, философия, посвящающая себя специально этому опыту, может явиться только там, где народ вынашивает или уже выносил зрелый духовный опыт. Быть ученым, быть философом — есть, конечно, состояние личное, индивидуальное; но иметь науку, иметь философию, религию, искусство, нравственную культуру, государство — есть состояние всенародное, национальное. Духовная культура не есть личное, или групповое, или классовое достояние; в своих истинных достижениях она даже сверхнациональна. Но по своему опытному источнику, по своему творческому ритму и по своему своеобразию — она *национальна,* а в пределах единой, духовно сопринадлежащей нации, она *всенародна.* Духовная культура народа определяется тем, живет он духовным *опытом* или нет; и если живет, то в лице большинства, или меньшинства, или отдельных, исключительных индивидуумов; и притом интенсивна и предметна эта жизнь или нет. Этим-то состоянием всенародного духовного опыта определяется и судьба национальной философии.

Так, народ, утративший или выродивший свой подлинный и чистый религиозный опыт, будет жить, вместо религии, пустыми суевериями или мертвыми обрядами; слабый в молитве, немощный в богоиспытании, он будет мертвенно-бесплоден и в *богопознании:* его *философия* будет иметь скудный и бледный сверхчувственный опыт о Боге, а его философия религии будет нагромождать пустые и мертвые выдумки. Подобно этому, народ бессильный в созерцании красоты, с незрелым, больным или изуродованным вкусом, будет иметь убогое, уродливое, безобразное искусство; лишенный о́ргана к прекрасному, беспомощный в художественном творчестве, он будет не в состоянии ни осмыслить эстетическую функцию души, ни осветить мыслью глубину эстетического предмета. Народ, не выносивший зрелого правосознания, не создавший сильной и духовно-верной государственности — не

может иметь подлинной и предметной *философии права:* она зародится только тогда, когда для него придет эпоха великой борьбы за правосознание и за настоящую государственность. Там, где царят грубые, жестокие нравы, где молчит любовь и дружба, где царит корысть и беспринципность, — не расцветет философское учение о добре; ибо *знание* всегда было и всегда будет зрелым завершением *опыта,* а духовный опыт нуждается в национальной лаборатории и возрастает лишь в атмосфере всенародных достижений.

Философ, подобно поэту, художнику и ученому, подобно политику и пророку, питается, — сознательно или бессознательно, volens aut nolens*, — духовным опытом своего народа. Он имеет *родину,* т. е. национальную духовную культуру, в которой сложился его индивидуальный дух, с его любимыми и ведущими предметными содержаниями, с его творческим актом, с его жизненными убеждениями; от этой-то духовной культуры питается — и положительно, и отрицательно — его личный опыт и его личное познавательное творчество. Личный духовный опыт философа в глубине своей связан *происхождением, подобием* и *взаимодействием* с опытом его родного народа; ему удается выработать этот опыт и мобилизовать его, осуществить и осмыслить тем легче и тем продуктивнее, чем выше и зрелее духовный опыт его народа. Совсем не случайно, что есть народы, *еще* не имеющие или *уже* не имеющие своей национальной философии; напротив, это естественно и понятно. Учение о *добре* нуждается в том, чтобы нравственность народа выработала себе известный устойчивый уровень не только порока, но и *добродетели;* и если этот уровень настолько низок, что *совесть* — этот орган испытания добра — пребывает в национальном омертвении и жизненном бездействии, то даже нравственно-гениальной натуре будет трудно подняться до зрелого учения о добре и зле. Подобно этому, философское учение об *истине* нуждается в том, чтобы *научное знание* достигло в других отраслях высокого и зрелого уровня: ибо *теория познания* вырастает только там, где скопился *опыт истины,* а этот опыт вынашивается не одним философом, а *всеми учеными* и *всеми мыслителями* данного народа. Так, сокровищница духовного опыта едина и национальна, и

философ по своему призванию есть его хранитель, углубитель и истолкователь.

То же самое совершается во всех областях духовной жизни: народ создает своим духовным опытом то содержательное богатство и ту духовную среду, в которой зреет и творит индивидуальный дух героя, художника и пророка; народ сообщает своим философам самый подход к духовному опыту, а философ дает своему народу *углубление, очищение* и *осмысление* духовного делания. Жизнь народа слагает ту духовную лабораторию, в которой творит потом его вождь, — чувством, волею, воображением, мыслью и деяниями. Отсутствие духовных вождей свидетельствует о временном духовном оскудении нации; и обратно: ибо духовная жизнь народа и его вождей образует некое неразрывное *предметное* единство. *Страдания народа питают мудрость вождя; подвиги вождя просветляют и очищают мудрость народа.*

Этим решается вопрос о связи между философией и жизнью: ибо жизнь есть *страдание, ведущее к мудрости,* а философия есть *мудрость, рожденная страданием.* Иными словами: жизнь, в ее настоящем, углубленном значении, есть вынашивание и осуществление духовного, метафизического опыта, т. е. опыта, посвященного божественному. Философия, в ее первоначальной, опытной стадии, разлита в душах всего народа. Каждый человек, независимо от своего образования и личной одаренности, становится участником национального философского и метафизического дела, поскольку он в жизни своей ищет истинного знания, радуется художественной красоте, вынашивает душевную доброту, совершает подвиг мужества, бескорыстия или самоотвержения, молится Богу добра, растит в себе или в других правосознание и политический смысл, или даже просто борется со своими, унижающими дух слабостями. Такой человек по *сознанию* своему, может быть, *еще не* является философом, но *по духовному опыту* своему — он *уже* философ. В совокупном, всенародном, духовном делании нет ни одного усилия, ни одного достижения, которое пропало бы даром: ибо всякое усовершенствование, всякое просветление в человеческой душевной ткани незаметно живет, и размножается, и передается во все стороны, никогда не исчезая бесследно.

Здесь драгоценно каждое личное состояние: ибо все поступает в единую национальную сокровищницу духовного опыта. Поэтому можно сказать, что *духовный расцвет народа есть расцвет его философии;* и обратно: где растет и углубляется настоящая философия, там народ уже накопил прочный духовный опыт и продолжает духовно возрастать — там *жизнь* его пребывает на достаточной высоте и высота эта измеряется его *философией.*

Философия родится в жизни духа и от духовной жизни. Поэтому тот, кто желает творить ее, должен прежде всего начать духовную жизнь; он должен *быть духовно.* Но духовное бытие есть такое состояние, в котором душа *любит* божественные предметы, *радуется* им и *творит* их. Поэтому философ должен прежде *быть духом* и *действовать в духе;* и только это может дать ему *подлинный предметный опыт, энергию мысли* и *право на знание.*

Ибо философия больше чем жизнь: она есть *завершение жизни*; а жизнь первее философии: она есть ее источник и предмет.

III

О ВОЗРОЖДЕНИИ ФИЛОСОФСКОГО ОПЫТА

1

Когда историк позднейших поколений — через сто или более лет — будет останавливаться мыслью на нашем времени, то он будет изображать его, как эпоху *великой духовной смуты.*

И он будет прав. Потому что человечество в наши дни действительно переживает *смутное время.* В результате долгого предшествующего процесса, истоки и развитие которого далеко еще не опознаны, — души людей замутились и всюду воцарилась, по слову русских летописей, «шатость в умах». Человечество в своей массе, т. е. в большинстве составляющих его индивидуальных душ, *оторвалось от духовной почвы* и потеряло органическую живую связь с самым *корнем духовной жизни.* Современный человек не испытывает *главных, священных предметов,* не любит их, не внимает их зовам, духовно не питается ими и не строит ими своего миросозерцания, своего характера, своего жизненного делания. Может быть, он не видит их потому, что не любит их; но может быть и обратно — он не любит их потому, что разучился испытывать и видеть. Во всяком случае он часто настолько не видит их и не любит их, что совсем перестает верить в то, что они *вообще имеются и обстоят.*

Но именно поэтому в душе современного человека или не остается *ничего священного* или же *ничтожное* приобретает значение главного и руководящего. Души людей или духовно слепы и пустынны, и тогда они живут инстинктом, наподобие животных; или же они близоруки и увлечены тленом, и тогда ими владеет судьба всего тленного и

суетного. Но именно поэтому в них нет *духовно-состоятельных* и *предметно-непоколебимых* основ и граней: ни неба, ни звезд, ни горизонта, ни достижения. Нет того, чем действительно стоило бы жить и за что, именно поэтому стоило бы и умереть; нет безусловного любимого, и потому нет священного огня и священного гнева; нет тех высших обязанностей, обязательность которых была бы субъективно-равносильна *неизбежности;* нет и безусловных запретов, от прикосновения к которым душа трепетала бы. Современный человек совсем не живет *духовными необходимостями,* но вращается в пестрых, условных и относительных, не связывающих возможностях. Думать, желать, воображать, говорить, слагать стихи и музыку, поступать — всякий волен по своему усмотрению; и все, что бы и кто бы ни сделал, будет одинаково «условно хорошо» и «условно дурно». Ибо современный «культурный» человек настолько «умен» и «образован», что для него давно уже *все условно* и *относительно;* и чего-нибудь абсолютного, или хотя бы просто безусловно верного — для него нет и быть не может. Добро и зло, право и бесправие, высокое и низкое, правда и ложь, злодеяние и геройство — все это до такой степени спорно, субъективно и условно, «зависит от взгляда и вкуса», что не только *доказать,* но и *различить* здесь что-нибудь — невозможно.

Но именно поэтому за пределами повседневного быта, его мнимых благ и двусмысленных принципов — современный человек не видит ни *смысла жизни,* ни *цели жизни,* и не ищет их, и не думает о них. Его воля, внутренно раздробленная и ослабевшая для духовных побуждений и мотивов, гонится за теми мелкими целями, которые подсказываются ему личными потребностями и страстями, и которые на самом деле не строют жизнь, а только разрушают ее. Ибо за мелкою целью укрывается мелкая, но упорная страсть и извилистая, беззапретная линия поведения. Вихри мелких целей и страстей скрещиваются, ожесточенно борются, условно и временно, полупредательски солидаризируются, вредят друг другу, государству, культуре, человечеству — и уносятся временем в то накапливающееся прошлое, которое чревато для всех нас и для наших потомков грядущими бедами.

И в основе всего этого лежит какая-то наследственная духовная разочарованность у людей, никогда и не испытавших того, от чего они отвернулись, наивно поверивших, что духовная слепота есть признак умственной зрелости и бескрыло разлюбивших духовный полет. *Человечество перестало испытывать, видеть, любить и творить главные, священные, зиждущие предметы; оно не верит в их объективную реальность, в их исследимость, в их сущую прекрасность,* в их *самоценность,* в их *жизненную силу,* в их *спасительность.* И отсюда всеобщая смута, всеобщая шатость, духовное разложение; подлинное горе от мнимого ума.

Слагается порочный жизненный круг: от слепоты беспомощность; от беспомощности несчастность; от несчастности ожесточение, от ожесточения слепота. А для того, кто духовно слеп, всякое искушение непосильно и все зовы зла неотразимы. Затруднения пространства и времени, законы инстинкта и хозяйственные механизмы — доделывают остальное и человечество сползает вниз по наклонной плоскости.

2

При таком положении дел и при наличности такого духовного диагноза, философия наших дней должна выступить и установить, что вопрос *об объективной реальности и объективном значении духовных предметов* есть вопрос *философический* и что разрешить его помимо философии, ее опыта и ее исследования — невозможно; во всяком случае — претенциозно, легкомысленно, несостоятельно, смешно. Природа добра, художественной красоты, истины, права и государства, и вообще всех содержаний, совместно слагающих духовно-зримую земную ризу Божества, — исследуются философией и *только* философией; это предметы *ее* специальной компетенции; это вопросы *ее* ведения и *ее* решения. Сомнение в бытии этих предметов есть *философическое* сомнение, которое обязано осознать свою природу; отрицание этих предметов есть решение философического вопроса, философски даже не поставленного теми, кто якобы решает.

Философия должна установить здесь свою непререкаемую компетентность и далее явную некомпетентность некомпетентных; и вслед за тем поставить весь вопрос заново и по существу.

Ибо, в самом деле, здесь древняя, исконная, неоспоримая домена философии; здесь ее, именно *ее* опыту открытый, предмет; здесь ее тысячелетняя лаборатория; здесь ее служение, ее сила, ее заслуга и слава. В этой лаборатории все драгоценно и утонченно, все требует облагороженного подхода, очистительного напряжения, предметной сосредоточенности и духовного горения; здесь все сложно, глубоко и ответственно; и *каждый* человек без исключения, по самой духовной природе своей, должен добыть, заслужить, выработать себе доступ в нее. Опасность здесь, конечно, в том, что каждый человек приобретает этот доступ *в самом себе* и *через самого себя,* в темной непосредственности своего одинокого самоуглубления; и потому он оказывается почти *безнадзорным* и *бесконтрольным* в своем внутренно-духовном делании; во всяком случае — недоступно замкнутым для большинства. В своей душевной и душевно-духовной жизни каждый человек уединен и непрозрачен; и трудно бывает людям сказать о чужой душе — пещера ли это, в которой тлеет колдовской огонь, или келия, в которой возжена молитвенная лампада. Высказываясь о духе, человек может или совсем не подозревает, что тут нужен особый духовный подход, что здесь особый *опыт,* требующий особой культуры; или, зная это, он может вообразить, что он уже приобрел этот опыт или даже удостоверился в чем-то, тогда как на самом деле он ничего не испытал и ничего не увидел. Ибо иметь естественное право на духовный опыт и естественную способность к нему не значит еще осуществлять это право и укреплять эту способность.

И так возникает эта, столь распространенная в наши дни, духовная болезнь, сочетающая *самоуверенную претенциозность* в вопросах духа с *наивною слепотою.* Судящие о духе оказываются *само-уверенными,* ибо без общения с предметом, уверенность не может стать *предметно-уверенною очевидностью.* Они *наивны* потому, что не просто не знают духовных предметов, но не знают и об этом своем незнании; и, дважды не знающие, *слепые* и к предмету и к

себе, они судят о нем так, как если бы они все видели и знали. Но именно поэтому они *претенциозны,* ибо, неосновательно полагая, они утверждают небытие духовных предметов, тогда как на самом деле они не имеют основания утверждать ни их бытие, ни их небытие.

Так слагается духовная язва нашего времени — эта самодовольная слепота в восприятии земных риз Божиих; имя этой слепоте — *пошлость.*

3

Этой наивной и претенциозной слепоте философия должна противопоставить *подлинный и предметный духовный опыт.*

Но для этого ей самой необходимо осуществить некоторое самопреодоление.

За последние полвека философия сама почти не работала в своей настоящей лаборатории. Пережив кораблекрушение в морях немецкого идеализма, пройдя через пустыни материализма и узкого позитивизма, философия вернулась домой растерянная и напуганная, удрученная теоретико-познавательными страхами и подавленная неокантианскими вопросами и запретами. Долгое время она не решалась войти в свою лабораторию и подойти к своим драгоценным предметам. Она предалась многолетней гносеологической рефлексии. Ей все казалось, что знание о знании предшествует знанию предмета; что, не изучая самого предмета, можно и должно сначала узнать о том, что такое *знание* и что такое «предмет вообще»; что опытно пустая или не воспитанная душа может извлечь из себя что-то необходимое для знания и науки. И вот, она долгие годы рассматривала свои основные логические категории, принимая их за «орудия» и «инструменты» своей лаборатории: то сомневалась в их пригодности, то чистила их, то располагала их в известном порядке и любовалась ими; то она принималась доказывать себе, что ими можно сделать кое-что, хотя и не главное; и — ничего ими не делала; и вслед за тем она пыталась высказать нечто о предмете, но не *из* предмета, а из анализа своих «орудий» apriori и т. д. И все это происходило, по-види-

мому, оттого, что философия, оторвавшись от предметного опыта, сама потеряла живую уверенность в бытии и в объективности своих предметов; и уже казалось, что, может быть, и в самом деле их нет, как нет и насыщенного ими опыта, а есть только условно допущенные сознанием, имманентные сознанию, предметно-образные содержания...

Эта *гносеологическая рефлексия, не вскормленная живым общением с предметом, была обречена на несущественность, отвлеченность и бесплодность.* Живой опыт философического знания не культивировался; плыть, не вступая в воды предмета, не удавалось, и абстрактные рассуждения о неосуществляемом плавании, были беспредметны и мертвы. Люди, говорившие от имени философии, теряли самое главное — *предметную интенцию* и заботились более всего о *непротиворечивости* и *систематичности* своих произвольных построений, так, как если бы непротиворечивость и систематичность самого предмета были им уже известны с самого начала. Эти рассудочные комбинации обходились без духовного опыта, и соответственно с этим духовная жизнь не получала от них ни углубления, ни чистоты, ни содержательного научения. Понятно, что такая философия только разочаровывала живые души в духовных путях и предметах, и этим только содействовала углублению современного духовного кризиса.

Итак, чтобы помочь человечеству выйти из духовной пошлости, философия должна сначала сама выйти из мертвенной пустоты и отвлеченности. Она должна мужественно и спокойно вступить в свою древнюю лабораторию и предаться со всею сосредоточенностью, энергиею и чувством ответственности — *исследованию своих основных духовных предметов.* Праздное конструирование возможных и субъективно привлекательных комбинаций должно замениться выдержанным и героическим исследованием *по существу.*

Это значит, что философии предстоит опять положить в основание своей работы *духовный опыт* и для этого *философы должны взрастить его в себе во всей его подлинности и требовательности.*

Ведь настоящая философия ничего не придумывает, не устанавливает произвольно и не строит воздушных зам-

ков по личному вкусу и усмотрению. Она исходит от особливого и утонченного, но *подлинного и предметного опыта,* добывая его, взращивая его, очищая и познавательно эксплуатируя его, так, как это подобает настоящей науке. С этим опытом она связана как с единственным источником материала, как со своею плодоносящею почвою. Через него она получает и берет свой предмет. Без него она пуста, мертва и даже зловредна.

Этот опыт, как и во всех науках и во всей человеческой жизни, переживается *личною* душевною и душевно-телесною тканью; и постольку он неизбежно и неизбывно *субъективен.* Но эта субъективность характеризует только общий способ взятия и осуществления и сам по себе отнюдь не предустанавливает искаженность или ложность взятого содержания. Так, например, испытать логическое понятие значит испытать его лично, пережить его субъективно; но это совсем не значит пережить его искаженно или испытать его ложно. Испытывающий добро и зло еще не обречен тем самым на ошибку; и ликующий от прикосновения к художественной красоте, может быть, пережил ее предметно. Субъективность означает *возможность* заблуждения; но *не* означает *необходимости* искажения. Субъективизм опыта, бесспорно, *опасен* для предметности; но совсем *не враждебен* ей при условиях и тем более не несовместим с нею.

Однако *личный* характер философического опыта не следует рассматривать только как грустную неизбежность, это есть в то же время первая гарантия его подлинности. То, что философ исследует, он должен испытать *сам,* не полагаясь ни на кого другого и на чьи показания. В общении с предметом никто никому никого не заменяет и заменить не может; такой общий закон духа, духовной культуры, всей науки и — в частности — философии. Самое правдоподобное известие из самых добросовестных уст не может освободить исследователя от приобретения собственного, *самостоятельного* и *непосредственного* предметного опыта. А в философии, где всю работу предстоит начать с самого начала, это требование получает особенное значение. Кто бы, например, ни уверял меня, что совесть дает разным людям разноречивые показания, — я должен сам покрыть это лично-подлинным опытом, не

заменяя его ни домыслом, ни воображением. Да и кто же, будучи серьезным философом, поверит другому на слово, что два противоречивых тезиса могут быть вместе истинными, или что здоровое правосознание допускает предательство, или что религиозность по природе своей лицемерна — поверить и не поспешить проверить и покрыть это лично-предметным опытом? Решение придет, конечно, не от личного испытания, *как такового;* хотя *без* него оно тоже не может состояться. Решение придет от некой, имеющей центральное значение, *встречи* между *подлинным составом личного субъекта* и *подлинным содержанием духовного предмета,* встречи, имеющей произойти в функции и в терминах лично-душевных сил.

Эта встреча и порождает необходимый для философии подлинный и предметный духовный опыт.

4

Именно *подлинность* философического опыта открывает его первоначальную, исходную *онтологическую* природу.

Все, что состаивается и живет в субъективной душе смертного человека — все имеет психическое *существование,* но не все имеет духовное *бытие.* Ибо духовное бытие отличается от существования по природе своих *содержаний* и соответствующих им способностей, по *способу* своего *обстояния,* по своей *подлинности* и *силе.* Для того чтобы убедиться в этом, необходимо, конечно, приобрести самый *опыт бытия;* исходить же из одного опыта существования как такового совершенно недостаточно.

Качественное отличие бытия от существования в человеческой душе определяется прежде всего объективною *разнозначительностью* ее содержаний и способностей.

Так душа человека может жить (и слишком часто живет) — *ничтожным* и *по-ничтожному.* Она не различает того, что *на самом деле* есть *главное* и *самоценное* в жизни, от того, что на самом деле в жизни не существенно, не самоценно, второстепенно или совсем незначительно; и, не различая, она обращается к субъективно-важному, нравящемуся и приятному, как если бы оно заслуживало настоящей преданности. Тогда жизнь ее слагается так, как если бы мир имел одно только измерение, определяющее-

ся ее личными удовольствиями и страстями, или соответственно удовольствиями и страстями других людей. И весь остальной состав жизни и мира, измеряющийся высшими, объективно-значительными мерилами — достоинством, величием, благом, красотою, свободою, ответственностью, правом, умудряющим страданием и смертью — для нее, субъективно, как бы не существует; она его не видит, им не живет, отвертывается от него. Она живет ничтожным: поверхностными содержаниями и незначительными целями, превращая для себя пустяк в главное и воспринимая главное как пустяки. В лучшем случае она прилепляется к ничтожному тою страстною преданностью, которая соответствует и подобает объективно-значительному; она творит кумира. В худшем случае самое предпочтение ее остается столь же ничтожным, сколь ничтожен ее предмет: она *поверхностно* относится к *незначительному,* не входя в глубокие и цельные отношения к существенному и главному. Все ее жизненные содержания оказываются духовно праздны и ненужны; это шелуха без зерна, видимость без сущности, *существование без бытия:* они в высшем смысле *беспредметны.* И жизнь ее протекает в столь же праздном и ненужном перебирании этих беспредметностей, в состояниях эфемерных, духовно бесследных, религиозно мертвенных, слагающих омут скуки и ничтожества; такая душа *существует,* но, по-видимому, *не имеет бытия.*

Для того чтобы *быть* и иметь *опыт бытия,* необходимо жить существенным и по-существенному, *главным* и *по-главному;* для этого необходимы содержания *другой* природы и соответствующие им *другие* состояния. Для того чтобы приобрести опыт *бытия,* человек должен найти в себе те силы и способности, которыми воспримлется, переживается и творится *объективно-значительный состав мира в жизни;* и далее он должен сосредоточенно — цельно и интенсивно — зажить этим новым предметом, превращая его в центр или фокус своей жизни. Тот существенно-главный состав мира и жизни, через присутствие которого и жизнь и мир являются ризой Божией, предметною тайною, насыщенным иероглифом — этот состав дается *каждому* человеку, но усматривается, ищется и берется сравнительно *немногими.* Он может быть взят толь-

ко тем, кто повернется к нему *главным* центром своей личности, последними истоками и корнями своей любви и воли; *главное в предмете* отзывается только на *главное в личной душе* и, отозвавшись, оно вовлекает этот центр личного духа в такие состояния, закономерности и связи, которые в свою очередь оказываются *главными* для всей остальной жизни и судьбы человека. У каждого человека есть некоторые *духовно-главные* силы и способности, которыми он, напрягая их *по-главному* и центрально отдавая себя, может воспринять *существенно-главный* состав мира и жизни. Для того чтобы совершить это — необходимо: обрести в себе исходную, первоначально-данную сферу духовного бытия; перенести в нее центр своего жизненного внимания и делания; подчинить этому духовному центру в себе все остальные цели и задачи и обратиться всею энергиею своего существа к тем особым содержаниям, которые откроются этим духовно-главным силам и способностям души. Обратившись к ним так, человек будет не только «наблюдать» и «замечать» в интересах описания и познания. Нет; он начнет *по-новому быть.* И эта сфера *нового духовного бытия,* погашающая пустоту былого существования, даст ему *философический опыт* и откроет ему доступ в философическую лабораторию.

Для того чтобы познать духовный предмет, необходимо самому духовно быть и организовывать в себе подлинный духовный опыт.

Ибо содержания, исследуемые философиею, имеют особую природу, особое качество, особые измерения. Нельзя испытывать, описывать и познавать их, не имея для этого необходимых и соответствующих духовных органов. Эти духовные органы — очевидность, совесть, правосознание, художественное видение, любовь — в зачатке и в возможности большего, даны каждому; но они должны быть укреплены, приспособлены, изощрены и поставлены в центр жизни тем, кто желает посвятить себя философскому знанию. И тот, кто переместит свой жизненный центр в эти способности и в их осуществление, не только обновит *качество* своих жизненных содержаний, но приобщится новому *способу* быть, с его особою *подлинностью,* своеобразными *законами* и исключительною *силою.*

5

В зачатках очевидности, совести, правосознания, художественного видения и любви каждый человек *уже* имеет в себе особый *способ бытия* — modus essendi spiritualis*. От него зависит усмотреть этот способ, принять его и им построить свою личность; или оставить его без внимания и пребыть в ничтожестве существования; или же, наконец, усмотрев эти способности, отвернуться от них, возненавидеть их и утвердить свои личные силы на их гонении и попрании. Первый исход осуществит бытие духа и во благе; третий — бытие духа во зле. Второй исход явит самоопределение духа к существованию вне бытия.

Духовная способность уже и в первоначальном, глухом, неосознанном, не укрепленном своем состоянии, отнюдь *не пуста* и *не бездеятельна*. Но *содержание* ее остается неуловимым для личного сознания и потому проблематичным для него, не определяемым, часто томящимся и томящим душу; а *деятельность* ее остается непризнанной, часто подавленной и потому слабой, неуверенной, отчетливо выступающей только в отрицании — например, укор совести, эстетическое отвращение, критика чужой познавательной ошибки. Однако и в таком виде духовная способность есть *живая сила личного бытия,* чреватая, как сила, всем дальнейшим ростом и формированием. Это есть некая глубокая бессознательно-духовная сфера реальности в человеке, к которой ее носитель не умеет или не хочет обратиться; но именно к ней с изумительной уверенностью обращались и всегда будут обращаться духовные вожди человечества безошибочно ведая чужое сердце и призывая чужую волю к духовному перерождению. Человек *искони* имеет в себе духовное бытие; ему представлено определить себя к нему и утвердиться в нем, или предпочесть иное. Но в этом духовно-эмбриональном состоянии он *уже* причастен и бытию, и предмету, подобный морю, таящему на дне своем кораллы и жемчуга, которые суть *в* море, и *через* море и *из* моря — но сами не суть море.

Понятно, что духовное бытие крепнет и расцветает в душе и начинает перерождать всего человека, как только он обращается к духовным предметам, приемля их и предаваясь им. Этот процесс состоит в том, что человек,

отправляясь от первоначального зерна своей духовной реальности, осуществляет систематическое *единение* с духовным предметом, доводя это единение до *сущего единства,* до *живого тождества.*

Для этого необходимо взять предмет живым опытом, пережить его не в предположении или в гадании, а стать лицом к его лицу и утвердить его в себе *онтологически.* Тогда человек вводит духовный предмет в ткань своего собственного существа, но так, что предмет поглощает душевные силы субъекта, занимая собою всю его восприимчивость, заполняя весь его внутренний горизонт, превращая всякое само-чувствие в *предмето-чувствие.* Все, чему субъект может внять, т. е. все, что он может «принять внутрь», — сводится к предмету, на который и переходит не только опытно-познавательный, но и онтологический центр тяжести. Субъект чувствует себя так, что для него самого в нем самом не осталось места из-за предмета; предмет как бы «стал», а субъект как бы «прекратился»; на самом же деле в субъективной, душевно-духовной или даже более телесно-душевно-духовной ткани развернулось *содержание* предмета с его особыми законами и с его живым ритмом. Субъект насыщается духовным предметом так, что *заживает им, как самим собою;* он не отрывает себя от него, не противопоставляет его себе; и когда отличает его вообще от себя, то это состояние рефлектирующего разделения определяет сам, как состояние отпадения, неполноты, недостаточной духовности; ибо полнота духовного опыта определяется, как *живое тождество духовного предмета и субъективного духа.*

Человеку в обыденной жизни свойственно, как это не раз отмечалось в психологии, непроизвольно вживаться, сосредоточенно вчувствоваться в содержания опыта, уходя в них до самозабвения или даже художественно отождествляясь с ними. Эта душевная способность, вообще говоря, может ускользнуть от духовного контроля, стать нецелесообразным, капризным психическим механизмом и привести человека к неприятным истерическим явлениям или даже психонейрозам. Но, руководимая и организуемая духовно, эта способность является драгоценнейшим духовным даром к саморасширению, самообогащению и духовной объективации. Все великие свершения в духов-

ной истории человечества были осуществлены именно ею; и в частности, настоящий философический опыт состоит именно в *осубъективлении духовного предмета* и соответственно в *опредмечении философствующего субъекта;* в результате этого единения *предмет онтологически овладевает субъектом,* и благодаря этому *субъект познавательно овладевает предметом.*

Тайна подлинного, великого философического опыта состоит в том, что *человек лишь постольку познает философский предмет, поскольку приобщает ему самые корни или истоки своего духовного бытия.* Чтобы познать духовный предмет надо быть или стать *сродни ему;* надо уподобиться ему, приобрести его существенные свойства, стать его живым органом, его верным эхо, его адекватным медиумом, его творческим носителем. Искренно, интенсивно и цельно переживая какой-нибудь духовный предмет, человек оказывается *одержимым* этим предметом; и если он изволением своего духа приемлет эту одержимость, то он сам становится *видоизменением предмета.* Он и предмет его — суть одно; он пребывает в своем предмете; им предмет его пребывает в нем, но предмет свой он испытывает как нечто большее искры, субстанция больше модуса, всеобщее больше единичного, род больше вида, родина больше патриота. Философский опыт дается только через *самоотождествление духа с предметом,* и притом не через условное или воображенное, или обставленное обессиливающими резервациями отождествление, но через безусловное, реальное, определяющее жизнь и судьбу личности. Философический опыт, как и всякий опыт, должен быть *познавательно предметен;* но он может быть познавательно предметен только тогда, если сам носитель его станет *предметным по бытию.* В этом смысле *философская гносеология* есть подлинная *онтология:* ибо философу необходимо предметно испытывать, чтобы верно знать; и предметно *быть,* чтобы верно испытывать.

6

Подобное доступно подобному и открывается только ему. Если бы в составе человеческого существа не было

материи, то ему нечем было бы испытать, увидеть и познать материальную природу внешних вещей: человек до известной степени сам есть вещь и только благодаря этому он может стать естествоведом. Только существо, имеющее *душевное* бытие, способно испытывать и постигать психическое как предмет: способ бытия объекта и способ бытия субъекта должны быть однородны для того, чтобы состоялся предметный опыт. Так обстоит и в духовной лаборатории: если бы в составе человеческого существа не было духовного способа бытия, то ему *нечем* было бы испытать, увидеть и познать духовную природу «внутренних» предметов; человек, не живущий своим духовным составом и потому лишенный духовного опыта, будет обречен на беспредметность, и «достижения» его будут пустою и вредною мнимостью. Именно поэтому *художник,* мертвый духом, будет всегда поэтом пошлости и никакая «талантливость» не спасет его от этого, не заполнит его пустоты и не выведет его на стезю величия; и подобно этому *правитель,* не живущий духом, всегда будет недооценивать духовную автономию как основной закон индивидуального и общественного бытия, и всегда будет склонен пренебречь политикой воспитания и обратиться к деспотическому подавлению свободы; и подобно этому духовно слепая *наука* всегда будет превращаться в ворох ничтожных мелочей, в беспринципную лабораторию, обслуживающую личную жадность и общественный порок.

Но именно поэтому и философ, духовно пустой, слепой и мертвый — есть *не* философ, а софист и лицемер, порочный фантом. Ибо есть звания и призвания, *обязывающие* к интенсивному и цельному духовному бытию: таковы звания священника, пророка, художника, ученого и правителя. Только духовный опыт открывает человеку природу Божества, дает ему доступ к эстетическому предмету, вводит его в предметный ритм мира, указует ему высшие цели жизни и раскрывает перед ним самое естество человеческого духа в его основных свойствах и законах. Но именно таково и дело философа, сосредоточивающего в себе и религиозный, и художественный, и научный, и нравственный, и политический, и педагогический опыт — весь духовный опыт, во всем его объеме, для его *научного раскрытия.* И подобно тому как священ-

ник, художник, ученый и правитель, пребывая на высоте своего звания, являются *живыми очагами духовного бытия,* излучающими огненную энергию, так и все настоящие философы, от Конфуция и Гераклита и до наших дней, всегда были и всегда будут излучателями духовной энергии, очагами подлинного бытия: ибо они являются живыми средоточиями духовного опыта.

Подлинный духовный опыт уже предполагает в душе человека известный минимум духовного бытия и в свою очередь сообщает ей онтологическую *полноту и силу.* Приемля божественный предмет «всем сердцем, всею душою и всем помышлением», человек устанавливает в себе некое *нерасторжимое живое единство с предметом,* которое обновляет его и *делает его чем-то несравненно большим, чем он был сам по себе.* Целостное наполнение чувства — делает его чувство *предметным;* целостное приятие волею — делает его волю *предметоодержимою;* поглощенное воображение — видит невиданное; насыщенная мысль — мыслит из неизреченной глубины; органы внешних ощущений различают за преходящими видимостями вещей сокровенную предметную сущность. Вся душа заживает природою Предмета, как своею собственною, утверждая *его* содержание, как *свое* и обновляя тем свои побуждения, свои мотивы, свои мерила, отношения, решения и дела. Предмет своим лучом как бы пронизывает и прожигает душу до дна, сожигая в ней противопредметное, разоблачая беспредметное и насыщая своим светом, своею интенсивностью и чистотою все остальное. Прожженная этим лучом, душа приобретает тот «сухой блеск», о котором свидетельствовал Гераклит, и сама становится как огненный уголь. Эта огненность уже не есть просто ее личная страсть, но *интенсивность Предмета, сущего в ее виде:* она и разгорается и угасает не своею склонностью и несчастностью, но мерою самого предмета. Жизненный ритм одухотворенной души есть *предметный* ритм, подобно тому, как предметен ритм движений в художественном танце. Подобно адаманту, чуть видному в темноте, но ослепительному в солнечном луче, человеческий дух приобретает неописуемую самобытность и являет сверкающую силу именно тогда, когда он *целостно одержим очевидностью духовного Предмета.* Тогда его ум приобретает, по слову

Антония Великого, свою «умную силу» и становится тем «боголюбивым умом», любомудрие которого действительно заслуживает великого имени *философии*.

Настоящий философический опыт всегда состоял в *одержимости души духовным Предметом;* настоящее философское видение всегда доводилось до *очевидности духовного Предмета*. И в основе этой одержимости всегда лежала страстная преданность Предмету, именуемая *любовью,* которая и порождала необходимые напряжения *воли* в испытании, созерцании и познании; и естественно, что воля, доведя Предмет до очевидного переживания, оставалась верною ему и далее: и в слове, и в поступке, и в смерти.

Именно этим объясняется то исконное единение между философией и религией, которое превращалось в их живое и жизненное единство у всех великих учителей и религии, и философии. Это единство определяется формулой: *целостная духовная предметность души*.

7

Естественно, что зрелый философический опыт, доведенный до надлежащей интенсивности, цельности и предметности, сообщает человеческому духу целый ряд свойств, черт и способностей, проявляющих подлинность его бытия.

В духовно-предметном опыте человек находит основу для *верного само-утверждения:* в нерушимое основание своего существа он полагает некое объективно-определенное содержание, которое само по себе *заслуживает* цельной преданности и вот, действительно, эту заслуживаемую преданность от него *получает*. Вживаясь в это предметное начало и вживая его в себя, человек преобретает уверенное чувство своей *объективной правоты в главном:* он утверждает свое сродство с объективным благом, свою однородность и, в конце концов, свое живое единство с ним. Этим он упрочивает в себе *чувство собственного духовного достоинства* и приобщается тому уравновешенному уважению к своему личному началу, незримое присутствие которого предохраняет его от падений и заставляет других людей питать к нему невольное почтение.

От постоянного и напряженного общения с предметом в его душе возникает *живой центр духовных содержаний* как бы алтарь или храм личного духа, от которого и к которому движется вся его жизнь. Духовный предмет *центрирует личную душу, сообщая ей такую центральную* ценность, которая образует в ней лоно подлинного личного бытия. В нем личная душа имеет критерий истинной реальности; сюда она спасается от пугающих призраков земного существования, чтобы удостовериться в их небытии; здесь она почерпает силу в минуту слабости и страха; отсюда она решается и идет на смерть. Этот центр управляет личною жизнью; или, вернее, *личный дух сам управляется из этого центра.* Руководимый из него «даймоническими» указаниями, философический дух является *автономною* и в то же время *предметно самоопределяющеюся силою.* Предметный центр его личности господствует в нем и он не противопоставляет себя ему; поэтому этот предметный центр есть его *власть,* и в то же время это *он сам;* сила этой власти есть его собственная сила, но эта сила несравненно больше той силы, которою он располагает вне этого центра и помимо этой власти. Предметный центр сообщает человеку некую сверхобычную духовную мощь, простирающуюся и на него самого, и на других людей. И, пока человек пребывает *в* своем предметном центре и живет *из* него, он не испытывает его как инобытие; — он воспринимает его *сверхличную* природу лишь с того момента, как он внутренно из него выходит. Именно поэтому даймоний Сократа давал ему одни только отрицательные указания.

Зрелый духовно-предметный опыт, властно центрируя человека, превращает его жизнь в *самостроительство,* а его творчество — в *предмето-осуществление;* в действительности же то и другое совпадает: он чувствует себя подлинно-живущим только в предметном творчестве и, обратно, предметы реализуются именно через то, что он сожигает в их становлении свою жизнь. Его жизнь есть в сущности — жизнь Предмета в нем; так, что исходя от субъекта, можно сказать: личный дух созидает себя при помощи Предмета; а исходя от объекта, можно сказать: Предмет созидает себя при помощи личного духа. При этом единственность предметного центра и главенство его над личною перифе-

рией ведет к тому, что искра предметного огня пронизывает все слои личности и властно сверкая в ее проявлениях придает ей черту высшей *искренности,* прозрачности, правдивости и прямоты. Личный дух, живя из Предмета, не двоится, не колеблется, не делится на обманные фантомы и не распыляется на множество ничтожных случайностей: он обнаруживает подлинную неделимость и выступает в качестве *организованной индивидуальности.*

Таким образом, духовный опыт сообщает философу черту преимущественной и высшей силы. Дух, утвержденный на Предмете, является не рыхлою средою, не «жидким» началом и не «сыпучим» телом; жизнь его не течет, не обсыпается и не растворяется, она развертывается в ряд предметных поступков, в неуклонное духовное восхождение. Не его вовлекает, заражает, влечет и гонит поток обстоятельств; но он останавливает собою все воздействия, идущие от инобытия, преломляет их, отбирает, приемлет или отвергает и, формируя, направляет по-новому. Не поводы его подчиняют, а он создает новые причины; ибо он есть больше, чем естественный итог скрестившихся причинных рядов: в нем живет творческое начало, от которого завязываются и уходят в будущее ряды причин и воздействий. Воля его, конечно, не имеет абсолютной свободы; но она всегда сохраняет *свободу неограниченно-превозмогающей силы:* она способна двигаться по линии *наибольшего сопротивления* и, осуществляя это движение, она обнаруживает этим свою независимость — свое единство с предметною необходимостью и тем самым свою *предметную свободу* по отношению к чужеродному инобытию.

Это можно называть, если угодно, «силою воли»; однако это есть нечто большее, ибо *сила* ее утверждена здесь во *благе.* Это можно называть и «характером», но *предметным* или *духовным* характером. Ибо духовный опыт воспитывает не просто «сильную» личность, но личность, сильную в предметном служении, которая потому сильна в служении, что служение принято ею добровольно, стало ее свойственною сущностью и превратилась в свободное горение. Именно через это она сделалась больше, чем она сама.

Вынашивая и выносив в себе духовно-предметный опыт, философический дух приобретает особый закономерный жизненный ритм — в чувствовании, в восприя-

тии, видении, мышлении, слове и действии — который нередко делает его для других странным, темным, недоступным — то чудесным и неотразимо привлекательным для одних, то неприятным и ненавистным для других. Своеобразие этого личного строя выражается нередко в самом отношении личного духа к его собственному телу — в этой преимущественной властности, независимости, в способности к забвению, отвлечению, не чувствующему уходу. Пребывая в духовном опыте, человек способен не страдать от того, что неизбежно вызывает страдания в других, радоваться без явных причин и испытывать глубокий покой там, где другие изнемогают от мертвящего страха. Имея в себе и перед собою предметную градацию целей и ценностей, он слагает свою жизнь не из субъективных «возможностей», но из духовных «необходимостей», так что он чувствует себя правым только тогда — но тогда уже *окончательно* правым — когда выбирая и решая пред лицом центрального алтаря, он иначе не может и не хочет, и не может иначе хотеть и не хочет иначе мочь. Именно это центрально-предметное судилище выводит его из царства внешних случайностей и безначально-хаотических внутренних возможностей и уводит его к духовной *необходимости* жизненного ритма и жизненных свершений. Именно это судилище делает его самого компетентным судьею, придавая ему способность к неличным оценкам, противоличным решениям и сверхличным поступкам; именно оно ведет его к заниманию окончательных, недвоящихся позиций и научает его пренебрегать вопросами пользы, опасности и смерти. Вступая в эти высшие необходимости по добровольному приятию их через самоотождествление с их источником, он сливает свою личную судьбу с земною судьбою своего Предмета; он утверждает себя в качестве его живого органа и его *победу* полагает в *своей* верности ему. Ибо духовный опыт учит что сущая победа может иметь обличие внешнего поражения и что духовное поражение может принять видимость внешней удачи. На самом же деле духовная, т. е. сущая победа всегда остается за тем, кто был предметно прав и пребыл до конца в верности предмету. Вот откуда у великих философов возникает этот непоколебимый оптимизм; эта уверенность в том, что с ними не может слу-

читься никакого зла; это спокойное настаивание на том, что победа обеспечена и что поражение невозможно. Этот оптимизм порожден не земною близорукостью или неверным внешним наблюдением; но духовною дальнозоркостью и верным созерцанием Предмета. И древний грек, начертывая на могиле Леонида бессмертное двустишие, провозглашавшее бессмертие умерших, был движим именно этим созерцанием высшей духовной реальности. Именно в предметной правоте человеку дано обетование и осязание подлинного бессмертия, превращающего самую смерть в потенцированное духовное бытие.

Так, недвоящийся духовный ум есть подлинная основа сильного характера, есть подлинная основа философического опыта. Настоящий философ выговаривает только то, что составляет содержание его духовного опыта; он утверждает, прежде всего, свое предметное бытие; удостоверяет его своим предметным деланием; и затем формулирует увиденное в своем предметном философствовании. Таков смысл этого основного философского правила: «primum esse, deinde agere, postremo philosophari»*. И только соблюдая это правило можно понять, почему Конфуций утверждал, что Тао** есть источник силы; почему Гераклит требовал огненности от философствующего духа; почему Сократ ушел из жизни победителем, утверждая что «для человека доброго — нет зла ни в жизни, ни по смерти»; почему православная восточная аскетика настаивает на том, что молитва есть источник подлинного знания и подлинной силы; в чем заключается нравственный смысл учения Спинозы о natura naturans***, что имел в виду Фихте, когда говорил о субстанциальности субъекта и о «нравственном миропорядке»; почему Гегель настаивал на онтологическом значении ухода личности в субстанциальную всеобщность, хотя бы этот уход получал видимость земной смерти; в каком смысле Шопенгауэр полагал одиночество мерилом духовности — и многое, и многое другое.

8

Таков философский опыт в его, столь простом и в то же время столь сложном, классическом строении и значении. Этот опыт приобретается длительным и целост-

ным деланием — деланием целой жизни. Естественно, что человек, предающийся такому опыту, неизбежно начинает быть по-новому: по-новому воспринимать, сначала одни духовные предметы, а потом через них все остальное — по-новому видеть, по-новому утверждать себя и жить. Он совершает переход в другой способ *бытия,* μετάβασις εἰς ἄλλο γένος*, а вследствие этого и в другой способ *делания.*

Духовный опыт, при систематическом и цельном культивировании его, всегда дает человеку *очевидность* и основанные на ней *окончательные убеждения.* Такие убеждения строят личность, обновляют ее фундамент, сообщают ей грани, утверждают ее несломимую силу и уводят ее к *исповеданию* и *поступку.* Только настоящая предметная очевидность порождает настоящую философию; но, раз состоявшись, она пронизывает своим лучом *все* слои души, сверкая и в мысли, и в слове, и в деянии. Призвание философа состоит в том, чтобы *быть одержимым очевидностью духовного Предмета;* но это и значит быть истинно религиозным человеком. Такая одержимость захватывает и определяет всю жизнь человека: она заставляет его — *мыслить* именно то, что имеется в систематически удостоверенном опыте; *говорить* именно то и только то, что испытуется и мыслится; и *делать* именно то, что предметный опыт посылает через видение, мысль и слово. Философ, как и всякий человек, не может не поступать в жизни; но если духовный опыт его подлинен и предметен, то он не может не поступить предметно. Больше, чем к кому-нибудь, к нему относится та истина, что человек есть живое единство своих поступков; та истина, что человек узнается по его плодам.

Именно в этой связи между предметом философии и жизнью философа обнаруживается *научная* природа философического познания. Всякий ученый есть ученый именно постольку, поскольку он одержим *волею* к верному знанию своего предмета и *опытом,* посвященным этому предмету и занятым его содержаниями; и успехи наука делает лишь постольку, поскольку эта одержимость предметным опытом превращается в предметную *очевидность;* и удостоверяются эти успехи *экспериментальным* деланием, а закрепляются жизненным применением. И вот философ, как и всякий другой ученый, имеет свой предмет-

ный опыт, свою опытную одержимость, свою одержащую очевидность, свое удостоверяющее жизненное применение. Но только опыт его есть опыт нечувственный, утонченный и безмерно более ответственный; а его жизненное применение состоит не в экспериментах над внешнею вещью, а в активном переделывании своей собственной духовной личности и в жизни по указаниям испытанного духовного Предмета. Философия вмещает и смеет вмещать в себя только то, что сам человек вместил в свой духовный и жизненный опыт. Подобно всякому другому ученому философ обязан и уполномочен мыслить и выговаривать *именно* то, *только* то и *все* то, что он выносил в своем максимально опредмеченном опыте; при этом опыт его есть не только опыт аффекта, или воли, или воображения — но опыт всех строений и всех напряжений, которых требует Предмет, и притом всегда — опыт цельный, начинающийся из глубины и кончающийся на поверхности внешнего проявления. Настоящий философ смеет, должен и призван категорически утверждать только то, что он исполнил полнотою (плеромою) своего духовно-жизненного делания. И это делание остается жизненным деланием и тогда, когда оно сводится к безмерно напряженному внутреннему созерцанию при минимальной внешней активности, и тогда, когда оно развертывается в ряд внешних поступков по отношению к природе или к другим людям.

Это можно выразить так: *орудием* философского познания является *живое существо самого философа*. Это орудие должно быть чисто, гибко, легко и цельно для того, чтобы оно могло стать *живым препаратом самого духовного предмета*. Для того чтобы познать свой предмет, философ должен как бы вылепить его из себя или, точнее, помочь своему существу и прежде всего своей душе — адекватно вылепиться в образ духовного предмета. Но этот субъективный препарат будет не просто подобием или снимком, или копией, или слепком с философского предмета, но *самим, вживе осуществившимся предметом;* ибо духовный предмет способен быть сразу во множестве, не нарушая своего единства. Осуществившись в чьей-нибудь живой личной среде, он относится к ней так, как эстетический предмет относится к воплотившей его эстетической

материи в художественном произведении: личное естество настоящего философа становится художественной ризой вмещенного им духовного Предмета — его верною, сущею явью. Пребывая в духовном Предмете, держа его в себе, человек сам пребывает в его силе, в его ритме, в его раскаляющем и закаляющем душу течении. В этом состоянии он даймоничен или гениален, и злодейство поистине недоступно ему. Зато ему доступно видение предмета и деятельное обнаружение его: он знает его и именно потому не может не осуществлять его. Именно это имела в виду мудрость Сократа, когда утверждала, что знающий добро не может быть порочен и что добродетель может быть исследована только тем, кто воспитывает ее в себе и творит ее в жизни.

На этом пути и только на этом пути может быть правильно поставлен и разрешен вопрос о том, имеют ли духовные предметы объективную реальность или не имеют.

Во всех науках без исключения путь к предмету один — это верно организованный и исчерпывающе осуществленный опыт; правила этого опытного исследования, выработанные человечеством, применимы, mutatis mutandis*, и в философском исследовании.

Самый вопрос о том, имеются ли вообще такие «духовные предметы», и не исчерпывается ли здесь все содержаниями субъективных переживаний, не может решаться в порядке простой презумпции, и при том, ни в положительном, ни в отрицательном смысле. Необходимо, прежде всего, организовать в себе их правильное и подлинное испытание и затем приступить к познавательной эксплуатации этого опыта. Для этого чувствилище личного опыта должно быть очищено, утончено, углублено и расширено; необходимо как бы обнажить нервы духовного осязания, чтобы они могли реагировать на веяние всех духовных зефиров. Надо научиться и привыкнуть внимать утонченным свидетельствам этих органов, уходя в них, как в главные и, в момент восприятия, исключительные, единственные источники самозаселения. Надо понять, что философский *опыт* должен быть приспособлен к природе своих предметных содержаний и организован; что созерцающее *восприятие* его показаний должно быть длитель-

но, настойчиво, повторно, критически проверено; что *описание* увиденного должно вестись с осторожностью, с чувством величайшей ответственности, с напряженною остротою в словоразличении, с величайшею строгостью терминологического выбора и бракования; и что только вслед за тем четкая ясность мысли и целостная верность поступка — могут дать *истинную философическую формулу.*

Лишь после этого позволительно и продуктивно ставить вопрос о *бытии* духовных предметов и о *самом способе* их бытия. Ибо *субъективная духовная анастезия* как реальное познавательное препятствие окажется преодоленною и отпадет. И первое, что исследователь поймет, будет то, почему одни *утверждают* их бытие, а другие — *отрицают,* тогда как, по существу и принципиально, испытать их может всякий... Только осуществляющий опытное общение с ними может измерить всю необходимость, незаменимость такого опыта, всю его доказательно-показательную силу.

Естественно, что исследователю, сомневающемуся в бытии этих предметов, придется сначала пройти через период неуверенности и колебания. Ибо на первый взгляд все то, с чем ему придется и удастся иметь дело, будет «только содержанием его собственного, субъективного переживания». Так, *мысль* его будет переживать безобразный логический смысл; но ведь это и будет как раз смысл, переживаемый его собственным, субъективным мышлением: смысл, помысленный его мыслью, в ней содержащийся и заключенный; «не более». Подобно этому, *воображение* его будет переживать художественный образ; но ведь это и будет как раз воображенный им образ; имманентный его воображению: вещественный субстрат пейзажа, его *эстетическая материя* — окажется вне субъекта, картиною в пространстве; воображенное *содержание* пребудет в его субъективном акте; где же еще духовный *предмет?* Если я *переживаю* веяние Божественного присутствия, естественное право, доброту, то разве это не дает возможность и основание говорить только о моих субъективных состояниях и о пережитых в них, мною осубъективленных содержаниях?.. Где же здесь объективные предметы? Да и возможно ли вообще добраться к ним через сплошную чащу субъективных пере-

живаний и осубъективленных содержаний? А если невозможно, то зачем о них говорить и думать?

Трудность проблемы ясна. Для разрешения ее необходимо *отличить в самом содержании,* распознать *через содержание,* осязать *из-за содержания — присутствие самого предмета, его живой ритм, его* содержательные *качества* и *его способ бытия.* Необходимо удостовериться с очевидностью, что *духовные предметы,* каждый по-своему, *не сводятся к субъективным* (моим или чьим-нибудь чужим) *пережитым содержаниям,* не совпадают с ними ни *по количеству, ни по качеству, ни по модальности, ни по законам своего ритма и своей судьбы.* Так, надо опытно и окончательно убедиться, что субъективно переживаемых содержаний может и не быть, но что предметы от этого не гибнут; что эти содержания множественны, бесчисленны, а каждый духовный предмет как таковой единен; что эти содержания различны, повторны, часто изменчивы и периодичны, тогда как духовный предмет единообразен и непреходящ; что, наконец, эти содержания могут быть *неверны,* причем самая идея неверности уже таит в себе предположение объективного предмета — тогда как приложение к духовному предмету идеи неверности или ошибочности — несостоятельно и дает бессмыслицу. Кто испытает и увидит это различие, тот eo ipso* осязает *за* субъективными духовными содержаниями *второй,* по-иному сущий и обстоящий план бытия, не сводимый к субъективному плану и не разложимый на его элементы. Этот второй план бытия необходимо различить и увидеть наподобие того, как человек уже научился различать и видеть *пространственные* вещи из-за *протяженных* субъективных содержаний, коррелятивно и сходноименно с ними связанных. В этом втором плане и обстоят духовные предметы; они обстоят по другому способу, чем субъективные содержания и потому мыслятся и познаются в других, особых категориях.

Так, разные люди в различные времена то мыслили *идею тождества,* то не мыслили ее; имея ее в виду, относили к ней многоразличное, часто ошибочное; сама же идея тождества не становилась от этого ни эфемерною, ни многоразличною, ни вздорною. Точно так же: различные люди в различные времена то переживали естествен-

ное право, то *не* переживали его; обращались к нему неверным или полуверным актом, приписывали ему несоответственное, нарекали его именем свои выдумки и уверяли других и себя, что это так и есть на самом деле; а само естественное право от этого не улетучивалось и не искажалось, не становилось ни призраком, ни произвольно меняющимся вздором. Тот, кто думает, что ложное мнение о добре искажает самое добро и что беспредметная фантазия о «божестве» придает Богу на самом деле субъективно-химерические черты, тот обнаруживает только свою полную непричастность духовному опыту.

Напротив, тот, кто различив впервые своеобразные предметные сверкания и следы в субъективных содержаниях, сосредоточится на их категориальном своеобразии, предастся им своею предметною интенциею и доведет себя до очевидности, сохранит не сомневающуюся уверенность в бытии очевидного Предмета. Утвердив себя этим сущим Предметом, став его жилищем и проявлением, питаясь им духовно и как бы излучая его из себя, душа человека впервые измеряет вообще, что значит *подлинно быть* и то значит вести проблематическое *существование* в виде скудного, предметно-пустынного существа. Вживаясь в духовный Предмет, она уподобляется ему, приобретает по-своему его свойства, взращивает в себе новые атрибуты: так, тождество понятия воспитывает в душе твердость и верность себе, определительность и прозрачную искренность; так, настоящее совестное испытание всегда уводит человека к непосредственному, гране-утверждающему совестному поступку; так, подлинное переживание естественного права пробуждает в человеке художника естественной правоты; так, художник, одержимый эстетическим предметом, несет в самом себе космическую глубину и ширину, и сам, в непосредственном вдохновении, сверкает лучами Предмета; так, подлинная молитва подлинно преображает человека и внутренно и внешне...

Понятно, что душа, онтологически обновленная общением с Предметом, остро испытывает дефективность и неполноту своего личного существования в прошлом. Понятно также, что она не может иметь ни повода, ни основания, ни склонности к отвержению объективности ду-

ховных предметов. Ей легче, естественнее, логически приемлемее допустить, что *она сама* как таковая не реальна, чем, что они не имеют бытия.

10

Таков тот путь, на который должна вернуться философия наших дней для того, чтобы возобновить свое древнее и глубокое дело. Это есть путь *возрождения философского опыта*. Здесь необходимо возвращение к положительным основам знания: к *сосредоточенному испытыванию* и *честному, непредвзятому описанию*. Философия должна пройти через эпоху сознательно принятого и осуществляемого *духовного позитивизма,* с его последовательным отречением от суеверия, предрассудка, беспочвенности, отвлеченной конструкции и самодовольной дедукции; с его вниманием к данному, к единичному испытанию, к восприемлющему органу и его строению, к показующему доказательству и обоснованию.

Предметная философия, вскормленная предметным опытом, предметною очевидностью, предметным характером... Вот духовное задание наших дней! Вот один из ключей к современному духовному кризису! Вот к чему мы должны воспитывать сами себя, и друг друга, и молодые поколения!.. И теперь это становится осуществимым больше чем когда-нибудь, ибо окружающая катастрофическая атмосфера, уже разрядившаяся потоком страданий, но далеко еще не оскудевшая грозными перспективами, будит в душах заснувшие глубины и разверзает в них заброшенные шахты. А духовно пробужденная душа может сделать многое, что не по силам спящей: потрясенная, воспрянувшая, настороженная, она больше чем когда-нибудь способна внять предметным голосам в ночи и ответить на их зовы и знаменования — приятием и личным перерождением.

Понятно, однако, что для добывания такой философии нужно вскрыть *пути,* ведущие к ней. А это означает, что необходимо возродить настоящую *философическую методологию;* методологию не в смысле системы отвлеченных правил, и не в смысле гносеологической рефлек-

сии вне отношения к предмету; но в смысле *живого описания* того, уже пройденного, но еще не проторенного творческого пути, который *наверное ведет* к испытанию, увидению и познанию духовного предмета. «ὅδος»* значит «путь»; «μέθοδος»** — путь вослед чему-то, верный путь к некой цели. Нельзя, нелепо предполагать, что этот путь *уже* известен каждому про себя, ибо, если бы это было так, то духовного кризиса может быть вовсе и не было бы. Но не следует осуществлять этот метод и *молча,* обнаруживая лишь одни итоги, ибо здесь необходима взаимная проверка и исправление, здесь необходимо помогать начинающему и неуверенному в его затруднениях...

Вот почему философия наших дней, восходя к древним истокам и образцам своим, должна начать свой познавательный поход от *экзотерического учения о методе.* Она должна поставить методологический вопрос с величайшей простотой: что следует сделать со своими телесными, душевными и духовными способностями для того, чтобы испытать и увидеть в исследуемой области духовный предмет? какой комбинации душевно-духовных сил при каком направлении их дается в этой области духовный предмет? как возможно здесь узнать и проверить, что предмет действительно взят? какие могут быть признаки того, что опыт состоялся, что очевидность пережита? как воспитать в себе верный, неошибочный, или, если угодно, нормальный духовный опыт в обращении к истине и понятию, к праву и государству, к добру и злу, к художественности и красоте; в обращении к божественному и Богу?

Ответить положительно и определенно на эти вопросы значит развернуть *философию духовного опыта,* необходимо предшествующую *философии самого духовного предмета.* Конечно, оторвать друг от друга эти две стороны философского исследования — невозможно; в эпохи духовного полета и расцвета в этом, может быть, не бывает и надобности. Однако история философии знает такие учения, которые почти не доходили до второго задания, и такие учения, которые обходили молчанием первую задачу. Наше время духовного упадка и разложения, время релятивизма и нигилизма, требует предварительного и самостоятельного подхода к первому заданию; ибо как же

возможно исследовать предмет, потеряв или забыв пути, ведущие к нему? можно ли подразумевать наличность и верность опыта у со-исследователя, если он самыми отрицаниями своими свидетельствует об отсутствии его? Нет, здесь необходимо заново исследовать состав и строение верного или нормального духовного опыта; не для того, чтобы создать *психологию* духовной культуры, изучающую фактический состав душевных переживаний у определенных индивидуумов, групп или народов; но и не для того, чтобы выдвинуть чисто *нормативное* построение, трактующее о должном независимо от действительности. Философия духовного опыта будет иметь в виду нормальный, здоровый, и в высшем достижении *идеальный* духовный опыт, который не раз уже осуществлялся и будет не раз еще осуществлен в истории человеческой духовной культуры. Бывало так, что идеальный духовный опыт осуществлялся совсем не философами и не в философии, а великими художниками, героями, святыми, пророками, или такими, которых народы узнавали и признавали, или такими, которые оставались безвестными предметовидцами; но бывало и так, что его осуществляли именно философы, которые или рассказывали об этом опыте, или прямо излагали его предметные результаты. Во всех этих случаях *идеал* оказывался осуществившимся *фактом,* а наличный факт являл *одержимость человеческого духа предметною очевидностью.* Все эти явления образуют как бы единую, великую сокровищницу духа, или его пантеон, или горный хребет человеческой духовной истории. Обращаясь к этим явлениям, современный философ должен осуществить *научно-художественную* реставрацию этих персональных очагов духовного опыта; не в виде жизнеописания великих людей, но в виде постижения и *усвоения* того духовного *опыта,* через который воспринимался Предмет и далее для *описания Предмета,* вновь самостоятельно воспринятого исследователем через усвоенный им опыт отжившего гения. Так, сила предметного опыта, осуществленного прошлыми веками, должна быть собрана, осмыслена и претворена новыми поколениями — в новое и самостоятельное восприятие Предмета.

Вот почему первая и основная задача современной философии состоит в создании *новой философической методологии* — новой и в то же время по бытию столь древней...

Необходима новая философия *научной очевидности,* отправляющаяся от пересмотра идей *метода* и *доказательства* и освобождающая науку от порабощения чувственному восприятию; это необходимо для того, чтобы осмыслить гибельный фантом противорелигиозной науки и трагическую немощь противонаучной религии; чтобы развязать предметные крылья и науке и религии, и помочь ученому возродить в себе созерцание *своего* предмета при свете великих *духовных* Предметов.

Необходима новая философия *правосознания* и *государственности,* чтобы осмыслить единую, священную природу права и благородную, но трагическую природу политики; чтобы измерить падение современного государства и помочь человечеству возродить предметное общественное строительство.

Необходима новая философия *совести* и *доброты,* чтобы вновь увидеть живое тождество *добродетели* и *ума;* чтобы измерить беду современного нравственного индифферентизма; чтобы помочь человечеству побороть в себе извращенный вкус к порочности и возродить в себе способность быть *счастливым* в *доброте* и быть *добрым в несчастии.*

Необходима новая философия *эстетического восприятия* и *художественности,* чтобы вновь утвердить власть эстетического предмета и подчиненность эстетической материи; чтобы восстановить священное назначение искусства, вызвать к жизни очистительную художественную критику и великое предметное искусство; чтобы помочь человеку стать мудрым в непосредственности, стать цельным в вещественности, стать прекрасным иероглифом божественности на земле.

Наконец, необходима новая философия *религиозности* и *откровения,* чтобы вновь открылось замкнутое око человеческое, по старому приемля Бога и по-новому приемля мир; чтобы осветились современные религиозные падения и блуждания и чтобы в религиозном обновлении

душ возобновилось одинокое боговидение и соборное богоутверждение.

Философское учение о духовном опыте должно быть осуществлено и осуществится, если не нашим поколением мыслителей, то нашими ближайшими потомками. Они найдут в себе тот бестрепетный ум, который не убоится глубины; то глубокое чувство, которое превратит философию в духовное художество; то художественное видение, которое найдет для себя новые, небывалые слова. Они вложат в это дело ту умудренную энергию характера и ту преданность духовному Предмету, которые делают философию *подлинным богослужением.*

Тому залог — падения и страдания наших дней.

ПУТЬ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хоть убей следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!..
Пушкин

Эта книга написана для идущих, для тех, кто еще не «имеет», но хочет «иметь», хочет — глубоко и искренно. Эта книга написана для сомневающихся; — не иронически, разъедающим и, в сущности говоря, уже отрицающим сомнением, но вопрошающим, творческим сомнением, идущим из глубины сердца. Таким сомнением в свое время сомневались Сократ, Блаженный Августин и Декарт, и сомнение их нашло себе творческое преображение и привело их к *очевидности*.

Наше время ни в чем так не нуждается, как в *духовной очевидности*. Ибо «сбились мы» и «следа» нам не видно. Но след, ведущий к духовному обновлению и возрождению, найти необходимо и возможно. И мы найдем его.

Каким способом?

Естественным, который вообще дан человеку: *углублением в себя*. Не в свою личную, чисто субъективную жизнь, не в свои колеблющиеся, беспредметные «настроения», не в праздную, гложущую и разлагающую рефлексию. Но в свое *сверхличное, предметно-насыщенное, духовное достояние*. Пусть оно будет невелико, пусть оно будет подобно *искре*. Но в искре есть уже сила искренности, ибо искра есть пылинка вечного, божественного пламени...

Нельзя сомневаться «во всем», даже в самом сомнении своем. Это уже смерть и тление. Сомнение, если оно есть, — испытывается остро, оно подлинно, оно несомненно, оно есть *воля к истине,* рожденная *любовью и жаждою уверенности*. Кто так сомневается в Боге и в правде, тот уже *любит* Бога и правду; и любовью он их найдет,

ибо их вообще можно найти *только любовью.* Такое сомнение — духовно, оно уже *есть живой дух,* и человеку, который *так* сомневается, духовный опыт уже открыт и доступен.

Итак, эта книга написана для сомневающихся, для тех, в ком живет *такое* сомнение. Она пытается указать им путь. Не пройти этот путь за них или с ними, а лишь указать. Идти человек может только сам, в своем внутреннем духовном опыте, который неизбежно приведет его к внешним поступкам; ибо настоящий и зрелый духовный опыт всегда выражается и заканчивается в целостных и творческих делах. Ни жить, ни творить «за других» нельзя. Жить и творить должен каждый *сам.* И это удастся ему тем больше и тем лучше, чем глубже он укоренится в своем *собственном,* выстраданном и вымоленном духовном опыте...

Эта книга пытается указать *только путь.* Она скромна по своим задачам. Она ни по одному вопросу не высказывает *всего,* что хотелось бы высказать; и каждая глава ее таит в себе целое исследование, иногда даже не одно; опытный и зоркий глаз увидит это сразу. Здесь изложено только то необходимое, путеводное, *без чего нельзя начинать,* что прежде всего надо довести в себе до очевидности, до полной и окончательной, непоколебимой и не угасающей уверенности — только те основы духовности, без которых нельзя начинать самую борьбу за родину. Это первые, фундаментальные вопросы, *вопросы бытия.* Мало прочесть «о них», прочтя, надо *решить* их для себя. Они выдвинуты здесь в противовес и в отпор мировому соблазну нашего времени. Но решив их с силою очевидности, нельзя надеяться на свои силы при встрече с этим соблазном.

Этот соблазн дан нам нашей эпохой. Но «человек не должен жаловаться на свое время: из этого ничего не выйдет; время плохое, ну что же, на то человек живет, чтобы сделать его лучше»... «Начинай же! Только этим ты сделаешь невозможное возможным»(Карлейль).

Современный мир переживает глубокий кризис — религиозный, духовный и национальный. Из него необходимо найти выход. Этот выход надо каждому из нас найти прежде всего *в самом себе,* творчески создать его,

убедиться и удостовериться в его верности. И только потом можно будет указать его другим. Надо *самому начать быть по-новому.* Обновленные люди, одолевающие соблазн, найдут друг друга. Найдя, они заткут новую ткань духовного бытия. Это единственный путь. Иного нет.

Задача моей книги — указать на этот путь и утвердить его верность.

Автор

1932—1935

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О ВЕРЕ

Прежде всего снимай с
очей ума твоего покровы,
содержащие его в ослеплении.
Феофан Затворник

1. МЫ ВСЕ ВЕРИМ

Есть у нас довольно распространенное воззрение, будто люди могут прожить жизнь без всякой веры и будто «образование», а в особенности «научное образование», — несовместимо с верою. Образованный человек, думают люди, не может верить: он слишком много «знает» и «самое существенное» он уже «понял»; так, например, он знает, что все совершается по законам природы и что эти законы природы рано или поздно будут изучены, во что же ему еще «верить»? Сущность культуры и прогресса сводится к следующему: *идет просвещение, а вера уступает и исчезает.* Согласно этому, верить могут лишь те, кого еще не коснулось просвещение; но вот придет время — они будут просвещены и перестанут верить, ибо на самом деле всякая *вера* есть не что иное, как *суеверие.* Итак: будущее принадлежит просвещенному безверию и безбожию.

Тот, кто хочет зорко и верно видеть происходящее и, особенно, понять и одолеть переживаемый нами духовный кризис, — должен прежде всего вдумчиво отнестись к этому воззрению и критически разобраться в нем; ибо он укрывает в себе не одно роковое недоразумение или заблуждение.

Бесспорно, есть немало людей, которые не верят *в Бога.* Но это совсем не значит, что они *ни во что* не верят и что поэтому их можно причислить к людям, живущим без всякой веры. Ведь возможно, что они верят не в Бога, а во что-то другое... Во что же? В нечто такое, что они принимают за главное и существенное в жизни, что действительно *для них* и есть *самое важное,* чем они дорожат и

чему они служат, что составляет предмет их *желаний и стремлений*. Такое отношение и есть отношение веры; и кто имеет такой предмет, тот верит в него.

Этим мы вскрыли первое недоразумение, первый предрассудок: люди обычно думают, что «верить», это то же самое, что «признавать истину». На самом деле это не так: вера есть нечто гораздо большее, более творческое и более жизненное. Мы все считаем «истиною» — таблицу умножения, геометрические теоремы, химические формулы, географические данные, установленные исторические факты, законы логики; мы совершенно уверены в том, что они верны, что мы спокойно можем пользоваться этими истинами и применять их в жизни. Мы это и делаем, и притом уверенно и успешно: высчитываем, путешествуем, строим, наблюдаем природу, спорим, доказываем, составляем и принимаем лекарства и т. д. И что же? Все выходит, удается, подтверждается. То, что мы признали в теории за истину, оказывается и на практике правильным и верным. И мы все это знаем, и согласно этому мы в жизни и действуем. Но о *вере* здесь нет еще и речи...

«Верить» — это гораздо больше, чем «признавать за истину». И так обстоит и в теории, и на практике. Есть холодные истины, к которым мы и относимся холодно; мы устанавливаем их и пользуемся ими равнодушно или, самое большее, с некоторым «уважительным» «интересом». Мы узнаем о них и признаем их, не воспринимая их глубиною нашей души; мы подтверждаем их и соглашаемся «опираться» на них теоретически и практически, отнюдь не отзываясь на них сердцем. Они дают нам известную уверенность, но только во второстепенных делах, *не* в главных и важнейших вопросах нашей жизни. Они светят нам наподобие уличных фонарей, без которых нам было бы и неудобно, и неуютно, но душу нашу они не согревают и не воспламеняют. Тысячу раз мы пройдем мимо них, или примем их во внимание, или даже воспользуемся ими без того, чтобы *могучие и творческие источники* нашей души пришли в движение; напротив — *там* все остается безразличным, молчаливым и неотзывчивым. Кто из нас начнет «верить» — в классификацию химических элементов, открытую Менделеевым, в таблицу логарифмов, в хронологический обзор событий 19 века, в горную карту Евро-

пы или Азии? И даже тот из нас, кто усомнится в этих «законах» или «истинах» и начнет критиковать их или опровергать — поколеблется не в *вере,* а только в *познавательной уверенности.*

О вере позволительно говорить только там, где истина воспринимается глубиной нашей души, где на нее отзываются могучие и творческие источники нашего духа, где говорит сердце, а на его голос отзывается и остальное существо человека, где снимается печать именно с этого *водного ключа* нашей души, так что воды его приходят в движение и текут в жизнь.

Человек верит в то, что он воспринимает и ощущает как *самое главное* в своей жизни. Скажи мне, что для тебя самое важное в жизни, и я скажу, во что ты веришь. Душа твоя прилепляется к тому, во что ты веришь, как бы живет и дышит им; ты *желаешь* предмета своей веры, ты ищешь его; он становится источником твоей *радости* и остается им даже тогда, когда тебе его не хватает. Здесь пребывают твои чувства и твое воображение. Словом, здесь *реальный центр* твоей жизни: тут твоя любовь, твое служение, тут ты идешь на жертвы. Здесь твое сокровище; а где сокровище твое, там и сердце твое; — там и *вера* твоя.

И вот, сколько бы мы не искали, мы не найдем такого человека, который *ни во что* не верил бы. Чем глубже заглянем мы в человеческую душу, тем скорее мы убедимся, что человек без веры вообще не может жить; ибо вера есть не что иное, как *главное и ведущее тяготение человека, определяющее его жизнь, его воззрения, его стремления и поступки.*

Правда, не всегда легко установить, к чему прилепляется и тянется тот или другой человек... Иными словами: где бодрствует его душа? где она загорается? что для нее выше всего? в чем сокровище его жизни? где он способен жертвовать? Может быть и так, что он и сам этого не знает; или еще так, что, по-видимому, он в течение всей своей жизни «ни во что не верит»: явно относится ко всему безразлично, оставался тепло-прохладным; он как бы прозябал всю свою жизнь, не имея никакого реального центра, ни от чего не зажигался; нигде душа его не вела интенсивной жизни, не было у него сокровища, ничему он не служил и не жертвовал. Однако жизненные наблю-

дения заставляют нас установить, что такие люди, такие безразличные, «проблематические» натуры, являются обычно людьми с *дремлющею верою.* Пока над водами жизни царит безветрие, кажется, что их душа пребывает в тихой дремоте: мертвенно повисли паруса, малые волны повседневной жизни катятся мимо них без цели и смысла, ни воли, ни свершений, ни судьбы. Но *жизненная буря* может изменить всю эту картину. Потрясенная, возмущенная, может быть, раненая, душа пробуждается ото сна, собирается с силами, отличает главное от не главного, приемлет важнейшее и священное, совершает свой выбор, решение следует за решением, поступок за поступком — и жизненный корабль, руководимый верою, плывет на всех парусах. И если присмотреться к человеку в такой жизненный час, то всегда обнаружится, что процесс внутреннего отбора и оформления совершался уже давно — но в глубине, сокрытой от глаз, и как бы в некоторой медлительности. Где-то там, в таинственной тишине, уже возникала «твердь среди воды» и «свет» уже отделялся от «тьмы»... Но вот настал час страдания и воззвал голос великой беды; и что же? — все сложилось и созрело в кратчайшее время так, как если бы оно только и ожидало этого часа и этого голоса. Можно было бы сказать: знамя уже развевалось — но мрак царил, и его не было видно; и исповедание уже сложилось — но пребывало в безмолвии; и выбор был уже совершен, и путь был предначертан — и оставалось только пойти по этому пути...

Жить на свете — значит *выбирать и стремиться;* кто выбирает и стремится, тот *служит* некоторой *ценности,* в которую он верит. Все люди верят: и образованные и необразованные, и умные и глупые, и сильные и слабые. Одни сознают, что они верят, другие верят, не сознавая этого. Одни знают и то, что они *верят,* и то, *во что* они верят, а может быть, и то, *на каком основании* они верят. Другие верят просто, не зная этого за собою и, может быть, ни разу в жизни не подумав, во что же это они, собственно говоря, верят и есть ли у них какие-нибудь *основания* для этой веры. Но вера всегда остается *первичной силой человеческой жизни* — совершенно независимо от того, понимают люди это или нет. Человеку дана возможность дорожить своей верой, беречь ее, укреплять, очищать и

углублять, как бы строить ее и воздвигать на ее основе свое миросозерцание и свой характер, формировать ее содержание в виде догмата и символа веры, создавать на этом фундаменте церковь и богослужение, превращать ее во всеохватывающую целокупность жизни и смерти. Однако человек имеет и другую возможность: пренебрегать своею верою, оставлять ее на произвол случайностей, пронизывать ее предрассудками и суевериями, превращать ее в слепой и разрушительный фанатизм или же отводить ей один уголок своей души, и притом самый трусливый и лицемерный. Человек может заблуждаться в своей вере и идти по ложным путям; он может разочаровываться в своей прежней вере и отходить от нее; хуже того, он может изменять своей вере по расчету и «продавать» ее. Но в одном человеку отказано, одного он не может: именно — *жить без веры.*

2. ВЕРА И ЖИЗНЬ

Кто однажды поймет и продумает это, тот перестанет делить людей — на живущих «с верой» и живущих «без веры», или, во всяком случае, тот перестанет придавать этому условному и неточному делению прежнее значение; и благодаря этому он избавится от многих мнимых проблем, от целого ряда бесполезных парадоксов. Напротив, он поставит новый и чрезвычайно поучительный вопрос: во что же, собственно говоря, верят так называемые «неверы»? И если он сам причислял себя доселе к «неверам», к «безрелигиозным» или «безбожникам» — то во что же он сам при этом *все-таки верил?* Потому что оказывается, что он сам все-таки во что-то верил; это уже установлено. Верят все: и тепло-прохладный «свободомыслящий», и воинствующий безбожник, и ожесточенный материалист; верят и социалисты, и коммунисты, и гонители христианства... И чем решительнее эти «враги веры» нападают, чем ожесточеннее их преследование и воздвигаемые ими гонения, тем яснее они обнаруживают, что у них есть в виду нечто такое, что они считают «главнейшим» и «важнейшим»; они воображают, будто владеют какой-то важнейшей и драгоценнейшей истиной, к кото-

рой они прилепились душой и волей. Они считают себя «неверами»? Они объявляют себя «безбожниками»? Пусть. Этим они хотят только подчеркнуть, что они не принадлежат ни к какому определенному исповеданию, кроме... собственного, разделяемого ими самими, что они не входят ни в какую церковную общину, кроме... своей собственной общины, которую они не хотят называть «церковью» (обозначая ее как «партию», или как «орден», или как «международное общество»)... Да, они не верят в Бога; но это означает, что они *верят не в Бога, а во что-то иное.* Они критикуют или поносят веру вообще... Этим они как настоящие *фанатики своей веры* объявляют, что они признают только *свою веру обоснованной,* единственно верной и единственно допустимой; все же остальные веры и исповедания они относят к «глупым предрассудкам» или «вредным суевериям». Они воображают, будто они одни владеют тем спасительным словом, той непогрешимой правдой, которая освобождает и оплодотворяет благие, творческие силы человека, будто им одним известно то начало, тот принцип, который верно отличает «главное» от «неглавного», «доброе» от «злого», который указует человеку *верную цель* его жизни и *верный путь,* ведущий к этой цели. Они — верят, и воображают, будто обладают истиной и единственно верной верой. И тот, кто читал писания воинствующих безбожников и присматривался к их разрушительной работе, тот не может не согласиться, что эта характеристика соответствует действительности.

Но во что же верят те люди, которые верят *не в Бога* и потому считают себя «неверами» вообще, или «безбожниками»? Они верят во всевозможные *небожественные* силы и обстояния.

Большинство верит, по-видимому, в *наслаждения* или особливо в *чувственные наслаждения,* во все, что к ним ведет и с ними связано; это для них — важнейшее в жизни; это их цель, это их путь; этому они служат, ради этого они жертвуют всем остальным; здесь у них критерий, по которому они отличают «хорошее» от «дурного»; здесь их «сокровище» и их сердце. Есть такие люди, которые признают и выговаривают это открыто: «я хочу земного счастья, наслаждения и спокойствия — ибо это главное в жизни» (гедонизм), «я ищу в жизни денег и власти» (мам-

монизм), «главное в том, чтобы все люди несли одинаковую работу и имели одинаковые права, ибо только тогда они смогут одинаково наслаждаться жизнью, быть равно счастливыми» (социализм), «все дело в том, чтобы дерзновенно завладеть земными благами и безоглядно наслаждаться ими» (большевизм), «главное в том, чтобы дать массам земные блага и удобства, а для этого надо у всех все отнять (всеобщая пролетаризация) и всех подчинить монопольному работодателю (всеобщее хозяйственное и политическое порабощение, коммунизм)» и т. д.

Однако наряду с этими течениями есть немало таких людей, которые не выговаривают вслух своей веры и не признаются, в чем же она собственно состоит: одни из них просто избегают касаться этих вопросов, другие скромно ссылаются на свою внутреннюю неуверенность, третьи выдвигают теорию, в силу которой человек вообще не может иметь никакого «достоверного знания» (агностицизм), иные ссылаются на свое неотъемлемое право — оставаться «безразличными» и на свою обязанность — относиться терпимо ко всякому чужому верованию, иные же отступают в сферу проблематического «свободомыслия»... В известном смысле они правы: верить можно только искренно и свободно, а свобода требует веротерпимости, нельзя принудить человека к той или иной вере и никто не обязан рассказывать другим людям вслух, во что именно и как именно он верит... Но видимое «безразличие» и явное умолчание, действительная скромность и насмешливая мистификация — *не освобождают человека* от неизбежности верить. Нельзя человеку не иметь определенной жизненной цели и жизненной ценности, в которые он верит и которым он служит. Однако психологически можно понять, что есть люди, у которых эта «высшая» и «главная» жизненная ценность такова, что для них выгоднее умалчивать о ней и замалчивать ее до конца. Ведь молчание создает некий загадочный мрак, в котором многое неразличимо и многое может остаться сокровенным... И не всегда бывает легко установить, кто молчит от настоящей религиозной скромности, а кто из умного или хитрого житейского расчета...

Если бы удалось однажды пронизать все человеческие сердца без исключения таинственным лучом света так,

чтобы у всех выступила и въяве обнаружилась *главная ценность жизни, составляющая предмет веры,* то очень возможно, что все мы просто ужаснулись бы... Потому что, вероятно, оказалось бы, что большинство людей верит в нечто такое, что не только не обещает им ни блага, ни спасения, но что прямо ведет их к погибели. Люди живут и верят очень часто в слепоте и беспомощности, и не знают и не догадываются о том, что человеку надлежит *строить свою веру,* а не предоставлять ей расти наподобие полевой травы; и вследствие этого люди очень часто верят, т. е. прилепляются не только своим «правдоподобным» мнением, а сердцем, волею и делами, служением и жертвенностью к таким жизненным содержаниям, служить которым и идти на жертвы ради которых поистине *нет никакого смысла...*

Вот ключ к современному духовному кризису, охватывающему все человечество. И овладев этим ключом, и поняв, что происходит в мире, мы не можем не подивиться тому, что современному человечеству, в общем и целом, живется все еще *так* хорошо и *слишком* хорошо, по сравнению с теми бедами и страданиями, которые могут возникнуть из этого кризиса.

Есть некий духовный закон, владеющий человеческой жизнью; согласно этому закону, *человек сам постепенно уподобляется тому, во что он верит.* Чем сильнее и цельнее его вера, тем явственнее и убедительнее обнаруживается этот закон. Это нетрудно понять: душа человека пленяется тем, во что она верит, и оказывается в плену; это содержание начинает господствовать в душе человека, как бы поглощает ее силы и заполняет ее объем. Веря во что-нибудь, человек постоянно ищет этот предмет, предпочитает его, занимается им и явно и втайне; человек воображает себе этот предмет, вступает с ним в самые прочные отношения, желает его; этот предмет как бы занимает и поглощает его внимание, его сосредоточенность, его душевные силы. Это можно было бы выразить так: человек постоянно (то сознательно, то бессознательно) *медитирует*[1] о том предмете, в который он верит. Вследствие это-

[1] Т. е. сосредоточенно помышляет о нем всеми своими душевными силами.

го *душа вживается в этот предмет, а самый предмет, в который она верит, проникает в душу до самой его глубины.* Возникает некое подлинное и живое *тождество:* душа и предмет вступают в особое *единение,* образуют *новое живое единство.* И тогда мы видим, как в глазах у человека сияет и сверкает предмет его веры; то, во что ты веришь, сжимает трепетом твое сердце, напрягает в минуту поступка твои мускулы, направляет твои шаги, прорывается в словах и осуществляется в поступках...

Так обстоит всегда. Если человек верит только в чувственные наслаждения, принимая *их* за главнейшее в жизни, *их* любя, *им* служа и предаваясь, — то он сам превращается постепенно в чувственное существо, в искателя земных удовольствий, в наслаждающееся животное; и это будет выражаться в его лице и в его походке, смотреть из его глаз и управлять его поступками. Если человек верит в деньги и власть, то душа его постепенно высохнет в голодной жадности, в холодной жажде власти; и опытный наблюдатель прочтет все это в его взоре, услышит в его речи и не ошибется, ожидая от него соответствующих поступков. Если он поверит в классовую борьбу и завистливое равенство, то он сам скоро станет профессиональным завистником и ненавистником, и в глазах его отразится черствая злоба, а в поступках — политическое ожесточение и т. д.

Однако тот же самый закон обнаруживается и на благих путях, но с тем различием, что человек будет не «верить», а «веровать», и это придаст его вере особую силу и глубину.

Замечательно, что русский язык придает идее «веры» два различных значения: одно связывает *веру* с потребностью *верить,* а другое — со способностью *веровать.*

Верят — все люди, сознательно или бессознательно, злобно или добродушно, сильно или слабо. *Веруют же* — далеко не все: ибо *верование* предполагает в человеке способность прилепиться душою (сердцем, и волею, и делами) к тому, что действительно заслуживает веры, что дается людям в духовном опыте, что открывает им некий «путь ко спасению»[1]. В карты, в сны, в гадание, в астрологи-

[1] См. замечательный труд Феофана Затворника, так именно и озаглавленный.

ческие гороскопы — верят, но в Бога и во все божественное — веруют[1]. В суеверия «верят» — верят от страха и боятся от своей веры; и чем больше боятся, тем сильнее верят, и обратно. Но в то, что подлинно есть (что не «всуе», не напрасно), — *«веруют»*, и от этой верующей веры получают спокойствие и перестают бояться. «Верящие» люди чаще всего не имеют единого и общего им всем духовного предмета, и потому их вера *разъединяет* их, не создавая ни религии, ни церкви. Но «верующие» люди имеют единый и общий им всем духовный Предмет; они вступают в творческое единение в Ним, а через это объединяются между собою; слагается религия и церковь.

Важно отметить, что оба эти оттенка, передаваемые глагольной формой, сливаются и как бы исчезают в существительном «вера». Вера живет и в том, кто «верит», и в том, кто «верует». Она выражает у обоих склонность души видеть в чем-то жизненно-главное и руководящее и прилепляться к нему своим доверием и преклонением. Но эта приверженность души поднимает человека на настоящую высоту только тогда, когда она находит себе высший и достойный предмет[2].

И вот, если закон *«отождествления через веру»* обнаруживается уже на низших ступенях жизни и веры, то настоящей силы и полноты он достигает именно у верующих людей.

Если человек верует в Бога или хотя бы в божественное начало, проявляющееся в земных явлениях и обстояниях, — то божественные содержания становятся для него жизненным центром и в созерцаниях, и в поступках, чем-то важнейшим и главнейшим, любимым, искомым, желанным и уже в силу одного этого — всегда присутствующим в душе обстоянием. Узреть с очевидностью лучшее и не восхотеть его, и не осуществить его — почти невозможно для человека; но также невозможно для него *осуществить* это лучшее и не *стать* самому лучшим, чем

---

[1] Терминология допускает такое словоупотребление: «верить» можно и в высшее — «я верю в Бога», «я не верю в бессмертие души»; но в низшее «веровать» нельзя. Нельзя сказать: «я верую в карты» или «я верую в дурные приметы»... Подобно этому: в сильного человека, в вождя «верят», а не «веруют».

[2] Это различие между «верящим» и «верующим» человеком — мы и будем соблюдать в дальнейшем изложении.

был раньше. Веровать в Бога значит стремиться к созерцанию Его, молитвенно «медитировать» о Нем, стремиться к осуществлению Его роли и Его закона; от этого возрастает и усиливается божественный огонь в самом человеке, он очищает его душу и насыщает его поступки. На высших ступенях такой жизни возникает то живое и таинственное единение между человеком и Богом, о котором так вдохновенно и ясновидчески писал Макарий Великий, характеризуя его как внутреннее «срастание» или «растворение» (по-гречески «κρᾶδις»), от которого душа становится «вся светом, вся — оком, вся — радостью, вся — упоением, вся — любовью, вся — милосердием, вся благостью и добротою»[1]... Естественно, что от такого перерождения души изменяется и внешний вид человека, о чем он сам может и не знать, но что другим людям бывает трудно не заметить[2].

Отшельник, проводящий свою жизнь в «богомолении» и «богоделании» («θεωποίησις», по выражению Макария Великого), приобретает некую подлинную богоозаренность в душе и в ее телесном обнаружении. Подобно этому — душа истинного художника становится гармоническою, поющею, мерно-зданною, утонченно-созерцательною; и самое лицо его может стать ликом. Так, горящее сердце патриота укореняется в духе, силе и славе его родины. А тот, кто занимается черной магией и медитирует о сатане, незаметно становится сам, и по лицу и по голосу, дьяволо-образным...

Кто во что верует, тот тем и живет, и обратно: скажи мне, чем ты живешь как самым важным для тебя, и я скажу тебе, во что ты веришь или веруешь. Ибо человек есть не что иное, как живая целокупность того, чем он живет и что он осуществляет, и притом именно потому, что он *это любит и в это верит*. Вот почему: «по плодам их, узнаете их» (Мтф. 7,16 и 20).

---

[1] Ср. у Ап. Павла: «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». I Коринф. 6,17.

[2] Ср. Библию. Исход. Гл. 34, стих 29—30: сходя с горы Синая, «Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти к нему»...

3. НЕ ВСЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ВЕРЫ

Так выясняется живая сила веры и — благой и дурной, и мудрой и неразумной, и парящей и пресмыкающейся. Как только слагается вера во что-нибудь определенное, слагается и захватывает душу, она оказывается *первичной, ведущей силой человеческой жизни.* Напрасно было бы принимать «твердое решение» — ни во что не верить. Это могло бы привести только к самообману, ибо человек все-таки будет верить и только напрасно внушать себе, что он «решительно» ни во что не верит; или же он будет условно понимать веру как веру в Божественное, запрещать себе именно эту благую, мудрую и парящую веру, подрывать и уродовать ее в себе и уже силою этого прилепляться душою к чему-нибудь богопротивному, дурному и гибельному.

Поистине это небезразлично, во что люди верят; и во многое, во что люди верят, — не стоит верить, ибо от этого не будет ничего, кроме вреда и гибели. Вера указует человеку его *жизненный путь;* она определяет его *отношение к себе, к людям, к природе* и ко всему *священному* в жизни человека. И потому совсем не безразлично, верит ли человек в пошлое, разъединяющее, уродливое и погрязает вследствие этого в животности и злобе, или он верует в духовно-значительное, соединяющее и прекрасное и вследствие этого парит наподобие ангела в благом и мудром служении. Вот почему надо признать, что решительно не все заслуживает веры.

Но что же именно заслуживает ее? Во что стоит верить? Есть ли здесь какой-нибудь верный и убедительный критерий?

Вот ответ. *Жить стоит только тем и верить стоит в то, за что стоит бороться и умереть;* ибо *смерть* есть истинный и высший критерий для всех жизненных содержаний. Достаточно самому применить этот критерий со всей надлежащей серьезностью и во всем его глубоком значении и осветить им любое жизненное содержание — и его верность и убедительность раскроется перед очами.

Смерть ставит перед нами вопрос о самом главном, об основах нашего земного существования, о личной жизни в ее целом. Смерть есть та сила, которая обрывает поток повседневных обстоятельств и впечатлений и выводит чело-

века из него; она ставит нас перед основным вопросом: «ради чего ты живешь? Во что веришь? Чему ты служишь? В чем смысл твоей жизни? Верен ли твой выбор, или ты до сих пор даже и не удосужился выбрать что-нибудь? Стоит ли жить тем, чем ты живешь, и верить в то, во что ты веришь? Если стоит, то за это стоит бороться и умереть! Ибо *то, что не стоит смерти, то не стоит ни жизни,* ни веры!..»

Это обнаруживается и подтверждается даже в самых простых, житейски повседневных условиях: кто живет для собственного удовольствия или личного наслаждения и ни во что другое не верит — тот видит во всем (в вещах, в богатстве, в людях, в своем государстве) лишь средство или орудие и ни с чем не связывает себя безусловной связью, на жизнь и на смерть; ему не за что бороться до конца, ему нет смысла рисковать в этой борьбе своей жизнью; и потому при появлении смертельной опасности он будет думать только о себе и о спасении своей жизни любой ценой. Он все побросает и от всего отречется, соображая, что если он сохранит жизнь, то он сохранит и возможность новых наслаждений в будущем, а если он утратит жизнь, то он утратит и все возможные земные наслаждения. И, став неожиданно для самого себя дезертиром своего жизненного пути, он, может быть, впервые спросит себя: «да стоило ли мне жить тем, чем я жил доселе, если я так легко отрекся от этого без борьбы? Не служил ли я каким-то кумирам, которым не стоило и служить?»

Так обстоит со всеми людьми, которые не видят в жизни ничего, кроме земного, чувственного, и не имеют в виду главного, всеобщего и духовного: как только перед ними встает вопрос о главном и личная смерть оказывается у порога, они бросают все и спасают свою жизнь; им нет смысла бороться за какую бы то ни было земную единичность, ибо личная жизнь кажется им дороже всякого отдельного (да еще земного и чувственного) жизненного содержания. Но если они начинают борьбу и ведут ее на смерть, говоря: «лучше совсем не жить, чем потерять дом, семью или свободу», — то это означает, что с этими благами у них был связан некоторый высший смысл и священное значение и что здесь у них дело не сводилось к личным наслаждениям. Можно понять, что человек отдает свою жизнь в борьбе за свое право, за свободу, за веру,

за родину, за храмы, за свой народ, но отдать ее за личные удовольствия — просто *не стоит*.

Это мы видим всюду, где у людей сохранилось хотя бы немножко чутья для высшего смысла жизни и для истинного значения веры: там они воспринимают смертельную опасность, откуда бы она ни надвигалась, — будь это болезнь, или война, или землетрясение, или политический террор, или какая бы то ни была иная катастрофа — как призыв, как пробуждение, как потребность одуматься или даже как начало глубокого жизненного обновления. И только там, где это чутье для высшего смысла жизни и для истинного значения веры совсем иссякло и отлетело, где душа впала в совершенную религиозную слепоту и бесплодность, — только там человек может перед лицом какой-нибудь опасности или неудачи проклясть самую жизнь свою и от случившегося с ним несчастия искать спасения в смерти. Такие люди живут всю свою жизнь так, как если бы для них были только две возможности: *наслаждение* или *смерть*. Наслаждение определяет и исчерпывает смысл их жизни и содержание их веры; но именно поэтому смерть их остается столь же бессмысленной, сколь бессмысленна была и вся их жизнь.

Скажи мне, за что ты хотел бы отдать свою жизнь, а я скажу тебе, во что ты веришь. Ибо вера ставит каждого из нас перед высшей ценностью жизни, перед последним вопросом бытия, перед нашим существованием в целом: *когда смерть вопрошает душу, то душа отвечает верою.* Верующему свойственно крепко держаться за свою веру — и в жизни, и перед лицом смерти; но именно перед лицом смерти ему неизбежно спросить самого себя: да стоило ли, в самом деле, жить тем, чем я жил до сих пор? Верна ли и крепка ли была моя вера?

Вот почему каждый из нас должен спросить себя: стоит ли отдавать жизнь за то, во что я верю? Имеет ли смысл умирать за это? Послужит ли моя смерть некоторому высшему и общему делу, которое не кончится с моей жизнью, но переживет меня, которое осмыслит мою жизнь и освятит мою смерть, которое вознесет меня выше меня самого и вплетет мои силы и мое служение в божественную ткань мироздания? Если да, то я верю во что-то *истинно-священное,* во что стоит веровать, за что стоит бо-

роться и умереть. Если нет, то я, вероятно, заблуждаюсь в моей вере и верю в нечто нестоящее; и тогда мне необходимо пересмотреть всю мою веру и всю мою жизнь до самой глубины и обновить их так, чтобы вера моя стоила борьбы на смерть, а жизнь приобрела бы смысл, не исчерпывающийся смертью.

И еще каждый из нас должен спросить себя: способен ли я, готов ли я умереть за то, во что я верю? Если *да,* то моя вера сильна, глубока и действенна. А если *нет,* то сила моей веры невелика, и, может быть, она невелика именно потому, что прилепилась к нестоящему. Ибо поистине — огонь веры усиливается от прикосновения к подлинно-священному и становится необоримым пламенем от единения с подлинно-божественным; этот огонь истинной веры, хотя и живет в личной душе человека, но источником своим имеет не только ее одну....

Все то, что мы высказали, можно было объяснить так. Человек не может жить без веры, но он может иметь веру слабую, ибо далеко не всякое жизненное содержание заслуживает веры. Слепо и неумно прилепляться к чисто земным обстояниям, т. е. к чувственно-единичным вещам как таковым, превращать их в настоящий центр своей жизни, принимать их как свое любимое и главное, поклоняться им как высшей ценности, видеть в них высшую цель жизни, служить им и жертвовать ради них всем остальным. Из этого могут возникнуть только внутренние противоречия, измена и бессмыслица. Такая вера унижает самого верующего, ибо она превращает его самого в случайного слугу случайностей, во что-то несущественное, как бы в существо двух измерений (ибо остаются два измерения: *тело и душа,* слепые для *духа* и оторвавшиеся от него). Такая вера подрывает свою собственную силу и свой собственный смысл, она с самого начала дышит неверностью и предательством и испаряется при первом дыхании смерти. Конечно, человеку предоставлено верить во все, что ему угодно, и в нелепость, и во вредоносное, и в погибельное; и вследствие этого нетрудно найти людей, которые в действительности верят в подобные вещи — в суеверные приметы (нелепое), в целебное искусство шарлатанов (вредоносное), в культивирование темных, сатанинских сил души (погибельное). Но человеку не дана

возможность создать из нелепости или из любого порока — *религию и церковь.* Религия и церковь возможны только при наличности совсем особых условий, а именно: *глубокого и искреннего чувства и сильной, творческой веры,* а это дается только *жизненно-здоровому духу;* и далее, необходимо такое *содержание* веры и такой *уровень* ее, которые были бы свободны от *душеразрушительного влияния,* от духовных ценностей и от начатков внутреннего предательства.

Однако во всех случаях и на всех путях жизни *человек живет и умирает, или влача земные оковы своей веры, или несомый ее духовными крыльями...*

4. ЗНАНИЕ И ВЕРА

В наши дни есть еще один предрассудок в отношении к вере, согласно которому «знание» есть нечто достоверное, доказательное, истинное, а «вера» есть в конечном счете не более чем «суеверие» (т. е. вера всуе, напрасная и неосновательная). Доказанное и обоснованное не приемлется на веру: оно познается и знается, оно мыслится. Верить же можно лишь в то, что не обосновывается и что поэтому *не основательно,* в то, что не доказуется и потому не имеет за себя *ничего достоверного.* Поэтому здесь только и можно «верить» или «веровать».

С этой точки зрения многие из наших современников говорят почтительно или даже с пафосом о мысли, знании и науке, и с презрением или по крайней мере со снисхождением о вере и верующих людях. Кто расположен к снисхождению и терпимости, тот осуждает веру и верующих не так строго: надо уж представить «глупым» и «необразованным» верить в их «фантазии», что же с ними поделаешь, особенно если фантазии «приличны» и «гуманны». Но кто «серьезно» относится к знанию и доказательству и помнит о вреде предрассудков и об опасности суеверий, тот уже не обнаруживает ни снисхождения, ни терпимости; он уже категорически требует «просвещения» и «борьбы с обскурантизмом». Но если всякая вера есть, в сущности говоря, «суеверие», а насаждают суеверие именно упорные и зловредные обскуранты, с которыми необхо-

димо бороться, то приговор над *христианством* во всех его исповеданиях оказывается уже произнесенным...

Ясно, что в этом предрассудке при последовательном и волевом отношении к нему уже заложено *гонение на христианство.*

За этим предрассудком скрывается на самом деле целое гнездо недоразумений и ошибок. С одной стороны, это воззрение безмерно переоценивает мысль и знание и придает так называемым «доказательствам» преувеличенное значение, ибо на самом деле многое, что люди причисляют к «мыслимому» и «знаемому», — остается необоснованным и не доказанным. С другой стороны, вера и суеверие совсем не одно и то же, в области веры имеется *своя особая достоверность* и свои полноценные основания, не замечать их или отвертываться от них можно только по недостатку духовного опыта.

Так, прежде всего, было бы совсем наивно думать, что человеческое «мышление» и «знание» не делает ошибок или что оно способно доказать каждое свое утверждение. Вся картина мироздания в том виде, как его очерчивает наука, покоится на очень спорных и часто неясных гипотезах, которые иногда отчасти «подтверждаются» новыми наблюдениями, а иногда опровергаются и тогда отвергаются. Эти гипотезы полезны, необходимы и драгоценны, без них исследование мира не могло бы совершаться и наука стала бы невозможною. Но они совсем не суть «доказанные истины», даже и те из них, которые *доселе* подтверждались при наблюдениях. Чем дальше человек стоит от научной лаборатории, тем более он иногда бывает склонен преувеличивать достоверность научных предположения и объяснений. *Полуобразованные люди* слишком часто *верят* в «науку» так, как если бы ей было все доступно и ясно; чем проще, чем элементарнее, чем площе какое-нибудь утверждение, тем оно кажется им «убедительнее» и «окончательнее»; и только настоящие ученые знают границы своего знания и понимают, что *истина* есть их *трудное задание и далекая цель,* а совсем не легкая, ежедневная добыча.

Настоящий ученый прекрасно понимает, что «научная» картина мироздания *все время меняется,* все осложняясь, углубляясь, уходя в детали и никогда не давая ни

полной ясности, ни единства. Достаточно вспомнить, как изменилась вся картина мира после того, как астрономическая система Птоломея была вытеснена системой Коперника, или — что дало науке и народам открытие электричества, или радия, или беспроволочной передачи, или раскопки доисторических городищ, или спектральный анализ. Настоящий ученый знает, что наука никогда не будет в состоянии объяснить свои последние предпосылки или определить свои основные понятия, напр., точно установить, что такое «атом», «электрон», «витамин», «энергия» или «психологическая функция»; он знает, что все его «определения», «объяснения» и «теории» — суть только несовершенные попытки приблизиться к *живой тайне* материального и душевного мира. О продуктивности науки не стоит спорить: за нее свидетельствуют вся современная техника и медицина. Но что касается ее теоретических истин и их доказуемости, то наука плавает по морям проблематического и таинственного.

Здесь проходит грань между ученым и полуобразованным.

Настоящий ученый знает, доколе простирается его знание, и потому он духовно скромен. Он ищет и пытается доказывать, он всегда добивается *максимальной* достоверности и доказательности, ясности и точности, но именно поэтому он знает, сколь трудно это дается, и всегда помнит, что полной достоверности у науки нет. Он всегда помнит, сколь ограничен *объем* того, что «уже познано», и сколь сравнительно невелика сила и компетентность научной мысли, ибо поистине мысль есть только *одна из способностей* человека, наряду с другими, а научная мысль нуждается в *опыте,* для которого необходимо чувственно воспринимать, ощущать, чувствовать, желать, воображать, созерцать и совершать поступки. Настоящий ученый понимает все это и не переоценивает ни отвлеченную мысль, ни науку в целом. Вот почему он не верит в отвлеченные схемы и мертвые формулы и хранит в себе живое ощущение глубокого, таинственного и священного. Этим и объясняется то обстоятельство, что среди настоящих и великих ученых многие питали и питают живую веру в Бога: их взор не ослепляется тем, что уже познано и добыто, но оставался прикованным к тайнам мироздания и к скрытым в них богатствам, а созерцание этих тайн пробуждало

в них тот внутренний, духовный опыт, от которого родится религиозное настроение и «верующая» вера. Так, истинная ученость не уводит от Бога, а ведет к Нему.

Совсем иное дело полуобразованность. Такой человек не умеет исследовать и познавать, он умеет только «понимать» то, что просто и плоско, и — помнить. Он живет заученными формулами, от которых в голове все становится плоско и просто, он принимает это за «ясность» и поэтому воображает, будто все ему ясно и будто он призван все «объяснять» другим. Вот откуда у полуобразованных людей эта безмерная притязательность и безответственность: добыв без труда свою плоскую ясность, не научившись в труде познания — ни ответственности, ни скромности, они смотрят не вверх, а вниз, не вглубь, а в отвлеченную пустоту, где все легко, легкомысленно и беспочвенно. Они не создают сами ничего, но заимствуют все у других, перенимая, подражая, подхватывая и повторяя. Есть немало людей, у которых и самое чтение книг получает такое же значение: по слову одного наблюдательного ученого, «они и читают-то только для того, чтобы иметь право не думать самостоятельно»... Нередко они выбирают себе какого-нибудь одного человека, который становится их «авторитетом», «учителем» и «вождем». Тогда они начинают верить в него и в его формулы. Все, что не укладывается в эти формулы, — или вовсе не существует для них, или подлежит «искоренению»; все несогласные с ними объявляются вредными лжецами и лицемерами. Такие полуобразованные фанатики верят своему «учителю» с тою же легкомысленною неосновательностью, с какою они верят во всемогущество мысли и в свою мнимую «науку». Таинственная глубина материального и душевного мира остается им недоступной, и все их воззрение на природу и на людей оказывается предметом их *суеверия*. И нередко бывает так, что чем пошлее их миропонимание, тем фанатичнее они *верят* в него. *Веровать же* они не способны и к религии относятся с презрением и враждебностью, *не подозревая о том, что именно у верующих* вера может быть ответственною, серьезною и глубокою. Вот источник современного воинствующего безбожия.

Это состояние души, распространенное в современном человечестве, давно уже было подмечено нашими поэтами, описано и осуждено ими.

Так, у друга Пушкина, князя П. А. Вяземского, мы находим следующие гневные строки:

Наш разум, омрачась слепым высокомерьем,
Готов признать мечтой и детским суеверьем
Все, что не может он подвесть под свой расчет.
Но разве во сто раз не суеверней тот,
Кто верует в себя, а сам себе загадкой,
Кто гордо оперся на свой рассудок шаткий
И в нем боготворит свой собственный кумир?..[1]

Еще глубже и пророчественнее звучит та же мысль у Тютчева:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует;
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит...

Увы, люди этого уклада, по-видимому, далеки еще от сознания своей «погибели». Они все еще верят в свою «полунауку».

Достоевский имел это в виду, когда писал: «Полунаука, самый страшный бич человечества... Полунаука — это деспот, каких еще не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, перед которым все преклонилось... с суеверием, до сих пор немыслимым...»[2].

Но если полуобразованные люди склонны переоценивать науку и ее силы, то сущность истинной веры и религия остается для них совсем непонятной.

На самом деле религиозная вера вовсе не связана с «глупостью» и «невежеством», она нужна всем людям: и самым умным, и самым образованным. К сожалению, в мире немало людей, которые *не умеют* возвести свою слепую веру на уровень духовно-зрячего, религиозного верования; и наряду с ними есть еще больше людей, которые «принципиально» *не хотят веровать, но совсем не верить*

---

[1] Кн. П. А. Вяземский. Молитвенные думы.

[2] Достоевский. Бесы. Часть вторая. Глава первая. VII.

не могут, и потому верят в нелепое и вздорное, а потом не хотят признаться в этом, отрицают свою веру и уверяют, что их нелепости «познаны» и «доказаны» (напр., воинствующие материалисты). И как не противопоставить им тех многих умных и научно образованных людей, которые верно постигли сущность науки и границы человеческой мысли и тем освободили в своей душе место для *искренной и чистой веры в Бога!*

Для того чтобы это утверждение не казалось голословным, приведем несколько живых свидетельств, высказанных великими естествоведами за последние четыре века. Их можно было бы привести гораздо больше[1].

Вот суждение великого славянина Коперника (1473—1543):

«Созерцая мысленно великолепный порядок мироздания, управляемый с божественной премудростью, кто не почувствовал бы, что постоянное созерцание его и, так сказать, интимное общение с ним возводят человека к Высшему и к восхищению перед всезиждущим Строителем вселенной, в котором пребывает высшее блаженство и который есть венец всякого добра...».

А вот суждение Бэкона Веруламского (1561—1626):

«Только поверхностное знание природы может увести нас от Бога; напротив, более глубокое и основательное ведет нас назад, к Нему...».

Знаменитый хирург своего времени Парэ (1517—1590) говорил о своих пациентах: «Я перевязывал, целил — Господь...».

Галилео Галилей (1564—1642) записал: «И Священное Писание и природа исходят от Божественного Слова; первое — как внушение Святого Духа, вторая — как исполнительница Божьих велений...».

У Кеплера (1571—1630) читаем: «В творении — я касаюсь Бога как бы руками...» и еще: «О, Отец света, Ты, который при помощи естественного света пробуждаешь в нас желание света благодати, чтобы возвести нас к свету величия! Благодарю Тебя, о мой Создатель и Господь, за то, что Ты обрадовал меня творением Твоим, ибо я был в восторге от дела рук Твоих...».

---

[1] См. книгу Деннерта: Professor Dr. E. Dennert. Die Religion der Naturforscher.

Вот суждение знаменитого Бойля (1626—1691): «Истинный естествоиспытатель нигде не может проникнуть в познание тайн творения без того, чтобы не воспринять перст Божий».

Гете пишет (1749—1842): «Время сомнения прошло — теперь люди так же мало сомневаются в самих себе, как в Боге».

Заслуженный физик Эрстед (1777—1851) отметил: «Всякое основательное знание природы ведет к познанию Бога».

Анатом фон Халлер (1708—1777) высказал следующее признание: «Меня познание природы научило мыслить более возвышенно о Боге, пред которым наша земля есть одна из маленьких пылинок, лежащих в бесчисленном множестве у подножия его трона...».

Лаконическую формулу оставил нам астроном Мэдлер (1794—1874): «Настоящий естествоиспытатель не может быть отрицателем Бога...».

Знаменитый геолог Лиэлль (1797—1875) записал следующее: «В каком бы направлении мы не повели наши исследования, всюду мы открываем самые ясные доказательства творческого Разума или его провидения, силы и мудрости».

Следующие два замечания мы находим у православного химика Либиха (1803—1873): «Это все мнения дилетантов, которые из своих прогулок у пограничных областей естествознания выводят свое право разъяснять не знающей и легковерной публике, как это, собственно говоря, возникли мир и жизнь и сколь далеко зашел человек в исследовании высших предметов». «Не забывайте, — говорил он своим студентам, — что мы при всех наших знаниях и исследованиях остаемся близорукими людьми, сила которых коренится в том, что мы имеем опору в высшем Существе».

Зоолог Агассиц (1807—1873) устанавливает: «Из изучения природы каждый должен вынести убеждение, что все упорядочено неким возвышенным Духом».

Ботаник Шлейден (1804—1881) высказывается в том же самом направлении: «Именно настоящий и точный естествоиспытатель никогда не может стать материалистом в современном смысле слова, отрицателем духа, свободы и Божества».

Весьма интересное признание мы находим у Чарльза Дарвина (1809—1882): «В состояниях самого крайнего колебания я никогда не был атеистом в том смысле, чтобы я отрицал существование Бога».

Известный ученый фон Майер (1814—1878), открывший закон сохранения энергии, пишет: «Если поверхностные головы, охотно выдающие себя за героев дня, не хотят признавать вообще ничего иного и высшего, кроме материального, чувственно воспринимаемого мира, то такую претензию отдельных лиц нельзя ставить в укор науке; еще менее пользы и чести будет самой науке от этой претензии». «Из целостного, полного сердца восклицаю я: истинная философия не может и не смеет быть ничем иным, кроме как пропедевтикой для христианской религии».

Приведем, наконец, суждение знаменитого французского ученого Дюбуа-Реймона (1818—1896): «Только Божественному всемогуществу можем мы достойно приписать, что оно до всякого представимого времени создало всю материю посредством творческого акта...».

Приведенного достаточно. Желающие пусть обратятся еще к Ньютону, Лейбницу, Фехнеру и к философам всех времен и народов, исходившим непосредственно из духовного опыта[1]. Один из глубокомысленнейших историков 19 века (Карлейль) точно передает основной дух приведенных нами формул, когда говорит: «Человек вообще не может знать, если он не молится чему-то в определенной форме. Нет этого — и все его знание оказывается пустым педантством, сухим чертополохом...».

Но молиться имеет смысл только тому, чему действительно стоит молиться. Как же могут люди воспринимать Бога? Где же путь, ведущий к Нему?

Благо тому, в чьей душе этот путь проторен с раннего детства...

Но как быть ищущему и еще не нашедшему.

5. ИСТОЧНИК ВЕРЫ

Итак, знание и вера совсем не исключают друг друга. С одной стороны, потому что положительная наука, если

---

[1] См. следующий раздел «Источник веры».

она стоит на высоте, не преувеличивает ни своего объема, ни своей достоверности и совсем не пытается судить о предметах веры; она не судит о них ни положительно («есть Бог», «жизнь человека имеет высший, священный смысл»), ни отрицательно («Бога нет», «человек не выше обезьяны» и т. п.). Ее граница — чувственный опыт, ее метод — объяснять все явления естественными законами и стараться доказать каждое свое суждение. Она держится за этот опыт и за этот метод, отнюдь не утверждая, что они всеобъемлющи и исчерпывающи, и отнюдь не отрицая того, что можно достигнуть истины в другой области при помощи *другого опыта и другого метода*[1].

С другой стороны, настоящая вера вырастает именно из этого *другого опыта* и идет своим *особым путем* («методом»), отнюдь не вторгаясь в научную область, не вытесняя и не заменяя ее.

Тот, кто полагает, что вера есть нечто произвольное, несерьезное и безответственное и что веровать можно только без всяких оснований в недостоверное и выдуманное, — тот жестоко ошибается; и ошибка его проистекает из наивности. Так, он, конечно, воображает, будто он хорошо знает и понимает, *что такое человеческий опыт* и что значит *обоснованность и достоверность.* На самом же деле он этого *не* знает и *не* понимает, и в этом его наивность. Поэтому он должен однажды убедиться в том, что он всего этого не понимает, и, убедившись, отказаться от своего предрассудка и взять назад все свои суждения.

На самом деле человеческий опыт бесконечно шире, богаче и разнообразнее, чем это представляют себе современные материалисты и безбожники. Когда они говорят об этом, то они представляют себе *чувственный* опыт, который дается человеку через его внешние чувства (зрение, слух, осязание и т. д.) и открывает ему доступ к материальному миру. Человек, прилепившийся исключительно к чувственным ощущениям (сенсуалист) и принимающий всерьез только то, что они ему приносят (а они говорят ему только о внешних, пространственно-протяженных вещах, т. е. о материальном), станет, сам того не замечая, материалистом.

---

[1] Метод есть слово греческое и обозначает буквально «путь вслед за чем-нибудь», «путь к известной цели».

Материалист привержен к одному единственному источнику опыта, он верит только в него и пользуется только им, этот источник составляют внешние ощущения. Вследствие этого материалист отличается односторонностью, ограниченностью, скудостью своего опыта. Это не значит, что он в действительности имеет дело только с внешними, чувственными восприятиями, так что он только и может видеть, слышать, обонять, касаться и иметь вкусовые раздражения; нет, но он вырабатывает себе (иногда бессознательно, иногда сознательно) такую душевную установку, *как если бы он не имел никакого другого опыта.* Он живет и думает так, как если бы в его опыте не было никаких *нечувственных содержаний,* как если бы доказывать и обосновывать можно было только при помощи чувственных восприятий и только в области материальных вещей. Он не привык вращаться в сфере иного опыта и иных предметов. Он как бы прильнул раз и навсегда к состояниям своего тела и к показаниям его органов, *им* доверился, *в них* поверил и затем уверил себя, будто ни у него, ни у других людей нет доступа ни к чему другому. Его внимание, его интерес, его желания, его деятельность обращены на внешнее; выражаясь условно, можно сказать, что он «экстра-вертирован» (обращен наружу). И если он видит человека «интро-вертированного» (обращенного вовнутрь, к внутреннему, нечувственному миру), то он оказывается не способным ни понять его установку, ни поверить ему на слово: он объявляет его выдумщиком, фантазером или обманщиком.

А между тем всякий, сколько-нибудь опытный мыслитель, мог без особого труда доказать такому наивному и самоуверенному материалисту, что он решительно неправ, ибо все сводится к односторонней скудости *его* опыта или, еще точнее, к *нежеланию* его заметить и принять всерьез другой опыт, без которого он сам не может обойтись. У материалиста, как и у всякого человека, имеются не только *телесные* состояния, но и *душевные* состояния; и многие из этих душевных состояний дают ему *не-чувственный* опыт и открывают ему *не чувственные предметы.* Неумно и вредно закрывать себе глаза на это разнообразие и богатство опыта, культивировать свои *низшие* способности и отвергать или даже отрицать *высшие.* Еще глупее и

вреднее — пытаться уговорить других людей к такому же скудоумию или прямо навязывать им это скудоумие в порядке государственного принуждения, как это делают коммунисты, предписывая материалистическое преподавание в школах и давая социальные преимущества безбожникам и воинствующим материалистам.

В действительности дело обстоит так, что человеку, наряду с чувственными ощущениями, даны и другие, бесконечно более благородные, утонченные и значительные *источники опыта*. Судьба каждого отдельного человека, целых поколений и национальных культур зависит от того, живут ли люди этим опытом, умеют ли ценить, развивать и творчески пользоваться источниками его и т. д. Весь современный духовный кризис, переживаемый человечеством, объясняется тем, что человечество вот уже в течение нескольких поколений пренебрегало источниками этого опыта и отвыкло, отучилось пользоваться ими; ослепленное успехами естествознания и техники, охладевшее к религиозным глубинам жизни, оно доверилось всецело (или почти всецело) чувственным ощущениям и вырастающей из них теории и практике. Вследствие этого, люди нового времени изощрились в изучении материальной природы и в технических изобретениях и незаметно оказались в состоянии детской беспомощности в вопросах *духовного опыта, духовной очевидности и духовных умений*. Преодолеть этот кризис можно только одним способом: *вернуться к этим благородным и чистым источникам духовного опыта, пробудить их и творчески зажить ими.*

Человек не может жить одними чувственными восприятиями, исходя только из них и ограничиваясь только ими; может быть, это и доступно простейшим и низшим животным, но, напр., собаки и лошади стоят, несомненно, уже на более высокой ступени. Человеку же присущи сверх телесных ощущений еще чувствования, сила воображения, воля и энергия мысли. Конечно, он может пренебрегать этими состояниями или, так сказать, *внутренними актами* и сводить их к известному минимуму, уподобляясь животным, у которых преобладают чувственные ощущения и телесные потребности: человек может также превратить эти высшие потребности своей души в простое оружие своих телесных раздражений и потребностей, т. е.

не столько жить ими, сколько злоупотреблять ими. Но если бы он вступил на этот путь, то из этого возникли бы только величайшая нужда, варварство и пошлость. Почему? Потому что эти пренебреженные и заброшенные душевные силы отнюдь не перестали бы жить и действовать в его душе, а стали бы нести *нечистую жизнь* и увлекать душу на *гибельные пути,* ибо орудие, которое не чистят и запускают и которым злоупотребляют, всегда становится вредным и опасным.

Конечно, можно относиться с презрением к жизни *чувства* — напр., к любви, радости, благодарности, уважению, благоговению, чести и патриотизму — и отвергать все это как «сентиментальность», но от этого душевные чувствования отнюдь не исчезнут, они станут не только грубыми, злобными, нечистыми и отвратительными, т. е. душевно и телесно вредными, а духовно гибельными; они прилепятся к *дурным* содержаниям, и человеческая душа исполнится ненависти, зависти, злости, гордости и мстительности.

Точно так же «отвергнутая» и запущенная *сила воображения* отнюдь не исчезает и не прекращает свою жизнь; напротив, она разнуздывается и предается самым низменным, грубым и унизительным жизненным содержаниям: она отыскивает похотливые, безвкусные, злые образы и наслаждается ими и проносится слепо и равнодушно мимо образов целомудренной чистоты, благородства и божественной красоты. Люди, не уводящие своего воображения к высшим, нечувственным содержаниям, становятся *пленниками пошлости* и, по слову мудрого Гераклита, всю жизнь «наслаждаются грязью».

Такая же судьба постигает и человеческую волю, если она оказывается духовно-беспризорной и нравственно разнузданной: она начинает служить *волку в человеке* и становится его свирепым орудием. Невоспитанная, неодухотворенная, необлагороженная воля — есть источник всех коварных, злобных и преступных поступков на земле. В ответ на это человек может, конечно, возразить, что все эти понятия и мерила не имеют для него никакого смысла. Но эта ссылка есть лишь пустая фраза в его устах: как только *чужое коварство,* чужая злоба и преступность обрушатся на него самого, так он сразу ощутит, что означают эти

идеи, и начнет поносить *чужого* волка, забыв о том, что он давно уже спустил с цепи своего собственного.

Подобно этому и *мышление* человека творчески создает культуру не тогда, когда оно прилепляется к чувственному и материальному, чтобы просто «наблюдать» его явления и умственно «разлагать» их (анализировать); из этого не возникла бы ни одна наука, ибо научное познание невозможно без логической мысли (которая совершенно нечувственна) и без математической мысли (которая почти нечувственна), а также без нравственно воспитанной воли и без нечувственной интуиции... Мышление человека только тогда на высоте, когда оно способно подниматься от конкретно-чувственного, к крылатому и интуитивно насыщенному отвлечению, сосредоточиваться на *духовных* содержаниях, пребывать в них, созерцать их и познавать их.

Все это означает, что помимо внешнего (чувственного) опыта человеку дан еще внутренний (нечувственный) опыт. И вот этот *внутренний, духовный опыт и есть истинный источник и истинная область веры, религии и всей духовной культуры вообще.* Воспитать человека значит, прежде всего, пробудить в нем эти духовные переживания и открыть ему доступ к этому духовному опыту. Только в этом опыте человек может постигнуть, что такое *любовь,* какова ее глубина и сила и в чем ее священное значение. Только здесь он может научиться отличать добро от зла, услышать в самом себе голос совести, постигнуть, что такое честь, благородство и служение. Только в этой области он может увидеть, что такое художественность и прекрасное искусство, воспитать свой вкус и развить свое восприятие красоты. Только духовный опыт может открыть ему, что такое истинное знание, очевидность и доказательство и в чем состоит научная культура и достоинство ученого.

Через *духовный опыт человек сообщается с божественной стихией мира и входит в живое соприкосновение с Богом.* Отсюда возникает *«верующая»* вера. Здесь зарождается религия и церковь.

Пренебрегающий духовным опытом — теряет доступ ко всему этому. Он — как бы *сам залепляет себе духовные очи* и предается слепоте и пошлости. От всех вещей он

видит только внешнюю видимость и довольствуется тем, что превращает ее в пустую, абстрактную схему. Глубина и тайна жизни уходят от него — и во внешнем мире, и в его собственной душе. Он блуждает по распутиям до тех пор, пока не ударится головой о гранитную стену тех духовных законов, которые он отверг, или пока не сокрушится в пропасти тех духовных запретов, над которыми он доселе издевался. Ибо духовные законы и запреты связуют *всех* людей, в том числе и тех, которые отвергают их или издеваются над ними. Человеку дана свобода отвергать их и попирать их; но никогда еще человек и народ, идущий по этому пути, не вел на земле *достойной, творческой и прекрасной жизни;* напротив, все они разлагались душевно, впадали в общественный беспорядок и смуту и исчезали в духовном небытии.

Только духовный опыт — опыт, открывающий человеку доступ к любви, совести и чувству долга, к праву, правосознанию и государственности, к искусству и художественной красоте, к очевидности и науке, к молитве и религии, — только он может указать человеку, что есть подлинно *главное и ценнейшее* в его жизни; дать ему нечто такое, чем стоит жить, за что стоит нести жертвы, бороться и умереть; открыть ему истинный и единственный *Предмет религиозный веры.* Надо, чтобы он в самом деле *увидел духовными очами* то, во что он будет отныне веровать, чтобы он *подлинно испытал и узнал божественность Бога* и прилепился к *нему свободно и целостно* — не понаслышке, не от усталости и отчаяния, не из доверия к чужому авторитету, ибо слухи меняются, и усталость проходит, и чужой авторитет может поколебаться. Человеку же нужен камень веры, который вечно был бы с ним — и в песчаной пустыне, и в снежной буре, и в непролазном лесу, и в тюремной одиночке, и в одиночестве всеобщей клеветы и злобы; такой камень, который всегда можно было бы осязать как неколебимую твердыню и стать на него, как на некий столп утверждения... Человеку необходим *свет очевидности,* некая не сгорающая купина, которая горела бы *в нем самом,* чтобы он мог и сам возгореться от нее; ему необходим свет не иссякающий и ему самому внутренно-доступный. Источник такого света один: это *духовный опыт, в коем человеку открывается лицезре-*

ние Божие. Отсюда — всякая подлинная, «верующая» вера, эта первая и высшая сила человеческой жизни, дающая ему свободный полет через жизнь и смерть. Только здесь человек может обрести своего Бога и Господа и соединить себя с Ним любовью и верностью.

Только этот внутренний духовный опыт делает человекообразное существо — воистину человеком, т. е. духовной личностью, с неразложимым, священным центром, с индивидуальным характером, со способностью духовно творить и наполнять духом общественную жизнь, свободу, семью, родину, государство, частную собственность, науку и искусство. Потому что *последняя основа* всего этого, *творческий первоисточник* всей духовной культуры есть *Божественное в нас,* даруемое нам *в откровении живым и благим Богом,* воспринимаемое нами посредством любви и веры и осуществляемое нами в качестве самого главного и драгоценного в жизни.

Иными словами: вся *духовная культура* возникает лишь из того и благодаря тому, что человек не ограничивает себя чувственно-внешним опытом, не отводит ему ни исключительного, ни хотя бы преимущественного значения, но, напротив, признает основным и руководящим *духовный опыт,* из него живет, любит, верует и оценивает все вещи, а следовательно, им же определяет и последний смысл и высшую цель внешнего, чувственного опыта, т. е. сперва обретает «внутри себя» Божественное начало, а затем представляет ему водительство во всей внешней жизни.

Самым глубоким и могучим источником духовного опыта и религиозной веры является *любовь.*

ГЛАВА ВТОРАЯ
О ЛЮБВИ

1. ЧТО ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

Первым и глубочайшим источником духовного опыта является духовная любовь. Ее надо признать основным и необходимым «органом» духовного опыта. И всякому христианину это должно бы было быть ясным без доказательств.

Все попытки определить *любовь* в логическом порядке были бы тщетны: того, кто ее не испытал, нельзя не просветить, ни убедить в этом отношении. Впрочем, духовный опыт подобен в этом всякому другому опыту. *Всякое доказательство* покоится в конечном счете и в последней инстанции на живом опыте, на живом восприятии и увидении. Всякое доказательство ведет рано или поздно (чем скорее, тем лучше!) к *предмету,* который надо воспринять, увидеть и пережить; и тот, кто не может воспринять предмета или не хочет испытать и увидеть его, — тому вообще никогда и ни в какой области нельзя ничего доказать, ни в естествознании, ни в истории, ни в философии. Последняя ступень доказательства всегда звучит так: «а все это потому, что сам предмет таков; вот он — переживи, восприми, испытай и признай!» и потом: «если не хочешь или не можешь, то отойди, умолкни и не мешай другим!»... Именно так: неспособный к предметному опыту должен уйти из исследовательской лаборатории и прекратить всякие споры, и притом вследствие своей умственной или духовной неспособности. В философии дело обстоит совершенно так же, как и в высшей математике, или в физике, или в юриспруденции...

И тем не менее живое своеобразие духовной любви может быть и должно быть *описано*. Что это за состояние — любовь? И чем отличается духовная любовь от недуховной?

Там, где начинается любовь, там кончается безразличие, вялость, экстенсивность: человек собирается и *сосредоточивается,* его внимание и интерес концентрируются на одном содержании, именно на любимом; здесь он становится *интенсивным,* душа его начинает как бы накаляться и гореть. Любимое содержание — будь то человек, или коллекция картин, или музыка, или любимые горы — становится живым центром души, важнейшим в жизни, главнейшим предметом ее. Оказывается, что любовь дает человеку, по слову Платона, сразу — душевное *богатство* и душевную *бедность:* богатство — ибо человек нашел сокровище своей жизни, которым он владеет и которое он как бы носит в себе: отсюда чувство душевного обилия, силы, счастья, повышенного интереса к жизни и благодарности за все это; бедность — ибо у человека возникает чувство, что он никогда не владеет своим сокровищем до конца и что *без* него и *вне* его он сам скуден, печален и одинок: отсюда чувство душевной скудости, слабости, несчастья разочарования во всем и ропот на свою лишенность и нищету. И все же, несмотря на эту тоску лишенности, человек чувствует себя обогащенным и богатым.

Вот почему любовь есть *радость,* которая не покидает человека даже и в страдании, но светит ему сквозь все неудачи, лишения и огорчения, так что он радуется и тогда, когда терпит муку: ибо знает, что он имеет в себе самом некое сокровище и чувствует, как от близости к этому сокровищу душа его заливается глубокой и тайной радостью, как бы неким блаженным светом. Оказывается, что любовь сама по себе, даже в отрыве от любимого предмета, есть уже счастье, в котором душа перестает каменеть, размягчается, становится как бы подвижной и легкой, гибкой и текучей; она нежно чувствует, поет и обращается ко всему миру с сочувствием и добротой. *Любовь есть доброта* — не только потому, что она окружает сочувствием свой любимый предмет, печется о нем, страдает и радуется вместе с ним, но и потому, что любовь сама по себе дает человеку счастье и вызывает у сча-

стливого потребность — осчастливить все и всех вокруг себя и наслаждаться этим чужим счастьем как излучением своего собственного.

Истинная любовь этим не исчерпывается и на этом не останавливается: она *вживается* в любимый предмет вплоть до *художественного отождествления* с ним[1]. Чувство и воображение соединяются у любящего человека и повышают силу его восприятия и воспроизведения настолько, что проницательность его по отношению к любимому предмету доходит до настоящего *интуитивного ясновидения*. Иногда эта сила ясновидящей проницательности ограничивается одним любимым человеком (напр., у матери — ее детьми) или любимым предметом (напр., у музыкального критика — музыкой одного любимого композитора); но иногда эта сила переносится и на других людей, и даже на весь мир (напр., у гениального художника). Во всяком случае, человек, осчастливленный любовью, созерцает и воспринимает предметы внешнего и внутреннего мира совсем иначе, чем человек с сухим и каменеющим сердцем, холодный и чопорный эгоист. Любящему человеку весь мир говорит иное и иначе, так, как если бы каждый цветок раскрывался ему по-особенному, каждая птичка пела ему по-иному, каждый луч солнца светил ему ярче, каждое человеческое сердце поворачивалось к нему особливо; подобно тому как в сказке избушка на курьих ножках повертывается к Ивану Царевичу передом, а к лесу задом. Ибо любовь есть сила всесогревающая, всеотмыкающая и всевидящая; она сама и цветет, и поет, и сияет.

Вот почему любящая душа воспитателя, врача, художника и духовника есть поистине священное орудие для новых постижений и умений; и в сравнении с их видением и влиянием наблюдение жестокосердного эгоиста есть лишь жалкая немощь. Ибо они воспринимают то,

Что для ума покрыто тьмою,
Но сердцу видимо вдали...

(Князь П. А. Вяземский)

---

[1] См. главу первую, раздел второй.

И это видение и влияние любящего сердца, проявляющего нередко истинно гениальную проницательность, усиливается еще от самоотвержения, этого последнего и высшего дара любви. В самом деле, вчувствование и воображение любящего сердца доходит иногда до того, что человек действительно проявляет полное самоотречение: любимый предмет оказывается для него выше его самого; он становится для него живым центром его жизни, которому он служит, нисколько этим не унижаясь, и которому он приносит многое в жертву, щедро и беззаветно, нисколько не помышляя об этих жертвах. Он делает единственное, что ему естественно и неизбежно делать; он делает необходимое как единственно для него возможное и добровольно-желанное, не думая о других, трусливых и неискренних путях.

Такова настоящая любовь, так она действует и проявляется в жизни.

В таком виде любовь можно найти иногда, хотя совсем не часто, и в обыденной жизни, именно там, где она проистекает из чистого и цельного сердца. Никто не умел живописать людей такого сердца и такой любви столь совершенно, как Достоевский, Лесков и Шмелев в России, как Диккенс и Гофман в Западной Европе. Но свою настоящую и высшую форму эта любовь приобретает тогда, когда она *срастается с духовным опытом* или прямо *вырастает* из него.

Человеку доступна двоякая любовь: *любовь инстинкта и любовь духа*. Они совсем не враждебны и не противоположны, но сочетаются они сравнительно редко. Отчасти потому, что многие люди совсем не знают духовной любви; отчасти потому, что обе эти любви вступают в разноречие друг с другом; отчасти потому, что более сильная из них не дает другой развиться и окрепнуть и просто подчиняет себе слабейшую. Но сколь же счастливы те люди, у коих оба потока любви соединяются в один и становятся тождественными! Всякое иное счастье на земле является по сравнению с этим счастьем чем-то второстепенным.

Отличие этих двух видов любви совсем не в том, что одна из них есть «чувственная» и потому «земная», другая же посвящена «сверхчувственному» и называется «небес-

ной» или «платонической». Различие их в том, что *любовь инстинкта* ищет того, что данному человеку *субъективно нравится,* с тем чтобы потом слепо идеализировать это нравящееся и без всякого основания приписывать ему в воображении все возможные совершенства; здесь все определяется субъективной приятностью и личным удовольствием, тогда как начало качества, достоинства, совершенства отходит на второй план или же не имеет никакого значения. Формула этой любви приблизительно такова: «этот предмет мне нравится, значит ему должно быть присуще всякое совершенство; мил — значит хорош; *по милу хорош...*» Само собой разумеется, что за этим ослеплением, за этой наивной идеализацией следует в большинстве случаев ранее или позднее разочарование.

В отличие от этого, *духовная любовь* тяготеет к *качеству, достоинству, совершенству.* Она не восхваляет сослепу то, что нравится; но ищет подлинно хорошего, и это подлинно хорошее вызывает у человека чувство любви: это — доброта и благородство души, художественное произведение искусства, человек с глубоким и чистым сердцем, справедливость, мудрость, величие и значительность природы, словом — *божественное совершенство* во всех явлениях, вещах, людях, состояниях и поступках... У человека, живущего духовной любовью, чувствующее и чуткое сердце обращено как бы от природы на объективно-хорошее, на такое, что на *самом деле* «добро зело»; и эта обращенность сердца на объективное качество или достоинство вещей — есть всегда некий дар Божий, который может быть, однако, укреплен и развит как воспитанием, так и *самовоспитанием.* Такой человек как бы смотрит в мир *качественным оком,* отыскивая подлинное совершенство, находя его, предпочитая его, радуясь ему и насыщаясь духовно только им; сердце его утешается им, наслаждается им, любит его; оно связывает себя с ним; оно испытывает его успех и победу, как свои; оно всегда готово помочь ему словом и поступком, послужить ему, принести ему в жертву многое другое...

Духовная любовь есть как бы некий *голод души по Божественному,* в каком бы обличии это Божественное ни появилось. Она есть как бы вздох, призыв, молитва, об-

ращенная к духовному небу: «явись! дай мне узреть Тебя! откройся! дай мне эту благодать и радость!!» И эта молитва, может быть, совсем не произносится словами, а *безмолвно живет в сердце в виде сокровенного, легкого трепета* — трепета ожидания, надежды, вечного озирания; или — у волевых людей — в виде уверенности, требования, настойчивых, неутолимых поисков.

Формула этой любви приблизительно такова: «этот предмет хорош (может быть, даже совершенен); он на *самом деле* хорош, не только для меня, но и для всех; он хорош — объективно; он остался бы хорошим или совершенным и в том случае, если бы я его не увидел, или не узнал, или не признал его качество; я слышу в нем дыхание и присутствие Божественного Начала — и потому я не могу не стремиться к нему; ему — моя любовь, моя радость, мое служение...»

Выражая это русской простонародной поговоркой, можно сказать: *«не по милу хорош, а по хорошу мил»*.

Можно бы сказать, что духовная любовь есть не что иное, как *вкус к совершенству* или — верный духовный *орган для восприятия Божественного совершенства* как в небесах, так и на земле. Можно было бы сказать, что этот вкус или орган присущи человеку по благодати Божией; но в то же время необходимо было бы добавить, что *зачатки* такого вкуса или органа свойственны многим (если не всем!) людям «от природы», конечно — в различной степени и силе. Одни люди живут в этой *духовной интенции*[1]; они пребывают в ней, любят ее, дорожат ею; укрепляют, углубляют, очищают ее в себе; и затем, исходя из нее, *веруют и действуют*. Напротив, другие пренебрегают ею, не дорожат ею, не умеют освобождать для нее ум и свое сердце — и потому бредут по диким и случайным тропам своего неразборчивого права или своей прихоти и похоти.

Из всего этого ясно, что духовная любовь совсем не исключает инстинктивную или чувственную любовь. Она не отрицает ее, а только прожигает ее Божиим лучом,

---

[1] Слово «интенция» выражает сразу и «направленность», и «интенсивность», значит — сосредоточенную направленность, концентрированность.

очищает, освящает и облагораживает. Инстинкт, примирившийся с духом, участвующий в *его* видении и в *его* радовании, не перестает быть инстинктом и не отрекается от чувственной, плотской любви; он утрачивает только тягу к самовольству, силу буйного соблазна и присущую ему духовную бессмысленность. Сила инстинкта и сила духа сочетается, чтобы не разлучаться; и тогда *чувственная любовь становится верным и точным знаком духовной близости и духовной любви.* «Мил» и «хорош» соединяются: и инстинкт получает полную свободу считать свое субъективное «нравится» духовно неошибочным. «Небо» как бы сходит «на землю»; или, вернее — дух является в инстинкт, и акт инстинкта становится духовным событием...

Понятно, что все то, что мы высказали о любви вообще, относится и к духовной любви.

В духовной любви человек сосредоточивает свои духовные силы на том, что *на самом* деле хорошо и совершенно; и вследствие этого огонь этой любви становится *священным пламенем.*

Это *объективно-совершенное* есть *само Божественное,* как бы излучившееся в мир, в природу и людей и вот теперь излучающее из них навстречу ищущей душе. Мир вещей и людей пронизан веяниями благодати, освещен и освящен присутствием Духа Божия. Духовно-слепой не видит этого света, духовно-мертвенный не осязает этих веяний. Но душа духовно-разверстая и чуткая внемлет им, как чудной и светлой музыке. Она внемлет им и в веселии полевых цветов, и в благодати первопавшего и всепростившего снежного покрова, и в молчании далеких ледяных гор, «и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы» (Пушкин). Она внемлет им и в умилении материнского сердца, и в смирении кающегося грешника, и в подвиге доблестного патриота, и в «созданиях искусств и вдохновенья» (Пушкин), и в познавательном восторге ученого аскета. Для духовно-зрячей души вся «эта сотворенная природа» есть не что иное, как некая «великая книга», в которой человек, «когда хочет», может читать «слова Божии» (Антоний Великий[1]), ибо нет в мире

[1] Добротолюбие. Том I, стр. 588. Приведено у Евагрия.

«места или вещества какого, где бы не было Бога» (Антоний Великий[1]) и «Богом создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое»(Ап. Павел[2]).

Два человека смотрят одновременно в мир вещей и людей. И вот один видит Бога, а другой не видит. Почему? Потому что увидеть его можно только тому, кто зажег в самом себе свечу духовной любви и духовного видения.

Природа не для всех очей
Покров свой тайный подымает:
Мы все равно читаем в ней,
Но кто, читая, понимает?

Понимают не все, лишь тот —

Кто жизни не щадил для чувства,
Венец мученьями купил,
Над суетой вознесся духом
И сердца трепет жадным слухом
Как вещий голос изловил![3]

Чтобы увидеть духовное и священное, надо самому обратиться к миру из духа и святыни; чтобы увидеть свет и тайну, надо иметь в душе орган для тайны и света. И потому надо укрепить и развить в себе этот орган, надо приобрести *око для духа* и внутреннее *огнилище для любви.* И тогда только откроется нам, что, действительно, «нет на земле ничтожного мгновенья»[4]; и станет понятно, почему есть немало людей, которые смотрят и не видят, или, по Гераклиту, «присутствуя, отсутствуют».

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звездах нема была!
И, языками неземными
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза[5].

---

[1] Добротолюбие. Том I, стр. 75, ср. 91 и др.
[2] Послание к Колоссянам, гл. I, стих 16.
[3] Веневитинов. Поэт и друг.
[4] Баратынский. На посев леса.
[5] Тютчев. «Не то, что мните вы, природа...».

Все это означает, что *любовь к совершенному отверзает человеку очи духа* и является первейшим и главнейшим *источником веры в Бога.* Кто любит, тот того жаждет и ищет. А так как искомое есть Бог — *подлинно реальное совершенство* — то он Его и находит. Вот что значит обетование: «близ стою, при дверях».

Тогда Бог становится живым средоточием человеческой жизни, ее сокровищем, уже обретенным, но все же всегда искомым; и сам человек становится *богат,* как обладатель этого сокровища, и в то же время *беден,* как вечно ждущий его, как вечный пилигрим. Здесь он находит доступ к духовной реальности, которая открывается ему в духовном опыте и не подлежит никакой внешней «относительности» или условности. Здесь он обретает неиссякаемый источник радости, священной радости, духовного блаженства; и ничто внешнее не может лишить этого источника, ибо он в нем самом. Отсюда ведет свое начало и свой закон его жизненная *воля,* здесь он научается *сильно желать верного,* здесь он познает свой долг и свои обязанности, здесь он научается самоотверженному, жертвенному служению. В нем слагается последняя и глубочайшая *основа его личного характера,* закладывается тот камень, на котором он утвердит алтарь своей души. И так как он, как всегда все люди, движимые любовью, искренно и сосредоточенно *живет* любимым предметом, вживаясь в него, или, по выражению Церкви, «облекается в него», то его внутреннее существо начинает приобретать живой оттенок совершенства, живую освященность, исходящую от Бога. Возникает живое единение, о котором мы уже говорили[1]. Человек не противостоит Богу как чуждому, страшному «инобытию»; он воспринимает Его таинственным образом в себя, он носит Его в глубине своего сердца так, что человек освящается присутствующим в нем Божеством, а Бог как бы излучается из его сердца и его дел. По словам Ап. Павла: «а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (I Коринф. 6,17).

Именно это имел в виду Макарий Великий, когда говорит о таинственном «срастании», или «срастании». Именно это имел в виду Гегель, когда утверждал, что

---

[1] См. главу первую, раздел второй.

искренняя и огненная молитва к Богу является сама по себе лучшим доказательством бытия Божия, ибо она есть не что иное, как живое действие Духа Божия в сердце молящегося человека... Кто взывает к Богу из глубины сердца, в том уже действует внутренно сам Господь; и это есть действительное, опытное и очевидное доказательство Его бытия, после которого незачем требовать какого-нибудь другого умственно-рассуждающего доказательства. Но это доказательство может быть получено в личном и живом духовном опыте; человеку же, лишенному этого опыта, оно остается недоступным. Тот, кто получил этот опыт и это доказательство, тот уже никогда не почувствует себя покинутым или отверженным: ибо он знает, где и как он снова найдет открывшийся ему доступ; и он сумеет найти его и тогда, если он будет погибать совсем одиноким в морской буре, или в ледяной пустыне, или в самом последнем тюремном подземелии; он и в беде найдет этот путь и в смерти получит духовную опору.

2. ЛЮБОВЬ КАК ПУТЬ

Итак, любовь к совершенному есть источник религиозной веры. Именно на этом пути человек становится верующим в подлинном и чистом смысле этого слова.

Нельзя начать веровать в силу логических, отвлеченно-умственных доказательств или аргументов. Рассудочные доказательства могут только *разрушить умственные сомнения,* да и то только в том случае, если все сомнения проистекают из умственного источника и имеют разумные и предметные основания[1]. Вера не дается доказательствами. Ибо источник веры не в рассуждении, а в *предметном горении сердца.* В этом основное отличие православия от протестантизма.

Точно так же нельзя веровать в силу волевого решения — своего собственного или чужого (приказа или по-

[1] Я хочу сказать, что бывают сомнения, проистекающие из чисто личного и притом бессознательного источника, неустранимые и неутолимые никакими доказательствами, вечно возникающие вновь и наслаждающиеся собою, подобно нелепым вопросам «почему?» у маленьких детей.

нуждающего мучительства). Правда, человеку, который уже верит (именно верит, а не верует) или который способен начать верить в порядке самовнушения (особенно если ему безразлично, во что, собственно, «надо» верить), — воля может помочь в *подавлении сомнений* или других внутренних противлений. Но к верованию этот путь не ведет. Сколько бы человек ни твердил себе, что «надо» уверовать, сердце от этого не воспламенится и духовное видение от этого не возникнет. Однако воля может разбить цельность души и этим сделать веру навсегда недоступною для человека, воля может приучить человека к лицемерному доказательству и этим извратить его религиозность. Одно несомненно — что никакое волевое напряжение не может отверзнуть духовно-незрячие очи и не может вызвать к жизни глубинный огонь любви. Вера не дается волевому нажиму. Ибо источник веры не в волевом решении («буду веровать»), а *в силе созерцающей любви.* В этом основное отличие православия от католичества.

Человек может уверовать, только свободно и полно прозрев, духовно прозрев сердцем или, иначе, — узрев Бога в горении свободной и искренней любви. Но это каждый из нас должен пережить сам в себе и за себя. Правда, горящая вера одного, изливаясь в словах его и делах, может вызвать огонь в других сердцах; но в этих других сердцах огонь должен появиться действительно как живое и самостоятельное пламя, а не только в виде «подражания» или внушающего «заражения». Тогда только духовная любовь может вызвать в душе духовное прозрение (как бывает у одних людей) или же (как бывает у других) духовное прозрение вызовет к жизни пламя веры. Тогда вера может превратиться в средоточие души и в действительности путь жизни.

Вера становится *главным в жизни,* не в смысле церковного богослужения — ибо совсем не все люди призваны к духовному сану, — а главным источником настроений, решений, слов и дел. Вера вдохновит и направит волю, раскроет уму и воображению новые горизонты, облагородит жизнь чувства и воспитает, освящая и одухотворяя чувственную жизнь человека. Она станет как бы в центре душевного круга или жизненного шара и разошлет по всей периферии как бы живыми радиусами свои лучи в виде всепроникающего света, вскрывающего во всем духовный

смысл и особую, не выставляющуюся напоказ, религиозную значительность. И от этого постепенно, но окончательно вытравится из жизни источник безбожия и главный враг духовности — *пошлость.*

У верующего человека открыто духовное зрение, отличающее *добро* от зла, совершенное от несовершенного. И потому он видит Бога: ибо Бог есть *добро и совершенство.*

У верующего человека на таинственном и скрытом от глаз «жертвеннике духовном» (Григорий Синаит) горит огонь; это его *духовная любовь,* ведущая его и заставляющая его прилепиться к совершенному. И потому он не только видит Бога, но и любит его по завету Евангелия «всем сердцем», «всею душою», «всем разумением» и «всею крепостью» (т. е. волею своею) [1].

И какие же доказательства или опровержения других людей могли бы убедить его, будто он «не видит» и «не любит Бога», когда он и видит и любит Его во всей подлинной реальности Его подлинного совершенства и во всех его таинственных, но благодатных излучениях в мир людей и вещей? Осязая духом Его действие во мне, воспринимая и созерцая Его в моем живом и подлинном духовном опыте, как могу я *не* уверовать в Него или перестать в Него веровать? Источник удостоверения во мне самом; этот источник имеет характер *живого опыта,* который глубже и первоначальнее всякого умственного доказательства, всякого отвлеченного опровержения...

Естественно, что человек, достигший этой ступени в своем внутреннем опыте и уверовавший в Бога, почувствует острую потребность узнать о Боге более того, что дает этот достоверный и пламенный, но, может быть, недостаточно определенный духовный опыт. Он непременно спросит себя: что же открывается мне — безличное Божество наподобие Огня Гераклита или Субстанции Спинозы или личный Бог, как о нем учит христианство? И если это личный Бог, то как представить себе Его? Как сочетать личное начало в Боге с его вездеприсутствием? Возможно ли увидеть и уразуметь отношение Бога к миру и к человеческому роду и отношение человеческого рода

---

[1] Мтф. XXII. 37—40; Мрк. XII. 29—31; Луки X. 2, — 28.

к Богу? И как удостовериться живым опытом и духовным видением в том, что христианская православная Церковь содержит религиозную истину?

Само собой разумеется, что ответить исчерпывающим образом на все эти вопросы можно было бы только в виде целого *догматического богословия;* но и его было бы недостаточно: надо было бы обратиться к духовным путям восточной православной аскетики и попытаться воспроизвести в собственном живом опыте (конечно, в меру личных сил) ее созерцательную практику. Все это не входит в нашу задачу. Мы должны ограничиться здесь следующими путеводными указаниями.

Ни один человек из живших или живущих на земле не может считать свою веру совершенной и законченной — ни по глубине и объему ее, ни по ее содержанию. Напротив, каждый остается до конца *строителем своей веры и Божиим учеником.* И чем искреннее и скромнее он в своем ученичестве, тем плодотворнее будет его строительство, тем большего он достигнет — и в углублении своей веры, и в раскрытии и обогащении ее содержания.

Ни один человек не имеет основания полагаться в этом на свои личные, одинокие силы; ибо он может быть уверен, что всей жизни его, даже сосредоточенной и напряженной, не хватит на испытание Божиих тайн: «длинней земли мера Его»[1]. Поэтому каждому человеку надлежит присмотреться к строению своего религиозного акта (ум ли в нем преобладает, воля или воображение, или горение сердца и созерцание любви?..) и прислушаться к тем содержаниям, которые несет ему духовный опыт. И присмотревшись, и прислушавшись — избрать себе наиболее сродную им религию и церковь и вступить в эту церковь и в эту религию в качестве *уже* верующего, но еще *недостаточно и несовершенно* верующего ученика. Можно предположить, что строение его религиозного акта будет наиболее близко к вере его отцов, но в жизни бывает и иначе. Необходимо установить при этом, что чем больше его вера будет питаться *горением сердца и созерцанием любви,* тем ближе окажется ему Православное Христианство.

Быть учеником в вопросах веры *не* значит заучивать формулы по указанию авторитетов; но значит бережно и

---

[1] Лесков. Захудалый род, стр. 64.

ответственно углублять, очищать и расширять свое духовное чувствилище и его содержания; это значит припасть к духовно-религиозному опыту данной церкви как к некой «неупиваемой чаше» (Шмелев) и пить содержащуюся в ней мудрость и зоркость — мерою, лично доступною и целительною. Такое ученичество не только не постыдно и не унизительно, а наоборот — оно в смирении своем мудро и в целительности своей возносяще.

К какому бы исповеданию ни прильнул человек, к какой бы религии он ни приложился, он будет поддерживать общение с Богом. Это общение есть *молитва.* Опыт молитвы и ответит ему на все поставленные им вопросы.

Так, если вера его построена на *духовной любви,* то она откроет ему, что *Бог есть дух и любовь,* что всюду и всегда, где он коснется духа и любви в других вещах и людях, — он коснется как бы ризы Божией и что каждый раз, как он чувствует в себе самом веяние духа и трепет любви, — он приобщается Богу живому. Он убедится, что главное и священное в нем самом то, что составляет подлинную сущность его личности, — не только подобно Божиему естеству, но что *он сам* есть искра его пламени, водная капля из этого источника, живое и личное существо (индивидуация), сродное этому Духу. Тогда он скажет: «я есмь жизнь от Твоей Жизни и дух от Твоего Духа; и то, чего я хочу духом моим, — есть Твоя Воля; и Твоему Делу я хочу служить отныне и до конца; и так, как я люблю Тебя, — так, но еще бесконечно совершеннее, я хочу быть любимым Тобою». И одна эта молитва покажет ему, что он услышан Богом и любим Им. И он впервые убедится, что Бог есть Бог *личный и живой.* Ибо воззвать и быть услышанным, молиться и чувствовать, что молитва дошла и принята, раскрыть свое сердце и почувствовать себя прощенным и исцеленным — значит вступить в *личное* общение с *личным* Богом. И, памятуя об условности и несовершенстве всех земных мерил и слов, он впервые скажет о Боге «Отец», а себя почувствует «сыном» этого Отца, состоящим в его неизъяснимой и благодатной любви.

Только *духом* можно познать Дух как высшее естество и существо всех вещей и людей. Только через живую огненную *любовь* можно познать, что Бог есть Любовь. Только тот, кто чувствует себя «сыном» в духе и любви, может воззвать к Отцу.

И тот, кто раз испытает и постигнет это, и после этого прочтет и прочувствует Евангелие, тот увидит во Христе подлинного, единородного Сына Божия и примет Его духом, любовию и верою.

3. ЛЮБОВЬ И ВЕРА

В этом описании нет никаких отвлеченных выдумок или произвольных построений. И в этом, что здесь изложено, нет безответственного фантазирования или темного суеверия. Здесь свет разума не меркнет, здесь только устранены сумерки плоского рассудка и представлена свобода опыту сердца. Здесь все покоится на живом, подлинном, духовном опыте. И было бы хорошо, скромно и разумно, если бы тот, кто не пережил этого духовного опыта и не хочет приобрести и пережить его, — воздержался бы от суждений и отказался бы от праздной, иронической критики. Человек, не воспринявший Иисуса Христа духом и любовию, поступил бы лучше всего, если бы судил о Христе и христианстве с чрезвычайной осторожностью и отнюдь не причислял бы себя к врагам христианства. Часто, слишком часто безбожник является безбожником только потому, что он *еще не* выработал в себе духовного созерцания и держится неверного мнения, будто такой душевной способности нет и не может быть. Если я не знаю, где дорога в Иерусалим, — могу ли я заключить из своего незнания, что ни Иерусалима, ни дороги к нему вообще не существует? Или, если знающий эту дорогу затрудняется описать ее другому, то можно ли отсюда делать вывод, что он этой дороги совсем не знает или что он просто обманщик? Не всякий, живущий духовным опытом и духовной любовью, может научить других этому опыту и этой любви или описать их, обосновать их и раскрыть их сущность; для этого нужны особые способности и дары. Но кто берет на себя эту задачу, тот должен быть в самом деле мастером духовного опыта; он должен уметь жить, воспринимать и созерцать в духовной любви; ибо, если он этого не умеет, то он не может быть ни учителем, ни духовным воспитателем.

Итак, духовный опыт, этот живой источник веры и религии, — не есть ни выдумка, ни суеверие. Он есть подлинная реальность, и каждый может и призван пережить его, удостовериться в нем и усвоить его (конечно, каждый по-своему и в своих пределах). И тогда он увидит, что из этого источника действительно проистекает благодатный поток в человеческую жизнь и во всю человеческую культуру.

В строении и осуществлении духовного опыта отдельные люди и народы не похожи друг на друга[1]. Так, например, история знает целые народы, которые искали «совершенства» прежде всего и больше всего в чувственном созерцании (греки); вследствие этого они создали религию образной красоты и боги их остались пластичными, человекообразными индивидуальностями, носителями силы, духовно и нравственно несовершенными существами, несмотря на завершенность их красоты и величия. Наряду с этим, история отмечает такие народы, которые «искали» совершенства в соблюдении законов и обрядов, предписанных им высшим авторитетом (иудеи); вследствие этого они создали религию строжайшей обрядности; и даже глубокие нравственные прозрения их позднейших пророков не могли ни изменить, ни отменить выработанное ими национальное понимание религии...

Еще гораздо многообразнее духовные пути отдельных людей. Есть люди, которые ухватывают край ризы Божией в искусстве и через искусство; они понимают и осуществляют искусство как особый способ видеть и изображать божественную сущность мира и человека. Наряду с ними есть и другие люди, которым вдохновение благородного искусства говорит очень мало; но зато сердце их расцветает в живой любви к ближнему так, что они приходят к духовному опыту и созерцанию Бога именно на этом пути. Есть люди, которым свет Божий дается в созерцании справедливости и права, в мудром, неподкупном, художественно-чутком правосудии; другие находят тот же луч Божий в мужественном и терпеливом несении страданий[2]; иные созерцают мудрость Божию в природе

---

[1] См. об этом в главе седьмой.

[2] Ср. «Живые мощи» Тургенева.

и ее таинственно-прекрасной жизни[1]; иные вступают с Богом в непосредственное общение в излиянии простой, одинокой, искренней молитвы... Ни один из этих путей не подлежит отвержению, каждый из них может и должен привести человека в священное средоточие веры, к Богу, Отцу всяческих. Евангелие объемлет все эти пути и всякие иные пути, говоря: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем *разумением* твоим, и всею *крепостью* твоею»; и затем: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Матфея 22, 37; Марка 12, 29—30; Луки 10, 26—28).

Итак, не подлежит сомнению, что духовная любовь и духовный опыт даются не всем людям в одинаковой мере и в одинаковом виде. Они сами (и любовь, и опыт) суть дары благодати, и кому они даются «сами собой», как бы «от природы», тот не имеет заслуги. Однако возможно и необходимо беречь этот дар, растить его, открывать ему доступ во все внутренние пространства души и предоставлять ему водительство в жизни. И подобно этому возможно и необходимо передавать этот духовный свет другим людям, никогда не думая о том, что, может быть, есть на свете такие, которые навеки лишены благодати; ибо, если бы даже существовали на свете такие люди, то кто же из нас знает этих несчастных? А опыт свидетельствует о том, что огонь духа, проникая в сердце зачерствелого человека, способен зажечь его и притом именно потому, что под ста дурными слоями таинственно тлела Божия искра.

А раз живая и подлинная вера возникнет из духовной любви и укрепится в духовном созерцании, то она непременно захватит последнюю глубину человеческого существа и проникнет из нее во все сферы личной жизни. Духовная вера как бы отверзает у человека новые очи или натягивает в его душе новые струны и заставляет их звучать; возникают новые, более благородные, утонченные потребности; он начинает видеть и постигать то, что остается скрытым от неверующих людей — стихию *священного в человеческих душах и в мире вещественной приро-*

---

[1] Ср., напр., у Гете: «Неужели ты не видишь Бога? У каждого тихого родника, под каждым цветущим деревом я нахожу Его со всею теплотою Его любви». См. также особенно бессмертную книгу Фехнера: «Нанна, или жизнь растений».

ды. Само собой разумеется, что духовно верующий человек видит и все то, что умеет наблюдать неверующий; но наряду с этим и сверх этого, он видит в мире и в человеческой истории некий *высший смысл,* другие, высшие и могущественные законы, правящие миром: законы Провидения, Духа и Божественных целей, а также законы человеческой свободы, подвига, правоты и греха... В общем и целом — особый мир, таинственно скрытый в видимом мироздании; мир, в который духовно живой человек всю жизнь всматривается, как сквозь завесу, и к которому он прислушивается как бы издали. Из этого внимания, из этого зрения и слуха и возникло *все великое,* созданное людьми в их истории.

Вот почему мы утверждаем, что из этой области текут благодатные, творческие струи в человеческую жизнь и во всю человеческую культуру. В этом потоке, который изнутри проникает, облагораживает и освящает все человеческие дела и создания, — все рождается как бы заново: все получает священное значение, глубокий смысл, внутреннюю, неколеблющуюся опору, духовную верность и побеждающую силу. Именно к этому зовет нас ясновидящий Тютчев:

Приди, струей его эфирной
Омой страдальческую грудь
И жизни божески-всемирной
Хотя на миг причастен будь!

Но если этот миг придет, то он, наверное, повторится и упрочится. А если он овладеет душой, то вся несостоятельность безбожного искусства, богоотрицающей науки, противодуховной политики и черствой, антисоциальной общественности — обнаружится воочию и покажется сущим мраком и крушением по сравнению с культурой, религиозно овеянной и освященной.

Итак, человек не может жить без веры. Но без веры в *Бога* жизнь человека становится бесплодной, пошлой и разрушительной — мнимой жизнью, ведущей к бесчисленным страданиям и всеобщему разложению.

Путь же к вере и к Богу именуется духовной любовью. И первое, что она может и должна дать, — есть *свобода.*

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
О СВОБОДЕ

Скажи им таинство свободы...
Хомяков

1. ВНЕШНЯЯ СВОБОДА

Исследуя вопрос о вере, я пытался показать, что, веруя в Бога, человек создает свой реальный жизненный центр и строит, исходя из него, свою душу: благодаря этому, он сам становится живым духовным единством с единственным центром и не колеблющимся строением — он приобретает зрелый и законченный *духовный характер.* На этом пути он обретает священную и главную цель своей жизни, которою стоит жить, за которую стоит бороться и в борьбе за нее — отдать свою жизнь: эта главная цель его жизни именуется *делом Божиим на земле,* т. е. делом религиозно осмысленной духовной культуры.

Оказывается, что вера не есть просто некоторое «ощущение» или «чувство». Напротив, она есть некий целостный жизненный опыт, некое миросозерцание и система действий; она вовлекает в свой процесс и волю, и мысль, и слово, и дело — все сразу, всего человека целиком: ибо вера исходит из последней глубины человеческого существа и потому неизбежно захватывает всего человека. Только при этом условии вера становится *деятельной, творческой* верой: укорененной, искренней, цельной и победной.

Но для того чтобы вера возникла, и разгорелась, и приняла такую силу и обличие — человек должен быть в своей вере *свободен.*

Что значит — «свободен»? Какая свобода имеется здесь в виду? Свобода *от чего и ради чего?*

Здесь имеется в виду прежде всего внешняя свобода человеческой личности. Не свобода делает все, что кому захочется, с тем чтобы другие люди не смели никому и ни

в чем мешать; но *свобода веры, воззрений и убеждений,* в которую *другие люди не имели бы права вторгаться с насильственными предписаниями и запрещениями;* иными словами — свобода от недуховного и противодуховного *давления,* от *принуждения и запрета,* от *грубой силы, угрозы и преследования.* Ввиду того, что здесь дело идет об ограждении *извне* духовного опыта и веры, такую свободу можно обозначить как «внешнюю» или «отрицательную»; она ограждает интимный и глубокий процесс богоискания от насилия со стороны *других людей* и постольку ее можно обозначить и как «общественную»[1]... Ее формула может быть выражена так: «не заставляй меня насильственно, не принуждай меня угрозами, не запрещай мне, не прельщая меня земными наградами и не отпугивай меня наказаниями..; предоставь мне самому — испытать Божественность, уверовать в Бога и свободно принять Его закон моим сердцем и моей волею...» Эта формула требует для человека «религиозной автономии» (букв. с греческого — «самосознания»[2], в отличие от «гетеронимии» (с греч. «чужезакония», т. е. предписания или запрещения, идущего от других людей).

Не подлежит никакому сомнению, что человек в своем общественном воспитании и в государственной жизни безусловно нуждается в гетерономных, т. е. идущих извне предписаниях и запрещениях, причем эти предписания и запрещения должны быть часто поддержаны угрозою, а иногда подкреплены силой и принуждением[3]. Пока люди не научатся самостоятельно преображать зарождающиеся в *их собственной* душе дурные влечения, пока они не научатся обессиливать *чужие* дурные намерения при помощи любви, ласкового взгляда и доброго слова, превращая чужую злобу в благотворную доброту (а когда это будет?.. и будет ли?!...), до тех пор в этом порядке ничего не изменится. Однако, если бы люди и научились этому, гетеро-

---

[1] Обычно ей усваивают название «свободы совести», что совсем не точно.

[2] Только по недоразумению можно противопоставлять этому «религиозному самозаконию» (автономии) «теономию» (богозаконие), ибо всякое «богозаконие» может состояться только автономно.

[3] См. подробное развитие и обоснование этого взгляда в моей книге «О сопротивлении злу силою».

номные приказы и запреты не исчезли бы из жизни — ибо ни воспитание детей, ни создание прочных и больших общественных организаций, покоящихся на положительном праве (от научного общества до государства и международной организации включительно), не могут обходиться без таких гетерономных правил.

Но духовная любовь, вера в Бога и вообще личные убеждения не создаются такими приказами и запретами. Всякое чужое принуждение — в чем бы оно ни выражалось и какие бы формы оно ни принимало — подходит к человеку *«извне»* и надвигается на него в известном смысле *«сверху»*, т. е. в порядке обязывающего авторитета; поэтому оно оказывается неспособным *захватить последнюю глубину сердца, пробудить ее и обратить к Богу.* На такое давление, приходящее «извне» и «сверху», внутреннее ядро человека отвечает обычно сопротивлением и возмущением или, еще хуже, — ожесточением, упрямством и ненавистью. Тогда подавленный человек, вместо того чтобы пользоваться своею свободой из глубины и по существу, вместо того чтобы строить по-своему свой духовный опыт, — начинает взывать к формальной свободе, ссылается на свое неотъемлемое право и вступает в борьбу за него; и если бы даже налагаемые на него приказы и запреты содержали самоё единую и единственную религиозную истину — то и в этом случае они не только не открыли бы его душу для приятия ее, но замкнули бы его душу в слепоте и глухоте...

Запрет и принуждение, угроза и страх могут вынудить у человека только лицемерную «любовь» и лицемерную «веру»; а эти вынужденные, показные, неискренние проявления скрывают за собою или прямое лукавство, или же испуганное, мертвеющее сердце; и все усилия и нажимы власти достигают только того, что истинная любовь и истинная вера гибнут или совсем не возникают в человеческой душе: в ней все становится искусственным, натянутым, раздвоенным, фальшивым и потому — бессильным и, в сущности говоря, *кощунственным;* ибо священное требует искренности, и Божественное не терпит расчетливого притворства или лицемерия...

В этом ничего не меняется и в том случае, если человек, поставленный под угрозу и принуждение, принимает

внутреннее решение — принудить самого себя усилием воли к «любви» и «вере», т. е. заставить себя насильственно разлюбить любимое и полюбить нелюбимое или разувериться в том, во что он верит, и поверить в то, во что ему не верится. Это не удастся ему. Ибо на самом деле в органически здоровой душе — воля не может породить любовь и веру[1]; напротив, она сама получает свое горение и освещение из священного огня *не вынужденной любви и свободной веры.*

Несомненно, воля может жить, господствовать и вести человека и *без любви,* но тогда она оказывается холодной и сухой, формальной и безжалостной. Воля может обходиться и *без веры,* но тогда она оказывается оторванной от духа и святыни, беспринципной и безнравственной, чем-то вроде испорченного автомата или зверя, вырвавшегося из клетки. Можно даже решиться на такой опыт: не любя, притвориться любящим и действовать из притворной любви и, не веруя, симулировать веру и подражать во всем верующим, — все это в тщетной надежде, что, может быть, когда-нибудь потом, вследствие такого притворства и таких неискренних усилий, любовь и вера присоединятся к этим упражнениям; такие люди начинают с вынужденных внешних поступков и надеются привлечь этим в душу священный огонь. Иногда такие неискренние упражнения приводят к ряду общественно-полезных действий, особенно в сфере так называемой «общественной благотворительности». Но ни одно из этих действий не входит полноценным звеном в живую цепь Божьего дела на земле... И если бы впоследствии священный огонь любви и веры вспыхнули однажды над такими лицемерными и мертвыми делами, то оказалось бы, что человек любит лишь с того мига, когда его сердце загорелось изнутри, и что вера его началась лишь с того момента, когда глубина его души была искренно захвачена и свободно обратилась к Богу. Все же прочее, до этого, оставалось *системой лицемерия.*

Никогда еще ни одному человеку не удалось и никогда ни одному не удастся полюбить на основании приказа или искоренить в себе веру на основании запрета. И если

---

[1] Католическое воззрение, лежащее в основе всей средневековой инквизиции и крестовых походов против еретиков.

любовь возникает *после* приказа, то она возникает *не по приказу, а вопреки* ему и *независимо* от него: т. е. любовь приходит сама, а приказу не удается помешать ей и сделать ее невозможною. И если вера исчезает *после* запрета, то она исчезает *не на основании* его, но на основании других душевных переживаний, а может быть, и вследствие того, что она была *мнимая* и что на самом деле ее вовсе не было.

Божественный огонь в человеке, который в нем любит, верует и творит, — не может быть ни произвольно вынужден, ни произвольно погашен; все, чего здесь можно достигнуть, — и то лишь вследствие человеческой слабости и робости — это временного умалчивания о нем, воздержания от внешних высказываний и проявлений (т. е. ухода в душевную катакомбу).

Есть закон, который надо продумать и усвоить раз и навсегда: *внешнее давление,* со всеми его угрозами, насилиями и муками, и духовный огонь, во всей его непроизвольности и священной властности, — чужеродны друг другу («гетерогенны»); они суть проявления различных сил и сфер, причем высшая сила (дух) — властна над низшею, она может вызвать ее к жизни и остановить ее изнутри; но низшая сфера не властна над высшей: внешней силе подчинено только внешнее. Вот почему прав Шопенгауэр, когда он говорит: «Вера подобна любви, ее нельзя вынудить. И потому это рискованная затея — пытаться ввести ее при помощи государственных мероприятий...». И прав русский поэт, сказавший о духовном творчестве:

Над вольной мыслью Богу неугодны
Насилие и гнет:
Она, в душе рожденная свободно,
В оковах не умрет![1]

Без этой свободы человеческая жизнь не имеет ни смысла, ни достоинства, и это самое главное. Смысл в том, чтобы *любить, творить и молиться.* И вот, без свободы нельзя ни молиться, ни творить, ни любить.

1. *Веровать* и молиться можно только самому, по доброй воле, искренно, из глубины. Нельзя молиться по при-

[1] Граф А. К. Толстой. Иоанн Дамаскин. X.

казу и не молиться по запрету. Молитва по приказу не нужна ни Богу, ни себе, ни людям; и тот, кто запрещает молиться, делает вредное, противорелигиозное дело. Отсюда — свобода верования, исповедания и любви.

2. *Любить* можно только самому, искренно, по доброй воле, из глубины. Нельзя любить Бога, родину и людей по приказу и перестать любить в силу запрета. Вынужденное оказательство преданности, расчетливый, казенный патриотизм — есть притворство и обман, такое притворство ни к чему хорошему не ведет, такой обман никому не нужен. Любовь не загорается по повелению и не угасает по предписанию, она *не вынудима,* и притом всякая любовь, и ко всему: и к Богу, и к людям, и к делу, и к природе, и к идеям. Отсюда — свобода духовной любви и убеждений.

3. *Творить* можно только по вдохновению, из глубины, свободно. Нельзя творить по приказу и не творить по запрету. Вспомним жалобы Иоанна Дамаскина, которому старец запретил вдохновенное пение:

Перед моим тревожным духом
Теснятся образы толпой,
И в тишине, над чутким ухом,
Дрожит созвучий мерный строй;
И я, не смея святотатно
Их вызвать в жизнь из царства тьмы,
В хаоса ночь гоню обратно
Мои непетые псалмы...
Живым палимое огнем,
Мятется сердце непокорно...
И казнью стал мне праздный дар,
Всегда готовый к пробужденью...[1]

И так во всем. Как предписать законы вдохновенья?[2]. Как подавить ищущую мысль разума? Можно ли вынудить живой и полноценный, нравственно-творческий поступок? Что стоит жизнь без творчества, творчество без

---

[1] Граф А. К. Толстой. Иоанн Дамаскин. VI, ср. V и VII.

[2] Ср. у Пушкина. Родословная моего героя. «Зачем крутится ветр в овраге»... Ср. также «Поэту». Сонет.

вдохновения, вдохновение без свободы? Отсюда — *свобода духовного творчества.*

Непризнающий *этой* свободы и *такой* свободы как основы *жизни* и как *духовной необходимости* — приравнивает человека животному, умаляет человеческое достоинство. Он заставляет человека *лгать* — Богу, себе и людям. Он искажает естество человека, превращает людей в чернь и, создавая инквизицию или тиранию, готовит себе самому или своему народу печальное будущее.

Свобода есть воздух, которым дышит вера и молитва. Свобода есть способ жизни, присущий любви. Отвергать это может лишь тот, кто никогда не веровал, не молился, не любил и не творил; но именно поэтому вся жизнь его была мраком, и проповедуемое им искоренение свободы служит не Богу, а бесу. Не потому ли таких людей называют «мракобесами»?

Однако не означает ли это, что человеку подобает *формальная и безмерная* свобода? Не есть ли это свобода творческого *разнуздания,* свобода разврата в любви, свобода религиозных извращений и бесчинств?

2. ВНУТРЕННЕЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Понимать «внешнюю свободу» человеческого духа как формальную и безмерную — было бы глубокой и опасной ошибкой: ибо внешняя свобода («не заставляй, не прельщай, не запрещай, не запугивай»...) дается человеку именно для *внутреннего самоосвобождения;* именно от него она получает свое истинное значение и свой глубокий смысл.

Что же есть «внутренняя» свобода?

Если внешняя свобода устраняет насильственное вмешательство *других людей* в духовную жизнь человека, то внутренняя свобода обращает свои требования не к другим людям, а к самому — вот уже внешне-нестесненному — человеку. Свобода по самому существу своему есть именно *духовная свобода,* т. е. свобода духа, а не тела и не души. Это необходимо однажды навсегда глубоко продумать и прочувствовать с тем, чтобы впредь не ошибаться самому и не поддаваться на чужие соблазны.

Тело человека *несвободно*. Оно находится в пространстве и во времени, среди множества других тел и вещей — то огромных, как планеты, то больших, как горы, то небольших, как животные и люди, то мельчайших, как пылинки, бактерии и т. д. Все это делает тело человека — несвободным в движении, смертным и распадающимся по смерти и всегда подчиненным всем законам и причинам вещественной природы. Эти законы человек может комбинировать или себе на пользу, или себе во вред, на погибель; но создавать и нарушать их он не может. Он может не знать о них или забыть об их действии, но освободиться от них он не может никогда.

Несвободна и *душа* человека. Прежде всего она связана таинственным образом с телом и обусловлена его здоровой жизнью. Далее, она связана законами времени и последовательности (длительность жизни и отдельных переживаний, наследственность, память и т. д.). Наконец, она связана своим внутренним устройством, которого она сама не создает и нарушать не может: законами сознания и бессознательного, силою инстинкта и влечений, законами мышления, воображения, чувства и воли. Душа имеет свою природу, природа эта имеет свои законы, душа не творит сама этих законов, а подчиняется им и не может изменять их по произволению.

Но духу человека *доступна* свобода, ему и *подобает* свобода. *Ибо дух есть сила самоопределения к лучшему*. Он имеет дар — вывести себя внутренно из любого жизненного содержания, противопоставить его себе, оценить его, избрать его или отвергнуть, включить его в свою жизнь или извергнуть его из нее. Дух есть сила, которая имеет дар *усилить себя и преодолеть* в себе то, что отвергается; дух имеет силу и власть *создавать формы и законы своего бытия,* творить себя и способы своей жизни. Ему присуща способность внутренно *освобождать* себя, ему доступно *самоусиление и самоопределение к благу*. Освободить себя значит прежде всего собрать свою силу, чтобы быть сильнее любого влечения своего, любой прихоти, любого желания, любого соблазна, любого греха. Это есть извлечение себя из потока обыденной пошлости — противопоставление ее себе и себя ей — усиление себя до победы над ней. Таков *отрицательный* этап: он состоит в добровольном и

любовном заполнении себя *лучшим, избранными и любимыми* жизненными содержаниями...

Этот процесс добывания своей внутренней свободы может поставить человека в конфликт с потребностями его *тела* — ибо дух будет искать и найдет нужную ему (духу!) и верную для него (духа!) меру еды, меру питья, меру движения, меру наслаждения, меру мускульного труда; при этом он будет видеть в теле свое орудие — то непокорное, то покорное, и будет мудро комбинировать законы телесной природы в свою пользу (т. е. в пользу духа). Далее, возможны конфликты с собственными *душевными* влечениями — ибо дух не может помириться с теми влечениями души, которые ведут человека по пути злобы, порочности, лени, безудержных наслаждений, необузданных порывов, словом, по пути унижения и разложения.

Найти в себе силу для такой борьбы — значит заложить основу своего *духовного характера.* Утвердиться в этой силе и внутренно освободить себя (сначала отрицательно, потом положительно) — значит *воспитать в себе духовный характер.* Это значит добыть себе «самостояние» или *внутреннюю свободу;* причем имеется в виду не *просто бытовая самостоятельность человека, а его духовное самоопределение;* и не только *внешняя автономия* человеческого духа, но и *внутренняя власть* его над телом и душою; и не только это *самообладание* человека (оно может остаться самостоятельной «выдержкой»), но заполненность душевных пространств *свободно и верно выбранными божественными содержаниями,* которые приобретаются духовной любовью и религиозною верою.

Освободить себя не значит стать независимым от других людей, но значит стать *господином своих страстей.* Господин своих страстей не тот, кто их успешно обуздывает, так что они всю жизнь бушуют в нем, а он занят тем, чтобы не дать им хода, но тот, кто их духовно *облагородил и преобразовал.* Свобода от страстей состоит не в том, что человек задушил их в себе, а сам предался бесстрастному равнодушию (так думали стоики), но в том, что страсти человека сами, добровольно и целостно служат духу и несут к его цели, подобно «серому волку», преданно везущему на себе «Ивана Царевича» в тридесятое царство.

Внутренняя свобода отнюдь не есть отрицание закона и авторитета, т. е. беззаконие и самомнение. Нет, внутренняя свобода есть способность духа самостоятельно увидеть верный закон, самостоятельно признать его авторитетную силу и самодеятельно осуществить его в жизни. Свобода не есть произвол, ибо произвол есть всегда потакание прихотям души и похотям тела. У свободного человека не произвол ведет душу, а свобода царит над произволом, ибо такой человек *свободен и от произвола;* он преобразил его в духовное, предметно обоснованное *произволение.*

Вот что значит свобода, *внутренняя свобода.* И вот почему я сказал, что свобода подобает духу и должна быть представлена *именно ему.* Это значит также, что внешняя свобода служит внутренно, необходима для нее и дается для нее. *Внешняя свобода есть естественное и необходимое условие для водворения и упрочения внутренней.* Здоровая религиозная жизнь нуждается в обеих свободах: человек пользуется тем, что его никто не «заставляет» и что ему никто не «запрещает», для того чтобы открыть себе доступ к духовному опыту, пробудить в себе духовное видение, внутренно освободить себя, воспитать в себе духовный характер и определить себя к верным, чистым, нравственным, прекрасным, божественным путям жизни... Из внешней свободы, этой необходимой основы религиозной веры и жизни, — должна возникнуть духовная самостоятельность и самодеятельность человеческой личности в ее отношении к Богу и затем к людям и природе. Тот, кто требует себе духовной свободы, не должен и не смеет понимать ее формально, напр., так: «не заставляй, не запрещай! дай мне свободу — *делать все, что мне заблагорассудится,* хотя бы выколоть себе духовные очи, пасть и погибнуть!» Это означало бы: *дай мне внешнюю свободу духа, чтобы я погубил и исказил свою внутреннюю свободу.* Или еще короче: дай мне *свободу духовной гибели.* Детское, ребяческое требование! Именно так ребенок требует себе острое орудие, чтобы злоупотребить им. Я говорю *орудие:* ибо внешняя свобода духа есть именно орудие для полного и истинного внутреннего самоосвобождения. Я говорю *острое* орудие: ибо духовная автономия при зло-

употреблении может стать источником бесконечного вреда и гибельных бедствий.

Люди, требующие себе *внешней* духовной свободы и не постигающие ее *внутреннего* смысла и назначения, поистине заслуживали бы того, чтобы им дали эту формальную свободу и изолировали их в пространстве и во времени, чтобы они создали где-нибудь на отдаленном острове общество формально-разнузданных и духовно погибающих людей на вечное поучение потомству...

Все эти соображения уже намечают известные границы духовной и религиозной свободы; при этом я имею в виду те положительные границы, которые не стесняют и не ограничивают свободу духа, но помогают ее личному оформлению и здоровому расширению. В стеснениях и ограничениях, вообще говоря, нуждается не *свобода духа, а злоупотребляющая свободою бездуховность и противодуховность*...

Помочь человеку в его внутреннем освобождении и в установлении его духовной самостоятельности может прежде всего духовное общение с другими людьми.

Есть люди, у которых дух, предаваясь религиозному созерцанию и молитве, нуждается в *одиночестве* и поэтому удаляется от других людей в уединение. Так обстоит далеко не у всех, и под религиозной самостоятельностью человека следует разуметь не это. Человек может быть и должен быть религиозно самостоятельным везде — и в браке, и в семье, и в приходе, и в церкви. Потому что духовная свобода и религиозная самостоятельность отнюдь не исключают ни общения, ни единения людей. Напротив, *истинное духовное единение возможно именно там, где каждый человек стоит духовно и религиозно на собственных ногах, т. е. носит в себе самом живые источники духовного опыта и религиозной веры.* Там, где этого нет, там единение не будет на настоящей высоте; а это значит, что там необходимо стремиться к этой личной самостоятельности и внутренней свободе людей.

Вот почему духовная свобода и религиозная самостоятельность людей отнюдь не исключают *воспитания и преподавания.* Напротив, всякий, не доросший до этой свободы, должен быть *воспитан* к ней; и всякий, не имеющий религиозной самостоятельности, поступит правильно, если

начнет учиться ей у тех, кто ее же достиг. Было бы величайшей ошибкой, если бы кто-нибудь, ссылаясь на свободу и автономию духа, потребовал, напр., отмены преподавания Закона Божия для детей и Богословия для взрослых. Ведь самостоятельности надо еще учиться!.. Люди держатся на ногах, сами ходят самостоятельно, однако сначала их *учат* ходить... И кто захотел бы не учить своих детей ходить, а предоставил им свободу ползанья на четвереньках? И точно так же люди читают, считают и рассуждают свободно и самодеятельно, однако сначала их *учат* этому — в порядке обязательном и авторитетном... Кто согласился бы оставить своих детей малограмотными дикарями — во имя духовной автономии? И вот, подобно этому, человек, владеющий духовным опытом и религиозным видением, призван и обязан преподавать другим свою способность и власть. Свободу духа нельзя истолковывать как *свободу от духа*. Свобода богосозерцания не есть религиозная слепота. И если внешняя свобода духа («не заставляй, не запрещай»...) отрицает что-нибудь, то лишь насилие, принуждение, угрозу и подкуп как средство влиять на религиозную веру людей; но она отнюдь не отрицает ни духовного воспитания, ни религиозного преподавания.

Отрицательная свобода есть лишь путь, ведущий к положительной свободе, средство, ведущее к цели. Можно ли придавать средству такое значение, чтобы настаивать на нем и в случае его негодности? Кто согласится принимать неподходящее, вредное лекарство только из уважения к его «лекарственности»? Если человек превращает свободу духа — в свободу *от* духа, то она будет у него отнята... Так было в человеческой истории много раз, так будет и впредь. Если внешняя свобода духа развращает человека и делает его разнузданным, то самое разнуздание его вызовет к жизни такой строй и такую власть, которые урежут или погасят эту свободу. К этому не стоит даже призывать; ибо это *исторически неизбежно*.

Внутреннее око человека призвано к тому, чтобы свободно, добровольно, без принуждения обратиться к духу и ко всему Божественному на земле и в небе; и высший смысл всех правовых установлений и государственных законов состоит прежде всего в том, чтобы обеспечить

людям эту возможность. Но пользование этой внешней свободой для *совращения* себя и других людей, и особенно малолетних, в бездуховное и противодуховное состояние — не может быть допущено. Свобода не есть свобода духовного растления. Глазному врачу представляется свобода лечить глаза пациентов по своему крайнему разумению и искусству, но предоставляется ли ему свобода выкалывать глаза своим пациентам? Подобно этому, всякая соблазнительная и разлагающая пропаганда безбожия и противодуховности есть не что иное, как систематическая работа над выкалыванием духовных очей у людей наивных и доверчивых.

Акт духовного опыта, духовной любви и веры своеобразно слагается и вынашивается народами на протяжении столетий. Он созревает преимущественно в бессознательном порядке и притом медленно, передаваясь в процессе воспитания и преемства от одного поколения другому[1]. В этом процессе каждое новое поколение получает сначала в детстве *воспитательный заряд внутренней свободы,* а потом, к зрелому возрасту, — все увеличивающуюся от поколения к поколению долю *внешней свободы,* на основе которой оно должно довершить свое воспитание — *самовоспитанием.* Все это совершалось и совершается совсем не для того, чтобы затмевать священные очи духа злостным издевательством над духом и кощунственным поношением святынь. При этом я имею в виду отнюдь не *религиозное сомнение,* честно и глубоко прочувствованное... Макс Мюллер, исследователь верующий и чуткий, глубоко прав, когда говорит: «Искреннее сомнение есть глубочайший источник честной веры. Найти может лишь тот, кто утратил...». Я имею в виду скептицизм предубежденных, злобствующих безбожников, которые стараются систематически привить взрослым и особенно детям слепое отрицание, вызвать в них безнадежное, непоправимое духовное опустошение: это есть всеразлагающая доктрина смерти, духовное оскопление, которое совершается над наивными младенцами (ибо и взрослые люди часто остаются духовными младенцами), завлекае-

---

[1] См. главу шестую и седьмую.

мыми при помощи хитрости и лжи; это есть преступление, подобное тому, которое описано Шекспиром в «Гамлете»: движимой завистью и честолюбием один брат вливает в ухо другому брату (Королю), во время сна, смертельный яд: — ибо, поистине, дети, а нередко и взрослые, подобны духовноспящим, а безбожная пропаганда разливает разрушительный и смертельный яд.

Государство обеспечивает людям права свободы, но ни одному человеку не может быть предоставлено право на преступление. Истолковывать свободу как право на злодейство могут только — или совсем наивные люди, или преступники.

В вопросах религии человек может заблуждаться. Можно сказать еще больше: эту возможность надо предоставить людям, не опасаясь искренних и честных еретиков. Ибо опасность заключается не в том, что человек, искренно ищущий Бога, увидит его по-своему и окажется еретиком. Опасность в том, что человек захочет уйти от духа и Бога и вслед за собою увлечет других — сначала лукавством, ложью, издевательством и мнимыми доказательствами, а потом принуждением и террором; он начнет с проповеди вседозволенности и с злоупотребления внешней свободой, а кончит тем, что окончательно повредит драгоценный процесс внутреннего самоосвобождения.

Не прав ли глубокомысленный Карлейль, когда он восклицает: «Свобода суждения! Ни одна железная цепь, никакая внешняя сила никогда не могла принудить человеческую силу к вере или неверию; суждение человека есть его собственный свет, который нельзя отнять у него; в этой сфере он будет господствовать и веровать по милости единого Господа...» Но, добавляет он, при этом «совсем не необходимо, чтобы человек сам открывал ту истину, в которую он потом будет веровать...». «Человек может усвоить себе нечто и потом самым искренним образом вработать в свое достояние то, что он получил от другого, и притом испытывать к этому другому чувство бесконечной благодарности. Ибо ценность оригинальности состоит отнюдь не в новизне, а в искренности...».

Эта высокая оценка свободы имеет истинно-христианский характер. Ибо Христос пришел на землю (по вы-

ражению одного древнего христианского источника), «чтобы убедить, а не чтобы подвергнуть принуждению»[1], т. е. чтобы свободно вовлечь человека в процесс обращения и внутреннего освобождения. А у Апостола Петра читаем: «ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей — как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии»[2].

Нельзя обратить человека к вере посредством меча и силы[3]. Меч может быть только отрицательным средством по отношению к воинствующему сатане, внешним средством для защиты внутренней священной свободы человека против разрушительного злоупотребления внешнею свободою.

Внутренние пути слагающейся, колеблющейся, заблуждающейся, крепнущей и исчезающей веры — суть пути сложные, трудные и многообразные, и людям далеко не всегда и не легко удается разбирать, что написано на путеводных камнях или столбах духа и куда они указуют. Человеческая душа, бредущая по этим путям и сбивающаяся с дороги, есть существо нежное, впечатлительное и беспомощное: она нуждается в помощи, указании и наставлении точно так, как об этом рассказывается в русских сказках. От кого же ждать ей помощи и наставления, если не от тех, кто уже владеет зрелым духовным опытом и верным религиозным видением? И почему эта помощь и это наставление могли бы урезать ее свободу? Разве, заблудившись в незнакомом городе или в лесу, мы не расспрашиваем встречного доброжелательного путника о верной дороге и не пытаемся следовать его авторитетным указаниям? И кто из нас, видя, что человек тонет в полынье, не начнет спасать его? Кто из нас бросит его на произвол судьбы, ссылаясь на его «свободу» и «самостоятельность»?

---

[1] Epistola ad Diogn. «ὡς πεῖθων οὐ βιαζόμενος».

[2] Первое Послание Петра, гл. 2, стр. 15—16.

[3] Вспомним замечательную и мудрую инструкцию, данную московским Митрополитом Макарием в 1555 году первому казанскому Архиепископу Гурию: «Всякими обычаи, как возможно, приучать ему татар к себе и приводити их любовью на крещение, а страхом их ко крещению никак не приводити». См. статью проф. И. И. Лаппо в № журнала «Русский Колокол».

Благодать духовной любви сообщает человеку искусство религиозного созерцания; это искусство может быть развито и углубленно, если человек будет предаваться духовному опыту, очищая свою душу и восходя к синтезу веры, видения и разума[1]. Так возникает как бы целый хор духовно поющих индивидуальных голосов, или иначе: живое сословие учителей духовного опыта, веры, религиозной деятельности и богословского догмата — иерархия, или класс священноначалия (в различном порядке слагающийся в разных религиях и исповеданиях). Они-то и образуют руководящий религиозный авторитет в каждой церкви. Это как бы живые светильники духа и веры, художники богопознания — естественного и богооткровенного; и их авторитетное руководство и поучение в вопросах религии не только не умаляет духовную свободу, но, напротив, идет ей навстречу, укрепляет, расширяет и воспитывает ее. Ибо, повторяю, духовная свобода совсем не сводится к отрицанию чужой опытности и мудрости, но состоит в том, чтобы внутренно освободить себя для духовной жизни без внешнего насилия, принуждения и запугивания.

Вот почему дети в особенности не могут быть предоставлены на произвол «внешней» и «отрицательной» свободы; напротив, они должны быть подготовлены и воспитаны к «внутренней», «положительной» свободе. Дело не в том, чтобы «оставить их в покое» или «никак не вторгаться в их внутреннюю жизнь», но в том, чтобы пробудить их к духовной жизни — не насилием, а *любовью,* не запугиванием, а *живым примером.* Духовная свобода ребенка совсем не состоит в том, чтобы он рос как лопух у канавы или одичавший кролик в лесу, но в том, чтобы он приобрел внутреннюю способность — достойно пользоваться свободой и духовно заполнять свою внешнюю «невынужденность» и «незапуганность». *Внешняя свобода необходима для внутреннего самоосвобождения,* она священна только как верный залог внутренней свободы, но предоставлять ее человеку для унизительного и преступного за-

[1] Разум отнюдь не следует смешивать с отвлеченным рассудком, формальным, пустым, прикованным к чувственному опыту и оторванным от духа и видения.

полнения — поистине нет никакой крайности. Свободен не тот человек, который предоставлен сам себе, которому нет ни в чем никаких препятствий, так что он может делать все, что ему придет в голову. Свободен тот, кто приобрел внутреннюю способность созидать свой дух из материала своих страстей и своих талантов, и, значит, прежде всего — способность владеть собою и вести себя, а затем — и внутреннюю способность жить и творить в сфере духовного опыта, добровольно, искренно и целостно присутствуя в своей любви и в своей вере. Воистину свободен *духовно-самостоятельный человек;* человек же, освобожденный только во внешнем, может злоупотреблять своей свободой и превращать ее в совершенную внутреннюю *несвободу,* в ужасающее внутреннее рабство.

Итак, религиозное воспитание детей в духе любви и веры — пробуждает их к истинной, внутренней свободе, делает их самостоятельными и свободными людьми, закладывает в них как бы первый, священный камень их будущего духовного характера. Нужно совершенное отсутствие духовного опыта, совершенная слепота в этой области для того, чтобы вместе с современными безбожниками изображать религиозное воспитание детей как систематическое превращение их в «идиотов» или как преднамеренное воспитание их к «рабству». К слепоте ведет ребенка не тот, кто отверзает ему духовное око, но тот, кто стремится как бы выколоть ему это око. Словом, верное отношение *духа и свободы* состоит не только в том, что дух (т. е. духовный опыт, любовь и вера) нуждается во внешней свободе и требует ее, но еще и в том, что дух освобождает человека внутренно, сообщая ему внутреннюю силу, самостоятельность, характер и крылья для духовно-осмысленного и победоносного полета через жизнь и смерть.

3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОБОДА

Итак, свобода состоит в том, чтобы всюду (и в одиночестве, и в общении, и в общественных организациях) располагать внутренней силой и способностью — самостоятельно и ответственно стоять перед лицом Божиим и

служить делу Божию на земле. Свобода есть как бы духовное *само-бытие* или самостоятельное духовное пение. Ни Церковь, ни приход, ни семья, ни корпорация, ни государство — отнюдь не заинтересованы в том и не уполномочены к тому, чтобы подавлять это само-бытие и приводить к молчанию это самостоятельное духовное пение. Напротив, это значило бы для них приступить к самоослаблению и саморазрушению: ибо свободный человеческий дух есть сильнейший и драгоценнейший оплот общественной жизни; и хор, в котором умолкнут все поющие голоса, перестанет существовать. Здание крепко лишь тогда, когда крепки составляющие его камни, каждый порознь. А в духовном плане дело обстоит так, что именно такие самостоятельные и самобытные люди способны наилучшим образом создавать и поддерживать сцепление и прочность общественной организации.

Само собою разумеется, что во всех этих общественных соединениях имеется некий авторитет; в Церкви — авторитет духовный и освященный; в семье — природный, возникающий из естественной связи и любви; в государстве — авторитет, выросший первоначально из родовой связи, а ныне основанный на силе, облагороженной правом и патриотически углубленной. Но задача этого авторитета состоит не в том, чтобы подавлять духовную самостоятельность человеческой личности, но в том, чтобы строить на ней внешний порядок и общую жизнь организации. Все повеления и все запреты этого авторитета обращаются именно к духовно-самостоятельному лицу (субъекту права), чтобы войти в его душу и побудить его направить *согласно им* свое внешнее поведение. Слова этого авторитета (законы, распоряжения, увещания и т. д.) должны быть свободно приняты человеком и свободно вменены им себе самому; тогда они как бы исчезнут в свободном признании лица и не только не создадут никакого подавления его свободы, но, напротив, укрепят ее и наполнят ее жизненным содержанием. Такое свободное признание и самовменение называется (от французского слова «loi», закон) *лояльностью*. Лояльность не унижает и не подавляет человека. Карлейль был глубоко прав, когда писал: «Великие души всегда лояльны, послушны и по-

чтительны по отношению к тем, кто поставлен над ними; только ничтожные, низкие души поступают иначе...».

Поистине, только слепое и цельное принуждение (насилие!) порабощает и унижает человека. Напротив, духовный, свободно признанный авторитет воспитывает человека к свободе и силе. Автономия (самозаконность, свобода) и гетерономия (внешнее законополагание, социальный авторитет) не исключают друг друга; напротив — они *духовно соединимы*. Ибо с того момента, как человек своим внутренним свободным признанием приемлет, покрывает и наполняет гетерономный закон, — *несвобода исчезает* и социальный авторитет входит в его жизнь *в качестве дружественной и ценной опоры*. Так обстоит во всех областях общественной жизни.

Итак, духовная свобода совсем не исключает социального авторитета; а последний имеет задачу — обращаться к внутренней свободе человека, взывать к ней, воспитывать ее и укреплять ее. *Семя внутренней свободы* должно пустить ростки, окрепнуть, выгнать ствол и стать *расцветшей свободой; но заменить эту свободу нельзя ничем*. Только тот, кто способен к самостоятельному пению, может войти полноправным певцом в поющий хор. Таково значение духовной личности. Внутренняя свобода есть первая и священная основа духовного характера. Внешняя же свобода нужна человеку для того, чтобы стать духовным центром, чтобы приобрести внутреннюю свободу. А внутренняя свобода есть не что иное, как живая духовность человека. И тот, кто это продумает и прочувствует, поймет сразу, в чем значение *долга и дисциплины:* ибо и долг, и дисциплина, верно и глубоко понятые, суть лишь *видоизменения внутренней свободы,* которая добровольно приемлет эти внутренние связи и свободно определяет себя к внутренней и внешней связанности[1].

Если принять во внимание эти основоположения, то нашему умственному оку откроется верное понимание политической свободы.

Политическая свобода есть нечто драгоценное и ответственное, но именно постольку, поскольку за ней жи-

---

[1] См. подробно в главе третьей.

вет и действует духовная, внутренняя свобода. Чтобы верно понести и использовать политическую свободу, необходимо понять, в чем ее драгоценность и какую ответственность она возлагает на человека.

Политическая свобода есть разновидность *внешней* свободы: человеку предоставляется самостоятельно говорить, писать, выбирать, решать и подавать свой голос в делах общественного устроения. Его требования «не мешайте, не заставляйте, не запрещайте — я сам!..» — удовлетворяются; но уже не только в вопросах его внутренней духовной жизни, а *в вопросах общего и совместного устроения.* Он объявляется полномочным соучастником, со-строителем, со-распоряжающимся в этих делах. И уже не только ограждается его собственная внутренняя свобода, но ему самому предоставляется решать *о других* людях и об *их* свободе или несвободе, об их жизни и поведении.

И вот, с самого начала ясно, что политическая свобода гораздо больше — и по объему и по ответственности — чем внешняя отрицательная свобода; ибо последняя дает человеку права в его собственных внутренних делах, права над собою и своей душой, а политическая свобода дает ему права и в *чужих* делах, *права над другими.* Это значит, что политическая свобода предполагает в человеке, которому она дается, гораздо большую зрелость, чем свобода духа. Ошибающийся в своих внутренних делах вредит себе, ошибающийся в вопросах чужой свободы и чужих делах — вредит всем другим. Поэтому верное соотношение этих трех свобод таково:

внешняя свобода дается человеку для того, чтобы он внутренно воспитал и освободил себя;

политическая же свобода предполагает, что человек воспитал и освободил самого себя, и потому она дается ему для того, чтобы он мог воспитывать других к свободе.

И в самом деле, что сделает из политической свободы человек, который не созрел для нее? Чем заполнит он свои политические права, если сам он остался рабом своих страстей и своей корысти? Чего могут ждать от него другие люди, если он свою собственную жизнь превратил в сплошное падение и унижение? Что даст своей стране такой человек, злоупотребляя свободою слова, печати, собраний, выбирая криводушно, голосуя продажно, ре-

шая все вопросы общины и государства по прихоти своих страстей и по нашепту своих личных интересов? Не станет ли он опаснейшим врагом чужой и общей свободы? Не распространит ли он в процессе всеобщего растления свое собственное рабство на всех своих сограждан?

Вопрос о том, кто именно созрел для политической свободы и кто нет, — решить не легко, тем более, если подходить к людям с чисто внешним, формальным мерилом. И тем не менее основное правило, установленное нами, остается непоколебимо: политическая свобода по силам только тому, кто *или завершил свое освобождение,* или кто *находится* в *процессе внутренней борьбы за него, понимая его драгоценность, обязательность и ответственность.* Человек и народ, чуждые этому сознанию и не вовлеченные в этот внутренний процесс, — извратят свою политическую свободу, а может быть, погубят и себя вместе с нею.

Если признать это, то будет уже нетрудно устранить из сознания вреднейший парадокс, утверждающий необходимость и полезность безграничной свободы (крайний либерализм, анархизм).

Ни внешняя свобода духа, ни политическая свобода — никогда не должны проводиться последовательно, до конца, до беспредельности и разнуздания. Внешняя свобода духа должна служить внутреннему самоосвобождению, ибо только внутренняя свобода создает человека в его духовном достоинстве. Не следует отказывать человеку во внешней, отрицательной свободе; но, давая ее ему, необходимо объяснять ему, что смысл ее во внутреннем самоосвобождении, что внутренняя свобода не отрицает ни духа, ни авторитета, ни дисциплины и что человек, не сумевший внутренно освободить себя к духу, к дисциплине и к свободной лояльности, не заслуживает политической свободы, и притом потому, что он только и сумеет злоупотребить ею, себе и другим на погибель. Здесь лежит естественная и необходимая грань внешней свободы. Однако в этом же направлении следует искать и предел политической свободы: надо подготовлять человека к ней, объясняя ему, что она теснейшим образом связана с процессом внутреннего самоосвобождения, что политическая свобода призвана служить не личной или классовой корысти, а ограж-

дению и расцвету права, справедливости и родины; словом, что смысл и корень политической свободы лежит там, где живет и творит духовная, положительная свобода. А это значит, что и здесь не может быть безграничной свободы — ни в даровании, ни в осуществлении.

Есть минимум внутренней свободы, ниже которого политическая свобода теряет свой смысл и становится всеразрушительным началом. Человек, не осознавший себя как духовного субъекта (внутренно свободного и внутренно самоуправляющегося) не сумеет понести прав политической свободы. «Даровать» народу политическую свободу — иногда значит ввести его в искушение и поставить его на путь гибели. Это означает, что его необходимо всемерно *воспитывать* к политической свободе, помогать ему в его внутреннем и духовном освобождении. Первое условие политической свободы — есть способность к самодисциплине и лояльности; нет этого условия — и политическая свобода становится даром напрасным и непосильным. Но если политическая свобода уже «дарована» — то критерием ее целесообразности является тот же самый процесс внутреннего самоосвобождения, именно: *если от пользования политической свободой внутреннее самовоспитание людей крепнет,* люди научаются *блюсти взаимную духовную свободу,* а уровень нравов и духовной культуры *повышается* — то политическая свобода дана своевременно и может быть закреплена; но если от пользования политической свободой обнаруживается падение нравов и духовной культуры, если обнаруживается избирательная, парламентская и газетная продажность, если внутреннее самовоспитание людей уступает свое место разнузданию, а свободная лояльность гаснет и люди начинают взаимно попирать личную свободу — то политическая свобода оказывается данному народу в данную эпоху не по силам и должна быть временно отменена или урезана.

Это необходимо продумать и понять раз навсегда: всякая внешняя свобода — и формальная, и политическая — имеет свое единое лоно во внутреннем человеческом мире. Свобода есть нечто *для* духа и *ради* духа, свобода есть нечто *в духе* зреющее и *от духа* исходящее. Вне духа и против духа она теряет свой смысл и свое священное значение. Оторвавшись от духа — она обращается против него

и попирает его священное естество. Обратившись против него, она перестает быть свободой и становится *произволом и всепопиранием.* Тогда наступает то, что вслед за Пушкиным следовало бы назвать «безумством гибельной свободы» («Воспоминание»); и тогда, строго говоря, о «свободе» говорить уже невозможно. Тогда и «винить» свободу нельзя, ибо злоупотреблять можно всем и в злоупотреблении виноват злоупотребляющий, а не злоупотребляемая ценность.

Итак: без свободы — гаснет дух, без духа — вырождается и гибнет свобода.

О, если бы люди увидели и уразумели этот закон!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
О СОВЕСТИ

Возможно ли, чтобы великая душа не имела совести, — самого существа всех действительных душ, великих и малых?
Карлейль

1. УТРАТА

Людям было бы легче уразуметь закон внутренней свободы и сравнительную условность внешней и политической свободы, если бы они чаще и радостнее прислушивались к тому, что обычно называется «голосом совести». Ибо человек, переживая это изумительное, таинственное душевное состояние, осуществляет внутреннюю, духовную свободу в таком глубоком и целостном виде, что ему невольно открываются глаза на его подлинную природу: он сам становится духовно свободным в этот момент и начинает постигать эту свободу уже не с чужих слов, не одним отвлеченным рассудком или воображением, но собственным, удостоверенным опытом, главным и драгоценнейшим источником всякого познания. Мало того, человек, верно переживший совестный акт, завоевывает себе доступ в сферу, где *долг* не тягостен, где *дисциплина* слагается сама собою, где инстинкт примиряется с духом, где живут любовь и религиозная вера.

Совесть есть один из чудеснейших даров Божиих, полученный нами от Него. Это как бы сама Божия сила, раскрывающаяся в нас в качестве нашей собственной глубочайшей сущности. То, на что указывает нам совесть, к чему она зовет, о чем она нам вещает, — есть *нравственно-совершенное;* не «самое приятное», не «самое полезное», не «самое целесообразное» и т. под., но нравственно-лучшее, совершенное, согласно тому, как указано в Евангелии: «будьте совершенны, как совершенны Отец Ваш Небесный» (Мтф. 5. 48).

Однако, говоря так о совести, я разумею не то, что нередко обозначают этим словом в повседневной жизни. Я разумею живую и не урезанную расчетом христианскую совесть, озаренную и просвещенную Христом, верную Ему и окрепшую на Его заветах. В согласии с некоторыми отцами Церкви можно было бы утверждать, что и в языческом мире, до Христа, были великие и чистые души, которые как бы предчувствовали глагол христианской нравственности, носили его в глубине своего сердца и своей мудрой воли, и внимали ему чутко и во многом верно (таковы Конфуций, Лаотзе, Будда, Зороастр, Сократ и нек. другие). Это было как бы «естественное» откровение. Но истинное и совершенное откровение пришло после них из чистого и божественного источника; оно было дано для того, чтобы очистить все до глубины, чтобы потрясти и оживить человеческое сердце, растопить застывшую в нем тысячелетнюю льдину, умилить человеческую жестокость и открыть людям доступ к духовному акту совести во всей его чистоте и совершенстве. Здесь и было заложено начало христианской совести.

Нельзя отрицать того, что совесть присуща человеку, так сказать, «от природы». Надо также признать, что вряд ли есть на свете человек, который не носил бы в душе своей ее голоса — пусть в самом первобытном, скрытом виде, так, как если бы совесть изредка стучалась у его двери, или тишайшим голосом взывала к нему из глубины, или вдруг озаряла своим лучом его настроения и злодейства. Во всяком случае, тот, кто стал бы утверждать, что на свете есть люди совершенно и окончательно бессовестные, поставил бы перед собою очень трудную задачу. Он должен был бы сам быть настоящим художником совестного акта, как бы мастером и учителем совести; он должен был бы хорошо знать все возможные формы ее проявления; и затем ему пришлось бы вступить в общение с тем, у кого он отрицает наличность совести, и испытать на нем все возможные способы духовного общения, исследования и удостоверения, прежде чем объявить свой окончательный приговор. Но опыт его вряд ли удался бы ему и притом не только в силу формально-логических оснований, согласно коим нельзя умозаключать от «ненахождения» к «небытию» или от «отсутствия» к

«невозможности» чего-нибудь, но в силу оснований содержательных и предметных. Тот, кто возьмется за такое дело — исследовать и установить наличность или отсутствие совести у другого человека — и приступит к нему мудро и искусно, тот, наверное, испытает и подтвердит то, что каждый христианский воспитатель и духовник испытал и отметил не раз в своей жизни, а именно: в этих испытующих беседах, полных христианской любви, проповеднического искусства и живой доказательной действенности (т. е., напр., при совместно совершаемых поступках!), — человек, с виду совершенно бессовестный, начнет постепенно обнаруживать такие состояния, делать такие высказывания, как если бы совесть медленно начинала пробуждаться в нем от давнего и крепкого сна или как если бы серые стены повседневной пошлости, черствости и себялюбия, забот и опасений — стали обнаруживать некие светоиспускающие трещины, как если бы и для этого черствого, злого, жестоковыйного человека пробил час пробуждения к духовности, любви и доброте. Здесь обстоит так, как и во всей сфере духа: кто умеет вести раскопки, тот находит; кто верно взывает, тот получает ответ; кто носит в себе живую силу совести, тот сумеет отыскать в своем ближнем — будь он совсем мрачен и ожесточен душою — искру священного огня, а может быть, раздуть ее так, чтобы она поразила живое пламя. Для того чтобы привести бессовестного человека к покаянию и обращению, необходимо, конечно, истинное искусство; но прежде всего для этого необходимо, чтобы сам обращающий не «проповедовал» отвлеченно, исходя из своей черствости, сухости и пошлости, но взывал бы, исходя из собственного жизненного пламени, уверенно и властно, действуя и как бы заклиная, зажигая огонь в чужом сердце. Тот, кто рассуждает без любви, без веры и огня, кто сам не переживает поистине потрясающую силу совести и не отдается ей, не подчиняется ее действию, — тот носит в душе как бы мертвую пустыню, и его мертвый голос не вызовет ничего, кроме мертвого отголоска из расстилающейся перед ним пустыни. Только живое родит жизнь, дух пробуждается только на зов духа, какой любви может научить не любящий? как может неискренний вызвать искру в угасшей душе? А совесть есть сама жизнь, и дух, и

любовь, и искренность: сила страшная, и чистая, и божественная...

Беда современного человечества состоит в том, что оно как бы разучилось переживать совестный акт и отдаваться ему, что весь его «ум» и вся его «образованность» есть мертвое и отвлеченное действие рассудка, недурно соображающего о «целесообразности» разных средств, но ничего не разумеющего в вопросе *о священных целях жизни.* Беда в том, что современный человек научился «относиться критически» к священной, иррациональной глубине совести, ограждать себя от ее голоса и иронически подсмеиваться над совестными людьми. Среди современной интеллигенции царит не высказываемое, но молчаливо подразумевающееся и все более укореняющееся воззрение, будто «умному» человеку, собственно говоря, решительно нечего делать с совестью; у него много других дел поважнее: ему надо приспособиться к сложным законам общественности, хозяйственности и политики для того, чтобы научиться комбинировать эти законы в свою собственную пользу и на этом построить свое благополучие; жизнь становится все сложнее и труднее, борьба за существование требует все большего внимания и напряжения..; при чем здесь «совесть»? что она может дать кроме новых, и притом бесплодных, осложнений и забот? пускай над ней возятся люди «сентиментальные», «глупые» и не приспособленные к реальной жизни, а им, «умным», — не до того... Хорошо еще, если такой человек однажды — он и сам не знает, откуда это берется и как он этому поддается, — начнет беспокоиться от каких-то странных внутренних «укоров», которые могут превратиться и в настоящие «угрызения» (а может быть, это только «нервы» начинают «пошаливать»?!.): ибо все-таки эти угрызения и муки означают, что и его великолепный, все предусмотревший ум, интересовавшийся доселе только одной целесообразностью, имеет свой предел и что его живая душа не исчерпывается ни этим умом, ни его самодовольством...

Христианская совесть, этот драгоценный и благодатный дар христианского откровения, как бы смолкла за последние века европейского просвещения и особенно за последний век капиталистического расцвета. А это указывает на то, что «просвещенному» и безрелигиозному

человеку наших дней предстоит вступить на путь больших страданий и потрясений. Ибо совесть не есть какое-то сверхдолжное и недоступное обыкновенному человеку дело «праведника» или «отшельника», ненужное рядовому человеку и бесполезное для верхнего, ведущего социального слоя. Напротив, *совесть нужна каждому человеку,* и не только в великие, поворотные моменты его жизни, но и в ежедневных делах и в обыденных отношениях; и то, что совсем не тронуто ее лучом, — оказывается не только недоброкачественным в смысле духовной ценности, но *и жизненно не прочным,* не крепким, в высшей степени подверженным распаду и в личной, и в общественной жизни.

Совесть есть живая и цельная воля к совершенному; поэтому там, где отмирает эта воля, *качественность* становится безразличной для человека и начинает уходить из жизни; все начинает делаться «недобросовестно», все снижается, обесценивается, становится никому не нужным: от научного исследования до фабричного продукта, от преподавания в школе до ухода за скотом, от канцелярии чиновника до уборки улиц.

Совесть есть первый и глубочайший источник чувства ответственности; поэтому там, где это чувство угасает, — воцаряется всеобщее безразличие к результату труда и творчества; что же могут создать безответственный судья, политик, врач, офицер, инженер, кондуктор и пахарь?

Совесть есть основной акт внутреннего самоосвобождения; поэтому там, где акт исчезает из жизни, внешняя свобода теряет свой смысл, а политическая свобода начинает извращаться, человек теряет доступ к *свободной лояльности,* и ему остается только две возможности в жизни: или повиноваться законам из корысти и страха, уподобляясь лукавому и неверному рабу, или не повиноваться законам, всячески изощряясь в безнаказанном правонарушении и уподобляясь непойманному преступнику.

Совесть есть живой и могущественный источник справедливости; поэтому там, где ее лучи уходят из жизни, человек теряет как бы душевный орган для справедливости и вкус к ней; во что же превратится жизнь в обществе, где этот орган и этот вкус атрофированы? что за суд сложится в этой стране? что за чиновничество? что за тор-

говля? какую жизнь поведет богатый слой общества? какая эксплуатация низших классов водворится в этой стране? какое справедливое негодование начнет накапливаться в низах? какая революционная опасность повиснет над государством?

Наконец, во всяком жизненном деле, где *личное своекорыстие* сталкивается с *интересом дела, службы, предмета, — совесть является главною силою, побуждающею человека к предметному поведению;* поэтому там, где совесть вытравляется из жизни, — ослабевает чувство *долга,* расшатывается *дисциплина,* гаснет чувство *верности,* исчезает из жизни начало *служения;* повсюду воцаряется продажность, взяточничество, измена и дезертирство; все превращается в бесстыдное торжище, и жизнь становится невозможной...

Вот почему я утверждаю, что совесть есть не только источник праведности и святости, но *и живая основа элементарно упорядоченной или тем более расцветающей культурной жизни.* Совесть есть то светящееся лоно, из которого исходят, пронизывая всю жизнь, лучи качественности, ответственности, свободы, справедливости, предметности, честности и взаимного доверия. И если бы однажды злому духу в ночи удалось погасить в душах спящих людей все лучи совести, хотя бы на сравнительно короткое время, то на земле воцарился бы такой ад, о котором самые злые сновидения не могли бы дать нам верного представления.

Отход современного человека от христианской совести чреват величайшими опасностями и бедами. Этот отход будет продолжаться до тех пор, пока не наступит возвращение. Человечеству придется опять пробивать себе дорогу к акту христианской совести. Но сначала оно должно будет заметить эту утрату и постигнуть ее роковое значение, а для этого ему, быть может, придется пережить крушение всего современного строя... Может быть, искра христианской совести возродится только в окончательно сгустившихся сумерках безбожия и распада... Мы не должны считаться с этой перспективой как с *неизбежной;* напротив, надо сделать все, чтобы предотвратить трагическое крушение нашей духовной культуры. И чем скорее и глубже человечество постигнет природу переживаемого им ду-

ховного кризиса, чем яснее оно поймет, что без совести на земле невозможна ни культура, ни жизнь, — тем более бед и страданий будет предотвращено...

2. НЕВЕРНЫЕ ПУТИ

Но что же такое представляет из себя акт совести? Как осуществить его? Как он переживается? К чему зовет он? О чем он вещает?

Прежде чем ответить на эти вопросы, мы должны отказаться от того, что обычно понимают под совестью; ибо то, что современные люди представляют себе, говоря о совести, есть нечто искаженное и несоответственное, как бы духовные развалины, скудные остатки былого христианского храма.

Так, когда современные люди говорят о совести, то они слишком часто имеют в виду не *силу положительного зова,* но лишь так называемые *«укоры совести», т. е.* собственно говоря, только негативные остатки ее, *болезненный протест вытесненного и не состоявшегося совестного акта.* Тот, кто знает только «укоры» совести, т. е. испытывает в душе только ее неодобрительные проявления, наступающие *после* совершения дурного поступка, — тот, очевидно, не допускает совесть к положительным, творческим проявлениям и, может быть, сам не знает о том, что он ее вытесняет, отодвигает, не дает ее акту состояться и пронизать душу; возможно, что он искажает или извращает этот акт каждый раз, как он намечается или уже состаивается в его душе; возможно также, что он совсем не представляет себе, что это за «акт совести», как и когда он возникает, что он дает человеку и куда он ведет его. Тогда он испытывает только то своеобразное «неодобрение», которое обнаруживается лишь после совершения дурного поступка или осуществления дурного состояния. Это «неодобрение» выражается иногда в каком-то легком и отдаленном «недовольстве собою», а иногда обостряется до мучительного, невыносимого отвращения к своему поступку и к самому себе. Тогда человек переживает некий внутренний разлад, наполняющий душу унынием, тоскою и растерянностью; этот разлад раскалывает душу,

повергает ее в состояние раскола и слабости, мешает жить и радоваться; и укоры, встающие невольно со дна души, бывают подчас настолько болезненны, что человек начинает думать об одном — как бы ему спастись от этих гложущих упреков и от этого внутреннего раскола. И не зная, как спастись от них, он переносит свое отвращение и ненависть на самую совесть... Вот откуда это зловещее описание совести у Пушкина («Скупой рыцарь»):

... Иль скажет сын... что меня
И совесть никогда не грызла, — совесть,
Когтистый зверь, скребущий сердце, — совесть,
Незваный гость, докучный собеседник,
Заимодавец грубый; эта ведьма,
От коей меркнет месяц и могилы
Смущаются и мертвых высылают!..[1]

Может быть, проще всего было бы задушить в себе это совестное неодобрение: вытеснить его туда, в ту самую бессознательную душевную глубину, в которой оно возникает и из которой появляется, и постараться о том, чтобы оно там более не оживало... Есть люди, которым это, повидимому, удается: но есть и такие, которых на этом-то пути и ждет крушение.

Те, которым это удается, создают в своей душе как бы некий подземный погреб, в котором они пытаются замуровать или просто похоронить свою совесть со всеми ее укорами; чем тягостнее или даже мучительнее проявлялись доселе укоры совести, чем труднее было удалить их из дневного сознания души, тем ожесточеннее ведется эта замуровывающая или удушающая борьба с совестью, с тем большим гневом или даже яростью воспринимается и вытесняется новое оживление ее укоров. Дело может дойти до того, что каждый намек на совесть или на *совестный акт* (у самого себя, или у других, или в искусстве) будет

[1] Эта способность совестных укоров — доводить человека до галлюцинаций была не раз описана в мировой литературе; ср. хотя бы у графа А. К. Толстого, Князь Серебряный, «Ночное шествие»; у Пушкина, Борис Годунов, Сцена в «Царских Палатах»; у Шиллера, «Разбойники» и у других. Ср. ямбическую сентенцию глубокомысленного римского драматурга начала нашей эры, Публия Сириянина: «Nil ist miserius, quam mali animus conscius» («нет ничего более жалкого, чем душа, знающая за собою содеянное зло»).

встречаться с затаенной иронией или прямым издевательством. Отвращение может перенестись с совестного переживания и на то, к чему оно призывает, и тогда самая *идея добра,* доброты, добродетели может стать человеку ненавистной и отвратительной. Душа становится циничной, черствой и холодной; и если она не лишена темперамента, то она начинает связывать свой «пафос» с отрицанием нравственности, с проповедью ненависти и мести (напр., доктрина классовой борьбы). Все, что остается в такой душе от совести, сводится к злобной иронии по отношению ко всей проблеме доброты и праведности, и может быть, остается еще вечная потребность справлять, подобно некоторым дикарям, вызывающий танец торжества и глумления над могилою мнимоубиенного врага. Чарльз Диккенс рассмотрел и описал этот тип ожесточенных людей с силою настоящего ясновидца; Достоевский вывел его с потрясающей силой и глубиной. Надо признать, что этот тип связан некоторым образом с эпохой капитализма и особенно мирового капитала, и притом так, что его легко можно встретить в обоих лагерях — и в лагере самодовольного маммонизма, и в лагере всепопирающей революционности...

Но если человеку *не* удается вытеснить совестные укоры и как бы удушить самую совесть, то весь внутренний мир его остается расколотым и ослабленным. Человек чувствует себя где-то в глубине парализованным или сломленным; и это самочувствие оказывается тем более острым, чем больше этот человек был искренно предрасположен к добру, чем утонченнее и чувствительнее была его душа от природы. Тогда ему приходится отыскать и установить некий компромисс. Душа жаждет равновесия и ищет спокойствия; она неспособна ни вечно обманывать себя перед лицом совести, ни спокойно выносить и созерцать свою собственную нравственную недостойность. Лучшее, что из этого могло бы возникнуть и что некоторым людям и удается, — это известная нравственная скромность как по отношению к другим людям, так и по отношению к самому себе: «все мы люди слабые и грешные, и не мне судить и осуждать других». Такой человек научается верно разуметь заповедь Христа: «не судите, да не судимы будете» (Мтф. 7,1)...

Однако наряду с этим может возникнуть и другой, вредный и опасный процесс, а именно — *понимание совести снижается или извращается.* Человек, которому не удается поднять себя до совести, начинает *опускать ее до себя.* Не умея примирить себя с нею, он начинает толковать и даже воспринимать ее как якобы «готовую на уступки». Те содержания, которые совесть дает или на которые она вам указывает, начинают перетолковываться в «нужном» направлении или просто искажаться; человек произвольно излагает или формулирует их, постепенно приближая к повседневным соображениям о жизненной целесообразности и житейской пользе. Отсюда возникает постепенно новое понимание совестного акта, в корне неверное и вредоносное; человек начинает не только ложно мыслить и разговаривать о совести, но и утрачивает самый совестный акт в его верном строении: *совесть в ее чудесном полногласии и всесилии* как бы *умолкает* в его душе. Тогда человек начинает сам говорить за свою совесть и *вместо нее* так, как если бы он сам был компетентен выдумывать ее таинственные указания и священные содержания или, во всяком случае, — толковать и формулировать их по своему усмотрению. Отсюда-то возникают эти ложные ходячие выражения: «моя совесть не протестует, если я поступаю так-то и так-то», или: «моя совесть разрешила мне то-то и то-то» и еще: «этот компромисс я уж сумею оправдать перед моею совестью» и т. д. И вот совесть незаметно превращается в какое-то личное консультационное бюро, дающее полезные и успокоительные советы, или как бы в расписание жизненных поездов, в котором всегда указано много разных возможностей, так что человек всегда может выбрать себе самые удобные направления с самыми удобными пересадками во всех затруднительных случаях. Это значит, что акт совести совершенно искажен или утрачен; люди продолжают говорить о нем, совсем не зная, *как* он переживается и *что* он дает человеку.

Таковы два основные искажения, которым бывает подвержено у людей переживание совести: 1 — вытеснение совестного акта, доходящее до полного ожесточения души; 2 — *снижение* совестного акта в процессе приспособляющихся компромиссов при помощи произвольного изложения и перетолковывания его содержаний. Класси-

ческий пример искажений второго рода дают нам «Воспоминания» Ксенофонта о Сократе: Ксенофонт не понял своего учителя; он превратил его философические исследования о совести в рассудочные соображения о целесообразности и полезном в жизни отдельных людей и целых профессий; он стал произвольно истолковывать и формулировать показания совести, оживленной в нем уроками Сократа, и создал в итоге некую своеобразную и незабываемую в своей пошлости теорию, от которой Сократ, наверное, отвернулся бы с горечью.

По тому же пути идут и «утилитаристы» всех времен и народов, поскольку они вообще хоть сколько-нибудь касаются в своем опыте проблемы добра. Принципиально говоря, вопрос о нравственно-совершенном решается совестью как особым органом духа или особым актом опытного восприятия; вопрос же о пользе и полезности (utilitas) есть совсем другой вопрос, требующий иного опыта, иных восприятий, иного рассмотрения. Эти вопросы *инородны* друг другу, их нельзя смешивать или сливать, недопустимо заменять один из них другим. Полезно то, что является *верным средством,* ведущим к известной цели; но целей у людей много; эти цели различны, относительны и условны; полезное средство есть причина или орудие, цель есть следствие или желанный эффект; и для установления всего этого нет нужды обращаться к совестному акту и его показаниям. Поистине, для условных целей человека может быть полезным многое такое, что совершенно противоречит голосу совести и нравственному совершенству... И наоборот: добро часто бывает «вредно» дурным людям, а путь нравственного совершенства, подсказываемый совестью, может стоить человеку и здоровья, и жизни...

Еще один из классических ложных путей, ведущих не к совести, а от совести, есть путь *интеллектуализации* совестного акта. Эта ошибка состоит в том, что люди ждут от совести *суждения* (judicium), т. е. облеченного в понятия и слова приговора. Но для того чтобы получить такое логически оформленное суждение, необходимо, чтобы между «приговором» и совестным актом выдвинулась функция *мышления.* Мысль, вдвигаясь между совестью и приговором, начинает сначала *заслонять* показание совести, потом *насильственно укладывать* его в логические формы,

искажать его своими рассуждениями и даже выдавать себя за *необходимую форму* совестных показаний. Ум заслоняет совесть; он умничает по-земному, по-человеческому, внося свои эмпирические соображения о целесообразности, пользе и т. д. От этого человек теряет доступ к совестному акту и начинает принимать *рассудочные соображения своего земного ума и земного опыта* за показания самой совести. Воображая, что он имеет дело с совестным актом, он оказывается на самом деле в положении какого-то морального аптекаря перед какими-то рассудочными житейскими весами, на которых он взвешивает сначала все аргументы *«за»* такой-то поступок, потом все аргументы *«против»* такого-то поступка, а в дальнейшем, может быть, и *силу доказательности* каждого из этих «за» и «против». Все это разрабатывается якобы конкретно, т. е. применительно к типическим, предусматриваемым положениям возможных людей; и по всем пунктам даются более или менее «доказательные» решения и советы. Слагается целая доктрина моральной «казуистики» (от слова casus = случай), которая не имеет никакого отношения к совести и свидетельствует о том, что доступ к совестному акту утрачен.

Такова «моральная теология» католиков и особенно иезуистов, где из-за умственных построений и логических выводов — голос совести перестает быть слышным. Житейский ум с его рассудочной логикой застилает совесть как бы дымной завесой; соображения «за» и «против» поедают друг друга; несомненный, очевидный призыв совести заслоняется условными соображениями о «сравнительно лучшем» и «сравнительно худшем», о «вероятности» того или иного суждения, о «позволенности» такого-то образа действий, о его «сравнительной грешности» и «простительности» и т. д. Совесть перестает быть, по классическому выражению Цицерона, силою («vis»[1]); она оказывается растерянною *слабостью,* поедающею более или менее «вероятные» и «доказуемые» *советы* или *позволения* в трудных случаях жизни; и в конце концов от нее, строго говоря, не остается ничего.

Все это блуждание и заблуждение объясняется именно тем, что совестный акт осуществляется в неверном строе-

[1] Cicero. Leg. 2, 4.

нии, ибо в него включается препятствующая и искажающая сила *отвлеченной мысли.* Поэтому всюду, где мы находим соответствующие определения совести, мы должны заранее знать, куда это ведет и приведет. Так, уж определение Фомы Аквинского («совесть есть *применение науки* к какому-нибудь поступку») чревато всеми этими заблуждениями. Нельзя также определить совесть как *«суждение ума»* (indicium intellectus); неверно определение совести как «практического предписания разума»; ошибочно начинать с того, что каждое показание совести есть «вывод из двух предпосылок», и т. д., и т. п. Нельзя сомневаться в том, что показание совести в глубине своей и содержании своем — *разумно,* т. е. соответствует некоторой Божественной разумности, вложенной в мир людей, вещей и их отношений. Но дается и испытывается это *таинственно-разумное* содержание *не в форме человеческого интеллекта;* и в момент совестного акта сила человеческого ума, «разума» или «рассудка» должна быть приведена к молчанию. Совестный акт не есть акт интеллекта, и задача последнего состоит в том, чтобы удержать свое дыхание и предоставить *таинственно-разумному содержанию совести вступить в душу в не-умственных формах.* В этом отношении опыт совести подобен опыту молитвы и опыту художественному, а не опыту научного анализа, синтеза и доказательства.

Таковы основные ошибки, уводящие человека от верного восприятия совести и ее показаний.

3. ВЕРНЫЙ ПУТЬ

Эти критические указания дают нам возможность формулировать те положительные требования, без соблюдения которых совестный акт не может состояться во всей своей силе и свободе.

Итак, совестный акт осуществляется не в порядке рассудочного умничания, суждений, рассуждений, выводов, доказательств и т. под., но в порядке *иррационального сосредоточения души.* Он не нуждается ни в каких теоретических «построениях», метафизических или эмпирических обобщениях и т. под. Все это не содействует его наступ-

лению, а мешает ему. Тот, кто хочет пережить совестный акт во всей его силе и свободе, тот должен в особенности отказаться от всякого сознательного взвешивания различных доводов «за» и «против», от умственного рассмотрения польз, нужд и целесообразностей, от попыток предусмотреть возможные последствия того или иного поступка и т. д. Все это необходимо в политике, медицине, торговле и других жизненно-практических сферах; но для осуществления совестного акта необходимо прежде всего *освободить горизонт своей души* от бремени этого условного, относительно и предположительного материала. Все это остается в пределах личного знания и субъективного мнения; во все это может быть вложено много житейского опыта, ума и интуиции; но для совестного акта необходимо оставить все это в стороне, извлечь себя из всего этого и уйти в глубину *иррационального чувствования*... Конечно, ввиду исключения, может случиться и так, что совестный акт состоится вопреки всему этому умствованию, прорвется через все эти баррикады «соображений», «комбинаций», «конструкций» и доказывающих усилий и смоет их своим чистым и могучим током. Но рассчитывать на это нельзя и не следует.

Это требование «свободного горизонта души» относится не только к умственно-рассудочным соображениям, но и к *воображению,* особенно постольку, поскольку оно приводится в движение и руководится личным интересом и личными склонностями данного человека. Мечтая и опасаясь, вожделея и отвращаясь, человек почти всегда склонен предвосхищать воображением — то желанное, как бы зазывая и подкупая сам себя, то нежеланное, как бы отталкиваясь от него и застращивая себя им. Эти желанные образы и отвратительные фантазии повисают на душе целыми гирляндами, то помогая, то мешая всякому доказательству, окрашивая эмоционально и фантастически умственный процесс и загромождая горизонт души не менее, если не более, умственных соображений. В этом отношении Марк Аврелий был прав и мудр, когда писал: «устрани воображение, останови влечение, подави свои склонности: предоставь Руководящему Началу господствовать над тобою» («Наедине с собою». IX, 7).

Третье требование состоит в том, чтобы человек, подготовляющий себя к совестному акту, не выдвигал готовых вопросительных формул, в которых бывает предусмотрена какая-нибудь дилемма («или — , или — ...»). Например: «что мне в этом случае — говорить или промолчать?»; «идти ли мне добровольцем на войну, обрекая мою семью голоду и холоду, или посвятить себя своей семье и оставить родину на произвол судьбы»; или еще: «если я брошусь в воду спасать этого утопающего, то я, пожалуй, чего доброго, простужусь?» и т. д. Все такие вопросы (и им подобные) — ошибочны и бесцельны. Они могут только помешать осуществлению совестного акта, и притом потому, что они замыкают его силу и свободу в произвольные, выдуманные, искусственные границы. Объем человеческого ума и опыта — узок и ограничен, а творческая сила совести велика и непредусмотрительна. Не следует ставить гению — а *совесть есть именно начало нравственной гениальности* в человеке — узкие, маленькие, глупые вопросы: он на них не может и не обязан отвечать, и если не ответит, то будет прав. Все эти вопросы вращаются как бы в *двух* измерениях и не предвидят возможного *третьего* измерения; а гению видны именно эти как бы «сверхсметные» возможности... Люди вообще должны понять и усвоить, что *искусство ставить верные вопросы* нисколько не менее *искусства давать верные ответы;* ибо есть множество дурных, ложных вопросов, на которые вообще нельзя и не следует отвечать: *Все* ответы на них могут быть только дурными и ложными. Напр., не следует спрашивать: «в какой части тела находится душа человека?» — потому что она не находится ни в какой части тела, ибо она вообще непротяженна и непространственна и т. под. К сожалению, повседневная человеческая жизнь изобилует такими ложными вопросами, которые нередко переносятся и в публицистику, и в философию, и в науку.

Возможно, конечно, что совестный акт осуществится несмотря на такой дурной вопрос и прорвется сквозь эту нелепую преграду, но тогда вопрошающий человек увидит внезапно, что все его вопрошание опрокинуто и отвергнуто и что он сам попал в великое смущение и затруднение; и тем труднее ему будет верно воспринять и

постигнуть ответ совести, чем больше веса и значения он, по своей наивности, придавал с самого начала своему дурному вопросу. Однако возможен и худший исход, а именно: человек, насильственно и упорно нажимающий на свое *совестное вдохновение* — а совестный акт есть именно акт *нравственного вдохновения* — пресечет и обессилит его, не даст ему состояться и не получит никакого ответа. И тогда наступит, описанная уже классическая опасность — произвольного искажения или субъективистической подмены совестного показания.

Четвертое требование состоит в том, чтобы человек, вопрошающий свою совесть, обращался к ней не в качестве *исследователя,* а в качестве *деятеля.* Испытание совестного акта не должно исходить из отвлеченной любознательности, желающей установить некую теоретическую истину, или (еще хуже) из праздного любопытства, желающего производить ни к чему не обязывающие наблюдения. Конечно, указания и содержания, даруемые совестным актом, могут быть впоследствии теоретически продуманы, формулированы и теоретизированы; мало того — вообще невозможно написать этику, т. е. исследование о добре и зле, без живого, творческого акта совести, ибо при отсутствии его человек лишается основного: самостоятельного и непосредственного *нравственного опыта.* И тем не менее человек, приближающийся внутренно к акту совести, как бы к некоему алтарю, не должен делать это в качестве теоретического исследователя или философа и не должен вопрошать о каком-то отвлеченно-теоретическом жизненном случае. Если он это делает, то он превращает себя в некоторого отвлеченного субъекта познания, а сам он как *живой человек* со всей его настоящей сердечной глубиной, он сам как *целостная личность* — остается где-то в стороне и в переживании совестного акта не участвует. Это значит, что он *не живет совестью,* а как бы прячется в щель для того, чтобы оттуда «спровоцировать» ее, отнюдь не отдаваясь ей, отнюдь не вводя в это событие всего себя, не бросаясь в него героически, целиком. А вследствие этого возникает опасность, что совестный акт совсем не состоится и что вместо этого «исследователь», сидя в своей засаде, придумает более или менее подходящий и правдоподобный (probabile) ответ — *вмес-*

то совести и как бы *от ее лица;* а затем он примет этот ответ за совестное указание и уверит других в том, что так и было на самом деле. В результате совершится *подмена* совестного акта: содержания его окажутся не подлинными, а выдуманными; человек совершит самообман и в действительности не познает ничего.

Дело в том, что совестный акт есть состояние *вдохновенное и целостное.* Он не может состояться во всей его полноте при расщеплении души или при каких-нибудь «резервациях» (оговорках, обходах, исключениях и т. п.). Всякое «постольку поскольку» вредит делу. Но больше всего вредит и затрудняет — теоретический «отвод» своей собственной личности. Напротив, вопрошающий свою совесть *должен сам предстать перед ней во всей своей цельности;* он должен идти не от выдумки, а отправляться от самого себя, вводя в дело себя самого, и притом целиком; он должен спрашивать не *про другого и не для другого, а про себя и для себя;* и не «теоретически», чтобы выведать и узнать, а *практически,* чтобы так *решить и сделать.* Совесть не Пифия, дающая советы другим людям, не теоретический справочник вроде таблицы умножения или таблицы логарифмов, который применим и к жизни, и к выдумке. Человек должен обращаться к совести с вопросами *своей личной жизни и деятельности,* и притом не для знания, *а для делания.* Он должен собрать себя, сосредоточиться и отдаться целиком этому вопросу: «что мне сделать?..» — так должен начинаться этот вопрос. И спрашивать он должен, как уже сказано, не о «самом полезном», или самом целесообразном, или удобном, или выгодном, или здоровом, или умном, или успокоительном, или легком, или приятном и т. д., и т. д., но о *нравственно-лучшем.* Христианину будет легче всего понять, если сказать: о «христиански-лучшем», или о том, что Христос-Спаситель совершил бы Сам, или за что Он одобрил бы другого, или о том, что следовало бы сделать по Его слову, для Его славы, ради Него...[1]

---

[1] Сравни формулу у глубокомысленного художника и философа Н. С. Лескова: «Я, когда мне что нужно сделать, сейчас себя в уме спрашиваю: можно ли это сделать во славу Христову? Если можно, так делаю, а если нельзя — того не хочу делать». «На краю света», глава V.

Итак, вопрос, обращаемый к совести, должен был бы звучать приблизительно так: *«что мне сделать, чтобы совершить нравственно-лучшее?..»*

Этот основной вопрос не должен подразумевать никакого житейски готового исхода и не должен предвосхищать никакого ответа. И все же он может ставиться в двух различных значениях и толковаться надвое, а именно: во-первых, можно иметь в виду определенное, *конкретное жизненное положение,* в котором *я нахожусь в данный момент* — перед лицом этих обстоятельств, *этих* людей, *этой* необходимости действовать; во-вторых, можно иметь в виду *общую и основную линию моей жизни и моего поведения.* Что же вернее и предпочтительнее?

Первая форма вопроса заслуживает предпочтения в силу целого ряда оснований.

Надо признать, что область совестного опыта совсем не так просто и легко доступна для нас, людей, в нравственном отношении неустойчивых и часто даже беспомощных, поэтому нам не следует браться за самое сложное и трудное, требующее великой духовной мудрости, огромного горизонта и долгого нравственного дыхания. Надо идти к великому от малого, к трудному от легкого, к общему от частного, к силе — от слабости. Между тем, вторая постановка вопроса *о всей жизни* и об ее *основной линии* является весьма радикальной и трудной; она предполагает в вопрошающем человеке большую внутреннюю свободу, силу характера и, главное, большое и опытно укрепленное искусство в обхождении с совестью. Но даже и при наличности всех этих условий остается опасность, что человек не сумеет верно внять указаниям совести и впадает в *теоретическое доктринерство,* в отвлеченные выдумки, в чисто утопические требования и построения. Отсюда-то и родятся все эти мечтательные, преувеличенно требовательные, *утопические* построения, в которых *нежизненность* сочетается с *непримиримостью,* а образующаяся между жизнью и доктриною пропасть заполняется (в зависимости от личного темперамента) *сентиментальными* или *свирепыми словами.* Напротив, первая формула вопроса, направленная на исход из *моего конкретного жизненного положения,* начинает именно с малого, легкого, частного и слабого; она ограничивается скромными пре-

делами личного жизненного случая; она является по силам для начинающего, а мы все, увы, все еще остаемся начинающими в сфере совестного опыта; опасность же праздного теоретизирования отпадает здесь совсем.

На свете есть немало моральных философов, которые с этой опасностью не справились; и не только в том смысле, что они желали получить ответ о всей *своей* жизни сразу, но и в том, что они этот якобы полученный ответ стремились отнести ко *всем* людям и строили нежизненную утопию.

Такова, напр., судьба графа Л. Н. Толстого. Он является, несомненно, одним из замечательнейших носителей совестного акта в 19 веке. И тем не менее можно с уверенностью сказать, что если бы он держался в пределах *личного и единоличного,* а не теоретизировал бы об «общем» и о великих рецептах спасения всех людей от всех зол и пороков, то он не пришел бы к парадоксальной, нежизненной и противокультурной доктрине, которая называется «толстовством»; ограничиваясь личным самосовершенствованием, не выступая в качестве пророка и всеобщего обличителя, он был бы *целен* в своем совестном акте; он стал бы больше действовать и поступать и меньше проповедовать и обличать; он достиг бы большего, а требовал бы меньшего; и наконец, он понял бы, что эти общеутвердительные и общеотрицательные суждения («все люди должны делать то-то, никто из людей не должен делать того-то»), в которых выражалась его доктрина, шли не от совести, *а от его собственного рассудка.*

Несомненно также, что другой замечательный носитель совести в 19 веке, Виктор Гюго, создал бы гораздо менее театральных поз и аффектированных (т. е. в выражении чувства преувеличенных и потому неискренних) фраз, если бы он, не претендуя быть нравственным и социальным пророком, умерил свой неистовый темперамент до простой искренней любви и увел бы свою фантазию от театральных «общечеловеческих» эффектов к простому, но духовно-чуткому описанию жизни совестных душ.

Наконец, нельзя не признать, что Иоганн Готлиб Фихте, пытавшийся создать в начале 19 века что-то вроде «религии совести» и действительно выдвинувший «метафизику совести», остался для большинства его современников

и читателей непонятным потому, что интерес построения единой и логически непререкаемой философской системы возобладал у него над потребностью в искренней простоте и ясной глубине. Иногда прямо кажется, что Фихте, несмотря на его героические усилия быть «ясным как солнце» и «вынудить» у читателя верное понимание его учения, делал *все* для того, чтобы укрыть живую совесть как начало духовного самоутверждения в непроходимом лесу метафизических хитросплетений [1].

Все такие попытки в действительности не объясняют человеку доступ к совестному акту, а скорее затрудняют ему этот путь. *Совесть не дает человеку никаких обобщений,* эти обобщения человек придумывает сам. Совесть указывает человеку прежде всего и больше всего на единый, нравственно-лучший исход из *данного* жизненного положения; *всеобщий рецепт совершенства* извлекается из этого указания человеческим обобщающим рассудком. Вот откуда множество расходящихся друг с другом моральных теорий: одни люди выдумывают, совсем не обращаясь к совестному акту, другие выдумывают, неверно вопросив его, или неверно вняв ему, или произвольно обобщив его указание. Вот почему гораздо лучше и продуктивнее обращаться к совести много раз для получения единичных указаний в отдельных случаях жизни, чем требовать от нее общих правил и рецептов, которые, быть может (именно вследствие их отвлеченности и общности), удастся «помыслить» и «формулировать», но *не удастся применить к жизни.* И здесь, как всегда, милосердный самарянин будет выше теоретизирующего фарисея.

Ко всему этому необходимо добавить еще одно чрезвычайно существенное разъяснение: совестный акт сам по себе не нуждается ни в каких сознательно формулированных или полусознательно предносящихся «вопросах», он может осуществиться и *без всякого зова* или вопроса, он может состояться по *его собственному почину* или движению в душе человека, который к нему не обращался,

---

[1] Ср. мои две работы о философии Фихте Старшего: «Кризис идеи субъекта в Наукоучении Фихте Старшего» и «Философия Фихте как религия совести». Журнал Вопросы Философии и Психологии. Книги 111 и 112. Одно из сочинений Фихте так и называется: «Sonnenklarer Bericht oder Versuch den Leser zum Vertelen zu zwingen»* (принудить)...

его не ожидал и, может быть, даже и не хотел его вовсе. У многих действительно хороших людей совестный акт приходит как бы сам; он сам как бы возвышает свой «голос» (на самом деле никакого слышимого «голоса», конечно, нет, это была бы иллюзия или галлюцинация), им не надо ни спрашивать, ни взывать, ни ждать ответа; совесть приходит в движение по собственному побуждению, в силу собственной власти — и указует; а может быть, она, раз осветив душу, никогда уже не угасает и не перестает посылать свои лучи. Это бывает особенно у тех людей, у которых священные врата между любящим сердцем и сознательным деланием не закрыты и не завалены, но всегда остаются настежь отверстыми в осуществлении живой и искренней доброты. И вот в эти отверстые ворота совестное содержание вступает легко и просто, подобно некоему священному и желанному гостю. Тогда совесть чувствует себя в жилище сознательной души, как у себя дома, она господствует в нем и распоряжается, а душа, освященная совестью, начинает сама гореть, и светить, и излучать совестные лучи. Мало того, человеческая душа может настолько соединиться с совестью, что утратит грань между *собою и ею:* тогда человеческое «я» перестает противопоставлять совесть себе, а себя — своей совести; *ее* зовы становятся *«моими»* желаниями; и даже этот «переход» *от ее зова к моему желанию* исчезает. И только тогда, когда «мне» захочется чего-нибудь совестно-неверного, — я услышу в глубине своей протестующий и осуждающий глас совести. Именно это замечательное явление подметил в себе Сократ, указывая на то, что его внутренний божественный глас[1] никогда не давал ему положительных, побудительных указаний («сделай то-то»), а только отрицательные, воздерживающие («не делай того-то»); понятно, почему это так было; праведная воля Сократа испытывала положительные зовы совести как *свои собственные* желания и побуждения и воспринимала в себе «даймоний» как нечто *сверхличное* — только в момент ошибочного волеуклонения.

---

[1] По-гречески δαιμόνιον — «даймоний». Наивные и неосведомленные люди переводят это слово «демон» и начинают утверждать, будто Сократ знался с «нечистою силою».

Вот почему так важно, чтобы у каждого из нас ворота, лежащие между совестью и нашим сознательно-действующим существом, — были не только не завалены, но всегда открыты. Главным средством для этого является *молитва,* внутреннее взывание к Богу, раскрывающее эти таинственные ворота сверху (от сознания) и прожигающее их снизу (из бессознательного) ответными лучами благодати. Пусть это будет молитва без слов и просьб, наподобие того как молился русский святой Андрей Юродивый: он уходил в одиночество, на кладбище, и, став на колени, часами взывал из последней глубины и полноты, произнося только: «Господи! Господи!!» и обливаясь слезами. «Ибо, — по слову Апостола Павла, — мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными»[1]. И нетрудно понять, почему здесь так важна молитва: самое *воззвание* к совести, этот вопрошающий стук у двери ее, сам по себе не что иное, как *особый вид молитвы*[2], а совесть есть сама *внутренняя сила Божия в нас,* которая открывается нам как наше собственное глубочайшее существо[3].

4. СОВЕСТНЫЙ АКТ

Обращаясь к самому существу совестного акта, столь простого и благодатного в переживании, но столь трудно поддающегося описанию, попытаемся установить следующее.

Прежде всего, совестный долг воздвигается (иногда лучше и точнее сказать — разражается) *бессловесно,* как бы вырастая из иррациональной душевно-духовной глубины, собранной и сосредоточенной надлежащим образом[4]. Он приходит или как бы вторгается своим дыханием из священной глубины человеческого сердца, где *нет* обычных человеческих слов, с их *общим* значением, которое пости-

---

[1] К Римлянам, глава 8, стих 26. По-гречески: «ἀλλα αὐτὸ τὸ Πνεῦμα ὑπερεντυγχά νει <ὑπὲρ ἡμῶν> στεναγμοῖς ἀλαλητοις».

[2] Эта молитва может быть выражена словами из православной утрени («Великое Славословие»): «научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой».

[3] См. в главе первой о «единении».

[4] См. раздел третий «Верный путь».

гается то мыслью, то воображением и которое в то же время всегда субъективно перетолковывается; в этой глубокой сфере нет обычных слов с их звучанием и интонацией, с их ассоциативной окраской и с их логически-стилистическими сцеплениями. Но если бы все-таки решиться говорить здесь о «словах» совести, то нужно было бы подразумевать не привычные для нас, произносимые и звучащие слова повседневности (λόγος προφορικὸς), но те *сокровенные и таинственные, логически едва уловимые, беззвучные содержания* (λόγος ἐνζητὸς), для обозначения которых Апостол Павел употребил эти чудесные выражения «неизреченные вздыхания» и «стенания», с тем отличием, что воздыхания или «стенания», о которых пишет Ап. Павел, идут как бы от нас и поют о несвершившемся, недостигнутом, а совестные содержания идут как бы *к нам* и благовестят о состоявшихся зовах и благодатных решениях.

Итак, от совестного акта не следует ожидать — ни слов, ни суждений, ни изречений, ни формул. Совестный акт подобен *скорее молнии, сверкающей из мрака,* или мощному подземному толчку, как при землетрясении. Здесь нет *по-человечески раскрытой* разумности, но есть как бы некий *ослепительный свет,* озаряющий внутренние пространства души, от которого человек как бы мгновенно прозревает — ибо *совесть есть состояние нравственной очевидности.* И в этой очевидности есть некая *сокровенная, божественная разумность,* которую человек может и должен пытаться перевести на язык своего земного ума; это может ему не удастся, ибо слова и мысли, которыми он будет при этом пользоваться, будут *его,* человеческие, субъективно использованные слова и мысли, привнесенные им в позднейшем порядке. Совестный акт «гласит» не звуками, не словами и не понятиями; и кто приписывает ему этот «язык», тот вряд ли когда-нибудь испытал его в действительности. Рационалистическое облачение ему не присуще. Он дает *разумное, определенное и очевидное,* но не на языке человеческого языка и мышления.

Совестный акт состаивается в душе и проявляется в ней в виде *могучего позыва к совершенно определенному нравственному поступку* (или образу действия). Условимся называть *аффектом* пассивно-страдающее чувство, судо-

рожно завернувшееся в себя и ушедшее в виде некоего «заряда» в глубину души, а *эмоцией* — активное чувство, разряжающееся, вырывающееся из судороги и из плена, наподобие душевно-вулканического извержения. Тогда мы сможем установить, что совестный акт в своем сильном и свободном проявлении подобен не аффекту, а *эмоции,* не пассивно стонущему душевному разряду, а активно вырывающемуся душевному разряду. Чем свободнее он проявляется, чем шире открыты ему ворота сердца, чем меньше препятствий на его пути воздвигнуто повседневным сознанием[1] — тем определеннее, тем сильнее, тем непреодолимее оказывается этот порыв, идущий из душевно-духовных недр, тем непосредственнее он обычно переходит в *поступок.* Этот позыв или порыв к совершенно определенному нравственному действию испытывается нередко как *чувство,* как *эмоция.* Однако дело не сводится здесь к одному *чувству.* Этот порыв есть настолько же волевое состояние. Совестный акт есть с чисто психологической точки зрения акт *эмоционально-волевой.* Это есть как бы *глубокий искренний разряд аффекта в эмоцию* и в то же время *разряд поддонной волевой силы, приемлющей жизненно-нравственное решение.*

Разряжающийся здесь аффект мог бы быть описан как аффект *молчаливой духовной любви*[2] и в то же время как разряд *воли к нравственному совершенству,* который, быть может, долгое время сосредоточивался в поддонной глубине сердца и, наконец, разрядился или разразился в описанном нами совестном акте. Бывает так, что эта глубокая аффективная концентрация происходила сама собою в глубине души, так что человек даже и не знал о ней, и не замечал ее. Но бывает и так, что человек ощущает в себе этот накапливающийся заряд чувства и воли, смутно постигая его значение и предчувствуя его дальнейшую судьбу. И не раз уже на протяжении его жизни луч нравственной очевидности, озарявший его душу на мгновение, как бы бесследно исчезал в этой безмолвной тишине сердца, или слеза умиления, любви, благодарности, как бы бездейственно скатившаяся по его лицу, духовно впиты-

---

[1] См. раздел третий «Верный путь».

[2] См. главу первую, раздел шестой «О духовной любви».

валась в эту таинственную почву. *Все* сосредоточивалось там: и зрелище чужих, не утоленных страданий, и праведный гнев на безнаказанного насильника, и вздохи «униженных и оскорбленных», и порыв бессильного раскаяния при мысли о непоправимом злом поступке, и радость прощения и примирения, и все — «до сухой слезинки, выплаканной во тьме беззвучной...»[1]. Все лучи нравственного чувствования и видения, приходящие из внешнего и внутреннего опыта, — концентрировались там в единый, мощный фокус; все сердечные раны и судороги от этих ран, посланные жизненным опытом, — как бы напрягали там одну аффективно-волевую пружину, которая долго ждала своего часа и, наконец, дождалась. Нужды нет, что сам человек не знал об этом: *дух совершал в нем свое дело.* Все, что с виду «исчезало», на самом деле отнюдь не погибало. В бессознательной бездне сердца происходило не бесследное исчезновение, а *накопление, концентрация и перегорание.* И вот совестный акт есть разряд этого духовно-аффективного заряда, или как бы воспламенение этого накопившегося угля, или как бы порыв этой скрытой энергии духа, или обнаружение накопленного клада. Совесть вступает в жизнь как *разряд не утоленной духовной любви,* как *воля к нравственному совершенству,* как порыв к *действию, достойному Бога и возводящему к Нему через уподобление Ему*[2].

В тот миг, когда акт совести состаивается, человек оказывается не в состоянии решить, что это — *его собственный* акт, разряд и порыв или же в нем проявляется некая *таинственная, сверхчеловеческая, Божественная сила;* может быть — *и то, и другое сразу.* Но в этот миг человек совсем и не рефлектирует, не наблюдает и не задается такими вопросами; он не расколот душевно, он целен, един, непосредствен и как бы *потерян в совестном акте.* В этот миг жизнь его состоит в том, что он чувствует, как эта сила схватила его, потрясла, опалила и вот гонит его как бы неким духовным, необоримым ветром к такому-то, совершенно определенному нравственному поступку

---

[1] Шмелев. «Свет Разума».

[2] См. Мтф. 5. 48. «Будьте совершенны, как совершенен Отец Ваш Небесный».

или образу действий, может быть, прямо — *бросает* его в этот самый поступок, ... в этот миг он переживает этот поступок как нечто *абсолютно необходимое и единственно возможное.* Он не размышляет над ним, ему нечего взвешивать и соображать, он не колеблется — поступает, действует. Он действует так, что сам чувствует себя в этом абсолютно необходимом поступке — *совершенно свободным;* и он в этом не обманывается, ибо совесть есть один из вернейших путей к внутренней, духовной свободе[1]. И в этот «единственно возможный» поступок свой он вкладывает целиком всю свою душу, он как бы до краев наполняет этот поступок своим присутствием в нем. Это не есть «навязанный» ему поступок, предписанный чуждою силою. Нет — это *его собственный* поступок, которому он всецело и отдается. Он *не может* иначе поступить и не хочет иначе поступать, а сердце его полно непоколебимой уверенностью, что он и *не должен и не смеет* действовать иначе. И поэтому, когда он впоследствии мысленно возвращается к этому мигу, — он убеждается, что он *иначе не мог хотеть,* иначе *не хотел бы мочь и не смел поступать иначе. Высший закон совпал с желанием его сердца. Он сам* и некая таинственно-священная *Высшая Сила,* дыхание которой он подлинно осязал в глубине своего сердца, — *хотели одного и того же:* именно того, что он совершил. Так что он, совершая, был *прав* перед законом этой Божественной силы, с коей он стал тогда в некое *трепетное и блаженное единение.*

В такую минуту человек может отдать все свои деньги ближнему, чтобы спасти его из беды; прыгнуть в омут, чтобы спасти утопающего; громко исповедать поруганную и запрещенную истину, не помышляя о том, что исповедничество может стоить ему жизни. В такой миг некий король снял свою шубу и завернул в нее замерзающего нищего. В такой час Петр Великий спасал утопающих на Лахте. В такие часы гордец побеждает свое тщеславие и самолюбие и идет к врагу, чтобы примириться с ним. Это час милосердного самаритянина, который даже не чувствует себя «жертвующим», ибо «жертва» его растворилась в потоке искреннего сострадания. И тот, кто пере-

---

[1] См. главу вторую, раздел 2 «Внутреннее освобождение».

живал такие состояния, тот знает, что здесь нет также ни «долга», ни «обязанности». Ибо долг как бы исчез в праведном и целостном волении, он переплавился в *доброй воле* и не противостоял ей тогда, и не противостоит ей и теперь. И обязанность как таковая совсем не появлялась на горизонте души; была лишь одна свободно признанная *необходимость,* не расщеплявшаяся на «обязанность» и «влечение». Все утонуло во вдохновенном порыве — свободы и любви...

Кто пережил совестный акт хотя бы один единственный раз и совершил вытекавший из него поступок, тот никогда не поверит, будто слова «проклятый долг» и «тяжелая обязанность» обозначают высшую доступную человеку нравственную ступень. Правда, нет никакого сомнения в том, что из двух возможностей «исполнить свой долг» и «не исполнить долга» — предпочтительнее первая. Если есть долг и ты его испытываешь и удостоверил — то сделай все возможное, чтобы его выполнить. Но надо помнить, что самое «чувство» долга и самая «идея» долга — появляются только тогда, когда живое хотение человека *не* сливается с содержанием долга, противопоставляет себя ему и настаивает на своем. Идея долга выражает такое положение дел: «я *должен* совершить нежеланное», а «*хотел бы* совершить *недолжное*». Именно вследствие этого «долг» становится «проклятым долгом», а «обязанность» испытывается как «тягостная обязанность». Но вот человеку доступно некое высшее состояние: когда долг исчезает в *свободном и добром хотении совести,* когда он тонет в *потоке живой любви, текущем из совестного акта.*

Тогда *долг* означает только *остаток практически не победившего совестного зова.* То, чего хотел совестный акт в его любви к Богу и ближнему и в его воле к нравственному совершенству и что *не осуществилось,* — то в дальнейшем испытывается как «должное» и «обязательное». И тогда оказывается, что за этим «должным, но осуществленным» скрывается совесть в форме «укора» или «упрека», вызывая душевную муку и внутренний раскол... Но если выйти из этого раскола и выслушать этот упрек совести до конца — то тотчас же окажется, что *совестный акт вновь вырастает и развертывается из этого укора:* ибо смысл укора сводится именно к тому, что совесть *им и*

через него звала человека *к себе,* в свою священную глубину, *к блаженству доброй и целостной воли.* Кто может, тот пусть спешит отдаться этой блаженной цельности и совершить «должное» по доброй воле и из свободной любви. Ибо *так и только так одолеваются укоры совести:* им *надо внять,* их необходимо «выслушать» до конца и поступить согласно им: и только тогда они вернут свободу, покой, цельность и равновесие страждущей душе. Но тогда и долг утонет в стихии совести; и если появится; то уже не как «проклятый», а как желанный и благодатный.

При таком понимании совестного акта устраивается то мнимое «наблюдение» скептиков, согласно которому совесть якобы «говорит» всем людям различное, каждому свое, так что о *единой* совести будто бы нельзя и говорить. Совесть, утверждают такие скептики, — не одна, она субъективна, у каждого человека — *своя* совесть, которая и несет ему иное, своеобразное совестное содержание, требуя от него других поступков. Показания совести у разных людей якобы совпадают, а иногда и прямо противоречат друг другу...

Это мнимое «наблюдение» и этот скептический вывод выдвигают люди, которые, по-видимому, никогда сами не переживали совестного акта или же переживали его в искаженном и урезанном виде. Это обнаруживается с несомненностью, как только они переходят от общих скептических замечаний к наглядным примерам: совесть, оказывается, требует от одного, чтобы он «*любил* своих врагов», а от другого, чтобы он, наоборот, — *«снимал с них скальпы»;* совесть говорит одному: *«падающего поддержи»,* — а другому: *«падающего толкни»,* т. д., и т. под. Примеры эти обнаруживают с очевидностью, что эти скептические «наблюдатели», наблюдая человеческую жизнь, не заметили *нравственного* строения и своеобразия совестного акта и сочли возможным приписать совестному источнику *любой* совет и *любое* правило, выдвигаемое людьми по *любому* поводу. Человеческое сознание знает много «правил» и «советов», которые совсем не связаны с совестью и никакого отношения к нравственному измерению поступков не имеют. Поэтому исследователь обязан прежде, чем относить какое-нибудь «правило» к совести, испытать внутренно совестный акт как таковой, хотя бы уже для

того, чтобы на нити его «ученого наблюдения» не оказалось фальшивых жемчужин. Тот, кто хочет наблюдать проявления совести у разных людей и народов, — должен сначала прочувствовать до дна и продумать явление совести, чтобы не приписать ей, напр., воинских обычаев (вроде скальпирования) или правил приличия, предписаний полицейской власти, бытовых советов Молчалина, мнений Чичикова и повадок Гарпагона. Но такова уж судьба всех скептиков и нигилистов: они хотят писать о духе, не испытав его и не ведая его, и не подозревают того, что их ждут самые жалкие недоразумения. Вступая в сферу духа, они не создают ничего, кроме пустой и мертвой, иногда диалектически заостренной схоластики; ибо они судят вне духовного опыта и помимо его и отвергают все, что остается им предметно-неизвестным; но именно потому все то, что они могут высказать в этой области, может «иметь значение» только для того, кто сам лишен этого опыта и все-таки пытается судить и рассуждать...

В противоположность всему этому надо установить, что совестный акт, если только он верно пережит и осуществляется сполна, несет всем людям однородные содержания и ведет их в одном и том же направлении. Это не следует, однако, понимать в том смысле, что он ведет всегда и всех людей, как бы различны и сложны ни были их жизненные положения, — к совершению одного и того же, однообразного, как бы штампованного поступка. Если бы кто-нибудь стал утверждать это, то он обнаружил бы только, что он никогда не переживал совестного акта и что он представляет его себе наподобие юридического закона, выраженного в общих логических формах и потому склонного уравнивать всех, обозначенных в законе людей. А между тем совестный акт, в отличие от всякого формального закона, имеет в виду не *общее всем людям, а индивидуальное состояние одного человека;* он не уравнивает людей, а зовет каждого отдельного к осуществлению *всего добра, которое ему доступно,* и всей справедливости, которая причитается от него другим людям. Если бы все люди стали жить по совести, то они совсем *не* начали бы делать *«одно и то же»,* хотя все начали бы действовать *в едином направлении,* ибо совесть несла бы им всем *однородные содержания.* А это означает, что совесть есть нача-

ло не механическое, *а органическое,* не уравнивающее, *а распределяющее,* не мертвящее, *а творческое,* не рассудочное, а любовно-художественное[1].

Кто однажды имел это счастье[2] — пережить сполна совестный акт, т. е. не только воспринять его зов и луч, но отдаться ему и совершить из него поступок, — тот никогда не забудет этого события своей жизни. Это событие состоит в том, что он в этот миг достиг *блаженного единства, душевно-духовной цельности в своем собственном существе,* и притом, что важнее всего, *цельности в добре.* Он не распался в душе своей на «требовательного Господина» и «непокорного, ленивого раба»; но утратил тягу к непокорности и лени и перестал быть рабом; он сам стал Господином, а Господин перестал быть требовательным; и Господин, коему не противостоит более раб, стал впервые *свободным и вдохновенно-радостным.*

Но этим событие не исчерпывается, это только — *личное преддверие к сверхличному обстоянию.* Ибо в совестном акте *человек ощутил радостную близость к Богу.* В самом себе, в священной глубине своего вдохновенного и трепещущего сердца он почувствовал *подлинное, живое дыхание Божие, веяние Духа Святого;* и почувствовав его — свободно и радостно предался ему, не «покорился», как раб покоряется чужому велению, а предался как *свой своему,* чтобы *утратить себя в единении с Ним;* он стал не «орудием» Его, а хотя бы на краткий миг *живым явлением Его воли, Ее вдохновенным воплощением;* он целостно возжелал из *Его желания* и с блаженством осуществил *Его* волю как свою собственную. И, может быть, теперь впервые ощутил, что значит прошение: «да будет воля Твоя»...

Возможность пережить это *хотя раз в жизни* столь драгоценна для человека, а действительное переживание этого события, этого целостного единения своего существа с волею Божиею настолько значительно во всей его жизненной судьбе, что совестный акт должен быть отнесен к самым чудесным дарам Божиим, которые даны человеку.

---

[1] Все вырастающие отсюда особенности, осложнения и затруднения — не могут быть здесь раскрыты и разъяснены. Это потребовало бы особого, пространного исследования.

[2] Будда называет его «незапятнанным счастьем». Ср. его диалог «Награда аскетизма».

Этот акт уводит человека вглубь — к тому, что должно быть обозначено как *его собственная субстанция,* с которой он как бы воссоединяется; а без этой духовной субстанции (или «самосути») каждый из нас превращается в бессвязное множество пустых случайностей или в медиума собственных страстей и чужих влияний, как бы в ворохах бумажных клочков, носимых туда и сюда по воле исторического ветра. Можно было бы сказать, что каждый из нас, бесспорно, имеет *существование,* но *истинное бытие* мы приобретаем только через *духовную любовь* и через *совестный акт.* Вот почему гениальный Карлейль мог сказать: «совесть есть *самая сущность* всех *действительных* душ, как великих, так и малых...». Это можно было бы выразить и так: *совестный акт создает в человеке как бы алтарь его жизни,* место его одиноких молитв и благих решений.

Таким образом, верное и целостное переживание совестного акта становится в жизни человека неким переломным пунктом. До этого мига человек был как бы проблематичен во всем своем существовании; в этот миг он закладывает твердую основу своего характера. Отныне он знает, куда он сопричислен и *«Чей он»;* он увидел, к чему он призван, и убедился в этом; его *духовное достоинство* получило свое утверждение и не сомнительную подлинность; он научился духовному самоуважению. Отныне он *созрел к внутренней свободе*[1] и носит в себе ее живой критерий. Тем самым он проложил себе открытый путь и к *политической свободе*[2] и понял те опасности, которые она несет «бессовестным» людям. Если он доселе не знал, что есть *вера,* как она возникает и чем она удостоверяется, — то теперь он приобрел живой и священный опыт в сфере духовной любви и духовного единения с Богом и знает отныне, куда ему надлежит обратиться при возникновении религиозного сомнения, своего или чужого, и на что он может опереться. Тот, кто хоть один раз в жизни пережил совестный акт, но только верно и до конца, т. е. до поступка включительно, у того уже имеется духовный камень, на котором он может строить. И если он доселе как

[1] См. главу вторую, раздел третий «Политическая свобода».

[2] См. главу вторую, раздел второй «Внутреннее освобождение».

«просвещенный» или «секуляризованный» человек не мог найти подхода к Евангелию и христианству, то теперь он нашел этот подход, и притом на всю свою жизнь, и ему остается позаботиться только о том, чтобы не потерять этот подход и чтобы сделать его всегда доступным для себя и для других.

Можно себе представить, что все это изложенное здесь учение о совестном акте покажется кому-нибудь «нравственным преувеличением», а потому чем-то «отпугивающим» и «нежизненным»: «совестный акт, — скажет и подумает иной трезвый реалист, — вряд ли доступен простому и обыденному человеку; он по плечу разве только праведникам, у которых от праведности исчезают всякие связи с жизнью; ибо жизнь человеческая строится не на праведности, а на живом движении инстинктивного своекорыстия и на живом сплетении противоборствующих личных и массовых интересов; жизнь не нуждается в совестном акте, а совестный акт неизбежно отвергает и разрушает нормальную жизнь...»

После того, как нами уже вскрыто[1], это суждение не заслуживает подробного опровержения: жизнь человеческая, а особенно духовная культура, строится на взаимном уважении и доверии людей, на чувстве собственного достоинства, на чести, служении, внутренней свободе и дисциплине; а источником всего этого является вера в Бога и совестный акт. Это уже вскрыто нами и показано. И теперь мы можем добавить к этому еще одно общее соображение.

Совесть светит людям не только в момент совестного акта, но и всю жизнь после него. И чем ранее ребенок переживет его до конца, хотя бы всего один раз, тем лучше. Свет совестного акта имеет свойство не угасать и тогда, когда по внешней видимости огонь его померк и не горит более; люди не представляют себе, во что бы превратилась их жизнь, если бы совесть угасла в них до конца и навеки, подобно тому как они не воображают себе того вселенского мрака, который окутал бы нас, если бы солнце угасло навсегда, ибо теперешние наши ночи не дают нам настоящего мрака кромешного, а *живут зака-*

---

[1] Глава третья, раздел первый «Значение совести».

тившимся солнцем. Пусть человеческая жизнь редко осуществляет совестный акт во всей его силе и славе; она все же остается пронизанной его зовами, его отсветами, его укорами, его обетованиями. Пусть люди суть существа житейского компромисса; эти компромиссы не компрометируют их до конца, пока в глубине сердца жива совесть. Пусть люди жадны, жестки и грешны, но Господь повелевает «солнцу» светить и для праведных, и для грешных. И часто, очень часто человек не сознает мотивов своего поступка, не отдает себе отчета в том, какое влияние на него имеет совесть и *до какой степени он, падая и уже пав, спасен и пригрет ее незримыми лучами.*

Дело не в том, чтобы все люди стали праведниками; и неизвестно, осуществится ли и когда — это неправдоподобное блаженство. Дело в том, чтобы каждое новое поколение расчищало в себе внутренние пути, ведущие к совести, и держало бы открытыми те священные ворота, за которыми она скрывается. Ибо *бессовестное поколение,* если оно придет когда-нибудь, погубит жизнь человека и его культуру на земле.

ГЛАВА ПЯТАЯ
О СЕМЬЕ

1. ЗНАЧЕНИЕ СЕМЬИ

Семья есть первый, естественный и в то же время священный союз, в который человек вступает в силу необходимости. Он призван строить этот союз на *любви,* на *вере,* и на *свободе;* — научиться в нем первым *совестным* движениям сердца; и — подняться от него к дальнейшим формам человеческого духовного единения — *родине и государству.*

Семья начинает с *брака* и в нем завязывается. Но человек начинает свою жизнь в такой семье, которую *он сам не создавал:* это семья, учрежденная его отцом и матерью, в которую он входит одним рождением, задолго до того, как ему удается осознать самого себя и окружающий его мир. Он получает эту семью как некий *дар судьбы.* Брак по самому существу своему возникает из *выбора и решения;* а ребенку не приходится выбирать и решать: отец и мать как бы образуют ту предустановленную для него судьбу, которая выпадает ему на его жизненную долю, и эту судьбу он не может ни отклонить, ни изменить — ему остается только принять ее и нести всю жизнь. То, что выйдет из человека в его дальнейшей жизни, определяется в его детстве и притом самим этим детством; существуют, конечно, врожденные склонности и дары; но судьба этих склонностей и талантов — разовьются ли они в дальнейшем или погибнут, и если расцветут, то как именно, — определяется *в раннем детстве.*

Вот почему семья является *первичным лоном человеческой культуры.* Мы все слагаемые в этом лоне, со всеми нашими возможностями, чувствами и хотениями; и каждый из

нас остается в течение всей своей жизни духовным представителем своей отечески материнской семьи или как бы *живым символом ее семейственного духа.* Здесь пробуждаются и начинают развертываться дремлющие силы личной души; здесь ребенок научается любить (кого и как?), верить (во что?) и жертвовать (чему и чем?) [1]; здесь слагаются первые основы его характера; здесь открываются в душе ребенка главные источники его будущего счастья и несчастья; здесь ребенок становится *маленьким человеком,* из которого впоследствии развивается *великая личность* или, может быть, *низкий проходимец.* Не прав ли Макс Мюллер, когда он пишет: «я думаю, что там, где речь идет о воспитании детей, к жизни надо подходить, как к чему-то в высшей степени серьезному, ответственному и высокому»; и не прав ли немецкий богослов Толук, утверждая: «мир управляется из детской»... Мир не только строится в детской, но и разрушается из нее; здесь прокладываются не только пути спасения, но и пути погибели. И если мы подумаем, что «следующее поколение» все время вновь рождается и воспитывается и что все его будущие подвиги и преступления, его духовная сила и его возможное духовное крушение — уже теперь, все время, слагаются и созревают вокруг нас и при нашем содействии или бездействии, то мы сможем отдать себе отчет в том, какая ответственность лежит на нас...

Все это означает, что семья есть как бы живая «лаборатория» человеческих судеб — личных и народных, и притом каждого народа в отдельности и всех народов сообща, с тем отличием, однако, что в лаборатории обычно знают, что делают, и действуют целесообразно, а в семье обычно не знают, что делают, и действуют, как придется. Ибо семейная «лаборатория» возникает от природы, на иррациональных путях инстинкта, традиции и нужды; здесь люди не задаются никакой определенной творческой целью, *а просто живут,* удовлетворяют свои собственные потребности, изживают свои склонности и страсти и то удачно, то беспомощно несут последствия всего этого. Природа устроила так, что одно из самых ответственных и священных призваний человека — быть отцом и мате-

[1] См. главу первую, разделы первый, второй и третий.

рью — делается для человека доступным просто при минимальном телесном здоровье и половой зрелости, так что человеку достаточно этих двух условий для того, чтобы не задумываясь наложить на себя это призвание... «А чтоб детей иметь — кому ума недоставало!?» (Грибоедов). Вследствие этого утонченнейшее, благороднейшее и ответственнейшее искусство на земле — *искусство воспитания детей* — почти всегда недооценивается и продешевляется; к нему и доселе подходят так, как если бы оно было доступно всякому, кто способен физически рожать детей, как если бы существенным было именно зачатие и рождение, а остальное, — именно воспитание — было бы совсем несущественно, или могло бы делаться как-то так, «само собой». На самом же деле, тут все обстоит совсем иначе. Окружающий нас мир людей таит в себе многое множество личных неудач, болезненных явлений и трагических судеб, о которых знают только духовники, врачи и прозорливые художники; и все эти явления сводятся в последнем счете к тому, что родители этих людей сумели их только родить и дать им жизнь, но открыть им путь к *любви, к внутренней свободе, вере и совести,* т. е. ко всему тому, что составляет источник *духовного характера и истинного счастья,* не сумели; родители по плоти сумели дать своим детям, кроме плотского существования, только одни *душевные раны*[1], иногда даже сами не замечая того, как они возникали у детей и въедались в душу; но не сумели дать им *духовного опыта*[2], этого целительного источника для всех страданий души...

Бывают эпохи, кода эта небрежность, эта беспомощность, эта безответственность родителей начинают возрастать от поколения к поколению. Это как раз те эпохи, когда духовное начало начинает колебаться в душах, слабеть и как бы исчезать; это эпохи распространяющегося и крепнущего безбожия и приверженности к материальному, эпохи бессовестности, бесчестия, карьеризма и цинизма. В такие эпохи священное естество семьи не находит себе больше признания и почета в человеческих

[1] Согласно словоупотреблению современной психопатологии: «травмы», т. е. жгучие, болевые душевные ощущения, следы и последствия которых сохраняются потом в течение всей жизни.

[2] См. главу первую.

сердцах; им не дорожат, его не берегут, его не строят. Тогда в отношениях между родителями и детьми возникает некая «пропасть», которая, по-видимому, увеличивается от поколения к поколению. Отец и мать перестают «понимать» своих детей, а дети начинают жаловаться на «абсолютную отчужденность», водворившуюся в семью; и не понимая, откуда это берется, и забывая свои собственные детские жалобы, выросшие дети завязывают новые семейные ячейки, в которых «непонимание» и «отчуждение» обнаруживаются с новою и большею силою. Непрозорливый наблюдатель мог бы прямо подумать, что «время» настолько «ускорило» свой бег, что между родителями и детьми установилась все возрастающая душевно-духовная «дистанция», которую нельзя ни заполнить, ни преодолеть; тут, думают они, нельзя ничего поделать: история спешит, эволюция с повышенной быстротой создает все новые уклады, вкусы и воззрения, старое стремительно старится, и каждое следующее десятилетие несет людям новое и неслыханное... Где же тут «угнаться за молодежью»?! И все это говорится так, как если бы *духовные основы жизни* тоже подлежали веянию моды и технических изобретений...

В действительности это явление объясняется совсем иначе, а именно — *заболеванием и оскудением* человеческой *духовности* и в особенности *духовной традиции*. Семья распадается совсем не от ускорения исторического темпа, но вследствие переживаемого человеком *духовного кризиса*. Этот кризис подрывает семью и ее духовное единение, он лишает ее главного, того единственного, что может сплотить ее, спаять и превратить в некое прочное и достойное единство — а именно *чувства взаимной духовной сопринадлежности*. Половая потребность, инстинктивные влечения создают не брак, а всего только биологическое сочетание (спаривание); из такого сочетания возникает не семья, а элементарное рядом-жительство рождающих и рожденных (родителей и детей). Но «похоть плоти» есть нечто неустойчивое и самовольное; она тянет к безответственным изменам, к капризным новшествам и приключениям; у нее, так сказать, «короткое дыхание», едва достаточное для простого *деторождения* и совершенно не соответствующего задаче *воспитания*.

В действительности человеческая семья, в отличие от «семьи» у животных, есть целый *остров духовной жизни.* И если она этому не соответствует, то она обречена на разложение и распад. История показала и подтвердила это с достаточной наглядностью: великие крушения и исчезновения народов возникают из духовно-религиозных кризисов, которые выражаются прежде всего в разложении семьи. Понятно, почему это так было и бывает. Семья есть первоначальная, исходная ячейка духовности; — как в том смысле, что именно в семье человек впервые научается (или, увы, не научается!) *быть личным духом;* так и в том смысле, что духовные силы и умения (или, увы, слабости и неумения), полученные от семьи, человек переносит затем на общественную и государственную жизнь. Вот почему духовный кризис поражает прежде всего исходную ячейку духовности; если духовность колеблется и слабеет, то она слабеет прежде всего в семейной традиции и в семейной жизни. Но, раз поколебавшись в семье, она начинает слабеть и вырождаться — и во всех человеческих отношениях и организациях; больная клетка создает больные организмы.

Только дух имеет достаточно глубокое и длительное дыхание для того, чтобы творчески создавать и поддерживать естество семьи, чтобы успешно разрешать не только «проблему половой любви», но и проблему *создания нового, лучшего и более свободного поколения.* Поэтому формула брака звучит не так: «я жажду» или «я желаю», или «мне хочется»; а скорее так: «в любви и через любовь я создаю новую, лучшую и более свободную человеческую жизнь»... Она звучит не так: «желаю наслаждаться моим счастьем» — ибо это была бы формула, уводящая брак на уровень простого спаривания; а скорее так: «я хочу создать свой собственный *духовный очаг* и в этом найти свое счастье»...

Всякая настоящая семья возникает из *любви* и дает человеку счастье. Там, где заключается брак без любви, семья возникает лишь по внешней видимости; там, где брак не дает человеку счастья, он не выполняет своего первого назначения. Научить детей *любви* родители могут лишь тогда, если они сами в браке умели любить. Дать детям *счастье* родители могут лишь постольку, поскольку они сами нашли счастье в браке. Семья, внутренно спа-

янная любовью и счастьем, есть школа *душевного здоровья, уравновешенного характера, творческой предприимчивости.* В просторе народной жизни она подобна прекрасно распустившемуся цветку. Семья, лишенная этой здоровой центростремительности, растрачивающая свои силы на судороги взаимного отвращения, ненависти, подозрения и «семейных сцен», есть настоящий рассадник больных характеров, психопатических тяготений, неврастенической вялости и жизненного «неудачничества». Она подобна тем больным растениям, которым ни один хороший садовник не даст места в своем саду.

Если ребенок не научится любви в семье своих родителей, то где же он научится ей? Если он с детства не привыкнет искать счастья именно во взаимной любви, то в каких же злых и дурных влечениях он будет искать счастья в зрелом возрасте? Дети *все* перенимают и *всему* подражают, незаметно, но глубоко вчувствуясь в жизнь своих родителей, тонко подмечая, угадывая, иногда бессознательно следя за «старшими» наподобие «неутомимых следопытов». И тот, кому приходилось слышать и регистрировать детские высказывания, точки зрения и игры в несчастных и разлагающихся семьях, где жизнь есть сплошное мучительство, лицемерие и надрыв, тот знает, какое больное и гибельное наследство получает от родителей такая несчастная детвора.

Чтобы развиваться верно и творчески, ребенок должен иметь в своей семье очаг любви и счастья. Только тогда он сможет развернуть свои *нежнейшие и духовнейшие* способности; только тогда его собственная инстинктивная жизнь не будет вызывать в нем ни *ложного стыда,* ни *болезненного отвращения;* только тогда он сможет прильнуть с любовью и гордостью *к традиции своей семьи и своего рода* с тем, чтобы принять ее и продолжить ее своей жизнью. Вот почему любовная и счастливая семья есть живая школа — сразу — *и творческого равновесия души, и здорового органического консерватизма.* Там, где царит здоровая семья, там творчество будет всегда достаточно консервативным для того, чтобы не выродиться в беспочвенную революционность; а консерватизм будет всегда достаточно творческим для того, чтобы не выродиться в реакционное мракобесие.

В любовной и счастливой семье воспитывается человек с *не поврежденным душевным организмом,* который сам способен органически любить, органически строить и органически воспитывать. Детство есть счастливейшее время жизни: время органической непосредственности; время уже начавшегося и еще предвкушаемого «большого» счастья; время, когда все прозаические «проблемы» безмолвствуют, а все поэтические проблемы зовут и обещают; время повышенной доверчивости и обостренной впечатлительности; время душевной незасоренности и искренности; время ласковой улыбки и бескорыстного доброжелательства. Чем любовнее и счастливее была родительская семья, тем больше этих свойств и способностей сохранится в человеке, тем больше *такой* детскости он внесет в свою взрослую жизнь; а это значит — тем неповрежденнее останется его душевный организм. Тем естественнее, богаче и творчески продуктивнее расцветет его личность в лоне его родного народа.

И вот главным условием *такой* семейной жизни — является способность родителей ко взаимной *духовной* любви. Ибо счастье дается только любовью долгого и глубокого дыхания; а такая любовь возможна только в духе и через дух.

2. О ДУХОВНО-ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ

Напрасно думать, что духовность доступна только людям образованным, людям высокой культуры. История всех времен и народов показывает, что именно образованные слои общества, увлекаясь игрою сознания и отвлеченностями ума, гораздо легче утрачивают ту непосредственную силу доверия к показаниям внутреннего опыта, которая необходима для духовной жизни. Ум, порвавший с глубиной чувства и с художественною силою воображения, привыкает обливать все ядом праздного, разрушающего сомнения и поэтому оказывается в отношении духовной культуры не строящим, а разрушающим началом. Напротив, у людей наивно-непосредственных эта разрушающая сила еще не начинает действовать. Человек малой «культурности» гораздо более способен прислушиваться к по-

казаниям внутреннего опыта, т. е. прежде всего сердца, совести, чувства справедливости, чем человек хотя бы и большой, но *рационалистической* культуры. Простая душа наивна и доверчива; может быть, именно потому она легковерна и суеверна, *и верит, где не надо;* но зато самый *дар веры* у нее не отнят; а потому она способна *верить и там, где надо.* Пусть духовность ее — некритическая, малоразумная, недифференцированная, тянет к мифу и к магии, связана со страхом и может заблудиться в колдовстве. Но духовность ее несомненна и подлинна — и в способности внимать дыханию и зову Божию, и в любви сострадательной, и в любви патриотически-жертвенной, и в совестном акте, и в чувстве справедливости, и в способности наслаждаться красотою природы и искусства, и в проявлениях собственного достоинства, правосознания и деликатности. И напрасно образованный горожанин стал бы воображать, будто все это недоступно «необразованному крестьянину»!.. Словом, духовная любовь доступна *всем* людям, независимо от уровня их культурности. И всюду, где она обнаруживается, она является истинным источником прочности и красоты семейной жизни.

В самом деле, человек призван к тому, чтобы видеть и любить в любимой женщине (или соответственно — в любимом мужчине) не только плотское начало, не только телесное явление, но и «душу» — своеобразие личности, особливость характера, сердечную глубину, для которых внешний состав человека служит лишь телесным выражением или живым органом. Любовь только тогда не является простым и кратковременным вожделением, непостоянным и мелким капризом плоти, когда человек, желая смертного и *конечного,* любит скрытую за ним *бессмертность и бесконечность;* вздыхая о плотском и земном, радуется духовному и вечному; иными словами — когда он ставит свою любовь перед лицом Божиим и Божиими лучами освещает и измеряет любимого человека... В этом — глубокий смысл христианского «венчания», венчающего супругов венцом радости и муки, венцом духовной славы и нравственной чести, венцом пожизненной и нерасторжимой духовной общности. Ибо вожделение может быстро пройти; оно бывает подслеповатым. И предчувствовавшееся наслаждение может обмануть или надоесть. И что

тогда? Взаимное отвращение прикрепленных друг к другу людей?.. Судьба человека, который в ослеплении связал себя, а прозрев — проклял свою связанность? Пожизненная унизительность ежедневной лжи и лицемерия? Или развод? Прочность семьи требует иного; люди должны желать не только утех любви, но и ответственного совместного творчества, духовной общности в жизни, в страдании и в ношении бремени, по древнеримской брачной формуле: «где ты, Кай, там и я, твоя Кая»...

То, что должно возникнуть из брака, есть прежде всего новое духовное единение и единство — единство мужа и жены: они должны понимать «друг» друга и «делить» радость и горе жизни; для этого они должны однородно воспринимать и жизнь, и мир, и людей. Здесь важно не душевное подобие, и не одинаковость характеров и темпераментов, *а однородность духовных оценок,* которая только и может создать единство и общность *жизненной цели* у обоих. Важно то, *чему* ты поклоняешься? *чему* молишься? *что* любишь? *чего* желаешь себе в жизни и в смерти? *чем и во имя чего* ты способен жертвовать?[1] И вот жених и невеста должны найти друг в друге это единочувствие и единолюбие; объединиться в том, что есть важнейшего в жизни и ради чего стоит жить... Ибо только тогда они сумеют, как муж и жена, всю жизнь верно воспринимать друг друга, *верить друг другу и верить друг в друга.* Это и есть самое драгоценное в браке: полезное *взаимное доверие* перед Лицом Божиим; а с этим связано и *взаимное уважение,* и способность образовать новую, жизненносильную духовную ячейку. Только такая ячейка может разрешить главную задачу брака и семьи — осуществить *духовное воспитание детей.*

Воспитать ребенка значит заложить в нем *основы духовного характера* и довести его до способности *само-воспитания.* Родители, которые приняли эту задачу и творчески разрешили ее, подарили своему народу и своей родине *новый духовный очаг;* они осуществили свое духовное призвание, оправдали свою взаимную любовь и укрепили, обогатили жизнь своего народа на земле: они *сами* вошли в ту *Родину,* которою стоит жить и гордиться, за которую стоит бороться и умереть.

---

[1] См. главу первую.

Итак, нет более верной основы для достойной и счастливой семейной жизни, как взаимная духовная любовь мужа и жены: любовь, в которой начала *страсти и дружбы* сливаются воедино, перерождаясь в нечто высшее — в огонь всестороннего единения. Такая любовь примет не только наслаждение и радость — и не выродится, не выветрится, не огрубеет от них; он примет и всякое страдание, и всякое несчастье, чтобы осмыслить их, освятить их и очиститься через них. И только такая любовь может дать человеку тот запас взаимного понимания, взаимного снисхождения к слабостям и взаимного прощения, терпения, терпимости, преданности и верности, который необходим для счастливого брака.

Поэтому можно сказать, что счастливый брак возникает не просто из взаимной естественной склонности («по милу хорош»), но из *духовного сродства* людей («по хорошему мил»)[1], которое вызывает непоколебимую волю — *стать живым единством и соблюсти это живое единство во что бы то ни стало,* и соблюсти его не только напоказ людям, но на самом деле, перед Лицом Божиим. В этом глубочайший смысл религиозного освящения брака и соответствующего церковного обряда. Но это составляет и первое, необходимейшее условие для верного, духовного воспитания детей.

Я уже указывал на то, что ребенок вступает в семью своих родителей как бы в доисторическую эпоху своей личности и начинает дышать воздухом этой семьи со своего первого физического вздоха. И вот в душном воздухе несогласной, неверной, несчастной семьи; в пошлой атмосфере бездуховного, безбожного прозябания — не может расцвести здоровая детская душа. Ребенок может приобрести чутье и вкус к духу только у духовно осмысленного семейного очага; он может органически почувствовать *всенародное* единение и единство, только испытав это единство в своей семье, а не почувствовав этого всенародного единства, он не станет живым органом своего народа и верным сыном своей родины. Только духовное пламя здорового семейного очага может дать человеческому сердцу *накаленный уголь духовности,* который будет и греть его, и светить ему в течение всей его дальнейшей жизни.

---

[1] См. главу вторую.

Так семья имеет призвание дать ребенку самое главное и существенное в его жизни.

Блаженный Августин сказал однажды, что «человеческая душа — христианка от природы». Это слово особенно верно в применении к семье. Ибо в браке и в семье человек *учится от природы* — любить, из любви и от любви страдать, терпеть и жертвовать, забывать о себе и служить тем, кто ему ближе всего и милее всего. Все это есть не что иное, как христианская любовь. Поэтому семья оказывается как бы *естественною школою христианской любви,* школою творческого самопожертвования, социальных чувств и альтруистического образа мыслей. В здоровой семейной жизни душа человека с раннего детства обуздывается, смягчается, приучается относиться к ближним с почтительным и любовным вниманием. В этом умягченном, любовном настроении она *предварительно* прикрепляется к тесному, домашнему кругу с тем, чтобы *дальнейшая жизнь* вывела ее в этой самой внутренней «установке» к широким кругам общества и народа.

2. Далее, семья призвана воспринимать, поддерживать и передавать из поколения в поколение некую *духовно-религиозную, национальную и отечественную традицию.* Из этой семейной традиции и благодаря ей возникла вся наша индоевропейская и христианская культура — культура *священного очага семьи*[1]: с ее благоговейным почитанием предков; с ее идеей священной межи, огораживающей родовые могилы; с ее исторически слагающимися национальными обычаями и нарядами. Это семья создала и выносила культуру национального чувства и патриотической верности. И самая идея «родины», лона моего рождения, и «отечества», земного гнезда моих отцов и предков — возникла из недр семьи как телесного и духовного единства. Семья есть для ребенка первое *родное место* на земле; сначала — место-жилище, источник тепла и питания; потом место осознанной любви и духовного понимания. Семья есть для ребенка первое *«мы»,* возникшее из любви и добровольного служения, где *один стоит за всех и все за одного.* Она есть

---

[1] Всякий образованный человек должен однажды со вниманием прочесть и продумать глубокомысленный труд Фюстель де Куланжа «Древняя гражданская община» (La cité antique), вдумываясь особенно в собранный и дословно приведенный этим гениальным историком автентический материал подстрочных примечаний.

для него лоно естественной солидарности, где взаимная любовь превращает долг в радость и держит всегда открытым священные врата совести[1]. Она есть для него *школа взаимного доверия и совместного, организованного действования.* Не ясно ли, что истинный гражданин и сын своей родины воспитывается именно в здоровой семье?

3. Далее, ребенок учится в семье верному восприятию авторитета. В лице естественного авторитета отца и матери он впервые встречается с идеею ранга и научается воспринимать высший ранг другого лица, преклоняясь, но не унижаясь; и научается мириться с присущим ему самому низшим рангом, не впадая ни в зависть, ни в ненависть, ни в озлобление. Он научается извлекать из начала ранга и из начала авторитета всю их творческую и организационную силу, в то же время освобождая себя духовно от их возможного «гнета» посредством любви и уважения[2]. Ибо только свободное признание чужого высшего ранга — научает переносить свой низший ранг без унижения; и только любимый и уважаемый авторитет не гнетет душу человека.

В здоровой христианской семье есть один, единственный отец и одна, единственная мать, которые совместно представляют единый — властвующий и организующий авторитет в семейной жизни. В этой естественной и первобытной форме авторитетной власти ребенок впервые убеждается в том, что *власть,* насыщенная *любовью,* является благостною силою и что порядок в общественной жизни предполагает наличность такой единой, организующей и повелевающей власти: он научается тому, что принцип патриархального единодержавия содержит в себе нечто целесообразное и оздоровляющее; и, наконец, он начинает понимать, что авторитет духовно-старшего человека совсем не призван подавлять или порабощать подчиненного, пренебрегать его внутренней свободой и ломать его характер, но что, наоборот, он призван *воспитывать человека к внутренней свободе*[3].

Так, семья есть первая, естественная *школа свободы:* в ней ребенок должен в первый, но *не* в последний раз в жизни — найти верный путь к внутренней свободе: принять из любви и уважения к родителям все их приказы и

---

[1] См. главу четвертую, раздел третий «Верный путь».

[2] См. главу третью, раздел второй.

[3] См. главу третью, раздел второй.

запреты во всей их кажущейся строгости, вменить себе в обязанность их соблюдение, добровольно подчиняться им и предоставить своим собственным воззрениям и убеждениям свободно и спокойно созревать в глубине души. Благодаря этому семья становится как бы начальной школой для воспитания *свободного и здорового правосознания.*

4. Пока семья будет существовать (а она будет существовать, как все природное, вечно), она будет школой *здорового чувства частной собственности.* Нетрудно убедиться, почему это так обстоит.

Семья есть данное от природы общественное единство — в жизни, в любви, в труде, в заработке и в имуществе. Чем прочнее, чем сплоченнее семья, тем обоснованнее является ее притязание на то, что творчески создали и приобрели ее родители и родители ее родителей. Это есть притязание на их хозяйственно-овеществленный труд, всегда сопряженный с лишениями, страданиями, с напряжением ума, воли и воображения; притязание — на наследственно передающееся имущество, на семейно приобретенную частную собственность, которая является сущим источником не только семейного, но и всенародного довольства.

Здоровая семья и всегда была и всегда будет органическим единством — по крови, по духу и по имуществу. И это единое имущество является живым знаком кровного и духовного единства; ибо это имущество в том виде, как оно есть, возникло именно из этого кровного и духовного единения и на пути труда, дисциплины и жертв. Вот почему здоровая семья учит ребенка сразу целому ряду драгоценных умений. Ребенок научается пробивать себе в жизни дорогу при помощи собственной инициативы и в то же время — высоко ценить и соблюдать принцип социальной взаимопомощи, ибо семья, как целое, устраивает свою жизнь именно по частной, собственной инициативе — она есть самостоятельное творческое единство; а в своих собственных пределах семья есть настоящее воплощение взаимопомощи и так называемой «социальности». Ребенок научается постепенно быть «частным» лицом, самостоятельной индивидуальностью и в то же время ценить и беречь лоно семейной любви и семейственной солидарности; он научается самостоятельности и верности — этим двум основным проявлениям духовного характера. Он научается творчески обходиться с имуществом, выра-

батывать, создавать и приобретать хозяйственные блага и в то же время — подчинять начала частной собственности некоторой высшей, социальной (в данном случае — *семейной*) целесообразности... А это и есть то самое умение, или, лучше сказать, *искусство,* вне которого не может быть разрешен *социальный* вопрос нашей эпохи.

Само собой разумеется, что только здоровая семья может верно разрешить все эти задачи. Семья, лишенная любви и духовности, где родители не имеют авторитета в глазах детей, где нет единства ни в жизни, ни в труде, где нет наследственной традиции, — может дать ребенку очень мало или не может дать ему ничего. Конечно, и в здоровой семье могут совершаться ошибки, могут слагаться в том или ином отношении «пробелы», которые способны повести к общей или частичной неудаче. Идеала нет на земле... Однако с уверенностью можно сказать, что родители, которые сумели приобщить своих детей к *духовному опыту*[1] и вызвать в них процесс *внутреннего самоосвобождения*[2], — будут всегда благословенны в сердцах детей... Ибо из этих двух основ вырастает и личный характер, и прочное счастье человека, и общественное благополучие.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Все то, что мы доселе установили о духовно-здоровой семье, как бы предрешает вопрос о основных задачах воспитания.

Можно было бы просто сказать, что все воспитание ребенка, или, во всяком случае, его основная задача состоит в том, чтобы *ребенок получил доступ ко всем сферам духовного опыта;* чтобы *его духовное око открылось на все значительное и священное* в жизни; чтобы его *сердце,* столь нежное и восприимчивое, *научилось отзываться на всякое явление Божественного* в мире и людях. Надо как бы повести или сводить душу ребенка во все «места», где можно найти и пережить нечто Божественное[3]; постепенно

---

[1] См. главу третью.

[2] См. главу первую и третью.

[3] Живую картину такого духовного паломничества дает И. С. Шмелев в своем замечательном произведении «Богомолье».

все должно стать ей доступным — и природа во всей ее красоте, в ее величии и таинственной внутренней целесообразности, и та чудесная глубина и та благородная радость, которую дает нам истинное искусство, и неподдельное сочувствие всему страдающему, и действенная любовь к ближнему, и блаженная сила совестного акта, и мужество национального героя, и творческая жизнь национального гения, с его одинокой борьбой и жертвенной ответственностью, и, главное: непосредственное молитвенное обращение к Богу, который и слышит, и любит, и помогает. Надо, чтобы ребенок получил доступ всюду, где Дух Божий дышит, зовет и раскрывается, — как в самом человеке, так и в окружающем его мире...

Душа ребенка должна научиться воспринимать сквозь весь земной шум и сквозь всю неиссякаемую пошлость повседневной жизни — священные следы и таинственные уроки Всевышнего, воспринимать их и следовать им, чтобы, внемля им, всю жизнь «обновляться духом ума своего» (Ефес. 4. 23). Подобно тому, как однажды выразил это Лафатер: «внимай тихому гласу вещающего в тебе Господа»... Чтобы ребенок, вырастая и входя в пору зрелости, привык *искать и находить во всем некий высший смысл;* чтобы мир не лежал перед ним плоской, двумерной и скудной пустыней; чтобы он мог сказать миру вещей словами поэта:

Кругом обставшие меня
Всегда безмолвные предметы,
Лучами тайного огня
Вы осиянны и согреты[1]...

И мог закончить свою жизнь словами глубокомысленного созерцателя Баратынского:

Велик Господь! Он милосерд, но прав.
Нет на земле ничтожного мгновенья...[2]

Духовно живой человек всегда внемлет Духу — и в событиях, и в невиданной грозе, и в мучительном недуге, и в

[1] Федор Сологуб (Тетерников).
[2] «На посев леса».

крушении народа. И, вняв, отзывается не пассивно-созерцательным пиетизмом, но и сердцем, и волею, и делом.

Итак, самое важное в воспитании — это *духовно пробудить ребенка* и указать ему перед лицом грядущих трудностей, а может быть, уже подстерегающих его опасностей и искушений жизни — *источник силы и утешения в его собственной душе.* Надо воспитать в его душе будущего *победителя,* который умел бы внутренно уважать самого себя и утверждать свое *духовное достоинство* и свою *свободу, — духовную личность,* перед которой были бы бессильны все соблазны и искушения современного сатанизма.

Как бы странно и сомнительно ни прозвучало это указание для педагогически искушенного человека, но по существу оно остается непоколебимым: самое большое значение имеют первые пять-шесть лет детской жизни; а в следующее за ним десятилетие (с шестого по шестнадцатый год жизни) многое, слишком многое, завершается в человеке чуть ли не на всю жизнь. В первые годы детской жизни душа ребенка так нежна, так впечатлительна и беспомощна... Она как бы плывет в потоке наивной, непосредственной доверчивости и некоего как бы пред-мирного «всесмешения»: «свет и тьма», «твердь и вода» еще не отделены друг от друга; и свод, имеющий потом отделить дневное сознание от нашей бессознательной сферы, — еще не создался в процессе вытеснения [1]. Этот свод, который будет потом всю жизнь обуздывать кипение страстей и замыкать томление аффектов, подчиняя их творческой жизненной целесообразности, — находится еще в стадии возникновения. В этот период жизни — впечатлениям открыта последняя глубина души; она вся всему доступна и не защищена защитной броней; *все* может стать или уже становится ее судьбой, все может повредить ребенку, или, как говорит народ, «испортить ребенка». И действительно, все вредное, дурное, злобное, потрясающее или мучительное, что ребенок воспринимает в этот первый, роковой период своей жизни — все причиняет ему душевную рану («травму»), последствия которой он потом влачит в себе через всю жизнь то в виде нервного

[1] Разумею этот термин в том смысле, который придан ему основополагающими открытиями и формулами создателя современной психопатологии Зигмунда Фрейда.

подергивания, то в виде истерических припадков, то в виде уродливой склонности, извращения или прямой болезни. И обратно, все то светлое, духовное и любовное, что детская душа получает в эту первую эпоху, — приносит потом, в течение всей жизни, обильный плод. В эти годы ребенка надо беречь, не терзать его никакими страхами и наказаниями, не будить в нем преждевременно элементарные и дурные инстинкты. Однако упускать эти годы в смысле духовного воспитания было бы столь же недопустимо и непростительно. Надо сделать так, чтобы в душу ребенка проникало как можно больше *лучей любви,* радости *и Божией благодати.* Здесь надо не баловать ребенка, не потакать его капризам, не изнеживать его и не топить его в физических ласках, но заботиться о том, *чтобы, ему нравилось, чтобы его умиляло и радовало все то, что есть в жизни божественного* — от солнечного луча до нежной мелодии, от жалости, сжимающей сердце, до прелестной бабочки, от первой лепетом сказанной молитвы, до героической сказки и легенды... Родители могут быть твердо уверены: здесь ничто *не пропадает, ничто не канет бесследно;* все даст плоды, все принесет хвалу и совершение. Но пусть никогда ребенок не будет для родителей игрушкой и забавой; пусть он будет для них нежным цветком, который нуждается в солнце, но который так легко может *незаметно быть надломлен.* Именно в эти первые годы детства, когда ребенок считается «несмышленышем», родители должны помнить при *всяком* обхождении с ним, что дело не в их родительских восторгах, наслаждениях и забавах, а в состоянии детской души, *абсолютно впечатлительной* и (именно вследствие «несмыслия» своего) *абсолютно беспомощной...*

Итак, до пяти-шести лет, т. е. до самого «вытесняющего» перелома в детской душе, ребенка нужно душевно беречь, как нежный цветок, с тем, чтобы затем постепенно изменить весь тон воспитания: ибо после периода *душевной теплицы* должен наступить период душевного закала; ребенок должен приучаться внутренно к самообладанию и к высоким требованиям; и этот процесс дастся ему тем легче, чем меньше «травм» он вынесет из первого периода. В нежнейшую эпоху своей жизни ребенок должен привыкнуть к семье — к любви, а не к ненависти и зависти; к

спокойному мужеству и самодисциплине, а не к страху, унижениям, доносам и предательству. Ибо воистину, — мир можно пересоздать, перевоспитать из детской, но в детской же можно его и погубить.

Духовная атмосфера здоровой семьи призвана привить ребенку потребность в *чистой любви, склонность к мужественной искренности и способность к спокойной и достойной дисциплине.*

Чистота любви, о которой здесь идет речь, имеет в виду эротическую сторону жизни.

Вряд ли есть что-нибудь более вредное для жизни и для всей судьбы ребенка, как слишком раннее эротическое пробуждение его души, в особенности, если это пробуждение происходит в той форме, что ребенок начинает воспринимать жизнь пола как что-то низменное и грязное, как предмет тайных мечтаний и постыдных забав, или еще — если это пробуждение вызывается неосторожностями или прямыми грубостями со стороны нянек, воспитателей или родителей...

Вредность преждевременного эротического пробуждения состоит в том, что на юную душу возлагается непосильная задача, которую она не может ни разрешить, ни изжить, ни достойно понести или устранить. Тогда ребенок оказывается без вины виноватым и безысходно обремененным; начинается бесплодная и нечистая работа воображения, сопровождающаяся судорожными попытками вытеснить весь этот непосильный заряд и в то же время — болезненными напряжениями нервной системы. Начинаются внутренние конфликты и страдания, с которыми ребенок не может справиться; и ответственность эта превышает его душевные силы; в последней родовой глубине инстинкта начинается болезненное смятение, о котором ребенок не может даже совсем высказаться, — и весь организм души и тела оказывается выведенным из равновесия. Большинство так называемых «дефективных» детей проходит этот страдальческий путь без всякой вины и очень редко встречает со стороны взрослых чуткое понимание и помощь...

Нередко бывает и хуже, именно, когда кто-нибудь из «товарищей» или взрослых, испорченных дурным опытом, начинает «просвещать» (т. е. портить) ребенка в воп-

росах половой жизни. Там, где для чистой и целомудренной души, собственно говоря, нет ничего «грязного» («ибо всякое творение Божие хорошо». Тимофею. I. 4. 4), несмотря на все человеческие несовершенства, заблуждения и болезни, — потому что «грязное», *чисто* воспринятое, есть уже не «грязное», а больное или трагическое; — там, в душе такого несчастного ребенка *искажается жизнь воображения и развращается жизнь чувства,* причем это искажение и развращение может излиться и в настоящее неисцелимое душевное уродство. Душевное восприятие такого ребенка становится пошлым или полуслепым — он как бы *не видит чистого* в жизни, а видит во всем двусмысленное и грязное; с этой точки зрения он начинает воспринимать всю человеческую любовь и, притом, не только ее чувственную сторону, но и духовную. Чистое осмеивается; интимное и нежное забрасывается уличной грязью; здоровый половой инстинкт начинает тянуть к извращениям; все священное в любви, в браке и в семье оказывается вывернутым, осквернённым и утраченным. Там, где уместно благоговейное молчание, шепот или молитва, — водворяется атмосфера двусмысленных улыбок и плоского подмигивания. Душевное целомудрие гибнет; воцаряется бесстыдство и бесцеремонность; все священные удержи и запреты души колеблятся; ребенок оказывается душевно растленным и как бы проституированным. Человек переживает целое духовное опустошение: в его «любви» отмирает все священное и поэтическое, чем живет и строится человеческая культура; начинается разложение семьи. Можно было бы прямо сказать, что в процессе современного разложения семьи и связанной с ним большевизации нравов — вреднейшее и разрушительное значение принадлежит *непристойному анекдоту,* внесенному в *детскую.* Порнография есть одно из величайших зол в деле воспитания; и чем скорее родители, воспитатели и духовники объединятся между собою для того, чтобы повести против нее решительную и неутомимую борьбу, полную осторожного такта и психологического искусства, тем лучше будет для всего человечества.

Еще одна серьезная опасность грозит эротически чистой любви ребенка — от неосторожных или грубых родительских проявлений.

При этом я имею в виду прежде всего так называемую «обезьянью» любовь родителей, т. е. слишком чувственную влюбленность их в ребенка, которого они то и дело волнуют всевозможными и неумеренными физическими ласками, заигрываниями, щекоткой, возней, не постигая безрассудства и вредности всего этого; этим они, с одной стороны, вызывают в душе ребенка целый поток напрасного и неутолимого возбуждения и причиняют ему ненужные душевные «травмы», с другой стороны — избаловывают и изнеживают его, подрывая его способность к выдержке и самообладанию[1].

Наряду с этим надо поставить и всевозможные неумеренные проявления взаимной любви родителей в присутствии детей. Супружеское ложе родителей должно быть прикрыто для детей целомудренной тайной, хранимой естественно и неподчеркнуто; пренебрежение этим вызывает в душах детей самые нежелательные последствия[2], о которых следовало бы написать целое научное исследование... Во всем и всегда есть некая правильная и драгоценная *мера,* которую люди должны блюсти; а в данном случае, эта мера может быть предсказана только живым чувством такта и в особенности *врожденным, женщине естественным и мудрым целомудрием.*

Помимо всего этого, должны быть особо упомянуты те разрушительные для семейной жизни взаимные «супружеские измены» со стороны родителей, которые дети подмечают с таким ужасом и переживают так болезненно; иногда такие события переживаются детьми как настоящие душевные катастрофы. Родители всегда должны помнить о том, что дети не просто «воспринимают» отца и мать или «подмечают» за ними, но что они в глубине души *идеализируют их, мечтают о них* и втайне жаждут видеть в них *идеал совершенства*[3]. Конечно, с самого на-

---

[1] Особеиио вредною является дурная манера многих родителей брать ребенка к себе в кровать. По последствиям своим эта манера, может быть, еще вреднее жестоких телесных наказаний вроде порки.

[2] Особенно в крестьянском и вообще простонародиом быту, где теснота помещения снимает все покровы целомудрия и подрывает в душах детей естественный пиетет к родителям. Наука однажды откроет здесь душевный источник, из которого выросло самое постыдное человеческое ругательство, известное у многих народов.

[3] Это настроение глубоко и тонко изображено в «Подростке» и «Неточке Незвановой» Достоевского.

чала ясно, что каждому ребенку предстоит пережить в этом вопросе некоторое разочарование, ибо совершенных людей нет, совершенство принадлежит одному Богу. Но это неизбежное разочарование не должно приходить слишком рано, оно не должно быть слишком острым и глубоким, оно не должно обрушиваться на ребенка в виде катастрофы. Тот час, когда ребенок *утрачивает уважение* к отцу или матери, — хотя бы никто не заметил этого крушения, хотя бы и сам ребенок пережил его в молчаливом разочаровании или даже отчаянии, — этот час обозначает собою духовную катастрофу семьи; и редкой семье удается оправиться впоследствии от этой катастрофы.

Словом, счастливый ребенок наслаждается в счастливой семье *эротически чистой атмосферой.* Для этого родителям необходимо *искусство духовно-целомудренной любви.*

Второй особенностью здоровой семьи является атмосфера *искренности.*

Родители и воспитатели не должны *лгать* детям ни в каких важных, значительных обстоятельствах жизни. Всякую ложь, всякий обман, всякую симуляцию или диссимуляцию ребенок подмечает с чрезвычайной остротой и быстротой; и, подметив, впадает в смущение, соблазн и подозрительность. Если ребенку нельзя сообщить что-нибудь, то всегда лучше — честно и прямо отказать ему в ответ или провести определенную границу в осведомлении, чем выдумывать вздор и потом запутываться в нем или чем лгать и обманывать и потом быть изобличенным детской проницательностью. И не следует говорить так: «это тебе рано знать» или «этого ты все равно не поймешь»; такие ответы только раздражают в душе ребенка любопытство и самолюбие. Лучше отвечать так: «я не имею права сказать тебе это; каждый человек обязан хранить известные секреты, а допытываться о чужих секретах неделикатно и нескромно». Этим не нарушается прямота и искренность и дает конкретный урок долга, дисциплины и деликатности...

Родителям и воспитателям совершенно необходимо понять, что переживает ребенок, встречая с их стороны ложь или обман. Ребенок прежде всего теряет непосредственное *доверие* к родителям; он наталкивается на стену неправды в них, и чем холоднее, изворотливее, циничнее

преподносится ему эта неправда, тем ядовитее она оказывается для детской души. Поколебавшись в доверии, ребенок становится *подозрителен* и ждет новой лжи и обмана; он колеблется и в своем *уважении* к родителям. В силу естественной подражательности он начинает отвечать им тем же, постепенно *замыкается* от них и приучается сам *лгать и обманывать*. Это переносится и на других людей; у ребенка появляется склонность к *хитрости и неверности* вообще. В нем исчезает ясность и прозрачность души; он начинает жить сначала мелкими, а потом и крупными *самообманами*. Кризис доверия вызывает (рано или поздно) и кризис *веры;* ибо вера требует душевной цельности и искренности. Итак, все основы духовного характера приходят у ребенка в состояние кризиса или оказываются просто подорванными. В душе водворяется та атмосфера *лукавства, притворства и малодушия,* к которой человек постепенно привыкает настолько, что перестает замечать ее, а из этой атмосферы и вырастают потом все большие *интриги и предательства*.

Никогда из лживой, пролганной семьи не выйдет искренний, верный и мужественный человек; разве только в порядке отвращения к своей семье и духовного преодоления ее наследия. Ибо ложь растлевает человека незаметно, незаметно проникая из невинных пустяков в глубину священных обстояний; и удержать ее действие на поверхности житейских пустяков могут только люди с уже сложившимся духовным характером, люди, уже утвердившиеся в Боге. И если в современном мире все кишит открытой ложью, обманом, неверностью, интригой, предательством и изменой своей родине, то это несчастье имеет свои корни в двух явлениях: во всеобщем *религиозном кризисе* и в атмосфере *семейной лживости*. Из семьи, где все построено на фальши и трусости, где сердце утратило искренность и мужество, — в общество и в мир вступают только фальшивые люди. Но там, где в семье царит и ведет дух прямоты и искренности, там дети оказываются предрасположенными к честности и верности. Лживость в детской ядовита тем, что она приучает человека к нечестности наедине с собою и к подлости с другими.

Есть особое *искусство правдивости и искренности,* которое нередко требует от человека больших совестных

напряжений внутри и большого такта в обхождении с людьми; и, сверх того, всегда — мужества. Это искусство дается не легко; но в здоровых и счастливых семьях оно процветает всегда.

Наконец, особенностью здоровой и счастливой семьи — является *спокойная, достойная дисциплина.*

Такая дисциплина не может возникнуть из атмосферы родительского *террора,* от кого бы он ни исходил — от отца или от матери. Такая система террора, поддерживаемая криками и угрозами, моральным гнетом или телесными наказаниями, вызывает у здорового ребенка чувство возмущения, легко переходящее в отвращение, ненависть и презрение. Ребенок чувствует себя *униженным* и не может не возмущаться; эта система изливает на него поток *оскорблений,* и он не может не противостать им. Эти унижения и оскорбления он может, что называется, «проглатывать» и сносить молча; но его бессознательное никогда не изживает этих травм и не простит их родителям. Там, где семейная власть осуществляется угрозами и страхом, там на каждом шагу ощущается *враждебная напряженность;* там воцаряется система *«защитного обмана» и лукавства;* там оба поколения остаются, быть может, еще в состоянии пространственного рядом-жительства, но семья как живое, органическое единство, держащееся силою взаимной любви и доверия, оказывается разрушенной. Дети, униженные угрозами, наказаниями и вечным страхом, защищаются *всеми* средствами и постепенно приучаются, иногда сами того не замечая, к *внутренней вседозволенности.* И если эта атмосфера вседозволенности устанавливается в их отношении к родителям, то чего же можно будет ждать от них в их отношении к другим, посторонним людям? Восстание против родителей перевертывает в человеческом сердце все нормальные основы общежития — чувство ранга, идею свободно признанного авторитета, начала лояльности, верности, дисциплины, чувство долга и правосознание; и семейный террор оказывается одним из главных источников *общественной деморализации и политической революционности.* Семья становится школой вечного, несытого *бунтарства;* и проявления его могут стать фатальными в жизни народа и государства.

Настоящая, подлинная дисциплина есть по существу своему не что иное, как *внутреннее самообладание, присущее самому дисциплинированному человеку.* Она не есть ни душевный «механизм», ни так называемый «условный рефлекс». Она присуща человеку изнутри, душевно, органически; так, что если в ней есть элемент «механизма» или «механичности», то дисциплина все-таки органически предписывается человеком *самому себе.* Поэтому настоящая дисциплина есть прежде всего проявление *внутренней свободы,* т. е. духовного самообладания и самоуправления. Она принимается и поддерживается *добровольно и сознательно.* Труднейшая часть воспитания и состоит в том, чтобы укрепить в ребенке волю, способную к автономному самообладанию. Способность эту надо понимать не только в том смысле, чтобы душа умела *сдерживать и понуждать* себя, но и в том смысле, чтобы это было ей *нетрудно.* Разнузданному человеку всякий запрет труден; дисциплинированному человеку всякая дисциплина легка; ибо владея собой, он может уложить себя в любую, благую и осмысленную форму. И тогда владеющий собою способен повелевать и другими. Вот почему русская пословица говорит: «превысокое владетельство — собою владеть»...

Однако эта способность владеть собою, которая дается человеку тем труднее, чем страстнее и разностороннее его душа, — не должна превращать внутреннюю жизнь в какое-то подобие тюрьмы или каторги. Поистине настоящая дисциплина и организация имеются лишь там, где, образно выражаясь, последняя капля пота, вызванная дисциплинирующим и организующим усилием и напряжением, стерта с чела; или, еще лучше — где усилие было легко и напряжение совсем не вызвало ее. Дисциплина не должна становиться высшей или самодовлеющей целью: она не должна развиваться в ущерб свободе и искренности в семейной жизни; она должна быть *духовным умением* или даже *искусством* и не должна превращаться в тягостный догмат или в душевное каменение; она не должна парализовывать любовь и духовное общение в семейной жизни [1]. Словом, чем *незаметнее* прививается детям дисциплина и чем *менее* она

[1] Этими крайностями нередко грешит английское воспитание, покоящееся на волевом подавлении эмоций.

при соблюдении ее *бросается в глаза,* тем удачнее протекает воспитание. И если это достигнуто, то дисциплина удалась и задача разрешена. И, может быть, для ее удачного разрешения лучше всего положить в основу самообладания — свободный совестный акт.

Итак, есть *особое искусство повеления и запрета;* оно дается не легко. Но в здоровых и счастливых семьях оно цветет всегда.

Однажды Кант высказал о воспитании простое, но верное слово: «Воспитание есть величайшая и труднейшая проблема, которая может быть поставлена человеку». И вот эта проблема, действительно, раз навсегда поставлена огромному большинству людей. Разрешение этой проблемы, от которой всегда зависит будущность человечества, *начинается* в лоне *семьи;* и заменить семью в этом деле ничто не может: ибо только в семье природа дарует необходимую для воспитания *любовь,* и притом с такою щедростью, как нигде более. Никакие «детские сады», «детские дома», «приюты» и тому подобные фальшивые замены семьи никогда не дадут ребенку необходимого: ибо главной силой воспитания является то *взаимное чувство личной незаменимости,* которое связывает родителей с ребенком и ребенка с родителями связью единственной в своем роде — таинственной связью *кровной любви.* В семье и только в семье ребенок чувствует себя единственным и незаменимым, выстраданным и неотрывным, кровью от крови и костью от кости — существом, возникшим в сокровенной совместности двух других существ и обязанным им своей жизнью, личностью, раз навсегда приятною и милою во всем ее телесном-душевном-духовном своеобразии[1]. Это не может быть ничем заменено; и как бы трогательно ни воспитывался иной приемыш, он всегда будет вздыхать про себя о своем кровном отце и о своей кровной матери...

Именно семья дарит человеку *два священных первообраза,* которые он носит в себе всю жизнь и в живом отношении к которым растет его душа и крепнет его дух: *первообраз чистой матери,* несущей любовь, милость и защиту; и *первообраз благого отца,* дарующего питание, справедливость и разумение. Горе человеку, у которого в душе

---

[1] Ср. русскую поговорку: «Дитя хоть гнило, а отцу-матери мило».

нет места для этих зиждительных и ведущих первообразов, этих живых символов и в то же время творческих источников *духовной любви и духовной веры!* Ибо поддонные силы его души, не пробужденные и не взлелеянные этими благими, ангелоподобными образами, могут остаться в пожизненной скованности и мертвости.

Суровой и мрачной стала бы судьба человечества, если бы однажды в душах людей до конца иссякли эти священные источники. Тогда жизнь превратилась бы в пустыню, деяния людей стали бы злодеяниями, а культура погибла бы в океане нового варварства.

Эту таинственную связь человека со *священными* силами, или «прообразами», которые открываются ему в недрах его семьи и рода, с дивною силою почуял и выговорил Пушкин: — один раз, в язычески-мифологической форме, именуя эти прообразы «пенатами», или «домашними божествами»; другой раз — в обращении к тому, что знаменует *жилище* семьи и священный прах предков.

. . . . . .

Еще единый гимн —

Внемлете мне, пенаты! вам пою
Ответный гимн, советники Зевеса...
. . . . . .
Примите гимн, таинственные силы!..
. . . . . .
Так, я любил вас долго! Вас зову
В свидетели, с каким святым волненьем
Оставил я людское стадо наше,
Дабы стеречь ваш огонь уединенный,
Беседуя один с самим собою,
Часы неизъяснимых наслаждений!
Они дают нам знать сердечну глубь,
В могуществе и в немощах сердечных
Они любить, лелеять научают
Не смертные, таинственные чувства,
И нас они науке первой учат —
Чтить самого себя. О, нет, вовек
Не преставал молить благоговейно
Вас, божества домашние...[1]

---

[1] Этот неоконченный набросок я привожу с некоторыми сокращениями. Курсив Пушкина. Ср. еще у Пушкина великолепное стихотворение «Домовой». Комментарии к нему читатель найдет в № 9 журнала «Русский Колокол».

Так, из духа семьи и рода, из духовного и религиозно осмысленного приятия своих родителей и предков — родится и утверждается в человеке *чувство собственного духовного достоинства,* эта первая основа внутренней свободы, духовного характера и здоровой гражданственности. Напротив, презрение к прошлому, к своим предкам и, «следовательно», к истории своего народа, порождает в человеке безродную, безотечественную, рабскую психологию. А это означает, что *семья есть первооснова родины.*

Во втором отрывке Пушкин выражает эту мысль с еще большею точностью и страстностью.

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека, —
Залог величия его.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва;
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без божества.

Так, семья есть первичное лоно человеческой духовности; а потому и всей духовной культуры; и прежде всего — родины.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
О РОДИНЕ

1. ПРОБЛЕМА

В судорогах бесплодного и разъедающего сомнения современный человек, пытаясь отвергнуть веру, свободу, совесть и семью, не останавливается и перед драгоценным началом *родины*. И, странное дело, в этом вопросе, как и в некоторых других, соблазнительное сомнение, исходящее от врагов духа и христианства, встречает своеобразный отклик *в пределах самого христианства*. Старые, изжитые и отвергнутые христианскими исповеданиями идеи, идеи первых веков, оживают или всплывают на поверхность сознания и тем увеличивают современную смуту и шатание умов.

Кто эти сомневающиеся отрицатели родины и что мы должны им противопоставить?

Современный христианин, сомневающийся в «допустимости» родины, по-видимому, имеет в виду следующее.

Христианская любовь, говорит он себе, учит нас видеть брата в *каждом* человеке; все люди всех стран и народов имеют единого Небесного Отца и призваны, став пред его лицом, искренно и последовательно признавать свое вселенское братство. А это означает, что христианин рожден быть *гражданином вселенной;* и высшее призвание его состоит в том, чтобы отвергнуть всякие условные деления людей — по сословиям, странам, классам, национальностям, расам и т. д. Все эти перегородки должны пасть в душе христианина, а в этом падении сокрушится и деление человечества на различные «родины» и «отечества». Разве дело не обстоит так, что каждый личный человеческий дух во вселенной есть как бы живое жилище

Божие, или некий алтарь для Его священного пламени? Разве человечество, с точки зрения христианской, не есть единая братская община, каждый член которой рожден для веры и добрых дел и потому имеет неотъемлемое право получить *внешнюю* свободу и воспользоваться ею для *внутреннего* самоосвобождения?[1] Словом — разве христианин не рожден для интернационализма? Разве он имеет основание серьезно и последовательно говорить о *различных национальностях,* причислять себя к одной из них и служить ей преимущественно или даже исключительно? Нет, патриотизм и национализм решительно несовместимы с духом христианства... Отечество христианина на земле, — вселенная; и христианин не имеет права иметь сверх того или наряду с этим еще особую, земную родину, любить ее, строить ее и бороться за нее с решимостью и мужеством...

Наряду с такими христианами, которые, может быть, рассуждают искренно, хотя и поверхностно, и наряду с такими нехристианами, которые поддерживают первых из лицемерно-гуманных соображений, — в наши дни имеется еще неопределенное множество людей, которые подтачивают начала «родины» и «национализма» из побуждений *нигилистических.* Современный мир все более пронизывается интернационалистическими организациями; одни из них считают принцип национал-патриотизма «устаревшим» и «реакционным», а потому не заслуживающим поддержки; другие отвергают этот принцип последовательно и агрессивно, считая его по существу «вредным» и нетерпимым «предрассудком». Замечательно, что такой интернационализм захватывал в течение 19 и 20 века все более широкие круги. Появились, напр., организации, которые поставили себе задачу «преодолеть» и «устранить» национальные языки и заменить их единым, искусственно выдуманным «синтетическим» языком («волапюк» и «эсперанто»). Разрослись и окрепли так называемые «рабочие интернационалы», утверждающие, что солидарность хозяйственно-производящих классов должна весить больше, чем национально-патриотическая или государственная сопринадлежность людей. Сложилось и

[1] См. главу третью.

крайнее, большевистское воззрение, согласно которому господство должно принадлежать «социально-революционному» принципу, а этот принцип требует, чтобы сознательный пролетарий предавал свою «родину», и в мирное время, и особенно во время войны, работая на ее разложение и на победу рабочего интернационала[1]. И замечательно, что сторонникам большевистского нигилизма от времени до времени удается приобретать себе сторонников и в христианском лагере.

В противовес этим неверным и соблазнительным учениям мы должны поставить основную проблему открыто и недвусмысленно и спросить себя: можно ли обосновать и оправдать начало родины духовно, перед лицом *Божиим* и перед лицом *христианства?*

С самого начала ясно, что жизнь человечества на земле подчинена пространственно-территориальной необходимости: земля велика и человечество разбросано по ее лицу. Оно не может и никогда не сможет победить эту пространственную разъединенность и управляться из единого мирового центра. Условия расстояний, климата, расы, хозяйства, государственного управления и законов, языка и обычая, вкусов и душевного уклада — действуют на людей различающе и обособляюще (дифференциация), и человечеству приходится просто принимать эти условия жизни и приспособляться к ним. Идея сделать всех людей одинаковыми во всех отношениях и подчинить их единой всеведущей и всеорганизующей власти — есть идея бредовая, больная; и потому она не заслуживает серьезного опровержения. Культурный человек должен жить и трудиться оседло; и эта оседлость, с одной стороны, *прикрепляет* человека и *отделяет* его от далеко живущих, с другой стороны, заставляет его войти в *организованные волевые союзы местного характера.* В результате этого мир распадается на пространственно раздельные государства, которые не могли бы слиться в одно единое государство даже при самом сильном и добром желании. Силою *инстинкта самосохранения, подобия, пространства, взаимной*

---

[1] Читатель найдет доказательство этого в вышедшей недавно книге. Alfred Norman. Bolschewistische Weltmachtpolitik. Gotthelf-Verlag. Bern*. См. особенно главы 13, 14, 15, 16, 17. Книга построена целиком на исследовании первоисточников.

защиты, географических рубежей и оружия — люди объединяются в правовые, властвующие союзы и сживаются друг с другом; подобие родит единение, а долгое единение усиливает подобие; одинаковый климат, интерес, образ жизни и труда, наряд и обычай поддерживают это уподобление и завершают правовую и бытовую спайку. Государственная власть закрепляет все это единою системою законов и общественной дисциплиной. Психологически говоря, в основе всего этого лежит, конечно, *инстинкт самосохранения;* и далее — *краткость личной жизни и ограниченность личной силы* в труде и творчестве. Человеку нет времени для долгого выбора, на него давит суровая необходимость — он вынужден примкнуть к одной, единой и единственной, хорошо организованной группе и искать у нее, именно у нее и только у нее, обороны, помощи и суда. *А примкнуть* к одной группе — значит *противопоставить* себя остальным. Общественная *солидарность* и общественная *противоположность* связаны друг с другом и обусловлены друг другом, как, например, свет и тьма. Беда, опасность и страх научают человека солидаризироваться со своими ближними; из этой солидарности возникают первые проблески правосознания, «верности» и «патриотического настроения». И, таким образом, «патриотизм» оказывается, по-видимому, неизбежным, целесообразным и жизненно полезным...

Однако наша задача совсем не сводится к тому, чтобы установить инстинктивную необходимость и эмпирическую целесообразность «патриотического настроения». Любовь к родине должна быть нами духовно оправдана и обоснована; а все то, что мы доселе установили, есть не более, чем ряд соображений о жизненно-бытовой *пользе* патриотизма. Мы совсем еще не подошли к последнему и глубочайшему источнику любви к родине, который действительно дает христианину основание и право поставить свой патриотизм на первое место, а вселенскому гражданству отвести второе, осуществляя это и чувством, и волею, и поступками. Дело не в том, что нам навязывает природа и история; они могут навязывать нам и духовно неприемлемые вещи (напр., людоедство в эпоху голода, панику на тонущем корабле и т. под.). Дело в том, чтобы вскрыть *духовную и религиозную правоту патриотизма.*

А для этого необходимо показать, что любовь к родине есть *творческий акт духовного самоопределения, верный перед лицом Божиим и потому благодатный.* Только при таком понимании патриотизм и национализм могут раскрыться в их *священном и непререкаемом* значении; только при таком освещении инстинктивная необходимость и историческая целесообразность — все эти соображения об опасности, солидарности и взаимной обороне — получат свое главное и последнее обоснование.

Есть на свете предметы, которые можно воспринять только глазом (напр., свет или цвет); есть такие предметы, которые доступны только уху и слуху (напр., звук, пение, музыка); подобно этому есть такие предметы, которые могут быть восприняты, пережиты и приобретены только *любовью* (будь то любовь чистого инстинкта, или любовь, прокаленная духом). К таким предметам принадлежит и *родина.* С человеком, у которого нет реального, живого опыта в этой сфере, который никогда не ощущал сердцем, что есть для него родина, трудно было бы даже беседовать на эту тему.

По-видимому, люди приобретают этот патриотический опыт без всяких поисков и исследований: он приходит как бы сам собою. Люди инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, к природе, к соседям и культуре своей страны, к быту своего народа. Но именно поэтому *духовная сущность патриотизма* остается почти всегда за порогом их сознания. Тогда любовь к родине живет в душах в виде неразумной, предметно неопределенной склонности, которая то совсем замирает и теряет свою силу, пока нет надлежащего раздражения (в мирные времена, в эпохи спокойного быта), то вспыхивает слепою и противоразумною страстью, пожаром проснувшегося, испуганного и ожесточившегося инстинкта, способного заглушить в душе и голос совести, и чувство меры и справедливости, и даже требования элементарного смысла. Тогда патриотизм оказывается слепым аффектом, который разделяет участь всех слепых и духовно непросветленных аффектов: он незаметно вырождается и становится злой и хищной страстью — презрительной гордыней, буйной и агрессивной ненавистью; и тогда оказывается, что сам «патриот» и «националист»

переживает не творческий подъем, а временное ожесточение, и, может быть, даже озверение. Оказывается, что в сердце человека живет не любовь к родине — а странная и опасная смесь из воинственного шовинизма и тупого национального самомнения, или же из слепого пристрастия к бытовым пустякам и лицемерного «великодержавного» пафоса, за которым нередко скрывается личная или классовая корысть. Из такой атмосферы, подкрепленной чисто коммерческими интересами (сбыт товаров!), и возникает нередко та форма национализма, которая решительно не желает считаться ни с правами, ни с достоинствами других народов и всегда готова возвеличить пороки своего собственного. Люди, болеющие таким «патриотизмом», не знают и не постигают — ни того, что они «любят», ни того, *за что* они это «любят». Они следуют не духовно-политическим мотивам, из которых только и может родиться политика *истинного великодержавия*[1], а стадному или массовому инстинкту во всей его слепоте; и жизнь их «патриотического» чувства колеблется, как у настоящего животного, между бесплодной апатией и хищным порывом. Конечно, надо признать, что патриотизм слепого инстинкта лучше, чем отсутствие какой бы то ни было любви к родине; и возражать против этого могли бы только фанатики интернационализма. Однако ныне пришло время, когда такой, чисто инстинктивный патриотизм, сводящийся у некоторых народов к самой наивной националистической гордыне и к самой откровенной жажде завоеваний, готовит человеку неизмеримые опасности и беды; ныне пришло время, когда человечество особенно нуждается в духовно осмысленном и христиански облагороженном патриотизме, который совмещал бы *страстную любовь и жертвенность с мудрым трезвением и чувством меры,* — ибо только такой патриотизм сумеет разрешить целый ряд ответственных проблем, стоящих перед современным человечеством... Нам, ищущим путей

[1] Великодержавие определяется не размером территории и не числом жителей, но способностью народа и его правительства брать на себя бремя великих международных задач и творчески справляться с этими задачами. Великая держава есть та, которая, утверждая *свое* бытие, *свой* интерес, *свою* волю, вносит *творческую, устроящую, правовую* идею во весь сонм народов, во весь «концерт» народов и держав.

духовного обновления, не может быть безразлично, *какой* патриотизм мы утверждаем и какой национализм мы насаждаем.

Но, противопоставляя «слепо-инстинктивный» патриотизм — «духовному», мы нисколько не отрицаем и не умаляем силу инстинкта в отношении к «родине» и «нации». Напротив. Здесь осуждается отнюдь не «инстинкт» — это было бы беспочвенно и нелепо; а только *слепой, духовно не освященный, противодуховный* инстинкт. Нельзя человеку жить на земле без инстинкта, без этой таинственно-целесообразной, органически-мудрой, бессмысленно-страстной силы, от Бога дарованной и от природы нам присущей; — силы, строящей и личное здоровье, и приспособление к природе, и хозяйственный труд, и брак, и жизнь семьи, и историю народа. В здоровой жизни человека инстинкт и дух вообще не оторваны друг от друга: но степень их примиренности, взаимной согласованности и взаимного проникновения бывает неодинакова. Инстинкт, не приемлющий духа, — слеп, самоволен, безудержен и чаще всего порочен; он идет к крушению. Дух, не приемлющий инстинкта, — подорван в своей силе, теоретичен, бесплоден и чаще всего нежизнен; он идет к истощению. Инстинкт и дух призваны к взаимному приятию: так, чтобы *инстинкт* получил *правоту и форму духовности,* а дух получил *творческую силу инстинктивности.* Так и в патриотизме. Патриотизм есть любовь; — не просто «предпочтение», «склонность» или «привычка». И если эта любовь не «пустое слово» и не «поза», то она есть *инстинктивная* прилепленность к родному. Поэтому патриотизм *всегда инстинктивен.* Но он *не всегда духовен.* И то, что должно быть достигнуто, — есть *взаимное проникновение инстинкта и духа в обращении к родине.* Инстинктивная страсть должна креститься огнем духа; духовное избрание, предпочтение и самоопределение должно получить всю силу инстинктивной страстности. Это будет любовь зрячая и оформляющая; это будет духовность таинственно-целесообразная и страстно-мудрая: это будет истинный патриотизм...

Как же это достигается и осуществляется?

Поучительно отметить, что человек может прожить всю жизнь в пределах своего государства и *«не найти»* своей

родины, и не полюбить ее, так что душа его будет до конца патриотически пустынна и мертва; и эта неудача или личная неспособность приведет его к своеобразному духовному сиротству: к творческой беспочвенности и бесплодности. В современном мире есть множество таких несчастных безродных людей, которые не могут любить свою родину потому, что инстинкт их живет лично-эгоистическим или эгоистически-классовым интересом, а духовного органа они лишены. И вот идея родины ничего не говорит их душе. Идея родины предполагает в человеке живое начало духовности. *Родина есть нечто от духа и для духа,* а в них — духа нет: он или безмолвствует, или мертв. То, во что они верят, — есть материя, тогда как начало духа отринуто или поругано; или: то, чего они хотят, — есть новое распределение материальных благ, а все духовное им безразлично или враждебно[1]. *Орган духа* атрофирован в них; как же они могут найти и полюбить родину? Ибо обретение родины есть *акт духовного* (хотя бы смутно-духовного, хотя бы духовно-инстинктивного) *самоопределения,* предполагающий, *что сам человек живет духом* и что духовный орган в нем не атрофирован; и этот акт самоопределения указывает ему его *собственные* духовные истоки и тем самым развязывает и оплодотворяет его собственное духовное творчество. Итак, духовно мертвый человек не будет любить свою родину и будет готов предать ее потому, что ему нечем воспринять ее и найти ее он не может. Бремя этой неспособности и этого духовного бессилия такие несчастные люди обычно несут в течение всей своей жизни.

Но бывает и так, что человек, в действительности не нашедший свою родину и не сумевший ее полюбить, все-таки всю жизнь ошибочно принимает и выдает себя за патриота. Это означает, что он прилепился своею любовью не к родине, а к какому-то «суррогату» ее, который он по ошибке принимает за родину. Таким «суррогатом» может быть любое из перечисленных нами естественных

---

[1] Ср. у Карла Маркса: «Законы, мораль, религия суть для него (для пролетария) сплошные буржуазные предрассудки, за которыми прячутся сплошь буржуазные интересы. «Рабочие не имеют родины». «Коммунистический Манифест», главы «Буржуа и пролетарии» и «Пролетарии и коммунисты».

и исторических условий, составляющих *обстановку* народной жизни: стоит только взять это эмпирическое условие жизни как нечто самостоятельное, оторвать его от духовного смысла и священного значения — и заблуждение возникает само собой. Нечто, взятое само по себе, в отрыве от духа, — ни территория, ни климат, ни географическая обстановка, ни пространственное рядом-жительство людей, ни расовое происхождение, ни привычный быт, ни хозяйственный уклад, ни язык, ни формальное подданство — ничто не составляет Родину, не заменяет ее и не любится патриотической любовью. Ибо все это, взятое в отдельности, подобно — телу без души, или колыбели без ребенка, или раме без картины; все это есть не более, чем *жилище* родины, ее *орудие,* ее *средство,* ее *материал,* но *не она сама.* Все это необходимо ей; все это через нее и через ее жизнь получает высший смысл и священное значение, но она сама *больше* всего этого; она этим не исчерпывается и к этому не сводится; и потому она может жить и осуществляться — и при известных изменениях в ее жилище или в ее материале. Родина нуждается в территории, но территория не есть родина. Родине необходима географическая и климатическая обстановка, но похожие условия климата и географической обстановки можно найти и в другой стране и т. д. Ни одно из этих условий жизни, взятое само по себе, не может указать человеку его родину: ибо родина есть *нечто от духа и для духа.* И обратно: патриотизм может сложиться при отсутствии любого из этих содержаний. Есть люди, никогда не бывавшие в России и еле говорящие по-русски, но сердцем поющие и трепещущие вместе с Россией; и обратно: есть люди, русские по крови, происхождению, месту пребывания, быту, языку и государственной принадлежности — и предающие Россию, ее судьбу, ее жилище, ее тело, ее колыбель и ее самое во славу материализма и интернационализма.

И вот, чтобы постигнуть сущность родины, необходимо уйти в глубь своего сердца, проверяя и удостоверяясь, и обнять взором весь объем человеческого духовного опыта.

Долгая жизнь на чужбине не делает ее родиной, несмотря на сложившуюся привычку к чужому быту и природе и даже на принятие нового подданства; — все это

остается бессильным, пока человек не сольется *духом* с дотоле чужим ему народом. Признак расы и крови не разрешает вопроса о родине: напр., армянин может быть *русским* патриотом, а может быть *и турецким* патриотом, но может быть и армянским сепаратистом, революционным агитатором и в России, и в Турции. А в великую войну за Россию патриотически дрались на фронте представители многих десятков российских национальностей[1]. У людей смешанной крови происхождение бессильно разрешить вопрос о родине. Формальная принадлежность к какому-нибудь государству не только не обеспечивает патриотическое настроение у граждан, а наоборот, в случае завоевания или произвольного проведения границ создает *недобровольное* подданство и вызывает в душах упорное антипатриотическое напряжение...

Все это означает, что *родина* не определяется и не исчерпывается этими содержаниями; она больше и глубже, чем каждое из них, взятое в отдельности, и чем все они вместе.

Французский аристократ, граф Шамиссо де Бонкур[2], родом из Шампани, братья которого были лейб-пажами Людовика XVI, спасается со своей семьей в 1790 году от революционного террора в Германию, срастается с нею духовно и становится одним из глубочайших немецких лирических и патриотических поэтов. Швейцарские патриоты говорят на четырех различных языках: немецком, французском, итальянском и лодинском. Лорд Биконсфильд (д'Израэли) был евреем и английским патриотом. Х. Ст. Чемберлен был англичанином и патриотом германской родины. Славный русский генерал 1812 года, Бенигсен был немцем по крови и русским патриотом. А ныне в эпоху русского эмигрантского рассеяния, во всех государствах мира найдутся полноправные граждане, духовно верные России... И именно в этой связи осмысливается поступок английского индепендента Роджера Вильямса, который, видя себя религиозно теснимым в

---

[1] Перепись 1926 года насчитала в России до 128 различных национальностей.

[2] Его настоящая фамилия звучит так: Comte de Chamisso, Vicomte d'Ormond, Seigneur de Boncourt, Magnieux, Tournoison, Leviel, Dampierre. Его владения числились бы теперь по департаменту Марны.

Англии, порывает со всем, что обычно считается родиной, и отправляется за океан создавать себе новую родину — где английский дух сочетался бы со свободой вероисповедания.

Чем же определяется родина и как находит ее человек?

2. ОБРЕТЕНИЕ РОДИНЫ

Человек находит родину не просто инстинктом, но инстинктивно укорененным *духом,* и имеет ее *любовью.* А это означает, что вопрос о родине разрешается в порядке *самопознания и добровольного избрания.*

Можно принудительно и формально причислить человека или целое множество людей к какому-нибудь государству. Можно наказывать и казнить людей за формально совершенную измену. Но заставить человека любить какую-нибудь «страну», как свою родину, или быть националистом чужой ему нации — невозможно. Любовь возникает сама, а если она *сама* не возникает, то ее не будет; она не вынудима, она есть дело свободы, *внутренней свободы* человеческого самоопределения.

Но этого мало. Она есть дело его *духовной* свободы, добровольного, духовного самоопределения. Как это понимать?

Установим, прежде всего, что природные, исторические, кровные и бытовые связи, которые сами по себе могут и не указывать человеку его родину, — *могут и должны* приобретать то духовное значение, которое делает их достойным предметом патриотической любви. Тогда они наполняются внутренним, священным значением, ибо человек воспринимает через них как бы тело, или жилище, или колыбель, или орудие и средство, или материал для *духа;* для *своего* духа, но не только для своего: для духа своих *предков* и своего *народа.* Все перечисленные нами внешние условия жизни — становятся тогда *верным знаком* национального духа и необходимым ему материалом. Вот почему русскому сердцу не милы степи пампасов и тундры Канады; но малороссийские степи и архангельские тундры могут заставить его сердце забиться. Не

кровь сама по себе решает вопрос о родине, а кровь как воплотительница и носительница духовной традиции. Не территория священна и неприкосновенна; ибо императорская Россия уступила добровольно Аляску и никто не видел в этом позора, но территория, необходимая для расцвета русской национальной духовной культуры, всегда будет испытываться русскими патриотами как священная и неприкосновенная.

Итак, вопрос решается инстинктивно укоренным *духом и любовью: духовной любовью*[1] или, точнее и полнее, — *любовью к национальному духу.*

Так, для истинного патриотизма характерна не простая приверженность к внешней обстановке и к формальным признакам быта, но любовь к духу, укрывающемуся в них и являющемуся через них, к духу, который их создал, выработал, выстрадал, или наложил на них свою печать. Важно не «внешнее», само по себе, а «внутреннее»; не видимость, а сокровенная и явленная сущность. Важно то, *что именно* любится в любимом и *за что* оно любится. И вот, истинным патриотом будет тот, кто обретет для своего чувства предмет *действительно стоящий самоотверженной любви и служения,* предмет, который прежде всего «по хорошу мил», а потом уже и «по милу хорош».

Это можно выразить так, что истинный патриот любит свое отечество не обычным сильным пристрастием, мотивированным чисто субъективно и придающим своему предмету мнимую ценность («по милу хорош»): «Мне нравится моя родина, значит она для меня и хороша»... Он любит ее духовною, зрячею любовью; не только любит, но еще утверждает *совершенство* любимого: *«Моя родина прекрасна, на самом деле прекрасна — перед лицом Божиим; как же мне не любить ее!?»* Это значит, что истинный патриот исходит из признания действительного, не мнимого, *объективного достоинства,* присущего его родине; иными словами: он любит ее *духовною любовью,* в которой инстинкт и дух суть едино.

Любить родину значит любить нечто такое, что *на самом деле* заслуживает любви; так что любящий ее — *прав* в

---

[1] См. главу вторую.

своей любви; и служащий ей — *прав* в своем служении; и в любви этой, и в служении этом — он находит свое *жизненное самоопределение* и свое *счастье*. Предмет, именуемый родиною, настолько сам по себе, объективно и безусловно прекрасен, что душа, нашедшая его, обретшая свою родину, — *не может не любить ее...*

Человек не может не любить свою родину; если он не любит ее, то это означает, что он ее не нашел и не имеет. Ибо родина обретается именно *духом,* духовным гладом, *волею к Божественному на земле.* Кто не голодает духом (ср. у Пушкина «Духовной жаждою томим...»), кто не ищет Божественного в земном, тот может и не найти своей родины: ибо у него может не оказаться органа для нее. Но кто увидит и узнает свою родину, тот не может не полюбить ее. Родина есть *духовная реальность.* Чтобы найти ее и узнать, человеку нужна *личная духовность.* Это просто и ясно: родина воспринимается именно живым и непосредственным *духовным опытом;* человек, *совсем* лишенный его, будет лишен и патриотизма.

Духовный опыт у людей сложен и по строению своему многоразличен; он захватывает и сознание человека, и бессознательно-инстинктивную глубину души: одному говорит природа или искусство родной страны; другому религиозная вера его народа; третьему — стихия национальной нравственности; четвертому — величие государственных судеб родного народа; пятому — энергия его благородной воли; шестому — свобода и глубина его мысли и т. д. Есть патриотизм, *исходящий* от семейного и родового чувства с тем, чтобы отсюда покрыть всю ширину и глубину, и энергию национального духа и национального бытия [1]. Но есть патриотизм, исходящий от религиозного и нравственного облика родного народа, от его духовной красоты и гармонии с тем, чтобы отсюда покрыть все дисгармонии его духовного смятения. Так у Тютчева.

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

---

[1] См. стихотворения Пушкина, приведенные в конце предыдущей главы.

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя[1].

Есть патриотизм, исходящий от природы и от быта, презирающий в них некий единый духовный уклад и лишь затем уходящий к проблемам *всенародного размаха и глубины*. Так, у Лермонтова («Отчизна»).

Люблю отчизну я, но странною любовью,
Не победит ее рассудок мой!
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья —
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее полей холодное молчанье,
Ее лесов дремучих колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленно пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз,
И на холме, средь желтой нивы,
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов

[1] О смятении и дисгармонии см. стихотворения Тютчева: «Безумие», «О чем ты воешь», «День и ночь», «О, вещая душа моя...» и др. Нет никакого сомнения в том, что эти созерцания и образы почерпнуты поэтом из русского, всенародно-национального духовного опыта и высказаны им не только *от* себя и *за* себя, но и за весь народ.

На пляску с топаньем и свистом,
Под говор пьяных мужиков[1].

Но есть иной патриотизм, исходящий от духовной отчизны, сокровенной и «таинственной», внемлющей «иному гласу», созерцающий «грань высокого призванья» и «окончательную цель» с тем, чтобы постигать и любить быт своего народа с этой живой, метафизической высоты. Таков граф А. К. Толстой («И. С. Аксакову»).

Судя меня довольно строго,
В моих стихах находишь ты,
Что в них торжественности много
И слишком мало простоты.
Так, в беспредельное влекома,
Душа незримый чует мир,
И я не раз под голос грома,
Быть может, строил мой псалтырь.
Но я не чужд и здешней жизни;
Служа таинственной отчизне,
Я и в пылу душевных сил
О том, что близко, не забыл,
Поверь, и мне мила природа
И быт родного нам народа;
Его стремленья я делю
И все земное я люблю,
Все ежедневные картины,
Поля, и села, и равнины,
И шум колеблемых лесов,
И звон косы в лугу росистом,
И пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков;
В степи чумацкие ночлеги,
И рек безбережный разлив,
И скрип кочующей телеги,
И вид волнующихся нив;
Люблю я тройку удалую,
И свист саней на всем бегу,
На славу кованную сбрую,
И золоченную дугу;
Люблю тот край, где зимы долги,
Но где весна так молода,

[1] К проблемам всенародного размаха и глубины Лермонтов уходит, напр., в стихотворении «Смерть поэта», «Бородино», «Опять народные витии», «Новгороду», «Песнь про царя Ивана Васильевича»... и др.

Где вниз по матушке по Волге
Идут бурлацкие суда;
И все мне дороги явленья,
Тобой описанные, друг,
Твои гражданские стремленья
И честной речи трезвый звук.

Но все, что *чисто и достойно,*
Что *на земле* сложилось *стройно,*
Для человека то ужель,
В тревоге вечной мирозданья,
Есть *грань высокого призванья*
И *окончательная цель?*
Нет, в каждом шорохе растенья
И в каждом трепете листа
Иное слышится значенье,
Видна иная красота!
Я в них иному гласу внемлю
И, жизнью смертною дыша,
Гляжу с любовию на землю,
Но *выше* просится душа;
И что ее, всегда чаруя,
Зовет и манит вдалеке,
О том поведать не могу я
На ежедневном языке.

И нет сомненья, что око, привыкшее к созерцанию непреходящего, легче обретет вечные красоты и глубины в душе своего народа.

Итак, *нет* единого, для всех людей одинакового пути к родине. Один идет из глубины инстинкта, от той священной купины духовной, которая «горит и не сгорает» в его бессознательном; другой идет от сознательно-духовных созерцаний, за которыми следует, радуясь и печалясь, его инстинкт. Один начинает от голоса «крови» и кончает религиозной верой; другой начинает с изучения и кончает воинским подвигом. Но *все* духовные пути, как бы велико ни было их различие, ведут к ней. Патриотизм у человека науки будет иной, чем у крестьянина, у священника, у художника; имея единую родину, все они будут иметь ее — и инстинктом, и духом, и любовью и все же — каждый по-своему. Но человек, духовно мертвый, не будет иметь ее совсем. Душа религиозно-пустынная и государственно-безразличная, бесплодная в познании,

мертвая в творчестве добра, бессильная в созерцании красоты, с *совершенно неодухотворенным инстинктом,* душа, так сказать, «духовного идиота» — не имеет духовного опыта; и все, что есть дух, и все, что есть от духа, остается для нее пустым словом, бессмысленным выражением; такая душа не найдет и родины, но, в лучшем случае, будет пожизненно довольствоваться ее суррогатами, а патриотизм ее останется личным пристрастием, от которого она, при первой же опасности, легко отречется.

Иметь родину значит *любить* ее, но не тою любовью, которая знает о негодности своего предмета и потому, не веря в свою правоту и в себя, стыдится и себя, и его; и вдруг выдыхается от «разочарования» или же под напором нового пристрастия. Патриотизм может жить и будет жить лишь в той душе, для которой есть на земле нечто священное; которая живым опытом (может быть, вполне «иррациональным») испытала *объективное и безусловное* достоинство этого священного — и узнала его в *святынях своего народа.* Такой человек реально знает, что любимое им есть нечто *прекрасное перед лицом Божиим;* что оно живет в душе его народа и творится в ней; и огонь любви загорается в таком человеке от одного простого, но подлинного касания к этому прекрасному. Найти родину значит реально испытать это касание и унести в душе загоревшийся огонь этого чувства; это значит пережить своего рода духовное *обращение,* которое обязывает к открытому *исповеданию;* это значит открыть в предмете *безусловное достоинство,* действительно и объективно ему присущее, и прилепиться к нему волею и чувством; и в то же время — открыть в самом себе беззаветную преданность этому предмету и способность бескорыстно радоваться его совершенству, любить его и служить ему. Иными словами, это значит — *соединить свою жизнь с его жизнью и свою судьбу с его судьбою,* а для этого необходимо, чтобы инстинкт человека приобрел духовную глубину и дар духовной любви[1].

Вот этот процесс я и обозначаю словами: в основе патриотизма лежит *акт духовного самоопределения.*

---

[1] См. главу первую и вторую.

Человек вообще определяет свою жизнь тем, что находит себе *любимый предмет;* тогда им овладевает новое состояние, в котором его жизнь заполняется любимыми содержаниями, а он сам прилепляется к их источнику и проникается тем, что этот источник ему несет. При этом истинная любовь дает всегда способность к *самоотвержению,* ибо она заставляет человека любить свой предмет *больше* себя.

И вот, когда, человек *так* воспринимает *духовную жизнь и духовное достояние* своего народа, — то он обретает свою *родину* и сам становится *настоящим патриотом:* он совершает *акт духовного самоопределения,* которым он *отождествляет* в целостном и творческом состоянии души *свою судьбу с духовной судьбою своего народа, свой инстинкт с инстинктом всенародного самосохранения.*

Духовное сокровище, именуемое родиною, не исчерпывается душевными состояниями людей; и все же оно прежде всего живет в них, в душах, и *там* должно быть найдено. Тот, кто чувствует себя в вопросе о родине неопределенно и беспомощно, тот должен обратиться прежде всего к *своему собственному духу и узнать в своем собственном духовном опыте — духовное лоно своего народа* (акт патриотического самопознания). Тогда он, подобно сказочному герою, припавшему к земле ухом, услышит свою родину; он услышит, как она в его собственной душе вздыхает и стонет, поет, плачет и ликует; как она определяет, и направляет, и оплодотворяет его собственную личную жизнь. Он вдруг постигнет, что его личная жизнь и жизнь его родины — суть в последней глубине *нечто единое* и что он не может не принять судьбу своей родины, *ибо она так же неотрывна от него, как он от нее:* и в инстинкте, и в духе.

Однако родина живет не только в душах ее сынов. Родина есть *духовная жизнь* моего народа; в то же время, она есть совокупность *творческих созданий* этой жизни; и, наконец, она объемлет и все *необходимые условия* этой жизни — и культурные, и политические, и материальные (и хозяйство, и территорию, и природу). То, что любит настоящий патриот, есть не просто самый «народ» его, но именно *народ, ведущий духовную жизнь;* ибо народ, духовно разложившийся, павший и наслаждающийся нечис-

тью, — не есть сама родина, но лишь ее живая возможность («потенция»). И родина моя действительно («актуально») осуществляется только тогда, когда мой народ духовно цветет; достаточно вспомнить праведный, гневный пафос иудейских пророков-обличителей. Истинному патриоту драгоценна не просто самая «жизнь народа» и не просто «жизнь его в довольстве», но именно жизнь *подлинно духовная и духовно-творческая;* и поэтому, если он когда-нибудь увидит, что народ его утоп в сытости, погряз в служении маммону и от земного обилия утратил вкус к духу, волю и способность к нему, — то он со скорбью и негодованием будет помышлять о том, *как* вызвать духовный голод в этих сытых толпах павших людей. Вот почему и все условия национальной жизни важны и драгоценны истинному патриоту — *не сами по себе:* и земля, и природа, и хозяйство, и организация, и власть — но как *данные для духа, созданные духом* и существующие *ради духа.*

Вот в чем состоит это *священное сокровище* — родина, — за которое стоит бороться и ради которого можно и должно идти и на смерть[1]. Здесь все определяется не просто инстинктом, но глубже всего и прочнее всего — *духовною жизнью,* и через нее все получает свое истинное значение и свою подлинную ценность. И если когда-нибудь начнется выбор между частью территории и пробуждением народа к свободе и духовной жизни, то истинный патриот не будет колебаться; ибо нельзя делать из территории, или хозяйства, или богатства, или даже простой жизни многих людей некий фетиш и отрекаться ради него от *главного и священного* — от духовной жизни народа.

Именно духовная жизнь есть то, за *что и ради чего* можно и должно любить свой народ, бороться за него и погибнуть за него. В ней сущность родины, та сущность, которую стоит любить больше себя, которою стоит жить именно потому, что за нее стоит и умереть. С нею действительно стоит слить и свою жизнь, и свою судьбу, потому *что она верна и драгоценна перед лицом Божиим.* Духовная жизнь моего народа и создания ее суть не что иное, *как подлинное и живое Богу служение* (богослужение!), которое должны чтить и охранять и все другие народы. Это

---

[1] См. главу первую.

живое Богу служение священно и оправдано *само по себе;* и для меня; но не только для меня, и для всего моего народа; но не только для моего народа, *для всех и навеки;* для всех людей и народов, которые живут теперь и когда-нибудь будут жить. И если бы кто-нибудь захотел убедиться на историческом примере, что духовная жизнь иных народов действительно чтится всеми людьми через века, то ему следовало бы только подумать о «Ветхом Завете», о греческой философии и греческом искусстве, о римском праве, об итальянской живописи, о германской музыке, о Шекспире и о русской изящной литературе 19 века...

Соединяя свою судьбу с судьбою своего народа, — *в его достижениях и в его падении, в часы опасности и в эпохи благоденствия,* — истинный патриот *отождествляет* себя инстинктом и духом не с множеством различных и неизвестных ему «человеков», среди которых, наверное, есть и злые, и жадные, и ничтожные, и предатели; он не сливается и с жизнью темной массы, которая в дни бунта бывает, по бессмертному слову Пушкина, «бессмысленна и беспощадна»; он не приносит себя в жертву корыстным интересам бедной или роскошествующей черни (ибо чернью называется вообще жадная, бездуховная, противогосударственная масса, не знающая родины или забывающая ее); он отнюдь не преклоняется перед «множеством» только потому, что на его стороне количество, и не считает, что большинство всегда одарено мудрою и безошибочною волею. Нет; он сливает свой инстинкт и свой *дух* с инстинктом и с *духом* своего народа; и духовности своего народа он служит жизнью и смертью, ибо его душа и его тело естественно и незаметно следуют за совершившимся отождествлением. Подобно тому, как тело человека живет только до тех пор, пока оно одушевлено, так душа истинного патриота может жить только до тех пор, пока она пребывает в творческом единении с жизнью своего народа. Ибо между ним и его народом устанавливается не только *общение* или *единение,* но обнаруживается прямое *единство в инстинкте и в духе.*

И это единство он передает многозначительным и искренним словом «мы».

Такое отождествление не может быть создано искусственно, произвольно или преднамеренно. Можно желать

его и не достигнуть; можно мечтать о нем и не дойти до него. Оно может сложиться только *само* собою, естественно и непроизвольно, как бы расцвести в душе, иррационально распуститься в ней, победить и заполнить ее. Однако это признание «иррациональности» патриотического чувства отнюдь не следует толковать в смысле отказа от его постижения или в смысле его полной случайности, хаотичности, или неуловимой беззаконности. Ибо на самом деле это чувство, иррациональное по переживанию, подчинено совершенно определенным инстинктивно-духовным формам и законам, которые могут быть и должны быть постигнуты.

3. ЧТО ЕСТЬ ПАТРИОТИЗМ

Патриотизм есть чувство *любви*[1] к родине; и потому он, как и всякое чувство, а особенно чувство любви, уходит корнями в глубину человеческого бессознательного, в жилище инстинкта и страстей, куда далеко не всякий любопытный глаз имеет доступ. Однако есть ступень духовного опыта и сила духовного видения, которая этот доступ открывает. Тогда обнаруживаются следующие формы и законы.

Прежде всего, обретение родины должно быть пережито каждым из людей *самостоятельно и самобытно.* Никто не может *предписать* другому человеку его родину — ни воспитатели, ни друзья, ни общественное мнение, ни государственная власть, ибо *любить и радоваться, и творить* по предписанию вообще невозможно[2]. Патриотизм, как состояние радостной любви и вдохновенного творчества, есть состояние *духовное;* и потому он может возникнуть только в порядке *автономии* (свободы) — в личном, но подлинном и предметном духовном опыте. Всякое извне идущее предписание может помешать этому опыту и привести к злосчастной симуляции. Любовь возникает «сама», в легкой и естественной предметной радости, побеждающей и умиляющей душу. Эта свобод-

[1] См. главу третью, раздел первый.

[2] См. главу вторую, раздел первый.

ная предметная радость или осеняет человека — и тогда он становится *живым органом любимого предмета* и не тяготится этим, а радуется своему счастью; или она минует его душу — и тогда помочь ему может только такое жизненное потрясение, которое раскроет в нем источники духовного опыта и любви.

Так называемый «казенный», внешне-принудительный, официальный патриотизм далеко не всегда пробуждает и воспитывает в душе чувство родины, нередко даже повреждает его. А между тем, опытный и тактичный воспитатель может действительно *пробудить* в ребенке настоящий патриотизм. Но именно *пробудить,* а не навязать. Для этого он сам должен быть искренним и убежденным патриотом и уметь убедительно показывать детям те глубины и прекрасности родины, которые на самом деле заслуживают любви и преклонения. Он должен не «проповедовать» любовь к родине, а увлекательно *исповедовать* и *доказывать ее делами,* полными энергии и преданности. Он должен как бы *вправить* душу ребенка в духовный опыт его родины, вовлечь ее в него и приучить ее пребывать в нем и творчески расцветать в нем. Тогда патриотическое самоопределение осуществится свободно и непосредственно. И ребенок станет незаметно живым органом своей родины.

В основе такого слияния или сращения лежит всегда некоторая *однородность в путях и способах духовной жизни:* человек может узнать свой народ, прислушиваясь к жизни своего личного духа и к духовной жизни своего народа и узнавая *свое творчество* в *его* путях, а *его* пути в *своем творчестве.* Это дает ему радостное, уверенное чувство, которое можно выразить словами:

Я — как *он; он* — как *я*...

Или еще:

Мой *дух* — как *его* Дух; *его* Дух — как *мой* дух.

И, следовательно: *я есмь дух от Духа его; я принадлежу ему, а потому — ему моя любовь, моя воля, моя жизнь.*

Вникнем в этот процесс основательнее и глубже, и мы найдем следующее.

Патриотическое единение людей покоится на некоторой *сопринадлежности* их, столь необходимой, естественной и священной, сколь необходим, естественен и свя-

щенен человеку час духовный, предмет и духовный способ жизни. Люди связуются в единую нацию и создают единую родину именно в силу *подобия их духовного уклада;* а этот духовный уклад вырабатывается постепенно, исторически из эмпирической данности — внутренней, скрытой в самом человеке (раса, кровь, темперамент, душевные способности и неспособности), и внешней (природа, климат, соседи). Вся эта внутренняя и внешняя эмпирическая данность, полученная народом от Бога и от истории, должна быть *проработана духом,* причем она и со своей стороны *формирует дух народа,* то облегчая ему его пути, то затрудняя и загромождая их. В результате возникает единый *национально-духовный* уклад, который и связует людей в патриотическое единство.

Бремя эмпирического существования вообще преодолевается только *творчеством,* т.е. созданием новых ценностей в страдании, в труде, во вдохновении. Человека вообще освобождает только *прорыв к духу,* только *осуществление духовных состояний*[1]. Личный страх и опасность, личное страдание и гибель перевешиваются и превозмогаются только тою любовью и тем радованием, которые посвящены негибнущему, божественному содержанию. И вот в этом *творчестве* и особенно в этом *духовном творчестве — каждый народ имеет свои специфические особенности,* образующие его *национальный духовный уклад,* или, выражаясь философически, — его *национальный духовный акт*[2].

Так, каждый народ *по-своему* вступает в брак, рождает, болеет и умирает; по-своему ленится, трудится, хозяйствует и отдыхает; по-своему горюет, плачет, сердится и отчаивается; по-своему улыбается, смеется и радуется; по-своему ходит и пляшет; по-своему поет и творит музыку; по-своему говорит, декламирует, острит и ораторствует; по-своему наблюдает, созерцает и создает живопись, по-своему исследует, познает, рассуждает и доказывает; по-своему нищенствует, благотворит и гостеприимствует; по-своему строит дома и храмы; по-своему молится и геройствует... Он по-своему возносится и падает духом;

---

[1] См. главу третью, раздел второй.

[2] Само собою разумеется, что этот «акт» включает в себя и всю глубину бессознательного, жизнь инстинкта, страстей и наследственного уклада жизни.

по-своему организуется. У каждого иное чувство права и справедливости, иной характер, иная дисциплина, иное представление о нравственном идеале; иная политическая мечта, иной государственный инстинкт. Словом, у каждого народа *иной и особый национальный духовный акт.*

Самые узлы исторически-данного характера — инстинкта, страстей, темперамента, чувства, воображения, воли и мысли — распутываются и расплетаются у каждого народа по-своему; и по-своему же он превращает эти нити в духовную ткань. В борьбе души с ее ограниченностью и с ее несчастьем, с ее страстями и с ее невозможностями каждый индивидуальный человек слагает себе *особый духовный путь;* но именно этот путь выстраданной духовности роднит индивидуальную душу *сходством и близостью* с другими душами *единого национального лона.*

Замечательно, что нити душевного и духовного *подобия* связуют людей глубже, а потому и крепче других нитей. Самый путь и способ личного одухотворения, самый ритм духовной жизни в ее созерцании и действии, самый характер умственного интереса, самая степень духовной жажды и удовлетворения, самый подъем отчаяния и славословия — все скрепляет души единого народа подобием и близостью. Это подобие ведет к тому, что люди связываются взаимным, глубоким тяготением, заставляющим их дорожить совместною жизнью, устраивать ее и совершенствовать ее организацию. *Сходство* в духовной жизни ведет незаметно к интенсивному *общению и взаимодействию,* а это, в свою очередь, порождает и новые творческие усилия, и новые достижения, и *новое уподобление.* Духовное подобие родит духовное единение, и обратно. И весь этот процесс духовного «симбиоза» покоится в последнем счете на *сходном переживании единого и общего духовного предмета.* Нет более глубокого единения, как в одинаковом созерцании единого Бога, но истинный патриотизм и приближается к такому единению.

Это не значит, что все сыны единой родины должны быть одного религиозного исповедания и принадлежать к единой церкви. Однако патриотическое единение будет несомненно более тесным, интимным и прочным там, где народ связан не только единой территорией и климатом, не только государственной властью и законами, не толь-

ко хозяйством и бытом, но и духовной однородностью, которая доходит до единства религиозного исповедания и до принадлежности единой и единственной церкви. Патриотическое единение есть разновидность *духовного единения;* а поклонение Богу есть одно из самых глубоких и сильных проявлений человеческого духа.

Эту религиозную основу патриотизма культивировали еще древние, языческие народы. Для них гражданственный патриотизм был прежде всего делом *поклонения богам родного города.* Клятва юноши, вступающего в ряды граждан, гласила: «Буду оборонять святилища и священные обряды и почитать святыни моей родины» (Поллукс); согласно этому «быть гражданином» было равносильно «соучастию в жертвоприношениях» (Демосфен)[1]. Подобное этому мы находим и у римлян, напр., у Цицерона, этого холодного мастера огненных слов: «Здесь *моя вера,* здесь мой род, здесь след моих отцов; я не могу выговорить, какой восторг охватывает мое сердце и мое чувство...»[2].

Так, в древности начало религиозного единения и начало патриотического единения просто совпадали: единый народ творил единую духовную культуру и имел единую веру. В дальнейшем процессе исторической дифференциации появились патриотические общины, не связанные единой религией, а также религиозные союзы (церкви), члены коих принадлежат к различным нациям, родинам и государствам.

Различие между религиозной и патриотической общиной состоит в том, что в религии люди любят Бога и верят в Бога, а в патриотическом единении люди *любят свой народ в его духовном своеобразии* и верят в *духовную силу* и в *духовное творчество своего народа.* Народ — не Бог, и возносить его на уровень Бога — слепо и грешно. Но народ, создавший свою родину, есть *носитель и служитель Божьего дела на земле,* как бы *сосуд и орган Божественного начала.* Это относится не только к «моему» народу (кто бы он ни был), но и ко *всем другим народам, создавшим*

---

[1] См. по этому вопросу поучительный материал справок в замечательном исследовании Фюстель де Куланжа. Древняя гражданская община (La cité antique), гл. 3—7.

[2] Cicero. De legibus. II ч.

свою духовную культуру. Следовательно, это относится *и к моему народу,* а это для меня теперь важнее всего.

И вот, если мы взглянем глубже и пристальнее, то мы увидим, что каждый духовный акт имеет свое особое душевно-духовное строение, слагаясь по-своему из инстинктивных влечений, чувства, воли, воображения, мысли, ощущения и внешних поступков. Так обстоит и в религиозной вере, и в познании, и в нравственности, и в искусстве, и в правосознании, и в труде, и в хозяйственной деятельности, словом, во всей духовной жизни человека. Оказывается, что так обстоит дело не только в *личной* жизни каждого данного человека, но и в жизни *целых народов.* Каждый народ вынашивает и осуществляет в своей истории *душевно-духовные акты особого национального строения,* которые и придают всей его культуре своеобразный характер. И каждое создание этой культуры — начиная от резного украшения на избе и кончая ученым трактатом, начиная от национальной пляски и кончая музыкальной сонатой, начиная от простонародного костюма и кончая национальным героем или собором — расцветает и цветет в его духовном саду и слагается как бы в духовную гирлянду, которая связует его в единство крепче всяких законов или оков. Каждое духовное достижение народа является единым, *общим* для всех *очагом,* от которого размножается, не убывая, огонь духовного горения; так что вся система национальной духовной культуры предстает в виде множества *общих* возженных огней, у которых каждый может и должен воспламенить огонь своего *личного духа.* И пламя это, перекидываясь на новые очаги, сохраняет свою изначальную однородность — и в ритме, и в силе, и в окраске, и во всем характере горения. Так народы слагаются в своеобразные *духовные единства;* а отсюда — всякая внешняя эмпирическая связь (расовая, пространственная, историческая) получает свое истинное и глубокое значение.

Вот почему *национальный гений* и его творчество оказываются нередко предметом особенной патриотической любви.

Жизнь народного духа находит себе в творчестве гения сосредоточенное и зрелое выражение. Гений говорит *от* себя, но не *за* себя только, а за весь свой народ; и то,

о *чем* он говорит, есть единый для всех, но неясный большинству, а многим, может быть, и недоступный Предмет; и то, *что* он говорит о нем, есть истинное, подлинное слово, раскрывающее и природу Предмета, и сущность народного духа; и то, *как* он говорит это слово, — разрешает скованность и томление народного духа, ибо слово его *рождено духовным актом национального строения и несомо подлинным ритмом народной жизни.*

Гений подъемлет и несет бремя своего народа, бремя его несчастий, его исканий, его жизни, его исторического и естественного существования; и, подняв его, — он несет его творчески к духовному разрешению всех его узлов и трудностей. Он одолевает это бремя, он торжествует, он одерживает победу и притом так, что его победа становится на путях непосредственного или опосредствованного общения — источником победы для всех, связанных с ним национально-духовным подобием. Гению дана та *мощь,* о которой томились и ради которой страдали целые поколения в прошлом; и от этой мощи исходит и будет исходить духовная помощь и радость для целых поколений в будущем. Он учит своих братьев духовной победе; он показывает им, как они могут сами стать духовными победителями. Творческое достижение гения указывает путь всем ведущим полутворческую жизнь; им стоит только воспринять его создание и его творчество, художественно отождествиться с ним — и в этом воспроизведении и подражании они найдут себе ту *духовную свободу*[1], без которой они остались бы обреченными на томление и соблазны.

Вот почему гений всегда остается для своего народа живым источником духовного освобождения, радости и любви. Он есть тот очаг, на котором, прорвавшись, вспыхнуло пламя национального духа. Он есть тот вождь, который открывает своему народу прямой доступ к *свободе* и к *божественным содержаниям,* — Прометей, дарящий ему небесный огонь; Атлас, несущий на своих плечах духовное небо своего народа; Геракл, совершающий от *его* лица свои подвиги. Его акт есть акт *всенародного, национального самоопределения в духе;* и к творчеству его потомки стекаются как к единому и общему алтарю национального Богу служения.

---

[1] См. главу третью, раздел второй.

Гений ставит свой народ перед лицо Божие и выговаривает за него и от его имени символ его предметной веры, его предметного созерцания, знания и воли. Этим он открывает и утверждает национальное духовное единство, то великое духовное «Мы», которое обозначает самую сущность родины. Гений есть тот творческий центр, который оформляет духовную жизнь и завершает духовное творчество своего народа; этим он оправдывает жизнь своего народа перед Богом и потому перед всеми остальными народами истории — и становится истинным зиждителем родины...

Итак, обосновать идею родины и чувство патриотизма, значит показать не только их неизбежность и естественность в историческом развитии народов, и не просто их государственное значение и их культурную продуктивность, — но их верность перед Богом, их религиозную (сверх-исповедную и сверх-церковную) священность, а потому их *правоту перед всем человечеством;* что мы и сделали.

Тот, кто говорит о родине, разумеет (сознательно или бессознательно) *духовное единство своего народа.* Это есть единство, возникшее из инстинктивного *подобия, общения и взаимодействия* людей в их обращении *к Богу, к данной от Бога внешней природе и друг к другу.* Это единство вырабатывается *исторически,* в борьбе с *природой,* в создании единой *духовной культуры* и в *самообороне* от вторгающихся нарушителей. Это единство закрепляется *своеобразием национально-духовного акта* и системой навязывающихся исторически-культурных и государственно-хозяйственных задач. Каждый народ призван к тому, чтобы принять свою природную и историческую «данность» и духовно проработать ее, одолеть ее, *одухотворить ее по-своему, пребывая в своем, своеобразном национально-творческом акте.* Это его *неотъемлемое, естественное, священное право* и в то же время это его *историческая, общечеловеческая* и, что самое главное, — *религиозная обязанность.* Он не имеет духовного права — отказаться от этой обязанности и от этого призвания. А раз отказавшись, — он духовно разложится и погибнет; он исторически сойдет с лица земли.

Иными словами: каждому народу дается от *природы* и от *Духа Божия.* Каждый народ призван принять и приро-

ду, и Дух; и Духом одухотворять и себя, и природу. Это одухотворение у каждого народа совершается своеобразно и должно протекать самостоятельно. Национальная духовная культура есть как бы *гимн, всенародно пропетый Богу в истории,* или духовная симфония, исторически прозвучавшая Творцу всяческих. И ради создания этой *духовной музыки* народы живут из века в век, в работах и страданиях, в падениях и подъемах, то паря к небу, то влачась долу, — вынашивая своеобразную молитву труда и созерцания на поучение другим народам. И эта музыка духа *своеобразна у каждого народа,* и эта музыка духа *есть Родина.* И каждый человек узнает свою Родину потому, что *его* личная музыка духа откликается на *ее* всенародную музыку; — и, узнав, он врастает в нее так, как *врастает единичный голос в пение хора.*

Вот почему мы утверждаем, что *Родина есть нечто от Духа Божия: национально воспринятый, взращенный и в земные дела вработанный дар Духа Святого.* Нельзя погасить в себе эту святыню. Ею надо жить. Ее надо творчески и достойно блюсти в себе. Ее нельзя отдать в порабощение или в попрание другим народам. За нее стоит бороться и умереть. И всякий христианин, увидевший это, постигший это, — призван не отзываться на соблазны пустого и лицемерного интернационализма, а мужественно и честно поставить перед собою все проблемы, смущающие его христианскую совесть, и искать разрешения в духе истинного, духовного патриотизма.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
О НАЦИОНАЛИЗМЕ

1. ИДЕЯ НАЦИИ

Проблема истинного национализма разрешима только в связи с духовным пониманием родины: ибо *национализм есть любовь к духу своего народа и, притом, именно к его духовному своеобразию.*

Тот, кто говорит о родине, разумеет *духовное единство своего народа.* Он разумеет нечто такое, что остается сущим и объективным, несмотря на гибель единичных субъектов и на смену поколений. Родина есть нечто единое для многих. Каждый из нас может сказать про нее: «Это *моя* родина», и будет прав; все разом могут сказать про нее: «Это *моя* родина, это *наша* родина», и все будут правы. Родина есть великое лоно, объединяющее *всех* своих сынов так, что каждая душа соединена с нею нитью живой связи; и эта связь сохраняется даже тогда, когда кто-нибудь почему-нибудь не культивирует ее, пренебрегает ею и совсем не думает с ней. Не во власти человека — перестать быть силою, призванною и способною к духовной жизни; не во власти человека оторваться душою от той среды, которая его взрастила, погасить свой национально-духовный облик и, раз надышавшись родного духа, сделать себя *действительно* лишенным духа и родины. Но для того, чтобы найти свою родину и слиться с нею чувством, и волею, и жизнью, — необходимо *жить духом* и беречь его в себе; и, далее, необходимо осуществить в себе *патриотическое самосознание* или хотя бы верно «почувствовать» себя и свой народ в духе. Надо верно ощутить — свою духовную жизнь и духовную жизнь *своего народа;* и творчески утвердить себя в силах и средствах этой послед-

ней, т. е., напр., принять русский язык, русскую историю, русское государство, русскую песню, русское правосознание, русское историческое миросозерцание и т. д. — как *свои собственные.* Это и значит установить между собою и своим народом *подобие, общение, взаимодействие и общность* в духе; признать, что творцы и создания *его духовной культуры — суть мои* вожди и *мои* достижения. *Мой* путь к духу — есть путь *моей родины;* ее восхождение к духу и Богу — есть *мое* восхождение. Ибо я *тождествен* с нею и *неотрывен* от нее в духовной жизни.

Такое слияние патриота с его родиной ведет к чудесному и плодотворному отождествлению их духовных энергий.

В этом отождествлении духовная жизнь народа укрепляется всеми личными силами патриота, а патриот получает неиссякаемый источник творческой энергии во всенародном духовном подъеме. И это взаимное духовное питание, возвращаясь и удесятеряя силы, дает человеку *непоколебимую веру в его родину.* Сливая мою жизнь с жизнью моей родины, я испытываю *дух моего народа,* как безусловное *благо* и безусловную *силу,* как некую *Божию ткань на земле;* и в то же время я *отождествляю себя с этой живой силой добра:* я чувствую, что я *несом ею,* что я силен ее силою, что я прав *ее* правдою и правотою, что я побеждаю *ее* победами; я становлюсь живым сосудом или живым *органом* моего отечества, а в нем имею свое духовное *гнездо.* На этом пути *любовь* к родине соединяется с *верою* в нее, с верою в ее призвание, в творческую силу ее духа, в тот грядущий расцвет, который ее ожидает. Что бы ни случилось с моим народом, я знаю верою и ведением, любовью и волею, живым опытом и победами прошлого, что *мой народ не покинут Богом,* что дни падения преходящи, а духовные достижения вечны, что тяжкий молот истории выкует из моего народа духовный меч, именно так, как это выражено у Пушкина:

Но в искушеньях долгой кары
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Нельзя любить родину и не верить в нее, ибо родина есть *живая духовная сила,* пребывание в которой дает твер-

дое ощущение ее блага, ее правоты, ее энергии и ее грядущих одолений. Вот почему *отчаяние* в судьбах своего народа свидетельствует о начавшемся *отрыве* от него, об *угасании* духовной любви к нему. Но верить в родину может лишь тот, кто живет *ею, вместе с нею и ради нее,* кто соединил с нею истоки своей творческой воли и своего духовного самочувствия.

Любить свой народ и верить в него, верить в то, что он справится со всеми историческими испытаниями, восстанет из крушения очистившимся и умудрившимся, — не значит закрывать себе глаза на его *слабости, несовершенства,* а может быть, и *пороки.* Принимать свой народ за воплощение полного и высшего совершенства на *земле*[1] — было бы сущим тщеславием, больным националистическим самомнением.

Настоящий патриот видит не только духовные пути своего народа, но и его соблазны, слабости и несовершенства. Духовная любовь вообще не предается беспочвенной идеализации, но *созерцает трезво и видит с предметной остротой.* Любить свой народ — не значит льстить ему или утаивать от него его слабые стороны, но честно и мужественно выговаривать их и неустанно бороться с ними[2]. Национальная гордость не должна вырождаться в тупое самомнение и плоское самодовольство; она не должна внушать народу *манию величия.* Настоящий патриот учится на политических ошибках своего народа, на недостатках его характера и его культуры, на исторических крушениях и на неудачах его хозяйства. Именно потому, что он любит свою родину, он пристально и ответственно следит за тем, где и в чем народ не находится на надлежащей высоте; он не боится указывать на это, помятуя хо-

---

[1] Есть народы, у которых такой патриотизм традиционно преобладает.

[2] Понятно, что здесь необходимы: зоркость, правдивость и гражданское мужество. Одним из соблазнов национализма является стремление оправдывать свой народ во всем и всегда, преувеличивая его достоинства и сваливая всю ответственность за совершенное им на иные «вечно-злые» и «предательски-враждебные» силы. Никакое изучение враждебных сил не может и не должно гасить в народе чувство ответственности и вины или освобождать его от трезво-критического самопознания: путь к обновлению ведет через покаяние, очищение и самовоспитание.

рошую народную поговорку: «велика растет чужая земля своей похвальбой, а наша крепка станет своею хайкою»[1]... Духовная любовь не есть опьянение или чванство; она не только горит, но и светит, и светом показывает. Кто постиг духовную силу своей родины и проследил через историю пути и судьбы своего народа, тот должен был увидеть и установить пределы и опасности национальной души. Смеет ли он молчать о них? И позволительно ли требовать от него молчания, ссылаясь на то, что его критика «срывает народное самочувствие» и «внушает народу неверие к своим силам»? Есть критика и критика. Есть критика ироническая, злобная, несправедливая, нигилистическая и разрушительная: так критикуют враги. Но есть критика любовная, озабоченная, воспитывающая, творческая даже и тогда, когда — гневная, эта критика созидательная: так критикуют верные друзья; такая критика ничего «сорвать» не может, и то, что она «внушает», есть мужество и воля к преодолению своих слабостей. Так критикуют *свое, любимое,* — не отрываясь от него, но пребывая в нем, пребывая в слиянии и отождествлении с ним, говоря о «нас», для «нас», из крепкого и единого национального «мы»...

Понятно далее, что в таком слиянии и отождествлении незаметно преодолевается то душевное распыление (психический «атомизм»), в котором людям приходится жить на земле: этот атомизм состоит в том, что каждый скрыт за своим телом, все ощущают только себя, все друг другу чужие и пребывают в душевно-телесном одиночестве. Это преодоление общественного атомизма состоит, однако, не в том, что человек перестает быть самостоятельным, обособленным и замкнутым существом («монадой»). Нет, обычный, данный ему от природы способ бытия сохраняется. Но наряду с этим возникает могучее творческое единение людей в *общем и сообща творимом* лоне — *в национальной духовной культуре,* где все мы *одно,* где все достояние нашей родины (и духовное, и материальное, и человеческое, и природное, и религиозное, и хозяйственное) — *едино для всех нас* и *общее всем нам:* и творцы духа и «труженики культуры», и создания искус-

[1] От слова «хаять», т. е. порицать.

ства, и жилища, и песни, и храмы, и язык, и лаборатории, и законы, и территория... Каждый из нас живет всем этим, физически питаясь и душевно воспитываясь, огражденный другими и обороняя других, получая и принимая дары во всеобщем взаимном обмене. В жизни и в ткани нашего общества мы все — *одно;* а в ее духовной сокровищнице объективировано то лучшее, что есть в каждом из нас. Ее созданиями заселяется и обогащается, и творчески пробуждается личный дух каждого из нас; и родина делает то, что душевное одиночество людей отходит на задний план и уступает первенство духовному единению и единству.

Такова идея *родной нации.* И при таком понимании ее обнаруживается воочию, что человек, лишенный ее, будет действительно обречен на духовное сиротство или безродность; что обретение ее есть поистине акт жизненного самоопределения; что иметь родную нацию есть поистине счастье, а утратить с нею связь, есть великое горе; что тоска по ней естественна, а отчаяние в своем народе противоестественно; и что, наконец, человеку подобает блюсти на всех путях достоинство своего народа, гордиться его признанием, его величием и его успехами.

Есть закон человеческой природы и культуры, в силу которого *все великое* может быть сказано человеком или народом только *по-своему, и все гениальное* родится именно в лоне *национального опыта, духа и уклада.* Денационализируясь, человек теряет доступ к глубочайшим *колодцам* духа и к освященным *огням* жизни, ибо эти колодцы и эти огни всегда национальны: в них заложены и живут целые века всенародного труда, страдания, борьбы, созерцания, молитвы и мысли. У римлян изгнание обозначалось словами: «воспрещение *воды и огня*». И действительно, человек, утративший доступ к *духовной* воде и к *духовному* огню своего народа — становится безродным изгоем, беспочвенным и бесплодным скитальцем по чужим духовным дорогам, обезличенным интернационалистом. Горе ему и его детям: им грозит опасность превратиться в исторический песок и мусор.

Национальное обезличение есть великая беда и опасность в жизни человека и народа. С ним необходимо бо-

роться настойчиво и вдохновенно. И вести эту борьбу необходимо с детства.

Напрасно было бы указать на то, что национализм ведет к взаимной ненависти народов, к обособлению, «провинциализму», самомнению и культурному застою. Все это относится к больному, уродливому, извращенному национализму и совершенно не касается духовно здоровой любви к своему народу. И в самом деле, кто захотел бы выслушивать с серьезным видом такие, например, возражения против гимнастики и спорта: гимнастика вредна и опасна, ибо она воспитывает в человеке ненависть к умственному труду, содействует общему огрубению души, ведет к эмфиземе легких, к переутомлению сердца и к вывиху рук и ног? Или — подобные же возражения против искусства: искусство вредно человеку, ибо оно прививает ему отвращение к мысли и здоровому физическому труду, приучает его к беспочвенному фантазированию, к лени, праздности, вину и разврату и убивает в нем вкус к общественной деятельности? По такому способу можно против *всего* возражать и *все* отвергнуть: достаточно только приписать *больные проявления — здоровому делу* и как можно ярче описать последствия *неумных злоупотреблений* так, как если бы это дело только и могло сводиться к злоупотреблениям... Злоупотреблять, как известно, можно всем — не только ядом, но и здоровой пищей, не только трудом, но и сном; не только глупостью, но и умом. Злоупотреблять можно и аргументацией в полемике; и приведенные возражения против национализма являются тому наглядным примером.

2. О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ

Итак, есть глубокий, духовно верный, творческий национализм; и его необходимо прививать людям с раннего детства.

Мы установили уже, что национальность человека определяется не его произволом, а укладом его инстинкта и его творческого акта, укладом его бессознательного и, больше всего, укладом его *бессознательной духовности*. Покажи мне, как ты *веруешь и молишься;* как просыпаются у

тебя *доброта, геройство, чувство чести и долга;* как ты *поешь, пляшешь и читаешь стихи;* что ты называешь *«знать»* и *«понимать»,* как ты *любишь* свою *семью;* кто твои любимые *вожди, гении и пророки,* — скажи мне все это, а я скажу тебе, какой нации ты сын; и все это зависит не от твоего сознательного произвола, а от духовного уклада твоего бессознательного.

А этот уклад слагается, формируется и закрепляется прежде всего и больше всего — в *детстве.* Воспитание детей есть именно *пробуждение их бессознательного чувствилища к национальному духовному опыту,* укрепление в нем их сердца, их воли, их воображения и их творческих замыслов.

Бороться с национальным обезличиванием наших детей мы должны именно на этом пути: надо сделать так, чтобы все прекрасные предметы, впервые пробуждающие дух ребенка, вызывающие в нем умиление, восхищение, преклонение, чувство красоты, чувство чести, любознательность, великодушие, жажду подвига, волю к качеству — были национальными, у нас в России — национально-русскими; и далее: чтобы дети молились и думали русскими словами; чтобы они почуяли в себе кровь и дух своих русских предков и приняли бы любовью и волею — всю историю, судьбу, путь и призвание своего народа; чтобы их душа отзывалась трепетом и умилением на дела и слова русских святых, героев, гениев и вождей. Получив в дошкольном возрасте такой духовный заряд и имея в своей семье живой очаг таких настроений, русские дети, где бы они ни находились, развернутся в настоящих и верных русских людей.

В особенности следует обогащать их следующими сокровищами.

1. *Язык.* — Язык вмещает в себе таинственным и сосредоточенным образом всю душу, все прошлое, весь духовный уклад и все творческие замыслы народа. Все это ребенок должен получить вместе с молоком матери (буквально). Особенно важно, чтобы это *пробуждение самосознания и личностной памяти* ребенка (обычно — на третьем, четвертом году жизни) совершилось на его родном языке. При этом важен не тот язык, на котором говорят

при нем другие, но тот язык, на котором *обращаются к нему,* заставляя его *выражать* на нем его собственные внутренние состояния. Поэтому не следует учить его чужим языкам до тех пор, пока он не заговорит связно и бегло на своем национальном языке. Это относится и к чтению: пока ребенок не зачитает бегло на родном языке, не следует учить его никакому иному чтению. В дальнейшем же в семье должен царить *культ родного языка:* все основные семейные события, праздники, большие обмены мнений — должны протекать по-русски; всякие следы *«волапюка» должны изгоняться;* очень важно частое чтение вслух Св. Писания, по возможности на церковно-славянском языке, и русских классиков, по очереди всеми членами семьи хотя бы понемногу; очень важно ознакомление с церковно-славянским языком, в котором и ныне живет стихия прародительского славянства, хотя бы это ознакомление было сравнительно элементарным и только в чтении; существенны семейные беседы о *преимуществах* родного языка — о его богатстве, благозвучии, выразительности, творческой неисчерпаемости, точности и т. д.

2. *Песня.* — Ребенок должен слышать русскую песню еще в колыбели. Пение несет ему первый душевный *вздох* и первый духовный *стон:* они должны быть русскими. Пение помогает рождению и изживанию чувства в душе, оно превращает пассивный, беспомощный и потому обычно тягостный аффект — в активную, текучую, творческую *эмоцию:* ребенок должен бессознательно усваивать *русский строй чувств и особенно духовных чувствований.* Пение научит его *первому одухотворению* душевного естества — по-русски; пение даст ему первое *неживотное* счастье — *по-русски.* Русская песня глубока, как человеческое страдание; искренна, как молитва, сладостна, как любовь и утешение; в наши черные дни, как под игом татар, она даст детской душе исход из грозящего озлобления и каменения. Надо завести русский песенник и постоянно обогащать детскую душу русскими мелодиями, — наигрывая, напевая, заставляя подпевать и петь хором. Всюду, по всей стране, надо создавать детские хоры — церковные и светские, организовывать их, объединять, устраивать съезды русской национальной песни. Хоровое пение национализи-

рует и организует жизнь — оно приучает человека *свободно и самостоятельно участвовать в общественном единении*[1].

3. *Молитва.* — Молитва есть сосредоточенная и страстная обращенность души к Богу. Каждый народ совершает это обращение по-своему, даже в пределах единого исповедания; и только для поверхностного взгляда Православие русского, грека, румына и американца — одинаково. Живое многогласие и многохваление Господа, идущее от мира, требует, чтобы каждый народ молился самобытно; и эту *самобытную молитву* надо вдохнуть ребенку с первых лет жизни.

Молитва даст ему *духовную гармонию;* пусть он переживет ее *по-русски.* Молитва даст ему источник *духовной силы — русской* силы. Молитва научит его сосредоточивать чувство и волю на совершенном — *по-русски.* Молитва даст ему религиозный опыт и поведет его к религиозной очевидности — *по-русски.* Ребенок, научившийся молиться, *сам пойдет в церковь* и станет ее опорой — *русской* опорой, *русской* церкви. Он найдет пути — и в глубину русской истории, и на простор русского возрождения. Неправославный может быть верным русским патриотом и доблестным русским гражданином; но человек враждебный Православию, — не найдет доступа к священным тайникам русского духа и русского миропонимания, он останется чужеродным в стране, своего рода внутренним «не-приятелем».

4. *Сказка.* — Сказка будит и пленяет мечту. Она дает ребенку первое *чувство героического* — чувство испытания, опасности, призвания, усилия и победы; она учит его мужеству и верности; она учит его созерцать человеческую судьбу, сложность мира, отличие «правды и кривды». Она заселяет его душу национальным мифом, тем хором образов, в которых народ созерцает *себя* и свою *судьбу,* исторически глядя в прошлое и пророчески глядя в будущее. В сказке народ схоронил свое вожделенное, свое ведение и ведовство, свое страдание, свой юмор и свою мудрость. Национальное воспитание неполно без национальной сказки. Ребенок, никогда не мечтавший в сказ-

---

[1] При этом, разумеется, конечно, дифференцированное, многоголосое пение, а не унисонный рев толпы.

ках своего народа, — легко отрывается от него и незаметно вступает на путь интернационализации. Приобщение к чужеземным сказкам *вместо* родных — будет иметь те же самые последствия.

5. *Жития святых и героев.* — Чем раньше и чем глубже воображение ребенка будет пленено живыми образами *национальной святости и национальной доблести,* тем лучше для него. Образы *святости* — пробудят его *совесть, а русскость* святого вызовет в нем чувство соучастия в святых делах, чувство приобщенности, отождествления; она даст его сердцу радостную и гордую уверенность, что «наш народ оправдался перед лицом Божиим», что алтари его святы и что он имеет право на почетное место в мировой истории («народная гордость»). Образы *героизма* — пробудят в нем самом волю к доблести, пробудят его великодушие, его правосознание, жажду подвига и служения, готовность терпеть и бороться; *а русскость* героя — даст ему непоколебимую веру в духовные силы своего народа. Все это, вместе взятое, есть настоящая школа русского национального характера.

Преклонение перед святым и героем *возвышает душу:* оно дает ей сразу — и смирение, и чувство собственного достоинства, и чувство ранга; оно указывает ей — и задание, и верный путь. Итак, национальный герой ведет свой народ даже из-за гроба.

6. *Поэзия.* — Стихи таят в себе благодатно-магическую силу: они подчиняют душу, пленяют ее гармонией и ритмом, заставляют ее прислушиваться к сокровенной жизни вещей и людей, побуждают ее искать закона и формы, учат ее духовному восторгу. Как только ребенок начнет говорить и читать, так классические национальные поэты должны дать ему *первую радость стиха* и постепенно раскрыть ему все свои сокровища. Сначала пусть слушает; потом пусть читает сам, учит наизусть, пытается декламировать — искренно, прочувствованно и осмысленно. Русский народ имеет единственную в своем роде поэзию, где мудрость облекается в прекрасные образы, а образы становятся звучащей музыкой. Русский поэт одновременно — национальный пророк и национальный музыкант. И русский человек, с детства влюбившийся в русский стих, — никогда не денационализируется.

В меру возрастания и в меру возможности необходимо открывать ребенку доступ ко *всем* видам *национального искусства* — от архитектуры до живописи и орнамента, от пляски до театра, от музыки до скульптуры. Тогда душа его всесторонне раскроется для восприятия того, что впервые дали ей песня, сказка и поэзия. Понятно, что наиболее доступным, наиболее увлекающим и непосредственно национализирующим видом искусства останется русская пляска со всей ее свободой и ритмичностью, со всем ее лиризмом, драматизмом и неистощимым юмором.

7. *История.* — Русский ребенок должен с самого начала почувствовать и понять, что он славянин, сын великого славянского племени и в то же время сын великого русского народа, имеющего за собою величавую и трагическую историю, перенесшего великие страдания и крушения и выходившего из них не раз к подъему и расцвету. Необходимо пробудить в ребенке уверенность, что история русского народа есть живая сокровищница, источник живого научения, мудрости и силы. Душа русского человека должна раскрыть в себе простор, вмещающий *всю* русскую историю так, чтобы инстинкт его принял в себя все прошлое своего народа, чтобы воображение его увидело всю его вековую даль, чтобы сердце его полюбило все события русской истории... Мы должны *освоить волею* наше прошлое и волею замыслить наше будущее. Мы должны прочувствовать окрыленные слова Пушкина: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». И еще: «Клянусь вам моею честью, что я ни за что на свете не согласился бы ни переменить родину, ни иметь другую историю, чем история наших предков, какую нам послал Господь». При этом национальное самочувствие ребенка должно быть ограждено от двух опасностей: от *националистического самомнения и от всеосмеивающего самоунижения.* Преподаватель истории отнюдь не должен скрывать от ученика слабых сторон национального характера: но, в то же время, он должен указать ему все источники национальной силы и славы. Тон скрытого сарказма по отношению к своему народу и его истории должен быть исключен из этого преподавания. История учит духовному *преемству и сыновней верности:* а историк, стано-

вясь между прошедшим и будущим своего народа, должен сам видеть его судьбу, разуметь его путь, любить его и верить в его призвание. Тогда только он сможет быть истинным национальным воспитателем.

8. *Армия.* — Армия есть сосредоточенная волевая сила моего государства, оплот моей родины; воплощенная храбрость моего народа, организация чести, самоотверженности и служения — вот чувство, которое должно быть передано ребенку его национальным воспитателем. Ребенок должен научиться переживать успех своей национальной армии как свой личный успех; его сердце должно сжиматься от ее неудачи; ее вожди должны быть его героями; ее знамена — его святынею. Сердце человека вообще принадлежит той стране и той нации, чью армию он считает *своею.* Дух воина, стоящего на страже правопорядка внутри страны и на страже родины в ее внешних отношениях — отнюдь не есть дух «реакции», «насилия» и «шовинизма», как думают иные даже до сего дня. Без армии, стоящей духовно и профессионально на надлежащей высоте, — родина остается без обороны, государство распадется и нация сойдет с лица земли. Преподавать ребенку иное понимание значит содействовать этому распаду и исчезновению.

9. *Территория.* — Русский ребенок должен увидеть воображением пространственный простор своей страны, это национально-государственное наследие России. Он должен понять, что народ живет не *для* земли и не *ради* земли, но что он живет *на* земле и *от* земли и что территория необходима ему, как воздух и солнце. Он должен почувствовать, что русская национальная территория добыта кровью и трудом, волею и духом, что она не только завоевана и заселена, но что она *уже* освоена и *еще недостаточно* освоена русским народом. Национальная территория не есть пустое пространство «от столба до столба», но исторически данное и взятое духовное пастбище народа[1], его творческое задание, его живое обетование, жилище его грядущих поколений. Русский человек должен знать и любить просторы своей страны: ее жителей, ее богатства, ее климат, ее возможности, — так, как человек знает

[1] Ср. у Шекспира о Цезаре: «мир лесом был для этого оленя, а тот олень душою мира был».

свое тело, так, как музыкант любит свой инструмент; так, как крестьянин знает и любит свою землю.

10. *Хозяйство.* — Ребенок должен с раннего детства почувствовать творческую радость и силу труда, его необходимость, его почетность, его смысл. Он должен внутренно испытать, что «труд» не есть «болезнь» и что работа не есть «рабство», что, наоборот, труд есть источник *здоровья и свободы.* В русском ребенке должна проявиться склонность к *добровольному, творческому* труду и из этой склонности он должен почувствовать и осмыслить Россию как бесконечное и едва початое трудовое поприще. Тогда в нем пробудится живой интерес к русскому национальному хозяйству, воля к русскому национальному богатству как источнику духовной независимости и духовного расцвета русского народа. Пробудить в нем все это — значит заложить в нем основы *духовной почвенности и хозяйственного патриотизма.*

Таков дух национального воспитания, необходимый русскому и каждому здоровому народу. Задача каждого поколения состоит в верной передаче этого духа, и притом в формах возрастающей одухотворенности, национального благородства и международной справедливости. Только на этом пути человечеству удастся соблюсти священное начало родины и в то же время одолеть соблазны — как больного национализма, так и всеразлагающего интернационализма.

3. О СОБЛАЗНАХ

Из всего сказанного должно быть уже ясно, в чем состоит связь между родиной и нацией.

Родина есть дух народа во всех его проявлениях и созданиях; национальность обозначает основное своеобразие этого духа. Нация есть духовно своеобразный народ; патриотизм есть любовь к нему, к духу, его созданиям и к земным условиям его жизни и цветения.

Истинный патриот любит дух своего народа, и гордится им, и видит в нем источник величия и славы именно потому, что выше Духа и прекраснее Духа на земле нет ничего, и еще потому, что его личный дух следует путям

его народа. И вот, каждый народ есть *по духу своему* некая *прекрасная самосиянность,* которая сияет *всем людям и всем народам* и которая заслуживает и с их стороны любви, и почтения, и радости. Каждое истинное духовное достижение — в звании, и в добродетели, в религии, в красоте или в праве — есть достояние *общечеловеческое,* которое способно объединить на себе взоры, и чувства, и мысли, и сердца *всех людей,* независимо от эпохи, нации и гражданской принадлежности. Нам ли, русским надо доказывать это, нам ли, проливающим с детства слезы над мучениями негра дяди Тома и зачитывающимся сказками Шехерезады; способным трепетать сердцем при виде скульптуры Праксителя или картины Леонардо да Винчи, умеющим молиться вместе с Бетховеном, созерцать вместе с Конфуцием и Платоном; отчаиваться вместе с Иовом и бушевать вместе с Шекспиром? Нам открыт дух всех народов; мы с детства привыкали и привыкли чтить и любить их гениев. Мы знаем по опыту, что истинное духовное достижение всегда национально и в то же время всегда выходит за национальные подразделения людей, а потому и уводит самих людей за эти пределы, отнюдь не колебля и не угашая свет родины, но обогащая его новыми восприятиями и лучевыми отражениями. Всякое истинное достижение и создание духа свидетельствует о некотором высочайшем и глубочайшем сродстве их, о некотором подлинном единстве рода человеческого, пребывающем, несмотря на все разделения, грани и войны. Оно свидетельствует о том, что самый патриотизм, отверзая человеку его духовное око, тем самым бесконечно и благотворно расширяет его духовный горизонт, и что *есть* вершина, с которой человеку может действительно открыться общечеловеческое братство, братство всех людей перед лицом Божиим.

Эта вершина и есть *родина* как *организм национальной духовной культуры.* Она пробуждает в человеке духовность, которая может быть и должна быть оформлена как *национальная* духовность, развертывающаяся в актах *национальной* структуры. И только пробудившись и окрепнув, она сможет найти доступ к созданиям чужого национального духа. Тогда человеку откроется всечеловеческое братство; но это братство будет не *интернациональным,* а *сверх-национальным.*

Необходимо раз навсегда провести отчетливую грань между *интернационализмом и сверхнационализмом*.

Интернационализм отрицает родину, и национальную культуру, и самый национализм, и духовный акт своеобразно-национальной структуры. Интернационалист, будучи духовно *никем,* желает сразу стать «всечеловеком»; и это не удается ему, ибо всечеловечество есть *духовное* состояние, которое может быть доступно только духовно и национально самоутвердившемуся человеку. То, что откроется бездуховному интернационалисту, будет не «всечеловечество», а элементарная животная низина, которая даст не культурный подъем и расцвет, а *всеснижение и всесмешение*. Человек родится в лоне своей семьи и своего народа; он — их детище; они дают ему первоначальное строение его тела, души и духа; стряхнуть все это с себя не в его власти; он может только не культивировать в себе духовную высоту своего семейного и национального начала; а предпочесть элементарную, животную низину. В этой низине он и найдет себе уровень для своего желанного «интернационализма». Так, русский интернационалист, не желающий русского духа, — *останется русским* по всему укладу тела и души, своего сознания и своего бессознательного; но это будет «русскость» *низшего, худшего, элементарно-животного уровня;* и этой бездуховной, выцветшей, грубой «русскости» будет легко вступить во всесмесительный и всеснижающий процесс с такими же бездуховными, выцветшими, грубоэлементарными интернационалистами других наций. Через ассимиляцию с ними он может даже постепенно создать некий безнациональный и бездуховный тип *международного беспочвенника,* который забыл свой родной язык и дух и не научился никакому чужому языку и духу, и живет в виде некоего интернационалистического «Тарзана»...

Напротив, *сверхнационализм* утверждает родину, и национальную культуру, и самый национализм, и особенно — духовный акт своеобразно-национального строения. Человек приемлет и дух своей семьи, и дух своего народа, и в них растет и зреет; он не «никто»; он имеет оплодотворяющее и ведущее его духовное русло. И именно оно дает ему возможность подняться на ту высоту, с которой перед ним откроется «всечеловеческий» духовный горизонт.

Образно говоря: только со своей родной горы человек может увидеть далекие чужие горы. Постигнуть дух других народов может только тот, кто утвердил себя в духе своего народа. Поэтому «сверхнационализм» отнюдь не отрицает *национализма и патриотизма,* но сам *вырастает из него;* так что у каждого народа может быть свой, особый «сверхнационализм» — русский, английский, французский и т. д., и ни один из них не будет жить в ущерб своему основному, исконному патриотизму — русскому, английскому, французскому и т. д. Ибо сверхнационализм доступен только настоящему националисту: только он сумеет увидеть ширь *духовной вселенскости и* не соблазниться ею — не соскользнуть в *духовную беспочвенность.*

В чем же состоит сущность истинного национализма?

Любить родину значит любить не просто «душу народа», т. е. его *национальный характер,* но именно *духовность его национального характера* и в то же время *национальный характер его духа.* Это различие нетрудно уловить на живом примере: русский человек может любить в Шекспире и Диккенсе даруемое ими духовное содержание, но специфически *английский* характер их творчества может быть ему чужд; напротив, Толстой и Достоевский будут ему близки и драгоценны — и в их духовном содержании и в специальной *русскости* их творческого акта и описанного ими быта. Но это-то и выражается формулою: мы можем любить у чужих народов духовность их национального характера, но трудно нам любить национальный характер их духовной культуры, которого они сами в себе нередко не замечают. В своей же, родной культуре мы будем любить все: не только ее *духовность,* но и ее *национальность,* причем, нередко у людей бывает так, что они с нежностью воспринимают национальный характер своего народа и мало воспринимает его духовную глубину и красоту: *чуют быт и не чуют духа.* Настоящий патриот чует больше всего *дух* своего народа, и притом так, что самый национальный уклад и быт пронизан для него насквозь лучами этого духа: это есть для него живое единство, которое он любит цельно и крепко. Он воспринимает национальные особенности родного ему народа как свои собственные; и питается не просто его *духовностью,* но и его *национальностью.* А это значит, что истинный

национализм есть *национализм духовный,* который идет не только от *инстинкта национального самосохранения,* но и от *духа* и любит не просто «родное», «свое», — но *родное-великое и свое-священное.*

Этим определяется отношение националиста и к другим народам.

Тот, кто совсем не знает, что такое дух, и не умеет любить его, тот не имеет и патриотизма. Но тот, кто чует духовное и любит его, тот знает его сверхнациональную, общечеловеческую сущность. Он знает, что *великое* русское — велико для всех народов; и что *гениальное* греческое — гениально для всех веков; и что героическое у сербов — заслуживает преклонения со стороны всех национальностей; и то, что глубоко и мудро в культуре китайцев или индусов, — глубоко и мудро перед лицом всего человечества. Но именно поэтому *настоящий патриот не способен ненавидеть и презирать другие народы,* потому что он видит их духовную силу и их духовные достижения. Он любит и чтит в них *духовность* их национальной культуры, хотя *национальный* характер их культуры может казаться ему странным, чуждым и даже неприятным. И эта любовь к чужому духу и его великим проявлениям нисколько не мешает ему любить свою родину преимущественною любовью, одновременно — *страстною и священною.*

Это можно выразить так: любить свою родину умеет именно тот, кто не склонен ненавидеть или презирать другие народы; ибо только он знает, что такое *дух,* и потому умеет обретать его дары и проявления у чужих народов; а не ведая духа, нельзя любить воистину свой народ. Истинный патриот любит в своем народе то, что *должны* любить и *будут* любить, когда узнают, и все другие народы; правда, он любит у своего народа и то, что другие народы *не* полюбят; однако и он вовсе не призван любить у других народов *все,* но лишь то, что составляет истинный источник их величия и славы.

В жизни и культуре всякого народа есть *Божие* и есть *земное. Божие надо и можно любить у всех народов,* что и выражено словами Писания: «всяческая и во всех Христос»; но любить *земное* у других народов не обязательно. Сострадание же к *«человеческому естеству»* не имеет огра-

ничений, если не считать *преимущественности* в служении *своему* народу.

Итак, истинный патриот не только не слеп к духовным созданиям и достижениям других народов, но он стремится постигнуть и усвоить их, чтобы приобщить к ним свой народ, чтобы обогатить ими его жизнь, углубить его путь и восполнить ими его творчество. Любить свою родину совсем не значит отвергать *всякое* иноземное влияние, но это не значит и *наводнять свою культуру полою водою иноземщины.* Есть творческая мера в духовном общении и взаимодействии народов; и мера эта лучше всего обретается живым, расцветающим творчеством самого народа.

Из всего этого вытекает, что истинный национализм не растворяется и не исчезает в душе, открытой для *сверхнациональной вселенскости.* Напротив, тот только может нелицемерно говорить о «братстве народов», кто сумел найти *свою* родину, усвоить ее дух и слить с нею свою судьбу. Только те народы способны к духовному братанью, которые создали свою родину и утвердились в своем национализме и патриотизме. Чтобы *брататься,* — надо прежде всего *быть,* и притом *быть самим собою,* и быть *перед лицом единого Отца.* Чтобы духовно брататься, — надо *не стыдиться своего национального бытия,* а нести его с *горделивым духовным достоинством.* Вот почему так называемый «христианский интернационализм» есть искусственная выдумка, сентиментальная и фальшивая; и каждый раз, как она выдвигается, надо ставить вопрос, не выдвигается ли она *для того, чтобы один народ мог успешнее разложить, завоевать и покорить другой народ?..*

Итак, отказывающийся от *своего индивидуального духовного лица* (все равно — будет это человек или народ) — не восходит на какую-то «высшую» ступень «всеобщего», а *нисходит в духовное небытие:* ему предстоит не «братание» и не братство, а *исчезновение с арены истории.*

Подобную же нелепость и фальшь предлагают те, кто допускает, что «русский народ» есть какой-то особенный «вселенский» народ, который призван не к созданию *своей* творчески-особливой, содержательно-самобытной культуры, а к претворению и ассимиляции всех чужих, иноземных культур. Это есть новое отречение от своего нацио-

нально-индивидуального духовного лица. Только нищие пекут хлеб из собранных отовсюду и растолченных сухих корочек; а русский народ не имеет оснований жаловаться на духовную нищету и побираться по чужим культурам; и он уже достаточно доказал это. Только малолетних заставляют списывать с книги или излагать чужие мысли своими словами, а русская культура давно уже выведена ее гениями из малолетства. Каждый народ призван иметь свое, самобытное, национально-духовное лицо, и эта самобытность не может состоять в сочетании отовсюду заимствованных черт; она возникает из инстинктивно-душевного своеобразия и из самостоятельного восприятия природы, людей и Бога, а не из заимствования отовсюду чужого достояния.

Правда, не всякому народу удается выносить самостоятельный духовный акт и создать самобытную духовную культуру. Народы, которым это удалось, суть духовно *ведущие* народы; народы, которым это не удалось, становятся духовно *ведомыми* народами. Задача ведущего народа не в том, чтобы подавить или искоренить ведомый народ, а в том, чтобы дать ему возможность *приобщиться к духовному акту и к духовной культуре* ведущего народа и получить от него творческое оплодотворение и оживление. Тогда ведомый народ находит *свою родину* в лоне ведущего народа и, не теряя своей исторической и биологической «национальности», вливается *духовно* в национальность ведущего. Формула такого патриотического «симбиоза» народов такова: «я римлянин, и притом галл»; «я англичанин, и притом африканский негр»; «я швейцарец, и притом лодин»; «я француз, и притом мавр»; «я русский, и притом калмык»... И эта формула означает, что *ведущему народу удалось выработать национальный акт такой ширины и гибкости,* а может быть, *и глубины,* что он образует для ведомых народов как бы *родовое духовное лоно,* которое они могут *видоизменять по-своему,* оплодотворяя и оживляя из него свою духовную жизнь.

Вот как определяется духовный смысл национализма. И перед этими основами бессильно меркнут все разновидности современного «интернационализма» и «антинационализма». У настоящего националиста жизнь его личного духа сразу — как бы «растворена» в духовной жизни

его народа и в то же время «собрана» из нее и сосредоточена в его живой личности; он дорожит этим чудесным состоянием духовного саморасширения и самообогащения и, произнося от лица своего народа «мы», он действительно чувствует себя как бы его живым аванпостом, блюдущим его имя, его достоинство и его земной интерес. И о других народах он мыслит, всегда исходя от своего народа, а о вселенскости он помышляет именно как патриот. Поэтому можно сказать, что *национализм есть правая и верная любовь личного «я» к тому единственному для него национальному «мы», которое одно может вывести его к великому, общечеловеческому «мы».* Человек может найти общечеловеческое только так: *углубить свое духовно-национальное лоно до того уровня, где живет духовность, внятная всем векам и народам.*

Единение человека с его народом — единение национальное и патриотическое — слагается обычно в форму *правовой связи* и принимает вид *государственного* единения. Вследствие этого *национализм и патриотизм* живут в душе в теснейшей связи с *государственным правосознанием.* Инстинкт, дух и чувство права, восполняя друг друга, создают в душе ту цельную, мужественную и нравственно-прекрасную энергию, которая необходима для героической обороны родины и которая, в то же время, не позволяет человеку впадать в состояние мирозавоевательной алчности. Эта энергия есть проявление «естественного правосознания».

Для человека с таким правосознанием *весь* род человеческий входит в правопорядок, в эту живую сеть субъективных правовых ячеек; и любовь к *своему* отечеству ведет его к отрицанию естественного права на существование и на духовный рост у других народов. Для такого националиста — *право* других *не* кончается там, где начинается *интерес его* народа, а право *его народа* не простирается до пределов его *силы*[1], но лишь до пределов его *духовной необходимости.* Каждый народ имеет неотъемлемое, естественное право вести национально-духовную жизнь, которая бывает иногда возможна и вне самостоятельной су-

[1] Оба воззрения характерны для современного шовинизма и воинствующего империализма.

веренной государственности; и каждый народ, отстаивая свою духовно-культурную самобытность, прав. Народы при всех условиях призваны видеть друг в друге — не материал для завоевания и порабощения, а *субъектов естественного и международного права;* и поэтому они призваны рассматривать свои взаимные споры как *споры о праве.* Только при таком понимании и восприятии дела — национализм, обоснованный духовно, будет постепенно преодолевать в себе свой опасный шовинистический уклон: ибо *любовь* к своему народу не есть неизбежно *ненависть* к другим народам; *самоутверждение* не есть непременно *нападение; отстаивание своего* совсем не означает *завоевание чужого.* И, таким образом, национализм и патриотизм становятся явлениями высокого духа, а не порывами заносчивости, самомнения и кровопролитного варварства, как пытаются изобразить это иные современные публицисты, не помнящие рода и растерявшие национальный дух.

При всех условиях неблагоразумно и опасно культивировать патриотизм как слепое, внеэтическое исступление, забывая о том, что внеэтическое ожесточение может только развязать безрассудную стихию международного нахрапа, а слепота может только довершить это безрассудство. Столкновение народов есть на самом деле не просто столкновение слепых и ненавистных взаимопосягательств, как думают нередко и трезвые обыватели, и «мудрые» политики; это есть, по существу своему, столкновение *правовых притязаний,* в основе которого лежит различное понимание и толкование *естественных прав,* принадлежащих народам. Такое столкновение требует *правового регулирования.* Естественное право народа есть *притязание* его на *духовно-достойную жизнь,* на расцвет его Богу-служащей духовной культуры. Решение такого спора о правах посредством силы и завоевания есть способ *примитивный* и, как показывает история последних десятилетий, культурно-разрушительный. Война становится все более и более обоюдоострым орудием; она оказывается способом, опасным не только для побежденного, но и для победителя; она требует от народа таких духовно- и нервно-непосильных напряжений и грозит им таким внутренним социальным распадом, что *заставляет* людей помышлять со все возрастающей искренностью о *правовом* разрешении

международных столкновений. Трудно надеяться на то, что война исчезнет совсем из истории человечества; однако она все более приобретает и будет приобретать для воюющих значение совместного или даже всеобщего «харакири», т. е. хозяйственно-политического и социально-культурного самоубийства или, во всяком случае, самоизуродования; и поэтому исторически можно предвидеть, что в дальнейшем будет возрастать тяготение к правовому разрешению международных споров.

Столкновение прав есть *спор о праве,* а спор о праве должен разрешаться именно на путях *правовой организации* и взаимного признания взаимных прав. Духовное назначение войны в истории человечества и состоит, между прочим, в том, чтобы убедить людей в естественности и необходимости правового пути.

Вот почему патриотизм и национализм, вскормленные духом и сроднившиеся со здоровым правосознанием, не могут видеть в войне лучшего способа бороться за право; отнюдь не впадая в наивное прекраснословие пацифизма и в его политическую пропаганду, которая только и может *обезоружить доверчивого и предать его на поток и разграбление воинственным соседям,* — настоящий патриот должен искать *не силы, попирающей всякое право, а права, поддержанного достаточной силой...*

Итак, любить свою родину не значит считать ее единственным на земле средоточием духа; ибо тот, кто утверждает это, не знает вообще, что есть Дух, а потому не умеет любить и дух своего народа; его удел — звериный национализм. Нет человека и нет народа, который был бы «единственным» средоточием духа, ибо дух живет по-своему во всех людях и во всех народах. Истинный патриотизм и национализм есть любовь не слепая, а зрячая; и парение ее не только не чуждо добру, и справедливости, и праву, и, главное, Духу Божию, но есть одно из высших проявлений духовности на земле.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
О ПРАВОСОЗНАНИИ

1. КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ

Если современный «просвещенный» человек склонен или сомневаться в значении родины, патриотизма и национализма, или просто отвергает все эти драгоценные основы жизни, то о *правосознании,* о его сущности, о его глубоких источниках и о его жизненной необходимости — он вряд ли и вспоминает. Самое большее, о чем помышляет современный человек, это о своих личных правах и привилегиях, а именно, как бы их закрепить за собою и расширить во все стороны, по возможности не подвергаясь судебным неприятностям; но о том, что действующее в стране право — закон, указ, полномочие, обязанность, запрет — не может жить и применяться *вне живого правосознания,* не может поддерживать и оберегать ни семью, ни родину, ни порядок, ни государство, ни хозяйство, ни имущество, об этом современный человек почти и не вспоминает. Это ведет к двум последствиям: с одной стороны, действующее в стране так называемое *положительное право* не может совершенствоваться в своем *содержании* и начинает осуждаться и отвергаться целиком как ничего не стоящее, «буржуазное» право; с другой стороны — происходит медленный подрыв и постепенное ослабление его организующей, упорядочивающей и оберегающей *жизненной силы.*

Ныне мы переживаем эпоху, когда правопорядок становится повсюду непрочным и колеблется в самых основах своих; когда большие и малые государства стоят перед возможностью крушения и распада, а над миром носятся какие-то всеразлагающие дуновения или даже по-

рывы революционного ветра, угрожающие всей человеческой культуре. Это означает, что необходимо начать планомерную, систематическую *борьбу за укрепление и очищение современного правосознания.* Если эта борьба не начнется или не будет иметь успеха, тогда правосознание современного человечества станет жертвою окончательного разложения, а вместе с ним рухнет и вся современная мировая культура.

Современное человечество переживает *кризис правосознания.* Мировая история отмечает такой кризис не в первый раз, достаточно вспомнить хотя бы крушение древнего мира. Тогда этот кризис начался с медленного, но неуклонного разложения религиозности, которое постепенно захватило и семейную жизнь, и правосознание. Тогда великое римское государство вступило в длительный трагический период смуты, восстаний и гражданских войн, которые подточили его духовные и государственные устои настолько, что народы, вторгшиеся с севера, нашли рыхлое и слабое, неспособное к сопротивлению политическое тело и затоптали его своею волною. Правосознание, утратившее свои религиозные корни, оказалось неспособным поддерживать и отстаивать монументальную государственность и культуру Рима, а неумолимая история произнесла над этим правосознанием свой суд.

Спасение и обновление мирового правосознания и правопорядка пришло в то время от *христианства.*

Еще тогда, когда кризис римской государственности развертывался и углублялся, миру было даровано учение Христа, новое, благодатное откровение и новый духовный опыт, которому было предназначено заложить основы новой культуры и нового мира. Собственно говоря, христианское учение не дало людям никакого нового учения о праве, о правосознании, о государстве и политике, о законах и суде, о правах и сословиях; оно как будто бы отодвигало все эти предметы на второй план как малосущественные, а по истолкованию первых веков, оно даже будто бы их отвергало и осуждало. Оно обращалось скорее к последним, глубочайшим источникам человеческого духа. Христианская религия учила человека новому отношению к Богу и к людям. Она призывала его к *живому единению с Божеством* в целостной, беззаветной *любви*

и к живому единению с ближними в искреннем *боголюбивом человеколюбии.* Но в этом призыве веял некий божественный, религиозно-нравственный дух, пребывание в котором сообщало человеку новый подход ко всему миру, а потом и *к праву, и к государственной жизни.* В человеческой душе возжигалась неугасимая купина *любви,* обновлявшей *все ее духовные акты,* открывавшей им *новые силы и новые* цели.

Христианство учило, что Божественное выше человеческого и духовное выше материального и земного. Но Божественное не противостоит человеку в недосягаемом удалении; оно таинственно вселяется в человеческую душу, одухотворяет ее и заставляет искать *подлинного совершенства* на всех земных путях. Что бы ни делал христианин, он ищет прежде всего живого единения с Богом. Он ищет Его совершенной воли, стараясь осуществить ее как свою собственную. Поэтому жизнь христианина не может быть ни бесцельною, ни страстно-слепою: он во всем обращен к Богу, поставляя Его выше всего прочего, подчиняя Ему все и в себе, и в делах своих. Его внутренняя направленность — оказывалась *религиозною;* его религиозная направленность становилась — *всепроникающею.*

Вот это-то религиозное настроение и вносило в общение людей и в процесс общественной организации дух *нового, христианского правосознания.* Оно прикрепляло волю человека к единой, высшей цели; оно научало его ставить духовное выше материального и подчинять *личное* как начало своекорыстия, гордости и посягания — *сверхличному,* как началу качества, достоинства и совершенства. Этим правосознание прикреплялось к своим благородным первоосновам: к *достоинству, самообладанию и дружелюбной общительности.* Всюду, где действительно расцветала полнота любви, она порождала *совестное доброжелательство, примиряющую справедливость, жертвенную щедрость.* И когда прошли первые века христианства и оно побороло в себе тягу к отвержению мира, к мечтательному утопизму и моральному максимализму, когда христианин увидел, что государство может не отвергать Христово учение, но помогать его успеху и прислушиваться к нему, когда он в борьбе с язычеством начал утверждать свои права и признал себя *субъектом*

права, — он внес в это гражданское самоутверждение принципы *самообуздания, скромности и отречения.*

К этому времени христианин уже впитал в себя бессознательную уверенность в том, что человек должен подавлять в себе беспредметное честолюбие, жадность, вражду, склонность к озлобленному напору и отпору. Его правосознание уже привыкло рассматривать эти влечения как *греховные;* и благодаря этому человек понял, что *право есть начало мира.* Христианство вносило в душу дух *миролюбия и братства,* дух *не* формальной, *не* всеуравнивающей *справедливости.* Оно приучало его не видеть в подчиненности ненавистного бремени и в то же время воспринимать власть как великое бремя ответственности. Христианство давало людям мерило совершенства и этим научало их отличать лучших людей от худших. Оно указывало людям, чему должен служить правитель, какова высшая цель государства, и тем самым определяло, кто именно призван стать во главе государства. Христианство учило гражданина *любви;* любви и доверия к согражданам («ближним»); любви, доверию и уважению к предлежащим властям: «ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро» (Римл. 13, 4). Так оно пропитывало общественный строй духом *солидарности и лояльности,* тем духом *органического единения,* который углубляет, накопляет и сосредоточивает национальную силу и политическую гениальность народа.

Именно с этим была связана та, выношенная средними веками, уверенность, согласно которой государство имеет религиозную задачу, — служить своею властью *Божьему делу* на земле. Эту религиозную задачу церковь то указывала светской власти, то пыталась взять в свои руки, а государство понимало религиозно свою высшую цель даже тогда, когда оно отказывалось от повиновения церкви. В те времена человек, делая государственное дело, старался поднять свой взор к Высшему, к Богу; и делал, как мог, религиозно осмысленное дело. Пусть «теократия» не осуществлялась или осуществлялась дурно; пусть в самом замысле «теократии» была чрезмерность и неверность; — и все же правосознание, ведя властную борьбу с человеческой хищностью и порочностью, не растворяясь в христианской добродетели, имело глубокую и очищающую религиозную основу, и на этой основе государству удава-

лось ограждать и растить всю духовную культуру. Христианство своим религиозным светом *осмысливало и облагораживало* дело права и государства; и в то же время, оно утверждало в человеческой душе такие благодатные силы *(любовь и совесть),* которые вдохновляли человеческое правосознание и придавали ему некую неразложимую, абсолютную опору.

Я не могу проследить здесь великий процесс секуляризации культуры, происходившей в Европе на протяжении нескольких веков: влияние религии и церкви слабело; культура «освобождалась» от опеки духовенства и становилась светскою («секуляризовывалась»). Человечество за последние века пережило великий *иррациональный кризис,* который захватил подсознательные корни веры, нравственности, науки, искусства и правосознания. Эти корни стали слабеть и отмирать. Люди охладели к духовному опыту и прилеплялись к чувственному восприятию; они переставали ощущать Божественное в себе и в мире и укреплялись в доверии к рассудку, к естествознанию и технике. Человеческий горизонт все меньше захватывал иррациональную глубину души и духа и все определеннее ограничивался двумя измерениями дневного сознания[1].

Этот кризис захватил и правовое чувство человека, обычно называемое право-сознанием, так, как если бы дело шло здесь только об одном «сознании» (в действительности «правосознание» охватывает и чувство, и волю, и воображение, и мысль, и всю сферу бессознательного духовного опыта). Весь внутренний *правовой опыт* человека начал постепенно мельчать и искажаться. Новое правосознание становилось все менее христианским, все менее религиозным, все более безбожным; религиозный дух и смысл начал все более и более покидать правовую и политическую жизнь. Отношение человека к человеку стало утрачивать христианскую окраску и санкцию; брат терял брата, и вследствие этого волк шел навстречу волку. Правосознание становилось беспочвенным; мотивы и побуждения его делались плоскими; оно теряло свое благородное направление, забывало свои первоначальные, священные основы и подчинялось духу *скептицизма,* ко-

[1] См. главу первую, о духовном опыте.

торому все сомнительно, духу *релятивизма,* для которого все относительно, и духу *нигилизма,* который не хочет верить ни во что. Правосознание разучалось видеть добро и зло, право и бесправие; все стало условным и относительным, водворилась буржуазная беспринципность и социальное безразличие; надвигалась эпоха духовного нигилизма и публичной продажности. В 19 веке в Европе расцвела абстрактная и формальная юриспруденция, которая считалась только с *положительным* правом и не хотела слышать о *естественном* (т. е. верном, идеальном, совестном) праве; и лишь там и сям можно было отыскать в этой юриспруденции скудные намеки на социальную идею и бледные остатки христианской идеологии, причем и то и другое считалось «субъективным» и «ненаучным». И как только попытались научно оформить этот зародыш социальной идеи, так сложилась «социалистическая» и «коммунистическая» доктрина. Словом, *расцвету формальной юриспруденции соответствовало пренебреженное и разлагающееся правосознание.*

Формула выродившегося и зародившегося правосознания была развернута марксистами, сначала теоретически, а потом и в революционной практике. Она может быть выражена приблизительно так: «Государство есть относительное, условное равновесие равных человеческих индивидуумов, которые суть не что иное, как материальные существа, подлежащие количественному измерению и счислению. Государство есть не что иное, как хозяйственный механизм; строить его должна верхушка классовой, пролетарской, коммунистической партии — в порядке централизма, диктатуры и террора; этой партийной верхушке массы должны беспрекословно подчиняться. Люди делятся по имущественному принципу на классы; эти классы должны бороться друг с другом на жизнь и на смерть за обладание земными благами, пока не победит беднейший класс пролетариата; он призван разрушить старое государство и построить новое. Захватив власть, партия этого класса, коммунистическая партия, должна принудительно осуществить изъятие всякой частной собственности, превратить всех в пролетариев и провести всеобщее обобществление всех средств и орудий производства («экспроприацию», «пролетаризацию», «социали-

зацию»); духовно- и хозяйственно-самобытная личность должна исчезнуть с лица земли, и тогда установится свободное от всяких неравенств и различий всеобщее потребительное благополучие на основе всеобщего принудительного труда».

Это состояние правосознания характеризуется следующими чертами:

1. Отрицание духа, духовной личности, духовной культуры, веры, семьи, родины и права как самостоятельных ценностей;
2. Сведение человеческой жизни к материальным процессам, материальным мерилам и материальному благополучию;
3. Неверие в силу личной свободы, инициативы и органического, творческого равновесия личной и общественной жизни;
4. Вера в силу механической покорности, диктаториального приказа и запрета; в силу вражды, классовой борьбы, революции, всеобщей бедности и всеобщего уравнения.

Такое «правосознание» есть право-сознание только по видимости; на самом деле оно просто *отрицает право* как проявление духа и свободы и утверждает диктаториальный, механический произвол. Поэтому оно обозначает собою последнюю, низшую ступень в разложении правосознания. Дно достигнуто. Кризис развернулся. В дальнейшем возможны только два пути: всеобщее крушение права, государственности и духовной культуры или же возрождение, очищение и обновление правосознания.

2. О СВОБОДНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ

Чтобы преодолеть этот глубокий и опасный кризис, современный человек должен прежде всего обратиться к самому себе, *к своему личному правосознанию,* постигнуть, чем оно болеет и чего ему не хватает, и попытаться возродить в своей душе священные основы и глубокие источники здорового правосознания.

Каждый из нас имеет правосознание, совершенно независимо от того, знает он об этом или нет, заботится он о нем, очищая его, укрепляя и облагораживая, или, наобо-

рот, пренебрегает им. Нет человека без правосознания, но есть множество людей с пренебреженным, запущенным, уродливым или даже одичавшим правосознанием. Этот духовный орган необходим человеку; он участвует так или иначе во *всей* его жизни, даже и тогда, когда человек совершает преступления, притесняет соседей, предает свою родину и т. д.; ибо слабое, уродливое, продажное, рабское, преступное правосознание — остается правосознанием, хотя его душевно-духовное строение оказывается неверным, а его содержания и мотивы — ложными или дурными. Словом, человек не может обходиться без правосознания, ибо всякая случайная встреча с другим человеком, всякий разговор, всякое соседство, не говоря уже о сделках и об участии в любой общественной организации, — ставит немедленно вопрос *о праве и не праве, о моем* праве и *твоем* праве, о взаимных обязанностях, о законах и т. д. И каждое такое явление обращается к правосознанию человека и приводит его в движение[1].

И вот, если я забываю о моем правосознании, пренебрегаю им, предоставляя ему слагаться и проявляться как угодно, — то оно *не исчезает* от этого и не перестает влиять на мои поступки и направлять мою жизнь, но уподобляется заброшенной дорожке в саду, которая зарастает сорной травой и по которой все-таки надо ходить; или оно уподобляется грязному, зараженному инструменту в руках хирурга, которым тот продолжает производить свои операции. Правосознание есть как бы легкое, которым каждый из нас вдыхает и выдыхает атмосферу взаимного общения. Пренебрегать этим орудием или органом — просто непозволительно.

Но что же значит — не пренебрегать им?

Первое, что мы все должны понять и усвоить, это то, что мы *постоянно нуждаемся* в правосознании и *пользуемся* им; и что правосознание есть *творческий источник пра-*

---

[1] Чтобы это не казалось голословным, привожу живые, подтверждающие примеры, начиная с уличной встречи: «имеет он право столкнуть меня с тротуара? имеет он право долго и вызывающе меня рассматривать? дерзко заговаривать со мной? входить без спросу в мой сад? пить из моего колодца? не уплатить мне деньги за купленную у меня вещь? не платить членского взноса? оскорблять председателя собрания? нарушать устав общества?» и т. д., и т. д.

ва, живой орган правопорядка и политической жизни. Каждый закон, каждый указ — возникает в правосознании и является его плодом — то зрелым, то незрелым, то полезным, то вредным. Каждый закон, возникнув из правосознания властвующих людей, обращается к правосознанию множества подчиненных людей, чтобы сказать им: «это ты *обязан* сделать», «так ты *имеешь право* поступить», «этого ты *не смеешь* делать»; и соответственно, — чтобы этим «вдвинуть» им в душу *веское, решающее побуждение поступать лучше,* правомернее, справедливее, осторожнее... Это происходит во всех сферах права.

Тот, кто поймет эту задачу права и увидит эту работу правосознания, тот сразу отделается от очень распространенного и вредного предрассудка, согласно которому право есть нечто «формальное» и «внешнее».

В действительности право «формально» только в том смысле, что оно обыкновенно формулируется в виде *общих* суждений, помысленных и облеченных в слова, и что поэтому оно редко имеет возможность охватить всю глубину и сложность *единичного* жизненного явления. Но по своему *исходному пункту* (правосознание законодателя) и по тому пункту, *куда* оно направляется (правосознание подчиненного человека), — право нисколько не «формально». К тому же оно совсем не призвано «формально» действовать в жизни и «формалистически» применяться к отношениям людей; напротив, между *общей* формулой закона и *единичным* человеком должно встать живое правосознание, которое и будет заботиться о том, чтобы формальное и строгое, неумолимое применение закона не породило в жизни сущую несправедливость (по римской формуле: «Summum jus summa injuria»*). Итак: формален только закон; но ни правосознание законодателя, ни правосознание чиновника и судьи (применяющих право), ни правосознание рядового подчиненного гражданина — вовсе не формальны. Напротив, все эти три инстанции правосознания должны быть связаны *с глубокими источниками духовной жизни:* им необходима и вера, и любовь, и внутренняя свобода, и совесть, и патриотизм, и чувство собственного достоинства, и чувство справедливости. Тогда они будут стоять на высоте и жизнь людей будет не вырождаться от их действия, а совершенствоваться.

Подобно этому, право есть нечто «внешнее» только в том смысле, что его законы и предписания исходят, так сказать, «от других людей» и поэтому подходят к нам как бы «извне», не спрашивая нашего согласия и налагая на нас обязанности и запреты, часто вопреки нашей воле. Но творческий источник права пребывает во *внутреннем* мире человека; и действовать в жизни право может только благодаря тому, что оно обращается к *внутреннему* миру человека, а именно к тем слоям души, в которых слагаются *мотивы* человеческого поведения и, сложившись, порождают живой поступок человека.

Из этого вытекает, что если человек хочет видеть *свои личные права огражденными и защищенными,* то он должен вложиться своим правосознанием в эту общественную правовую жизнь и верно участвовать в ее устроении. В качестве законодателя, он должен творить законы из верной глубины своего правосознания; в качестве судьи и чиновника, он должен толковать и применять закон так, как этого требует его справедливое правосознание; в качестве рядового подчиненного гражданина, он должен принять закон в свое правосознание и включить приказы, запреты и позволения, содержащиеся в законе, в процесс мотивации своего поведения.

Во всех этих положениях человек призван к тому, чтобы *добровольно вменять себе законы своего государства,* стараться *верно понимать* их и *повиноваться им по чувству свободно признанной обязанности.* Пусть эти законы кажутся ему формальными и внешними — он все-таки должен принять их в порядке *самообязывания* и верно соблюдать их. Это необходимо по следующим основаниям.

Во-первых, потому, что в самую сущность права и правопорядка входит эта способность — *совершенствоваться посредством лояльного повиновения граждан.* Само собой разумеется, что всюду и всегда могут встречаться нецелесообразные или несправедливые законы, такие, которые были неудачны с самого начала или такие, которые с течением времени утратили свою жизненную полезность. Но закон не отменен, он должен применяться и соблюдаться, по римской формуле — «*суров* закон, но он *закон*»; это есть единственное средство поддерживать правопорядок в стране, укреплять его и не отдавать его в жертву

произволу, личной корысти и случайности. Тот, кто умеет блюсти «суровый» закон вплоть до самой его отмены, — тот *предотвращает анархию и бесправие, ограждает принцип права и воспитывает правосознание своих сограждан.* Однако наряду с этим выдержанным блюдением права должна вестись борьба за отмену нецелесообразного или несправедливого закона; он обязателен до законодательной отмены, но отмена эта должна быть по возможности ускорена. Каждый здоровый правопорядок открывает гражданам эту возможность: *бороться за новые, лучшие законы и за новый порядок жизни, пребывая в лояльности по отношению к действующим законам.* В этом смысле право подобно перестраивающемуся дому, в котором люди продолжают жить и во время его перестройки. Нельзя отменить закон, не заменив его новым: ибо *беззаконие* есть начало произвола, несправедливости, «захватного права» и взаимных обид. Нельзя позволить гражданам не соблюдать действующий закон: ибо *противозаконие* расшатывает правосознание и узаконивает в стране дух преступности. Но нельзя также звать граждан к самовольному ниспровержению закона снизу, ибо этот путь совмещает беззаконие с противозаконием и ведет к революции и гражданской войне, а гражданская война есть одно из самых страшных и разрушительных явлений истории.

Итак, первое правило правосознания гласит: *соблюдай добровольно действующие законы и борись лояльно*[1] за новые, лучшие.

Во-вторых, гражданин призван добровольно признавать и соблюдать законы своей родины потому, что это есть единственный способ — *поддерживать правопорядок* и в то же время *оставаться в нем свободным.* Каждый правопорядок, как мы уже указали, обращается к гражданам со словами: «это тебе предписывается — твоя обязанность», «это тебе разрешается — твое полномочие», «это тебе запрещается — твоя запретность»... Допустим, что границы этих обязанностей, полномочий и запретностей — меня не удовлетворяют; так обыкновенно и бывает, потому что всякий человек хотел бы иметь побольше полномочий и поменьше обязанностей и запретностей. Однако эти пра-

[1] Т. е. согласно конституции государства.

вовые обязанности, полномочия и запретности образуют целую живую систему *субъективных прав,* как *гражданских* (имущественных, семейных и наследственных), так и *публичных* (права свободы, права избирательные, права властные), и права эти поддерживаются и ограждаются всем правопорядком и особенно государственной властью. И вот человеческая история показала и подтвердила много раз, что *лучше пользоваться более ограниченной системой субъективных прав, крепко огражденных и действительно обеспеченных, чем видеть, как твой безграничный круг субъективных притязаний попирается произволом соседей и деспотической властью.* Лучше малая свобода, всеми чтимая и блюдомая, чем большая свобода, никем не соблюдаемая и не уважаемая, ибо такая «большая» «свобода» есть величина *мнимая,* которая не заслуживает ни названия «свободы», ни названия «права». Таков великий урок всех революций: люди не хотят малых, но огражденных прав, они хотят максимума (величайших полномочий и полного освобождения от обязанностей и запретностей); революционеры обещают им этот желанный максимум, ниспровергают старый правопорядок, и люди радуются, как поток истории уносит и поглощает их малые, но огражденные права; тогда революция развертывает свои разрушительные силы и к концу ее люди с ужасом удостоверяются в том, что за ними остался *минимум прав, лишенных всякой прочности и защиты...*

Так обнаруживается великая тайна свободы. Человек призван не *к внешнему самоосвобождению от закона* (таков путь революции, анархии, деспотизма); но *к внутреннему самоосвобождению в пределах закона* (таков путь лояльности, правопорядка и здорового развития). Внутреннее освобождение — совершается в духе и выражается в *добровольном самообязывании;* оно освобождает человека не *от* закона, а *в* законе, ибо человек свободно блюдет закон, который свободно признало его правосознание. Человек не призван ниспровергать правопорядок; он призван *беречь* его, ограждать и *совершенствовать* его содержание, верно и терпеливо реформируя его. Свобода от закона есть анархия, бесправие и гибель. Человек может быть свободным только *под* законом и *через* закон. А эта законная свобода будет тем прочнее и полнее, чем

больше он опирается на внутреннюю свободу — на лояльное самообязывание здорового правосознания.

Таково второе правило правосознания: *освободи себя внутренно посредством добровольного самообязывания и ищи свободы только через закон и под законом.*

3. О ТВОРЧЕСКОМ ПРАВОСОЗНАНИИ

Здоровое правосознание есть не только *свободное и лояльное* состояние души, но и *творческое* состояние. Оно принимает действующие законы *не* для того, чтобы формально проводить их в жизнь, превращая правопорядок в мертвую бюрократическую работу, в сухое педантство, в явную несправедливость; но для того, чтобы оживлять отвлеченные формулы закона из этой духовной глубины, где живет *чувство права, человечность и любовь.* Здоровое правосознание *творит* право не только тогда, когда изобретает новые, лучшие законы, но и тогда, когда *применяет действующие* законы к живым отношениям людей.

Каждый закон имеет обычно строго определенный, записанный и напечатанный словесный состав. За его словами скрывается логически помысленное и формулированное суждение, в котором обозначено, каким людям, в каких случаях жизни принадлежат строго определенные полномочия, обязанности и запретности. Каждый человек имеет, конечно, эгоистический интерес истолковать это суждение и эти определения так, чтобы на его личную долю выпало как можно меньше обязанностей и запретностей и как можно больше прав или полномочий. В большинстве случаев люди стараются перетолковать закон в свою пользу, а иногда и прямо извратить его смысл. В противоположность этому здоровое правосознание движется по совершенно иному пути.

Человек со здоровым правосознанием старается прежде всего отодвинуть в сторону свой личный интерес и понять смысл закона так, как он предносился *мысли и воле самого законодателя.* Он стремится уловить и усвоить ту *цель закона,* которую законодатель имел в виду: *для чего* этот закон был придуман и установлен? *Как и чем* должна была быть достигнута эта творческая цель? и т. д.

Когда эта первая задача разрешена, тогда встает вторая: надо постигнуть не ту цель, которую когда-то имел в виду законодатель, и не тот смысл, который тогда исторически ему предносился, но другую цель — *высшую и подлинную цель социальной справедливости,* которая должна была бы предноситься законодателю, если бы он исходил из здорового, «нормального» *христианского правосознания.* Эта задача несравненно труднее и ответственнее. Чтобы разрешить ее, человек должен ввести установленный им смысл закона и фактическую цель законодателя *в глубину своего здорового христианского правосознания,* как бы окунуть их в эти очистительные и целительные воды; или, выражая это в ином образе, — он должен поставить найденный им смысл и уловленную им цель закона в луч так называемого «первоначального», или «естественного», правосознания, которое соответствует в области права тому, что мы называем в области нравственности — *совестью.* Человек должен сделать это не для того, чтобы осудить или даже отвергнуть положительный закон, но для того, чтобы *применяя его к жизни, выделить в нем и выдвинуть на первый план, сделать решающими — найденные в нем справедливые и верные, христиански-социальные элементы.* Надо научиться извлекать из каждого закона то, что в нем *верно и справедливо.* Надо сделать так, чтобы *дух владел буквою* и чтобы буква не заедала дух. Надо отыскивать в каждом законе скрытую в нем правду и ей отдавать первенство над остальным. *В каждом законе надо как бы разбудить заснувшую в нем справедливость.* В каждом законе надо уметь найти то, что может одобрить правовая совесть человека; и это, найденное, надо делать руководящим началом. Это можно было бы выразить еще в таких образах. В каждом законе есть некое доброкачественное звенящее серебро правоты и добра; надо отчистить монету закона так, чтобы это серебро проявилось и засияло. Или иначе: составляя и издавая закон, законодатель как бы смотрел в очки своего правосознания — на реальную жизнь и на требования естественного права и справедливости; и эти очки его надо добыть и в них поглядеть, но не для того, чтобы увидеть только то, что он видел (это было бы делом «исторической догматики»), а для того, чтобы увидеть больше и лучше и чтобы влить это *большее и лучшее* в

толкование и применение закона (и это будет делом *творческого правосознания).* Или еще иначе: не стоит читать старый манускрипт, не стряхнув с него пыли; кто оставит потемневшую от грязи и пыли картину в неочищенном виде и не попытается бережно счистить с нее посторонние слои, чтобы увидеть ее в ее подлинном виде и чтобы разглядеть скрытую в ней художественную глубину?..

Этот акт творческого правосознания следует представлять себе так.

В глубине человеческой воли живет некое *верное, справедливое воленаправление,* которое как бы *«видит»* или *«чувствует» права людей и добивается их осуществления в жизни.* Эту способность души можно обозначить как *первоначальное* или *естественное правосознание;* иные называют его «чувством права», другие «правовой интуицией», третьи «правовою совестью». Дело, конечно, не в наименовании, а в том, чтобы *чтить* в самом себе это проявление духа, *беречь* его, *пробивать себе дорогу к нему и совещаться с ним во всех правовых делах.* Ибо только на этом пути можно развить и укрепить в себе «естественное правосознание» и придать ему в жизни настоящую *творческую* силу.

Естественное правосознание, подобно совести, присуще в большей или меньшей степени каждому человеку — «от природы». То, что оно дает и открывает человеку, есть — иногда смутное, иногда очень отчетливое — представление *о лучшем праве; о духовно-верном и справедливом распределении прав* среди людей; и, главное, о той *объективной* цели, *которой служат право, государство и суд*[1]. В частности, при применении и толковании закона, естественное правосознание указывает людям на то, какое содержание *должно было бы* заключаться в данном законе, если бы законодатель исходил из естественного правосознания, и как нужно лучшим образом применить к жизни данный закон для того, чтобы он служил единой и объективной цели всякого права.

Само собой разумеется, что показание естественного правосознания не дает сразу ни готового закона, ни готового судейского приговора. Однако оно указывает чело-

---

[1] Раскрытие идеи «естественного правосознания» требует особого исследования.

веку неколеблющееся и несомнительное *направление,* в котором должны двигаться ум и воля людей для *творческого правообразования.* Для издания закона и для вынесения приговора нужны особые полномочия. Но культивировать в себе естественное правосознание может и должен каждый из нас, особенно же те люди, которые заняты вопросами права по самому призванию своему. Ибо поистине право *не* есть только *условная формула,* выдуманная и установленная людьми, и значение права не определяется одним человеческим предписанием (по Аристотелю: «θήσει» — «уложением»); право есть, по самому существу своему, некая *духовная,* священная *ценность* и значение его определяется *тем способом духовного бытия, который присущ земному человеку от природы* по Аристотелю: «φύσει»).

Чтобы удостовериться и убедиться в этом раз и навсегда, надо только представить себе однажды со всею силою и наглядностью, что вот *я* (именно я, а не кто-нибудь другой) *лишен всех прав и отдан в жертву полному бесправию:* отныне у меня нет *никаких* огражденных полномочий; я *нигде* не могу найти *никакой* правовой защиты; другие люди не имеют никаких обязанностей по отношению ко мне, мало того, они могут делать со мной все, что угодно; им все позволено, а я — вне права и закона; я подобен как бы беспризорному ребенку, отданному в жертву чужой жадности, злобе и властолюбию...

Кто однажды вообразит себя в таком состоянии, и вчувствуется в него, и увидит себя *погибающим* от него, — тот мгновенно «услышит» в глубине своего существа громкий и властный голос, требующий *своих священных, неприкосновенных, неотчуждаемых прав* и взывающий к их признанию, уважению и защите. Этот голос будет требовать не только *права на жизнь,* но и права *жить свободно и свободно творить;* он будет настаивать не только на *священных правах личности* и не только на их *принципиальной неприкосновенности,* но он будет требовать еще, чтобы они в самом деле были *ограждены и не попирались другими.*

Вот это и есть первое проявление первоначального или *естественного правосознания,* которое скорее всего пробуждается в людях тогда, когда дело идет о попрании их *личных прав:* тогда *инстинкт самосохранения* внезапно пе-

реходит на сторону *правовой совести* и человеку вдруг становится до очевидности ясным то, в чем он был склонен сомневаться всю жизнь. Однако это пробудившееся естественное правосознание имеет сообщить человеку нечто существенное не только *о нем самом* и его личных правах, но и о других людях, *о всех* людях и об *их* священных и неприкосновенных правах. И, вняв этому, человек должен признать, что *естественное правосознание* отнюдь не есть кабинетное измышление, но реальный и живой *духовный орган,* присущий человеку и необходимый ему на всех путях жизни; и он признает еще, что естественное правосознание необходимо не только *другим* людям, чтобы они уважали *его* право, но и *ему самому,* чтобы он уважал права *других* людей.

Тот, кто сомневается в *естественном правосознании* и в его значении, тот должен проделать описанный мною внутренний опыт, но не в виде забавы, а со всей серьезностью и ответственностью; и тогда он увидит, что обогатился целым духовным открытием или постижением, которое останется для него незабвенным. Ему останется только додумать и дочувствовать до конца, что люди связаны друг с другом *правовою взаимностью,* в силу которой — мои права питаются в жизни чужими обязанностями и запретностями, а я сам должен исполнять свои обязанности для того, чтобы не нарушались права других людей.

Так гласит третье правило здорового, творческого правосознания: *пусть всякое действующее, положительное право* — будь то закон или полномочие, приговор или запрет, юридический обычай или повинность — *будет освещено и облагорожено лучами, исходящими из глубины естественного, христиански-воспитанного правосознания.* Тогда только отношение человека к праву станет *творческим* в истинном и глубоком смысле слова.

Если бы современный человек захотел и сумел серьезно признать и осуществить в действительности хотя бы эти три основных правила здорового творческого правосознания, то началось бы обновление всего социального и политического строя современного государства. Преодоление того духовного кризиса, который ныне переживает человечество, не может быть достигнуто и не будет осуществлено одними «внешними» и «формальными» ре-

формами. Дело не только в новых учреждениях и законах; дело в обновлении правосознания. Первое и последнее, *решающее слово* остается за самим духом, т. е. в данном случае за правосознанием.

И только на этом пути можно верно и творчески обновить политическую и государственную жизнь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
О ГОСУДАРСТВЕ

1. ЕГО ЖИВАЯ ОСНОВА

Государство, в его духовной сущности, есть не что иное, как *родина, оформленная и объединенная публичным правом,* или иначе: *множество людей,* связанных общностью *духовной судьбы,* и сложившихся в *единство* на почве *духовной культуры и правосознания.* Строго говоря — этим все уже сказано.

С незапамятных времен люди и народы объединяются в государства и участвуют в политическом общении; и размеры исторически накопленного ими политического опыта поистине огромны. И тем не менее мы должны признать, что первая и основная аксиома политики не постигнута большинством людей. Эта аксиома утверждает, что *право и государство возникают из внутреннего, духовного мира человека,* создаются именно *для духа и ради духа* и осуществляются *через посредство правосознания.* Государство совсем не есть «система внешнего порядка», осуществляющаяся через внешние поступки людей. Оно совсем не сводится к тому, что — «кто-то написал», «подписал», «приказал»; что «какие-то люди куда-то пошли», «собрались», «говорили», «кричали», «не давали друг другу говорить», «решили»; что «массы народа скопились на улице»; что «собрание было распущено полицией»; что «начали стрелять», «убили стольких-то», «посадили в тюрьму стольких-то» и т. д., и т. д. Словом: *внешние проявления политической жизни совсем не составляют самую политическую жизнь; внешнее принуждение,* меры подавления и расправы, к которым государственная власть бывает вы-

нуждена прибегать, — совсем не определяют *сущность государства.* Это есть дурной предрассудок, вредное недоразумение, распространенное близорукими и поверхностными людьми.

На самом деле государство творится *внутренно, душевно и духовно;* и государственная жизнь только отражается во внешних поступках людей, а совершается и протекает в их душе; ее орудием или органом является *человеческое правосознание.* Разложение государства или какого-нибудь политического строя состоит не просто во внешнем беспорядке, в анархии, в уличных погромах, в убийствах и сражениях гражданской войны. Все это — лишь зрелые плоды или проявления *уже состоявшегося внутреннего разложения.* Люди «не видят» этого внутреннего разложения; тем хуже для них; тем опаснее для государства. Люди не умеют ни понять, ни объяснить, ни побороть эту душевную смуту, этот духовный распад; тем фатальнее будут последствия. Можно было бы сказать: настоящая политическая жизнь не кричит в собраниях и парламентах и не буйствует на улицах; — *она молчит в глубине национального правосознания,* а крики, буйство и стрельба — это только страстные и чаще всего нездоровые взрывы внутренней политической жизни. Политический гений, великий государственный человек умеет *прислушиваться к этому молчащему правосознанию своего народа* — и считается с ним; мало того, он *отождествляется* с ним; он говорит и действует *из него;* и если он обращается к нему, то народ, узнав его чутьем, прислушивается к нему и следует за ним. Таким образом, народ и его вождь встречаются и объединяются друг с другом в той таинственной глубине, где живет *любовь к родине* и иррациональное *государственно-политическое настроение.*

Что же делается с государством, во что оно превращается, если в народе и у его вождей исчезает *истинное государственно-политическое настроение?*

Тогда государство превращается в систему судорожного насилия, в принудительный аппарат, в неустойчивый компромисс между людьми, исполненными взаимной ненависти, и между классами, ожесточенно борющимися друг с другом, — словом, в *прикровенную гражданскую войну.* Тогда вся так называемая «политика» превращается в ду-

ховно уродливую, всеунижающую продажную суетню. Тогда государство оказывается накануне крушения. Потому что без настоящего государственно-политического настроения чувств и воли — государство не может существовать.

Истинное государственное настроение души возникает из искреннего патриотизма и национализма[1], есть не что иное, как видоизменение этой любви. Здоровая, государственно настроенная душа воспринимает свою родину как *живое правовое единство* и участвует в этом единении своим *правосознанием;* это значит, что гражданин признает государство в порядке *добровольного самообязывания*, называет его «*мое* государство» или «*наше* государство»[2].

Если мы начнем изучать государство формально и поверхностно, то мы заметим, что принадлежность человека к его государству («гражданство» или «подданство») очень редко зависит от его свободного выбора; обыкновенно она определяется обязательными для него законами государства и не зависит от его доброй воли или согласия. Еще до его рождения было установлено законом, что имеющий родиться младенец будет принадлежать к такому-то государству; и в дальнейшем никакие ссылки его на то, что «он этого не знал», или «не выражал тогда своего согласия», или «теперь больше не согласен», не могут погасить односторонне его гражданство. По общему правилу, проблема гражданства или подданства разрешается самим государством, его законами и учреждениями — односторонне, формально и связующе.

Понятно, что в таком понимании и трактовании этого вопроса лежит известная опасность. Дело в том, что *духовный смысл* гражданства и *жизненная сила* его нуждаются в *свободной любви* гражданина и в его *добровольном самообязывании;* необходимо, чтобы формальная причисленность к государству не оставалась пустой и мертвой видимостью, но была исполнена в душе гражданина живым чувством, лояльною волею, духовной убежденностью; необходимо, чтобы государство жило в душе гражданина и чтобы гражданин жил интересами и целями своего государства.

---

[1] См. главу восьмую.

[2] См. главы шестую и седьмую.

А между тем, формальная регистрация граждан, их властное и одностороннее причисление к государству — с этим не считается и от этого не зависит. И вот государственная принадлежность, не наполненная живой любовью гражданина к его родине и к его народу и не закрепленная его добровольным самообязыванием, может очень легко создать политическую иллюзию: появляются целые слои *мнимых граждан,* которые не принимают к сердцу ни жизни, ни интереса «своего» государства, — одни по *национальным* побуждениям (они в душе причисляют себя к другому народу), другие по *хозяйственным* соображениям (они заинтересованы в смысле промышленности и торговли в процветании другого государства), третьи по *социально-революционным* мотивам (они желают «своему» государству всяческого неуспеха и военных неудач)... Все эти «граждане» — принадлежат к государству только формально юридически, а душевно и духовно они остаются ему чуждыми, может быть, прямо враждебными, не то *вредителями,* не то *предателями.* Гражданин, который несет свою государственную принадлежность *против своей* воли и без своего внутреннего согласия, есть явление — духовно не здоровое, а политически опасное: государство и правительство должны сделать все возможное, чтобы приобрести его уважение, его сочувствие, его лояльность, чтобы завоевать его сердце, его волю, его правосознание. Но если в государстве имеются целые народности, или целые социально-хозяйственные классы, или целые политические партии, которые упорствуют в своем нелояльном обособлении, а может быть, и вступают в заговоры, то политическая опасность превращается в настоящую угрозу...

Итак, можно было бы сказать, что *государственное настроение души,* объемлющее и чувство, и волю, и воображение, и мысли (а следовательно, ведущее к решениям и поступкам) — *составляет подлинную ткань государственной жизни* или как бы тот воздух, которым государство дышит и без которого оно задыхается и гибнет. Без этого *государственного правосознания* государство становится простой видимостью, которая, может быть, имеет правовую силу и «давление», но духовно висит над пустотою. Иными словами: государство соответствует своему досто-

инству и своему призванию только тогда, когда оно создается и поддерживается верным духовным органом, т. е. таким духовным органом, который, в свою очередь, соответствует своему призванию и своему достоинству — *здоровым, государственно настроенным правосознанием.* Своекорыстные, безнравственные, продажные люди, беззастенчивые и беспринципные карьеристы, циничные демагоги, честолюбивые и властолюбивые авантюристы — не говоря уже о простых преступниках — не могут ни создать, ни поддерживать здоровый государственный организм. Ибо государство есть *организованное общение людей, связанных между собою духовной солидарностью и признающих эту солидарность не только умом, но поддерживающих ее силою патриотической любви, жертвенной волей, достойными и мужественными поступками...* Это значит, что настоящее, здоровое государство покоится именно на тех духовных основах человеческой души, которые мы вскрыли в нашем исследовании[1].

Согласно этому, в жизни народов есть известная мера отсутствия правосознания, безнравственности, безразличия к родине, продажности и трусости, при наличности которой никакое государство не может более существовать, при которой оно оказывается не в состоянии ни поддерживать и ограждать культуру в мирное время, ни оборонять родину во время войны. Бесспорно, государство не призвано проповедовать людям нравственность и добродетель или понуждать людей к любви, совестливости и духовности; об этом достаточно уже сказано выше[2]. Напротив, государство скорее *предполагает* эти достоинства в человеческих душах, как бы *подразумевает* их и *опирается* на них. Но горе ему, если оно довольствуется тем, что «подразумевает» эти достоинства в своих гражданах, и если в его пределах нет свободных организаций и частных сил, которые идут ему навстречу в деле насаждения в душах добра, духовности и патриотизма! Принудить человека к любви и к духовности нельзя; но его можно и должно *воспитывать* к духу и любви, и государственная

---

[1] См. главы 1—8: О вере, О любви, О свободе, О совести, О семье, О родине, О национализме.

[2] См. особенно главу вторую, третью и четвертую.

школа, несомненно, должна быть проникнута этим стремлением. *Высшая цель государства* отнюдь не в том, чтобы держать своих граждан в трепетной покорности, подавлять частную инициативу и завоевывать земли других народов, но в том, чтобы *организовывать и защищать родину на основе права и справедливости, исходя из благородной глубины здорового правосознания.* Для этого государству дается *власть и авторитет;* для этого ему предоставляется возможность *воспитания и отбора* лучших людей; для этого оно создает *армию и флот.* Этой цели государство и призвано служить; а служить ей оно может только через преданное и верное правосознание своих граждан.

2. ЕГО ИДЕЯ

Итак, государство имеет некую *единую и высшую цель.* Оно призвано служить этой цели и находится на действительной высоте лишь постольку, поскольку оно действительно ей служит. Аристотель определял эту цель словами «прекрасная жизнь»: государство создается, говорил он, «ради прекрасной жизни». А мы, христиане, сказали бы теперь: государство призвано служить *делу Божию на земле.* Это совсем не есть призыв к «теократии»: ни церковь не призвана господствовать над государством, ни государство не призвано стать церковью или растворить ее в себе; напротив, церковь нуждается в независимости от государства, а государство должно служить делу Божию на земле совсем не в церковных формах[1]. И тем не менее смысл государства состоит именно в этом служении. Как же это понимать?

Неопытному и поверхностному наблюдателю всегда будет казаться, что люди, занимающиеся политикой, преследуют множество различных политических целей: с одной стороны, у каждого политика имеется *своя особая* «политическая» цель; с другой стороны, он имеет возможность и право *менять* свою политическую цель по собственному усмотрению, политически «передумывать» и ставить себе новую, может быть, даже прямо противопо-

[1] О правильном соотношении церкви и государства я высказался в главе 22 моей книги «О сопротивлении злу силою».

ложную политическую цель. Каждая из этих субъективных и относительных целей является *«политической»,* совершенно независимо от ее содержания и ее достоинства, — в силу одного того, что этот человек хочет достигнуть ее *посредством завоевания государственной власти.* При такой точке зрения понятие «политики» и «политического» определяется не тем, *чего* именно человек хочет, не *содержанием* его цели, не ее *патриотической верностью,* не ее государственным достоинством или национальной ценностью, — а той *дорогой,* которую избрал себе человек (он стремится к государственной власти), *или* тем *орудием,* которым он хочет воспользоваться (он желает действовать при посредстве государственной власти). Согласно этому, каждая цель, сколь бы своекорыстна или противогосударственна, или преступна она ни была, окажется все-таки «политической» только в силу того, что нашелся политический авантюрист, который стремится захватить государственную власть ради этой цели... С формально юридической точки зрения на государство и на политику — такое толкование будет, может быть, вполне последовательным; но в действительности оно открывает настежь двери политическому пороку со всеми его последствиями... Политический релятивизм, для которого «все условно» и «все относительно», вводит в человеческие души один из своих самых опасных парадоксов.

В противоположность этому, здоровое правосознание утверждало с древнейших времен, еще устами Конфуция и Лаотзе, а потом устами Гераклита, Платона и Аристотеля, — *единство, объективность и безусловность государственной цели* и политического задания. При таком понимании дела термин «политика», «политический» указывает не просто на государственную власть как на путь, или орудие, или средство, при помощи которого будет осуществляться известная цель, *а на единое, высшее задание* государства, на ту *цель,* которой должна служить государственная власть, на ту *ценность,* которую призвана осуществлять политическая деятельность. Конечно, люди, занимающиеся политикой, могут преследовать самые различные цели — и своекорыстные, и нелепые, и разрушительные, и предательские, и чудовищные; но все-таки цели останутся в действительности совершенно *противополи-*

тическими. И мы должны именно так оценивать и характеризовать их; иначе политика превратится постепенно в суетню сумасшедших и преступных людей. Идея и слово «политика» указывают совсем не на пустую форму властвования и принуждения; напротив, они указуют на некоторое определенное *содержание.* Здоровое правосознание, настоящая государственно-политическая настроенность — будут всегда верны этому содержанию и этой цели. Если же душа гражданина изменяет этому содержанию и этой цели, то деятельность его вступает на вредные пути; а если оказывается, что гражданин ни к чему иному не способен, как искажать и попирать политическую идею, то его приходится признать политически-неспособным и к политике непризванным. Чем больше людей, лишенных политического правосознания, активно участвуют в государственной деятельности (хотя бы в форме простого голосования), тем большая опасность возникает для государства. Чем большее число граждан теряет из вида единое и объективное задание государства и начинает преследовать не *общую* цель, а множество *частных* целей — все равно личных или классовых, — тем сильнее политика начинает вырождаться и разлагаться, тем слабее становится государство, тем легче оно рухнет и распадется в один не прекрасный день. Здесь обнаруживается некий *рок,* заложенный в самой сущности государства; и этот рок сулит беду и кару всякому политически неразумному вождю и всякому политически ослепленному народу.

В чем же состоит *сущность* государства? В чем же его единая и объективная цель?

Сущность государства состоит в том, что *все его граждане* имеют и признают — помимо своих различных и частных интересов и целей — еще *единый интерес и единую цель,* а именно: *общий* интерес и *общую* цель: ибо государство есть некая *духовная община.*

Многие личные или частные интересы не исчезают; они остаются, и граждане продолжают их преследовать. У каждого из них *свой* интерес, каждый хлопочет о себе и для себя. При определении этих частных, эгоистических интересов многие люди могут «понять» друг друга: их интересы будут *похожи* один на другой, но каждый из них будет действовать эгоистически и своекорыстно. Эти лич-

ные интересы не будут сливаться в единый, великий и *общий* интерес, перед лицом которого все были бы солидарны. Люди остаются *конкурентами,* но не становятся *сотрудниками;* они выступают как *частные* лица, но не как *граждане.* Жизнь их остается *частной* жизнью. Они будут склонны бороться друг с другом. И внутренняя установка их душ не сделается ни политической, ни государственной. Ибо *политика есть солидарная деятельность ради единой и общей цели.* Если эта цель еще не сложилась, если она еще не сознана или если исчезает — то государство уподобляется песчаному морю, которым ветер играет, вздымая и разбрасывая песчинки врозь. Тогда государство разлагается и погибает в распылении, от параллелизма и конкуренции, во взаимном ожесточении и в гражданской войне.

Без *общего* интереса, без *всеобщей* (т. е. *всем общей)* цели, без *солидарности* — государство не может существовать. *Политическая* цель — это та цель, про которую *каждый* гражданин может сказать: «это *моя* цель»; и будет при этом *прав;* и про которую он должен добавить: «это *не только моя* цель»; и про которую все граждане вместе и сообща могут добавить: «это *наша общая* цель»; и будут при этом правы.

Сфера *политического* начинается там, где *все хотят одного и того же,* и притом такого, что или *у всех сразу будет* или чего *у всех сразу не будет.* Каждый желает этого у себя в душе и по-своему, ибо психологически все люди различны: «интерес», как *личное переживание,* остается множественным и различным; но интерес, как *желаемый предмет, — един* у всех и для всех; и удовлетворить его можно только посредством *совместной организованной деятельности. Общность цели* ведет к *общности средств* и путей; и вот основа политической деятельности и политики создана.

Дух народа, национальная культура, родина, государственное устройство, государственная власть, законодательство, суд, правопорядок, гражданский мир и т. д. — суть такие предметы (или можно сказать — интересы, цели, блага), которые принадлежат всем сынам родины, всем гражданам *совместно и сообща.* Никто не может претендовать на них для одного себя; никто не может создать их или распоряжаться ими в одиночку. Каждый пользуется этим *общим*

достоянием; каждый живет излучениями этого общего духовного сокровища; каждый призван к участию в создании и охранении этих благ. Мало того: *каждый из нас вообще является сыном своей родины, субъектом права и гражданином лишь до тех пор, пока это общее достояние существует.* В этом смысле Аристотель и Гегель были правы, когда они утверждали, что государство «предшествует» гражданину; это означало, что нет гражданина без государства; что государство есть условие бытия для гражданина; что «сначала» должно быть налицо государство, «тогда» могут быть и граждане, а после распадения государства останутся не граждане, а море человеческого песку...

Итак, общее достояние связывает всех между собою: каждый нуждается во всех остальных, и все нуждаются в каждом. Здесь возникает некая великая *совместность*, которую можно описать так.

Мы все хотим одного и того же, что является для нас общим; и мы все знаем это друг про друга; и доверяем в этом друг другу: — мы связаны *солидарностью.*

Мы все нуждаемся друг в друге; мы связаны этой нуждой друг с другом; от каждого идет нить отношений к каждому другому и, кроме того, — нить отношения к нашему общему достоянию. Мы, что называется, *со-отнесены* друг с другом: — мы связаны *коррелятивностью.*

Мы все обязываемся друг перед другом беречь друг друга и наше общее достояние: один за всех, и все за одного; каждый за общее и общее для всех; и эта связь *взаимна* (мутуальна) — мы связаны *мутуальностью.*

На этих основах — мы есьмы *одно.* Мы — *единая духовная и правовая община, управляющаяся единой верховной властью и связанная единством жизни, творчества и исторической судьбы.* Мы — государство.

Верно понять идею государства можно только тогда, если продумать до конца и до полной ясности эти, вскрытые нами, основы (духовной солидарности, коррелятивной связи и мутуальных обязательств). Эти основы можно объединить и изобразить в виде учения об «общественном договоре», который якобы заключается гражданами между собою. Однако дело не в том, заключался ли такой договор в исторически известных государствах (наверно — *не* заключался!); и не в том, чтобы люди, основывая госу-

дарство, действительно заключали его... Дело в том, чтобы каждый человек, достигающий гражданской зрелости, продумал и прочувствовал в своем правосознании эти основы. Важно то, чтобы у каждого из нас в правосознании была как бы проведена черта, отделяющая сферу нашего *Общего, Солидарного, Совместного и Взаимного,* как *политическую и государственную* сферу — от нашего личного, частного и эгоистического. Необходимо, чтобы каждый из нас принес в глубине души некую присягу — *беречь эту сферу, служить ей* и действовать в ее пределах *государственно и политически.* А это значит утвердить в своем правосознании не только *идею государства* вообще, но и идею *своего родного государства, своей, государственно оформленной родины.* Мало того: это значит жизненно приступить к обновлению и возрождению современного государства на основах *творческого* и притом *христианского* правосознания.

3. О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРАВОСОЗНАНИИ

Для того, чтобы верно понять и обосновать идею государства, необходимо прежде всего усмотреть душевный уклад *здорового* государственного правосознания: это есть уклад *творческий* и притом *христианский.*

Начнем с необходимых предварительных разъяснений.

Обосновать *идею* государства совсем не значит провозгласить, что все государства, известные нам из истории человечества, были «хороши», находились на высоте идей и творили одно благо. Этого нельзя сказать про человеческие дела ни в одной области жизни. Всюду — и в религии, и в нравственной сфере, и в литературе, и в живописи, и в науке, и в праве, и в политике — бывали лучшие и худшие, высшие и низшие создания; а бывали и такие явления, которые следовало бы отнести не к «культуре», а к «анти-культуре». Такие явления не компрометировали, однако, всю свою сферу: пошлый, нехудожественный роман не компрометировал всю литературу; религиозные заблуждения скопцов или хлыстов не ставили под сомнение всякую религиозность; дурные законы не свидетельствуют о невозможности справедливого пра-

ва и т. д. Согласно этому, отвергать идею государства на том основании, что в государственности и политике есть немало безобразных явлений, — было бы неосновательно и неумно.

Точно так же было бы неосновательно, отправляясь от этих искажений государства и политики, настаивать на неприемлемости государства для христианского сознания. А между тем, ныне стали появляться такие софисты, которые решаются утверждать, что государство есть изобретение и орудие «диавола». Понимать государство как формальную систему насилия, как организацию безнравственного притеснения слабых сильными и т. п. — значит или обнаруживать полное отсутствие здорового правосознания, или же сознательно вводить в заблуждение темных людей. Не следует, конечно, по-детски идеализировать исторические государства; но, с другой стороны, недопустимо отвергать идею государства, не постигая ее здоровой и глубокой сущности.

В противоположность этим ошибочным воззрениям, мы выдвигаем идею государства, вынашивавшуюся здоровым правосознанием на протяжении многих веков, и утверждаем, что *верно понятая государственная политика воспитывает людей по-своему в духе христианского учения.* Согласно этому, настоящее здоровое государство есть светлое и благое начало в истории человечества, и насаждение здорового государственного правосознания поможет вывести человечество на пути духовного обновления...

Мы установили только что, что *духовная солидарность граждан между собою составляет реальную основу государства и политики.* А это означает, что государство надо понимать как *живую систему братства,* прямо соответствующую духу евангельского учения.

В сердце настоящего гражданина, а особенно истинного политика, — *государственный интерес и его личный интерес пребывают в состоянии живого неразложимого тождества.* Это не значит, что у него «нет никаких» личных интересов, что он отрекается всецело от себя и живет одними государственными делами. Но это значит, что интересы своей родины и своего государства он принимает так близко к сердцу, как свои собственные; а в случае прямого столкновения между ними — он приводит

свой собственный интерес к молчанию. Так, он ни за какие богатства в мире не возьмется шпионить в пользу соседнего государства; он ни при каких условиях не будет кривить в государственном деле за взятку; он не станет подрывать валюту своей страны спекуляциями; он не захочет обогащаться вредным для своего государства импортом и т. д. До всего этого его не допустит то живое тождество интересов, из которых он думает и действует в течение всей своей жизни.

Но, принимая интерес *своего государства* столь же близко к сердцу, как свой собственный, он *тем самым испытывает каждый духовно-верный и справедливый интерес каждого из своих сограждан,* как *свой интерес.* Ибо каждый такой интерес *включен принципиально в интерес всего государства в целом.* В этом аксиома здорового государственного правосознания.

Именно к этому сводится содержание политической жизни; и можно было бы просто сказать, что только те граждане имеют основание активно участвовать в политической жизни, которые доказали свою способность к такому отождествлению интересов, ибо все остальные будут вести кривую и неверную политику; они будут искажать сущность государственного правосознания, подрывать доверие к государству и насаждать дух гражданской войны[1].

Попытаемся теперь заполнить эту аксиому здоровой государственности живой силой воображения.

Может ли быть назван *гражданином* тот, кто *не принимает цель своего государства?* Такой человек может жить в стране, работать или торговать; но в чем же будет выражаться его гражданство, если ему нет дела до интереса, до цели, до задания, до судьбы данного народа и государства? Он явно будет пользоваться удобствами жизни и правами, но не будет нести ни обязанностей, ни бремени, ни ответственности; он будет паразитом, или приживальщиком, или, в лучшем случае, гостем, но не гражданином. А чтобы стать гражданином, он должен будет принять интерес государства так, как он принимает свой собственный.

Это возможно только двояким образом: или государство опустится до уровня его частного, личного своеко-

---

[1] Ср. главу третью, раздел третий «О политической свободе».

рыстия и начнет служить ему (напр., частным выгодам одной партии или одного класса) — тогда вся политическая система окажется извращенной и выродившейся, а государство рано или поздно разложится и рухнет; или же (вторая возможность) — *индивидуальная душа поднимется к содержанию истинной государственной цели и настоящего государственного интереса,* т. е. человек станет патриотом и гражданином и начнет служить своей родине. Но тогда окажется, что истинная и высшая цель его жизни не отличается по существу от цели его родного государства; напротив — между ними обнаружится истинное и живое тождество. «Мое дело есть дело моей родины и моего государства; так что, с одной стороны, все вредное моей родине и моему государству не может стать моим делом; а с другой стороны, дело моего народа и моего государства мне настолько близко и важно, как если бы оно касалось меня самого и моей судьбы», — вот формула истинного патриотического гражданства.

Не следует понимать это «тождество» только в смысле *самоотречения и жертвенности.* Потому что в действительности она выражает и акт *самоутверждения,* осуществляемый гражданином: ведь государство не только *ограждает и растит всю национальную культуру сообща, но обслуживает еще и каждый духовно-верный и справедливый интерес каждого* из своих граждан[1]. А это означает, что гражданин, отождествляя себя со своим родным государством, не только «жертвует», но и «приобретает», не только «отрекается», но и «выигрывает»... Это выражается во многих отношениях: и в том, что каждый гражданин, в качестве субъекта права, пользуется своими священными и неотчуждаемыми правами свободы и защитой своих частных, имущественных прав; и в том, что его жизнь и национальная независимость ограждаются государственной армией; и в том, что государство делает для него в порядке социального строительства, начиная от школы и кончая железными дорогами, начиная от государственного страхования трудящихся и кончая призрением нетрудоспособных...

---

[1] Обслуживает хотя бы общей безопасностью, правопорядком и ограждением личной свободы. Это «обслуживание» отнюдь не следует понимать в смысле государственного всевмешательства.

Призвание государства состоит в том, чтобы при всяких условиях *обращаться с каждым гражданином как с духовно свободным и творческим центром сил, ибо труды и создания этих духовных центров составляют живую ткань народной и государственной жизни.* Никто не должен быть исключен из государственной системы *защиты, заботы и содействия;* и в то же время *все* должны иметь возможность работать и творить по своей *свободной, творческой инициативе.* Каждый гражданин должен быть уверен, что и он защищен, принят во внимание и найдет себе справедливость и помощь со стороны государства; и в то же время, каждый должен быть самостоятелен и самодеятелен. Государство может требовать от граждан службы и жертв; но оно само должно служить и жертвовать. Иными словами, государство должно внушать гражданам живую уверенность в том, что в его пределах господствует *живая христианская солидарность.*

Государство говорит каждому из своих граждан: «Не только *ты* служишь; и *тебе* тоже служат. Твое служение состоит в отречении и жертвенности. Но если у тебя есть духовно-верный и справедливый интерес, то он должен быть принципиально признан, поддержан или, по крайней мере, защищен государством. Ибо интерес государства состоит именно из всех духовно-верных и справедливых интересов его граждан; часть этих интересов выделяется как *общий* всем интерес, и обслуживается особо; другая часть остается частною и личною, но и она учитывается и поддерживается государством в меру духовной верности и справедливости. Не только ты один желаешь — быть здоровым, получать образование, иметь работу, не подвергаться эксплуатации, иметь пособие по болезни, пользоваться скорым, правым и милостливым судом и т. д.; в этом заинтересован весь твой народ и твое государство в целом. Но и в частных интересах твоих государство поддерживает тебя, если они обоснованы и справедливы: то дешевым кредитом, то установлением необходимой опеки над малолетними, то обеспечением земельного надела, то примирительным разбором в столкновении классов. Ты не только средство для государства; ты в то же время — *его живая цель.*

И внушая эту уверенность гражданину, государство предоставляет ему творить по собственной, свободной инициативе; оно не связывает его и не стесняет ненужной опекой; оно только *заботится* о нем, *помогает* ему. И если эта забота в чем-нибудь не проявляется, то вопрос сводится не к тому, призвано ли государство к этой заботе, а лишь к тому, в чем и как оно должно проявляться...

Все это не означает, что призвание государства сводится к справедливому и социальному обращению с отдельными гражданами. Цель государства совсем *не есть механическая сумма,* слагающаяся из всех справедливых интересов отдельных граждан. Можно было бы, напротив, утверждать, что государство имеет дело *исключительно с общим, всенародным интересом,* ибо частный и личный интерес граждан может лишь постольку приниматься в расчет, поскольку он, именно в силу своей духовной верности и справедливости, может быть воспринят и истолкован как интерес *общий и всенародный.* Это допускает и этого требует всеобщая *солидарность и взаимность* граждан. А именно: в удовлетворении каждого духовно-верного и справедливого интереса каждого гражданина — заинтересован не только он сам, но и *все* его сограждане; это интерес общий, народный, государственный.

Каждый нищий в стране есть не просто неудачливый бедняк, но живая язва народной и государственной жизни. Каждый безработный, каждый беспризорный есть национальное бедствие. Каждый безграмотный — есть всенародная опасность. Каждый противообщественный эксплуататор — есть всенародный вредитель. Каждый ростовщик — требует государственного обуздания. Каждое попранное право — есть пробел или разрыв в общей сети правопорядка и т. д. И все это не пустые слова; ибо одна из основных аксиом государственности гласит: «один за всех, все за одного». Народ есть живое единство, связанное тысячей живых нитей и пребывающее в непрерывном духовном и хозяйственном обмене; он подобен *живому организму, где все находится в связи со всем и все питается от всего остального.* Частная и личная жизнь развертывается в глубоком лоне всенародной жизни и общих интересов. Об этом нельзя забывать; мимо этого нельзя проходить равнодушно и безразлично. Народ, который не

умеет и не хочет беречь и укреплять общие основы своего бытия — будет сурово наказан; первое же социальное землетрясение дает ему хороший урок и можно только желать, чтобы этот урок пришел не слишком поздно.

Итак: государство не призвано опускаться до частного интереса отдельного человека; но оно призвано *возводить каждый духовно-верный и справедливый интерес отдельного гражданина в интерес всего народа и всего государства.* Если государство это делает или, по крайней мере, стремится к этому, то оно выполняет свое духовное и христианское призвание, становится через это *социальным государством* и воспитывает этим своих граждан в духе *христианской политики.* И тогда оно становится орудием всеобщей солидарности и гражданского братства[1].

4. КЛАССЫ И ПАРТИИ

Согласно всему этому, верная установка личного правосознания была бы такова. Гражданин принимает и усваивает все интересы и задачи государства, как свои собственные; тем самым он принимает и каждый духовно-верный и справедливый интерес каждого из своих сограждан. Если есть какой-нибудь «частный» интерес, который духовно верен и справедлив, то он есть уже не просто частный интерес, но *субъективное естественное право* и тем самым — *общий, публичный и всенародный интерес,* интерес и задача *самого государства.* А это значит, что нет гражданина в государстве, который мог бы пройти равнодушно мимо этого интереса. И в этом состоит сущность здорового государственного настроения и правосознания.

Таким образом, государственное правосознание *поднимает частную волю отдельного гражданина на высоту истинной политической цели:* оно расширяет ее *объем* (прикрепляя его к справедливым интересам *всех* сограждан) и облагораживает ее *содержание* (указывая ей именно на *духовно-верные и справедливые* интересы других). Этим *политика воспитывает* человека, приучая его созерцать весь

[1] Нельзя не отметить, что эта идея «братства» вошла в государственно-политический мир со времен христианизации европейских народов, а совсем не со времени первой французской революции 1789 года.

горизонт своих сограждан и выделять повсюду то, что, по его собственному крайнему разумению, духовно верно и справедливо. В этом воспитании частная воля гражданина не только подъемлется на государственный уровень и не только расширяется в объеме, но и *освобождается* от личной жадности и классового своекорыстия. В общем же это есть процесс *государственного очищения души.*

Строго говоря, истинная политика совсем не служит частным и личным интересам — все равно, будь это частный интерес определенного лица, целой группы или целого класса. Истинная политика принципиально отклоняет все и всякие частные вожделения. Она считается только с верными и справедливыми интересами лиц, социальных групп (напр., ремесленников, домовладельцев, инвалидов) и социальных классов (напр., крестьян, наемных рабочих, промышленников); и притом исключительно с точки зрения *целого народа, государства, родины,* с точки зрения *общего интереса, справедливости, естественного права.* Если определенный интерес определенного класса духовно обоснован и справедлив, — то это уже не классовый интерес, но интерес *народа в целом,* интерес *самого государства* и потому *каждого отдельного гражданина как такового;* и тогда бессмысленно кричать о том, что это не «классовый» интерес. То, что надо отстаивать и обосновывать, есть именно *не* классовый интерес, ибо классовый интерес как таковой есть *частное вожделение* и потому он *не* подлежит удовлетворению. Отстаивать надо лишь те «классовые» интересы, которые суть *общенародные и государственные;* только они заслуживают удовлетворения. Всякий необоснованный классовый интерес есть частное домогательство, проявление противогосударственной алчности; он должен быть отклонен; и никакая пропаганда, никакая агитация, никакая классовая травля, никакое вооруженное восстание или гражданская война не могут изменить в этом что-либо: противогосударственная природа этого интереса не изменится ни от крика, ни от клеветы и лжи, ни от кровопролития. Конечно, необоснованный классовый интерес может политически «победить»; но такая победа подготовит только разложение государственного правосознания в стране и превратится неминуемо в опасность — и для государства в целом, и

для самого «победившего» класса... Нет государства, состоящего из одного класса; и создать такое государство невозможно, ибо жизнь покоится на *разделении труда,* на *специализации умений,* на *потомственной культурной традиции* и на *самостоятельности творческой инициативы.* Поэтому попытка одного класса победить и подавить или тем более искоренить все остальные классы, заранее обречена на неудачу; ничего, кроме расстройства жизни, всеобщего обнищания, культурного разложения и бесконечной гражданской войны из этого не выйдет.

Истинная политика ведется там, где царит солидарность между гражданами и между отдельными классами. Она возникает не из параллелизма частных интересов, не из конкурирующих своекорыстий, не из классовой борьбы, которая есть не что иное, как прикровенная гражданская война. Она возникает из солидарности и взаимности; она исходит от идеи целого, народного единства, родины; она считается с духом, со справедливостью, с естественным правом, с *общими* задачами и целями; она ведет не к классовым раздорам, не к партийной грызне, не к политическому торгашеству, не к распродаже с молотка государственной власти; она требует, чтобы гражданин отождествлял себя со своей родиной, чтобы он принял интерес своего государства и все справедливые интересы всех своих сограждан.

Государство, при верном понимании, есть не механизм «принуждения и классовой конкуренции», как воображают многие, — но *организм духовной солидарности.* И политика означает не партийные притязания, не партийную ложь и не партийные интриги, но *подъем правосознания к постижению патриотических целей и к разрешению подлинно-государственных задач.* Каждый из нас, каждое новое поколение должно принять свое государство *правосознанием;* принять как живое духовное единство — единство культуры, власти и исторической судьбы; принять и вложиться в это единство, взяться за разрешение его конкретных задач — духовных, национальных, хозяйственных и правовых. И для этого каждый из нас и каждое новое поколение должны прежде всего *верно перестроить и настроить свое правосознание.*

Единство родины и государства никогда не сложится и не окрепнет, если правосознание граждан будет находиться в состоянии брожения, соблазна и разложения. Единство родины и государства требует внутренно крепкого и неколеблющегося правосознания. Для этого, чтобы из множества людей и интересов возникло политическое единение и государственное единство, необходимо, чтобы личная воля человека с самого начала была направлена на это единение и на это единство. Только тогда и *политические партии* будут строиться на верных основах и *политические голосования* приобретут верный смысл.

Политические *партии* не должны делиться по принципу личного, группового или классового интереса. Они призваны служить не лицам, не группам и не классам, а родине, народу, государству. Поэтому *каждая партия обязана иметь программу всенародной справедливости, всенародного органического равновесия,* программу *общих государственных интересов, программу сверхклассовой солидарности;* программу *естественных прав,* учитывающую все слои и все классы. Партий может быть несколько, много. Однако они не смеют расходиться друг с другом на том, *чьи* интересы они «защищают»; ибо все они призваны защищать *общие* интересы. Расхождение их может касаться лишь того, какие интересы суть солидарные, общие, всенародные, государственные, сверхклассовые и какая система органического равновесия спасительна для страны...

Согласно этому, должны пониматься и проводиться и всевозможные политические голосования. При выборах и голосованиях никто никого не спрашивает о его *личных* интересах или о *классовых* интересах. Речь идет об интересах *сверхличных, сверхклассовых, государственных, всенародных, общих, солидарных.* Избирателя совсем не спрашивают о том, «чего бы ему хотелось?»; или: «что было бы выгодно тебе и твоему классу?»; или еще: «кто, по твоему мнению, мог бы лучше всего защищать *твои* интересы?»... Несомненно, что в действительности такая постановка вопроса является на выборах господствующей: каждый тянет государственную ткань к себе и на себя; тянущих много; что удивительного, если эта ткань трещит по всем нитям и расползается? Вся эта постановка вопроса является *извращенной, ложной и пошлой;* она не

имеет решительно никакого отношения к родине, государству и политике, она возникла совсем не из здорового государственного правосознания. И поскольку народная масса, ведомая демагогами, действительно отвечает при голосовании на такие или подобные вопросы, то ее голосование оказывается просто *трагикомическим недоразумением,* опасным для родины и государства и снижающим весь политический уровень народной жизни... Каждый кричит в свою пользу, и все воображают, что получат тем больше, чем громче будут кричать; а там — как-нибудь уже создастся компромисс из громко вопиющих личных и классовых жадностей. И людям до сих пор все еще не ясна противополитическая природа этого образа действий.

Верно формулированный вопрос при выборах и голосованиях звучит совсем иначе: «в чем нуждается родина? в чем состоит благо моего народа в целом? какие справедливые интересы моих сограждан, принадлежащих ко всем социальным классам, я могу и должен отстаивать, как солидарные, общие и всенародные? как можно было бы упрочить органическое единство моего государства на основах христианско-братской солидарности?» и т. д. И если кто-нибудь не может ответить на эти вопросы, хотя бы потому, что он никогда о них не помышлял, а думал всегда только о собственной шкуре, то ему следовало бы из честности и скромности воздержаться от подачи своего голоса. Ибо, в самом деле, это простительно только детям — на вопрос: «как упрочить благосостояние семьи?» отвечать требованием: «давайте мне сладкого пирога, да побольше!»...

Для того, чтобы дать ответ на верно поставленный вопрос, каждый из граждан должен позаботиться о следующем: во-первых, воспитать и упрочить свое государственное *правосознание* на основах христианско-братской солидарности и патриотизма; во-вторых, — углубить и расширить свою силу суждения в вопросах духовной культуры, права и хозяйства. Каждый из нас должен понять, что пока он не выполнил этих двух условий, он будет давать при всяком голосовании *мнимые ответы на ложно поставленные вопросы.* Пока мы не перевоспитаем в себе и через себя народное правосознание, до тех пор никакие отвлеченно выдуманные, формальные политические реформы

не преодолеют и не устранят современный политический кризис. До тех пор и государства будут брести по не-христианским или даже противохристианским путям, и последствия этого будут обнаруживаться в не-социальной или даже противосоциальной политике.

Государственное и политическое обновление может прийти только из глубины правосознания и человеческого сердца. Ибо только оно сумеет найти и новые *основы* для всенародного единения, и новые государственные *цели*, и новые *формы* политического устройства.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
О ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. ПРОБЛЕМА

Есть два различных понимания человека — *духовное и недуховное.*

Духовное понимание человека видит в нем творческое существо с бессмертною душою; живое жилище Духа Божия, самостоятельного носителя веры, любви и совести. Жизнь этого существа есть таинственный, внутренний процесс, процесс самоутверждения и самостроительства. Этот творческий центр нуждается в свободе и заслуживает ее; он есть самостоятельный субъект права и правосознания. Он есть живая основа семьи, родины, нации и государства; ответственный источник духовной культуры: церковной жизни, науки, искусства, нравственности, политики, труда и хозяйства.

Безумно и преступно гасить этот творческий очаг на земле. Заменить его нечем; обойтись без него невозможно. Несовершенства же его преодолеваются и могут быть устранены — только им самим, в процессе внутреннего горения. Для того, чтобы *стать* лучшим и *жить* лучше, человек должен *принять* данный ему от Бога и от природы способ бытия и совершенствовать свою жизнь изнутри. Гасить огонь личного духа *безумно,* потому что угасить его все равно не удастся, сколько бы людей ни было погублено и умучено в этих попытках; человеку *дано* быть духом; он призван быть духом; в этом основной и священный смысл его жизни; и огонь этот все равно вспыхнет вновь и разгорится с новою силою. Гасить огонь личного духа *преступно,* потому что это значит лишать людей доступа ко всему священному, великому и бессмертному

на земле; это значит обессмысливать жизнь и разрушать культуру. Угасание этого творческого очага останавливает и опустошает жизнь человечества на земле, ибо то, что остается после его видимого, мнимого прекращения есть лишь мучительное и унизительное, слабое и бесплодное подобие былого огня и былой жизни...

Проблема частной собственности сводится при таком понимании к вопросу, *подобает ли этому творческому духовному центру иметь на земле некое прочее, вещественное гнездо, предоставленное ему и обеспеченное за ним* — гнездо его *жизни,* его *любви, деторождения, труда и свободной инициативы?* И если подобает, то в силу чего и на каких условиях? Должно ли государство беречь духовную самостоятельность и творческую самодеятельность граждан — и в культуре, и в политике, и в хозяйстве — или же оно призвано стать всепоглощающим, всепорабощающим, обезличивающим чудовищем «Левиафаном»[1], и потому должно стремиться к изъятию и огосударствлению частной собственности, принадлежащей отдельным гражданам, их семьям и их свободным объединениям (корпорациям)? Имеет ли оно основание и право — превращать граждан посредством «экспроприации» и «конфискации» в стадо зависимых и беззащитных рабов? Должна ли «публичная» стихия поглощать и упразднять стихию частной жизни и личной инициативы? И что есть государство — органическое единение живых людей, одаренных честью, совестью и правосознанием, или бюрократическая машина, «регистрирующая» рабочую силу и принуждающая ее к рабскому труду? *Возможен ли дух без свободы и творчества?* Возможны ли *свобода и творческая инициатива без частной собственности?..*

Так ставится вопрос о частной собственности при *духовном* понимании человека. Совсем иная постановка вопроса слагается при *недуховном* понимании человеческой природы.

Отвлеченно говоря, можно представить себе такое непоследовательное умение, которое соединяло бы «духовную» точку зрения с коммунистическими требованиями; — история человеческой мысли знает и не такие еще курье-

---

[1] По выражению английского философа Гоббса.

зы. Но по существу говоря, совсем не случайно, что практический социализм и воинствующий коммунизм оформились и выработали свою программу именно тогда, когда связались с «экономическим материализмом»; это было последовательно и неизбежно. Для материалиста на свете нет ничего, кроме материи — ни души, как самостоятельной, не сводимой к телу реальности, ни, тем более, духа. Человек состоит из тела, телесных потребностей и отправлений; этим он и исчерпывается. При этом он подлежит механическим законам, которые управляют его жизнью, — законам «простым» и «ясным»; здесь нет никаких «тайн» и никакого особенного «творчества»; так же обстоит и в общественной жизни. Все то, что разумеют духовно настроенные люди, говоря о Боге, о бессмертной душе, о вере, о совести, о духовном творчестве, — не существует для материалиста; все это кажется ему порождением невежественной глупости или своекорыстного лицемерия. Согласно этому, человек есть не духовная, а материальная величина; не творческий очаг, а рабоче-мускульный центр; не самостоятельный субъект прав, а зависимый объект, подлежащий властным распоряжениям. Ему нужна не вера, а трезвая сообразительность, не инициатива, а дисциплина и безоговорочная исполнительность, не любовь, а классовая ненависть, не совесть, а классовое сознание. Нравственное чувство может только помешать его классовой борьбе; семья ему не нужна, она только отвлекает его от классового единения; разговоры о «родине» и «нации» должны быть покончены раз и навсегда; государство есть «машина для подавления классовых врагов» и для принудительной организации труда. Естественно, что эта машина призвана поглотить жизнь и труд личного человека. Когда государство получит форму классово-пролетарскую и пролетарски-партийную, оно сведет частную жизнь человека к минимуму или совсем упразднит ее. Трудовые обязанности и размеры потребления будут предписываться человеку государственной властью; никакого прочного вещественного гнезда, своего жилища или оседлости у него не будет. Свободная инициатива ведет только к вредным субъективным выдумкам или к хозяйственной «анархии»; и имущественная независимость совершенно не нужна и даже недопустима, ибо она создает только дур-

ное своеволие, беспорядок и «эксплуатацию» человека человеком. В силу всего этого, частная собственность вообще, а в особенности — на орудия производства (земля, фабрики, машины, скот, инструменты, библиотеки и т. д.) — должна быть упразднена, а соответствующие вещи должны быть изъяты и переданы в распоряжение бюрократически-классового аппарата. Самостоятельности и самодеятельности граждан должен быть положен конец. Государство должно создавать новую культуру и новое хозяйство: безбожно-безличную, материалистическую культуру и механически-принудительное, коммунистическое хозяйство.

Так противостоят друг другу духовное и недуховное понимание человека в их последовательно продуманных основах и выводах. Два противоположные миросозерцания, две различные веры, два «человека», два способа жизни. Два противоположных отношения к частной собственности. Одно, начинающееся от Бога и духа, и утверждающее начало частной собственности, идущее от веры и любви, чтущее свободу и совесть, строящее семью, родину и нацию, воспитывающее в человеке правосознание и здоровое чувство сверхклассовой государственности. Другое — идущее из рассудка и ненависти, презирающее свободу и совесть, сознательно разлагающее семью, родину и национальную жизнь, подрывающее в человеке все основы правосознания и сверхклассового государства... В каждом из этих воззрений вопрос о частной собственности разрешается не «случайно» и не «произвольно». И там, и тут все предопределено заранее — исходным отправным пунктом.

Куда же ведет каждый из этих путей?

2. ЛОЖНЫЙ ПУТЬ

Какие бы вопросы ни разрешал человек в своей земной жизни — теоретические или практические, материальные или духовные, личные или общественные, — он обязан всегда считаться с реальностью, с данными ему объективными обстояниями и законами. Правда, он *может* и не считаться с ними, но этим он обеспечивает себе,

рано или поздно, жизненную неудачу, а может быть, и целый поток страданий и бед.

Человеку реально дан от Бога и от природы особый, определенный способ телесного существования, душевной жизни и духовного бытия: *индивидуальный* способ. Всякая теория и всякая педагогика или политика, которые с ним не считаются, вступают на ложный и обреченный путь. Этот способ существования отнюдь не исключает ни общения, ни единения, ни совместности людей; отвержение же его ведет по ложному и обреченному пути всякое общение, всякое единение и всякую человеческую совместность, которые пытаются игнорировать *личную раздельность, самодеятельность и самоценность* человеческого существа. Ложность этого пути обнаруживается в наступающем снижении *уровня и качества* жизни: снижается уровень внешне-телесного существования (питание, одежда, отопление, жилище, здоровье), снижается уровень душевной дифференцированности (т. е. сложности, многосторонности, тонкости и гибкости), падает *качество* жизни (труда, продукта и творчества, и особенно нравственности, правосознания, искусства и науки). *Всякая* культура — и материальная, и душевная, и духовная — падает, разлагается и извращается. Осуществляется провал в некую первобытную *упрощенность,* которая создается искусственно и потому лишена всех былых достоинств былой «докультурной простоты». Творческие различия исчезают из жизни, уступая свое место монотонной одинаковости, одинаковой опустошенности, повальному оскудению. Качественность исчезает и не восполняется никаким количеством, ибо *дурное множество* есть не что иное, как обилие дурных вещей, состояний или усилий, которые никому не нужны. Без качества всякое «обилие» теряет свой смысл; оно прямо становится бедствием и опасностью, подобно тому как в наводнении, в налетах саранчи или в многословии глупца. Жизнь вообще имеет смысл и может совершенствоваться только тогда, когда бережется и растится *качество;* нет его — и гибель становится неминуемой. А качество творится и обеспечивается прежде всего и больше всего *культурой личного духа.* Невозможно создать хорошую ткань из гнилых нитей; нельзя построить прочный дом из трухлявого, рассыпающегося

кирпича; больные и умирающие, стеная в унисон, не создадут прекрасного хорового пения. Где личный дух пренебрежен и унижен, общественность будет больною и творчески бессильною.

Тот, кто признает эту аксиому, признает и начало частной собственности. Кто отвергает частную собственность, тот отвергнет и начало личного духа; а этим он подорвет и общество, и государство, и хозяйственную жизнь своей страны.

Итак, коммунизм ведет людей по ложному и обреченному пути. Его последовательное противобожие, его недвусмысленный материализм, его отрицание человеческого духа и особенно самодеятельности и самоценности человеческой личности создают именно тот духовно-больной и творчески-бессильный общественный строй, который мы только что очертили.

1. *Коммунизм противоестественен.* — Он не приемлет индивидуального способа жизни, данного человеку от Бога и природы. Он пытается переделать, переплавить человеческую душу в ее основных свойствах и естественных тяготениях, и прежде всего — погасить личную заинтересованность и личную инициативу человека на всех путях его творчества. Коммунизм отвергает личное начало как источник самостоятельности, многообразия и «анархии». Поэтому он угашает не только частную собственность, но и частную семью и стремится искоренить частное мнение, свободное убеждение и личное миропонимание. Для него одинаково неприемлема самодеятельность личного *инстинкта* самосохранения и самостоятельность личного духа. Ему нужно социализировать не только имущество, но и весь уклад человеческой жизни, чувств и мыслей; ему нужно социализировать душу человека и для этого выработать новый тип — *примитивного существа с вытравленной личностью и угасшей духовностью,* существа, не способного к личному творчеству, но склонного жить в стадном всесмешении. Эта противоестественная затея обречена в корне на неудачу. Разложить и угасить на время *духовное* начало — возможно, но личная формула человеческого *инстинкта* неразрушима. Возможно взрастить несколько миллионов «особей», лишенных духовной культуры, умственно и нравственно довольно похожих друг

на друга, бесстрашных в толпе и ничтожных порознь, по-прежнему лично-своекорыстных, но не сдерживаемых в своей жадности никакими высшими началами. Дух временно угаснет; лично-животное начало развернется; и историю личной культуры придется начинать сначала. Но *природа человека* не поддается рассудочному произволу; и на животно-образных особях ни семья, ни общество, ни хозяйство, ни государство держаться не смогут. Вот почему отмена частной собственности противоестественна.

2. *Коммунизм противообщественен.* — Это выражается в том, что он пытается создать такой строй, который покоится целиком на началах ненависти, взаимного преследования, всеобщей нищеты, всеобщей зависимости и полного подавления человеческой личности. В основе коммунизма лежит идея классовой ненависти, зависти и мести, идея вечной классовой борьбы пролетариата с не-пролетариями; и на этой идее строится все образование и воспитание, хозяйство, государство и армия; отсюда взаимное преследование граждан, взаимное доносительство и искоренение. Идея всенародной солидарности и братства отвергается и попирается. Проводится всеобщее изъятие имущества; добросовестные и покорные теряют все, недобросовестные грабят и втайне наживаются. Согласно основному замыслу, все должны превратиться в «пролетариев», т.е. в неимущих людей, могущих кормиться только наемным трудом. После всеобщей экспроприации и пролетаризации оказывается, что в стране имеется только один *монопольный работодатель* — диктаториальное государство, ведомое монопольной коммунистической партией и управляемое аппаратом коммунистических чиновников. Таким образом, *всеобщее обнищание* восполняется *всеобщей зависимостью* от государства, от партии и от бюрократического аппарата. Никто сам по себе не может ничего предпринять; кого государство лишит права на работу, тот погибает голодной смертью; условия жизни, продовольствия и труда предписываются монопольным работодателем; монополия печати и образования, преследование веры и церкви довершают дело, и к хозяйственному подавлению личности присоединяется ее духовное порабощение. Таким образом, коммунизм есть попытка создать *вампиристический* строй, покоящийся на страдани-

ях порабощенного человека и высасывающий жизненные соки из обнищавших и беспомощных граждан. Человек оказывается бесправным и раздавленным; а государство является его неограниченным эксплуататором. Вот почему отмена частной собственности создает самый противообщественный строй, известный в мировой истории.

3. *Коммунизм осуществляет растрату сил.* — Это выражается, *во-первых,* в том, что он не хочет и не умеет пользоваться творческою силою живого инстинкта, личного интереса и личной инициативы; вся творческая самодеятельность всей массы единоличных хозяев подавляется и мертвеет. *Во-вторых,* растрачивается впустую вся та масса энергии, которая необходима для самого подавления этих личных сил, — вся разрушительная и искоренительная работа коммунистического чиновничества. *В-третьих,* растрачивается вся та масса энергии, которая пытается вызвать в душах новую, теоретически выдуманную и властно навязываемую мотивацию (т.е. внутренние побуждения) хозяйственного труда — вся работа по «агитации» и «пропаганде», все усилия переделать естественный уклад человеческих душ. *В-четвертых,* растрачивается та масса энергии, которая пытается осуществить хозяйственное и культурное все-предвидение, всеучет, всеруководство; ибо никакое правительство не может стать «всезнайкой», «всеучителем» и «всепогонщиком». Вся эта попытка заменить *живой организм выдуманным механизмом,* сварить на огне всенародной муки искусственного человечка и его никому не нужную искусственную жизнь, для того чтобы руководить всеми его поступками и делами, как это делается с марионетками, — противоестественна и безнадежна. И, наконец, *в-пятых,* растрачивается вся та масса сил, которая уходит на возвеличение этого опыта в мировом масштабе, на то, чтобы внушить другим народам, будто этот нелепый и безнадежный способ хозяйствования есть самый лучший и самый продуктивный. Таким образом, отмена частной собственности ведет к величайшей растрате сил, известной в мировой истории.

4. Коммунизм *осуществим только при помощи системы террора,* — т. е. насильственно, силою страха и крови. В основе этого лежит его *противоестественность.* Живой и здоровый инстинкт может принять его только как не-

навистное иго, которое будет навязываться ему угрозою, унижением, мукою голода и страхом смерти. Навыки тысячелетий, порожденные самою природою, нельзя отменить простым запретом. Всемогущество государства осуществимо только там, где народ застращен до конца. Побороть сопротивление масс и разрушить исторически данный уклад жизни — нельзя «добром», особенно если добиваться быстрого, «революционного темпа». Уничтожение враждебных классов неосуществимо на словах: оно неизбежно ведет к массовому избиению людей. Таким образом, отмена частной собственности требует потоков человеческой крови и ведет к системе террора.

5. Коммунизм *отнюдь не ведет к справедливости.* — Он начинает с призывов к «равенству»: так, как если бы равенство означало справедливое устройство жизни. Однако *на самом деле* все люди *от природы не равны* и уравнять их естественные свойства (возраст, пол, здоровье, мускульную силу, нервную конституцию, таланты, склонности, влечения, потребности, желания) — невозможно. Но в таком случае справедливость требует не «равенства», а чего-то иного, именно *предметно-неравного обхождения с предметно-неравными людьми.* Формула справедливости гласит: не «всем одно и то же», а «каждому свое». И потому уравнивать людей во всех правах было бы делом вопиющей несправедливости. Задача иная: надо *устранять вредные и несправедливые неравенства, так же, как и несправедливые и вредные равенства,* и устанавливать новые, жизненно-полезные и справедливые неравенства.

Вместо этого коммунисты провозглашают «равенство людей от природы» и обещают им всеобщее уравнение в правах, которое будет якобы справедливым. На самом же деле, они создают сначала всеобщее *уравнение в бесправии,* а потом, — новое, *обратное неравенство* в пользу членов своей партии, которая превращается в привилегированную касту, набранную из наиболее завистливых, жестоких, ловких и раболепных людей. Таким образом, отмена частной собственности не только не ведет к справедливости, но создает систему новых, вопиющих несправедливостей.

6. Коммунизм *отнюдь не освобождает людей.* — Он вводится принудительно и насильственно и для этого отме-

няет все жизненные права и свободы. Он осуществляет высшую и безусловную форму трудовой зависимости, систему всеобщего наемного труда, монопольного работодательства, эксплуатации, беззащитности, необеспеченности и повального снижения уровня жизни. Коммунизм не освобождает трудящегося, а порабощает его окончательно: *все* превращаются в пролетариев, а у пролетариев отнимаются *все* возможности защищать свои классовые и профессиональные интересы (исчезает частная конкуренция, нет свободных профессиональных союзов, свободной печати, кооперации и т. д.). Все недостатки и пороки капиталистического строя осуществляются в преувеличенных, чудовищных размерах, и притом сознательно и планомерно, со ссылкою на то, что «в рабочем государстве рабочим защищаться не от кого и не для чего». Таким образом, отмена частной собственности не только не дает людям освобождения, но отнимает у них всякую и последнюю свободу. «Прыжок из царства необходимости в царство свободы», предсказанный Марксом и Энгельсом, оказывается иллюзией или обманом.

И вот идея коммунизма, последовательно вытекающая из материалистического безбожия, принадлежит к числу тех ложных идей, которые по-видимому много обещают, но в действительности разочаровывают и ведут человеческую жизнь к настоящему крушению. Попытка отвергнуть и отменить частную собственность колеблет одну из последних и необходимых основ жизни; ее можно сравнить с попыткою отпилить тот сук, на котором сидит сам отпиливающий, или с попыткою перестроить человеческий организм посредством оперативного удаления из него легких. Эта попытка в ее историческом осуществлении доказывает с силою очевидности, что проблема частной собственности отнюдь не сводится к тому, какие именно внешние вещи находятся у людей во внешнем распоряжении, и притом у каких именно людей... Частная собственность связана с человеческою природою, с телесным и душевным устройством человека, с жизнью *человеческого инстинкта,* с теми внутренними мотивами, которые заставляют человека трудиться над внешними вещами и строить хозяйство. Эти *внутренние мотивы, эти инстин-*

ктивные побуждения к труду нельзя «разрушать» или «отменять» безнаказанно. Частная собственность зовет человеческий инстинкт к труду; отменяя ее, надо заменить ее зов чем-нибудь равносильным. Но «идеал» всеобщей зависимости, принудительности и несправедливости не заменяет этого зова ничем; напротив, он может вызвать только *тяжелое отвращение к работе,* настоящее *бегство от труда, всеобщую надежду на хозяйственную безуспешность нового строя, безмолвную всеобщую стачку личных инстинктов.* И это *самоизвлечение массового инстинкта из хозяйственного процесса* будет столь же естественным и психологически понятным, сколь фатальным для коммунистического строя.

А это означает, что введение коммунизма не только не скомпрометирует идею частной собственности, но *окончательно реабилитирует ее.* Так, попытка предпочесть ложный путь непременно вернет человека на верную дорогу, ибо рано или поздно он увидит свою ошибку. Вопрос лишь в том, после скольких неудач и страданий он поймет ее и сделает надлежащие выводы.

3. ОБОСНОВАНИЕ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Обосновать частную собственность — значит показать ее *необходимость* для человека, ее *жизненную целесообразность* и ее *духовную верность.* Это значит указать те существенные свойства человека — естественные, инстинктивные и духовные — в силу которых частную собственность нужно принять, признать, утвердить и оградить.

Однако это *не* значит одобрить и оправдать всякое *наличное распределение имущества и богатства.* Обыкновенно эти два вопроса смешиваются, что совершенно недопустимо. Институт частной собственности может быть необходим, целесообразен и верен; но наличное распределение имущества — может быть неверным и жизненно нецелесообразным. *Необходимо, чтобы вещи принадлежали людям с такою полностью, исключительностью и прочною обеспеченностью, которая вызывала бы в душе каждого полную и неистощимую волю к творческому труду:* но со-

всем *не* необходимо, чтобы люди делились на сверхбогачей и нищих, или на монопольных работодателей и беззащитных наемников. Фактическое распределение имущества неодинаково в различных странах; в силу одного этого его нельзя «оправдывать» или осуждать его целиком. Но и в пределах каждой отдельной страны целесообразность имущественного разделения может быть неодинаковой в различных областях жизни (землевладение, домовладение, леса, фабрики, промысловые снасти, железные дороги, скот, библиотеки и т. д.). К тому же имущество все время переходит из рук в руки, состояния распадаются, выдвигаются новые слои людей, уровень народного благосостояния колеблется, уровень частного накопления подвижен и неустойчив. В довершение всего возможно государственно организованное перераспределение имущества (напр., так называемый «земельный передел», ср. реформу Столыпина), которое должно проводиться так, чтобы *идея частной собственности и чувство частной собственности* не приходили в колебание. Одним словом — обосновывать частную собственность, не значит оправдывать любое и всякое распределение имущества, или тем более любое и всякое *злоупотребление* имуществом (шикану, ростовщичество, эксплуатацию, поджигание своего дома для получения страховой премии и т. д.)[1].

Говоря о частной собственности, я разумею *господство частного лица над вещью* — господство *полное, исключительное и прочно обеспеченное правом* (т. е. обычаем, законом и государственной властью). Итак, я разумею именно *право* собственности, т. е. *закономерное полномочие,* а не фактическое господство силы и не произвольный захват. Я разумею именно право лица, т. е. прежде всего индивидуального человеческого существа, одаренного личным инстинктом и личным духом, имеющего субъективное правосознание и субъективную хозяйственную волю, и притом *частного* лица, преследующего свои частные ин-

[1] Эта оговорка относится и к законам, различно регулирующим в различных странах юридический институт частной собственности. Кто утверждает принцип частной собственности, тот отнюдь не выступает «апологетом» всех наличных законов и законодательств, регулирующих этот институт.

тересы трудового, хозяйственного характера[1]. Этому-то лицу следует предоставить *полное* господство над вещью, т. е. право во всех отношениях определять ее судьбу (право пользоваться ею или не пользоваться, распоряжаться ею, видоизменять ее, отдавать, продавать, дарить, бросать ее или даже уничтожать[2]. Это господство должно быть *исключительным,* т. е. собственник должен иметь право устранять всех других лиц от пользования вещью или от воздействия на нее, он должен иметь право требовать ее возвращения от похитителя и т. д. Наконец, это господство должно быть *прочно обеспеченным* — т. е. оно должно быть оговорено в законах, ограждено правосознанием сограждан, полицией и судом, и не подвергаться постоянным угрозам отчуждения, или тем более бесплатного отчуждения со стороны политических партий или государственной власти. Частный собственник должен быть *уверен в своем господстве над своими вещами,* т. е. в законности этого господства, в его признанности, почтенности и жизненной целесообразности; он должен быть *спокоен* за него, за его бесспорность и длительность, за то, что имущество его не будет подвергаться ни нападению, ни поджогу, ни экспроприации; он должен спокойно помышлять о судьбе своих вещей, замыслом долгого и творческого дыхания, предусматривая частные интересы своих детей и внуков.

Это необходимо человеку и в *инстинктивном* отношении, и в *духовном* измерении; и притом в силу того, что как инстинкту его, так и духу — *от природы присуща личностная, индивидуальная форма жизни.*

Идея частной собственности отнюдь не выдумана произвольно лукавыми и жадными людьми, как наивно дума-

---

[1] Это отнюдь не означает, что я отвергаю право частной собственности для «юридических лиц» или право публичной собственности, принадлежащей государству или муниципалитетам. Я только намеренно сосредоточиваю свое внимание на «простейшем явлении» собственности и собственника — на частной собственности единоличного человека, особенно охотно оспариваемой.

[2] Ограничения возможны, но они должны быть оговорены в обычаях, договорах и законах. Отсутствие ограничений означает неограниченную полноту собственнического права. См. убедительный анализ у В. И. Синайского, Основы гражданского права, Рига, 1931. Стр. 58—61 и др.

ли Руссо и Прудон. Напротив, она вложена в человека и подсказана ему *самою природою,* подобно тому как от природы человеку даны индивидуальное тело и индивидуальный инстинкт. Тело человека есть вещь, находящаяся среди других вещей и нуждающаяся в них (человек лежит, ходит, дышит, согревается, питается, лечится и т. д.). Для того чтобы жить, человек должен *заниматься* этими вещами, *приспособлять* их к своим потребностям, посвящать им свое *время,* отдавать им свой *труд* (телесно-мускульный, нервно-душевный и созерцательно-духовный), *совершенствовать* их, *вкладывать в них себя и свои ценности,* как бы «облекаться» в них[1] — словом, *превращать их в объективное выражение и продолжение собственной личности.*

Эту связь свою с вещами, это вкладывание себя в них человек может сводить иногда к самому скудному минимуму: один делает это от лени и беспечности (напр., итальянские лаццарони), другие — ради высшего духовного сосредоточения (индийские йоги, христианские аскеты). Но совсем обойтись без этого — человеку не дано. У человека же, создающего *хозяйственную культуру* — это общение с вещами становится основной формой деятельности.

Хозяйствуя, человек не может *не сживаться с вещью,* вживаясь в нее и вводя ее в свою жизнь. Хозяин отдает своему участку, своему лесу, своей постройке, своей библиотеке — не просто время и не только труд; он не только «поливает потом» свою землю и дорабатывается до утомления, до боли, до ран на теле; он *творчески заботится* о своем деле, вчувствуется в него воображением, изобретает, вдохновляется, напрягается волею, радуется и огорчается, болеет сердцем. При этом он не только определяет и направляет судьбу своих вещей, но он и сам связывает с ними *свою судьбу,* вверяя им свое настоящее и свое будущее (свое, своей жены, детей, потомства, рода). *Все страсти* человеческие вовлекаются в этот хозяйственный процесс — и благородные, и дурные — от религиозно-художественных побуждений до честолюбия, тщеславия и скупости. *Все интересы* человеческие связуются с успехом и неуспехом дела — от инстинкта самосохранения, до самых высших, духовных

[1] Отсюда в науке термин «инвестировать», «инвестиция» — облекать, облечение.

потребностей. Это значит, что человек связывается с вещами не только «материальным» интересом, но и *волею к совершенству, и творчеством, и любовью.*

Человек не только живет «вещью», т. е. плодами и доходами ее, но живет *вместе с нею и в ней;* он творит ее, творит из нее, ею; он объективирует себя в ней, художественно отождествляется с нею, совершенствует ее своим трудом и воздержанием в ее пользу, и совершенствует себя ею; он изживает в ней энергию тела, души и духа. Все это не пустые слова и не отвлеченные выдумки. Называя свою землю «матушкой» и «кормилицей», пахарь действительно любит ее, гордится ею, откладывает и копит для нее, тоскует без нее[1]. Садовник не просто «копается в саду», но *творчески чует* жизнь своих цветов и деревьев и, взращивая их, совершенствует их, как бы продолжает дело Божьего миротворения. Строя себе дом, человек создает себе оплот телесного существования и средоточия духовной жизни, свой *священные очаг,* как бы свое внешнее «я». Все знаменитые коневоды и зоологи были художественно влюблены в свое дело. Погромщик и поджигатель страшны не столько убытками, сколько неутолимой завистью и дикой ненавистью к чужому творчеству, слепотою к «инвестированной» духовности.

Человеку дано *художественно индивидуализировать* не только свое отношение к людям, но и свое отношение к внешним вещам, к природе, к зданиям, к земле, к быту. Человеку дано *художественно отождествляться* не только с друзьями и с поэтическими образами любимых поэтов, но и с розами в саду, со взращенным виноградником, с насаженным его руками лесом, с колосящеюся нивой и с построенною им фабрикой. Только люди религиозно мертвые и художественно опустошенные, люди механического века, люди рассудочные и бумажно-кабинетные — могут думать, что хозяйственный процесс слагается из *эгоистического корыстолюбия* (жадности) и *физического труда* и что он состоит в том, что «классовые пауки» «высасыва-

[1] В древней Руси земля, не обрабатываемая крестьянином, называлась «дикая пасма», т. е. мертвая пустошь, липкая грязь, а крестьянин без земли назывался «бобылем», бездомным, бесприютным человеком. Ср. у Максимова, «Крылатые слова», стр. 191.

ют кровь» из «чернорабочих». Трудно сказать, чего больше в этом воззрении — отвлеченной выдумки, лукавой демагогии или морального ханжества; но несомненно, что живая и глубокая сущность хозяйственно-творческого процесса просмотрена и упущена в нем совершенно. Расцвет и обилие создаются не «голодом» и не «жадностью» и даже не просто *здоровым инстинктом и интересом, но всею душою,* при непременном участии *духовных* побуждений и запросов — призванием и вдохновением, чувством ответственности и художественным чутьем, характером и творческим воображением. Само собой разумеется, что у каждого человека сочетание этих побуждений и сил слагается по-своему, но каждый вовлекается в творческое общение с вещами *всем своим существом;* и успех его творчества обусловливается не только напряжением его инстинкта, но и усилиями его духа.

Итак, *хозяйственный* процесс есть *творческий* процесс; отдаваясь ему, человек вкладывает свою личность в жизнь вещей и в их совершенствование. Вот почему хозяйственный труд имеет не просто телесно-мускульную природу, и не только душевное измерение, но и духовный корень. Хозяйственный труд имеет *религиозный* смысл и источник, ибо в основе его лежит *религиозное приятие мира;* он имеет *нравственное* значение и измерение, ибо он есть проявление *любви,* осуществление *долга и дисциплины;* он имеет *художественную* природу, ибо он заставляет человека *вчувствоваться* в жизнь вещей, *отождествляться* с ними и *совершенствовать* их способ бытия; он имеет свои *познавательные* корни, ибо он ведет человека к изучению тех законов, которые правят вещами и их судьбою; и, наконец, он имеет *общественную и правовую природу,* ибо он покоится на *организации* совместной жизни и требует верного распределения правовых *полномочий и обязанностей.* Лично-инстинктивное и лично-духовное общение человека с вещами имеет сразу и *хозяйственно-производственное и духовно-творческое* значение, и потому оно непременно должно быть признано, закреплено и ограждено *правом,* осмыслено, как необходимое, справедливое и *без крайности ненарушимое* полномочие. Человеку необходимо вкладывать свою жизнь в жизнь вещей: это неизбежно

от природы и драгоценно в духовном отношении. Поэтому это есть *естественное право* человека, которое и должно ограждаться законами, правопорядком и государственной властью. Именно в этом и состоит *право частной собственности.*

Это право должно быть *властным и прочным,* хотя, конечно, не безграничным. «Безграничного» права вообще нет: всякое полномочие где-нибудь кончается, именно там, где начинается *чужое полномочие* и соответственно — *моя* обязанность и *моя* запретность. В разных государствах эти границы частной собственности (и по объекту права и по содержанию урезанных полномочий) вычерчиваются законами различно. И тем не менее в своих, установленных пределах, это право остается и должно оставаться властным и исключительным. Это необходимо для того, чтобы человек *хотел и мог* вкладываться в *свои* вещи *уверенно и цельно,* то расширяя их круг трудом и законным приобретением, то суживая этот круг продажей, дарением или уничтожением[1]. Предоставление такого права есть элементарное *доверие* к индивидуальному человеку, к его здоровому инстинкту, к его хозяйственной практичности, к его правосознанию — доверие к тому, что он захочет и сумеет творчески использовать предоставленное ему право. И в то же время это есть мера, *пробуждающая и поощряющая* его творческую инициативу, инициативу частного лица, преследующего *свои частные* интересы, но способного согласовать их с интересом *чужим и общим* — с одной стороны, созданием новых хозяйственных ценностей и их обменом, с другой стороны, соблюдением и укреплением законного правопорядка. Частная собственность как бы «зовет» человека к трудовому и созидающему «инвестированию»; и этот «зов» должен быть обставлен реальными и прочными *гарантиями,* ибо настоящее «инвестирование» возможно только там, где трудящийся *уверен в огражденности своего права,* — где к вечному риску, идущему от стихии и от природы, не присоединяется *риск общественно-политический.* Право собственности, как пол-

---

[1] Напр., употреблением животного в пищу, сожиганием дров или рукописи.

ное, исключительное и обеспеченное господство лица над вещью, — дает человеку лучшую и благоприятнейшую обстановку для душевного и трудового напряжения в хозяйствовании. И этим вопрос с политико-экономической точки зрения может считаться решенным.

И вот ныне, после испытаний коммунистической революции, мы можем с уверенностью сказать, что только тот способ владения и распоряжения вещами имеет будущее, который *действительно поощряет человеческий инстинкт творчески вкладываться в вещи, изживаться в этом самодеятельно и интенсивно, создавать свое будущее уверенно и без опасливых оглядок.* Именно таков строй частной собственности. Напротив, те способы владения и распоряжения вещами, которые подавляют человеческий инстинкт, застращивают его, обессиливают или как бы кастрируют — осуждены с самого начала и лишены будущего. Когда хотят наказать каторжника, то сводят круг его имущественной власти к минимуму или угашают его совсем; но и каторжник имеет право продать свое изделие, получить милостыню, съесть свой паек, отдать его животным или обменять его у соседа. Когда вводят или поддерживают сельскохозяйственную общину с ее периодическими переделами, то этим превращают собственника в *условного и временного пользователя* участком и подрывают в нем трудовой интерес, и волю к качественному, интенсивному хозяйству; он уподобляется арендатору и начинает выпахивать землю и склоняться к хищническому хозяйству. Когда над какой-нибудь группой собственников или над целой страной повисает угроза принудительного или тем более безвозмездного отчуждения, то это пресекает и убивает *«доверие» собственника к вещам и к людям* и хозяйственно вредит всей стране. Социализм и коммунизм отвергают естественное право людей на хозяйственную самостоятельность и самодеятельность и соответственно их право частной собственности; этим люди практически приравниваются к *каторжникам* или ставятся в положение *хозяйственных кастратов.* Все это относится в особенности к частной собственности на «средства производства»: ибо человек инвестирует себя *творчески* — не в потребляемые вещи, а в вещи, служащие производству.

Итак, частная собственность является тою формою обладания и труда, которая наиболее благоприятствует хозяйственно-творящим силам человека. И заменить ее нельзя ничем: ни приказом и принуждением (коммунизм), ни противоинстинктивной «добродетелью» (христианский социализм). В течение некоторого времени возможно принуждать человека *вопреки* его инстинкту; есть также отдельные люди, способные усвоить себе противоинстинктивную добродетель. Но *противоестественное принуждение и противоестественная добродетель никогда не станут творческой формой массовой жизни.*

Если воспретить человеку творить *по собственному почину и побуждению,* то он вообще перестанет творить. Любить, созерцать, молиться и творить можно только свободно, исходя из своей *собственной потребности.* Этот закон действует не только в религии и в искусстве, но и в жизни семьи и в хозяйстве. Ибо и семья, и хозяйство вырастают из *любви* и остаются *живым творчеством.* Из безразличия же родится не творчество, а мертвое, механическое отправление, индифферентное и формальное отбывание «очередного номера» для видимости и напоказ. Безразличный человек работает без одушевления: вдохновение незнакомо ему, творческая глубина его инстинкта остается холодной, не напрягается и бездейственно молчит. Брак без любви не создает ни здоровой семьи, ни одаренного потомства; он духовно и общественно вреден. И подобно этому — хозяйство без свободного внутреннего побуждения, без личной инициативы и частной собственности, бюрократически ведомое безразличными чиновниками, — не создает ни благосостояния, ни даже достаточного и сколько-нибудь доброкачественного продукта: оно общественно и государственно вредно. Исключить из хозяйственного процесса начало инстинктивной самодеятельности, начало личного интереса, начало духовной свободы и начало доверчивого самовложения в вещи, значит отдать все на волю формального и продажного бюрократизма, безразличной нерадивости, пустой притязательности, явной безответственности, тайного саботажа и самой жалкой бесхозяйственности. Вот почему введение коммунизма не подрывает идею частной собственности, а реабилитирует и обосновывает ее.

Это обоснование может быть вкратце выражено так.

1. Частная собственность соответствует тому *индивидуальному способу бытия,* который дан человеку от природы. Она идет навстречу инстинктивной и духовной жизни человека, удовлетворяя его естественному праву на самодеятельность и самостоятельность.

2. Частная собственность вызывает в человеке *инстинктивные побуждения и духовные мотивы для напряженного труда,* для того, чтобы не щадить своих сил и творить лучшее. Она развязывает хозяйственную предприимчивость и личную инициативу и тем укрепляет характер.

3. Она дает собственнику чувство *уверенности, доверие к людям,* к вещам и к земле, желание вложить в хозяйственный процесс свой труд и свои ценности.

4. Частная собственность научает человека *творчески любить труд* и землю, свой очаг и родину. Он выражает и закрепляет его оседлость, без которой невозможна культура. Она единит семью, вовлекая ее в собственность. Она питает и напрягает государственный инстинкт человека. Она раскрывает ему художественную глубину хозяйственного процесса и научает его религиозному приятию природы и мира.

5. Частная собственность пробуждает и воспитывает в человеке *правосознание,* научая его строго разделять «мое» и «твое», приучая его к правовой взаимности и к уважению чужих полномочий, взращивая в нем верное чувство гражданского порядка и гражданственной самостоятельности, верный подход к политической свободе.

6. Наконец, частная собственность воспитывает человека к *хозяйственной солидарности,* не нарушающей *хозяйственную свободу,* ибо каждый собственник, богатея, обогащает и свое окружение, и самое народное хозяйство: и конкуренция собственников ведет не только к борьбе, но и к творческому напряжению, необходимому для народного хозяйства. И путь к организации мирового хозяйства идет не через интернационально-коммунистическое порабощение, а через осознание и укрепление той солидарности, которая вырастает из частного хозяйства.

Так раскрывается и обосновывается духовный смысл частной собственности.

4. СОЦИАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ

Все высказанное нами в обоснование частной собственности отнюдь не следует понимать в том смысле, будто вырастающий из нее общественный и правовой строй не имеет своих проблем, затруднений и опасностей. Он имеет их, и разрешить или преодолеть их совсем не легко. Однако сначала надо удостовериться, во-первых, в том, что все отрицательные проявления частно-правовой дисгармонии капиталистического строя, все опасности нецелесообразного и несправедливого деления на классы, а особенно — завистливой и мстительной классовой борьбы, все бремя порабощения, безработицы, все убытки от анархии производства, — *нисколько не преодолеваются отменою частной собственности:* ибо коммунизм создает государственный капитализм, небывалое порабощение и нищету, вызывает к жизни новую анархию производства, углубляет чувства зависти и мести, усиливает классовую борьбу и доводит до высшей беззастенчивости эксплуатацию трудящегося человека. Во-вторых, надо понять, что частная собственность коренится *не в злой воле жадных людей, а в индивидуальном способе жизни,* данном человеку от природы. Кто хочет «отменить» частную собственность, тот должен сначала «переплавить» естество человека и слить человеческие души в какое-то невиданное коллективно-чудовищное образование; и понятно, что такая безбожная и нелепая затея ему не удастся. Пока человек живет на земле в виде инстинктивного и духовного «индивидуума», он будет желать частной собственности и будет *прав* в этом.

Ввиду всего этого, в дальнейшем надо искать иного выхода, и притом именно на путях *духовного и правового воспитания людей,* на путях *свободного труда и свободной доброты,* на путях *изобилия, щедрости, неуравнивающей справедливости и естественной солидаризации* людей. Эти пути суть пути христианские; они приведут человечество к *социальному пониманию собственности.*

Согласно основному учению Евангелия, «Царство Божие» обретается во *внутреннем* мире человека (Лук. 17.

21), и потому людям следует начинать очищение и преображение их жизни *изнутри* (Мтф. 23. 26; Мрк. 7. 20—23; Лук. 11. 39). Это первое и основное, что должно быть усвоено христианином: все обновляется, очищается и преобразуется изнутри — вся жизнь и вся культура. Это относится и к государству, и к хозяйству. Христос никогда не осуждал и не отвергал частной собственности, а говоря о «богатых», коим «трудно войти в Царство Божие» (Мтф. 19. 23—24; Марк. 10. 23—25; Лук. 18. 24—25), Он имел в виду *не размер их имущества, а их внутреннее отношение к богатству:* они «надеятся» на него (Мрк. 10. 24), «служат ему, а не Богу» (Мтф. 6. 24; Лук. 16. 13), «собирают себе» земные сокровища и пребывают в них «сердцем» (Мтф. 6. 19—21), — и потому «богатеют» «не в Бога» (Лук. 12, 21). Но *изнутри* Божия благодать[1] уже посетила и преобразила души множества богатых людей, начиная с мытаря Закхея и Иосифа Аримафейского. Согласно этому, и нищий, и зажиточный, и богач могут быть добрыми и злыми: и только апостолам («следуй за Мною»; Мтф. 19. 21; «возьми крест свой»; Мтф. 16. 24; 10. 38; Мрк. 8. 34) Христос советовал полное отречение от имущества (Ср. Мтф. 10. 8—10; Мрк. 6. 8; Лук 9. 3). Остальным же он заповедал *милосердие* (Мтф. 9. 13; Лук. 10. 37; ср. Римл. 12.8; Филип. 2.1) и *щедрость* (Мтф. 5. 42; Лук. 6. 30; ср. Ефес. 4. 28 и др.).

Идя по этому пути, мы должны искать разрешения проблем, возникающих в связи с частной собственностью, прежде всего через *внутреннее воспитание и просветление* человеческого существа, с тем, однако, чтобы постоянно отыскивать и проводить те духовно-верные и целесообразные *государственные мероприятия,* которые могли бы внешним образом исправить внешние последствия внутреннего несовершенства людей.

Согласно этому, вся проблема хозяйства, и в особенности — частно-правового хозяйства, должна быть *поставлена заново* как в науке, так и на практике: это есть проблема *хозяйствующей души и ее верной мотивации;* это есть

---

[1] «Человеку это невозможно. Богу же все возможно». Мтф. 19. 26; Мрк. 10. 27; Лук. 18. 27.

проблема *духа, строящего культуру,* и его верных жизненных форм. Те способы хозяйствования, которые *повреждают естественную мотивацию* человеческой души, должны быть отклонены с самого начала. Отклонению подлежат и все хозяйственные формы и установления, которые *противоречат человеческому духу.* И в то же время в людях должна непрерывно *воспитываться жизненно-целесообразная и духовно-достойная мотивация хозяйственного труда и творчества.* Напрасно думать, что поврежденный инстинкт и разложившийся дух могут создать могучее и цветущее хозяйство. На самом деле только здоровый инстинкт в сочетании с сильным и воспитанным духом смогут найти верный исход и создать *хозяйственное изобилие* при *социально-справедливом строе.*

Вся человеческая духовная культура, — «много-личная» по субъекту и «сверх-личная» по своей ценности, — возникла из *личной духовности,* из той первичной ячейки Духа, которая именуется *духовной личностью.* Человек восходит к Богу и совершенству не через отвержение природы, не мимо ее и не вопреки ей, а *через нее.* Кто хочет подняться к сверхличному, тот должен *принять личное начало* и творить *из него.* Сто невежд не создадут науки, тысяча трусов не образуют боеспособного отряда, миллион нищих не создадут цветущего народного хозяйства. Во всех областях человеческой культуры личное начало подлежит не подавлению и искоренению, а приятию, утверждению, воспитанию, одухотворению и гармоническому дисциплинированию. Нужно не погасить «частное», а *создать гармонию и равновесие множества «частных».* Вредна не частная инициатива, а *противообщественное настроение* и поведение единичного человека. Опасно не личное творчество, а безудержное своекорыстие невоспитанного индивидуума. Спасителен не социализм, а *творческое сочетание свободы и справедливости.*

Но социальная справедливость должна быть найдена без того, чтобы душа была изуродована, а духовность утрачена: ибо стадо деморализованных варваров погубит и утратит всякую справедливость, если бы даже удалось ее найти. И свобода личного творчества должна быть утверждена

без того, чтобы в общественной жизни водворилась несправедливость капиталистической эксплуатации и массовой безработицы: ибо кому нужна «свобода» безработицы и голодной смерти?

Каждый человек должен иметь в жизни такое «место», где он мог бы *хозяйственно-творчески стоять на ногах;* ту сферу, о которой он имел бы право сказать: «мое, а не твое». Это создаст из него живую ячейку общественного хозяйства и облегчит ему беззавистное и лояльное признание чужого достояния: «твое, а не мое». Чем больше в народе таких живых хозяйственных ячеек, тем прочнее частно-собственнический строй жизни[1]. Напротив, чем больше в стране омертвевших хозяйственных ячеек, чем больше людей утратило хозяйственно-творческую почву под ногами, чем больше в народе кандидатов на звание «безработного», а потом и настоящих безработных — тем ближе частно-собственнический строй к катастрофе. Опасно не различие между богатым и бедным, а *хозяйственная беспочвенность среди бедноты, творческая бесперспективность среди низшего имущественного слоя.*

Безнадежно теряя «мое», масса перестает чтить «твое», т. е. все чужое; она незаметно начинает склоняться к «кулачному» или «разбойничьему» решению вопроса: «что мое — мое, а что твое — мое же». Чтобы увести ее от этого соблазна, неправильно звать ее на пути апостольского и аскетического отречения от всего, что есть на земле «мое»: это не идеал для земной жизни; это есть идеал *ухода* от земного строительства, идеал для немногих избранных, призванных строить «землю» именно этим своим уходом от нее[2]; масса за этим зовом не пойдет в силу здорового жизненного инстинкта, а если бы она пошла, то погубила бы и себя, и духовную культуру на земле. Но еще неправильнее, подобно коммунистам, внушать массе, что ни «моего», ни «твоего» вообще не должно быть, что можно иметь «общее» и «только общее», не имея «моего»: если народы пойдут за этим зовом, что они скоро убедятся, что «общее» без «моего» есть *«ничье»* и что до «ничьего» — никому и нет дела.

---

[1] В этом состоит идея аграрной реформы П. А. Столыпина.

[2] См. мою книгу «О сопротивлении злу силою». Главу 22.

Задача не в том, чтобы на земле от *праведности* угасло *хозяйство* и с ним культура и человечество (Будда, Толстой). Но задача не состоит и в том, чтобы хозяйство стало самодовлеющей силой человеческой жизни, поработило людей и погасило — и справедливость, и нравственное существо человека (коммунизм).

Разрешение проблемы состоит в том, чтобы сочетать *строй частной собственности с «социальным» настроением души: свободное хозяйство с организованной братской справедливостью.*

Чувствовать и действовать социально значит, прежде всего, признавать на деле начало христианской любви и братства; это значит, далее, руководиться не *уравнивающей* справедливостью («всем поровну»), а *распределяющей* («каждому свое, кто чего заслужил»); это значит — оберегать слабых, нуждающихся, больных и беспомощных, связывать благополучие целого с благоденствием личности и, наконец, будить и поощрять во всех слоях народа качественные, творческие силы человеческого инстинкта и духа. За последние десятилетия сложился предрассудок, будто «социальный образ мыслей» составляет монополию социалистов, которые предлагают будто бы наилучшее, хотя и радикальное разрешение вопроса о социальной справедливости. Трагический опыт коммунизма смыл этот предрассудок, ибо он показал, к каким мучительным и унизительным *анти-социальным* последствиям ведет водворение социализма на практике. И ныне человечество будет искать новую социальную идею, *новое социальное понимание собственности.*

Это новое понимание будет исходить из древних христианских основ[1]. Основы его можно было бы вкратце формулировать так.

1. Иметь частную собственность и проистекающую из нее хозяйственную самостоятельность есть *великое благо.* Чем меньше людей лишено этого блага, тем лучше. Чем больше людей оторвано от собственности, тем несправед-

[1] В поисках такого понимания начертана знаменитая булла папы Льва XIII «Rerum novarum».*

ливее общественный строй, тем менее жизнеспособно государство.

2. Количественное поравнение имущества бесцельно и вредно: естественное неравенство человеческих сил, способностей и желаний все равно скоро опять приведет к *имущественному неравенству.* Имущественное неравенство преодолевается не переделом богатств, а освобождением души от зависимости, естественным братским доброжелательством, искусством довольствоваться тем, что есть, помышлением не о тех, кто «богаче меня», а о тех, кто «беднее меня», уверенностью, что богатство не определяет человеческого достоинства, и творческим трудолюбием. Воспитание должно давать людям *умение духовно переносить неравенство.*

3. Существенно не владение человека, а его *сердце и воля,* а также дела, проистекающие из его внутреннего мира. Есть люди, достойные всяческого богатства; и есть люди, не умеющие употребить во благо даже свою нищенскую суму.

4. Важно не то, чтобы не было имущественного неравенства, а то, чтобы в стране не было *хозяйственно-беспочвенных, бессильных, безработных, бесперспективных людей.* Каждый такой человек должен испытываться всеми как национально-хозяйственная рана, вредная и опасная для всего народа. Важно, *чтобы у каждого был хозяйственно-отправной пункт,* чтобы подъем к благосостоянию не был искусственно затруднен, чтобы полезный и продуктивный труд реально обогащал трудящегося, чтобы масса живо чувствовала *поощряющее влияние частной собственности, а также успешность и почетность честного труда.*

5. Новые поколения должны воспитываться в убеждении, что частная собственность не просто «право», *а нравственно обязывающее право.* Собственность обязывает каждого к творческому использованию всех ее возможностей, к несению больших общественных тягот и государственных повинностей, к человеческому обхождению со всеми, кто так или иначе зависит от вечной власти собственника, к постоянной заботе о хозяйственно-беспочвенных людях.

6. В частном хозяйстве заложена тяга к самодовлению и самосильности. Этой тяге должны быть противопоставлены *поиски новых форм солидаризации и сотрудничества* частных хозяйств («ко-операция» в широком и тесном смысле слова). Каждый частный хозяин должен чувствовать себя связанным законами *хозяйственного инстинкта* (рынок) и законами *хозяйствующего духа* (родина) со всею системою частных хозяйств своей страны.

7. Три требования: *изобилия, качества продукта и щедрости* должны быть *включены в нравы народа.* Первые два требования приведут к строгой экономии, к дисциплинированности труда и к поднятию техники в *производстве.* Третье требование придаст *распределению* дохода и продукта характер мягкой социальности и доступности.

8. Особые меры необходимы для борьбы с *противообщественным пользованием собственности* (эксплуатация, «потогонный труд», ростовщичество и шикана). Должны быть проведены законы, которые сделали бы *социальное* пользование собственностью — *выгодным,* а антисоциальное — невыгодным. Собственник, лишенный чувства ответственности и чувства сверхклассовой солидарности, распоряжающийся своим имуществом ко вреду других и поступающий антисоциально, — должен убедиться в том, что его образ действий *предосудителен,* что собственность его пользуется *меньшей защитой,* что такое ведение хозяйства оказывается экономически, юридически и нравственно невыгодным для него самого, так чтобы он сам захотел вступить на другой путь и т. д.

Все это вместе взятое может быть выражено так: *частная собственность должна быть утверждена, но народ должен систематически воспитываться к верному пониманию ее идеи.* Это воспитание должно связать внутреннее переживание частной собственности и внешнее распоряжение ею — с *благородными мотивами и социальными побуждениями* человеческой души и соответственно вскрывать и обезвреживать дурные мотивы и побуждения. Частная собственность есть власть: непосредственно — над вещами, но опосредствованно — и над людьми. *Нельзя давать*

власть, не воспитывая к ней. Частная собственность есть свобода. Нельзя предоставлять свободу, не приучая к ее благо-употреблению. Частная собственность есть право: этому праву соответствуют не только юридически-выговоренные обязанности, но и нравственно-социальные, и патриотические — нигде не оформленные и не выговоренные *обязательства.* Частная собственность означает самостоятельность и самодеятельность человека: нельзя исходить от предположения, что каждый из нас «от природы» созрел к ней и умеет ее осуществлять в жизни.

Только сильный и духовно воспитанный дух сумеет верно разрешить проблему частной собственности и создать на ее основании цветущее и социальное хозяйство.

И в этом отношении частная собственность подчинена всем основным законам человеческого духа.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Таков утверждаемый нами путь духовного обновления. Таковы первые, фундаментальные вопросы человеческого бытия, древние как мир и в то же время требующие от нас новой очевидности, нового постижения и нового осуществления. Это необходимые человеку *формы духовной жизни.* Они представляют собою некое органическое *единство,* цельное и нерасторжимое; и ни одна из этих форм не может быть по произволу отвергнута или отдана в жертву мировому соблазну.

1. Надо научиться *веровать.* Не — «верить» вопреки разуму и без оснований, от страха и растерянности, а веровать цельно, вместе с разумом, — веровать в силу очевидности, загоревшейся в личном духовном опыте и не могущей угаснуть.

2. Такая вера добывается *любовью,* духовною любовью к совершенному. Верование и любовь связаны воедино: в человеческой душе, в глубине личного сердца (субъективно) и там, вверху, в самом духовном Предмете (объективно). Кто полюбит *качество,* тот уверует в Бога; кто полюбит Бога, тот уверует в качество и возжелает совершенного в земных делах.

Через веру и любовь — постигается и осмысливается *все остальное.* Так, смысл *свободы* в том, чтобы *самому* полюбить, через любовь самому увидеть и через очевидность — самому уверовать; свобода есть самостоятельная, самобытная, творческая любовь и вера. И *совесть* движется силою *веры и любви.* И семья *есть* первое лоно *любви и веры.* И *родина* постигается *любовью* и строится *верою.*

И национализм есть не что иное, как *любовь к* своеобразной духовности своего народа и *вера* в его творческие богоданные силы. Без любви и веры невозможно правосознание, необходимое для государственности, оберегающей нацию, и для справедливой организации хозяйственного труда.

3. Мы должны научиться *свободе.* Ибо свобода не есть удобство жизни или приятность, или «развязание» и «облегчение», — но претрудное задание, с которым надо внутренно справиться. Свобода есть *бремя,* которое надо поднять и понести, чтобы не уронить его и не пасть самому. Надо *воспитывать себя* к свободе, надо созреть к ней, дорасти до нее, иначе она станет источником соблазна и гибели.

Свобода необходима *верующему и любящему,* чтобы любить любимое цельно и веровать искренно. Без свободы не будет настоящей веры и любви.

Но первым проявлением свободы должен быть *совестный акт.* И первым жилищем свободы должна быть семья, чтобы человек в семейной жизни созрел к свободному патриотизму, свободному национализму и свободной государственности.

4. Мы должны научиться *совестному акту.* Он откроет нам живой путь к восприятию Бога и к *вере.* Он научит нас самоотверженной *любви.* Он даст нам величайшую радость — радость быть *свободным в добре.*

Совесть научает нас строить здоровую, духовную *семью.* Она откроет нам искусство любить родину и служить ей. Она предохранит нас от всех соблазнов и извращений ложно понятого национализма.

5. Мы должны научиться чтить, и любить, и строить наш *семейный очаг* — это первое, естественное гнездо любви, веры, свободы и совести, эту необходимую и священную ячейку родины и национальной жизни.

6. Мы должны научиться *духовному патриотизму* — научиться обретению родины и передать это умение всем другим, кто соблазнился о своей родине и пошатнулся в сторону интернационализма. Мы должны понять, что люди связуются в единую родину силою веры, любви, внутренней свободы, совести и семейного духа, силою духовного творчества во всех его видах; и, увидев это, мы должны

утвердить наше священное право быть единой, духовно великой нацией.

7. Истинный национализм есть как бы завершительная ступень в этом восхождении. И в нем, как в фокусе, собираются все другие духовные лучи. Почему ныне появились люди, сомневающиеся в правоте национализма? Потому что они представляют себе национализм в отрыве от веры как проявление земной, обособляющейся гордыни, — в отрыве от любви как воплощение самомнения и жадности, — в отрыве от свободы как воинственное стремление поработить все иные народы, — в отрыве от совести как систему агрессивности, кровожадности и хищности, — в отрыве от органической семейственности как произвольную и неискреннюю выдумку, — в отрыве от патриотизма как начало противо-духовное и противо-культурное... Кто же виноват в этих заблуждениях? Позволительно ли молчать при виде этого соблазна?

Нет; родившись в эпоху соблазна, соблазнами окруженные и одурманиваемые, мы должны противопоставить этим временным соблазнам — *вечные основы духовного бытия,* необходимые человеку в его земной жизни. Эти вечные основы слагают единую духовную атмосферу, единый путь, который необходимо прочувствовать и усвоить, чтобы на вопрос, «во что же нам верить», мы могли бы ответить живою верою: в Бога, в любовь, в свободу, в совесть, в семью, в родину и в духовные силы нашего народа, начиная с Бога и возвращаясь к Нему, утверждая, что и любовь, и свобода, и совесть, и семья, и родина, и нация — суть лишь пути, ведущие к Его постижению и к Его осуществлению в земной жизни человека.

Знаем, что помимо этих путей к Нему ведут еще и иные пути: и наука, и философия, и искусство. Но об этих путях и о связанных с ними кривых истолкованиях и соблазнах надлежит говорить отдельно.

ПУТЬ К ОЧЕВИДНОСТИ

ПРЕДИСЛОВИЕ
О НОВОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Современный мир идет навстречу духовному обновлению. Многие еще не видят этого: одни — потому, что не изжили своих старых заблуждений и продолжают считать их «последним словом» жизни и правды; другие — потому, что страдания и лишения нашей эпохи слишком велики и поглощают у людей все их силы. Есть и такие, которые почувствовали необходимость духовного обновления, но не видят нового, верного пути и не знают, что начать... Но близится тот «день», когда духовное обновление начнется само собою и притом потому, что старые пути и направления окажутся исчерпавшимися, разочарование охватит души и человеческие лишения и страдания покажутся невыносимыми...

Ввиду этого было бы важно предвидеть, каковы же будут эти иные, новые пути и что нам надо ныне делать для того, чтобы вступить на них без сомнений и колебаний. Человеку недостойно пребывать в беспомощности и пассивности, предаваясь своей непонятной «судьбе» с покорностью младенца. Человек должен разуметь свои ошибки и заблуждения, свободно судить их, а не предаваться изжитому психозу, принесшему уже столько бед. Человек призван овладевать своей душой и ее слабостями, освобождать себя из состояния духовной слепоты и творчески слагать свою новую судьбу перед лицом Божиим. Трагические события истории, смуты и бедствия посылаются нам для того, чтобы мы одумались и сосредоточились на самом жизненно-существенном, чтобы мы вспомнили о нашей творческой свободе и отыскали в самих себе нашу

собственную духовную глубину, с тем чтобы из нее повести наше обновление — свободно, мужественно и активно.

И прежде всего нам надо сосредоточиться на том, что мы утратили. Человечество попыталось за последние два века создать культуру без *веры*, без *сердца*, без *созерцания* и без *совести*; и ныне эта культура являет свое бессилие и переживает свое крушение.

Люди не захотели больше *веровать*, потому что они уверили себя, будто вера есть противоразумное, научно несостоятельное и «реакционное» состояние души. Люди отреклись от *сердца*, потому что им стало казаться, что сердце мешает инстинкту, что оно есть разновидность «глупости» и сентиментальности, что оно подрывает человеческую деловитость и ставит человека в смешное положение; а «умный» человек больше всего боится показаться смешным; он желает «делать дела» и утверждаться в земной жизни. Люди отвергли *созерцание*, потому что их трезвый, прозаический «ум» презирает человеческую «фантазию» и считает, что самое важное в жизни есть «эмпирическое» и «прозаическое». Они вытеснили из жизни начало *совести*, потому что ее живоносные призывы и укоры совершенно не укладываются в контекст хладнокровных расчетов и деловых планов. И за всем этим, наряду с черствым себялюбием и самомнением, скрывался *ложный стыд и ложный страх*: люди боятся остаться в бедности и неизвестности, они боятся прослыть ребячливыми, несерьезными и смешными... Голодное самочувствие, тщеславие и честолюбие соединяются здесь с робостью перед «общественным мнением»...

Этот ложный стыд будет преодолен и устранен великими лишениями и страданиями нашей эпохи. Ибо страдание есть подлинная и могучая реальность, оно приобщает человека *бытию* настолько, что люди научаются быть, а не казаться и их тщеславное желание «прослыть» и «прославиться» отходит на задний план. Но это и значит, что современному человеку предстоит еще мучиться и терпеть, и может быть, еще в неизведанных им формах гнета и унижения, до тех пор, пока не отпадет все кажущееся, условное и мертвое и пока не вырвется наружу исток внутренней реальности и творческой силы. Человек должен снова возжелать *подлинной реальности, субстанции* вся-

ческого бытия и всякой жизни. Тогда в нем оживет и раскроется сердце; тогда он свободно и решительно отдастся сердечному созерцанию; на этом он вновь обретет Бога, примирится со своей совестью и начнет создавать новую культуру, — обретая новую *веру* во Христа, слагая новую *науку*, созидая новое *искусство*, формулируя новое *право* и водворяя новую, отнюдь не социалистическую *социальность*...

Нельзя ни предусмотреть, ни предсказать, когда именно начнется это духовное обновление и когда наступит час творческого прорыва и постижения. Отдельные носители и осуществители его жили во все века и совершают свое дело и ныне. Во всяком случае, мы должны и теперь уже искать верного диагноза для современного духовного кризиса и намечать верные пути, ведущие к духовному обновлению.

К этому призвана особенно философия, как любовь к мудрости, как потребность в божественных содержаниях, как ответственнейшее исследование, как воля к очевидности в делах высшей и предельной важности. И философы нашей эпохи поступят правильно, если они забудут свои субъективно-произвольные «конструкции» и всякие «гносеологические» и «диалектические» комбинации и отдадут свои силы предметному созерцанию.

Тогда они прежде всего увидят и укажут *духовные раны* современной культуры, начиная с *утраты священного* во всей человеческой жизни и кончая исследованием тех бездн, в коих гнездится зло мира.

Вслед за тем им придется установить диагноз нашего культурного кризиса и показать, как современное человечество переоценивает чувственную жизнь и чувственные наслаждения, как оно создает бессердечную культуру и погружается в хаос духовного затмения.

Обращаясь к путям духовного обновления, они должны будут заняться прежде всего вопросами воспитания, чтобы указать его важнейшие, забытые и запущенные в нашу эпоху задания: надо будить духовное начало в детском инстинкте, приучать его к чувству ответственности, укреплять в людях предметную силу суждения и волю к духовной цельности в жизни.

Надо верно оценить то бремя земного существования, которое мы несем через всю жизнь, и найти естественные и справедливые способы для социального облегчения его.

Особенно важно понять и объяснить людям сущность *творческой жизни*. Это величайшая задача для поколений, идущих нам на смену. Строение творческого акта, созидающего культуру, должно быть постигнуто до глубины и обновлено из самой глубины, и притом — во всех областях и духовных призваниях.

И для того, чтобы разрешить все эти задания, людям надо обеспечить себе доступ к *первоначальным основам* духа и жизни. Человек будущей культуры должен снова возлюбить *духовную свободу*, предаться живой *сердечной доброте*, взрастить в себе драгоценное *смирение* как источник подлинной силы, преклониться перед *тайной Божьего мироздания*, укрепить в себе *силу сердечного созерцания*, научиться *радости благодарения* и восстановить в себе *подлинную религиозность*.

И то, что он тогда будет излучать в мир, освятит его личную жизнь и поведет его культуру по путям истинного христианства.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1
БЕССЕРДЕЧНАЯ КУЛЬТУРА

Из переписки двух ученых

Вот что стояло в *его* письме:

«Достоуважаемый коллега!

Не понимаю, чего Вы, собственно говоря, требуете от современного человечества?.. Чем дальше идет развитие культуры, тем напряженнее, тем интенсивнее она становится. Культура есть вообще *воплощение интенсивности*: «многое» собирается и сосредоточивается (аккумуляция) и затем действует в формах концентраций (интенсивность). Это составляет самую сущность культуры. Именно бескультурность выражается в рассеянии, в рассредоточенности; и именно поэтому варварство есть явление распада, бесформенного множества, экстенсивности, вялого бессилия. Напротив, кто хочет творить культуру, тот должен собрать свои силы, научиться концентрации, вниманию, единению; он должен все взвешивать, вкладывать в дело все свои силы и стойко держаться до конца. Без этого никакая культура невозможна. Но это и есть приговор для всякой наивности, непосредственности и бессознательности. Мысль и воля должны проснуться, сосредоточиться, подчинить себе воображение и создать необходимое. При чем тут так называемая «жизнь чувства» или, как еще говорят, «сердца»? Что она может дать? — Она будет только отвлекать, уводить, мешать умственной концентрации, ослаблять волевую энергию...

Стоит только перебрать по очереди отдельные области человеческой культуры — и все сразу обнаружится.

Возьмем ли всеопределяющую ныне *технику*, великую основу всякого культурного начинания. Она строится на

математическом естествознании и руководится соображениями экономии сил, полезности и дохода. Здесь чувство ничего не может; оно будет только мешать и должно быть устранено...

Возьмем ли *хозяйство*, и в частности *деловой оборот*: две великие сферы реальной необходимости и целесообразной организации; царство трезвого расчета, хладнокровного взвешивания и предвидения. Здесь все решается верной калькуляцией, конкуренцией, рекламой и быстро принятым решением. Где здесь место для любви? Она только спутает все, растворит, разложит и подорвет; она поколеблет и остановит весь хозяйственно-общественный механизм, заставит человека наделать нерасчетливых глупостей и разорит его. Человек борется с человеком за свое существование, — и на этом держится все хозяйство. Здесь господствует инстинкт самосохранения и соперничество. И кто предается чувствам и чувствительности, тот пропащий человек...

Посмотрите на *науку* — этот главный двигатель всей современной культуры. Здесь все построено на объективном наблюдении и бесстрастном анализе. Жизнь чувства, с его неустойчивостью и капризной субъективностью, внесла бы в науку только туман и пристрастие; и потому она должна быть здесь подавлена или, во всяком случае, устранена. Чем меньше «симпатии» и «антипатии», волнения и негодования, тем успешнее идет научное исследование. Ненависть и любовь только плодят научные ошибки. «Сердцу» просто нечего делать в науке.

А если взять культуру как *политику*, то тут уже совсем не будет места для «сентиментальности». В политике царит личный, групповой и классовый интерес. Здесь идет умная и дерзкая борьба за власть. Здесь нужен холодный расчет, трезвый и зоркий учет сил, дисциплина и удачная интрига; и конечно — искусная реклама. Политик должен блюсти равновесие в народной жизни и строить «параллелограмм сил» в свою пользу. При чем тут чувство? Сентиментальный политик никогда не дойдет до власти, а если получит ее, то не удержит. Здесь все решается *волей и силой*, и любви здесь нечего делать. Сентиментальность погубит *всякий* государственный строй...

Заговорите о любви в *современном искусстве*, и на Вас все обернутся, как на устаревшего чудака-профана. Современное искусство есть дело развязанного воображения, технического умения и организованной рекламы. Сентиментальное искусство отжило свой век; это был век пастушек и романтиков. Ныне царит *изобретающее и дерзающее* искусство, с его «красочными пятнами», звуковыми пряностями и эффективными изломами. И современный художник знает только две «эмоции»: зависть, при неудаче, и самодовольство, в случае успеха.

И вот от всей культуры остается только *религия*, которая ныне, кажется, поколеблена в самых своих основах. Но западные европейцы давно уже уяснили себе, что в религии должна господствовать *воля, дисциплина и богословское доказательство*. Для того чтобы иметь веру и религию, человек должен *захотеть* веры и *подавить* свои сомнения. Он должен подчинить себя церковной дисциплине и погасить свои субъективные симпатии. Самостоятельное, свободное кипение чувств и разнуздание личных мнений только подрывает и разрушает религию. Здесь нет места ни сомнению, ни произволу; и если церковь хочет быть сильною, то она должна *устранить сердце из религии*.

Вот почему культура вообще не нуждается в жизни чувства: последнее должно быть обуздано, укрощено и преодолено. Распущенное чувство есть прямо признак некультурности, пережиток варварских времен»...

Я отвечал ему:

«Ваши определения, почтенный коллега, очень ясны и чрезвычайно поучительны. Они удивительно освещают всю проблему. Именно из того, что Вы вскрыли, у современных поколений западного человечества возникла нынешняя *бессердечная культура*. И все мы должны постоянно думать о том, сможет ли она дальше существовать в таком виде и как можно было бы спасти ее... Потому что предварительные итоги ее развития являют картину сущего *крушения*, а может быть, и *величайшей катастрофы*...

Культура последнего века покоится на некоторых основных предпосылках, которые редко выговариваются открыто, но которые внушаются современному «культурному человеку» с самого детства как нечто само собой понятное и не допускающее никаких сомнений. Именно

поэтому он впитывает их в себя как бы с молоком матери и живет ими всю жизнь. Вот эти предпосылки.

— Сердце существует только для глупых людей; умные люди не считаются с ним и не поддаются его нашептам. Совесть есть выдумка блаженных; с нею носятся только сентиментальные люди; только нежизнеспособные фантазеры дрожат перед этим призраком добродетели. Вера изжита и стала пережитком; она простительна только наивным и непросвещенным людям; а умные и образованные люди могут только притворяться верующими, и притом в силу расчета и лукавства. Любовь есть или здоровый половой инстинкт, нужный для деторождения, или же старомодная сентиментальность, лицемерная фраза, остаток первобытного прошлого, которому нет места в современной культурной жизни...

Как сложились, как окрепли эти предпосылки современной культуры — это долгая история: все развитие западноевропейского человечества дает ответ на этот вопрос; и было бы чрезвычайно поучительно проследить кристаллизацию этих основ из столетия в столетие. Однажды появится русский ученый, который выполнит эту работу. Под многовековым влиянием языческого, а потом католического Рима люди культивировали *волю и мышление*; они старались овладеть воображением, столь неосторожно проснувшимся в эпоху Возрождения, и подчинить его; и пренебрегали жизнью чувства, во всей его благодатной глубине, свободе и силе. От всего чувства оставалась одна чувственность: эротика без любви. Только от времени до времени вырывались из земли и поднимались к небу — совсем индивидуально и самовластно — личные «гейзеры» чувства, горячие источники любви и совести, которые при жизни не встречали ни понимания, ни сочувствия; а после смерти их личного носителя их дело искажалось или предавалось забвению (таков был Франциск Ассизский в Италии, таков был Мейстер Экхарт в Германии, таков был Томас Карлейль в Англии). Мы, конечно, отметим и признаем в современной культуре начало общественной благотворительности; но при ближайшем рассмотрении окажется, что в основе ее лежит волевая дисциплина, соображение о пользе и умелая организация, — а совсем не любовь, не совесть и не чувство. Общественная благотворительность на Западе обду-

манна и умна; почти всегда хорошо налажена и приносит немало пользы; но она почти всегда жестка и холодна, нелюбовна и неделикатна, ограничена определенными социальными группами и никак не связана с живою добротою... Она благотворит с выхолощенным сердцем.

Именно в этом все дело: западноевропейская культура сооружена как бы из *камня и льда*. Здесь религия, искусство и наука (за немногими гениальными исключениями!) холодны; а политика, техника, хозяйство и деловой оборот — жестки и суровы и вменяют себе эту жесткость в великую заслугу («высший уровень культуры!»)... Любовь мешает уму и воле; а культура считается именно делом воли и ума. Проявлять жизнь чувства ребячливо, несерьезно, просто — смешно! А стать смешным — это самое страшное дело для «серьезного» человека... Культура есть дело строгое; а строгость формальна, холодна и жестка.

Умный английский философ Гоббс формулировал однажды социологический закон: «человек человеку — волк» (homo homini — lupus). Было бы несправедливо сказать, что это и есть закон современной культуры. Однако «культурное приличие» требует того, чтобы люди обращали друг на друга как можно меньше внимания: не обременяли друг друга ненужным наблюдением и общением. Человек человеку — *прохожий*. Или, как тонко подметил Чехов, человек человеку не то запертый сундук, не то источник недоразумений. Люди подобны деревянным шарикам, которые чокаются друг о друга и отскакивают в разные стороны. Люди другу — соперники или конкуренты; и каждый опасается чужого недоброжелательного ока и осуждающего разговора. Они заботятся друг о друге лишь в меру ожидаемой от другого имущественной или служебной пользы, или в меру своего тщеславия, или еще — в меру чувственного влечения. А использованного человека «списывают со счета» и при первом удобном случае предают. И делают это совершенно сознательно и довольно ловко. И зная это, для приличия время от времени декламируют о гуманности; и расчетливо, с навязчивой рекламой, организуют «гуманные заведения». А в прочем люди, как деревянные шары, случайно наталкиваются друг на друга, отскакивают и катятся дальше своею случайной дорогой. Люди относятся друг к другу так, как если бы их нормальное «рядомжительство» было подготовительной

стадией для столь же нормального «взаимного нападения». Но именно поэтому, как только дело доходит до борьбы, так оказывается, что «человек человеку — волк»...

Поэтому эти судорожные спазмы современной культуры — революции, гражданские и международные войны — *не случайны*: они суть естественные выражения сердечной жесткости, алчности, зависти и ненависти. Жестокость этих столкновений уже заложена в повседневной жестокости и бессердечной жизни. И неудивительно, что антракты между революциями заполняются систематической подготовкой новых революций; и что революция стремится захватить всю вселенную. И антракты между войнами заняты изобретениями новых оружий; и «наука» уже торгует своими военными изобретениями, продавая их из страны в страну. Оружия эти становятся все более разрушительными, убийственными и мучительными; и уже направляются на мирное население. И уже работают везде школы взаимного выслеживания, замучивания и искоренения. И все это не случайно, а заложено глубоко в *бессердечии современной культуры.*

Вот почему надо признать и громко выговорить, что двигаться по этому пути далее невозможно. Бессердечная культура подрывает сама себя: в изобретении атомной бомбы она дошла до вселенского самоубийства, а изобретение это, наверное, не составляет последнего слова разрушительной техники. Источники и основы современной культуры должны быть в корне пересмотрены. Человечество творит свою культуру *неверным внутренним актом*, из состава которого исключены: *сердце, совесть и вера*, а сила *созерцания* — заподозрена, осмеяна и сведена к подчиненному, почти подавленному состоянию. *Так* создаваемая культура есть *больная* культура; и то, что мы переживаем ныне, все наши бедствия, страдания и тревоги, суть естественные последствия этой больной культуры».

2
ОБРЕЧЕННЫЙ ПУТЬ

Вся современная культура, «социалистическая» и «несоциалистическая», потрясена в своих основаниях; ей гро-

зит разложение и гибель. Это объясняется тем, что она создавалась и ныне по-прежнему строится с отстраненным и заглохшим, омертвевшим сердцем. Ее породил душевный *акт неверного строения*, и это вело и ныне ведет к самым тягостным, извращенным, трагическим последствиям. Современное человечество, «христианское» и противохристианское, должно понять и убедиться, что это есть ложный и обреченный путь, что *культура без сердца есть не культура, а дурная «цивилизация»*, создающая гибельную технику и унизительную, мучительную жизнь.

Пренебрежение, с которым современное человечество относится к «сердцу», объясняется целым рядом причин. В основе его лежит неверное представление о *творческом акте*, который трактуется *материально, количественно, формально и технически*. Для того чтобы жить в качестве *вещи* среди *вещей* (или, что то же, в качестве тела среди других тел), человек, по-видимому, не нуждается в «сердце», т. е. в живом и деятельном чувстве любви к Богу, к человеку и ко всему живому; такое существование может явно обойтись без этой необходимой и важнейшей силы: человек может отдавать свой интерес пище, питью, чувственным удовольствиям, внешним удобствам и впечатлениям или, наконец, лечению, не вовлекая своего сердца во все эти дела и занятия, оставаясь холодным, черствым и самодовольным «счастливцем». Подобно этому человеку, понимающему творчество *не* качественно, а *количественно*, безразличному к нравственному, религиозному, художественному и социальному совершенству жизни, — нет особенной надобности вовлекать («инвестировать») в свои дела и отношения начала чувства и любви: обилие имущества и денег, повышение фабричной продукции и увеличение сбыта, умножение слуг и рабов, — все это достигается волею, рассудком, расчетом, мыслью, интригою, жестокостью и преступлениями гораздо легче, чем любовью, которая может оказаться прямым препятствием во всех этих делах. Точно так же *формальное* отношение к жизни и творчеству облегчает человеку достижение «успеха» чуть ли не на всех поприщах: формальное трактование права требует только мысли и воображения и возможно без совести, без чести, без патриотизма и жалости; формальное отношение к религии превращает ее в дело

пустого обряда и памяти; формальное восприятие искусства уже породило современный модернизм во всех его видах, не нуждающийся ни в сердце, ни во вдохновении, ни в предметосозерцании; формальная политика есть дело власти (воли) и дисциплины, и современное тоталитарное государство есть ее прямое порождение; и так во всем, во всех человеческих делах и отношениях. Что же касается *техники*, то она является сущим средоточием материализма, количественности и формализма; здесь сердцу, по-видимому, решительно нечего делать.

И вот человек, *так* понимающий и осуществляющий творческий акт, естественно и неизбежно предается наивно-животному *своекорыстию, жажде обладания, власти и почестей* и в довершение усваивает совершенно ложное понимание человеческого достоинства, столь характерное для современных поколений.

Современный человек, чувствуя, что ему грозит бедность с ее лишениями, и ослепляясь мнимой мощью капитала, старается *как можно больше нажить и как можно меньше утрудить себя.* Он гонится за «прибылью», он желает получать и иметь много, но не желает давать со своей стороны. Он хочет жить долго и наслаждаться много и потому старается отделываться от своих занятий по возможности формально, поскорее и полегче управляться с ними, не связывать себя ничем и вовлекать свои чувства в дела возможно меньше. Он считает выгодным сторониться по возможности от всего, что могло бы обременить его: он склонен считать все «относительным», «пустяками», «вздором»... И такая установка становится для него «защитной» и «бережливой» привычкой.

Кроме того, ему кажется, что такой подход к жизни наиболее соответствует его мужскому и профессиональному достоинству. «Настоящий» мужчина деловит и важен; он принимает свою серьезную деловитость за настоящую жизненную «Предметность». Он не живет чувством и не принимает всерьез сердечных побуждений (исключение делается только для эротических увлечений, и то не всегда). Он избегает всего «субъективного», «личного»; он боится показаться смешным. У него нет времени для «сентиментальностей». Он хочет «импонировать» людям, а для этого надо быть в жизни независимым, важным,

чопорным. Поэтому он старается отделаться от «чувства» совсем. Он выступает в жизни как человек деловой и холодный и не придает значения «сердцу». Ибо он боится больше всего — показаться слабым и стать смешным...

Вот почему люди нашей эпохи *стыдятся* положительных и добрых чувств и не предаются им. И самая благотворительность становится у них делом расчета, черствого ума, организации, делом показным и недобрым. И самые разговоры их о «гуманности» звучат *фальшиво* и толкуются *партийно и двусмысленно*. Но если человек не живет сердцем, то нет ничего удивительного, что оно глохнет и отмирает и что это отмирание становится наследственно-потомственным. При этом люди не замечают, однако, что отрицательные чувства, дурные и злые (гнев, злоба, зависть, мстительность, ревность, жадность, тщеславие, гордость, жестокость и др.), остаются и беспрепятственно расцветают, тем более что они, по-видимому, проявляют *силу* человека. Они импонируют большинству людей, ибо обнаруживают в человеке энергию, волю, настойчивость и властность; они внушают окружающим сначала опасение, а потом и страх, и даже незаслуженное уважение... Отсюда эта жалкая картина: *современный «культурный» человек стыдится своей доброты* и нисколько *не стыдится своей злобы и порочности*.

Так развернулась больная культура наших дней: она строилась и создалась при бессилии добрых чувств, из заглохшего и омертвевшего сердца. И тот, кто присмотрится к этому своеобразному душевному состоянию, тот неизбежно придет к следующим выводам.

Современный человек привык творить свою жизнь — мыслью, волею и отчасти воображением, исключая из нее добрые побуждения сердца; и, привыкнув к этому, он не замечает, куда это ведет: он не видит, что создаваемая им культура оказывается *безбожною*, впадает в *пошлость, вырождается и близится к крушению*.

Мышление без сердца, — даже самое умное и изворотливое, — остается в конечном счете *безразличным*: ему все равно, за что ни взяться, что ни обдумать, что ни изучить. Оно оказывается бесчувственным, равнодушным, релятивистическим (все условно! все относительно!), машинообразным, холодным и циничным; особенно — ци-

ничным, а потому характерным для карьеристов, для людей пролазливых, льстивых, пошлых и жадных. Такое мышление не умеет *вчувствоваться* в свои предметные содержания; оно не созерцает, оно лишено интуиции; его главный прием есть умственное разложение жизни, как бы умственная «вивисекция» живых явлений и существ. Поэтому оно остается аналитическим, оно действует разлагающе и так охотно занимается пустыми «возможностями» и «построениями» (конструкциями). Это делает его *беспредметным* в истинном и глубоком смысле слова; но люди этого не замечают. Отсюда возникает формалистическая и схоластическая наука — формальная юриспруденция, разлагающая психотерапия, бессодержательная эстетика, аналитическое естествознание, парадоксальная математика, абстрактная и мертвая филология, пустая и безжизненная философия. Наука становится мертвым и ложным делом, а человек вынашивает беспочвенное, разнузданное, обманчивое миросозерцание...

Бессердечная воля, — сколь бы упорной и настойчивой она ни была в жизни, — является в конечном счете лишь животной алчностью и злым произволением. «Освободившись» от любви, воля оказывается бесцеремонной и безудержной, но воображает о себе, будто она «могущественна» и «свободна». В действительности же она является безжалостной, напористой и жестоковыйной. Успех для нее — все; мучительство и убийство для нее — дело простое и обычное. Это — *злая энергия души*. Она живет всецело в трезвости земных похотей: это есть воля к обладанию и к власти и расценивать ее надлежит не как духовную потенцию, а как *опасное явление природы*. Это и есть именно та воля, для которой *поставленная цель оправдывает всякое средство*. Это есть воля ненасытного властолюбия, воля тоталитарного государства и «единоспасительной церкви», антисоциального капитализма, коммунистического деспотизма, империалистических войн за колонии; такова воля всех карьеристов и тиранов.

И наконец — *воображение в отрыве от сердца*, как бы картинно и ослепительно оно ни изживалось, остается в конечном счете безответственной игрой и пошлым кокетством. Никогда еще оно не создавало истинного и великого искусства; никогда еще ему не удавалось узреть

глубину жизни и высоту духовного полета; и никакой успех у толпы, если он бывал, не доказывал обратного. Фантазия, лишенная любви, есть не что иное, как разнуздавшееся естественное влечение, неспособное творить культуру; — или же изобретательный произвол, не имеющий никакого представления о художественном совершенстве. Поэтому безлюбовное воображение есть не дух, а *подмена духовности*, ее суррогат. Его «игры» — то похотливы и пошлы, то конструктивны, беспредметны и пусты. Это воображение, которое разрешает себе все, что доставляет ему удовольствие, и которое готово на всякий, и даже самый гнусный заказ, диктуемый ему хозяйственной или политической «конъюнктурой»... Именно оно, духовно слепое, формальное и релятивистическое, породило в истории искусства современный «модернизм», со всем его разложением, снижением и кощунством...

Еще недавно казалось, что людям бессердечной лжекультуры никак не докажешь обреченности этого пути; они просто не хотели слушать наших возражений и обличений. «Почему же этот путь должен считаться обреченным, если история избрала именно его и осуществляет его? Все превосходно развивается, наука делает замечательные открытия, техника идет вперед и создает невиданное, промышленность процветает, медицина являет все новые достижения, юриспруденция вытачивает свою систему понятий, химия и физика производят миропотрясающие, а может быть, даже мироразрушительные опыты и т. д... В чем же обреченность этого пути?!»...

Стоя непосредственно перед крушением, в преддверии близящейся мировой катастрофы, люди не хотели видеть, что это не победоносное шествие, а скольжение в пропасть; что *формализм и разнуздание* суть гибельные координаты; и что властолюбию даются в руки такие средства, которыми оно будет злоупотреблять во всеобщее унижение и порабощение... И вот события последних десятилетий показали, что путь этот есть действительно обреченный путь.

Теперь люди скоро убедятся в том, что мнимый «прогресс» есть в действительности разложение культуры. События заставят их пересмотреть свои воображаемые «достижения» и обновить свой творческий акт. Сердце

и созерцание, любовь и интуиция должны быть реабилитированы и возобновлены и соответственно получат руководящую силу. Наряду с чувственным наблюдением внешнего мира, наряду с холодной и жесткой волей к власти должно расцвести особое *сердечное созерцание,* свободное от предрассудков прошлого, не компрометируемое псевдонаучной мыслью, воспринятое и осуществляемое в культурном творчестве. Это сердечное созерцание переродит и окрылит чувственное наблюдение мира; оно свяжет и облагородит холодную и жестокую волю к власти и укажет ей ее высшие цели и задачи.

Человек должен научиться этому новому созерцанию, воспринимающему и природу, и человека, и высшие предметы потустороннего мира — *любовью*; любовь, по завету Евангелия, должна стать первою и основною движущею силою и создать новую культуру на земле. Человек должен понять, что привычные для него вопросы — «а какая мне от этого польза?» и «как использовать мне данное положение вещей против других?» — суть вопросы, достойные животного, а не человека и что такая установка души не может создать великую и жизнеспособную духовную культуру. Культурное творчество требует от нас *предметного служения, духовной преданности и жертвенности,* т. е. сердца и любви. Оно требует от нас *выбора истинной цели, верности вчувствования и свободной совести,* т. е. опять-таки любви и созерцания. И эту творческую любовь и это творческое созерцание нельзя ничем заменить или подменить: ни суровой дисциплиной, ни идеей долга, ни авторитетными велениями, ни страхом наказания. Ибо любовь имеет в виду свободно избранный и любимый предмет; она индивидуализирует все отношения человека и воспитывает в нем культуру предметности; она интуитивна, созерцательна; она невынудима и свободна; она исходит от совести, движется вдохновением и творит. Тогда как долг есть начало рассудочное и формальное, а дисциплина действует силою авторитета, она не выбирает своего предмета и довольствуется внешней исполнительностью. Конечно, при отсутствии любви — лучше долг, чем произволение, и лучше дисциплина, чем разнуздание. Но ни долг, ни дисциплина не могут заменить любви.

Вот почему культура без любви есть пустое и мертвое понятие, мнимая культура или прямое лицемерие. И путь этот есть обреченный путь.

3
О ЧУВСТВЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Человек, как *духовное* существо, всегда ищет *лучшего*, ибо некий таинственный голос зовет его к *совершенству*. Он, может быть, и не знает, что это за голос и откуда он... Он, может быть, чувствует бессилие своей мысли и своего слова каждый раз, как пытается сказать, в чем же состоит это совершенство и какие пути ведут к нему. Но голос этот *внятен* ему и *властен* над ним; и именно желание отозваться на этот призыв и искание путей к совершенству придают человеку достоинство *духа*, сообщают его жизни *духовный смысл* и открывают ему возможность творить настоящую *культуру* на земле.

А человек призван быть на земле именно духом, — не просто живым существом наподобие животных и насекомых, и не только одушевленным созданием, удачно соображающим и желающим для себя всякой пользы, капризно и разнообразно чувствующим и нестесненно фантазирующим. Все эти душевные способности даются ему, но не для злоупотребления ими, а *для благого и ответственного служения*. И вот первое, что необходимо каждому человеку, желающему творить культуру, это чувство своего *предстояния*, своей *призванности и ответственности*. Можно было бы сказать, что люди делятся на две большие категории: одни безответственно ищут в жизни или своего *наслаждения* (это люди «поглупее»!) или своей *пользы* (это люди «поумнее»!), другие же чувствуют себя *предстоящими* чему-то Высшему и Священному, так, что, даже не умея сказать, что это за Высшее и где обретается это Священное, они не сомневаются в самом своем *предстоянии* Ему. Мир не есть для них «вольное пастбище», данное им для личного прокормления и устройства; он не есть для них и случайное нагромождение «впечатлений», «явлений», удовольствий и неприятностей. Они чувствуют и прозревают великий смысл мирового вращения и своей собственной

жизни; и не успокаиваются на том потоке «ничтожной суеты» и «мелкого сора» (А. К. Толстой), в котором тонут столь многие.

Это чувство предстояния и призванности сразу успокаивает их и тревожит: успокаивает — ибо дает им ощущение высшей «водимости», творческой основы, жизненного смысла и собственного достоинства; тревожит — ибо вызывает в них живое чувство *духовного задания, высшей ответственности и собственного несовершенства.* Это возлагает на них обязанность не мириться со всем тем, что происходит в них и во внешнем мире, обязанность оценивать, искать верных мерил, выбирать, решать и творить. Это зовет их сразу к труду, к дисциплине и к вдохновению.

Такое удостоверение в собственной духовности и приятие ее есть первооснова живой религиозности. Ибо то Высшее, чему человек *предстоит*, есть Господь, Его зовы и Его божественные излучения. И *призвание* человека определяется именно свыше. И духовное *измерение* человеческой жизни и всех ее дел имеет тот же единый источник. И ответственность человека есть в последнем измерении всегда ответственность перед Богом.

Само собою разумеется, что человек не всегда отчетливо *сознает* это и редко может точно *выговорить* ощущаемое. Но это ничего по существу не меняет. *Сознание есть не первая и не важнейшая ступень жизни, а вторичная, позднейшая и подчиненная.* И закрепление в слове глубоких и священных жизненных сил дается не каждому человеку, дается не всегда и не легко. Здесь важно и драгоценно не умствование и не словесное описание, а *твердое и глубоко укорененное чувство предстояния, призванности и ответственности.* Духовность человека отнюдь не совпадает с сознанием, отнюдь не исчерпывается мыслью, отнюдь не ограничивается сферою слов и высказываний. Духовность глубже всего этого, могущественнее, богаче, значительнее и священнее.

Духовность человека состоит прежде всего в уверенности, что в пределах его собственной души есть *лучшее* и худшее, *на самом деле* лучшее; такое, качество и достоинство которого не зависит от человеческого произвола; такое, которое надлежит признать и перед которым подобает преклониться. К этому лучшему и высшему надо

прислушиваться, сосредоточенно испытывать его, вникать в него, предаваться ему. И по мере того, как человек осуществляет это, он убеждается в том, что это высшее и лучшее совсем не исчерпывается его личными пределами, но является в нем самом как бы излучением и энергией действительно Высшего и Совершенного Начала, которому он и *предстоит* на протяжении всей своей жизни. Приобщаясь этому Началу, духовный человек не может не радоваться Ему, не может не возжелать Его и не полюбить Его. И очень скоро он удостоверяется в том, что это радование естественно и целительно, что это желание драгоценно и жизненно необходимо, что эта любовь открывает ему настоящий доступ к жизненному свету, к истинной свободе, к подлинному бытию и личному духовному достоинству. В этом делании духовный человек научается преклоняться перед Богом, чтит самого себя, видит и ценит духовность во всех людях и желает творческого раскрытия и осуществления духовной жизни на земле. Это и есть сущая культура.

Все это можно было бы выразить так: в основе подлинной духовной культуры лежит *личная, искренняя религиозность* культурно-творящего человека[1]. *Религиозность есть живая первооснова истинной культуры.* Она несет человеку именно те дары, без которых культура теряет свои смысл и становится просто неосуществимой: чувство *предстояния*, чувство *задания и призванности* и чувство *ответственности.*

Предстояние Высшему есть первый дар религиозности. Напрасно думать, что это чувство «унижает» человека или придает ему «рабские черты». Такое мнение свидетельствует о том, что данному человеку далеко до истинной свободы: он боится попасть в «рабское» положение именно потому, что он все еще чувствует себя сам «недавним рабом», или «полурабом», или, если угодно, *«вольноотпущенником»*. Человек, нашедший свою свободу и утвердившийся в ней, знает, что никакие условия, ни внешние, ни внутренние, не могут отнять у него этой свободы; ибо оттого, что другие люди будут обходиться с ним, как

---

[1] См. в моем труде «Аксиомы религиозного опыта» главы 1, 2, 5, 9, 16, 18, 19, 22, 25 и 26.

с рабом, его свобода не угаснет, а только углубится до пределов внешней недосягаемости; сам же он никогда не усвоит рабскую установку. Свобода, вообще говоря, не «дается», а «берется»; она берется духом, как его неотъемлемое достояние, и соблюдается им, как неотчуждаемая святыня. Но для того, чтобы это совершилось, свобода должна найти свой источник в том Высшем, которому она имеет счастье предстоять и от которого исходит всяческая духовность и всяческая свобода. Именно это имел в виду мудрый Томас Карлейль, когда писал: «В груди человека нет чувства более благородного, чем это удивление перед тем, что выше его»... «Человек не может вообще знать, если он не поклоняется чему-либо в той или иной форме»[1]... Надо сказать еще больше: человек не может творить культуру, не чувствуя себя предстоящим именно тому, что он должен осуществить в своем культурном творчестве. «Творящий» без верховного Начала, без идеала, перед которым он преклоняется, не *творит*, а произвольничает, «балуется», тешит себя или просто безобразничает (наподобие Пикассо и других модернистов). Новые поколения, следующие за нами, должны признать, что *поклонение Богу не унижает человека, а впервые довершает его бытие и возвышает его.* Человек же, который «ничему не поклоняется», обманывает сам себя, ибо на самом деле он поклоняется *себе самому* и служит своей бездуховной и противодуховной похоти. И культура его будет не культурой, а беспредметным посяганием и произволением, лишенным главного, не способным ни познать истину, ни создать художественное, ни совершить любовное, благое и чистое, ни узреть и раскрыть справедливое право.

Предстоящий *измеряет себя* именно тем, чему он предстоит. Именно это надо иметь в виду, читая евангельские слова: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мтф. 5. 48). Предстоящий Богу измеряет и оценивает себя лучами Божественности. Предстоящий совершенству судит себя высшим, доступным человеку критерием. Предстояние подъемлет сначала *взор* человека, потом *сердце* его и *волю* его; оно вызывает в нем новые *мысли*, новое понимание себя, других людей и всей все-

[1] См.: Герои и героическое в истории. С. 37, 113.

ленной. Строение его души, доселе бывшее как бы одноэтажным домиком, надстраивается и возвышается. Его око начинает видеть новые «пространства», усваивает их и *приобщает их к своей жизни.* Или можно сказать: душа его переживает некое священное *окрыление.* Сердце его воспринимает новые, горние лучи и научается радоваться им, ожидать их и *трепетать* от этого ожидания. Воля его научается выходить из всего чисто личного, мелкого и пошлого и сосредоточивается на лучшем, на объективно лучшем, на совершенном; она научается представлять себе это лучшее не только «вверху», но и «впереди»: она находит в нем жизненное задание для своего будущего.

Так пробуждается и крепнет в человеке *живая совесть.* Не совесть, угрызающая за несовершение в прошлом добра или за совершение в прошлом зла; но совесть, как *творческая энергия*, энергия любви и воли, направленная вперед, в будущее, к предстоящим совершениям. Она же и дает человеку то высшее счастье на земле, которое выражается словами *духовное достоинство и призвание.*

Духовное достоинство состоит в том, что «предстоящий» человек утверждает свою жизнь *приятием* Божественного, *любовью* к Нему и *верностью* Ему. Он приемлет Его лучи, и эти лучи проникают в его душу до самого дна. Он проникается ими, как бы питается и животворится ими, и они сообщают ему свой огонь, свой свет и свое тепло. В них он находит свое *бытие*; так, что самое существо или естество его личности определяется и освящается ими. В глубине его души как бы строится храм, а в храме этом утверждается алтарь и престол с неугасающим светильником. И не в том смысле, чтобы этот храм, и престол, и светильник были бы «доступны» ему, как *иное — иному*, как извне приходящему «прихожанину»: но в том смысле, что этот храм есть *его собственная обитель*, и престол этот есть его собственная святыня, и светильник этот есть *его собственное горение.* Не только «в нем есть пламя», но он сам в полноте своего духовного бытия есть это пламя. И это пламя есть его Главное, от которого он не может отказаться, которым он дорожит превыше всего своего «прочего» и которому он не может изменить. И чувствуя это удостоверенно, он начинает постигать, что значит

«чтить самого себя» (Пушкин!) и что такое есть чувство собственного достоинства.

Вот где скрывается последний и безусловный корень *духовной ответственности*, без которой человеку недостойно жить на земле и невозможно создавать духовную культуру.

Человек, как свободное и зрелое существо, *отвечает* за свою жизнь, за ее содержание и за ее направление. Это духовно-естественно и неизбежно. Дух есть живая сила, энергия, которая чувствует себя выбирающей, решающей и действующей; и это самочувствие его не иллюзия и не обман. Тайна свободы, — или, как обычно говорят, «свободы воли», — состоит в том, что сила духа *способна сосредоточиваться, укреплять себя, увеличивать свою силу и превозмогать* свои внутренние затруднения и свои внешние препятствия. Дух человека «свободен» не в том смысле, что на него «ничто не влияет» или что он не несет никакого бремени «воздействия» и «причин»: но в том смысле, что *ему дан дар самоусиления, самоосвобождения*, который он должен принять и в пользовании которым он должен искуситься и укрепиться. Обычная воля человека есть не более чем потребность, влечение, страсть или упрямство. Но *духовная воля* человека есть *дар освобождать себя от всякого неприемлемого и отвергаемого воздействия, как внутреннего, так и внешнего.* Человеческому духу присуще это живое чувство: «я мог в прошлом поступать иначе», и соответственно «я и в настоящем могу выбрать, решить и осуществить свое решение». Повторяю: это не иллюзия и не самообман, ибо эта *мощь самоусиления своей мощи* действительно присуща человеческому духу. Неискушенному и неопытному может казаться, что он «не умеет» или «не знает», как начать; что он «слаб» и «беспомощен». Но ему будет казаться это лишь до тех пор, пока он будет сохранять «душевную», а не «духовную» установку. Ибо душа человека может действительно «духовно не уметь» и чувствовать себя «духовно слабой и беспомощной»; ей неизбежно пребывать «под давлением обстоятельств» и «влечений»; для нее естественно колебаться, откладывать, не дерзать, искать оправданий и ссылаться на «среду», которая ее «заедает». Но для духа все это неестественно, чуждо, странно и мертво. Дух есть *живая энергия*: ему свойственно не спрашивать о своем умении, а

осуществлять его; не ссылаться на «давление» влечений и обстоятельств, а превозмогать их живым действием. Как сказал однажды Карлейль: «Начинай! Только этим ты сделаешь невозможное возможным».

Свобода эта состоит в том, что не его определяют «влечения» и «обстоятельства», а *он определяет сам себя*, то расценивая свои влечения и видоизменяя свои обстоятельства, то извлекая из себя решения и свершения, идущие наперекор всем обстоятельствам и влечениям. Свободы полной, тотальной, абсолютной нет и быть не может; и можно только радоваться тому, что человек лишен таких свойств и способностей. Ибо трудно себе даже представить, что за кошмарное создание представлял бы из себя человек, способный ежесекундно к проявлению какого-то метафизического произвола, обреченный на такие свойства, как невоспитываемость, непредусмотримость в решениях и поступках, невменяемость, хаотическая капризность и способность в любой момент провалиться в невиданную бездну зла. Общение с такими людьми исключило бы всякое взаимное доверие, всякое воспитание, всякий правопорядок и всякое участие в прекрасном космосе и в Царстве Божием. Можно только благодарить Бога за то, что такая свобода не дана человеку. На самом же деле свобода есть *сила и искусство* человека определять себя самого и свою жизнь *к духовности*, согласно своему *предстоянию*, своему *призванию* и своей *ответственности*.[1]

Вот откуда у человеческого духа эта бессознательная, но твердая уверенность: «я *мог* иначе, но не сделал того, что мог»; или «*я должен* был совершить такой-то поступок и *мог* это сделать, но не сделал»; и соответственно: «многое в моем настоящем и будущем дается мне как готовое и неизменимое, но мой личный образ действий зависит от *моего* выбора и решения, а следовательно, от моего *призвания* и от моей *ответственности*». При таком самочувствии и понимании явления *зовущей* совести и явления *укоряющей* совести получают свой полный смысл и значение. Призывы совести бесконечно расширяют горизонт человеческих возможностей, утверждая в каждом

---

[1] См. в моей книге «Путь духовного обновления», гл. 3 «О свободе»; в «Аксиомах религиозного опыта» главы 2, 3 и др.

из нас способность найти путь к совершенству и вступить на него, возвращаться на него после ошибок и падений и всегда созерцать ту даль, в которой это совершенство нас ожидает. А укоры совести освещают нам те ошибки и падения, которых мы не сумели избежать; мало того, они как будто указуют нам, почему именно эти ошибки и падения состоялись, каких именно усилий наша свободная воля не совершила «тогда» для того, чтобы избежать уклонений и неудач, и какие именно усилия надо осуществить «теперь», чтобы укрепить себя для будущего. И смысл христианского покаяния и исповеди «на духу» состоит именно в том, чтобы оживить в душе человека чувство предстояния, энергию совести, веру в свое призвание, жажду духовной свободы и чувство ответственности... Отсюда уже ясно, какое великое значение имеет «священное недовольство» человеческого духа самим собою, а также трезвое, честное, искреннее самоосуждение, которым «заболевает» духовно выздоравливающая душа.

Итак, *предстоящий* дух *призван, а призванный* человек *ответствен*; и в основе всего этого лежит *дар к самоосвобождению*, сообщенный человеческому духу свыше.

Как это просто, ясно и бесспорно: человеку подобает жить не состояниями, а *действиями*, и соответственно *отвечать* за эти действия. Дух человека подобен не воде, бесформенно растекающейся и безвольно плещущейся в своем ложе. Он не подобен и песку, пассивно лежащему, пока лежится, и пассивно осыпающемуся, «сползающему», когда потянет вниз. Дух человека есть личная энергия, и притом *разумная энергия*; разумная не в смысле «сознания» или «рассудочного мышления», а в смысле *предметного созерцания, зрячего выбора и действия в силу духовно-достаточного основания. Так* созерцал; *так* возлюбил; *так* выбрал; *так* совершил; и потому признаю это деяние *моим* деянием, поддерживаю его основания и мотивы и *принимаю на себя ответственность* за совершенное, признаю свою ошибку за ошибку, свое «заранее обдуманное намерение» признаю за таковое, — и вина моя, и заслуга (если она есть) моя, и последствия мною совершенного я готов нести и за них отвечать. Неспособный к этому не может считаться ни *деятелем*, ни человеком с *характером*, ни морально зрелой личностью, ни творцом культуры, ни

воспитателем, ни врачом, ни священником, ни солдатом, ни судьей, ни политиком, ни гражданином. Он есть робкий обыватель, трус, карьерист или ловчила. Он сам себе не доверяет; а потому и ему не следует доверять. В старой Руси про таких людей говорили: «бегун и хороняка». Да и что может быть более жалкое, чем *безответственный* чиновник или политик, имеющий полномочия, призванный действовать, обязанный решать — и мечтающий об одном: занести себе «на приход» свои жизненные успехи и уклониться от «расплаты» по закону об ответственности?..

Отсюда уже ясно, что необходимо различать: *предварительную* ответственность и *последующую* ответственность.

Предварительная ответственность есть живое *чувство предстояния и призванности.* и в то же время — живая *воля к совершенству.* Человек еще не совершил деяния; может быть, и не решил еще, что делать; может быть, даже и не избрал своей высшей ценности и не наметил своей высшей цели. Он только чует в себе активную силу и волевую энергию, он предвидит возможность и неизбежность будущих деяний — и связывает их намерением и внутренним обязательством осуществить «наилучше наилучшее». Он ставит себя перед Лицо Божие и «предстоит»; он слышит призыв к совершенству и осмысливает его как «свою призванность»; он приемлет эту призванность и как бы «заряжает» свою душу волею к совершенству. Еще не свершив, он уже знает о своей ответственности. И это чувство своей ответственности — сразу *дисциплинирует* его, *сосредоточивает* его и *вдохновляет.*

Значение этой предварительной ответственности в культурном творчестве основополагающе и велико. Чтобы убедиться в нем, достаточно представить себе человека, который борется за какое-нибудь творческое дело и лишен предварительной ответственности. Что создаст живописец, который не знает ничего высшего и священного над собою, не чувствует своей призванности сказать верное, зоркое и значительное и нисколько не намеревается создать «наилучше наилучшее»? Он будет только тешить свою живописную похоть, писать кое-что и кое-как, капризничать, демагогировать или дразнить воображаемого зрителя, произволять и безобразничать. Не так же ли обстоит дело с поэтом, музыкантом, скульптором и архитектором? Именно отсюда возник весь современный «мо-

дернизм» в искусстве... Что познает безответственный ученый, который не связал себя внутренне аскетической клятвой — созерцать неутомимо, исчерпывать все возможные средства и пути для удостоверения, не щадить опытных усилий, не выдавать гипотезу за истину и утверждать с силою окончательности только достоверное и очевидное? Страшно и гадко думать о том, во что превратится у него научная культура. Чего можно ждать от безответственного судьи, не требующего ни верного правосознания от себя самого, ни очевидности в изучении факта, ни прозрения в душу подсудимого, ни точного знания закона? Такой судья, не ведающий ни предстояния, ни призвания, ни желания осуществить «наилучше наилучшее», создаст режим произвола, коррупции и кумовства. Безответственный политик есть интриган и карьерист, деятель, столь же отвратительный морально, сколь пагубный в общественном отношении; а между тем современная государственность кишит такими людьми — и в демократиях, и в тоталитарных государствах. Кто захочет лечиться у безответственного врача? Кто поручит своих детей безответственному воспитателю? Кто захочет принимать молитвы и таинства от безответственного священника? Какой полководец выиграет сражение, командуя безответственными офицерами, ведущими в бой безответственных солдат? Люди, не ведающие, что́ есть чувство предстояния и призванности и что́ есть воля осуществить «наилучше наилучшее», — не способны творить настоящую духовную культуру. В этом приговор и им, и создаваемой ими лжекультуре...

Такова сущность, таков смысл ответственности, — и предварительной и последующей, — в деле творческого обновления и углубления грядущей духовной культуры. И тот, кто продумает это, тот примет на себя обязанность изъяснить это другим. А русский человек сразу поймет, что это всего важнее в деле возрождения России.

4

О ДУХОВНОСТИ ИНСТИНКТА

Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и укрепить в нем *духовность его инстинкта.* Если дух в

глубине бессознательного будет пробужден и если инстинкт будет обрадован и осчастливлен этим пробуждением, то в жизни ребенка совершится важнейшее событие и дитя справится со всеми затруднениями и соблазнами предстоящей жизни: ибо «ангел» будет бодрствовать в его душе и человек никогда не станет «волком». Но если в детстве это не состоится, то впоследствии всякие уговоры, доказательства и кары могут оказаться бессильными, ибо инстинкт со всеми его влечениями, страстями и пристрастиями не примет духа и не сроднится с ним: он не будет узнавать и признавать его, он будет видеть в нем врага и насильника, услышит одни запреты его и всегда будет готов восстать на него и осуществить свои желания. Это будет означать, что инстинкт утверждает в себе «волка»; он знать не знает «ангела» и отвечает на его появление недоверием, страхом и ненавистью.

В этом состоит секрет воспитания, его *живая тайна*. Но именно это и упущено нашей эпохой: последние поколения человечества разучились воспитывать в детях духовность инстинкта и тем открыли для них гибельные пути. Грядущая культура должна понять эту ошибку и обновить свое педагогическое искусство.

Не следует сводить человека к его «сознанию», мышлению, рассудку или «разуму»: он *больше* всего этого. Он глубже своего сознания, он проницательнее своего мышления, могущественнее своего рассудка, богаче своего разума. Сущность человеческого существа — утонченнее и превосходнее всего этого. Его определяет и ведет не мысль и не сознание, но *любовь*, даже и тогда, когда она в припадке отвращения судорожно преобразуется в ненависть и окаменевает в злобе. Человек определяется тем, *что́ он любит и как он любит*. Он есть бессознательный кладезь своих воззрений, безмолвный источник своих слов и поступков; он есть подземный ручей своих пристрастий и отречений, своих мечтаний и страстей; он есть гармония и дисгармония своих «неодолимых» влечений. Именно поэтому сознательная мысль не проникает до главных и глубоких корней человеческой личности; и голос разума так часто бывает подобен «гласу вопиющего в пустыне»; и потому *образование не воспитывает человека, а полуобразованность прямо развращает людей*.

Воспитание человека начинается с его инстинктивных корней. Оно не должно сводиться к разглагольствованию или к проповеди; оно должно сообщить ребенку *новый способ жизни.* Его основная задача не в наполнении памяти и не в образовании «интеллекта», а в *зажигании сердца.* Обогащенная память и подвижная мысль — при мертвом и слепом сердце — создает ловкого, но черствого и злого человека. Вот почему образование без воспитания есть дело ложное и опасное. Оно создает чаще всего людей полуобразованных, самомнительных и заносчивых, тщеславных спорщиков, напористых и беззастенчивых карьеристов; оно вооружает противодуховные силы; оно развязывает и поощряет в человеке «волка».

Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и укрепить в нем *духовность его инстинкта.*

Но, говоря *о духовности* или *о духе*, не следует представлять себе какую-то непроглядную метафизику или запутанно-непостижимую философию. Дух есть нечто, что каждый из нас не раз переживал в своем опыте и что нам всем доступно; но только один переживал духовные состояния и содержания с радостным наслаждением, другой — с холодным безразличием, третий — с отвращением или даже со злобой. Дух не есть ни привидение, ни иллюзия. Он есть подлинная *реальность*, и притом *драгоценная* реальность, — самая драгоценная из всех. Тот, кто жаждет духа, должен заботиться об обогащении своего опыта; не о наполнении своей памяти из чужих книг и не об изощрении своего ума умственной гимнастикой; но о разыскании в непосредственной жизни всего того, что придает жизни *высший смысл*, что *ее освящает.* Один найдет этот творческий смысл жизни в природе, другой — в искусстве, третий — в глубине собственного сердца, четвертый — в религиозном созерцании. Каждый должен найти *свою собственную дверь*, ведущую в это царство; каждый должен найти ее сам и самостоятельно переступить через ее порог. Но это лишь первый шаг: это только вход, обретение, начало; это только первый луч восходящего солнца. И чрезвычайно важно, чтобы этот шаг был сделан в самом раннем детстве, ибо — это надо всегда помнить — все последующие шаги человека до известной степени подобны его первому шагу. Первый луч солнца

должен озарить *детскую колыбель*: только тогда дитя станет *«солнечным ребенком»*, а взрослый человек понесет через жизнь *«лучезарное сердце»*.

Дух живет повсюду, где появляется или переживается людьми — *Совершенство*; и даже там, где человек искренно стремится к совершенному или хотя бы к объективно-лучшему (Божественному), не достигая его и не осуществляя его. Мудрый римлянин был прав, когда сказал: «In magnis et voluisse — sat est» *. В великом и божественном — весит и желание: сердцем хотел, но совершить не сумел, и зачтется благое желание по пасхальному слову Иоанна Златоуста.

Этот свет Совершенства в жизни природы и человека, это влечение к Божественному составляет духовный смысл природного естества и человеческой жизни; и притом не только в значении внешней и далекой «цели», но и в значении внутренней и реальной *творческой причины*. Совершенное может быть уподоблено не только дальней, зовущей звезде, но и сокровенной органической силе, творчески определяющей жизнь природы и человека. Кто увидит это в духовном созерцании, тот скажет: *мир имеет смысл, потому что ему светит совершенство*; и более того: *мир имеет бытие, потому что в нем живет и его направляет стремление к совершенству*. И всюду, где мы находим это, мы обретаем духовное измерение вещей и жизнь самого духа; переживая это, мы приобщаемся духу; приемля это, усваивая это и включая в свою жизнь, мы становимся сами духовными существами, «чадами духа». Без духа и вне духа мы не имеем истинного бытия, а остаемся, по слову Гоголя, «существователями»...

Но если кто-нибудь принял в себя начало духа и начал духовную жизнь, то перед ним открываются новые горизонты и он вступает в *новый план бытия*. Он убеждается в том, что *дух есть «воздух» и «хлеб» человеческой жизни*, ибо человек задыхается и изнемогает без него. Дух есть *дыхание Божие* в природе и в человеке; *сокровенный, внутренний свет во всех сущих вещах;* — начало, во всем *животворящее, осмысливающее и очистительное*. Он *освящает* жизнь, чтобы она не превратилась в мертвую, невыносимую пустыню, в хаос пыли и в вихрь злобы; но он же сообщает всему сущему силу, необходимую для того, что-

бы приобщиться духу и стать духовным. А это и есть самое важное в воспитании.

Человеку от природы присуща способность распознавать и отличать духовное, а также склонность принимать дух и включать его в свою жизнь. Из этой способности и из этого тяготения исходили все великие воспитатели человечества; на них они строили, к ним они взывали, их старались оживить и укрепить. Именно их имел в виду Платон, истолковывая земную очевидность как «припоминание» идей, предвечно созерцавшихся человеком в мире сущего бытия.

Где-то в глубине человеческого бессознательного находится то «священное место», где дремлет первоначальное *духовное естество инстинкта.* В детстве его сон нежен и чуток; душа еще не обросла тою грубою «корою», которая будет образовываться и нарастать на ней в течение дальнейшей жизни; душевная оболочка у ребенка еще тонка и чувствительна. Подобно алмазу в хрустальной чаше, покоится в младенческой душе *дух инстинкта* и как бы ждет луча благодати, чтобы взыграть светом; или, подобно ребенку в колыбели, ожидает он, чтобы Божие солнце разбудило его своим светом. И это должно совершиться; и это должно повторяться, чтобы дух человека пробудился *раз навсегда* для всежизненного бодрствования и не заснул бы уже никогда.

Маленький ребенок прозябает в непосредственной беспомощности и живет потребностями своего маленького организма, в забвенной дреме инстинкта. Более сильные и глубокие впечатления извлекают его из этого сумеречного состояния, иногда толчками, и проясняют сначала его *сознание*, а потом и *самосознание.* Этого «пробуждения» не следует ускорять нарочно и искусственно. Но как только эти проблески сознания начнутся, необходимо позаботиться о том, чтобы пробуждающие впечатления имели характер *благостный и духовный*, чтобы они исходили от духа и будили в младенческой душе духовные состояния. Впоследствии у ребенка будет много разных впечатлений, и острых, и тяжелых, и болезненных, и даже мучительных: будут и настоящие духовные травмы (ранения). Но первые детские ранения *не должны потрясать инстинкт, не пробуждая его духовную глубину.* Детский

инстинкт, раз потрясенный, во всей своей беспомощности, грубым и жестоким впечатлением, раненный в своей слепоте, может пережить неизлечимую или почти неисцелимую душевную судорогу, если у него не будет необходимой и драгоценной духовной опоры. Поэтому педагогически так важно, чтобы духовность инстинкта была пробуждена *до* этих неизбежных потрясений и ранений.

И вот воспитатель (мать или отец) имеет великую и ответственную задачу *пробудить* детскую душу при первой возможности *лучом божественной благости и красоты, любви и радости*, чтобы она очнулась из своих забвенных сумерек, от чувственного наслажденчества и пережила благостное пробуждение. Ласковый взор и голос матери уже начинают это дело. В глубине инстинкта должно открыться *духовное око*, чтобы, трепеща от счастья, воспринять Божий луч, идущий к нему из мира, и *влюбиться* в его сияние; — чтобы душа раз навсегда поверила в *благую силу* мироздания и восхотела *новой* красоты, *новой* радости и *новой* гармонии; — чтобы она *полюбила божественное и уверовала в Бога*. Ребенка надо приобщить к божественному счастью на земле — *как можно раньше;* — тогда, когда он еще ничего не знает ни о горечи жизни, ни о зле мира; когда душа его не испытала еще ни жестокости людей, ни суровости природы; когда он полон *естественной доверчивости и богат первозданной чистотой.*

В мире есть чудесные сочетания красок, — естественно-гармоничные, для вкуса безупречные, нежные и разнообразно богатые; надо показать их ребенку и радовать его ими. В мире есть изумительные, одухотворенные светотени, пленившие когда-то Леонардо, венецианцев и Рембрандта; надо, чтобы веяние их коснулось ребенка и дохнуло на него. Есть простые и нежные мелодии[1], — их так много в русских народных песнях, колыбельных, свадебных и хороводных, — которые ребенок должен полюбить еще в колыбели. Мать, поющая их своему младенцу, начинает его истинное воспитание: это дух *ее* инстинкта обращается к духовности *его* инстинкта, рассказывая ему о возможности любви и счастья на земле. Какие чудесные

[1] Напр., Andante-Cantabile из первого квартета Чайковского; «Мечтающее дитя» из «Детских сцен» Шумана и др.

колыбельные были пробуждены этим пением в младенческой душе и потом возвращены миру в композициях великих музыкантов! Душа засыпающего ребенка пела эти песни вместе с матерью и воспринимала сквозь них первозданное пение ангелов (Лермонтов); и потом унесла их в жизнь, как благословение материнской любви. Простой народ верит, что бывают люди с «злым глазом», которые могут «сглазить» ребенка, повредив ему душевно, духовно и телесно. В этом поверии кроется доля живой природной мудрости. В самом деле, бывают человеческие глаза, полные ненависти и зложелательства, магнетически перенапряженные и гипнотически сосредоточенные: они действительно в состоянии психически ранить впечатлительную, доверчивую и ничем не защищенную детскую душу. Заряд злобы бывает у таких людей слишком велик; внушающая сила слишком действительна; младенческая душа слишком обнажена, а духовность инстинкта еще не пробуждена и не обороноспособна. Поэтому правы те матери, которые ограждают своих детей от таких противодуховных, душевно ранящих и разлагающих взоров; ибо злоба людская на самом деле гораздо более распространена и могущественна, чем думали доселе духовно неопытные люди.

Но если ребенку минуло три года, если он начал наблюдать внешний мир и чувствилище его открылось для новых восприятии и переживаний, то надо дать ему целое богатство духовных впечатлений. Надо направить его внимание на самые красивые и изящные явления природы и на их *таинственную целесообразность*. Рано еще затруднять его «объяснениями»; достаточно, чтобы он заметил *совершенство*, скрытое и явленное в мире. Пусть залюбуется красотою бабочек и цветов, их нежными тонами, их изысканной, но хрупкой формой; пусть всматривается в величавое и легкое, а иногда грозное и глубокое зрелище облаков; пусть вслушивается то в рокот соловья, то в ликование иволги, то в ласковые переливы жаворонка; пусть полюбит молчаливый гимн бора, трепет осины, шелест березы, ропот дуба; пусть всмотрится в добродушную задумчивость коровы и научится ласково говорить с ней; пусть оценит своевольный ум коня, лукавое изящество кошки, верный взгляд собаки и ночной клич петуха. Пусть

почует тайну природной жизни: дивную судьбу зерна, величие грозы, красоту инея, строгость мороза и ликование весны. И пусть понесет в сердце *благоговение, чуткость и благодарность.*

Ребенок должен как можно раньше *почуять реальность чужого страдания* и научиться *вчувствоваться в него*, чтобы жалеть, беречь и помогать и идти на деятельную помощь. Необходимо найти прямой и близкий путь к его *сердцу* и научить его *хотеть добра и стыдиться зла.* Пусть навертываются у него слезы на глазах от русской жалующейся песни; пусть он научится умолкать при звуках серьезной и глубокой музыки. После пяти-шести лет он должен услышать о героях своей страны и влюбиться в них; он должен научиться «стоять» вместе с ними, бороться, побеждать и *не искать награды.* Надо, чтобы он научился вместе с Пушкиным благодарить Бога за то, что родился русским, и вместе с Гоголем — радостно дивиться на гениальность русского языка. Чем раньше он начнет скромно, но уверенно гордиться своей русскостью, тем лучше.

Ребенку необходим поток мужественной и братски-товарищеской любви от отца и женственно-ласковой, религиозно-совестной любви от матери. Не надо преувеличений; но в сердце его должна навсегда расцвести почтительная и нежная благодарность к родителям, пробудившим его *сердце* и укрепившим его *духовность.* Он должен открыть свое сознание *голосу совести* и научиться внимать его бессловесным призывам к совершенству; и, что важнее всего, он должен несколько раз *по собственному почину отдаться* этому голосу и осуществить в жизни его требования, чтобы познать совесть не только через угрызения за грех, но через творческое осуществление ее зова.

И после *каждого* духовного пробуждения, восприятия, потрясения и свершения надо говорить ему о том, что *есть благостный Господь, знающий его и любящий его*: так, чтобы ему *самому* захотелось молиться; и тогда научить его лучшим и кратчайшим молитвенным словам и несколько раз *помолиться при нем и с ним вместе — огнем своего взрослого сердца.* Потом надо показать его сердцу — Христа, Сына Божия. И сердце его узнает Его — само, безошибочно и навсегда.

Так пробуждается в ребенке его инстинктивная духовность и «ангел» входит в сокровенную глубину его сердца. И, что особенно важно, это чтобы эти беседы и восприятия не превращались в скучные уроки, набивающие голову и принудительные для инстинкта; напротив, надо, чтобы из каждого такого переживания инстинкт извлекал свою сущую, искреннюю радость. Инстинкт должен *радоваться духовному совершенству,* — встречать его умилением, благодарностью, любовью. Пусть «волк» инстинкта воззрится на духовного «ангела», и встретится с Его взором, и узнает в Нем свое собственное высшее и лучшее естество, и восчувствует к нему доверие и благодарность, и привяжется к нему любовью и верностью: ибо «ангел» взирает кротко и благостно и «волк» должен получить от него этой благости и кротости. Тогда они найдут друг друга и соединятся на всю жизнь. «Волк» предоставит в распоряжение «ангела» всю свою инстинктивную силу. Он будет нести радостно свое служение, и глаза его не будут сверкать злобой. А «ангел» не будет горестно и беспомощно плакать о погибшем человеке.

Киплинг рассказывает, что когда животные в Индии ищут друг у друга помощи, то они приветствуют друг друга кличем «мы с тобою одной крови»; и это заклинание всегда оказывается действительным и отказа в помощи не бывает: ибо звери и птицы признают высшее, объединяющее их кровное родство. И вот подрастающий ребенок должен пережить *дважды* соответствующее *духовное* сродство. Сначала — до встреч «волка» с «ангелом»: «ангел, я твой преданный волк!»; «волк мой, а я — твое собственное духовное естество»... А потом — в обращении к Богу: «Я есмь искра Твоя, о священное Пламя мира»; или по-христиански: «Отче, я Твой верный и благодарный сын»... Тогда человек утвердит себя в духовности и станет религиозно-цельным.

Это и есть важнейший акт воспитания. Ибо «воспитать» значит сделать из ребенка не преуспевающего человекоугодника, а духовно-зрячего, сердечного и цельного человека с крепким характером. А для этого надо зажечь и раскалить в нем как можно раньше *духовный «уголь»*: чуткость ко всему Божественному, волю к совершенству, радость любви и вкус к доброте. Это откроет ему путь

вверх и даст ему духовную свободу. И тогда может однажды настать тот прекрасный день, когда им действительно овладеет сверхличное пламя духа и он явится людям как Божие орудие — как светящий и призывающий факел своего народа.

Итак, дух и инстинкт совсем не противоположны друг другу. Напротив, *дух есть высшее естество инстинкта, а инстинкт есть элементарная, но органически-целесообразная сила самого духа.* Раздвоение их, а тем более противоборство — болезненно, опасно и совсем не соответствует великому замыслу Божию. Дух человека совсем не призван к тому, чтобы оставаться мертвой возможностью или же отвлеченным, неосуществляющимся долженствованием: безжизненным законом над бездной греха. Дух человека призван к живому творчеству; он должен будить, побуждать и вести человеческий *инстинкт*, в том смысле, как выразился однажды римский оратор Квинтилиан: «instinctus divino spiritu» («побуждаемый божественным Духом»)[1]...

Инстинкт же не должен предаваться своим разнузданным влечениям. Он призван *нести бремя мира и служить осуществлению божественной ткани в пределах мироздания.* Он должен принять эту задачу *свободно* и творить *с радостным усердием.* Ибо человеческий дух есть *дух инстинкта*; а человеческий инстинкт есть *инстинкт духа.*

И может быть, близится счастливое время, когда люди поймут этот закон, примут эту истину и пойдут по этому пути. От этого зависит все будущее нашей культуры.

5
СПАСЕНИЕ В ЦЕЛЬНОСТИ

Человек, находящийся в состоянии внутреннего раскола, есть несчастный человек. Он остается несчастным и тогда, если ему в жизни везет, если ему все удается и каждое желание его исполняется. То, что ему удается, не радует его и не дает ему удовлетворения, ибо одна часть его существа не участвует в этом удовлетворении. Исполне-

[1] Слово «инстинкт» происходит от латинского глагола «instinguere», что значит «побуждать», «возбуждать», «двигать».

ние его желаний тоже не дает ему радости, потому что он и в самом желании своем остается расколотым и не способным к цельной радости. Никакое внешнее счастье не делает его счастливым, потому что он внутренно несчастлив от своего распада. Никакой жизненный успех не дарует ему ни наслаждения, ни успокоения. У него не хватает внутреннего органа для того, чтобы быть счастливым. Этот внутренний орган называется *гармонией, согласованной тотальностью* (т. е. целокупностью) влечений и способностей, единением инстинкта и духа, согласием между верой и знанием.

Человек, несущий в себе внутреннее расщепление, не знает счастья. Его ждет вечное разочарование и томление. Он обречен на вечную и притом безнадежную погоню за новыми удовольствиями; и везде ему предстоит неудовлетворенность и дурное расположение духа. Добиваясь и не получая, требуя и не находя, он все время ищет нового, неиспытанного, но приятного раздражения, и всякое «обещание» обманывает его. Он начинает измышлять неслыханные возможности; он утрачивает вкус, искажает искусство, извращает чувственную любовь; и вот он уже готов воззвать ко всем безднам зла, перерыть все углы и закоулки порока, чтобы раздобыть себе новое наслажденьице или, по крайней мере, раздраженьице и испробовать какую-то небывалую утеху и усладу. Ему нельзя помочь; ему трудно помешать; он должен выпить до дна чашу своей немощи и своих заблуждений, что ныне и происходит в мире... В том виде, который ему внутренно присущ, он не найдет разрешения, цельной и успокаивающей радости; и никогда не постигнет, что такое *блаженство.* Тот, кто обречен на частичное самовложение в жизнь, тот проживет на земле в сумерках уныния: его не обрадует никакая радость, и солнце не даст ему своих лучей.

Было бы великой ошибкой толковать это вечное недовольство как знак более утонченной и благородной натуры, которая не может удовольствоваться банальными жизненными путями и обычными, «земными» удовольствиями. Внутренний раскол, душевная расщепленность, духовная нецельность совсем не есть какое-то «высшее достижение», перед которым надо только преклоняться и которому надо подражать; напротив, это есть *болезнь духа*, кото-

рую необходимо преодолеть, от которой надо *исцелиться*. Хотя психологически нетрудно понять, что такие расщепленные, и, в сущности, духовно больные, люди любят воображать и изображать себя как неких «сверхчеловеков»... Нам нисколько не импонирует, когда герои лорда Байрона выступают с таким суверенным самочувствием, как если бы их меланхолия или ипохондрия превращала их в каких-то «полубогов». Напрасно было бы преклоняться перед Фаустом как перед сверхчеловеком только потому, что Гете сообщает о «живущих в его груди двух душах, желающих оторваться одна от другой», и потому, что он решает подчиниться дьяволу, обещающему засыпать его земными наслаждениями. Люди восемнадцатого и девятнадцатого века имели мужество осознать и громко выговорить унаследованный ими душевно-духовный раскол. Но это мужество внушило им самоуверенность, верховную гордость и вызывающую манеру держаться; и в результате внутренний раскол выдавался и принимался за некое высшее достижение, за признак сверхчеловека и новой эпохи. Разногласие между верою и рассудком существовало в Европе уже давно. Но в дальнейшем постепенно сложилась *апология разложения и распада, неприкрытое восстание против Бога и всего Божественного,* систематическое *опустошение жизни от всякой святыни и категорический разрыв с христианством.* В конце концов этот разрыв с христианством был выражен у Ницше тоном откровенной ненависти и вызывающего упоения и нашел себе практическое осуществление и завершение в событиях последних десятилетий (1917—1953).

Человек, душевно расколотый и нецельный, есть несчастный человек. Если он воспринимает *истину*, то он не может решить, истина это или нет, ибо он не способен к *целостной очевидности*. Если истина вступила в его *сознание*, то его *чувство* молчит и не отзывается на нее и он отвертывается от нее, объявляя ее «неочевидным содержанием сознания», каковых в жизни имеется многое множество. Про него можно сказать, что он не умеет владеть своим достоянием и не способен принять приобретенное им богатство. Увидев Свет, он знает, что это «свет», но он не созерцает радостную светлость этого света и остается к нему безразличным. Так он теряет веру в то, что человеку

вообще может быть дана тотальная очевидность. Он не желает признать ее и у других и встречает ее иронией и насмешкой; и, чтобы закрепить эту иронию, он выдвигает доктрину, согласно которой человек вообще не способен к достоверному знанию (агностицизм) и обречен на то, чтобы воспринимать все лишь относительно и признавать «релятивно» (релятивизм). Отсюда возникает систематически воспитываемое и поддерживаемое *малокровие познания*, принципиальное «ни да — ни нет», т. е. бегство от очевидности. Вот почему расколотый и нецельный человек оказывается духовно обессиленным человеком. Он *не способен иметь убеждения*. В вопросах, требующих исповедания, он немощен и беспомощен. Перед лицом истины он расслабленный человек.

И таким он является во всех областях духовной культуры. Так, например, проблему *добра и зла* он подменяет вопросом об относительно полезном и сравнительно вредном (утилитаризм) и решает этот вопрос в зависимости от случайных, рассудочных соображений. А в глубине души он считает, что «умные люди» вообще не занимаются этим пустым и компрометирующим вопросом — о зле и добре.

Если ему приходится говорить об *отечестве и патриотизме, о правовой свободе, о справедливости*, то он и здесь становится на «умную» точку зрения релятивизма, и притом потому, что его патриотизм и его правосознание настолько же расколоты, нецельны, неискренни и ослаблены, как и его очевидность.

Религии он вообще не имеет, и *религиозность* его мертва, потому что вера требует от человека *целостной очевидности сердца* и не удовлетворяется никакими частичными компромиссами и никакой тепловато-безразличной терпимостью; все, что он может найти в себе для религии, — это «вежливое невмешательство в чужие воззрения», но за этой «вежливостью» на самом деле скрывается презрение к обскурантам, и это «невмешательство» может в любой момент превратиться в агрессивную «борьбу с предрассудками, суевериями и клерикализмом».

Единственная область духовной культуры, которую он готов поощрять, это *искусство*, особенно если оно забывает о своем великом служении и стремится угождать его капризам. Но тогда оно должно отречься от своих здоро-

вых и глубоко укорененных традиций, требующих целостного созерцания и вдохновения, — и вступить на путь частичных, условных и относительных замыслов: искусство должно заняться своим чувственным нарядом и как можно заманчивее, как можно эффектнее разукрасить его; оно должно предаться опьяняющему «импрессионизму», или дико-невиданному «футуризму», или вымученному, острому и пряному «модернизму»; чтобы получить успех и признание, оно должно стать наружно-внешним, притязательным, экстравагантным, оно должно вызывать у пресыщенной и безразлично-сонной публики нервную щекотку...

Все это создает *выродившуюся культуру*, и в основе этой выродившейся культуры лежит *выродившаяся жизнь*, душа расколотая, духовно-бессильная, малокровная и нервно-растрепанная, беспочвенная, неукорененная и отвергающая все безусловное и окончательное. Расколотый человек всю свою жизнь балансирует между соображениями о пользе, которые он обозначает словом «разум», «разумный», и минутным капризом, которому он так охотно предается под именем «настроения». Если ему удается держать кое-как равновесие между тем и другим, то его существование становится выносимым; если это ему не удается, то он становится жертвой ипохондрии и ведет жалкое существование. Он вообще не знает, что начать, и главной целью его становится обогащение; все иное, высшее — недоступно ему, ибо более глубокие источники и настоящие святыни жизни не существуют для него. Отсюда эта беспредметная тоска или скука жизни, которая владеет современным «цивилизованным», но культурно и духовно опустошенным человеком.

Если он любит, то он всегда не уверен в своей любви, ибо и она, как и все иное в нем, одностороння и частична. А если он не любит, то и нелюбовь его столь же прохладна и творчески бессильна. Пророчески сказано об этом у Лермонтова:

И ненавидим мы, и любим мы — случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь горит в крови...

Если такой человек говорит «да», то это половинчатое «да», из-за которого темным и подозрительным призраком смотрит «нет»; но если он отрекается и говорит «нет», то и отречение его столь же условно, относительно, срочно, не окончательно и недостоверно. Его слова следует воспринимать как звуки, ибо смысл этих слов почти всегда многозначен, а их духовная ценность всегда неуловима и проблематична. Во всяком жизненном положении он может сказать и поступить «так», но может — и совсем иначе: ибо слова и решения его духовно беспочвенны и высшей необходимости в жизни он не знает; да и связывать себя — ему нет охоты. Он лишен важнейшей и драгоценнейшей основы духовного характера: единого, единственного, всеобъединяющего центра жизни.

Зрелый духовный характер подобен укрепленному городу, в центре которого находится кремль: здесь построен храм Божий, с алтарем, на котором горит неугасающее пламя. Это и есть священный центр города, откуда заимствуют свой огонь все семейные очаги «огнищан». Здесь все соединяется и все объединяются; отсюда исходят все важные решения; отсюда излучается центральная воля, все организующая и упорядочивающая; здесь сосредоточивается сила, здесь вооружается верность, отсюда светит разум.

Расколотый человек совсем не может себе и представить такой личный характер, такой жизненный ритм. Напротив, ему нравится то внутреннее несогласованное «многосмешение», в котором протекает его жизнь, — эта собственная дисгармония, эта ничем-несвязанность, этот капризный произвол, — и он объявляет эту душевно-духовную смуту «высшей дифференциацией духа»... В нем сосуществуют рядом несколько «центров»; он ни одному из них не обещает верности и воображает поэтому, будто он выше всякой измены и всякого предательства. Как только один из этих «полуцентров» (или, вернее, одна из этих «точек зрения») оказывается неудобным или неудовлетворительным, так он «переезжает в другую квартиру» и опять устраивается с удобством, ничем не связанный, ко всему готовый, ни во что не верующий, ничего не любящий, скорый и легкий в предательстве и всегда самодовольный. И при всем том он совсем не понимает ни своего действительного

состояния, ни своей великой беды; и если бы кто-нибудь стал объяснять ему его недуг, он не захотел бы ни слушать, ни верить; а если бы Божий луч осветил его душу, то он зажмурился бы, чтобы не увидеть правду.

Этот раскол в современном человеке был с самого начала чреват грядущим разложением. Он возник в ту эпоху, когда европеец отверг авторитарную религию и предался свободному исследованию и свободной мысли. Свободное исследование было бы вполне соединимо и согласуемо с христианской религией, — путь, на который указал Василий Великий в своем «Шестодневе». Человеку с самого начала было дано и указано от Бога воспринимать божественное откровение не только из Священного писания и не только из личного духовного делания — из любви, из совести, из молитвы и из культурного творчества, — но еще и из созерцания богосозданной природы и твари, в сокровенном существе которой заложен великий замысел ее Творца. Однако исторически развитие пошло иным путем. Начался процесс секуляризации: — католическая церковь не питала доверия к свободно исследующему человеку и стремилась ограничить или совсем подавить эту опасную свободу; а исследователи стали испытывать церковную опеку как неудобоносимое бремя. И вот люди обратились к природе с напряженным любопытством и с естественной любознательностью, но отвернулись от церковного христианства; а раз отвернувшись от христианства, они отвергли и его дары, — и прежде всего христианскую любовь и сердечное созерцание. Так, созерцание было заменено *наблюдением*, а наблюдение стало светским, близоруким и самодовольным; оно велось с величайшим усердием и подъемом, но в обращении к чувственному миру оно стало уходить все дальше и дальше от христианского духа. Оно освобождалось все больше от религиозных предпосылок, признавая их «эмпирически ненужными гипотезами» или даже прямыми помехами, и поставило себе задачу — все понять и все объяснить без Бога. Наблюдающее изучение природы не нуждалось уже в *понятии* «Бога» как объясняющей гипотезе и признало наконец, что его «объяснения» оказываются тем более удачными и успешными, чем последовательнее оно отказывается от идеи Божественного вообще. И только философы

пытались еще говорить о Боге; однако и у них эти высказывания становились все более неопределенными и скудными, ибо рационализм все повышал свои запреты и все строже требовал «последовательности», постепенно превращая идею Бога то в идею «субстанции вообще», то в идею «духа» вообще, избегая касаться вопроса об «абсолютном» и впадая в скудоумный релятивизм.

Так *сердечное созерцание* христианства и боголюбивый и боговзыскующий *созерцательный разум* превратились постепенно в отвлеченный *рассудок*, в сухое, наблюдающее и анализирующее мышление, в «индукцию», оторванную от созерцания сердца и вчувствования. Этот метод вытачивался сначала в изучении внешней, материальной природы, а затем был перенесен на внутренний, душевно-духовный мир; и последовательное применение его не могло не повести к оскудению и опустошению знания. Внешние связи чувственного мира успешно устанавливались и оказывались практически полезными; самодовольное наблюдение оправдывалось с точки зрения *техники*, получавшей все большую самостоятельность в отрыве от истинного и глубокого познания. Но внутренние реальности духа и утонченная «ткань» человеческой души упускались из виду в отвлеченно-холодном трактовании, столь характерном для механистического мировоззрения. Расколотый человек вырабатывал раскалывающую доктрину, неспособную ни узреть, ни осмыслить тайну жизни и мировой разумности и растеривал последние остатки своей духовности в бессердечном и поверхностном «самонаблюдении»... Его собственное естество сводилось постепенно к анализирующему рассудку, к беспочвенной и развязанной воле и бездуховному инстинкту самосохранения. Все иное иронически отвергалось: и «суеверная» вера, и творческое созерцание с его «беспочвенной фантастикой», и только иногда там и сям можно было подметить ложный стыд, когда заглохшее и осмеянное сердце давало знать о себе.

Таков современный культурный кризис. Это кризис нецельного духа, расколотого, расщепленного человека. Чем раньше люди постигнут это, тем лучше. Чем мужественнее, чем отчетливее и строже это будет формулировано, принято во внимание и продумано до последних

выводов, тем скорее начнется преодоление кризиса. Человек должен воссоединиться в своем собственном существе. Он должен собрать распавшиеся части и члены своего естества и спрыснуть их «живой водой» *исцеления*, наподобие того, как это описывается в русской народной сказке. Но здесь воссоединится не тело человека, а его *дух* — и для этого *исцеления* он должен выстрадать и вымолить себе благодать Святого Духа.

Человеческий ум должен найти путь к вере, — не к суеверию, запугивающему нас, и не к пустоверию, проявляющему нашу глупость, — а к созерцательной вере, разумной и светлой, к вере «достаточного основания». Человек должен победить в себе ложный стыд и не стыдиться своего сердца. Мысль должна примириться с творческим, предметным воображением и опять стать созерцающей, интуитивной и прозорливой. Аутистическая фантазия должна пройти через школу предметной интенции и духовной ответственности. Формальная и разнузданная воля должна подчинить себя сердцу и совести... Тогда рассудок научится взирать и видеть и станет *разумом*; а созерцающий разум станет повиноваться *сердцу*, так что все пути будут вести к сердцу и исходить из сердца. Ибо *сердечное созерцание, совестная воля и верующая мысль* суть три великие силы нашего будущего, которые справятся со всеми проблемами, неразрешимыми как для *бессердечной свободы*, так и для *противосердечного* тоталитаризма. Для разрешения их нужен цельный, целостный, *исцеленный* человек, заповеданный нам Евангелием.

И тот, кто взглянет вдаль духовно-отверстым оком и воззовет к нашему будущему с надеждою, тот прочтет над тесными вратами нашего будущего простой и мудрый призыв: «Ищи исцеления!»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

6
ХВАЛА ТРУДУ

У людей с незапамятных времен есть вожделенная мечта, сказочный сон о «блаженной» стране, где царит изобилие во всем, где «текут молочные реки в кисельных берегах» и где *не надо работать*: «там, говорят, все дается человеку само собою, без всяких телесных и духовных усилий; стоит только захотеть — и желание уже исполняется в полное удовольствие; счастливые бездельники все время наслаждаются; всюду валяются ленивые дураки и предаются своим хотениям невозбранно»... Эта ребяческая и, скажем прямо, *порочная* мечта лелеется человечеством давным-давно; она не изжита и поныне. Жизненный идеал сводится здесь к обеспеченному, наслаждающемуся ничегонеделанию. У всех одно-единое призвание навеки — убивать время ленью. Ненужное накопление жизненных сил без достойной затраты их и без радостей труда. Бессмысленное прозябание и растрата жизни без любви и служения. Всеобщее тунеядство в мировом масштабе. Внутреннее оскудение от внешнего изобилия. Пассивное, пресыщенное отупение вместо творческого подъема. Подмена радости — наслажденчеством. Измена жаждущему, преодолевающему, созидающему духу. Вожделенное сновидение полуживотного. Презренная утопия, достойная лягушек в тинистом болоте. Отречение от собственного духовного достоинства. Вызов, обращенный к Богу...

Давно пора человечеству порвать с этой глупой мечтой! Давно пора понять, что жизненный идеал обретается где-то в совсем иных сферах. Потому что жизнь без труда — позорна и несчастна, а *честный труд* есть уже напо-

ловину *само счастье*; да, конечно, только наполовину: ибо цельное счастье — не только в *честном*, но, сверх того, еще и *любимом,* и *вдохновляющем* труде над созиданием Царства Божия.

В течение последнего века человечество много страдало от безработицы и накопило жизненный опыт, который давно пора продумать и осмыслить. Пора признать и выговорить, что *безработица* как таковая, пусть обеспеченная или даже затопленная частными и государственными субсидиями, унижает человека и делает его несчастным. Уже одно это томительное чувство, что «я в жизни не нужен» или что «мир во мне не нуждается», что я выброшен из великого процесса мирового труда и стал социальной пылью, лишней и ветром гонимой пылью мироздания, — пробуждает в сердце здорового человека всевозможные ощущения личной несостоятельности, приниженности, обиды и горечи. Если кто-нибудь желает работать, — а это желание присуще всякому здоровому человеку, — и при каждой попытке найти работу наталкивается на жесткое и холодное «нет», то им, естественно, овладевает безнадежность. Он видит, как другие работают и зарабатывают себе пропитание, он чувствует себя сопричисленным к социальному отбросу, — и в душу его вселяется гнев или затаенная злоба; он предается зависти и ненависти и начинает помышлять о мести и революции.

Как томительна жизнь в этом вынужденном ничегонеделании!.. Весь Божий день проходит в бессмысленной пустоте и мертвой скуке, так что в конце концов человек радуется любому заполнению тянущихся часов, каждому, даже самому вульгарному развлечению, всякому политическому или уголовному приключению... Трудно себе представить, какие беспочвенные «идеи», какие глупые замыслы, какие фантастические или прямо чудовищные жизненные комбинации проносятся день и ночь в воображении целодневного лентяя; и многое из этого больного вздора начинает ему казаться «возможным» и осуществимым; многое становится для него прямым искушением, борьба с которым требует от него выдержки и мужества... Униженный до праздношатайства, привыкший к лени и пустомыслию, человек незаметно начинает смотреть на

жизнь с безнадежностью, на честную работу с отвращением и на правопорядок — с презрением. И эта печальная реакция на безработицу является, в сущности говоря, психологически понятной — и *здоровой*... Ибо здоровому человеку *труд нужен, как воздух, как уважение к себе самому*, как *радость*, как *молитва*.

Представим себе жизнь здорового человеческого организма. В этом живом центре энергий, в этом пожизненном «perpetuum mobile» непосредственно образуются и скапливаются химические, электрические, физиологические и психологические заряды. Отрекающийся аскез может снизить их размеры и их интенсивность, но их создание и их «давление» не может быть ни остановлено, ни прекращено на протяжении всей жизни. Эти материальные и инстинктивные скопления энергии, эти нервные напряжения, эти волевые притязания, эти волны чувства и это гудение мыслей — все это должно быть устроено, организовано и истрачено в жизни человека. Все это желает быть «отреагировано», целесообразно «израсходовано», осмысленно изжито: все это требует благодетельного и устрояющего труда. Ибо труд дает заряду — разряд, он освобождает, «распрягает», уравновешивает, успокаивает. Прилив нуждается в отливе, для того чтобы отлив снова уступил место приливу. Безработная социальная «пыль» должна быть вновь принята и включена; она должна снова включиться в работу; иначе она станет жертвою порока и преступления, орудием политических приключений, двигателем революций и войн...

Человеку от природы присуща здоровая потребность — *быть чем-то* в жизни, что-то *весить* на весах бытия, пользоваться *признанием и уважением*. Это естественно и совсем не предосудительно, если только эта потребность не превращается в назойливое тщеславие или в больное властолюбие. Каждое человеческое существо, как центр личной энергии и как духовный индивидуум, имеет притязание и право проделать в жизни известный искус, испытать свои силы и «оправдаться» своими достижениями: ибо тот, кто оправдался, кто «показал» себя с лучшей стороны и доказал всем свою положительную силу, — тот привлечет к себе общее уважение и сам установит свой жизненный вес. А для этого есть только один путь: *трудиться* и тру-

дом своим *создавать новое и благое.* В этом и состоит жизненное испытание; именно этим человек «оправдывает» свое земное бытие. Здесь мало «мочь», — здесь надо *совершить и создать*; мало говорить пустые слова «я бы мог, если бы захотел», надо захотеть и осуществить, «показать себя на деле»... И как только человек перестает «мечтать» и «болтать», как только он «облекает» (инвестирует) свою личную энергию в созидание, — так труд его дает плоды и он сам оправдывается на деле. Каждый из нас должен иметь за собою такие выдержанные испытания, такие понесенные и оправдывающие его труды. Каждый из нас должен утвердить себя в жизни; он должен быть «признан»; он должен приобрести спокойную уверенность в себе; он должен показать, что он способен прокормить себя и свою семью. Отсюда у людей возникает некое инстинктивное уважение к самому себе, которое в дальнейшем присоединится к чувству собственного духовного достоинства. Смешны бывают те люди и те народы, которые проявляют это чувство в наигранной важности, в «сверхпочтенном» одевании и в чванливых манерах; и когда видишь это, то невольно думаешь о том, что здесь «показное» прикрывает скрытые пробелы и недостатки «внутренно-подлинного»... Ибо надо уметь преодолевать до невесомости и свою жизненную борьбу, и свое мнение о себе самом...

Так или иначе, но всякий истинный успех на земле есть *успех труда.*

С этого и начинается то, что следует называть «счастьем труда»; — но только *начинается.* Это счастье состоит, далее, в *общении с природою.* Так обстоит дело и у земледельца, и у лабораторного ученого, у железнодорожного сторожа, и у художника, у матроса и у врача, у фабричного рабочего и у священника. Каждый из них по-своему вступает в общение с природой. Каждый учится у нее, каждый старается приспособиться к ней, использовать ее для своих целей, как бы уговорить ее. И это прислушивающееся уговаривание природы, это *овладевающее ею обучение у нее*, это осторожное одолевание и подчинение ее является для каждого духовно живущего человека одною из радостей в земной жизни. Бережно и внимательно вступает человек в соприкосновение с окружающей его материализованной

мудростью, пытается предусмотреть ее возможные комбинации и по-новому воспользоваться ими на пользу человека. И бывает так, что она его умудряет, а иногда и наказует, а иногда она и награждает его сторицею. В труде природа и культура «братаются» друг с другом, а человеку выпадает на долю радость посредника в этом вековечном процессе. Мир вращается не зря, не бессмысленно: это есть внутренняя борьба за совершенствование, и это выражается уже в том, что человеку дается возможность познавать устройство мира и до известной степени направлять его развитие. Человеку дается счастье вкладывать свои трудовые и творческие силы в этот процесс борьбы и страдания, и притом все в большем размере и с большим успехом. Ибо в мире дремлют еще необозримые, непредусмотримые возможности культурного повиновения.

Таким образом, труд позволяет «берущему» человеку не только «брать», но и «давать». Каждый человек «берет», и у природы, и у других людей — уже ребенком — и до последнего вздоха. Каждый нравственно чуткий человек знает об этом и живет с этим чувством всю свою жизнь. Поэтому в нем и не исчезает потребность *достойно оплатить* за полученные дары и превратить одностороннее «получение» в благодарный «обмен дарами». Получение обязывает; «оплата» облегчает душу и снимает с нее бремя. Но интенсивнее всего человек «дает» тогда, когда он отдает *себя* или предается, а именно в *любви* и в *труде*. Недаром сказаны слова «о поте лица твоего»; а духовный труд поглощает человека еще больше, чем телесный. Каждый настоящий человек хочет, «получая», оправдаться перед природой и перед людьми; и он прав в этом. Он «инвестирует» свою силу, свою волю, свою мысль, свою любовь, свое воображение — в свой клочок земли, в свой ткацкий станок, в свою книгу и тогда уже не чувствует себя в мире ни тунеядцем, ни «приживальщиком». В этом освобождении и самооправдании и обнаруживается *благодатное значение труда.*

Но счастье труда не ограничивается и этим. Всякий труд есть *исследование* и всякий труд есть расширение человеческого *горизонта,* человеческих перспектив и человеческой *власти.* Каждый трудящийся созерцает, приспособляется к природе и имеет дело с новыми сочетани-

ями и заданиями в мире. Нет повторений в жизни и в истории. Каждое мгновение ново, небывало и своеобразно. Каждое из них ставит новые задачи и открывает новые постижения. Надо только улавливать их и верно истолковывать. В повседневной жизни это называют «жизненным опытом» и «культурной традицией». Но каждый жизненный опыт есть целое гнездо суждений и познаний; и каждая традиция есть драгоценное наследие, оставшееся от прежних исследований. Пока человек живет, он ищет в жизни «верного пути» (философски говоря, он ищет «метода», от греческого μεθοδος). А верный путь, это тот, который ведет к *предметной субстанции мира* и, следовательно, к *Божией Идее* и к *Божией ткани*. В *молитве* и в *состоянии вдохновения* этот путь близок нам и обретается легко. Но его надо находить и по нему надо идти и *в повседневной работе*; а для этого человеку нужна мудрость тысячелетий, традиции близких и далеких предков, опыт отцов и личная исследовательская энергия в работе. Тогда человек работает вместе со всем остальным человечеством; он пользуется всем добытым и приобретенным как великим вспомогательным наследством и чувствует себя идущим впереди всего прошлого, как бы последним звеном в цепи этого стародавнего исследования. И всякое новое полезное изобретение примыкает, как новодобытый результат, к длинному ряду прошлых познаний.

А сколь велика радость труда при каждом *творческом* достижении! В такой творческий труд человек вкладывает себя целиком, он весь в движении и напряжении — от скрытых побуждений инстинкта вплоть до высших способностей духа. Все сосредоточивается в направлении на единую цель, все переживает подъем и полет; все ищет и созерцает, предчувствует и взывает; все всматривается в приближающуюся даль и напряженно ждет в надежде. Искры вспыхивают во тьме и снова исчезают. Холод восторга проносится в душе. Дух «уже знает» нечто такое, чего он еще не постиг, а сердце поет заранее и не сомневается в победе. Тогда человек начинает чувствовать себя *орудием высших сил* и научается сдерживать свое дыхание, чтобы не сделать какого-нибудь своевольного, ложного шага; человек начинает опасаться за свое недостоинство;

вступая в цепь предметных необходимостей и постигая их, он ликует в духовной радости; он сразу — и счастлив, и смущен, и сердце его преисполнено благодарности... А потом, когда труд уже закончен и новое создание предстоит оку, тогда человек испытывает еще большее смущение при мысли, что он создал нечто вполне самобытное, ибо Господь видел его сердце, а оно хотело создать нечто истинное, а не новое и не своеличное; и тогда родится потребность вновь и вновь проверить и удостовериться, что «субъективное» не подменило *истины* и «новое» не исказило *предмета*... А впоследствии человек смиренно шепчет про себя благодарственную молитву за то, что ему удалось «немножко увековечиться»; ибо поистине ничто не исчезает в мире бесследно, каждый труд «вплетается» или «врастает» в ткань мироздания, приемлется ею и органически питает и укрепляет ее... Пусть человек только трудится, верноподданно и самозабвенно, в предметном направлении и не щадя своих сил... Остальное есть дело Божьего попечения и суда...

А если этот творческий труд осуществляется в искусстве или если он, по крайней мере, переживается самим человеком в художественном измерении, тогда радость становится еще большей. Ибо художник призван созерцать и выговаривать в своей земной работе — Сверхземное. Он медитирует из глубины; и та глубина, которую он видит или, вернее, которая им овладевает, желает явиться миру через него. Он должен только чувствовать заботу и ответственность, чтобы не исказить те предметные содержания, которые открываются ему и овладевают им, — своими субъективными образами и материалом своего искусства... И вот эту ответственность несет каждый человек, причастный художественному чутью в исполняемой им работе. Так, садоводство и лесонасаждение приобретают художественное измерение, а вслед за ними и всякий хозяйственный труд: тогда садовник, или иной владелец, размышляет о своем земельном участке или о своих постройках в более глубоких измерениях, чем измерение «пользы» и «выгоды», и придумывает единый план целого, не только доходный, но имеющий свое символически-художественное значение; тогда все части и все принадлежности этого целого созерцаются как необходимые

«члены» целого художественного организма: они несомы единою идеей, которая их отбирает и освещает. И тот, кто никогда еще не видал такого художественно-символического парка или сада, которыми изобилуют, напр., окрестности озера Комо в Италии, тому предстоят еще благородные эстетические впечатления...

И все это вместе создает *счастье труда.* Кто увидит это, — а в этом должен был бы убедиться каждый из нас, — тот постигнет высший смысл человеческого труда и строительства. Тот, кто трудится, *участвует в жизни богосозданной ткани мира*: он содействует ее постижению, ее развитию и ее полному расцвету. И тот, кто участвует в этом великом деле и помышляет не только о пропитании, но ищет целостного здоровья, творческой радости, земного счастья, своего личного самоутверждения в мире и самооправдания перед лицом Божиим, кто, трудясь, желает *стать художником Царства Божия* на земле, тот имеет все основания возносить молитву благодарности перед началом труда и по его окончании.

7
О ТВОРЧЕСКОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Вот кто с полным правом требует себе свободы, притязает на нее и добивается ее. Она должна быть ему предоставлена и обеспечена, чтобы никто не смел ему ничего предписывать и чтобы никакая человеческая власть на земле не запрещала ему творить как ему Бог на душу положит... Никакое внешнее указание не должно ограничивать его духовное созерцание; ему не следует говорить «твори так» и «не создавай того-то». Ибо всякая предварительная цензура мешает его творчеству и всякое предписание пресекает его вдохновение. Если только он достаточно проникнут чувством ответственности, то всякое постороннее вмешательство излишне. Ибо творчески облагодатствованный человек предстоит высшей власти в высшем измерении; он от нее получает свое направление и ей повинуется; и потому ему должна быть предоставлена свобода творческого усмотрения. Это не есть свобода злодейства или преступления. Это не есть и разнуздание

ко вседозволенности. Это не есть и право на разврат, на пошлость и на безвкусие. Но это есть *право на свободную творческую молитву*; это есть свобода совестного и ответственного Богохваления...

Для таких людей надо делать все, чтобы расширить им их земные возможности и облегчить им процесс их творчества. Если такому человеку необходим творческий покой, то надо ему обеспечить тишину и беззаботность. Если ему нужна эта мраморная глыба, чтобы создать из нее «Давида» Микель-Анджело, то надо позаботиться о доставлении этого мрамора в его мастерскую. Если он мечтает о новой, невиданной скрипке, которая будет петь ангельскими голосами, то надо помочь ему в осуществлении этой мечты. Если ему нужен в его лаборатории новый аппарат для регистрации человеческой ауры, то нужно сделать все возможное, чтобы исполнить его желание. Его общение с внешним миром, — с природой или с людьми, — должно быть по возможности облегчено ему. Надо избавить его от нужды. Надо оградить его от грубых, пошлых, навязчивых людей. Нельзя допускать, чтобы он, подобно Леонардо да Винчи, всю жизнь подыскивал себе прозаический или вульгарный заработок помимо своего вдохновенного призвания. Он не должен терпеть всю жизнь нужду и биться с долгами подобно Рембрандту, Бетховену, Гоголю и Достоевскому. Нельзя мириться с тем, что его, подобно Шопену, преждевременно сведут в могилу бедность и голод. Непозволительно оставлять его беззащитным в тот опасный час, когда какой-нибудь порочный и злой авантюрист, наподобие Дантеса или Мартынова, покусится на него, как на Пушкина и Лермонтова, чтобы убить его на поединке. Напротив, его жизненный путь должен быть огражден и сглажен, чтобы он мог свободно предаваться своему вдохновению, создавая свои лучшие произведения и выговаривая свои видения для вечности. Ибо в таком человеке поистине струится Божий поток, а к его словам и песням прислушиваются ангелы.

Аристотель сказал однажды, что человек «свободен от природы» тогда, если он способен *иметь свои мысли*, а не только воспринимать чужие; если же он свободен от природы и вынашивает свои собственные мысли, то он нуждается в «досуге», чтобы вынашивать эти творческие идеи.

Понятно, что здесь дело идет не о простых и кое-каких мыслях, но об идеях и концепциях, которые воспринимаются духовным оком и духовным слухом из самой сущности мироздания.

«Досуг» рабочего человека отводится ничегонеделанию, развлечениям и наслаждениям, спорту или дремоте. Досуг творческого человека посвящается сосредоточенному созерцанию, напряженному труду, истинному созиданию, — подчас великой муке, иногда сплошному блаженству. Предаваясь своему «досугу», творческий человек отводит все несущественное, механическое и случайное, чтобы жить только существенным, органическим и необходимым. Он живет не рассеянно, не развлеченно, а сосредоточенно. Он освобождает себя от всех субъективных капризов и произволений. Он погружает свой взор во «внутреннее», в глубину; но не просто в пространства своих субъективных переживаний, воспоминаний и фантазий, но в сферу предметного бытия, чтобы воспринять его сущность, чтобы удержать ее и выразить ее в верной и точной форме. Именно поэтому окружающим его людям кажется, что он «отсутствует» и не видит ближайшего; но это означает только, что он присутствует где-то в иных «местах». Они считают его нередко «мечтателем» или «фантазером» и причисляют его к «грезящим поэтам»...

Лишь немногие, причастные духовному опыту, знают, что он переживает и что в нем происходит, зачем ему нужна свобода и чем он заполняет свой досуг. Ибо на самом деле его внешнее освобождение и его кажущаяся «рассеянность» служат некой *внутренней связующей необходимости*, и его драгоценные досуги, которые Пушкин любил обозначать словом «лень», заполнены напряженным созерцанием или духовным вслушиванием. Он, свободный, связан, как никто другой; и его свобода служит ему для того, чтобы постигать эти внутренние необходимости и следовать их требованиям. Он совсем не волен выдумывать что угодно; ему не предоставляется произвольно изобретать или «построять» по собственному усмотрению. Он должен *внимать* — «созерцать» и «вслушиваться». Он призван «погружаться» в предмет до тех пор, пока этот предмет не овладеет им. Тогда он почувствует себя *в его власти*; или, познавательно говоря, он почувствует, что

видит предмет с силою *очевидности*. В этом состоянии он должен пребывать до тех пор, пока предмет не захочет говорить через него, а сам он не почувствует себя готовым стать «орудием» своего предмета, как бы зажить его «пульсом» и «дыханием». Тогда он получит право и основание выразить пережитое содержание — излить его в форме сонета, романа, сонаты, статуи, картины, исследования, философского «описания», богословского трактата, проповеди, нового закона или зрелого совестного поступка. И тогда его произведение возникнет *через него*, а не только *из него*. Тогда он окажется как бы «цевницей» своего предмета, его посредником и возвестителем. Может быть, даже кто-нибудь услышит в нем арфу Божию.

То, что он воспринимает и созерцает, есть объективная, *предметная сущность бытия*, к которому человек должен проникнуть, — *каждый* человек, каждый из нас; ибо каждый из нас призван жить на земле *из самой субстанции и ради нее*, из Главного и для Главного, а не пылить, задыхаясь от собственной пыли. В самом деле, наша земная жизнь состоит из двух элементов: из несущегося потоком, неисчерпаемого хаоса случайной пыли и из сокровенно сияющей и тихо призывающей субстанциальной ткани. Смысл жизни состоит в том, чтобы мы преодолевали эту хаотическую пыль случайных единичностей и проникали к субстанциальной ткани, чтобы закрепиться в ней. Каждый из нас начинает свой жизненный путь как бы в ночи, окруженный неудобопроглядной темнотою: вокруг жуткая неизвестность и только там и сям через мрак сверкают и призывают далекие звезды. И каждый из нас призван к тому, чтобы всмотреться и вчувствоваться в тот единый и единственный источник света, от которого эти звезды заимствуют свое сияние. И может быть, слишком многие из нас всю жизнь блуждают в этой темноте и выходят к единому Свету лишь после своей земной смерти...

Беспомощны мы, люди, в этих земных сумерках, то и дело сгущающихся в полную темноту. А многие, может быть, совсем и не знают о том, что они беспомощны и что им нужна помощь: их лишенность не осознана ими, они не ищут и не добиваются высшего. А между тем творческие люди могли бы им помочь. Мало того, они должны все время помогать, не спрашивая о том, есть ли зову-

щие на помощь, и кто они, и где они. Они призваны созерцать, вынашивать и отдавать; они должны готовить свои дары и отдавать, рассылать во все стороны свои лучи, — незваные, непрошеные, нередко отвергаемые или изгоняемые, может быть, даже побиваемые каменьями. Первый луч всегда беспокоит освещенного, второй — раздражает его, третий оскорбляет; и нередко лишь четвертый пробуждает, и тогда уже следующие лучи согревают и исцеляют. А тот, кто был побит камнями, — светит, греет и исцеляет даже и посмертно.

Надо будить в людях *потребность в чистом воздухе Божиих пространств*; надо, чтобы людям становилось душно, тоскливо и горько в пыли их земной жизни, в бессмысленном хаосе их чисто субъективных мелочей. Надо будить в людях волю к священной Предметности, к божественным лучам, к духовной радости. Эту потребность надо будить в них как можно раньше, чтобы они не проспали всю свою жизнь в слепоте и темноте. Благородные натуры живут этой волей всю свою жизнь; она подобна в них естественной жажде, которая утоляется только творческим созерцанием. Личный успех в жизни не удовлетворяет их; их «своекорыстие», названное у Аристотеля духовным эгоизмом, ищет сверхличного, высшего, духовного, предметного. Они всю жизнь ищут того пути, который уверенно ведет и приведет их к Субстанции, — во всем и везде: в вере, в науке, в искусстве, в политике, в личных отношениях с людьми, в службе и в воспитании. Они ищут *пути* («метода») и находят его; а кто нашел, тот может помогать и призван будить: знает он об этом или не знает — он *призванный воспитатель своего* народа.

Ему, конечно, поставят вопрос, откуда он знает, что он *действительно нашел путь*, что он созерцает *«предмет»* и видит его *верно*, что он «укоренился» именно в субстанции, а не в своей личной выдумке. Отвечать на этот вопрос каждый творческий человек должен своими *созданиями* и своей *личной жизнью*: ибо настоящая предметность свидетельствует сама за себя, и свет, идущий из субстанции, из Божественной ткани мира, светит благодатно и убедительно. Но он может ответить и словесно, дать описания и доказательства, ясно и точно повествуя о своем пути и о том, чему и как он научился. Это делали уже многие и великие, и мень-

шие люди, начиная с Конфуция, Лао-цзы и Будды — и вплоть до наших дней. Каждый сделает это по-своему, в меру своего дара и искусства. Но если сравнить между собою эти описания и советы, то всякий из нас невольно изумится их существенному сродству.

Однако есть еще один особый признак, по которому можно проверить свою предметность и распознать чужую. Это та своеобразная новая связь жизненных содержаний, та *внутренняя необходимость,* которая обнаруживается в узренном и пережитом, слагаясь в единое целое. Творческий человек, открывший эту связь и выразивший эту необходимость, знает хорошо, что *не он создал* это новое здание, что он не *изобрел* его, а только *нашел*, как *уже объективно обстоящее*; он изумлялся, найдя его, и всю жизнь радовался своему «открытию». И потому в нем живет ощущение, что он не «творил», а только «воспроизводил», созерцая и описывая свой предмет. В нем остается чувство, что искомое и найденное было *древне, исконно*, может быть, *вечно*; и что то, что он увидел и выразил, было лишь *вновь найдено* и является ныне лишь в *новом облачении*. Это есть то самое ощущение, которое привело Платона (в диалоге «Менон») к признанию мира идей и которое с тех пор называется по его имени «платоновским созерцанием». Но тот, кто внимательно читает великую книгу человеческого духа, тот найдет это ощущение «вновь узренного древнего обстояния» почти у каждого из великих поэтов, исследователей и философов. В русской литературе это выразил с особенной силой и точностью Алексей Константинович Толстой:

Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку...
...Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков,
Много чудесных в нем есть сочетаний и слова, и света,
Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть, и слышать,
Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово,
Целое с ним вовлекает созданье в наш мир удивленный...

А мы, которым позволено приблизиться к этим созданиям, истинам и деяниям, воспринять их и возрадоваться о них, — мы нередко приобщаемся этому ощущению «обновленной древности», или «древнего в новом облачении»,

или «возродившегося Вечного» и подтверждаем его. Нами овладевает тихое и глубокое чувство «древлепочтенного», «стародавней мудрости», «прекрасной необходимости», «Бого-созданной сопринадлежности», «блаженного такобытия». Тогда мы от полноты души, и духа, и сердца, и инстинктивного чутья — произносим этому новооткрытому и очевидному предметному содержанию наше приемлющее «да» — и чувство счастья овладевает нами, счастья оттого, что нам дано было увидеть это и подтвердить.

Образно выражаясь, можно было бы описать это так. Когда Божии творческие идеи ниспадают из Его вечного лона в хаос грешного и неустроенного мира, то их подхватывает бурный ток смятения, искажает их совершенство и растерзывает их дивный состав. Отсюда возникает высокое задание: узреть каждую из этих идей в ее полном и целостном составе и восстановить ее в ее зрело-совершенном виде. Египетская мифология рассказывает, что когда-то Изида искала по всему свету те четырнадцать частей, на которые было растерзано тело ее супруга Озириса; и вот, находя и составляя их, она не создавала его тела, но лишь *восстанавливала* его в его первозданной красоте. Поэтому каждого творческого человека можно сравнить с ищущей Изидой: он не создает, а лишь воссоздает Божию идею и радуется возможности помыслить Божий замысел, верно узреть «Закон Божий» и осуществить его. Ему светит целостный облик искомого; его ведет любовь к Божественному; он проверяет себя той высшею необходимостью, которая открывается ему в духе; он наслаждается воссозданием Вечного, он радуется, чуя отблеск Божией благодати в своем создании.

И именно поэтому творческий человек знает лучше всех, что́ он создает, воспроизводя Божию идею; и потому он непрестанно и напряженно подъемлет свой взор к Богу.

8

О СИЛЕ СУЖДЕНИЯ

Пока человек живет, он слагает суждения и руководствуется ими. Он судит сознательно и бессознательно; высказываясь — и совершая молчаливые поступки; делая

логические выводы и проявляя купеческую изворотливость; спрашивая, и отвечая, и уклоняясь от ответа; везде — в политике, в искусстве и в обыденной жизни. За каждым жизненным решением и деянием скрывается целый узел суждений, — иногда не высказанных, иногда еле помысленных, нередко сокращенных, быстрых, так называемых «непосредственных умозаключений». Здесь по большей части нет тех умственно построенных, логически оформленных, ясных и зрелых суждений, с которыми считается логика; гораздо чаще это инстинктивно вспыхивающие «суждения пристального взгляда», заботы. страха, зависти, своекорыстия, юмора, оценки, отвращения, решительного отказа от почти состоявшейся покупки или внезапного оборонительного телодвижения. И тем не менее — это все *суждения.*

Пока человек живет, он должен воспитывать и укреплять свою силу суждения. Ему необходимо *организовывать* свой внутренний мир и окружающую его внешнюю среду. Ему необходим *строй и порядок.* Приводить в порядок значит властно вмешиваться в хаотически-случайный поток жизненных содержаний, разделять, обособлять, выбирать сопринадлежащее и устанавливать новые, жизненно необходимые связи, *новую сопринадлежность вещей.* Организовывать значит отличать *существенное* от *несущественного* и придавать существенному *вес и значение*; это значит устанавливать преобладание, подчинение и сочленение, распределять функции, обязанности и полномочия — и тем создавать целостный и жизнеспособный организм (крестьянское хозяйство, правящее ведомство, фабрику, армию, школу, умственный организм книги, художественный организм картины, симфонии, драмы и т. д.). И в основе всего этого лежит *процесс суждения*, как необходимое и творческое выражение жизни.

Суждение совсем не есть «привилегия» отвлеченных мыслителей. Судит *каждый человек* — образованный и необразованный, умный и глупый, теоретик и практик: каждый разделяет и связывает, оценивает и выбирает, выделяет существенное и формирует, упорядочивает и организует — и на письменном столе, и в кухне, и в гараже, и в магазине, и в парламенте. И это искусство — во всем *схватывать существенное*, все связывать существенною

сопринадлежностью и согласно этому «строить жизнь» — есть *искусство суждения*, столь необходимое для всякой жизнеспособности, для творчества и для человеческого счастья. Это надо всем продумать до конца, раз навсегда; и сделать из этого выводы.

Вот почему каждый из нас призван воспитывать в себе самом, в своих детях, учениках и подчиненных *силу суждения*; но не только в них, а и во всех людях, с которыми его сводит жизнь, — незаметно выправляя постановку вопросов, тактично подсказывая их верное решение, уточняя мысль и настойчиво выдвигая во всем главное, существенное, лучшее. Ибо сила верного суждения лежит в основе всей человеческой культуры.

Это самовоспитание, эта борьба за свою и чужую силу суждения осуществляется через *аскез*. Аскез обозначает не только «упражнение», но и «воздержание», причем и то и другое ведет к *лучшему умению*. Это слово говорит о *постоянной работе над усовершенствованием*; вызывается же эта работа *чувством ответственности*. Аскез есть *школа*, ведущая к лучшему; дисциплинирование и сосредоточение силы; восхождение к властному искусству. И где это совершается, — это упражнение и воздержание, эта школа и дисциплина, — там живет истинная *академия*, там бережется и укрепляется сила национальной мысли, «мозг» страны, творческая энергия знания, то, что можно было бы назвать вместе с французским мудрецом «la moelle du lion» *... Ибо аскез силы суждения есть верный путь, ведущий к расцвету подлинной национальной культуры.

Итак, первое, что надо делать, — это будить в людях *чувство ответственности*. Кто живет, тот судит; кто судит, тот обязан отвечать за свои суждения. Ибо каждый жизненный поступок есть суждение; и, обратно, каждое суждение есть *деяние*, есть жизненный акт, который неудержимо передается во все стороны, то служит благу, то приносит вред и причиняет жизненные раны. Поэтому надо вести борьбу со всяким безответственным, легкомысленным, произвольным, заносчивым и беззастенчивым суждением и рассуждением! Долой безответственность, долой легкомысленный произвол! Настоящая, серьезная жизнь доступна только тому, кто относится серьезно

к своим суждениям и понимает значение умственной *концентрации и духовной компетентности...*

Чувство ответственности вызывает в людях *волю к предметному и верному суждению* и соответственно решение применять свою силу суждения *осторожно и обоснованно.* Отсюда возникает готовность — *воздерживаться от суждения всюду, где нет достаточной компетентности,* честно и храбро говорить «не знаю», «не вижу», «не исследовал», «не продумал», «не понимаю», «не могу». Надо приучить себя к тому, что моя сила суждения имеет свои пределы, что я не в состоянии судить там, где не вижу и не разумею; что лучше *показаться* кому-нибудь «неучем» или «глупцом», чем *оказаться на самом деле* развязным или даже нахальным болтуном. Надо научиться смирению. Важнее и драгоценнее быть смиренным аскетом в суждении, чем самоуверенным всезнайкою. Надо отучить себя от всякого неуместного апломба, этого первого признака ограниченности или даже глупости.

Так начинается воспитание силы суждения. Оно начинается с вопроса: *чего требует от нас верное суждение?* И еще: *что мне надо совершить в самом себе, чтобы произносить самостоятельные и верные суждения?* Ответ гласит: при каждом суждении человек должен *интенционально сосредоточиваться.* Слово «интенция» происходит от латинского глагола «intendo» и означает сразу: *определенное направление и сосредоточенное напряжение.* Добывая суждение, надо временно зажить одним-единым жизненным содержанием и выйти из остальных: нужна способность к концентрации, к погружению в единое, к уходу в колодец; надо выбрать *одно* содержание и предоставить себя в его власть, «втянуться» в него всецело. Это приучает человека к живому и интенсивному *восприятию предмета.*

Но это восприятие должно непременно *соответствовать природе данного предмета.* А предметы различны, своеобразны и многовидны. Зная это, надо приготовиться к тому, чтобы настежь открывать «двери» своей души всякому данному предмету. Надо отдавать в его распоряжение все свои внешние и внутренние силы, и притом именно те, которых он требует: свои чувственные «органы», если они понадобятся (зрение, слух, осязание, обоняние, мускульное чувство, способность ощущать тепло и холод

и т. д.); свою силу воображения и творческую фантазию; побуждения любви; напряжения эмоций и аффектов; чувственно прикованное, нечувственно освобожденное и сверхчувственно окрыленное мышление; силу своей воли, а может быть (напр., в этике и политике), и энергию действия. Человек, желающий судить о предмете, должен быть готов обратиться к нему именно теми силами и способностями своего существа, которых он потребует. Что скажет о живописи слепой? Что может произнести о музыке глухой? Человек с чувственно-связанным воображением не решит ни одной геометрической задачи. Человек с мертвым или скудным чувством не сможет судить в делах нравственности, религии, художества и патриотизма; безвольному и близорукому человеку лучше не участвовать в политике ни суждением, ни деянием...

Восприятие предмета будет мнимым или скудным у того, кто располагает только чувственными ощущениями и отвлеченною мыслью: самое драгоценное в жизни останется недоступным для него. Человек должен уметь приспособляться к тому *способу бытия*, который присущ *данному предмету*; он должен ставить в его распоряжение всю «клавиатуру» своих человеческих способностей. Только таким путем он построит верный «мост» к предмету. Только при этом условии он «воспримет» в себя предмет своего суждения, именно *его*, а не его обманчивого сходноименного «двойника». Ибо в суждении дело идет не о словах или именах, а о *реальностях*. И только тот, кто «вос-приимет» в себя предмет своего суждения, может надеяться на то, что не он (субъект) скажет что-то о предмете, а *сам предмет* «заговорит» через него о себе и произнесет о самом себе драгоценное суждение.

Только при соблюдении этого требования есть надежда на удачу: человек сможет попытаться *выразить воспринятое в словах*. Это нелегко. Это может удаться, но не совсем; это может отчасти и не удаться. Надо зажить предметом и говорить из него. И нередко человек будет чувствовать себя при этом затрудненным, медленным, беспомощным, ищущим и ненаходящим, «в томленьях крайнего усилья» (Фет). Всякий, кто пытался идти по этому пути, знает, что «целое» дается нелегко и что иногда оно почти не дается: его надо внутренно как бы «делить на части»,

сосредоточивая «лупу» своего созерцания, своей мысли, своего слова на отдельных «частях» или сторонах, по очереди. И каждая «часть» потребует той же самой сосредоточенности и осторожности, с которой начиналось первое восприятие. У того, кто упражняется, постепенно вырабатывается особое «искусство деления» — отбирающее существенное и отодвигающее несущественности, требующее неутомимого удостоверения и переудостоверения, требующее готовности не переоценивать добытое, а признавать его лишь предварительным итогом, с тем чтобы начинать все снова со свежими силами.

Одновременно с этим вырабатывается *умение спрашивать*, ставить вопросы, та необходимая вдумчивость и осторожность умственного взора, без которой невозможно никакое исследование. Надо иметь такое чувство, как если бы каждый вопрос возникал из глубины самого предмета и подсказывался им. Ибо настоящий вопрос родится не произвольно, он как бы навязывается или предписывается; он не произволен, не вял, не ленив и не холоден; он насыщен, интенсивен, требователен; он борется, он зовет, он как бы властно стучится в дверь. И именно предметная серьезность его создает уверенность, что ответ не замедлит.

В этом процессе возникает и *искусство сомнения*. Я разумею не холодное и равнодушное сомнение безразличного человека: *такое* сомнение бесплодно; оно разрушает, разлагает и губит, особенно тогда, если оно является беспредметным, ироническим и всеобъемлющим: «сомневаюсь во всем, даже в собственном сомнении»... Нет, я разумею ищущее и добивающееся сомнение, интенционально-сосредоточенное, содержательно-определенное и предметно-укорененное: такое сомнение немедленно вызывает потребность в новом, верном восприятии предмета, которое и осуществляется. Такое сомнение драгоценно, плодотворно и удостоверяюще. Оно известно всем серьезным исследователям и всем религиозно-верующим людям. Оно является двигателем для силы суждения, источником всякого серьезного знания, орудием всякого художественного искусства.

Тогда может родиться творческий и продуктивный «ответ», в основании коего всегда лежит *исходная, подлинная*

честность. Этот «ответ» надо представлять себе как некий длительный, вековечный процесс, который длится с самого рождения первочеловека и его познания, слагается и ныне, и будет длиться всегда. Не потому, что каждое человеческое познание «относительно» и «недостоверно»; нет, каждый *предметный ответ* достоверен и полноценен; но он *не исчерпывает* предмета, он не раскрывает его целостно, до самого дна. Предмет подобен «махровому» цветку, не имеющему *«последних* лепестков»: он раскрывается все дальше и глубже, без конца, расцветая снова и снова. Отсюда и бесконечное «отвечание»: оно дарит человеку истину, но эта истина имеет образ «бесконечно махрового цветка». Этот «цветок» не есть иллюзия или фантазия; он подлинно обстоит; он раскрывается сам; и это расцветание совершается все дальше и дальше во всем своем великолепии. Сила суждения требует благоговения перед предметом и великого терпения.

Вот почему всем крупным, призванным мыслителям свойственно как бы вечно цветущее мышление, ибо у них всякое понятие, всякое суждение, всякое слово — вскрывает новые связи, развертывает новые ходы, как бы отверзает новые двери, ведущие к предметным источникам и колодцам, в предметные шахты. Такие мыслители — качественно всегда *подлинны*; по объему и материалу — всегда *новы*; по огню своей мысли — всегда *«искренни»*. Их мысль никогда не впадает в релятивизм; но она всегда незакончена. Ибо таким создан и так обстоит Божий мир; таким помыслил его Господь и в таком виде Он отдал нам его на исследование и познание, чтобы мы всюду осязали Его могущество и величие, Его излучения, Его присутствие и созерцали мир как живой символ, как живой «иероглиф» Божий...

И потому мы можем быть уверены, что, где начинает господствовать отвлеченное, схематическое мышление, упрощающее и повторяющее, раз навсегда нашедшее мнимый «ответ» на все свои неверные «вопросы» и самодовольно навязывающее всем свой «штамп» или «трафарет», там сила суждения иссякла и омертвела, там воцаряется мертвая ложь и пошлость (например, «механицизм» в естествознании, «формализм» в юриспруденции, «конструктивизм» в философии, «кубизм» в живописи, «модернизм»

в музыке, «диалектический материализм» в истории, политике и экономике и т. д.).

И посему всем нам и повсюду, и особенно *нам, русским, которым еще предстоит воспитать в себе национальный духовный характер,* — нам надо упражнять и крепить свою силу суждения, нам необходимо судить свободно и ответственно и высоко ценить *аскетическое начало в мысли.* Нам надо помнить, что беспредметные суждения и противопредметные рассуждения слагают гибельную болтовню, за которую множество людей будет расплачиваться долгими и жестокими страданиями.

Аскез силы суждения требует от нас, чтобы мы честно знали, *где* кончается наше знание, где наша сила суждения захлебывается, иссякает и изнемогает. Он учит нас рассматривать наше знание как «еще-незнание»; он приучает нас к насыщенному и в то же время непритязательному мышлению. Он ведет нас через все преграды вопрошания и сомнения, через очистительные огни самокритики и возражения самому себе, так, чтобы мы могли выйти из всего этого искуса закаленными и обновленными.

Однако аскез силы суждения совсем не есть проявление *умственного безволия*; ибо осторожный человек нисколько не лишен воли; и осторожность совсем не ведет к разлагающему релятивизму или агностицизму. Этот аскез отнюдь не есть и прикровенное «бегство» от предмета; напротив, он означает выдержанную борьбу за предмет, мужественное движение к нему. Он превращает человека как бы в *орудие самого предмета*, в его послушный *знак*, может быть, в его живогласную трубу. Он дает нам *искусство незнания*, храбрость откровенного непонимания, смирение, чтобы учиться и поучаться. Есть великая духовная красота в том молитвенном исследовании, которое мы видим у всех великих философов и естествоиспытателей — у Сократа, Аристотеля, Коперника, Галилея, Кеплера, Декарта, Лейбница, Халлера, Ломоносова, Либига, Ньютона, Фехнера и у других. Есть дивный духовный аромат в их честном, точном, зорком и скромном вопрошании...

Итак, аскез силы суждения требует предметной концентрации и точного, ответственного выражения тех содержаний, которые восприняты от предмета; последний

этап ее есть нахождение *верной формы* суждения, утвердительной или отрицательной, с точным объемом (общим, частным или единичным). Само собою разумеется, что все это требует *духовной воли*, умственного напряжения с «долгим дыханием» и сосредоточенного внимания — именно того, что французский скульптор Роден так неудачно пытался выразить в напряженных мускулах и сосущих губах мощнотелого атлета («Мыслитель»); неудача здесь в том, что сосредоточенность и напряжение мысли отнюдь не имеют «соматической» (т. е. телесной) и «инфантильной» (т. е. ребяческой) природы, но требуют, наоборот, «распряженных» мускулов и забвения о собственном теле. Аскез силы суждения есть дело *духа*. Он воспитывает к *предметности в жизни*, и притом во *всех* областях культуры. Он должен сообщить человеку *гибкость внутреннего акта, зоркость в восприятии и точность в описании и мышлении*. Он укрепляет в человеке чувство ответственности и строгую честность; он борется со всяким легкомыслием, со всезнайством, с тщеславием, с хвастливостью, праздным пустословием и безответственной болтовней. Одним словом — это есть *школа истины, красоты и культуры*. И там, где люди работают над этим и обучаются этому, там живет и цветет *подлинная национальная академия*, — в науке, в религии, в искусстве, в политике и во всякой деятельности.

И прежде всего — воспитание судящей силы составляет основную задачу *умственного образования*. «Образованным» надо считать не многознающего «энциклопедиста» и не всезнающего «сноба»: обременение или переобременение человеческой памяти не дает зрелости человеческому духу. Мудрый грек Гераклит был совершенно прав: «многознание не научает человека владеть умом»... Образован воистину — не перегруженный интеллект, напоминающий «Британскую энциклопедию» или «Книжный каталог ватиканской библиотеки». Истинная образованность есть *сила созерцания и зрелость суждения*. Она отвергает всякое «авторитарное» мышление и живет *самостоятельным творческим общением с самим предметом*. И потому образование есть прежде всего воспитание к *самодеятельному* созерцанию и мышлению, — *к исследованию*.

Исследование совсем не является монополией ученого и его «лаборатории». Исследуют все, кто имеет непосредственно дело с предметом: моряк, ведущий свой корабль; крестьянин, налаживающий свое хозяйство; офицер и солдат на поле сражения; рабочий у своего станка; купец в своей лавке; учитель в школе; священник в своем приходе. Всюду, где человек обращается с вопросом к Богу, к природе и к своему человеческому окружению, — он выступает в качестве самостоятельного мыслителя и оказывается исследователем. И этим он доказывает (говоря словами Аристотеля), что он человек «свободный от природы», ибо «рабом от природы является тот, у кого ума хватает только для понимания чужих мыслей», но не для выработки своих...

Подобно этому *религиозная* зрелость человеческого духа состоит в том, что он ответственно, осторожно и благоговейно судит о религиозных предметах и делах. Это имел в виду еще Цицерон, когда производил слово «религия» от латинского глагола «relegere», что значит совестно и благоговейно воспринимать и обсуждать божественные содержания. Тот, кто решает вопросы религии слишком легко и быстро, тот обнаруживает *ребячливое* умонастроение, которое не следует смешивать с чистотой и цельностью детской души, заповеданными в Евангелии. Ребячливый человек готов верить всякому слову, слуху и вздору; он не умеет ни проверить, ни удостоверить; он не знает ответственности и не понимает священных сомнений: и не имеет ни малейшего подозрения о том, какова таинственная глубина религиозных обстояний. Истинная религиозность начинается именно с «духовной нищеты», т. е. со смиренного и искреннего «незнания», с подлинного «алкания и жаждания правды»... Человек исповедует свою духовную скудость, и отсюда в нем зарождается плодотворное созерцание и вопрошание, сомнение и удостоверение, ответственность и внутренняя честность, которые никогда не успокоятся на суеверии, на беспочвенной фантазии, на «соблазне» и «прелести». Больной и нечистый «мистицизм» отметается, и всякое религиозное воззрение, при всей его иррациональности, слагается как своего рода зрелое и благоговейное суждение, как зрелый плод религиозного аскеза.

Подобное этому мы видим и в *искусстве*. То, что художник призван «выговорить» в своем произведении, как «главное-сказуемое», есть *зрело промедитированное суждение о вечных предметах*. Каждый образ, который он вынашивает и выбирает для выражения своей главной идеи, возникает в процессе осторожного созерцания и ответственного суждения. Каждое «нет» и каждое «да», которое он безмолвно произносит в себе, отвергая одно и предпочитая другое, имеет именно этот смысл. Каждая линия и каждая краска в его картине; каждый аккорд и каждая модуляция в его сонате; каждая фраза его романа, каждое слово в его стихотворении; каждый оконный наличник в его фасаде; каждый жест его танца — есть сконцентрированный итог многих созерцающих, спрашивающих, проверяющих и выбирающих суждений, которых он, наверное, никогда не переживал в сознательно-логической форме. Настоящее искусство возникает в аскетическом процессе художественного суждения: художник обязан отвергать все, что он переживает как «только возможное», до тех пор пока не появится *предметная необходимость*, повелительно требующая своего признания. Об этом знал Леонардо да Винчи, создававший свои произведения медленно, отыскивая, меняя, в великом аскезе своего художественного суждения, и оставивший некоторые из них в неоконченном виде. Об этом знали великие художники слова — поэты, исправлявшие свой стих в несколько «этажей» (Пушкин), и прозаики, переписывавшие и переделывавшие свой текст до 8 и 9 раз (Гоголь). Поэтому каждый творящий художник призван ждать и добиваться *предметной очевидности* и должен творить, предаваясь аскезу в своем художественном суждении. Иначе он не создаст ничего необходимого и вечного, ибо произведения его останутся «игрою в возможность», однодневными капризами, баловством, предназначенным для развлечения неприхотливых и скучающих людей, — «эстрадою для снобов»...

Те же законы господствуют и в *этике*. Каждое жизненное деяние является выражением многих суждений, — о желаниях и о долге, о добре и зле, о полезном и вредном, о приличном и неприличном, о людях вообще и о данном человеке, о любви и ненависти, о Боге и о душе... В этом участвуют и инстинкт самосохранения, и сведе-

ния о целях и средствах, и совесть, и честь, и любовь, и сострадание, и вчувствование. Так, каждый совестный поступок есть самостоятельное суждение, исходящее из глубины сердца и решающее вопрос о самом лучшем в жизни; и то обстоятельство, что это совестное суждение не имеет зрело-сознательной, логической формы, делает его «суд» еще более ответственным во всей его молниеобразной непосредственности: и совсем не случайно язык африканских негров передает совестный акт так: *«сердце* говорит *слово»*...

Вот почему так важен аскез суждения в этике; вот почему смирение оказывается одной из важнейших «добродетелей познания». Это раскрывает нам также глубокое значение евангельского слова «не судите»...: ибо тому, кто судит людей и осуждает, слишком часто остается недоступной последняя сердечная глубина бедного грешника; и профессиональный судья, на которого возложена *обязанность* судить, оказывается на высоте только тогда, если он постоянно старается вчувствоваться в живое и неустойчивое правосознание преступника.

Так обстоит дело и *в политике.* Каждое голосование, каждый закон, каждая реформа есть заключительное суждение, за которым скрываются целые цепи предварительных суждений. Эти исходные суждения, эти «предпосылки» говорят о самых различных содержаниях человеческой жизни, начиная с религиозной веры, добра и зла, родины, свободы и права и кончая прозаическими соображениями о пользе и вреде. Строго говоря, активный гражданин, имеющий право голоса, *должен знать все*, все взвешивать, все решать и нести ответственность за каждое свое суждение. И ему остается только подумать о том, как он справится с этим без предварительной и долгой школы суждения. Поэтому Сократ был совершенно прав, когда он обращался к своим согражданам с сомневающимися и выпытывающими вопросами, чтобы как-нибудь разочаровать их в их политическом всезнайстве и подвигнуть их к настоящему, ответственному аскезу в деле суждения. И тот, кто поймет это, тот навсегда откажется от слепой веры в то, будто «глас народа есть глас Божий»...

Итак, аскез силы суждения составляет настоящий и необходимый фундамент всей человеческой культуры; и

народное образование должно заботиться и неустанно бороться за *зрелость личного суждения*. Это есть необходимый путь к воспитанию, духовной зрелости и мудрости.

Какое обширное, какое плодородное духовное поле откроется перед нами в грядущей освобожденной России, где русская национальная талантливость познает бремя ответственности и энергию дисциплины!..

9

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОВЕРШЕНСТВЕ

Искусство наших дней, именуемое «модернистическим», заблудилось среди дорог и ушло в беспутство; в этом и сейчас уже согласны все истинные друзья художества, не порвавшие со здоровым, сразу — *духовным и естественным* вкусом. Об этом знают особенно серьезные и великие художники нашей эпохи. Они знают, что далекое и прекрасное будущее принадлежит не модернизму, этому выродившемуся мнимо-искусству, созданному, восхваленному и распространяемому беспочвенными людьми, лишенными духа и забывшими Бога. После великого блуждания, после тяжелых мучений и лишений человек опомнится, выздоровеет и обратится снова к настоящему, органическому и глубокому искусству; и так легко понять, что и ныне уже глубокие и чуткие натуры предчувствуют это грядущее искусство, призывают его и предвидят его торжество.

Кто попытается представить себе это грядущее искусство, тот должен прежде всего отказаться от идеи «неслыханного», «невиданного» новаторства, ломающего переворота, опрокидывающего «открытия». Вся эта погоня за новшеством, за небывалым, за «потрясающим» или «головокружительным» — есть проявление духовной смуты, порождение бессильного тщеславия у автора и у скучающих, ищущих «возбуждения» снобов в публике. Будущее, конечно, принесет нам *новое* искусство; но это «новое» возникнет из *обновленного духа* и из *глубоко-чувствующего сердца*, т. е. из тех слоев души, которые всегда задумывали и вынашивали всякое истинное произведение художества. Подлинная духовная глубина имеет свои особые законы,

не поддающиеся субъективному произволу и не заменимые никакими нарочитыми изобретениями или выдуманными «конструкциями». Новое искусство принесет нам *новые духовные содержания*, а не новые бессодержательности, не новые пустоты и не новые пошлости. Оно создаст *новые формы*, а не новые бесформенности, не новые разнуздания, не новые хаосы. Оно разрешит себе «многое», но ничего такого, что выходит за пределы *духовной необходимости*, ибо здесь лежит критерий дозволенного, мира допустимого: в искусстве верно и художественно *только необходимое.*

Грядущее искусство будет опять укорененным, почвенным, органическим. Это совсем не обещает школьную придирчивость, педантство, тяжелую походку, строгое выражение лица, скучные поучения, обязательные трафареты...

Нет, это указывает на совсем иное измерение. Здесь имеется в виду не цензура содержаний и не предписанные формы, но творческий *источник,* творческий *замысел* и творческий *акт.*

Пока искусство движется по здоровым творческим путям, — его *содержания* не нуждаются в цензуре, потому что оно само собою, внутренно и изнутри осуществляет строжайшую и убедительнейшую цензуру, драгоценную и художественную: это цензура *предметной необходимости*, которая в дальнейшем должна быть проверена и укреплена художественной критикой. Что же касается *формы* искусства, то ее вообще не следует предписывать: она совсем не должна следовать каким бы то ни было внешним требованиям, — ни публичному спросу на базаре, ни прямым указаниям политической диктатуры; исключение может быть только одно: если такое требование совпадает с внутренним голосом художника, но и тогда художник пойдет за своим внутренним голосом, а не за посторонним желанием «закащика». Поэтому мы имеем полное основание ожидать от грядущего русского искусства новых, т. е. *первоначально-подлинных*, духовных содержаний и новых, т. е. *предметно-оригинальных*, форм: это будут новые образы, выговоренные на «языке» первоначальной подлинности и с силою впервые рожденной формы, — в общем потоке насущного духовного питания и благодатной радости...

Это новое искусство возникнет из перенесенных русским народом испытаний, лишений и страданий; и совершится это потому, что в русских людях обновятся источники жизни, родники творчества, самый способ жизни и сила художественного созерцания. *Россия идет к возрождению здорового художественного акта.*

Строение художественного акта по самому существу своему свободно и предоставляется творческой силе самого художника. Здесь ничего нельзя предписывать; здесь нет обязательных рецептов. Но неутомимое и вчувствующееся изучение может установить здесь известные отрицательные границы, несоблюдение коих ведет к вырождению искусства.

Так, художественный акт, — каково бы ни было его строение и в каком бы искусстве художник ни творил, — не может и не должен получать свое направление *извне*, иначе акт вырождается. Художник не должен следовать *моде*, она не должна ему импонировать, ибо та духовная, первоначальная глубина, где живут художественные содержания и откуда они восходят к осуществлению, не знает ничего о моде. Художник, будь он портретист или архитектор, не должен принимать от своих заказчиков никакого содержания, разве только если заказывающий обыватель сам выносил такое же художественное созерцание и вступает с художником в братский обмен духовными дарами. Художник должен с самого начала примириться с идеей возможного «неуспеха» или «провала» у публики; он должен быть готов к тому, что он не встретит понимания и справедливой оценки, что творчество его не даст ему ни радости признания, ни прокормления, ни дохода; и приготовившись к такому исходу, он должен спокойно, без робости идти своей дорогой. Искусство не есть промысел, приспособляющийся к внешним условиям, к спросу и заказу; оно есть *служение*, ориентирующееся по *внутренним* требованиям, по духовным звездам. И художник, мало зарабатывающий, непонятый и «отвергнутый» современниками — должен спокойно и достойно идти своей дорогой.

Действительно, ему предстоит важное и высокое служение, которое он несет и совершает на благо всего человечества: ибо он есть *свободный и неподкупный провозвест-*

ник, показующий людям *объективно-значительные* и притом для многих *сокровенные духовные содержания*. В этом его призвание, которому он и посвящает себя, в этом его «должность», которую он свободно возлагает на себя. И это призвание предполагает у него определенные склонности и способности, которые он должен иметь или приобрести. Не каждому дано созерцать сокровенные духовные содержания, развивать и укреплять в себе это созерцание, следовать узренному ответственно и в строгом повиновении, вынашивать задуманное и изображать его в оправданных, необходимых и точных образах. А к этому сводится главное в искусстве. Искусство, которое ничего не знает об этом, а может быть, и не желает знать — *не есть искусство*; это есть безответственная игра, баловство или же доходный промысел, а может быть, и то и другое одновременно: автор кощунственно балуется и богатеет (Пикассо). Бороться с такими промышленниками трудно; устранить их из жизни совсем, может быть, даже невозможно. Но если такие затеи начинают вытеснять художество или заменять его, тогда искусство вступает в критический период, в эпоху упадка: оно отрывается от своего призвания и от своего главного назначения.

Настоящий художник *отправляет духовное служение*. Он совсем не призван развлекать публику, увеселять ее или угождать ей. Он призван созерцать «внутреннее», вслушиваться в него, служить ему и повиноваться, погружаться в него и творить из него, сообщать и возвещать о нем. Торговать и торговаться — не его дело. Он должен как бы заклинать в самом себе «духа земли». Он должен находить то «пространство», где живут *духовные содержания*, вступать в него и почерпать в нем *предметные медитации*. Он должен поставить себя в распоряжение Божьего дела, его сокровенной борьбы и его творческих страданий — и приобщиться этой борьбе и этим страданиям через *отождествление* с ними. Чем ответственнее он совершает при этом свое служение, тем глубже становятся его медитации; чем полнее он отводит и исключает свой собственный произвол, тем более предметными, истинными и художественными оказываются его «прорицания»; чем сосредоточеннее и строже становится его внутренняя дис-

циплина, тем благоуханнее и «слаще» становится «мед» его искусства.

Но для этого ему нужна вся та внутренняя и внешняя свобода, которая вообще доступна человеку. Ему необходима свобода, чтобы достойно нести свою одинокую ответственность и сполна осуществлять те требования, которые ставит ему художественное творчество. Никакая цензура не может дойти до *источников* его творчества; и только конгениальный ему критик может сказать ему впоследствии, справился ли он со своею ответственностью. Чтобы разрешить эту задачу, художник должен быть свободным и блюсти свободу в своей «лаборатории», — в созерцании, суждении, выборе, оформлении; а следовательно, и в линиях, в красках, в звуках и в тональностях, в словах и жестах, превращая их в живые и насыщенные символы «Главно-Сказуемого»... Он должен быть *субъективно* свободен, чтобы уловить и выразить *объективную необходимость*; ибо в искусстве есть такая, особенная, внутренно постигаемая *объективная необходимость*, к которой и сводится сущность дела.

Эта особенная необходимость составляет *критерий* всякого настоящего искусства. Если художник постигнет ее из глубины и осуществит ее целостно, то произведение его получит ту замечательную *«убеждающую» силу*, ту зрелую *законченность*, ту *власть* давать людям удовлетворение и счастье, по которым узнается *совершенное искусство.*

Каждый настоящий художник носит в себе внутреннее чувство или даже сознательное убеждение, что в процессе творчества ему не все позволено, что многого он просто «не смеет», что выбор темы, отбор «материала» и оформление его *не* предоставлены на усмотрение его *произвола* или его *тщеславия*, что он на все должен иметь *духовное право* и *предметное основание.* Вот так, как однажды Пушкин, негодуя на безвкусную и уродливую «поправку» цензора в его стихе, восклицал: так «я *не властен* сказать, я *не должен* сказать, я *не смею* сказать!». Художнику на все необходимо *художественное полномочие*; он *отвечает* за все созданное им, хотя нередко он, отвергая, не может обосновать словами свое отвержение, а утверждая, уметь только *настаивать* на верности, предметности и необходимости избранного.... Но дело не

в словесных доказательствах, а в *категорических «показаниях» внутреннего художественного опыта.*

Это искание *художественной необходимости и духовного права* в творчестве составляет самую основу настоящего искусства. Оно, конечно, очень затрудняет работу, но зато приводит ее на настоящий уровень. Этим как бы отрезаются бесчисленные возможности в выборе: они сами отпадают, ибо обнаруживают свою несостоятельность. Наивному новичку, не знающему ничего об ответственности, может, правда, казаться, что он «все может» и «все смеет»: «ему нравится» — «значит хорошо»; он готов принимать всерьез всякую свою выдумку: он воображает, что всякая субъективная «навязчивая идея» создается художественным вдохновением и что все, что доставляет ему удовольствие, — «замечательно». Но настоящий художник знает, что нужно предметное основание и художественное право; что надо повиноваться *художественной совести.* Он знает, что он «смеет» закреплять только то, что верно и необходимо; он знает, что если нет этого чувства «смею», то это значит, что он «не смеет». Поэтому его *свободное* творчество *связано*: оно состоит в том, что он, созерцая и вопрошая, ищет этой художественной связанности, этой духовной необходимости. Он становится только тогда уверенным и спокойным, когда его чувство *«так* я смею» крепнет и превращается в чувство «именно *так* я обязан и *иначе* я не смею»... Дело не в том, что «можно» провести эту линию, наложить эту краску, ввести эту модуляцию, употребить это словесное выражение, но в том, что «только это и нужно», «именно этого и не хватало» и «обойтись без этого невозможно», ибо именно это *соответственно и точно.* Художественно-Сказуемое — *требует* именно этого, и требование его должно быть выполнено. Художник *не смеет* иначе; поэтому он и не *желает иначе*; поэтому он иначе и *не может.* Тогда он чувствует себя уверенно; тогда на него нисходит спокойствие. Ибо он создавал не по своему личному произволению, но *повиновался внутренней необходимости,* которая предъявляла свои требования и которой он радостно повиновался.

Каждый серьезный художник, погружаясь в свои «темы» и «образы», старается уловить в своем внутреннем мире эту предметную необходимость, следовать ей и со-

блюдать ее. Каждая линия, проводимая им, остается для него «проблематичной», «простой возможностью и не более того», до тех пор, пока он не начнет ощущать ее как нечто «строго соответственное», «точное», «органически-живое», «прочно-врастающее». «Соответственное» *чему?* «Точно» выражающее *какой* предмет? «Прочно-врастающее» в *какой* «живой организм»? На эти вопросы ему, может быть, трудно ответить, но этих словесных ответов от него не следует и требовать. Важно то, что его внутренний опыт недвусмысленно и достоверно сообщает ему, что он уловил «необходимое» и «единственно точное» и что проведенная им черта соответствует некоторому важному и решающему, хотя и сокровенному содержанию; это значит, что она «верна», «обоснованна», что она отличается таинственной, но совершенно очевидной «точностью» (любимое выражение Пушкина)... Тогда найденное подобно прочно лежащему камню в болоте, на который можно стать и опереться, чтобы нащупывать и отыскивать дальнейший путь.

Это «ощущение» *органической необходимости* в художественном творчестве отнюдь не есть ни призрак, ни самообман; напротив, ему присуще чрезвычайное, определяющее значение. Когда человек работает, напр., над дешифрированием непонятного текста, то ему приходится иметь дело с предположениями и неуверенными догадками до тех пор, пока он не почувствует, что вступил в *поток живого, связанного, единого смысла*; тогда у него делается уверенность, что он не выдумывает ничего своего, субъективного, но верно улавливает то, что объективно скрыто в разбираемой им криптограмме. Подобно этому настоящий художник старается уловить сокровенное содержание художественного замысла, выразить его — соответственно, точно, «адекватно» — в образах и «изложить» в словах, звуках, красках, жестах или камнях. При этом он несет в себе уверенное и подлинное чувство, что он творит, не изобретая, а как бы *воспроизводя нечто подлинно сущее*, или же что вся его изобретательная способность направлена на верное отображение объективно предстоящего ему «предмета». И когда он, закончив свое произведение, показывает его или выставляет, то у него иногда бывает смутное чувство, что некоторые «места»,

или «линии», или «словесные обороты», или «плоскости», «краски», «модуляции» его произведения — не совсем закончены, не окончательно обоснованы, не вполне «предметны» или недостаточно точны. Тогда он начинает внимательно прислушиваться к критикам и сразу замечает, кто из них говорит из предметного созерцания, уловив художественную необходимость в его произведении, и кто из них, напротив, застрял во внешностях снобизма, в условностях отвлеченной формы, в аутистических выдумках и потому идет в своих разглагольствованиях *мимо* главного. Он умеет благодарно ценить скромные, исследующие замечания истинных критиков: он чувствует себя понятым, польщенным, он проверяет себя этими замечаниями и нередко «соглашается»; критик оказывается его ценителем, другом и помощником... А к самодовольному разглагольствованию мимо взирающих рецензентов он относится с пренебрежением, хотя и знает, что именно эта болтовня нередко влияет на публику и руководит ее мнением. Именно это последнее имел в виду Л. Н. Толстой, когда он однажды с тихим юмором вымолвил: «Критика — это когда глупый человек пишет об умном»...

В каждом произведении искусства надо различать *трояко*, как бы *три слоя*, причем эти слои не расположены один *над* другим, а открываются один *за* другим: *от поверхности* в *глубину*. Можно было бы выразить это и иначе: здесь есть центральное, главное «ядро», заключенное как бы в две «скорлупы», так, что «ядро» пронизывает обе скорлупы своими лучами и что внутренняя скорлупа может быть воспринята только через посредство внешней. Но это описание дает только указание, только намек на художественную правду.

Внешний слой искусства («первую скорлупу») можно было бы обозначить как *«эстетическую материю»*: таковы слова и фразы в литературе; линии и краски в живописи; слышимые звуки в музыке; камень, дерево, металл в скульптуре и архитектуре; тело танцующего, его одежда и обстановка в балете. И вот, чувственно уловимый материал искусства имеет свои собственные законы, например: фонетические, грамматические, стилистические и орфографические правила в литературе; физические, математические и акустические законы в музыке; естественные

свойства камня, дерева и металла в скульптуре и архитектуре; физиологические, анатомические, психологические и духовные законы, владеющие человеческим телом — в танце. Эти правила и законы должны быть соблюдены для того, чтобы произведение искусства *художественно удалось*. Фонетическое безобразие, грамматический хаос, стилистическая беспомощность и бессвязность могут погубить стихотворение. Нечистые, фальшивые звуки, не сопринадлежащие, монотонные аккорды с параллельными ходами могут испортить любое музыкальное произведение. Противоестественные, искусственно выдуманные, тяжелые, акробатически-вымученные, невыразительно-мертвые движения в танце — могут сделать его фальшивым и художественно невыносимым...

Но эти необходимые, элементарные, азбучные законы чувственной материи не являются ни *высшими*, ни *последними* законами искусства. Есть другие, важнейшие и определяющие законы — и от них может изойти «применение» для низших законов: они могут властно потребовать аллитерации, или бесстильности, или бессвязности в словах; дребезжащих или монотонных звуков в оркестре; безвкусного сочетания красок или «обратной перспективы» в живописи; безобразных, вымученных движений в танце... Так, Римский-Корсаков, великий и безошибочный знаток гармонии, пишет Мусоргскому о его «Ночи на Лысой горе»: «Величание Сатаны должно быть непременно зело паскудно, и потому всякая гармоническая и мелодическая погань позволительна и уместна» (см.: Мусоргский. «Письма и документы». С. 454). Унисон справедливо считается скучнейшим видом музыкального звучания; но Бородин, изображая азиатский примитив татарского ига, ведет его тему во властном, сокрушительном унисоне (первая часть знаменитой Второй симфонии)... И так обстоит во всех видах искусства: законы эстетической материи подчиняются Главно-Сказуемому. Пушкин, гениальный мастер легчайшего стиха, ставит, *когда надо*, такие строки: «Бой барабанный, крики, скрежет, — Гром пушек, топот, ржанье, стон»... Или еще: «В молчаньи правил грузный челн»...

Осязаемая материя искусства совсем не есть важнейшее в искусстве; она не есть нечто самодовлеющее, и ее

нельзя трактовать как «самостоятельное» тело художества. Напротив: она есть нечто вторичное, служебное, повинное послушанием высшему смыслу произведения. Эстетическая материя является «носителем», «орудием» или «знаком» того художественного содержания, которое должно быть «высказано» или «показано». Этот носитель должен быть на высоте выражаемого содержания, он должен соответствовать ему. Орудие должно быть послушным. Знак должен быть выразительным и содержательно насыщенным. Власть над ним имеет *эстетическое содержание* (т. е. художественный *образ* и говорящий через него *художественный предмет).* То главное, что художник «сказует» (или «показывает», или «знаменует»), — властвует над эстетической материей, властно выбирая слова, краски, звуки, плоскости, жесты и массы вещества. И в «материи» только то является художественно верным, что потребовано «Сказуемым».

Поэтому в произведении искусства эстетическая материя должна возникнуть *из* содержания, имея в нем свое оправдание и основание. *Художественно* только *содержательно-необходимое.* Совершенно здесь только то, что *выразительно*, в своей выразительности *точно*, в своей точности *прозрачно* и потому *необходимо*; — что экономит силу, время и внимание и верно ведет к главно-сказуемому данного произведения. Вся эстетическая материя должна стоять в распоряжении главно-сказуемого, обнаруживая величайшую покорность, готовность и гибкость; она должна чутко приспособляться и видоизменяться, *не отрекаясь от своих собственных законов*, но находя в них новые, может быть, небывалые формы.

Второй «слой» искусства (вторая «скорлупа») есть показуемый и воспринимаемый *эстетический образ.* Это есть то воображаемое художником «обличие» или «очертание», которое подыскивает себе материю, для того чтобы воплотиться в ней и «излучаться» из нее и через нее. Эстетический образ может иметь чувственную природу: таковы обличия материальных вещей — бабочка, цветок, дерево, дом, ландшафт; но он может иметь и нечувственную природу: таковы душевное настроение, напр. «Меланхолия» Грига, или человеческий характер, напр. «князь Мышкин» у Достоевского, или духовная борьба людей, напр.

Брут и Цезарь у Шекспира. А в музыке «образом» является музыкальная *тема*, во всей ее индивидуальности, видоизменяемости и судьбе, в ее *общении* с другими темами данного произведения.

Все эти эстетические образы имеют свои особые законы: каждый образ должен явиться как нечто подлинно-объективное, правдоподобное, созерцательно-убедительное, индивидуально-внутренне-единое, самому-себе-верное, законченное, органически-связанное с другими образами и т. д. Расплывчатые, неясно показанные, неразличимые, плохо ракурсированные, противоестественные, неправдоподобные, в восприятии неубедительные, дробящиеся чувственные образы — характерны для *плохого* искусства; незрело выношенные, невыкристаллизовавшиеся, мало индивидуализированные, смутные человеческие характеры, которые выводятся в психологически неестественных жизненных положениях, произносят искусственные, аффектированные слова и совершают духовно необоснованные, неестественные поступки, — создаются плохими художниками и относятся к дурному, нехудожественному искусству. Все это оказывается художественно фальшивым, неприемлемым; все это разочаровывает, утомляет и проваливается.

Но законы второго «слоя» тоже *не самостоятельны, не самодовлеющи* и не являются высшей инстанцией. В каждом произведении искусства весь строй образов подчинен опять-таки высшему и важнейшему «слою» — *главной идее* произведения, *Главно-Сказуемому, Художественному Предмету* и оказывается его верным и необходимым орудием.

Все дело именно в этом третьем, глубочайшем «слое», в том «главнейшем-важнейшем», что составляет «ядро» или «зерно» произведения; ради его художественного «произнесения», ради его «прикровенного показания» все зачинается, вынашивается и творится. Все эстетические образы должны быть выращены из него, развертывая *его* содержание, повинуясь *его* ритму, выражая *его* идею и волю. «Слой» эстетических образов должен ясно, точно и экономно выражать *художественный предмет* произведения; он должен служить предмету в качестве верной и прозрачной среды, чтобы предмет светился и воспринимался через него с очевидностью, скрываясь за ним и открываясь через него. Поэтому все образы данного произ-

ведения — романа, драмы, картины, сонаты. симфонии, скульптуры, балета — должны стоять в распоряжении художественного предмета, в подчинении ему, оказывая ему величайшую готовность, уступчивость, гибкость и выразительность.

Это настоящее «ядро» произведения, этот сущий и глубочайший центр его, к которому все сводится, ради которого все делается и творится и без которого все распадается, есть *основная концепция* художника, его сокровенный «замысел», который привел его творчество в движение. Именно он, этот предметный «замысел», задуманный не мыслью и не произвольным хотением, но *зачатый в сфере той бессознательной духовности*, которая присуща каждому из нас, — именно он подыскивает себе необходимые образы и верную чувственную материю. Он есть тот «духовный цветок», который художник увидел в просторах духа; этот цветок пленил его, и он взял его с собою, чтобы подобрать для него художественное одеяние и показать его в таком виде другим людям. Этот духовный цветок можно было бы обозначить как «идею», но с тем, чтобы не приписывать ей никакой рационалистической формы: ибо эта «идея» постигается *иррациональным сердце-созерцанием*, которое не следует смешивать с обычной мыслью; это есть, если угодно, «мысль», но в смысле *духовной медитации*: это есть «созерцание», но осуществляемое не чувственными силами души, а *сердцем*, луч которого постигает, пленяется и «берет с собою».

Этот «духовный цветок» не есть субъективная выдумка или чисто личная химера художника. Он есть *реальность*, духовная сущность. Его можно было бы обозначить как *духовный «первообраз»* или как *живой способ бытия*, как классическое, каждому человеку доступное *жизнесостояние*. Это жизнесостояние переживается самим художником, созерцается им и становится его *предметом*. Он находит его в Боге, в человеке или в природе вещей. Есть такие первообразные состояния, которые он находит *только в Боге*, напр. «совершенство», «несотворенность», «вечность», «благодать», «неисчерпаемая милость»; или в Боге и в человеке: «любовь», «прощение», «доброта», «бессмертие»; или только в человеке, напр. «грех», «совесть», «молитва», «страстное борение», «искушение», «ненависть»,

«пошлость», «зависть», «преступление», «раскаяние»: или в Боге, в человеке и в природе, напр. «свет», «покой», «творчество», «страдание»; или только в природе и в человеке, напр. «сон», «жажда», «засыхание», «расцветание», «отцветание», «наслаждение»... Все это может открываться художнику то статически, то динамически, то в великой простоте, то в чрезвычайной сложности, то в молчании, то в пении, то в единичности, то во множестве, то намеком, то бурею. Что именно из этих «первообразов» или «первичных состояний» художник увидит, чем он пленится, что выберет, — в этом он свободен. Но каждый такой «предмет» он должен подлинно пережить; он должен быть «взят им в плен»; он должен пройти через некую «одержимость» им, чтобы начать верно говорить *из него* и художественно показывать его. Такой духовный опыт отнюдь не является его «монополией»; он доступен каждому человеку, способному вообще к духосозерцанию: каждому наивному обывателю, в особенности же призванному художественному критику, который должен быть способен воспринимать каждое произведение искусства в его цельном составе и во всех его необходимых «слоях» и частях.

Согласно этому, каждое произведение искусства как бы хочет сказать человеку: «впусти меня в дух твоей души, переживи меня цельно, дай мне состояться в твоем внутреннем «пространстве», в твоей жизненной ткани; я подарю тебе счастье, а может быть и муку; я дам тебе углубление и озарение, постижение и очищение, видение и умудрение»... Или иначе: «возьми меня с собою, я несу тебе мудрость и просветление»... Или еще иначе: «Здесь тебя ожидает новая духовная медитация, показанная в образах, прими ее и унеси ее в жизнь»... И человек, который действительно воспримет такое произведение искусства и промедитирует скрытую в нем медитацию, приобщится через его «материю» и через его «образы» к скрытому в них «духовному цветку».

Таков смысл подлинного искусства; в этом его сущность и призвание: оно призвано нести людям *истинный аромат духа*. Художник не призван «поучать» и «проповедовать»; он не смеет становиться тенденциозным и навязывать людям какую-нибудь доктрину. Он призван сам

цвести среди цветов духа, естественно, непреднамеренно (desinvolto), органически и с некой таинственной, легкой, побеждающей властностью; — цвести и дарить людям подлинный, чудесный и очистительный аромат своих духовных цветов.

Так обретается *критерий художественности*; так узнается совершенное произведение искусства. Если выразить этот критерий в виде требования, то мы должны будем сказать:

«Художник! Будь верен *законам эстетической материи*. Эти законы ты должен знать и соблюдать, а материей ты должен владеть вполне. Только тогда ты сумеешь точно и совершенно приспособить материю твоего произведения к требованиям эстетического образа и художественного предмета.

Будь верен также и *законам эстетического образа*. Ты должен верно постигнуть своеобразие этих «существ» и вполне овладеть ими. Только тогда ты сумеешь оформить весь хоровод созерцаемых и показываемых тобою образов — в строгом и выразительном соответствии с твоим основным замыслом, с твоей предметной медитацией, с ее духовным цветком...

А чтобы возыметь основной замысел, чтобы постигнуть художественный предмет, — ты должен уйти в глубину сердечного созерцания и вопросить из своего созерцающего сердца Бога, мир и человека о тайнах их бытия. Погрузись в эту духовную глубину, как в некое море, и вернись из нее с жемчужиной. Затеряйся в блаженных пространствах духовного опыта и принеси оттуда самый лучший цветок. И соблюди в своем творчестве верность этой жемчужине или этому цветку. Только тогда ты узнаешь, как и чем живет «предметно одержимый» художник; только тогда ты сможешь создать адекватные предмету образы и точную эстетическую материю: давай необходимое и только необходимое! только предметно укорененное! и ничего лишнего, ничего чрезмерного! только такое, через которое светится и сияет сам первообраз предмета!»

Вот правило, вот критерий художественно совершенного искусства. И в будущем — русский народ, пробужденный и очищенный посланными ему небывалыми стра-

даниями, снова вступит на этот великий, классический путь своих великих художников и начнет опять создавать новое и прекрасное искусство.

10
БОРЬБА ЗА АКАДЕМИЮ

Одно из самых тяжелых и опасных наследий революции в России состоит в утрате истинного академического уровня. Высшие учебные заведения, и университеты в особенности, были с самого начала отданы в жертву вожделениям и претензиям революционной среды. Их самостоятельность была осмеяна и попрана; отбор личных сил и выработка программ были изъяты из ведения ученых и переданы в руки неучей; и по мере того как тоталитарное государство упрочивалось, вся академическая жизнь — исследование, преподавание, критика и оценка трудов, дух и направление познающей воли — все было подавлено, искажено и снижено. Академия была превращена в «техникум революции»; ученые были поставлены на колени, и наука в ее истинном значении должна была уйти в нелегальное подполье. Этому извращению и унижению придет однажды конец, и Россия восстановит свой академический дух и уровень.

Что же такое есть академия? В чем ее призвание? Чему должны служить ученые, для того чтобы уровень университета был на истинной высоте?

Академия есть *высшая ступень* в образовании и воспитании человека; и этим уже определяется ее сущность и своеобразие. Ибо предшествующие ей ступени только подготовляют человека к последней и высшей.

Низшая школа научает человека чтению, писанию и пониманию прочтенного; она учит ребенка собирать свое внимание, овладевать своей памятью и сосредоточиваться в указанном направлении. Хороший наставник непременно позаботится еще и о том, чтобы пробудить в ребенке духовность его инстинкта, — доброту, совесть, достоинство, религиозную веру, национальное чувство и правосознание...

Средняя школа учит человека усваивать указанный ему познавательный материал и технически владеть им: понимание должно стать активным размышлением, горизонт ребенка должен год от года становиться все шире, память должна укрепляться и обогащаться. Но авторитет преподавателя остается руководящим: от него исходят разъяснения, указания, уроки, задачи и упражнения. Преподаватель как бы становится между учеником и предметом в качестве посредника и рассказывает ему из предмета и о предмете столько, сколько он признает необходимым и посильным, проверяя внимание ученика, его память и усвоение. Он сообщает ученикам правила и приемы мышления, упражняет их в применении этих правил, исправляет их ошибки и дает им указания. Тем самым он как бы пробуждает и укрепляет («повивает») силу суждения у своих учеников, приучает ее к верной направленности и дисциплине, но оставляя ее до поры до времени в подчиненном состоянии. Талантливый преподаватель, наверное, позаботится еще и о том, чтобы пробудить в учениках интерес к своему предмету, зажечь в них любовь к нему и жажду познания; он вложит в преподавание столько искреннего огня, что ученики, сами того не замечая, начнут жить активной силой суждения, — слагать свои собственные вкусы, воззрения и убеждения; а главное — укреплять и применять духовность своего инстинкта.

И все это составляет только подготовку к высшему образованию, к академии: там — все меняется.

Академия обращается не к ребенку и не к подростку, а к умственно созревшему человеку: она воспитывает его к *самостоятельному бытию и мышлению.* Конец школьным схемам, пассивно воспринимаемым трафаретам, обязательным приемам и непрерывному контролю! Начинается самодеятельность духа, познания и мысли... И к этой самодеятельности должно вести академическое преподавание. Естественно, что на младших курсах эту самодеятельность надо будить и укреплять («повивать») — советами и разъяснениями, сообщением известных приемов и умений; но на старших курсах студент должен пытаться мыслить и познавать самостоятельно.

Этим академическое преподавание отличается от уроков гимназии по самому существу своему. Здесь соверша-

ется не наполнение памяти, не усвоение понятого и не только техническое упражнение мысли. Здесь дело идет об укреплении и углублении *силы суждения*; здесь сообщается умение *самостоятельно подходить к предмету, воспринимать* его и *исследовать*. И на этом должно сосредоточиваться академическое преподавание.

Ошибочно, слепо и печально поступают те профессора, которые и в университетах практикуют гимназический способ обучения, применяя его только к другим, более трудным и сложным содержаниям. У них академия просто не состаивается и не осуществляется: они сами не переросли гимназию и в университете им, строго говоря, делать нечего. И академические экзамены совсем не призваны к тому, чтобы замучивать студенческую память и авторитетно контролировать навязанное мышление. Академия учит *предметной мысли и предметному исследованию*; и академический экзамен должен проверять не память, а силу суждения и умение ориентироваться в неисследованном и неизвестном...

Академия воспитывает человека к духовной и интеллектуальной *самостоятельности, к активному наблюдению и мышлению, к исследованию* и, значит, к *духовной свободе*. Подготовка заканчивается. Экзамен «зрелости» сдан, и молодой человек «созрел». Теперь он может приступить к настоящему развитию своей силы суждения. Ему предстоит *непосредственная встреча с предметом*, творческое упражнение в самостоятельном испытывании и исследовании. И как хорошо, если он приобщился к начаткам этой самостоятельности еще в гимназии, если он вступает в академическую аудиторию как духовно заинтересованный, как ищущий самостоятельности человек...

То, что академия должна дать ему, есть именно *непосредственная встреча с предметом*, умение организовывать эту встречу и верно обходиться со своим объектом, будь это материальный мир или душевное явление, математическая величина или функция, живое слово в филологии, трудно уловимое событие истории, верно испытанное право в юриспруденции или духовное обстояние в философии. Юный академик должен научиться самостоятельно и непосредственно *воспринимать* свой предмет, находить его, выделять его, переживать его, созерцать и исследовать.

А опытный академик должен постараться передать ему это умение. Доцент университета призван становиться между слушателем и предметом именно для того, чтобы вызвать их верную жизненную встречу, чтобы показательно организовать это творческое восприятие и вслед за тем исключить себя и сомкнуть разлученное. Он как бы берет студента за руку и ведет его к *источнику*, чтобы показать ему, как этот источник в действительности выглядит, как его надо находить, как с ним обходиться и как надо *через источник доходить до самого предмета*; именно в силу этого так называемые «практические занятия» или «просеминарии» и «семинарии» имеют в университетском преподавании особенное значение, вводя студента в научную лабораторию.

Академическое мышление *начинает* с непосредственного опыта; академическое познание черпает из *источника*; академическое исследование есть самостоятельное переживание исследователя, ответственная борьба за истину, критическое толкование, упражнение (аскез) силы суждения, искусство доказывать и показывать. В этом слагается личное «воззрение» и «убеждение», выросшее из лично пережитой очевидности. Академия должна сообщать человеку искусство *ответственного*, одинокого мышления, — искусство *мыслить из самого предмета*, силу целостного созерцания (интуиции) и строгого аналитического наблюдения (индукции). *Беспочвенное* мышление есть злоупотребление мыслью, свойственное необразованности; *дедуктивное* мышление есть опасное орудие полуобразованности; — и то, и другое должно быть преодолено. Академия не устанавливает «догматов»: она вопрошает, ищет и исследует; она не ставит запретов и не ведет к застою: она живет *динамически и творчески*: но ее динамика — *ответственна и осторожна*, она испытует, сомневается и проверяет.

Одним словом, академия осуществляет *«метод»* и воспитывает к *«методу»*. Метод есть первоначально греческое слово; оно обозначает *путь к цели*; в познании — *борьбу за истину*. И академия есть именно *школа самостоятельной борьбы за истину*. Всю свою жизнь научный исследователь борется с *самим собой*, чтобы приобрести необходимую чистоту, зоркость и гибкость духа; *с предметом*, чтобы его испытать, увидеть и изобразить; с *языком*, чтобы верно овла-

деть им и приспособить его. Он борется из-за истины, чтобы действительно пережить ее, закрепить и выразить.

Этим сказано многое, может быть, все.

Теперь должно быть понятно, почему мы утверждаем, что академия воспитывает человека к *свободе*: ибо свобода есть *ответственная, творческая самостоятельность человека*. Но именно поэтому академия может существовать только в атмосфере свободы и творить только из свободы. Это не свобода произвола, и злоупотреблять ею нельзя. Это есть свобода от всяких посторонних требований, от всяких чужеродных науке ограничений, от всякого человеческого давления на совесть и на ум исследователя, от всякого политического и социального угодничества. Это есть внешняя свобода, при внутренней связанности. Всякие внешние вмешательства отвергаются для того, чтобы можно было строго следовать требованиям предмета и исследовательской совести. Поэтому это есть освобождение от человеческих претензий, ради служения божественному делу совестного познания. Таков смысл академической свободы.

Вот почему академия вся целиком держится на *чувстве ответственности*; атмосфера, необходимая ей, есть атмосфера методически-воспитанной, искренно-честной и совестно-проверенной *воли к истине*. Но надо признать, что и чувство ответственности, и воля к истине возникают не только и не просто из академического духа, но особенно *из духа живой религиозности*. Воспитывая человека в свободе и приучая его к внутренней дисциплине, воспитывая его к самостоятельности и приучая его к самопреодолению, академия требует от него победы над аутизмом [1], над произволом и над тщеславием, и приобретения того истинного *смирения*, которое присуще настоящему ученому.

Всю свою жизнь ученый стоит перед великою тайною видимого и невидимого мира, перед бесконечной глубиной и сложностью Богом созданного Предмета — и созерцает эту живую тайну и глубину и старается воспринять ее и исследовать. Чем выше и значительнее человеческий дух,

---

[1] Аутизм (от греч. αυτος — сам) состоит в преобладании субъективно-личного произвола над духовно-предметным элементом жизни.

тем больше его благоговение и его смирение. Чем проницательнее его взор, тем искреннее его изумление, как на это указывал еще Аристотель; тем строже его суждение о самом себе, как это бывает у аскета. Настоящий академик знает *свои* пределы и пределы *своего знания*; и потому он не бывает заносчив и не страдает гордостью. Умный академик прекрасно знает, где начинается его «глупость», и никогда не считает себя умнейшим из людей. Он чувствует в себе *вечного студента*, который всегда будет знать недостаточно и которому только дано счастье расшифровывать Богом созданный мир, как некий Божий иероглиф, — пребывая всегда в борьбе и не надеясь исчерпать свой предмет.

Вот почему *тихое, созерцающее и глубокое благоговение* является истинным источником академического исследования. И это благоговейное преклонение перед Богом — созданной тайной мироздания, это изумление человека, испытующего Божии «следы» и «лучи» в мире, — есть одна из благороднейших молитв, доступных человеку, *молитва благодарности и очевидности*, ничего не выпрашивающая и ни на что не жалующаяся. Такая молитва несет ученому свои лучшие дары: любовь к предмету, чающему исследования; волю к точной и полной истине; чувство ответственности за всякое утверждение и отрицание; душеочистительное смирение и аскез силы суждения. Поэтому, при верном понимании дела, академия не только не враждебна религии, но, напротив, она представляет собою *одну из благороднейших форм религиозности* и творчество истинного ученого есть *тихое богослужение*. «Понятие» Бога не является объясняющей «гипотезой» в составе науки; но Дух Божий есть истинная и определяющая основа всех академических трудов и достижений.

Все великие ученые последних веков знали и открыто исповедовали это — и Коперник, и Бэкон, и Галилей, и Ньютон, и Кеплер, и Лейбниц, и Бойль, и Ломоносов, и Либиг, и фон Майер, и Дюбуа-Реймон, и Фехнер, и Карлейль. Они выговаривали свое понимание с недвусмысленной ясностью и благоговением; и были в этом правы и безошибочны. Они искали и находили не видимость, а *сокровенную сущность*. А чтобы проникнуть до сущности,

надо смотреть вглубь, туда, где пребывает живая тайна мироздания, — творчески задуманная Господом и заданная нам для творческого исследования. Настоящий исследователь касается этой тайны всегда с благоговением; и, коснувшись, очень скоро убеждается в том, что умственное восприятие мироздания незаметно приводит человека к созерцанию Божества.

Вот почему академия, разучившаяся изумляться и благоговеть, растерявшая чувства любви и ответственности, неминуемо вырождается и перестает быть Академией. Она мертвеет, перестает творить и начинает служить духу разложения, снижения и гибели; ее «ученые» блуждают по поверхности явлений, «распыляют» и «склеивают», повторяют свои или чужие (предписанные им!) мертвые схемы, мыслят слепо, механизируют свой собственный труд и теряют подлинный, живой предмет...

Такова академия, такова истинная сущность университета и всякой высшей школы как таковой (если она еще заслуживает своего имени): это есть *лаборатория испытующего и сомневающегося исследования, которое творится в духе религиозного созерцания.* Академия возникает из свободы, творит в свободе и воспитывает к свободе; и в то же время она стремится свободно уловить те высокие обязательства и те высшие необходимости, которым человек должен добровольно подчиниться ради предметного познания. Она исследует не для того, чтобы все разложить и разрушить, но для того, чтобы узреть подлинное, верно описать его и творчески созидать жизнеспособное. Она, конечно, есть школа мысли; но эта мысль насыщена любовью и волею: она наблюдает, созерцает и радостно постигает дело рук Божиих. Поэтому академия требует *всего* человека; а от него самого — требует *нравственного напряжения и религиозного подъема*; иначе он не коснется самого главного и заветного: тайны чувственных, нечувственных и сверхчувственных миров.

И первое, с чего всякая академия должна начать, это преодоление всех извне навязанных и потому мертвых умственных схем и трафаретов: все они действуют на мысль, на совесть, на дух и на волю человека подобно *трупному яду.*

11

О ПАСТЫРСКОМ ПРИЗВАНИИ

Однажды, уже после изгнания, за рубежом, ко мне обратился протестантский пастор с вопросом, как надлежит, по моему мнению, понимать пастырское призвание? После некоторых колебаний и размышлений я ответил ему следующим письмом.

Многоуважаемый господин Пастор!

Должен сознаться, что вопрос, поставленный в Вашем письме, привел меня в немалое затруднение. Сумею ли я, светский ученый, верно постигнуть и описать сущность, пастырского призвания?

Я разделяю всей душой Вашу тревогу и заботу. Наше время предъявляет ко всем нам высокие и неотступные требования. Это время великих испытаний, и каждому из нас необходимо проверить сущность и смысл своего призвания. Пробил час суда над собою, час духовного очищения и обновления. Наши поколения блуждают по неверным дорогам и опасным берегам; они утратили тот благодатный, но «узкий» путь, который был нам указан. Они должны одуматься и начать *религиозное обновление.* Они должны вновь воспламенить в себе тот «Огонь», который был принесен нам Спасителем (Лук. XII. 49). Кому нужна соль, потерявшая свою силу? Куда могут завести нас ослепшие вожди? Верьте, я разделяю Вашу священную тревогу и постоянно думаю о причинах современного религиозного оскудения...

Нам остается одно: начать неутомимую борьбу за религиозное очищение и обновление. Надо предвидеть, что это будет борьба *великого напряжения и долгого дыхания.* Мы должны вернуть себе *цельную веру,* в которой *сердце* и *разум, созерцание* и *воля* — сольются в единый гимн, в такой гимн, чтобы на него отозвалась сущая *духовность нашего инстинкта*; чтобы он, обуздавши своего «волка», обновился в своем духовном зраке и приступил бы к новой жизни. Тогда будут найдены новые творческие идеи и начнутся новые творческие дела, завещанные нам Евангелием. И сложится новая христианская культура.

И если не от христианского пастырства нам ждать этого религиозного очищения и обновления, — то от кого же?

И если христианское духовенство не найдет в себе силы, мудрости и искренности для этого подвига, — то куда же обратить нам наши взоры?

Но именно поэтому, думается мне, было бы вернее и плодотворнее, если бы нашлись *духовные лица*, которые смогли бы и захотели бы произнести великие, руководящие слова о сем предмете из глубины данного им предметного опыта, — чтобы это были слова истинной жизни и истинного обновления... Я — светский человек, а светским людям не подобает притязательность в вопросах внутрицерковного строительства. Но раз Вы желаете слышать мое суждение, то я отложу неуместную на сей раз воздержанность и попытаюсь дать Вам исповеднический ответ. Но для этого позвольте мне видоизменить Ваш вопрос так: *чего мы, православные христиане, ожидаем от наших пастырей?* с какими запросами мы идем к ним? чем они могут заслужить наше доверие и нашу любовь?

Не буду говорить о богословском образовании и о подготовке к духовному пастырству: это подразумевается само собою. Они должны знать Писание, и Предание, и все учение Церкви лучше нас и разуметь все это глубже нас, чтобы помогать нам в часы сомнения и в поисках разумения. Они должны также владеть душевно-духовным искусством пастыря, глубокочувствием и ясным взором духовника, проницательно разумеющего индивидуальную человеческую душу и способного указать ей в трудную минуту жизни верный путь. Эти познания необходимы, это искусство драгоценно; здесь не может быть двух мнений. Но мне кажется, что мы ожидаем от них большего; что для нас важнее всего — *истинный и живой евангельский дух*, тот дух, который свидетельствует нам о Христовой благодати. Я разумею: *молитвенную силу, любящее сердце и свободную, живую христианскую совесть*...

Что может дать человеку богословское наставление, проистекающее из отвлеченного, сухого, логически умствующего рассудка, не созерцающего сердцем Христа Спасителя и не дающего нам увидеть Его? Какое значение имеет абстрактная «экзегеза» или дедуктивный аргумент в созерцательных и молитвенных пространствах живой религиозности? Могут ли они дать религиозную очевидность душе, ищущей Божьего света и огня, чаю-

щей живого Бога? Сколько раз, слушая за границей беседы и проповеди инославного духовенства, я думал о том, как богато оно книжною образованностью и как скупо оно в дарах сердца и духа! Как чуждо это русской православной душе!

Поистине, нет лучшего религиозного научения, нет более действительного проповеднического служения, *как сила и искренность* личной молитвы. Ибо вера крепнет и распространяется не от логических аргументов, и не от усилий самонасилующейся воли, и не от повторения слов и формул, но от *живого восприятия Бога*, от *молитвенного огня*, от *очищения, подъема и просветления сердец*, от *живого созерцания*, от *реального восприятия Благодати*. Я полагаю, что очень многое зависит от способности священника *искренно и беззаветно молиться сердцем*, ибо если он способен к этому, и если он молится так в своем уединении, то церковная его молитва будет зажигать, очищать и просветлять сердца его прихожан. Это пламя одинокой молитвы будет гореть и в его церковном богослужении, и в его проповеди, и в его жизненных делах. И мы, его прихожане, сразу почувствуем сердцем, что «Сам Дух» молится в нем «воздыханиями неизреченными» (Римл. VIII. 26) и что эти воздыхания передаются и нам по неизреченным путям.

Пастырь, коему присуща эта искренность и сила молитвы, является как бы «неопалимой купиной» в своем приходе: прихожане его, иногда сами того не замечая и не разумея, становятся соучастниками его молитвы; им передается теплота его веры; они приобщаются его духовному полету. Его поучения воспринимаются по-особому: не только умом, а сердцем, живою совестью и честною волею. Его беседы несомы творческим духовным опытом; они проникнуты живым христианским созерцанием; они идут из сердца и воспринимаются всею душою. И уже простая встреча с ним испытывается как утешение и безмолвное ободрение.

А в основе этого лежит некий религиозный закон, согласно которому *глубина веры растет и крепнет в молитве*, ибо молитва есть *благодатное вознесение души к Богу*, озаряющее, очищающее и удостоверяющее. Вот почему

пастырь должен быть живым источником и живою *школою молитвы.*

Второе, что мы желаем найти в нем, — это *живое любящее сердце.* Ведь лучшее христианское благовествование и утешение проистекает из доброты и сердечного понимания. Пока человеческое чувство сохнет и глохнет в умственно-отвлеченных богословских построениях, пока ум холодно рассуждает и выносит приговоры, враждует в прениях и каменеет в ненависти, — до тех пор человеку остается недоступным все откровение Господа Христа. Бессердечные люди не постигают в Евангелии самого главного; а поняв, не живут им и не осуществляют его. Черствая жадность делает человека слепым и глухим. «Реки воды живой» (Иоанн. VII. 38) текут только для любящих людей; ибо любовь отверзает человеку зрение и слух — и для Христова откровения, и для жизни и страдания других людей. Если священник имеет эту любовь, то она чувствуется и в его церковной молитве, слышится и в его проповеди, обнаруживается и в его делах. Кто беседует с ним или помогает ему, у того возникает особое ощущение: он чувствует, что воспринял от своего духовника нечто драгоценное, жизненно важное и ободряющее, что он испытал свет и теплоту духовного огня, что он почувствовал живую доброту, что он приблизился к тому, что разумел Христос, когда говорил о любви. Ибо живое сердце имеет запас доброты для всех: утешение для горюющего, помощь для нуждающегося, совет для беспомощного, ласковое слово для всякого, добрую улыбку для цветов и для птичек. И простое обхождение с таким человеком становится незаметно живою *школою сердечного участия*, любовного такта, христианской мудрости. И все это прекрасно и благодатно, ибо истинный *духовник* есть носитель христианского духа, духа любви и сердечного созерцания.

И вот третье, чего мы ищем и ждем от нашего пастыря, — это *свободная и творческая христианская совесть.* Эта совесть должна жить в нем как самостоятельная и независимая сила, как критериальная мера добра и зла, мера, по которой мы могли бы проверять, выправлять и крепить нашу собственную совесть. Там, где мы беспомощно сомневаемся и колеблемся, он, как *мастер совести*, должен видеть ясно и глубоко; где мы блуждаем

и заблуждаемся, он должен знать и указывать нам прямую дорогу; где мы вопрошаем, он должен иметь ответ. Он должен поддерживать нас в искушениях и соблазнах; он должен быть нашей опорой в колебании и изнеможении. Он должен сразу прозревать, где есть нечестность, неискренность, измена; но при этом — хранить справедливость в суде и осуждении. Ибо совестный христианин не преувеличивает — ни в утверждении, ни в отрицании; его суждение исходит из предметно-видящего смирения, но произносится с мужеством и силою, ибо не он произносит его, а *предметный огонь в нем.* Нам нужен искренный и откровенный исповедник, ничем и ни в чем не подкупный, не алчный, бесстрашный пред сильными и свободный от властолюбия; нам нужен живой очаг христианской совести, с чистым пламенем и кротким светом.

Мы же сами должны обеспечить ему независимую и достойную жизнь: мы должны раз навсегда отрешить *требу* от *мзды*, чтобы прогасить и в нас самих и в нашем пастыре идею о том, будто молитва «покупается» и благодать «продается»; чтобы не было торговли о святыне; чтобы пастырь мог молиться свободно, не помышляя о прибытке, а прихожанин мог обращаться к нему за помощью, не учитывая своих средств и расходов. Благодать и деньги инородны друг другу; недостойно мерять Божие дело монетою; невозможно унижать своего пастыря нуждою и поборами. Дело церкви есть дело духа, любви и совести, дело молитвы и созерцания; и прихожане должны снять со своего пастыря заботу о земном, обеспечивая ему необходимое и достойное.

Я выскажу Вам, многочтимый господин Пастор, мое глубокое убеждение, если признаюсь, что отношу все мною высказанное не только к нашим православным общинам, но и к общинам и священнослужителям *всех* христианских исповеданий. Я думаю, что всюду, где веет дух Христа, прихожане будут счастливы иметь в своем пастыре живой источник *молитвы, любви и христианской совести*; и что сии три основы составляют драгоценнейшую и сильнейшую скрепу христианской Церкви вообще. Мне не кажется при этом, что высказанные мною ожидания слишком высоки и трудны в осуществлении, ибо дело священника, пастыря и духовника не есть обычная профессия,

сходная с другими, но требует *особого призвания и особых даров*. Эти дары даны не всякому; но тот, кому они не даны, не должен посягать на это звание. Здесь дело не столько в «умении», сколько во «вдохновении»; не столько в обрядовой словесности, сколько в живой полноте чувства (по-гречески «плерома»); не в отбытии «требы», а в духе ее совершения. Пастырь, не знающий о требованиях «плеромы» и не укрепивший в них своего сердца, — на чем утвердит он свою веру и молитву, как поведет он своих прихожан к Богу, чем наполнит он свой храм, как укрепит он свой приход? Спрашиваю и не нахожу ответа...

Простите же мне мое откровенное письмо. Бывают времена, когда полуправда становится недопустимой и непростительной. Я не мог и не смел ограничиться ею; но высказывая здесь высказанное, я все время имел живое чувство, что самое время, нами переживаемое, время страшное, болезненное мучительное, диктует мне свои требования и ожидания. И я глубоко благодарен Вам за то, что Ваш вопрос дал мне возможность облегчить мое сердце изложением этих ожиданий и требований.

С истинным почтением

(Подпись).

12

О ПРИЗВАНИИ ВРАЧА

В былые годы вся наша семья в Москве лечилась у врача, которого мы все любили как лучшего друга. Мы питали к нему безграничное доверие, и все-таки, как я вижу теперь, мы недостаточно его ценили... В дальнейшем тяжкая судьба, растерзавшая Россию, разлучила и нас с ним; и жизнь дала мне новый опыт в других странах. И вот, чем дальше уходило прошлое и чем богаче и разнообразнее становился мой жизненный опыт пациента, тем более я научался ценить нашего старого друга, тем более он вырастал в моих глазах. Он лечил своих пациентов иначе, чем иностранные доктора, лучше, зорче, глубже, ласковее... и всегда с большим успехом. И однажды, когда меня посетила болезнь особенно длительная и с виду «безнадежная», я написал ему и высказал ему то, что ле-

жало на сердце. Я не только «жаловался» и не только «вспоминал» его с чувством благодарности и преклонения, но я ставил ему также вопросы. Я спрашивал его, в чем состоит тот способ диагноза и лечения, который он применяет? И что — этот способ присущ ему как личная особенность (талант, умение, опыт?), или же это есть зрелый терапевтический метод? И если это есть метод, то в чем именно он состоит? Можно ли его закрепить, формулировать и сохранить для будущих поколений? Потому что «метод» — означает «верный путь», а кто раз открыл верный путь, тот должен указать его другим...

Только через несколько месяцев получил я от него ответ; но этот ответ был драгоценным документом, который надо было непременно сохранить. Это было своего рода человеческое и врачебное «credo», исповедание веры, начертанное благородным и замечательным человеком. При этом он просил меня, — в случае если я его переживу, — опубликовать это письмо, не упоминая его имени. И вот я исполняю ныне его просьбу, как желание покойного друга, и предаю его письмо гласности. Он писал мне.

«Милый друг! Ваше вопрошающее письмо было для меня сущею радостью. И я считаю своим долгом ответить на него. Но скажу откровенно: это было нелегко. Я уже стар, и времени у меня, как всегда, немного. Отсюда эта задержка; но я надеюсь, что вы простите мне ее. У меня иногда бывает чувство, что я действительно мог бы сказать кое-что о сущности врачебной практики. Но несть спасения во многоглаголании... А отец мой всегда говаривал мне: «уловил, понял, — так скажи кратко; а не можешь кратко, так помолчи еще немножко!»...

Однако обратимся к делу.

То, что Вы так любезно обозначили как мою «личную врачебную особенность», по моему мнению, входит в самую сущность практической медицины. Во всяком случае, этот способ лечения соответствует *прочной и сознательной русской медицинской традиции.*

Согласно этой традиции, деятельность врача есть дело *служения,* а не дело дохода; а в обхождении с больными это есть *не обобщающее, а индивидуализирующее* рассмотрение; и в диагнозе — мы призваны не к отвлеченной «конструкции» болезни, а к *созерцанию ее своеобразия.*

Врачебная присяга, которую приносили все русские врачи и которою мы все обязаны русскому Православию, произносилась у нас с полною и благоговейною серьезностью (даже и неверующими людьми): врач обязывался к самоотверженному служению; он обещал быть человеколюбивым и готовым к оказанию деятельной помощи всякого звания людям, болезнями одержимым; он обязывался безотказно являться на зов и по совести помогать каждому страдающему; а XIII том Свода законов (ст. 89, 132, 149 и др.) вводил его гонорар в скромную меру и ставил его под контроль.

Но этим еще не сказано самое важное, главное, — то, что молчаливо предполагалось как несомненное. Именно — *любовь*. Служение врача есть служение *любви* и *сострадания*; он призван любовно обходиться с больным. Если этого нет, то нет главного двигателя, нет *«души»* и *«сердца»*. Тогда все вырождается и врачебная практика становится отвлеченным «подведением» больного под абстрактные понятия *болезни* (morbus) и *лекарства* (medicamentum). Но на самом деле пациент совсем не есть отвлеченное понятие, состоящее из абстрактных симптомов: он есть *живое существо, душевно-духовное и страдающее*; он совсем *индивидуален* по своему телесно-душевному составу и совсем *своеобразен* по своей болезни. Именно таким должен врач *увидеть* его, постигнуть и лечить. Именно к этому зовет нас наша врачебная совесть. Именно таким мы должны полюбить его, как *страдающего и зовущего брата*.

Милый друг, это не преувеличение и не парадокс, когда я утверждаю, что мы должны любить наших пациентов. Я всегда чувствую, что если пациент мне противен и вызывает во мне не сострадание, а отвращение, то мне не удается *вчувствоваться* в его личность и я не могу лечить его как следует. Это отвращение я непременно должен преодолеть. Я должен *почувствовать* моего пациента, мне надо добраться до него и *принять его в себя*. Мне надо, так сказать, взять его за руку, войти с ним вместе в его «жизненный дом» и вызвать в нем *творческий, целительный подъем сил*. Но если мне это удалось, то вот — я уже полюбил его. А там, где мне это не удавалось, там все лечение шло неверно и криво.

Лечение, целение есть совместное дело врача и самого пациента. В каждом индивидуальном случае должно быть создано некое врачебно-целебное «мы»: он и я, я и он; мы вместе и сообща должны вести его лечение. А создать это возможно *только при взаимной симпатии.* Психиатры и невропатологи наших дней признали это теперь как несомненное. При этом пациент, страдающий, теряющий силы, не понимающий своей болезни, — зовет меня на помощь; первое, что ему от меня нужно, это сочувствие, симпатия, вчувствование, — а это и есть живая любовь. А мне необходим с его стороны откровенный рассказ, и в описании болезни, и в анамнезе; мне нужна его откровенность; я ищу его доверия, — и не только в том, что я «знаю», «понимаю», «помогу», но особенно в том, что я *чую его болезнь и его душу.* А это и есть его любовь ко мне, которую я должен заслужить и приобрести. Он будет мне тем легче и тем больше доверять, чем живее в нем будет ощущение, что я действительно принимаю бремя его болезни, разделяю его опасения и его надежды и решил сделать *все*, чтобы выручить его. Врач, не любящий своих пациентов... что он такое? Холодный доктринер, любопытный расспрашиватель, шпион симптомов, рецептурный автомат... А врач, которого пациенты не любят, к которому они не питают доверия, он похож на «паломника», которого не пускают в святилище, или на полководца, которому надо штурмовать совершенно неприступную крепость...

Это первое. А затем мне нужно прежде всего установить, что пациент *действительно болен* и действительно *желает выздороветь*: ибо бывают кажущиеся пациенты, мнимые больные, наслаждающиеся своею «болезнью», которых надо лечить совсем по-иному. Надо установить как бесспорное, что он *страдает и хочет освободиться* от своего страдания. Он должен быть готов и способен к *самоисцелению.* Мне придется, значит, обратиться к его внутреннему, сокровенному «самоврачу», разбудить его, войти с ним в творческий контакт, закрепить эту связь и помочь ему стать активным. Потому что в конечном счете всякое лечение есть *самолечение* человека и всякое здоровье есть самостоятельное равновесие, поддерживаемое инстинктом и всем организмом в его совокупности...

Да, каждый из нас имеет своего личного «самоврача», который чует свои опасности и недуги, и молча, ни слова не говоря, втайне принимает необходимые меры: то гонит на прогулку, то закупоривает кровоточащую рану, то гасит аппетит (когда нужна диета), то посылает неожиданный сон, то прекращает перенапряженную работу мигренью. Но есть люди, у которых этот таинственный «самоврач» находится в загоне и пренебрежении: они живут не инстинктом, а рассудком, произволом или же дурными страстями — и не слушают его, и перестают воспринимать его тихие, мудрые указания; а он в них прозябает в каком-то странном биологическом бессилии, исключенный, загнанный, пренебреженный...

Без творческого контакта с этой самоцелительной силой организма можно только прописывать человеку полезные яды и устранять кое-какие легкие симптомы; но пути к истинному выздоровлению — не найти. Настоящее здоровье есть *творческая функция инстинкта самосохранения*; в нем сразу проявляется — и воля, и искусство, и непрерывное действие индивидуального «самоврача». А контакт с этим врачом добывается именно через вчувствование, через верные советы, через оптимистическое ободрение больного и ласковую суггестию (своего рода «наводящее внушение»).

Отсюда уже ясно, что каждое лечение есть *совершенно индивидуальный процесс*. На свете нет одинаковых людей; идея равенства есть пустая и вредная выдумка. Ни один врач никогда не имел дела с двумя одинаковыми пациентами или тем более с двумя одинаковыми болезнями. Каждый пациент единствен в своем роде и неповторим. Мало того, на самом деле нет таких «болезней», о которых говорят учебники и обыватели; есть только *больные люди*, и каждый из них болеет по-своему. Все нефритики — различны; все ревматики — своеобразны; ни один неврастеник не подобен другому. Это только в учебниках говорится о «болезнях» вообще и «симптомах» вообще; в действительной жизни есть только «больные в частности», т. е. индивидуальные организмы (утратившие свое равновесие) и страдающие люди. Поэтому мы, врачи, призваны увидеть каждого пациента в его индивидуальности и во всем его своеобразии и постоянно созерцать его как некий «уникум».

Это значит, что я должен создать в себе — наблюдением и мыслящим воображением — *для каждого пациента* как бы особый «препарат», особый своеобразный «облик» его организма, верную «имаго» страдающего брата. Я должен созерцать и объяснять его состояния, страдания и симптомы через этот «облик», я должен исходить из него в моих суждениях и всегда быть готовым внести в него необходимые поправки, дополнения и уточнения. Мне кажется, что этот процесс имеет в себе нечто *художественное*, что в нем есть эстетическое творчество; мне кажется, что хороший врач должен стать до известной степени *«художником» своих пациентов*, что мы, врачи, должны постоянно заботиться о том, чтобы наше восприятие пациентов было достаточно тонко и точно. Нам задано «вчувствование», созерцающее «отождествление» с нашими пациентами: и это дело не может быть заменено ни отвлеченным мышлением, ни конструктивным фантазированием.

Каждый больной подобен некоему «живому острову». Этот остров имеет свою историю и свою «предысторию». Эта история не совпадает с анамнезом пациента, т. е. с тем, что ему удается вспомнить о себе и рассказать из своего прошлого; всякий анамнез имеет свои естественные границы, он обрывается, становится неточен и проблематичен даже тогда, когда пациент *вполне* откровенен (что бывает редко) и когда он обладает хорошей памятью. Поэтому материал, доставленный анамнезом, должен быть подтвержден и пополнен из сведений, познаний, наблюдений и созерцания самого врача. Он должен совершить это посредством осторожного предположительного выспрашивания и внутреннего созерцания, но непременно в глубоком и осторожном молчании («про себя»). Так называемая «история болезни» (historia morbi) есть на самом деле не что иное, как вся жизненная история самого пациента. Я должен увидеть больного *из его прошлого*; если это мне удастся, то я имею шанс найти ключ к его *настоящей* болезни и отыскать дверь к его *будущему* здоровью. Тогда его наличная болезнь предстанет предо мною как низшая точка его жизни, от которой может начаться подъем к выздоровлению.

Человеческий организм, как живая индивидуальность, есть таинственная система *самоподдержания, самопита-*

ния, самообновления, — некая целокупность, в которой все сопринадлежит и друг друга поддерживает. Поэтому мы не должны ограничиваться одними симптомами и ориентироваться по ним. Симптомы, с виду одинаковые, могут иметь различное происхождение и совершенно различное значение в целостной жизни организма. Симптом является лишь поверхностным исходным пунктом; он дает исследователю лишь дверь, как бы вход в шахту. Он должен быть поставлен в контекст индивидуального организма, чтобы осветить его и чтобы быть освещенным из него.

Как часто я думал в жизни о том, что филологи, рассматривающие слово в отвлечении, в его абстрактной форме, в отрыве от его смысла, как пустой звук, — убивают и теряют свой предмет. И подобно этому обстоит у нас, у врачей. *Все живет в контексте* этого индивидуального, Богом созданного, органически-художественного сцепления, в живом контексте *этой* человеческой личности, с ее индивидуальным наследственным бременем, с ее субъективным прошлым, настоящим и органическим окружением. Сравнительная анатомия учит нас построять в синтетическом созерцании — по *одной* кости весь организм. Врачебный диагноз требует от нас, чтобы мы по одному верно наблюденному симптому, — ощупью и чутьем, исследуя и созерцая, постепенно, — построяли всю индивидуальную систему дыхания, питания, кровообращения, рефлексов, внутренней секреции, нервного тонуса и повседневной жизни нашего пациента. Это органическое созерцание мы должны все время достраивать и исправлять на ходу всевозможными приемами: испытующими вопросами, которые ставятся мимоходом, без особого подчеркивания и отнюдь не пугают больного; молчаливыми наблюдениями за его с виду незначительными проявлениями, движениями и высказываниями; молчаливыми прогнозами, о которых больной не должен подозревать; осмыслением его походки; анализом его крови и других выделений т. д. Все это невозможно без вчувствования, и вчувствование невозможно без любви. Все это доступно только художественному созерцанию. И практикующий врач поистине может быть сопоставлен с «идиографическим» историком, исследующим одно-единствен-

ное в своем роде и его особенно заинтересовавшее «историческое явление».

Человек, вообще говоря, становится «тем», что он *ежедневно* делает или чего не делает. Пусть он только попробует прекратить необходимое ему движение или целительный сон — и из этих упущенных им «невесомостей» каждого дня у него скоро возникнет болезнь. Напротив, если он ежедневно хотя бы понемногу будет грести веслами или если он научится засыпать хотя бы на пять минут среди повседневной суеты, то он скоро приобретет себе при помощи этих ежедневных оздоровляющих упражнений некий запас здоровья.

Поэтому здоровая, гигиеничная «программа дня», могущая постепенно восстановить утраченное равновесие организма, обещает каждому из нас исцеление и здоровье. Настоящее врачевание не просто старается *устранить* лекарствами известные неприятные и болезненные симптомы, нет, оно *побуждает организм, чтобы он сам преодолел эти симптомы и больше не воспроизводил их.* И точно так же дело не только в том, чтобы отвести смертельную опасность, но в том, чтобы выработать *индивидуально верный образ жизни* и научить пациента *наслаждаться им.* Эти слова точно передают главную мысль: настоящее «лекарство» — не горько, а сладостно; оно изобретается врачом для данного пациента, в особицу, и притом изобретается совместно с пациентом; оно должно вызвать у пациента жажду жизни, дать ему жизнерадостность и поднять на высоту его творческие силы. Здоровье есть равновесие и наслаждение. Лечение есть путь, ведущий от страдания к радости.

Есть поговорка: «Подбирай не Сеньку по шапке, а шапку по Сеньке». Это верно и для всякой одежды и обуви. Это применимо и к лекарствам, и к образу жизни. Нет всеисцеляющих средств; «панацея» есть вредная иллюзия. Нет такого «впрыскивания» и нет такого образа жизни, которые были бы всем на пользу. Если врач изобретает новое средство или новый образ жизни (напр., режим Кнейпа или вегетарианство) и начинает применять его у всех пациентов, — настаивая, экспериментируя, внушая и триумфируя, — то он поступает нелепо и вредно. Я называю такое лечение «прокрустовым врачеванием», памятуя о легендар-

ном разбойнике, укладывавшем всех людей на одну и ту же кровать: длинному человеку он обрубал «излишки», короткого он вытягивал до «нужной» мерки. Такие врачи всегда встречались; они попадаются и теперь. Такой врач «любит» тех пациентов, которым его новое средство «помогает», — ибо они угождают его тщеславию и доходолюбию; а к тем, которым его мнимая «панацея» не помогает, он относится холодно, грубо или даже враждебно.

Утверждая все это, я совсем не отрекаюсь от всех наших лабораторий, анализов, просвечивании, рентгеновских снимков, от наших измерений и подсчетов. Но все эти арифметические и механические подсобные средства нашей практики получают свое настоящее значение от верного применения: все это только начальные буквы нашего врачебного текста; это естественнонаучная азбука наших диагнозов, но отнюдь еще не самый диагноз. Диагноз осуществляется в живом художественно-любовном созерцании страдающего брата; и врачебная практика есть индивидуально примененное исследование, отыскивающее тот путь, который восстановил бы в нем утраченное им органическое равновесие.

Но это еще не все. Горе тому из нас, кто упустит в лечении *духовную проблематику* своего пациента и не сумеет считаться с нею! Врач и пациент суть духовные существа, которые должны совместно направить судьбу страдающего духовного человека. Только при таком понимании они найдут верную дорогу. Человек не гриб и не лягушка: энергия его телесного организма, его «соматического Я», дана ему для того, чтобы он тратил и сжигал его вещественные запасы в *духовной работе*. И вот есть люди, которые сжигают *слишком много* своей энергии и своих веществ в духовной работе — и от этого страдают; и есть другие люди, которые пытаются истратить *весь запас* своих телесных сил и веществ *через тело*, духом же пренебрегают — и от этого терпят крушение. Есть болезни воздержания (аскеза) и болезни разнуздания (перетраты). Есть болезни пренебреженного и потому истощаемого тела; и есть болезни пренебреженного и потому немощного духа. Врач должен все это установить, взвесить и найти индивидуально-верное решение; и притом так, чтобы пациент этого не заметил. Нельзя лечить тело, не считаясь с ду-

шою и духом; но дух очень часто и знать не желает о том, что его «лечат»... Поэтому каждый из нас, врачей, должен иметь доступ ко многим тонкостям душевных болезней, всегда иметь при себе «очки» нервного врача и применять их осторожно и молчаливо...

Только на этом пути мы можем осуществить синтетическое, творчески живое диагностическое созерцание и врачевание. Только так мы постигнем страдание нашего пациента в его органической целокупности и сумеем верно облегчить его таинственную болезнь.

Милый друг! Я бы хотел вручить Вам эти отрывочные замечания как своего рода «исповедание» старого русского врача. Это не мои выдумки. Я только всю жизнь применял эти правила и теперь выговорил их. Они укоренены в традициях русской духовной и медицинской культуры и должны быть переданы по возможности новым подрастающим поколениям русских врачей. А так как я, наверное, завершу мой земной путь раньше Вас, то прошу Вас об одолжении: сохраните мое письмо и опубликуйте его после моей смерти там и тогда, когда Вы признаете это целесообразным. Но не называйте при этом моего имени, потому что, правда же, дело не в имени, а в культурной традиции русского врача. Да и времена теперь такие, что всякое неосторожно названное имя может погубить кого-нибудь».

Письмо заканчивалось дружеским приветом и полною подписью. А мне оставалось только исполнить просьбу моего старого друга, что я ныне и делаю.

13

О ПОЛИТИЧЕСКОМ УСПЕХЕ

(Забытые аксиомы)

Самые опасные предрассудки — это те, которые замалчиваются и не выговариваются. Так обстоит особенно в политике, где предрассудки цветут буйно и неискоренимо. И вот первый политический предрассудок должен быть формулирован так:

«Что такое политика — известно каждому; тут не о чем разговаривать»...

«Известно каждому»... Но откуда же это ему известно? Откуда приходит к людям верное понимание всего того *тонкого, сложного и судьбоносного*, что таит в себе политика? Что же, это правильное постижение присуще людям «от природы»? Или, может быть, оно дается им во сне? Откуда этот предрассудок, будто каждому человеку «само собой понятно» все то, что открывается только глубокому, дальнозоркому и благородному духу? Не из этого ли предрассудка вырос современный политический кризис? Недаром человечество постепенно приходит к тому убеждению, что наш век есть эпоха величайших политических неудач, известных в мировой истории. И может быть, уже пора извлечь уроки из этих неудач и подумать о новых путях, ведущих к спасению...

Было бы необычайно интересно и поучительно проследить через всю историю человечества и установить, какие данные, какие предпосылки ведут к *настоящему политическому успеху* и что надо делать, чтобы добиться в жизни такого подлинного политического успеха? В этой области человеческий опыт чрезвычайно богат и поучителен — от древности и до наших дней... *Кто*, собственно говоря, имел политический успех? Какими путями он шел к нему? Кто, наоборот, терпел крушение и почему? И в конце концов, что же такое есть «политический успех» и в чем он состоит?

Установим прежде всего, что в неопределенной и легко вырождающейся сфере «политики» отдельные люди и целые партии могут иметь *кажущийся успех*, который в действительности будет фатальным политическим *провалом*. Люди слишком часто, говоря о политике, разумеют всякие дела, хлопоты и интриги, которые помогают им *захватить государственную власть*, не останавливаясь ни перед какими подходящими средствами, фокусами, подлостями и преступлениями. Люди думают, что все, что делается *ради* государственной власти, *из-за нее, вокруг нее и от ее лица,* — что все это «политика», совершенно независимо от того, каково *содержание*, какова *цель* и какова *ценность* этих деяний. Самая коварная интрига, самое отвратительное преступление, самое гнусное правление — является с этой точки зрения «политикой», если только тут замешана государственная власть.

Так, история знает людей и партии, которые делали свою скверную и преступную политику, нисколько не заботясь и даже не помышляя об *истинных* целях и задачах государства, о политическом общении, о благе народа в целом, о судьбах нации, о родине и о ее духовной культуре. Они искали *власти*, они желали *править и повелевать*. Иногда они совсем даже не знали, что они будут делать после захвата власти. Иногда они открыто выговаривали, что они преследуют интересы одного-единственного класса и ничего не желают знать о народе в целом или об отечестве. Они бывали готовы жертвовать народом, родиной, ее свободой и культурой — во имя захвата власти и во имя классового злоупотребления ею. Иногда же они обманно прикрывались «социальною программой», с тем чтобы после захвата власти творить свои собственные желания, вожделения и интересы... История знает множество авантюристов, честолюбцев, хищников и *преступников*, овладевших государственною властью и злоупотреблявших ею. Нужно быть совсем слепым и наивным, чтобы сопричислять эти разбойничьи дела к тому, что мы называем *Политикой*.

Когда мы видим в Древней Греции в эпоху Пелопонесской войны, как люди высшего класса связуются такими обязательствами: «Клянусь, что я буду вечным врагом народа и что сделаю ему столько зла, сколько смогу» (см. у Аристотеля и Плутарха), то мы отказываемся признать это «политической деятельностью»... Когда в той же Греции властью овладевают повсюду честолюбивые, жадные и легкомысленные тираны, то это не Политика, а *гибель политики*. Когда в Милете демократы, захватив власть, забирают детей богатого сословия и бросают их под ноги быкам; а аристократы, вернувшись к власти, собирают детей бедного сословия, обмазывают их смолой и сжигают живыми (см. у Гераклита Понтийского), то это не Политика, а ряд *позорных злодеяний*.

Когда мы изучаем историю таких римских «цезарей», как Тиберий, Калигула, Нерон, Вителлий, Домициан, то мы чувствуем, что задыхаемся от отвращения ко всем их низостям и жестокостям, к их разврату и злодейству — и *нет* тех аргументов, которые заставили бы нас признать их деятельность «политической» и «государственной»: она остается *криминальной и развратной*.

Когда в Италии в XV веке воцаряются тираны, — почти в каждом городе свой, — то их злодейства можно называть «политикой» только по недоразумению. Нет того вероломства, нет той жестокости, нет того ограбления, нет того кощунства, которого бы они ни совершали; нет той противоестественности, перед которой они останавливались бы. Такие имена, как Галеаццо Мария Сфорца, Ферранте Аррагонский, Филипп Мария Висконти, Сигизмунд Малатеста, Эверсо д'Ангвиллари, должны найти себе место в истории *мировых преступников*, а не в истории Политики. Ибо политика имеет свои здоровые основы, свои благородные, духовные аксиомы — и тот, кто их попирает, причисляет сам себя к *злодеям*.

Робеспьер, Кутон и Марат были не политические деятели, а палачи. Тоталитарные деспоты и террористы наших дней позорят политику и злоупотребляют государством; им место среди параноиков, прогрессивных паралитиков и преступников, а не среди политических правителей.

И вот если такие люди «имели успех», если им удавалось захватить в государстве власть и осуществить в своей жизни торжество произвола и своекорыстия, то это означает, что они «преуспели» в своей *частной жизни*, на горе народу и стране, а сам народ переживал *эпоху бедствий и унижений*, может быть, прямую *политическую катастрофу*. С *формальной* точки зрения их житейская борьба и их карьера имела «политический» характер, потому что они добивались государственной власти и захватывали ее. Но *по существу дела* их деятельность была *антиполитической и противогосударственной*. Как авантюристы и карьеристы — они «преуспевали»; но как «политики» — они осуществляли *позорный провал*, ибо они губили свой народ в нужде, страхе и унижениях. Их «орудие» — государственный аппарат — имело политический смысл и государственное значение; но их цель попирала всякий политический смысл, и последствия их дел были государственно-разрушительны. Тот *путь*, которым они шли, казался им, а может быть, и народной массе, «политическим»; но то, что они делали, и способ их деятельности, и создаваемое ими — все это было на самом деле противогосударственно, противообщественно, праворазрушительно, антипо-

литично и гибельно: источник несправедливостей, бесчисленных страданий, ненависти, убийств, развала и разложений.

Все это означает, что *Политику нельзя рассматривать формально и расценивать по внешней видимости.* Она не есть дикая скачка авантюристов; она не есть погоня преступников за властью. Есть основное и общее правило, согласно которому никакая человеческая деятельность не определяется теми *средствами* или *орудиями*, которые она пускает в ход, — ни медицина, ни искусство, ни хозяйство, ни политика. Все определяется и решается тою высшею и предметною жизненной *целью,* которой призваны служить эти средства. Государственная власть есть лишь средство и орудие, призванное служить некой высшей цели; — и не более того. Дело определяется тем великим, содержательным заданием, которому государственная власть призвана служить и *в действительности служит.* Политика не есть пустая «форма» или внешний способ; она зависит от цели и задания, так что цель определяет и *форму власти,* и способ ее осуществления. Политика есть сразу: и *содержание* и форма. И поэтому истинный *политический успех* состоит не в том, чтобы завладеть государственной властью, но в том, чтобы *верно ее построить и направить ее к верной и высокой цели.*

Итак, надо различать *истинный политический успех и мнимый.* Частный, личный жизненный «успех» тирана есть *мнимый* успех. *Истинный* успех есть публичный успех и расцвет народной жизни. И если кто-нибудь удовлетворяется устройством своей личной карьеры и пренебрегает благополучием народа и расцветом его национальной жизни, то он является *предателем своего народа и государственным преступником.*

Итак, что же есть *истинная политика?*

Политика есть прежде всего *служение,* — не «карьера», не личный жизненный путь, не удовлетворение тщеславия, честолюбия и властолюбия. Кто этого не понимает или не приемлет, тот не способен к истинной политике: он может только извратить ее, опошлить и сделать из нее карикатуру или преступление. И пусть не говорят нам, что «большинство» современных политиков смотрит на

дело «иначе»: если это так, то все беды, опасности и гнусности современной «политики» объясняются именно этим.

Служение предполагает в человеке *повышенное чувство ответственности* и способность *забывать о своем личном «успехе-неуспехе»* перед лицом Дела.

Истинное Политическое служение имеет в виду не отдельные группы и не самостоятельные классы, но *весь народ в целом*. Политика по существу своему не раскалывает людей и не разжигает их страсти, чтобы бросить их друг на друга; напротив, она *объединяет людей* на том, что *им всем обще*. Народная жизнь *органична*: каждая часть нуждается в остальных и служит им; ни одна часть не может и не смеет подавлять остальные, используя их безответственно. Каждый из нас заинтересован самым реальным образом в благополучии каждого из своих сограждан; один бедствующий без помощи — ставит всех в положение черствых предателей; один нищий есть угроза всем; один заболевший чумою заразит всех; и каждый сумасшедший, каждый запойный пьяница, каждый морфинист есть общая опасность. Поэтому истинная политика утверждает *органическую солидарность всех со всеми*. И поэтому истинный политический успех доступен только тому, кто живет *органическим созерцанием и мышлением*.

Такая программа *всеобщей органической солидарности* ясна далеко не всем, и чем более человек духовно близорук и своекорыстен, тем менее она ему доступна. История знает бесчисленное множество живых примеров того, что массы совсем не желали настоящей политики и соответствующей ей программы, а валили за антиполитическими и противогосударственными предложениями демагогов. В XIX веке такую разрушительную практику, такой *политический разврат* формулировал и провозгласил Карл Маркс с его классовой партией и программой...

Но мудрые и верные отнюдь не должны соблазняться этим: они должны блюсти *свое* понимание и *свою* программу даже тогда, если это грозит им изоляцией и преследованиями. Надо иметь достаточно *гражданского мужества*, чтобы справиться и с изоляцией, чтобы принять и преследование, иными словами, чтобы примириться со своим *личным политическим неуспехом*. Надо быть уверенным, что придет иное время, придут иные, отрезвленные

и умудренные поколения, которые признают этот кажущийся политический «провал» *за истинный политический успех* и найдут настоящие верные слова для осуждения политического разврата.

Но если настоящий политик встретит сочувствие у своих современников, тогда он должен повести борьбу и попытаться увлечь на верный путь широкие круги народа. Ибо *политика есть искусство объединять людей,* — приводит к одному знаменателю многоголовые и разнообразные желания. Здесь дело не в том, чтобы люди «сговорились друг с другом на чем угодно», ибо они могут согласиться и на антиполитической программе и на противогосударственных основах: сговариваются ведь и разбойники, и экспроприаторы, и террористы, и детопокупатели... Нужно *политическое* единение, политическое и по форме, и по содержанию: лояльное, правовое, свободное по форме и общенародное, справедливое, органическое и зиждущее по содержанию. И в этом состоит задача истинной политики.

Поэтому политика есть *волевое искусство:* — искусство *социального воления.* Надо организовать и верно выразить *единую всенародную волю,* и притом так, чтобы это единение не растратило по дороге *силу* совокупного решения. Ибо история знает множество примеров, где «единение» с виду удавалось, но на самом деле уже не имело за собою *реальной волевой силы*: попутно делалось так много «нежелательных уступок», заключались направо и налево такие неискренние, лукавые «компромиссы», что люди охладевали и только притворялись «согласными»; на самом же деле никто уже не хотел — ни единения, ни его программы, и когда начиналось строительство, то все рушилось, как карточный дом. Вот почему политика есть искусство *совместного и решительного* воления: безвольная политика есть недоразумение или предательство, всегда источник разочарования и бедствий.

Отсюда вытекает, что политика нуждается в *свободной и необманной* (искренней) воле. Истинное единение покоится на *добровольном согласии*: люди должны объединяться не по принуждению, не из страха, не по лукавству и не для взаимного обмана. Чем меньше интриги в политике, тем она здоровее, глубже и продуктивнее. Комплот

обманщиков, провокаторов, диверсантов, словом, людей бесчестных и безответственных никогда не создаст ни здорового государства, ни верной политики. Чем больше в политике конспирации, тем больше в ней лжи и обмана. Чем сильнее влияние таинственной и двусмысленной закулисы, тем больше лжи, предательства и своекорыстия будет в политической атмосфере. Нельзя объединить и согласить *всех*; это не удастся никогда. Надо объединить лучших, умнейших, способных к ответственному служению, не связанных никакими закулисными «приказами» и «запретами»; а это объединение должно позвать за собой разумное большинство общества и народа. И при этом надо всегда помнить, что это «большинство» не способно *творить и создавать, созерцать и строить политику*: оно способно только *отзываться* на идею и *поддерживать* программу. Всегда все значительные и великие реформы *вынашивались инициативным меньшинством* и им же проводились в жизнь; а большинство только соглашалось, участвовало и подчинялось. Это отнюдь не означает призыва к тоталитарному строю, самому больному, извращенному и унизительному из всех политических режимов. Но это означает — призыв *не переоценивать голос массы в политике, ибо масса не живет органическим созерцанием и мышлением, доступным только лучшему меньшинству,* которое и призвано осуществлять его и вовлекать в него массу доказыванием и показыванием...

Для того чтобы создать это единение, *лучшие люди* народа (т. е. именно те, которые хотят и могут служить общей органической солидарности) должны договориться и согласиться друг с другом, крепко сомкнуть свои ряды и затем приступить к объединению народа. Если лучшие политики страны этого не сделают, то это дело будет вырвано у них *противогосударственными антиполитиками.* Это значит, что политика требует *отбора лучших людей* — прозорливых, ответственных, несущих служение, талантливых организаторов, опытных объединителей. Каждое государство призвано к *отбору лучших людей.* Народ, которому такой отбор не удается, идет навстречу смутам и бедствиям. Поэтому все то, что затрудняет, фальсифицирует или подрывает *политически-предметный отбор лучших людей*, вредит государству и губит его: всякая власто-

любивая конспирация, всякие честолюбиво-партийные интриги, всякая продажность, всякое политическое кумовство, всякая семейная протекция, всякое привлечение государственно-негодных элементов к голосованию, всякое укрывательство, всякое партийное, племенное и исповедное выдвижение негодных элементов... Кто желает *истинного политического успеха*, тот должен проводить всеми силами *предметный отбор лучших людей.*

И вот то, что этот отбор может и должен предложить народу, есть *осуществимый оптимум в пределах общей органической солидарности.* Тут немедленно возникает ряд вопросов: чего искать? какова наша цель? в чем наша всенародная солидарность? как осуществлять эту цель? какие меры необходимы? какие законы должны быть изданы? и возможно ли немедленно отыскать и осуществить «всеобщую справедливость»? В ответе на эти вопросы необходимо всегда находить и предлагать *наилучший исход из осуществимых.* Никогда не следует мечтать о *максимуме* и ставить себе *максимальные* задачи: из этого никогда ничего не выйдет, кроме *обмана, разочарования, ожесточения и демагогии.* Нужен не фантастический максимум, а наилучшее из осуществимого *(трезвый оптимизм!).*

Это означает сразу: *политика невозможна без идеала; политика должна быть трезво-реальной.* Нельзя без идеала: он должен осмысливать всякое мероприятие, пронизывать своими лучами и облагораживать всякое решение, звать издали, согревать сердца вблизи... Политика не должна брести от случая к случаю, штопать наличные дыры, осуществлять безыдейное и беспринципное торгашество, предаваться легкомысленной близорукости. Истинная политика видит ясно свой «идеал» и всегда сохраняет «идеалистический» характер.

И в то же время она должна быть *трезво-реальной.* Ее трезвый «оптимум» не должен покоиться на иллюзиях и не смеет превращаться в химеру. Но именно сюда ведет полное невежество массы и слепое доктринерство полуобразованных демагогов; и хуже всего бывает, когда такое доктринерство имеет успех у невежественной толпы и когда ему удается закрепить свою власть системой террора.

Трезвый и умный «оптимум» (наилучшая возможность! наибольшее из осуществимого!) всегда учитывает все ре-

альные возможности данного народа, данный момент времени, наличные душевные, хозяйственные, военные и дипломатические условия. Этот оптимум должен быть исторически обоснованным, почвенным, зорко-рассчитанным, — *реализуемым*. Истинная политика — сразу *идеалистична и реалистична*. Она всегда смотрит вдаль, вперед — на десятилетия или даже на столетия; она не занимается торгашеством по мелочам. И в то же время она всегда ответственна и трезва; и не считается с утопиями и противоестественными химерами. Политика без идеи оказывается мелкой, пошлой и бессильной; она всех утомляет и всем надоедает. Политика химеры есть самообман; она растрачивает силы и разочаровывает народ. Истинная же политика имеет крупные очертания, она значительна и благодетельна; и силы ее возрастают от осуществления; и в то же время она никого не обманывает, но *экономит силы и поощряет народное творчество*. Ее судит *время*; и суждение грядущих поколений всегда оправдывает ее.

Для того чтобы осуществить в жизни этот возможный «оптимум», политика нуждается в возможно-лучшем *государственном устройстве* и возможно-лучшем замещении *правительственных мест*.

Государство есть *властная* организация; но оно есть в то же время еще и *организация свободы*. Эти два требования, как две координаты, определяют его задачи и его границы. Если не удается организация власти, то все распадается в беспорядке, все разлагается в анархии, — и государство исчезает в *хаосе*. Но если государство пренебрегает свободой и перестает служить ей, то начинаются судороги принуждения, насилия и террора, — и государство превращается в великую *каторжную тюрьму*. Верное разрешение задачи состоит в том, чтобы государство *почерпало свою силу из свободы и пользовалось своей силой для поддержания свободы*. Иными словами, граждане должны видеть в своей свободе *духовную силу*, беречь ее и возводить свою духовную свободу и силу к государственной власти. *Свобода граждан должна быть верным и могучим источником государственной власти*.

Власть призвана повелевать и, если нужно, принуждать, судить и наказывать. В государстве никогда не должна иссякать *импонирующая воля*; сила его императива

должна быть всегда способна *настоять* на своем и вызвать повиновение. Но это господство должно непременно обеспечивать гражданам свободу, уважать ее и блюсти ее. Внешняя деятельность государства (устройство порядка, взыскание налогов, законодательство, суд, администрация, организация армии) не есть нечто самостоятельное и не может держаться как чисто внешний процесс, как дело «погонщика». Если вся эта деятельность становится чисто внешним делом (вынуждения, выжимания, проталкивания, приговаривания, наказывания, «окрики» и казни), — чем-то механическим, нажимом и прижимом, взывающим не к сердцу и духу, а к страху и голоду (как в тоталитарных государствах), — то государство рано или поздно терпит крушение и разлагается. Ибо на самом деле государственная жизнь есть *выражение внутренних процессов, совершающихся в народной душе*, — инстинктивных влечений, мотиваций, волевых решений, импонирования, самовменения, повиновения, дисциплины, уважения и патриотической любви. Государство и политика *живут правосознанием народа и почерпают свою силу и свой успех именно в нем.* И здесь важно, с одной стороны, *правосознание лучших людей*, с другой стороны, *правосознание массы*, ее среднего уровня. Держится правосознание — и государство живет; разлагается, мутится, слабеет правосознание — и государство распадается и гибнет. Правосознание же состоит по существу своему в *свободной лояльности.*

Вот почему всякая истинная политика призвана *к воспитанию и организации национального правосознания.* Это воспитание должно совершаться *в* свободной лояльности (не в запугивающем рабстве!) и приучать граждан *к* свободной лояльности, т. е. к добровольному блюдению права. Поэтому настоящий и мудрый политик должен заботиться о том, чтобы государственное устройство и состав правительства были *приемлемы* для национального правосознания и действительно вызывали в нем — и сочувствие, и готовность к содействию. Так, если народное правосознание мыслит и чувствует авторитарно, то демократический строй ему просто не удастся. Напротив, правосознание с индивидуалистическим и свободным укладом не вынесет тирании. Нелепо навязывать монархи-

ческий строй народу, живущему республиканским правосознанием; глупо и гибельно вовлекать народ с монархическим правосознанием в республику, которая ему чужда и неестественна. Государственное устройство и правление суть «функции» *внутренней жизни* народа, ее выражения, ее проявления, ее порождения: они суть функции его правосознания, т. е. его духовного уклада во всем его исторически возникшем своеобразии.

Всякий истинный политик знает, что государственная власть живет свободным правосознанием граждан; поэтому она должна давать этой свободе простор для здорового дыхания и выражать эту свободу в жизни. А народ призван заполнять свою свободу лояльностью и видеть в правительстве — *свое* правительство, ограждающее его свободу и творчески поддерживаемое народом. Поэтому истинная государственная власть призвана не только «вязать», но и освобождать; и не только освобождать, но и приучать граждан к добровольному самообязыванию. Власть «вяжет», чтобы обеспечивать людям свободу; она освобождает, чтобы люди учились добровольному подчинению и единению.

Однако государственная власть отнюдь не призвана к тому, чтобы *развязывать* в *народе злые силы.* Горе народу, если возникнет такая власть, — все равно, будет ли она освобождать зло по глупости или в силу порочности. Свобода не есть разнуздание злых и право на злые дела. Отрицательные силы должны обуздываться и обезвреживаться; иначе они злоупотребят свободой, скомпрометируют ее и погубят. Зло должно быть связано для того, чтобы добро было свободно и безбоязненно развертывало свои силы. Поэтому истинная политика *властно связует и упорядочивает жизнь, чтобы тем освобождать и поощрять лучшие силы народа.*

Но и связанные силы зла не должны гибнуть. Истинная политика мудра, осторожна и экономит силы народа. Поэтому ей присуще искусство — щадить отрицательные силы и волевые их заряды и находить для них положительное применение, указуя злому, завистнику, разрушителю, преступнику, разбойнику, бунтовщику и предателю возможность одуматься и приняться за положительный труд...

Такова сущность истинной политики. Таков путь, ведущий к истинному политическому успеху.

Политика есть *искусство свободы*, воспитание самостоятельно творящего субъекта права. Государство, презирающее свободную человеческую личность, подавляющее ее и исключающее ее, есть тоталитарное государство, учреждение нелепое, противоестественное и преступное; оно заслуживает того, чтобы распасться и погибнуть.

Политика есть *искусство права*, т. е. умение создавать ясную, жизненную и гибкую правовую норму. Государство, издающее законы темные и непонятные, несправедливые и двусмысленные, нежизненные, педантичные и мертвые, подрывает в народе доверие к праву и лояльность, развязывает произвол и подкупность в правителях и судьях и само подрывает свою прочность.

Политика есть *искусство справедливости*, т. е. умение вчувствоваться в личное своеобразие людей, умение беречь индивидуального человека. Государство, несущее всем несправедливое уравнение, не умеющее видеть своеобразие (т. е. естественное неравенство!) живых людей и потому попирающее живую справедливость, — накопляет в народе те отрицательные заряды, которые однажды взорвут и погубят его.

Такова сущность истинной политики. Она творится через государственную власть и потому должна держать это орудие в *чистоте*; государственная власть, став *бесчестной, свирепой и жадной*, заслуживает свержения и позорной гибели. Политика дает человеку власть, но не для злоупотребления и не для произвола; грязный человек, злоупотребляющий своею властью и произволяющий, является преступником перед народом. Напротив, истинный политик переживает свое властное полномочие как *служение*, как *обязательство*, как *бремя* и стремится постигнуть и усвоить *искусство властвования*. И пока его искусство не справилось и не нашло творчески верное разрешение задачи, и пока он сам не освобожден от своего обязательства, он должен нести бремя своего служения, — ответственно и мужественно, — хотя бы дело шло о его личной жизни и смерти. Государственная власть есть не легкая комедия и не маскарад, где снимают маску, когда захочется. Нет, ей присуща трагическая черта; она каж-

дую минуту может превратиться в трагедию, которая захватит и личную жизнь властителя, и общую жизнь народа. Поэтому истинный политик *обязан рисковать своею жизнью*, подобно солдату в сражении; и именно поэтому люди робкие и трусливые не призваны к политике.

И вот *истинный политический успех* доступен только тому, кто берется за дело с *ответственностью и любовью.*

Нет ничего более жалкого, как *бессовестный и безответственный* политик: это человек, который желает фигурировать, но не желает отдаться целиком своему призванию; — который в своей деятельности всегда не на высоте; — который не умеет расплачиваться своею земною личностью; — который бежит от своей собственной тени. Это трус по призванию, который *не может иметь политического успеха.*

И нет ничего более опасного и вредного, как политик, *лишенный сердца*: это человек, который лишен главного органа духовной жизни; — который не любит ни своего ближнего, ни своего отечества; — который не знает верности, этого выражения любви, но способен к ежеминутному предательству; — который с самого начала уже предает всякое свое начинание; — который не имеет ни одного Божьего луча для управляемой им страны; — циник по призванию, который *может иметь «успех» в личной карьере, но никогда не будет иметь истинного политического успеха.* Вокруг его имени может подняться исторический шум, который глупцы и злодеи будут принимать за «славу». Вокруг него могут пролиться потоки крови; от него могут произойти катастрофические бедствия и страдания; но *творческих путей он не найдет для своего народа.*

История знает таких тиранов; но никаких Неронов, никаких Цезарей Борджиа, никаких Маратов не чествовали так, как их чествуют ныне при жизни и по смерти. Современные люди утратили живое чувство добра и зла; они принимают извращения за достижения, низкую интригу за проявление ума, свирепость за героическую волю, противоестественную утопию за великую мировую «программу». Наши современники забыли драгоценные аксиомы политики, права, власти и государства. Они «отменили» дьявола, чтобы предаться ему и поклониться ему...

И величайший, позорнейший провал мировой истории (русскую революцию) они переживают как величайший политический успех.

Но час недалек и близится отрезвление.

14

ЧТО ЕСТЬ ФИЛОСОФИЯ?

Если русская философия хочет еще сказать что-нибудь значительное, верное и глубокое русскому народу и человечеству вообще, — после всех пережитых блужданий и крушений, — то она должна прежде всего спросить себя, в чем ее призвание, с каким предметом она имеет дело и каков ее верный путь (метод)? Она должна возжелать ясности, честности и жизненности. Она должна стать убедительным и драгоценным *исследованием духа и духовности.* Если же она не одумается, не перестанет подражать иностранным, и в особенности германским, образцам и не попытается начать *свое русское национальное дело* сначала, из глубины русского национального духовного опыта, то она скоро окажется мертвым и ненужным грузом в истории русской культуры...

И прежде всего русские философские мыслители должны отказаться от намеренного выдумывания «философских систем». Философ вообще не обязан выдумывать и преподавать какую-то «систему». Это чисто немецкий предрассудок, от которого давно пора освободиться. Эта задача принадлежит к *мнимым* задачам культуры, и не следует воображать, будто она «сама собой подразумевается»... Одно из двух: или философия есть произведение личной фантазии, развивающее субъективную точку зрения; тогда она *не обязана* брать на себя задачу — создавать законченно-закругленную и внутренно-непротиворечивую «систему»; напротив, каждый получает право фантазировать, следуя своей способности и склонности. Или же философия есть *предметно-связанное исследование с предметно-обоснованными выводами*, и тогда она совсем *не имеет права* навязывать себе систематическую стройность и логическую непротиворечивость; тогда каждый философствующий обязан неуклонно и неутомимо испытывать

исследуемый предмет и так описывать, излагать, изображать его, как он есть в *действительности*. В самом деле, откуда мы могли бы знать с самого начала, что предмет, который мы всю жизнь испытываем и исследуем, — сам по себе *систематичен* и живет по законам *нашей человеческой логики?* Кто дал нам право выдавать максимальные требования нашего рассудочного рационализма за законы бытия самого предмета? Откуда эта уверенность, что предмет философии действительно живет и действует так, как мы этого напрасно добиваемся от нашего рационалистического миросозерцания? Возможно и вероятно, что предмет философии разумен, но он может быть разумен такой Разумностью, по сравнению с которой наша обычная «разумность» есть сплошное неразумие... И правда, сущее бытие предмета не обязано повиноваться нашему рассудочному мышлению... Наоборот, помысленная нами «истина» должна сообразоваться с «истинным бытием предмета», а не обратно; а это «истинное бытие» бесконечно глубже, живее, обширнее и богаче, чем выдумываемые нами «системочки». Смешно думать, что шапка захочет определять форму головы по своему размеру... Что за притязательность — предуказывать духовному предмету формы человеческого ума!..

Итак, философ совсем не призван «выдумывать систему». Достаточно, если он сделает все возможное, чтобы *предметно созерцать и мыслить*. А систематический строй он должен спокойно предоставить самому предмету: если его предмет в самом деле есть «система», то его философия верно передаст и изобразит ее; но если предмет есть бессвязная совокупность, то это обнаружится и в его предметной философии. Исследующий философ не смеет повелевать предмету; он не смеет и искажать его в своем изображении. Философ, воображающий себя «бухгалтером», наводящим порядок, или унтер-офицером, выстраивающим шеренгу понятий, — смешон и жалок. Он не смеет предвосхищать и предопределять тот Божий дар, который дается ему для исследования, будь то «мир», или «природа», или «история», или «дух», или «искусство»... Он не может «указывать» своему предмету; ему не дано «знать заранее», или «знать лучше»; он не призван починять разрывы или несогласованности предмета своими

рационалистическими выдумками. Сколько искажений было внесено в философские исследования такими притязательными затеями! Как много произвольных «определений» и пустых «конструкций» возникло из этого!..

Поэтому русские философы, желающие сказать свое верное и веское исследовательское слово, должны отделаться от навязчивой идеи «философской системы». Надо честно, ответственно и предметно исследовать, а не выдумывать и не «конструировать». Надо осуществлять и совершенствовать философский *опыт* и философское *созерцание*, а не создавать в дедуктивном порядке выдуманное отвлеченное «здание». В философии действует, как и во всех областях знания, *закон исследования*: самое легкое, самое непроизводительное и наиболее импонирующее множеству обывателей есть дедукция (выведение системы из общего логического понятия или закона); самое трудное, самое скромное и творчески-значительное, что делает человека настоящим исследователем, есть *созерцающая индукция* (опытное описание предмета в его единичных обнаружениях). Философ призван переживать свой предмет в его объективной реальности, проверять пережитые им содержания, описывать их и показывать другим людям. При этом он остается исследователем совершенно независимо от того, излагает ли он свои познанные содержания в терминах профессиональной философии со множеством «цитат» и «примечаний» или в простом облачении повседневных слов, не затрудняя читателя импонирующим «подвалом» примечаний, подчеркивающих «богатые познания» мелким шрифтом («петитом»).

Вопрос о том, есть ли философия — *наука*, не стоит разрешать ни в положительном, ни в отрицательном смысле. Если она есть наука, — а она *может быть* наукой, — то это наука, требующая от человека особого *духовно-религиозного* опыта и особого описательного *художества*. Но нам достаточно здесь установить, что философ поступает правильно и умно, если он рассматривает свою работу как *исследование* и тем самым принимает на себя *ответственность* исследователя, *волю к предметности и бремя доказательства*. Пусть он только не заботится о том, что из этого выйдет: «монизм», «дуализм» или «плюрализм»,

«реализм» или «идеализм», «рационализм» или «интуитивизм»... Об этом впоследствии будут вкривь и вкось судить и объявлять его критики, его историки или составители надгробных речей... хотя будет еще лучше, если они об этом помолчат... ибо дело не в этом, а в *предметной верности* его исследований. Пусть он только требует от себя исследовательской честности и точности и пусть помнит свою духовную ответственность перед Всевышним и перед своим народом...

Это означает, что есть особый *философский опыт* и что этот опыт надо понять и усвоить, а затем осуществлять его, укреплять его и культивировать. Что же это за опыт и какими силами человека он осуществляется?

Указать эти силы, значит определить «строение философского акта», т. е. установить, что именно человек должен внутренно делать с данными ему от природы способностями.

Строение философского акта не однородно в разных областях философии; напротив, философский исследователь должен с самого начала примириться с тем, что ему придется применять силы и способности своего существа в разнообразных сочетаниях и приспособлять их с гибкостью и чуткостью — сообразуясь с требованием самого предмета. А предмет философии дается ему в своеобразных и различных обличиях.

Философу всюду дается его предмет, где у него есть ощущение, что его касается Божий луч, требующий от него восприятия и познания. «Эвристически», т. е. в деле *искания и нахождения*, это ощущение должно руководить им, несмотря на то что в дальнейшем испытании и исследовании может оказаться, что это ощущение было лишь иллюзией. Однако оно может быть и совсем не иллюзией, и тогда ему удастся установить, что Божий луч в самом деле дается людям на различных путях и различным способом. Все такие подлинные явления и переживания могут быть обозначены словами «дух» или «духовность». И вот дух «дышит» в природе, в человеке, а также в том, что сам человек создает с Божией помощью. Так, например, начало «духа», — этот сущий предмет философии, — раскрывается нам в цветке, и в горной цепи. Мы переживаем его

и в состоянии очевидности, несущей нам созерцаемую истину. Оно овладевает нами в переживании истинной любви и совести. Оно открывается нам в видениях художественного искусства, создаваемого самим человеком. Мы внемлем ему, постигая свою свободу и переживая зоны правосознания и патриотизма. Оно сияет нам из источников религиозного откровения. И каждый раз оно требует от нас *опытного акта с другим строением*; и мы должны каждый раз осуществлять такой акт с чувством ответственности и с великим тщанием.

Тот, кто желает исследовать *познание истины* и установить, что есть верное знание предмета, — посвящает себя проблеме *очевидности* и приступает к теории познания; он должен осуществить и накопить обширный и разносторонний *опыт очевидности*. Человек, никогда не переживавший очевидности, не знающий, как слагается и проверяется это своеобразное переживание и как оно внутренно «выглядит», создаст в теории познания только игру мертвыми понятиями и пустые конструкции. К тому же очевидность дается человеку совсем не в одном теоретическом мышлении. Она переживается в религии иначе, чем в науке; она слагается в искусстве на других путях, чем в нравственной жизни; да и в различных науках акт очевидности имеет различное строение (напр., в логике, в математике, в химии, в астрономии, в истории, в юриспруденции, в филологии). Во всяком случае, вне этого реально пережитого и неутомимо собираемого опыта очевидности теория познания мертва и пуста. Философ, не выносивший духовной культуры и не работавший в качестве исследователя ни в одной науке, а может быть, вообще отрицающий акт очевидности (в качестве скептика, агностика или нигилиста), — неприемлем и невыносим в качестве гносеолога (т. е. теоретика познания), сколько бы тысяч страниц он ни прочел, ни написал и ни напечатал на традиционном, профессиональном жаргоне отвлеченной мысли. Ибо акт очевидности требует от исследователя *дара созерцания,* и притом *многообразного созерцания, способности к «чувствованию, глубокого чувства ответственности, искусства творческого сомнения вопрошания, упорной воли к окончательному удостоверению и живой любви к предмету.*

Итак, философ должен воспитать себя к *духовной очевидности.*

Подобно этому, тот, кто желает в качестве исследователя обратиться к *нравственности, добродетели и добру*, должен прежде всего углубить и расширить свой нравственный *опыт*. Нравственность не может быть ни постигнута, ни изображена в отвлеченных построениях и спекуляциях; здесь дело совсем не сводится к теоретическим соображениям и определениям понятий. «Нравственное» должно быть реально пережито исследователем. Философ, рассуждающий о любви, о радости, о добродетели, о долге, о добре и зле, о силе воли, о свободе воли, о характере и других подобных предметах по чужим книгам или понаслышке, не познает ничего, он только воображает что-то о каких-то духовных «окаменелостях» или «мумиях».

Нравственный опыт требует всего человека: он нуждается в его любви, в его страстях, в его решениях и деяниях. Человек должен отдать этому опыту всю свою личность — свою жизненную силу, свой жизненный успех, свою судьбу. Он должен предстать пред своей совестью; он должен предаться ей и деятельно зажить из нее; осуществляя эти деяния, он должен увидеть перед собой угрозу для жизни, взглянуть в глаза смерти и преодолеть свой страх смерти. Нравственный опыт не дается тому, кто сидит неподвижно в своей комнате, кто предается праздным фантазиям, кто является «дезертиром» своего призвания и своего долга. Кто хочет написать «этику», тот должен иметь за собою живой опыт любви, борьбы и страданий; он должен знать, что значит отчаиваться и в отчаянии молиться и, еще, что значит иметь жизненный успех и в успехе соблюдать скромность и смирение. Он должен пережить в собственном опыте дивную, сковывающую и освобождающую, укореняющую и очистительную силу *совестного акта*; он должен знать, что совестный человек рискует всем, идет на смерть и если бывает спасен, то сам изумляется этому больше всех. Только тому, кто переживает это все и другое, связанное с этим, — только ему откроется нравственное измерение вещей и людей, только он поймет «предмет этики».

Итак, философ должен воспитать себя к *акту совести.*

Согласно этому, исследователь, посвящающий себя философии искусства, должен приобрести в этой сфере обширный и глубокий опыт созерцания. Здесь особенно важно пробиться через чувственно-формальную кору внешнего эстетического явления, открыть себе доступ к органической сопринадлежности зрелых образов искусства и убедиться в том, что субъективный вкус отнюдь не есть последнее слово в оценке произведений искусства. При этом очень важно, чтобы философ сам каким-нибудь способом участвовал в художественном творчестве: его опыт получит совсем иной вид и иное значение, если он попытается самостоятельно пережить процесс «замысла», вынашивания, борьбы за идею предмета, облечения ее в ткань образов и обретения художественной формы, ибо тогда он будет созерцать искусство не только «извне», но и «изнутри». *Сноб,* рассматривающий искусство формально, никогда не станет *философом искусства*; холодное наблюдение и погоня за возбуждающим, дразнящим, угодливым, популярным, невиданным никогда не заменит художественного опыта. Искусство есть возвышенное служение человеческому духу и чистая радость Божественному. Поэтому исследование искусства, осуществляемое философом, предполагает долгую аскетическую работу над своим собственным вкусом, который должен быть облагорожен; он предполагает, далее, чуткое религиозное сердце и целую культуру вчувствования и созерцающей мысли.

Итак, философ должен воспитать себя *к художественному созерцанию и опыту.*

Это приобретает особое значение в области *религиозной философии.* Здесь исследователь должен выносить настоящий религиозный опыт, живое религиозное созерцание, которое позволит ему вчувствоваться в каждый чужой религиозный опыт, как подлинный, так и мнимый, сопережить его и проверить. Неверующий исследователь, лишенный религиозности, соберет в лучшем случае, наподобие Вильяма Джемса, мертвую коллекцию чужих переживаний. Зато фанатически верующий человек, склонный к религиозной исключительности, нетерпимый и презрительный, поступит правильно, если он ограничится дедуктивным веро-

исповедным богословием и оставит в покое до неизмеримости обширное поле чужих («ложных») религиозных учений. Ибо исследователь в области философии религии нуждается в особом созерцании чужих (особенно ложных и извращенных) религиозных воззрений: это созерцание должно быть терпимым, способным к вчувствованию, психологически гибким и спокойно-мудрым, ибо только тогда оно откроет ему доступ в те сокровенные глубины, где у людей зарождаются религиозные воззрения, и к тому дивному многообразию, в котором человечество воспринимает и преломляет даруемые ему Божий лучи. Не может исследовать световые и красочные оттенки человек, не видящий цвета; что он скажет об их необычайном, не имеющем на человеческом языке названий богатстве, если он сам воспринимает только один-единственный цвет, а остальные оттенки отвергает как «ложные»? Сердце Божие больше и шире, чем вероисповедное учение, ибо оно не только терпит иные исповедания, но еще и ведает, что единое-истинное исповедание *не всем народам по силам* и что скудному духу лучше иметь хоть какое-нибудь Богосозерцание, чем никакого... Вот почему философия религии требует *терпимости, чуткости и сердца.*

И конечно, прежде всего — самостоятельного и подлинного *религиозного опыта.*

Понятно, наконец, что и философ права должен найти свой особый опыт и предмет и вступить с ним в непосредственное исследовательское общение; а для этого он должен выносить верный опытный акт и систематически осуществлять его. Этот акт можно было бы обозначить как здоровое и нормальное *правосознание.* Сущность этого акта и его возникновение могут быть описаны так. Каждому человеку присущ *инстинкт самосохранения* со всеми его страстями и притязаниями, инстинкт неискоренимый и жизненно необходимый. Но притязания его должны иметь свой предел и признавать его. Этот предел ставит им *личный дух* человека, важнейшая и драгоценная сила человеческой личности, придающая смысл и указующая цель нашей жизни. И вот инстинкт призван не враждовать с духом, а принимать его закон и добровольно подчиняться ему. В зрелом виде душа человека и обнаруживает

добровольную законопослушность, или, что то же, *«автономную волю к свободной лояльности»*. Эта воля и есть живая основа правосознания. Таким образом, в жизни свободного правосознания участвуют *все* силы человеческого существа: творческий инстинкт, любовь и уважение к ближним, любовь к родине, созерцание, испытующее духовные глубины, лояльная воля и формулирующая мысль; все это — в жизненном и жизнеустрояющем сплетении и притом укорененное в духе, который всегда и во всем требует от человека самого лучшего. Три великие аксиомы лежат в основе здорового правосознания: чувство собственного духовного достоинства, способность свободного человека к самоуправлению и взаимное уважение и доверие людей друг к другу. На этих основах и будет построено правосознание грядущей России.

Ясно, что и философия права невозможна без *предметного правового опыта.*

Итак, в общем и целом, так же как и во всех своих ответвлениях, философия есть наука, вырастающая из духовного опыта. И первая задача ее состоит в том, чтобы растить и крепить свой опытный акт. Однажды Сократ поставил древнему миру вопрос: изучима ли и определима ли добродетель? Этот вопрос сохраняет и ныне все свое значение, и притом для *всей* философии. И ответ, который он имел в виду и который он пытался вложить своим слушателям в сердце, имел такое же значение, как и самый вопрос: человек сможет лишь постольку исследовать сущность добродетели, поскольку он сам будет ею жить и ее осуществлять. В этом смысле можно было бы сказать: человек, утверждающийся в духе, является для себя мерою всех духовных «вещей». Иными словами, философ, желающий успешно исследовать свой предмет, должен реально-опытно переживать его и тем самым осуществлять его. Иначе он не может и не смеет: он должен превратить свою душу и свою жизнь в *орган своего предметного опыта.* Только ставши сам орудием духа, он сможет испытать и познать сущность духа. А это означает, что профессиональный философ обязуется постоянно и неутомимо работать над очищением своей души (катарсис).

Он должен вести всежизненную борьбу за достижение своего предмета, или, иными словами, он должен воспитать себя к тому, чтобы предмет стал ему доступен.

Так, он должен очищать и укреплять свою *очевидность*, проверять и удостоверять ее; он должен усвоить аскез силы суждения; он должен изощрить свое созерцание и придать ему точность; он должен овладеть своими страстями; придать своему восприятию гибкость, приспособимость и многообразие; он должен стремиться к законченности и добиваться окончательного.

Далее, он должен укреплять свой *совестный акт* и удостоверяться в его верности и силе, доверять ему, очищать свою душу ради него и предаваться ему. Он должен действовать в жизни *по совести и из совести*, в его лучах воспитать в себе духовный характер.

Он должен воспитывать и очищать свое *эстетическое созерцание* и свой *художественный вкус*. В каждом произведении искусства он должен научиться искать и находить его сокровенно-явленный смысл. Он должен приучать себя блюсти аскез своего эстетического суждения и до тех пор упражняться в художественном отождествлении с лучшими произведениями искусства, пока искусство не станет для него «языком богов» или, лучше сказать, Божиим иероглифом.

В *религии* он должен научиться созерцанию и молитве. Молитва даст ему духовное укоренение, а оно научит его отвергать и опровергать все аналитические, скептические, нигилистические и издевательские аргументы безбожия. Он должен пережить в своем сердце действие Божьего огня и приобрести на всю жизнь некий раскаленный угль веры. Этот угль раскроет перед ним живую сущность религии и подарит ему живой орган для понимания всех религий мира.

Наконец, он должен растить, крепить, очищать и углублять свое правосознание. Он должен поставить его в луч Божий и отыскать его последние, благороднейшие и чистые источники; а религиозность заставит его подчинить все это *воле к совершенству*. Он должен ввести свое правосознание в непосредственную жизнь, действовать из него, громко исповедовать его природу, вести за него борь-

бу и научиться толковать его интуиции и осуществлять его требования. Он должен отдать себя в его распоряжение и стать его верным орудием.

Таков настоящий путь (или «метод») философа. На этом пути обновится и расцветет будущая русская философия, и тогда она перестанет праздно умствовать и предаваться соблазнительным конструкциям. Основное правило этого пути гласит так: сначала — *быть*, потом — *действовать* и лишь затем из осуществленного бытия и из ответственного, а может быть, и опасного, и даже мучительного делания — *философствовать*.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

15
О СВОБОДЕ

Современный человек не верит ни во что и сомневается во всем — сомнением безразличным и бесплодным; и потому все, чего коснется его сомнение, теряет для него свою ценность. Так, он сомневается и в свободе; и вследствие этого он предает ее и лишается ее.

Но мы не сомневаемся в свободе и знаем достоверно и точно, почему она нам необходима: без нее *нет путей к достойной жизни, к духу и к Богу.*

Пока человек пользуется свободой, он мало думает о ней. Он дышит, живет и наслаждается ею; он непосредственно плывет в ее легком потоке. Свобода подобна воздуху: человек дышит воздухом, не думая о нем. Воздух как будто бы сам вдыхается и сам покидает нас, все время вливаясь и изливаясь. Мы вспоминаем о нем обычно лишь тогда, когда его не хватает, когда он становится тяжел или смраден, — когда человек начинает задыхаться. Тогда мы вспоминаем, иногда с мгновенно охватывающим нас ужасом, что без воздуха нельзя жить, что мы забыли о нем и не дорожили им, что он *безусловно необходим*, что начинается гибель...

Так обстоит и со свободой. Человек не может жить без нее; она, безусловно, необходима ему подобно воздуху... Почему?

Потому что человек может *любить — только свободно.* Ибо настоящая любовь — искренна и цельна, невынужденна и нелицемерна; она свободно возникает и свободно дышит... или же она не возникает совсем, и заменить ее тогда нечем... Кто любил, тот знает это по собственно-

му опыту. И потому можно с уверенностью сказать, что человек, презирающий чужую свободу и подавляющий ее, не знает, что такое любовь: у него черствое и мертвое сердце.

Только *свободно* можно *веровать и молиться.* Ибо настоящая, живая вера всегда захватывает самую последнюю глубину души, куда не проникают никакие чужие повеления и запреты, где человек *самостоятельно* созерцает, видит, любит и верует: где он свободен. Если же этого нет, то вера его неискренна и называть ее верою совсем не следует. Молитва верующего подобна глубокому вздоху, или пению сердца, или священному пламени: она вздыхает, поет и горит *сама* и предписать ее невозможно... Поэтому надо признать, что человек, подавляющий свободу веры и молитвы, — кто бы он ни был сам: безбожник или «религиозный» фанатик, — не ведает сам ни молитвы, ни веры; в нем *«нет Бога»*, и ждать от него добра — дело безнадежное.

Подобно этому *мыслить и исследовать* человек может *только свободно*, потому что настоящее мышление *самостоятельно* и всякое подлинно научное исследование *самодеятельно*; оно не терпит навязанного авторитета и не может двигаться по предписанию и запрету. Навязанный образ мысли убивает мышление, так что от него остается только словесная видимость. «Слепое исследование» есть живое противоречие, научная невозможность. Именно поэтому человек мысли признает за другими *право на глупость и на заблуждение*: ибо он бережет *свободу* как необходимое и драгоценное жилище, в котором потом однажды поселится *умная истина.* Напротив, кто насаждает рабски-подражательный трафарет, тот не понимает природу мысли; он далек и от истины и от ума.

Для того чтобы человек пережил *очевидность* и приобрел *убеждение*, ему необходима *свобода*: только свободное убеждение имеет духовную силу и жизненный вес; только оно захватывает последнюю глубину личности; только оно формирует характер человека; только оно может быть верным даже до смерти... Кто этого не разумеет, кто считает возможным навязывать людям убеждения, тот никогда не переживал очевидности и не шел дальше слепой одержимости.

Всякое *творчество* человека требует *свободы — добровольного самовложения, созерцающей инициативы, личного почина, любви и вдохновения.* Творчество возникает из внутреннего, нестесненного, таинственного побуждения, в котором участвует *сам индивидуальный инстинкт* и которым руководит *сам личный дух.* Эта личная инициатива драгоценна во всех сферах культуры — в искусстве и в хозяйстве, в науке и в политике, в воспитании и во всякой жизненной борьбе.

Всякое человеческое творчество возникает из лишений и из страдания, и всякое создание культуры есть преодоленное и оформленное страдание человека. Для того чтобы это преодоление состоялось, человек должен *сам* принять свое страдание, сам искать выхода, сам созерцать, молиться, очищать и просветлять свое сердце. Никто не может заменить его в этом: и помощь извне может прийти только в виде совета, а не в виде предписания и запрещения. Нет творчества без свободы. И тот, кто не понимает этого, тот никогда ничего не творил и не испытывал вдохновения.

Только *свободно* может человек пережить *акт совести*: раскрыть свое сердце, внять совестному зову, принять его волею и осуществить его поступком. Этот драгоценный акт не может быть ни запрещен, ни предписан. Он сразу — духовен и органически целен, таинственно глубок и инициативно-самодеятелен. Нарушить его свободу — значит попытаться лишить человека совести, а к этому способны только бессовестные люди...

Но любовь, вера и молитва, мышление и исследование, очевидность и духовный характер, творческое вдохновение и акт совести — разве это не важнейшее в жизни человека, разве не в этом смысл его земной жизни? Разве не этим творится культура? Конечно, именно этим!

Но тогда жизнь человека без свободы — *бессмысленна* или *невозможна.* Так это и есть на самом деле. Все духовное и великое возникает в жизни — таинственным образом *из себя самого и через самого себя*: таинственно загорается в существах пламя жизни, вложенное Богом; свободно разгорается оно, стремясь ввысь, к Богу. Так воспламеняется любовь; так человек молится; так творится искусство; так строится наука; так преодолеваются духовные кри-

зисы; так крепнет духовный характер человека; так совершаются героические поступки...

Это необходимо понять, в этом необходимо удостовериться раз навсегда: предписанное мышление есть мнимое мышление, есть симуляция мысли, безответственное пустословие. Вынужденная любовь есть несостоявшаяся любовь. Навязанная молитва, произносимая без участия свободного сердца, есть жалкая видимость молитвы, лицемерие, пытающееся обмануть людей и Бога. Лишенный свободы, человек духовно мертвеет и только осуществляет предписанную ему пошлость: он ведет жизнь раздвоенную, бессильную и неискреннюю; ему нельзя доверять, на него нельзя полагаться; он живет обманом и самообманом; и всю жизнь стоит накануне предательства. Или же, в лучшем случае, его здоровый инстинкт и его живой дух покидают сферу внешнего лицемерия и уходят в душевную глубину, создавая себе там катакомбную жизнь, где он блюдет свои свободные побуждения и следует голосу свободного вдохновения...

Так обстоит во *всей* человеческой жизни, не только в духовной культуре, но и в *хозяйстве*. Только свободный труд не унижает человека, и именно поэтому он продуктивен и созидателен; только невынужденное, добровольное, радостное прилежание может быть признано инстинктивно-здоровым и духовно-верным делом. Принуждение ни в чем не может заменить свободного интереса и творчества. Все подобные попытки — безнадежны, где бы они ни возникали и какие бы цели они ни преследовали.

И кто этого не знает и не понимает, тот однажды убедится в этом на собственном, вероятно мучительном, опыте; ибо всякое уклонение от законов духа и природы наказуется страданием.

Две великие опасности грозят человеческой свободе: во-первых, *недооценка свободы*, ведущая к легкомысленному *отречению от нее*; и, во-вторых, *злоупотребление свободой*, ведущее к *разочарованию* в ней и *утрате ее*.

Это может случиться с каждым человеком и с каждым народом, что он *недооценит* здоровую и благословенную свободу или же впадет в преувеличение и необузданность и *злоупотребит* ею. Тогда он потеряет ее. В этом еще нет позора; но это есть великая ошибка, которая ведет к *беде*,

а может привести и к *позору*. Тогда начинается добровольное или недобровольное порабощение, которое может длиться долго и привести к сущей, — личной или всенародной — трагедии; тогда придется пройти суровый путь — *страдания, терпения, научения и освобождения.*

Тот, кто теряет свободу вследствие легкомысленной недооценки ее, сначала, может быть, не заметит своей утраты и своего лишения; но потом начнутся унижения и лишения и ему придется страдать до тех пор, пока он не осознает, чего он лишился, и не встоскуется по свободе. Однако вернуть потерянную свободу нелегко; необходима *борьба* за нее; надо *понять* смысл полученного жизненного урока, понять неизбежность борьбы и подготовиться к ней. *Избавление* придет только тогда, когда порабощенный почувствует, что ему *свобода дороже жизни*; когда он поймет, что свободу надо ценить как воздух и что злоупотреблять ею нельзя. Тогда под гнетом принуждения вспыхнет подлинная жажда свободы; инстинктивная потребность и духовная воля соединятся для этой борьбы, и в человеке созреет способность — не только добиться свободы, но закрепить ее в *достойных* формах для *верного* жизненного наполнения...

Свобода не просто «даруется» сверху; она должна быть принята, взята и верно осуществлена снизу. Дарованная сверху, она может стать «напрасным даром»: внизу ее недооценят, неверно истолкуют и употребят во зло. Человек должен понять ее природу: ее правовую форму, ее правовые пределы, ее взаимность и совместность, ее цель и назначение; мало того, он должен созреть до того, чтобы верно осознать ее нравственные и духовные основы. Если этого не будет, то он превратит свободу в произвол, в «войну всех против всех» и в хаос. И трагедия ее утраты начнется сначала.

Свобода есть *духовный воздух* для человека; но для *недуховного* человека она может стать соблазном и опасностью. Культура без свободы есть мнимая культура, праздная видимость ее; но некультурный человек обычно воспринимает ее как *«право на разнуздание»* или как *призыв к произволу*. Народы медленно созревают к истинной свободе. И история человечества подобна бесконечному

круговороту порабощения, страдания, терпения и освобождения.

А мы, наблюдая этот трагический круговорот, не сомневаемся в свободе, ибо мы верно и точно понимаем ее духовный смысл.

16
О ДОБРОТЕ

Чтобы оценить доброту и постигнуть ее культурное значение, надо непременно самому испытать ее: надо воспринять луч *чужой* доброты и пожить в нем и надо почувствовать, как луч *моей* доброты овладевает сердцем, словом и делами моей жизни и обновляет ее. Но, может быть, еще поучительнее испытать чужую *недоброту* в ее предельном выражении — вражды, злобы, ненависти и презрения, испытать ее длительно, всесторонне, как систему жизни, как безнадежную, пожизненную атмосферу бытия. Это-то, по-видимому, и дано человечеству двадцатого века в отрезвление, умудрение и обновление... Великое счастье — испытать чужую подлинную доброту, поверить ей, довериться ей и не обмануться... Она всегда приходит «незаслуженно», «сверхсметно»; иногда на зов, иногда без зова; не по обязанности, не в силу долга, но как дар, дающийся по собственному почину, без возврата, без ответного дара и возмещения: «ни за что ни про что»... И тогда она невольно вызывает в душе вопрос: неужели вправду? неужели это возможно? неужели есть в мире и *такая* стихия? и если *есть,* то почему же мы все не участвуем в ней и не наслаждаемся ею? Ведь это — совсем *иная,* совсем *новая* жизнь, настоящая, радостная, светлая; и после нее, без нее все кажется сумеречным, печальным, ошибочным, жестким и едва выносимым... Чужая доброта — это сразу зов, и обещание, и исполнение обещанного; предчувствие чего-то большего, чему даже не сразу верится; теплота, от которой сердце согревается и приходит в ответное движение: ибо в нем сразу просыпаются — смущение, и благодарность, и любовь, и новая очевидность, удостоверяющая нас в мирообъемлющей стихии Евангельского обетования...

Человек, раз испытавший это, не может не ответить (рано или поздно, уверенно или неуверенно) *своею* добротою, своим лучом, как бы «посылаемым» в мир, «участвующим» и «связующим». И ответ этот изойдет из него тем раньше, тем увереннее и тем плодотворнее, чем меньше он будет в плену у каменеющего ожесточения и у ложного стыда.

Это есть великое счастье — почувствовать в своем сердце огонь доброты и дать ему волю в жизни. В этот миг, в эти часы человек находит в себе свое «лучшее», пение своего сердца, преображение своего инстинкта; раскрывается его последняя глубина, преодолевается его одиночество, расширяется объем его самочувствия до пределов живущего и страдающего мира. Забывается «я» и «свое»; исчезает «чужое», ибо оно становится «моим» и «мною». И для вражды и ненависти не остается места в душе.

* * *

Жизнь человечества, утратившего доброту, была бы подобна страшному, нескончаемому сновидению. Вот как эта жизнь предносилась великому греческому мыслителю Анаксимандру.

В неизмеримом мировом пространстве идет жестокая борьба; и конца ей не видно. Из «Беспредельного» — предвечного и таинственного лона всех вещей — непрестанно выделяются все новые единичные существа; и каждое из них желает *себе всего*, стремится *ко всему* и добивается *единой и исключительной власти*. Ранее, когда каждое из этих существ «почивало», растворенное в Беспредельном, когда ни одного из них «о себе» не было, они все пребывали в единстве и, не выделенные из Единого-Беспредельного, были «всем и во всем». Но потом каждое из них, просыпаясь к самостоятельной жизни (вступая в «процесс индивидуации»), выделялось и становилось отдельным существом «о себе», единичным и ограниченным, а первоначальное блаженное состояние в Беспредельном утрачивалось. Но возможно ли забыть раз испытанное блаженство? Возможно ли не желать его возвращения и восстановления?.. И вот каждое из них желает этого утраченного блаженства, добивается его *само по себе и для себя*, не

понимая, что оно доступно только Богу и достижимо только в Боге... Отсюда — эта всеобщая, безнадежная борьба.

Каждое из этих существ утверждает себя в своей единичности и ограниченности и в то же время посягает на «все» и требует себе «всего». И все мешают всем. И каждый видит вокруг себя одних врагов. И потому все предаются соперничеству и зависти; все претендуют, нападают, суетятся и кипят во вражде; все куда-то стремятся, раздраженные, озлобленные, ненавидят друг друга и радуются чужой неудаче. Никто не хочет воздержаться и уступить; каждый желает завладеть всем и «поглотить» все; и ни один не понимает, что *именно его притязание на все* исключает других, отвергает их и делает его собственную цель *неосуществимою*. Борьба ожесточается потому, что все борются за невозможное; и чем упорнее борьба, тем невозможнее достижение. И каждый буйствует до тех пор, пока не истощатся его силы, пока он не погибнет, так и не поняв своей трагической ошибки. Погибая же, он теряет свое индивидуальное обличие, перестает быть единичным и ограниченным и растворяется в Лоне Беспредельного. Только после этого все они могут обрести в Боге полноту бытия и утраченное блаженство... А в это время из общего Лона всех вещей выделяются все новые и новые существа и начинают ту же отчаянную и безысходную борьбу...

* * *

В истории человечества бывают такие периоды, когда это мрачное видение кажется верным отображением действительного мира и человеческой судьбы: эта безнадежная борьба *частей* ради завладения *целым,* это неутолимое посягательство, эта жажда власти и объема, эта упорная всеобщая вражда, эта обреченность слепоты... И тогда мы начинаем искать исхода и спасения. И верное решение проблемы не в «роковом возмездии», провозглашенном у Анаксимандра, и не в «добровольном самоугашении», проповеданном Буддою, но в любовной доброте, завещанной нам Христом Сыном Божиим.

Индивидуальное обличие дается нам не слепым роком и возникает не по нашему произволению; а возмездие за творимую неправду, сколь бы ни казалось оно «справед-

ливым», не осмысливает трагедию и не дает ей творческого разрешения. Что же касается добровольного ухода в Нирвану, в ее безгрешное и чистое блаженство, предносившееся Будде, то этот уход явился бы *отказом* от возложенного на нас жизненного бремени, от борьбы за мир и от живой любви. Даруемое нам индивидуальное обличие есть духовная миссия, а не «недоразумение», которое мы имеем право погасить; оно таит в себе некий высший смысл и творческое задание, и мы не вправе уклониться от него и искать спасения в бегстве...

Напротив, это бремя надо принять и понести. Человек должен изжить свое индивидуальное обличие в достойном и прекрасном осуществлении. А это дается только *любовной доброте.*

Человек христианской доброты не может и не хочет участвовать в этой посягающей борьбе всех против всех. Все это завистливое состязание, вся эта ненавистная суета, вся эта жадность и злоба невыносимы для него: он не «требует всего», он не видит в людях врагов и соперников, у него нет для этого ни алчности, ни самомнения, и он отходит от этого хаоса с огорчением и болью, может быть даже с отвращением... У него нет ни способности, ни потребности жить вечным отрицанием, угрожать во всех направлениях, нападать на других, лишать их всего и толкать их в погибель; или, по слову Леонардо да Винчи, «жить на счет гибели других». Ненависть угасает от живой доброты; зависть совсем и не зарождается; жажда мести не возникает. Любовь не способна наслаждаться ни коварством, ни интригой, ни насилием; она не произволяет, не посягает и не сутяжничает. Доброта ищет мира и добивается его искренним «благоволением»; а при виде всеобщей мировой вражды и свары она испытывает только горе.

Не зная, как помочь этому бедствию, этой слепоте и жадности, доброта отвертывается от них и *прислушивается к новому порядку вещей.* Она помнит утраченное блаженное единство в Боге и мечтает о нем как о Царстве Божием на земле. Оно предносится ей, — то в виде незримой духовной ткани, сокровенно объединяющей вселенную; то в виде осуществленного на земле «вечного мира»; то в виде мировой «симфонии», поющей осанну вместе с Шиллером и Бетховеном; то в образе звездного

неба, блюдущего в тишине свое дивное равновесие. Благостное сердце живет предчувствием, подобным воспоминанию, или воспоминанием, подобным пророческому обетованию: предвечное блаженство не утрачено навек, оно живет в нас в виде прозревающей надежды, ибо великое всеединство мира и людей угодно Господу, оно задано нам всем к осуществлению, и мы призваны помышлять о нем и трудиться над ним — всю жизнь, вопреки всем трудностям и видимостям.

Из этого завета и предчувствия исходит христианская доброта. Она видит и множество, и смятение, и непримиримость, и раны, и разрывы, и пропасти — и ищет для них целения. А черствость и злоба, напротив, живут этими разрывами, бередят эти раны и предаются этой непримиримости. Злые люди пребывают в ожесточении и слепоте и ничего не знают о препорученной человеку сокровенной ткани Царства Божия...

* * *

Когда мы смотрим в глаза истинно доброму человеку, мы видим струящийся из них благостный свет, приемлющий, сочувствующий и согревающий. В них нет подозрительности и суда, нет жесткости и отталкивания. В них участливый вопрос о нашем жизненном бремени и страдании. Мы видим не острый, пронзительный луч допрашивающей и требовательной души, но ласковое сияние как бы из окна родного дома. Это трогает и утешает, примиряет, успокаивает и облегчает. И мы с изумлением спрашиваем себя, как это возможно, что далекое сразу кажется близким, а чужое — родным? Как возможна любовь к незнаемому человеку? Как может столь необычайное и маловероятное осуществиться воочию?

Сердце, живущее добротою, излучает в мир через свой ласковый взор творческое и неисчерпаемое «да». Ибо доброта есть как бы открытая дверь, вечное гостеприимство, братский прием. Чувствилище доброй души открыто миру; оно готово как бы выйти из себя и уйти в другого. Добрый человек — брат всей твари. Он как бы помнит первоначальное всеобщее единство, совместное происхождение из единого всеблагого источника, от всеблагого и всемогущего Господа: он как бы чувствует в себе жизнь и обра-

щение всеединой крови мира, вопреки тому, что «естество человеческое», по слову Василия Великого, является «расторгнутым и на тысячи частей рассеченным»... Дверь, ведущая в дом его души, открыта: она ведет в тот великий Отчий Дом, где «много обителей» (Иоан. 14. 2); по-видимому, мы все пребывали в этом Лоне до совершения времен; и это Лоно обещает нам по совершении времен, избавление, приют и покой. И вот живая доброта излучает свет этого всеединого Лона, свет любви, приятия, благожелательства и духовного родства. Она уже осуществляет всеобщее воссоединение. А мы, озаренные и согретые этим светом, изумляемся, за что нам дается это утешение? Ибо мы смутно чувствуем, что мы ничем не могли «заслужить» эту доброту и эту любовь...

Такая сердечная доброта человека есть излучающаяся благость Самого Создателя, верно воспринятая и передаваемая в мир. А Божия Благодать не ищет заслуг, но изливает себя «на праведных и неправедных» (Мтф. 5. 45). И когда Божия Благодать льется через человеческое сердце, светит и согревает, тогда невыносимый раздор в человечестве начинает стихать, и ненависть опоминается, и зависть стыдится, и посягание приходит в смущение. Ибо доброта несет людям благую весть о воссоединении. Она есть дыхание утраченного блаженства. Ей дано, как солнцу, растапливать льды и, как огню, плавить камни...

Все это означает, что истинно доброе сердце живет в ткани Божией и чует свою сокровенную связь с остальным человечеством. Оно не отъединяется от этой ткани, не посягает и не враждует. Оно вчувствуется в жизнь другого, в жизнь каждого, отзывается и готово помогать. Такой человек смотрит в мир доброжелательно, ласково, сострадательно. И самый взор его есть уже благодеяние для ожесточенных; и слова его звучат как призыв вернуться на родину. И каждое существо, вступающее в поле его зрения, вызывает в нем луч благоволения, зажигает в нем огонь Божией доброты и дарит ему радость. Вот почему преподобный Серафим Саровский говорил каждому человеку: «радость моя!!»... И эти простые, но таинственные слова из райских селений были сразу излиянием личного сердца и евангельским зовом в Лоно Отца. Ибо че-

ловек человеку во Христе — не волк и не враг, а свет и радость...

Доброта есть целебный бальзам на раны мира, болеутоляющее лекарство для душевных разрывов и духовных ран. Она живет мечтой и созерцанием в блаженном первобытии, в предвечном лоне всех вещей; она как бы пророчествует о грядущем воссоединении в Боге; и бережет в земной жизни священную ткань благоволения, мира и всеединства...

Какая же культура возможна без доброты? Культура есть единый дух у многих душ; единая общая ткань у особливых, разъединенных людей; и возникает она в творческом общении одиноких созерцателей. Как же можно создать ее без доброты?..

17
О СМИРЕНИИ

Иногда у нас возникает сомнение, можно ли в самом деле требовать смирения от *всех* людей? Где взять его повседневному человеку, с головой ушедшему в борьбу за существование, с ее заботами, страхами и интригами? Разве смирение не есть добродетель избранных, прошедших путь религиозного очищения? Может быть... Но именно поэтому мы радуемся, когда замечаем в ком-нибудь искру неподдельного смирения; и у нас тотчас же слагается уверенность, что судьба послала нам жизненную встречу с *превосходным* человеком.

У смирения есть особое свойство — *повышать духовную ценность человека.*

Если мы видим перед собой какого-нибудь прославленного деятеля (в науке, в искусстве или политике) и замечаем в его манере держаться — самомнение, тщеславие или гордость, — то мы начинаем охладевать к нему, наша симпатия гаснет и ценность его умаляется в наших глазах. Это происходит не только потому, что его самопревознесение как бы принижает нас самих и что мы чувствуем себя явно пренебреженными или даже сопричисленными к «ничтожествам». Это было бы понятно: ибо это означало бы, что у нас самих не хватает смирения и

что поэтому его апломб кажется нам «невыносимым». Но гораздо важнее то обстоятельство, что его заносчивость умаляет *его* дух и снижает *его* ценность.

Это так и есть на самом деле.

Истинному величию причитается простота, доброта, легкость и скромность. И чем более у даровитого человека этих прекрасных и чарующих свойств, тем искреннее обращаются к нему сердца. Это естественно: в глубине души у всех нас живет убеждение, что «победитель» жизненных трудностей и предметов должен был прежде всего победить самого себя... А скромность и выражает эту победу.

Зато тот, кто считает себя «перлом создания», кто воображает, что осуществил «высшее» и что его творчество «совершенно», тот обнаруживает свою близорукость и ограниченность. И чем горделивее он держится, чем больше его притязание и чем навязчивее он его предъявляет, чем более он доволен собою и чем менее он смотрит *вверх и вперед*, тем сильнее наше разочарование: мы теряем уважение к нему, он уже не импонирует нам, и у нас делается такое чувство, как если бы мы натолкнулись в нем на маленького и глупого человека, который заслонил нам в нем самом умного, большого и значительного... Какое огорчение!

Напротив, от истинной скромности идет некое духовное благоухание; в ней есть что-то трогательное и пленительное. Может быть, скромный человек не достигнет так скоро «признания» и «славы», как самоуверенный человек, выступающий с апломбом, или как назойливый хвастун, над которым люди посмеиваются и все же поддаются его саморекламе: смотрят на его «фейерверк», знают, какая ему цена, и все-таки незаметно начинают считать его «выдающимся» человеком. Однако фейерверк скоро сгорает, и после него остаются только обугленные деревяшки, сажа и зола, и тут-то лучи скромного человека, с их тихим, но подлинным светом, начинают обращать на себя общее внимание.

Можно было бы сказать: выдающийся, но заносчивый человек — обнаруживает свои пределы и снижает свой рост; небольшой человек с истинным смирением — причастен духовному величию. Гордость разочаровывает

и обесценивает. Смирение пробуждает любовь, увеличивает ценность человека и возносит его духовно. Будь непритязателен и терпелив; примирись с тем, что ты пройдешь в жизни незамеченным; предоставь другим блестеть и красоваться. Твое время придет тогда, когда начнется *настоящее*, не личное, а *предметное*. Может быть, это будет *после* твоей земной смерти, когда наступит время «жатвы» и когда *каждое* зернышко будет бережно собрано и *твое* зерно будет с любовью принято. Может быть... И вот с этим надо примириться. Надо выносить в себе потребность и волю — *быть, а не казаться*; и уверенность, что «зерно бытия» больше, чем призрачное величие; — и еще крепкую заботу о том, чтобы действительно вступить в сферу *подлинного бытия, сущего перед лицом Божиим*. А остальное не существенно...

Тщеславие всегда злоупотребляет пространством человеческого общения для того, чтобы добиться в нем «успеха», «влияния» и «славы», всей этой лестной видимости, — и не думает о том, что «успех» есть почти всегда успех у *толпы*, а у толпы мало духа и еще меньше вкуса. А «влияние»... Как часто оно состоит в том, что «влияющий» прислуживается к людям, гнется во все стороны, чтобы угодить своим влияемым, и кончает тем, что сам оказывается безличным орудием чужих интересов. А «слава» прельщает только тех, кто никогда не заглядывал за ее кулисы и не догадался еще, что она составляет нередко монополию профессиональных «славоделателей». Вот почему человек, приобщившийся истинному смирению, встречает каждый свой успех желанием проверить — не покривил ли он в чем-нибудь душой для угождения толпе; и на всякое свое «влияние», как только оно обнаруживается, он отвечает повышением чувства ответственности и юмором: юмором — чтобы не впасть в тщеславие и не поверить лести; чувством ответственности — ибо ему необходима уверенность, что он вложил в свои дела *свое лучшее*. А «славу» свою он встречает с тревогою, ибо незаслуженная слава есть ложь, а заслуженная слава должна быть еще проверена смертью прославившегося... Ибо человеческий приговор — суетен; а Божий приговор произносится лишь по смерти.

Итак, тщеславие борется за призрачное, и смирение вводит в царство реальности.

Тщеславный человек совершает три ошибки: во-первых, он принимает самого себя за нечто очень «важное» в жизни; во-вторых, ему кажется, что он чрезвычайно «многого» достиг и очень многое совершил; и, в-третьих, ему хочется, чтобы эти великие «достижения» и «свершения» были повсеместно признаны и превознесены.

Преодоление тщеславия должно начаться с постижения третьей ошибки.

Надо принять во внимание, что сила суждения и компетентность, необходимые для истинного «признания», присущи лишь очень немногим людям; что на свете есть слепое и бестолковое признание, легкомысленное и безответственное восхваление, поддельный и своекорыстный восторг, продажная критика и оплаченный успех. Надо понять, что в современном обществе есть множество тайных союзов, — религиозных и национальных, политических партий, полуполитических клубов, и даже эротических союзов, — члены которых при всяких обстоятельствах поддерживают друг друга; восхваляют и выдвигают «своих» и замалчивают или поносят «чужих». Надо отдать себе отчет в том, что масса следует моде и рекламе, партийным внушениям, закулисным нашептам и очень часто верит наемной «клаке», которую в Италии называют «негодяями в желтых перчатках» («ladri in guanti gialli»). Как много людей, восхваляющих модное — по расчету, из страха перед общественным мнением или по тщеславию и снобизму. И как смутно делается на душе, когда слышишь похвалу из уст безвкусного пошляка, или нигилиста, или заведомого лжеца и злодея: и стыдно, и тревожно, и грустно! Сознание, что мой труд одобрен нечестивцем, что я угодил духовному слепцу или глупцу, что известные плуты восхищаются моим созданием на всех перекрестках, может вызвать в душе настоящее удручение... И тот, кто сообразит и продумает все это, скоро поймет, что только признание *зрелого судьи, мудрого созерцателя и чистосердечного критика* может быть желанным и радостным. А такие люди будут хвалить меня только тогда, когда я сам буду чувствовать, что меня оправдывает моя собственная совесть и что меня укрепляет Божий луч. Вот почему Пуш-

кин был прав, когда советовал поэту не дорожить успехом у толпы и судить себя самого высшим и строгим судом...

Надо рассмотреть «людскую славу», понять ее шаткое и фальшивое естество — и *разлюбить ее*. Это значит победить тщеславие внешней «популярности». А для этого надо утвердить в самом себе высокий и строгий критерий совести и религиозное чувство ответственности, чтобы затем сказать самому себе: «Что мне людская хвала и людское поношение, когда мне светит луч Божий?»

Тогда можно приступить к преодолению второй ошибки тщеславия. А именно, человек должен приучиться к невысокой оценке того, чего он достиг и что он совершил. Если он силен, то пусть не считает себя сильным; если он умен, то он не должен причислять себя к «самоумнейшим» людям; если он порядочный человек, то пусть он не переоценивает свою добродетель; если он даровит, то пусть познает меру своего таланта и не воображает, будто он «велик» и «гениален». Почему? И зачем это нужно?

Тот, кто «достиг» и «совершил», тот «успокаивается», погружается в самодовольство и прекращает поиски и борьбу. Кто знает «достаточно», тот прекращает изучение и исследование, не углубляет свой дух, останавливается в своем развитии, начинает повторяться и теряет свои богатства. Всеведущий «знаток» дошел до своего предела и начинает отставать. Он забыл главное, именно что Божий Предмет беспределен во всех отношениях и смыслах и что человек есть лишь скромный ученик этого Предмета. Кто достиг «совершенства», для того уже не может быть правил и запретов, и завтра он разрешит себе *все*. «Безошибочный» не увидит ни своих слабостей, ни своих ошибок. Высокоумный человек и не подозревает того, что завтра появится сверхумный, который поставит его в положение глупца и повергнет его в смущение и растерянность. А талантливый художник, который вообразит себя гениальным мастером, быстро прекратит свою внутреннюю работу, снизит свою требовательность, утратит драгоценное и воспитывающее недовольство собою и сам не заметит, как создаст завтра ничтожное творение, над которым все будут подсмеиваться исподтишка.

Вот почему каждый, кто создаст что-нибудь, не должен подолгу предаваться радостям достижения, но скорее

сосредоточиться на недостатках своего создания: он должен повышать свои требования, отыскивать свои промахи, неумения и несовершенства, судить свое творение мерой полной и великой и замышлять лучшее. Надо всегда смотреть вдаль — подобно человеку на башне; надо всегда думать о том, чего мне еще духовно не хватает, — подобно скупцу, собирающему богатство; надо постоянно чинить и крепить свои стены — подобно осажденному полководцу. Надо жить не гордостью от совершенного и достигнутого, но смирением при мысли о неудавшемся и еще предстоящем в будущем.

Кто знает пределы своего знания и своих знающих сил, тот останется *вечным студентом* и станет *истинным исследователем*. Кто научится видеть свои духовные пределы и болеть о них, тот будет *всю жизнь расти*. Кто сознает свои слабости и недостатки, тот будет бороться с ними, побеждать их и совершенствоваться. Для лечения необходим верный диагноз, тогда как незамеченные болезни запускаются и становятся хроническими. Словом, настоящий человек вырабатывает особую культуру своих несовершенств, стараясь не преуменьшать их и не преувеличивать. Это и есть источник истинной скромности, начало самосовершенствования, секрет духовного роста и развития. Тот, кто смотрит вдаль и ввысь, тот увидит Божественное, которого он лишен и о котором он воздыхает; и когда он затем обращается к совершенному и достигнутому, — он стоит смущенный и пристыженный: «Господи, сколь я бессилен и немощен!»... Он всегда чувствует, что ему не хватает Главного; что до истинной высоты — ему далеко, как до звезды небесной; что все его наличное достояние — есть только начало, только зов и обетование; что гордиться ему нечем и что все у него еще впереди. Надо приучить себя к той «нищете духом», о которой сказано в Евангелии; и найти в себе мужество бедняка, скромность вопрошающего и бодрость ученика.

Тогда остается еще третий шаг: надо переложить центр тяжести в своей жизни и борьбе с себя самого, со своей особы — на *предметную* стихию бытия, на то, что можно было бы обозначить словами «ткань Божия в мире». Пока человек не имеет жизненной цели и пока он служит только себе самому и своему жизненному «успеху», до тех пор

скромность будет казаться ему чем-то странным и ненужным, может быть, даже вредным, а до смирения он не дойдет никогда: желая выдвинуться, он будет предаваться хвастливости, заносчивости и тщеславию и будет думать про себя, что скромность подобает нищим, а смирение — лицемерам. А между тем скромность начинается там, где человек чует над собою нечто Высшее, а смирение возникает в тот миг, когда человек преклоняется перед этим Высшим. Человеку необходимо иметь в жизни нечто такое, что он ценит и любит, чему он служит как своей *главной цели*: ей должен быть посвящен его труд, ради нее он сосредоточивает свои силы, за нее он борется, ей он жертвует собою и всем остальным. И тот, кому дано это счастье служения и горения, — скоро начинает замечать, что ему все удается тем легче и тем лучше, чем меньше он думает о себе и чем цельнее он отдается *предметной стихии своего служения*. Нельзя считать себя и свой личный успех важнейшим делом жизни. Надо научиться выходить на Божий простор из жесткой скорлупы своего себялюбия; надо сердцем и волей преодолеть свое одиночество, свой наивный эгоцентризм. Скудна и душна жизнь человека, не знающего ничего о сверхличных богатствах богозданного мира. И только тот, кто узнает счастье предметной жизни и вложится в Божию ткань мира, только тот почует в себе силы Ильи Муромца, дарованные ему его высокими пришельцами: Божие дело станет его личным делом, невозможное сделается для него возможным, а за плечами у него вырастут крылья настоящего вдохновения.

Божие дело требует от нас цельного и беззаветного служения; а мы пребываем в тщете личных дел и растрачиваем на них любовь, силы, и время, и всю жизнь; подобно чеховскому торговцу, подсчитываем наши воображаемые «убытки» и мнимые неудачи... Нам все кажется, что жизнь обделила нас, что нам еще что-то «причитается», что наши «справедливые притязания» неудовлетворены и что все у нас в долгу. Человек, предающийся таким настроениям, всю жизнь, подобно раненому животному, зализывает свою незаживающую рану; но в действительности рана эта мнимая, и стоит только не думать о ней, чтобы она начала заживать. Такие душевные раны исцеляются только забвением, живой любовью к людям и слу-

жением Богу. Человек, неспособный обновить направление и центр своей жизни, остается в плену собственной пошлости, обливая слезами свое непоправимое прошлое и свое горькое настоящее.

Служение Божьему Делу требует от нас преданности и стойкости; и надо предаться ему. Надо отождествить свой личный успех с *его* успехом и подчинить свою судьбу *его* развитию и росту. Любовь и воля человека должна получить свое содержание и свою цель от этого великого «горного хребта» человеческой истории и, таким образом, предметно обновиться. Может показаться, что в этом самоотверженном служении человек действительно отказывается от себя и теряет себя; однако на самом деле он *впервые обретает самого себя в великой и священной ткани Божией.* Он теряет свое человеческое, «слишком человеческое», грешно-страстное естество; но зато находит себя — духовноподлинного, «предметно наполненного», смиренного и достойного слугу Божьего Дела на земле.

Именно в этом смирении он впервые находит и утверждает свое истинное духовное достоинство — не уважение других людей, не «почести» и не «славу», не довольство собой, но главное и основное, человечески-духовное достоинство, дающееся тому, кто утвердится и укоренится в Божественном. Там, где водворяется это достоинство, там не бывает гордости. Ибо гордость не от Бога; а достоинство от Бога и ведет к Богу. Гордость не знает о смирении; именно поэтому ей предстоят многие и жестокие унижения... А настоящее достоинство родится из смирения и не может быть унижено; и если кто-нибудь пытается унизить его, то он только возвеличивает его и поднимает его на высоту. Смирение ведет к Богу. Достоинство пребывает в Боге. Поэтому Марк Отшельник был прав, советуя «не почитать себя за нечто великое», но беречь свою «нищету духа»[1]; и Ефрем Сирин был мудр, говоря: «Превозношение ослепляет умные очи, а смирение просвещает их любовью...»[2]

И вот оказывается, что смирение все-таки подобает каждому из нас: и гражданину, и ученому, и художнику,

---

[1] Добротолюбие. I. С. 516.

[2] Добротолюбие. II. С. 424.

и воину, и пастырю. Каждый может и должен приобщиться ему: найти свое духовное достоинство, вложиться в служение Божьему Делу, полюбить великое и возжелать непреходящего. И если бы кто-нибудь спросил, как легче всего и скорее всего возжечь в себе чувство смирения, то ответ был бы таков: не сравнивать свое «превосходство» с «ничтожеством» других людей, но чаще, как можно чаще приводить свою «малость» пред лицо Божьего величия, как бы «вычитая» себя из Его совершенства и созерцая обнаруживающуюся «разность»...

От этого в сердце вселяется, как бы само собою, сущее смирение; и оказывается, что мои «долги» так велики, что я не успеваю и добраться до чужих «долгов», — начинается щедрое «прощение» другим и строгое взыскание с себя самого. Тогда честолюбие смутится и смолкнет и человек поймет, что важно не то, какой «пост» он занимает в жизни, но то, *что и как* он творит на этом «посту». Ибо в жизни и в мире надо не фигурировать и не величаться, а трудиться над всеединой и вечной «тканью» Царствия Божия, а в этом служении бывают тихие и незаметные свершения, но не бывает «ничтожных» дел и «унизительных» заданий...

Если бы только люди поняли это и захотели вступить на этот путь!

18
ПОТЕРЯННАЯ ТАЙНА

В ранней юности человек есть существо вопрошающее и любопытное, ребенок видит многое, а понимает мало, и все спрашивает и расспрашивает, и получает ответы, которые его не удовлетворяют. И скоро у него возникает ощущение, будто взрослые скрывают от него какие-то тайны, секретничают, уклоняются от прямых ответов и не хотят говорить о самой сущности вещей и дел: «все не то, все не так, все скрывают»... И вот ребенок начинает чувствовать себя разочарованным и даже обиженным: «Что они думают, я так глуп, что поверю их глупым ответам? Ну хорошо, я постараюсь дойти до всего сам»...

И вот начинается наблюдение и подглядывание, подслушивание и размышление, изобретение *своих* «объяснений» и «теорий», которые должны «разъяснить» все до конца. Ребенок живет во внутреннем беспокойстве, но прикрывает его деланным безразличием, а за всем этим в нем скрывается жадное внимание, пристальная наблюдательность и беспокойный, исследовательский дух. Нельзя примириться с «секретами»; они должны быть разгаданы. Нельзя остановиться перед запретной тайной; надо ее разоблачить. Тайна — это вроде обмана: умные дурачат глупых; но глупые не мирятся и хотят стать тоже умными. Тайна означает, что взрослые хотят держать нас, детей, в состоянии незнания и зависимости; и все — чтобы нами командовать. Потому что «в действительности» все просто, легко и доступно.

Вот почему в детских разговорах так часто слышится словечко «о-очень просто!». И произносится это словечко насмешливо, самоуверенно и даже авторитетно. Поэтому и педагогическое наблюдение оказывается верным: чем таинственнее держатся родители, чем меньше они удовлетворяют детей в их любопытстве, тем больше дети усваивают себе плоское мышление, стремящееся все разоблачить, упростить и опошлить. И потому следовало бы не устранять детей от тайны, не «секретничать» и не запрещать им проникновение в глубь вещей, но постепенно, осторожно вводить их в тайну естественного бытия, любовно и благоговейно посвящая их в мудрость вселенной (конечно, не столь грубо и пошло, как это предлагает Жан Жак Руссо!): смотри, созерцай, постигай, изумляйся и преклоняйся в благоговении...

В восемнадцатом веке западное *человечество* запротестовало против подобного «унижения», заболело острым чувством мнимой «обиды» и захотело *все упростить и как можно проще объяснить*. Эта обида и это глупое тяготение передались и девятнадцатому веку и вдруг вспыхнули злобой, завистью и ненавистью в *немыслящих массах двадцатого века*. При этом понятно, что католическая церковь с ее многовековыми запретами и кровавым террором инквизиции олицетворяла собою «родительский облик», монополизирующий власть для поддержания «тайны» и блюдущий «тайну» ради закрепления своей власти: это она не

разрешала «детям» свободу исследования (вспомним Галилея, Ванини, давнишний спор об «антиподах» и т. д.); это она пыталась сберечь для «экзотерического ведения» великой тайны Божия существа и Божьего мира. И вот «дети» пережили эпоху Возрождения и эпоху Просвещения, выросли умственно и созрели волею и предались овладевшему ими «духу противоречия». Подавляющий церковный авторитет был отвергнут, и началось повсюду самостоятельное наблюдение, любопытная погоня за явлениями и неутомимое следопытство.

Эта противоположность между *церковной опекой и автономным мышлением* постепенно укрепилась и вызвала сначала скрытую, а потом и явную враждебность; вражда не нашла себе ни примирения, ни исцеления; напротив, она даже обострилась во второй половине девятнадцатого и в первой половине двадцатого века, когда рядом с трезвой и разумной наукой выступила заносчивая и скудоумная полунаука, когда темная масса вообразила себя «просвещенной» и в мире разлилось плоское и пошлое полуобразование.

В восемнадцатом веке это течение сформировалось под влиянием французских энциклопедистов. Возникло новое умонастроение, которое предавалось религиозно-беспредметному скепсису, стало постепенно руководящим и ведущим, захватило и государей на троне (Фридрих II Прусский, Екатерина II) и победоносно вступило в девятнадцатый век. Было высказано и «принято», что церковь строится врагами просвещения и распространяет обскурантизм; что религия, строго говоря, беспочвенна; что всякая вера «напрасна» и есть «всуе-верие»; что Евангелие содержит лишь «миф» о Христе; что всякое чудо есть обман, подлежащий разоблачению и обличению; что есть только единственный источник достоверного знания — чувственный опыт... Что же касается так называемых «тайн», то их вообще нет ни в природе, ни в человеке: на самом деле все просто и ясно; стоит только взяться за наблюдение и размышление, и каждый увидит, что все явления возникают естественно, закономерно и что все заранее определено законом причинной необходимости. Мир совсем не таинствен и не глубок; он сплошь детерминирован, трезв и прозаичен; для объяснения его со-

всем не нужна «гипотеза» Божьего бытия... Механически и нисколько не духовно совершается его ход, ибо он просто катится по рельсам причинности. И тот, кто пытается усмотреть в нем еще какую-то романтику, фантастику, мистику или иную беспочвенную сентиментальность, — есть мракобес, «vir obscurus», реакционер, вредитель, а может быть, и сущий плут.

Как из этого умонастроения, — из этого плоского сенсуализма и пошлого материализма, — возникло современное воинствующее безбожие, понятно без дальнейших разъяснений: стоит только заострить основные тезисы этого мировоззрения, выговорить их с волевым темпераментом и сделать все последовательные, особенно практические выводы...

Надо признать, что великие научные исследователи отнюдь не впадали в это умонастроение. Но поскольку они практически принимали гипотезу механического объяснения и применяли ее, они часто не замечали, как эта, в известных пределах продуктивная, но достаточно плоская и отнюдь не исчерпывающая гипотеза разрасталась в самодовлеющее, якобы «все-объясняющее» и «единственно научное» миросозерцание. Отсюда возникала так называемая «традиция позитивизма», согласно которой настоящий и строгий исследователь обязан устранять всякую «мистику», сводить всякое явление к его простейшим элементам и причинам, не дивиться на чудеса мироздания, разлагать все таинственное, лишать его всякого священного ореола и объяснять все строгими и общими законами, разочаровывая и отрезвляя наивных людей.

Это и была традиция «обиженных» и «униженных» умов, ребяческой уязвленности и детской потребности представить себе все в простом и плоском виде. Это была традиция борьбы и вражды против всего, что кажется таинственным: посягание все «разгадать», разоблачить и свести к рассудочным схемам. Это давало «наслаждение» от «удачного» всеупрощения и всеопошления. И в последнем счете — это было восстание против библейско-церковного сведения всего к Господу Богу, как «источнику всяческих». И более того, это было прикровенное восстание против Бога; жажда низвергнуть Его с трона и занять Его место.

Но если отвлечься от этой традиции и обратиться к великим и гениальным исследователям природы, то надо признать, что они умели созерцать тайны мироздания и дивиться им искренно и глубоко. Можно было бы сказать: *большой исследователь приступает к своему исследованию с чувством, что он противостоит некой великой тайне, и заканчивает свой труд с убеждением, что он не овладел тайной мира и не исчерпал ее.* Всякое серьезно-глубокое научное объяснение ведет нас в глубину мира, но на один шаг; никакое объяснение не исчерпывает эту глубину, ни одно из них не «отменяет» ее. Ибо эта таинственная глубина не есть нечто воображенное нами, не есть выдуманное нами содержание сознания, но есть *предметно-сущее обстояние.*

Каждый из нас должен однажды конкретно представить себе этот великий объективно-сущий предмет, мироздание в его непомерно тотальных размерах и в его неизмеримой внутренно-микроскопической глубине; — это мироздание, которое то развертывает перед нами свои бесконечно великие дали и расстояния, отнюдь не давая доступа к ним, то указует нам на свои бесконечно малые разветвления, отнюдь не давая их «в руки»; — это мироздание, в котором все — великое и малое, недостижимо далекое и неуловимо глубокое — связано друг с другом, сплетено в сплошную ткань, и несется из прошлого через настоящее в будущее в качестве динамического и целесообразного Единства... Каждый из нас должен оживить и расширить свое предметное созерцание в попытке представить себе этот предмет и затем вообразить себе *чудо этого «самопроизвольно-активного» равновесия*, из которого говорит некая *молчаливая разумность и неизъяснимая сила*; чудо, перед которым благоговейно преклонялись и Аристотель, и Коперник, и Лейбниц, и Василий Великий, и Кеплер, и Леонардо да Винчи, и Бойль, и Ломоносов... И тот, кто хоть раз в жизни коснется этого своим духом, тот навсегда уяснит себе, что здесь дело идет не о каком-то субъективном секретосочинительстве и тайноукрывательстве и не о праздной самомистификации, но о *величественной и прекрасной мировой тайне,* которую открыто признавали и исповедовали все отцы христианской Церкви, начиная с апостола Павла, и все основополож-

ники современного естествознания, кончая Фехнером и Дюбуа-Реймоном.

В наших исследованиях мы выделяем из этой сверхсложной и таинственно-связной ткани отдельные «обломки», «обрывки» или нити; и поэтому мы должны помнить, что *таких* выделенных и теоретически препарированных частей в реальном предмете *нет*. Это мы сами умственно «извлекаем» или «отвлекаем» эти обломки, обрывки или нити, чтобы исследовать их в изолированном виде; и, прибегая к этому приему вследствие ограниченности нашего опыта и вследствие слабости нашей мысли, мы должны разуметь и помнить, что имеем дело с нашими научными «препаратами», или умственными «построениями», не более. Практически эти человеческие «элабораты» являются неизбежными и пригодными; и это нас ослепляет: возвращаясь из наших научных лабораторий к созерцанию предмета (мироздания), мы все снова забываем включить необходимую «поправку» на упущенное нами — на динамическую связанность вселенной, на таинственное единство мира, на сверхсложность и взаимное воздействие всех этих «обломков», «обрывков» и «нитей». Мы забываем, что в действительном мире этот единичный «фрагмент» стоит в многообразном и уводящем вдаль взаимовлиянии с другими «фрагментами» и что эта отдельная естественно-закономерная нить включена в необозримую ткань других, по-своему закономерных нитей. А если нам удается, сверх того, практически использовать некоторые из этих нитей с эффектными последствиями, то мы готовы принять себя за властных «хозяев» вселенной и начинаем воображать, что мы действительно раскрыли все тайны мира и овладели ими. А на самом деле мы стоим перед мирозданием как хвастливые нищие, которые, держа в руке грош, воображают себя богачами, или как наивные дети, которые собираются исчерпать море игрушечным ведром...

На этом пути мы теряем доступ к тайне мироздания; наша наука беднеет, наш ум становится близоруким, наши исследования становятся плоскими и пошлыми. Но само собой разумеется, что на величественном строении мироздания это никак не отзывается. Ибо мир остается, как и прежде, — *великим и таинственным чудом, возникшим из*

творчества некой разумно-сокровенной Власти, несомым некой целесообразно-сокровенной силой, движущимся к некой отдаленно-сокровенной цели. А если кто-нибудь настолько слеп или ограничен, что он *не может* принять и созерцать это воображением, или если кто-нибудь усвоил себе такую рассудочно-мертвую установку, что он *не желает* постигнуть и признать это, — то ему будет очень трудно помочь.

Всю свою жизнь человек проводит на земле, окруженный Божьими дарами, таинственными чудесами природы, души и духа. Уже самая жизнь, как она проявляется в самоподдержании одноклеточных существ и как она далее развивается до самых тонких и сложных душевно-телесных коррелатов человеческого существа, — есть тайна творческой активности, научно неразложимое и ни к какому механизму не сводимое обстояние. Всюду, где жизнь самоутверждается и развивается, будь то в пространственном движении или в психическом проявлении, — от бактерии или вируса до слона, от гриба до лианы, от губки и жемчужной раковины до акулы, от прелестной бабочки типа Неоптолема до невыносимо уродливой китайской свиньи, — всюду перед нами таинственное чудо, сокровенно присущее каждому живому существу. На этом мы должны научиться созерцать и наблюдать и *неживые существа* в их таинственном строении и распадении, в их таинственном покое и движении. Мир «прост» только для глупцов; но для глупцов не существует и вообще никаких разумных законов.

Вот почему в основании всякого серьезного исследования лежит исходное допущение, что в мире нет ничего «простого», что наука во всех вещах и существах имеет перед собою сверхсложный и всесторонне обусловленный предмет, сокровенно-глубокий и неисчерпаемый ни чувственным опытом, ни рассудком. Наука видит себя везде перед лицом *тайны*. Это исходное допущение совсем не должно внушить исследователю робость, остановить или пресечь его работу; оно приемлется не для того, чтобы погасить исследовательскую жажду, превратив ее в сплошное пассивное удивление или изумление, или погрузить человека в растерянное слабоумие. Напротив, это допущение, как живая основа исследования, должно открыть

человеку его истинное задание, а также укрепить и повысить его чувство ответственности.

Кто признает тайну мироздания, тот в качестве исследователя верно поймет предстоящую ему задачу; а именно, он научится последовательно различать между *самим предметом* и наблюдаемым (и описываемым) *содержанием опыта*. А это различие является основным и определяющим во *всяком исследовании*.

Так, человеку не надо наблюдать и объяснять мироздание в его предметном обстоянии, в его целокупном и таинственном существе. Исследователь вынужден интенционально (т. е. силою своего сосредоточенного разумения) «вырезать» свой, подлежащий исследованию, опытный «участок», свое изучаемое и познаваемое содержание; ему приходится «аскетически» довольствоваться одним «отрывком» или одною «нитью» и сосредоточиваться на таком урезанном, оскудевшем содержании. Согласно этому историк, например, выделяет из всеединого и величавого мирового процесса одну ограниченную эпоху или один единичный «облик» этой эпохи (фигуру императора Карла Пятого, или жизнь Леонардо да Винчи, или эпоху Возрождения, или русскую Смуту); юрист изучает кодекс Юстиниана или французскую конституцию 1791 года; энтомолог пишет трактат о цейлонской белой бабочке типа «Hestia jasonia» или об одной из групп «прыгающих прямокрылых» (саранча); физиолог — о функциях тригеминального нерва; экономист — о строении и формах английского кооперативного движения в девятнадцатом веке; филолог — о предлогах «χατα» и «περι» у греческого оратора Лисия и т. д. То, что исследователь выделяет и описывает, *на самом деле включено и вращено в великий процесс всеединого и таинственного мироздания*. Только интенциональное внимание исследователя «вырезает», «отвлекает», «изолирует» изучаемое содержание, причем иногда природа милостиво дает ему соответствующий образцовый экземпляр (в виде бабочки, или белого павлина, или орловского рысака), а иногда ему приходится самому изготовлять себе необходимый «препарат» (в анатомии, физиологии, гистологии). Но в общем исследователь всегда имеет дело с *содержанием своего опыта*, которое он должен всегда мысленно включать в цельную картину мироздания, созерцая этот великий предмет и относя

к нему все доселе познанное. Поэтому не следует именовать этот опытно выделенный «отрывок» или «обломок» — предметом: это и неточно и ведет к заблуждениям. Необходимо признать, что «опыт» есть целесообразное *средство* в познании, но *отнюдь не его цель,* не его *последнее слово и не высшая инстанция*, к которой взывает исследователь. Исследование невозможно без опыта и помимо опыта. Но наивно и слепо думать, что оно заканчивается данными опыта...

И вот исследование слагается совсем иначе в зависимости от того, созерцает исследователь свое «отрывочное содержание» в *луче мировой тайны*, в *великом контексте Предмета*, или нет.

Если исследователь забывает великую тайну целокупного мироздания, если он принимает свое отрывочное, выделенное содержание за первоначальную и самодовлеющую величину, тогда он *теряет таинственную глубину и в предмете, и в опытном содержании.* Он *изолирует* свой «обломок» от духа Целого и делает его *плоским и мертвым.* Тогда и чувство ответственности у самого исследователя становится неустойчивым и бессильным, а его наблюдение, несомое коротким, отрывочным дыханием, делается рассудочным, легковесным и плоским. Он не стремится к разрешению великого задания, а «крохоборствует»; он не созерцает, а подглядывает; он «парцеллирует» мироздание и оказывается неспособным участвовать в величии миропознания. Этим он как бы запирает ту дверь, которая ведет от его «опытного отрывка» в глубину самого Предмета; он как бы обрывает нити, связующие его «обломок» с Предметом, а его исследовательскую лабораторию с творением Господа Бога. Такой исследователь должен быть причислен к самодовольным и скороготовым «все-объяснителям». Можно было бы сказать, что его жажда познания быстро утоляется первым же глотком воды из местной лужи. У него «маленькие глаза» и слабое зрение наподобие крота. Он пытается измерить бездну Божьего творения сантиметрами. Он думает, что мироздание столь же скудно и плоско, как его собственное «представление», и что великий Предмет кончается там, где его собственное умственное содержание оказывается исчерпанным. Он считает каждую свою «гипотезу» за «достаточную», потому что природа не может прости-

раться далее и глубже, чем его субъективные предположения. Итак, он начинает с того, что теряет тайну мироздания, и заканчивает мертвой механической картиной мира, которая приводит его ко всеопошляющему безбожию.

Совсем иначе слагается исследование у того, кто умеет ощущать божественную тайну мира и преклоняться перед ней. Так вел свои исследования уже Аристотель, у которого всякое познание начиналось с «изумления» и возникало из «дивования». Это исследовательское изумление было предвосхищающим восприятием тайны мироздания и в то же время живым предчувствием Божества. Оно всегда пробуждает в душе ученого ту своеобразную *исследовательскую совесть*, без которой наука просто вырождается или совсем не удается. Эту исследовательскую совесть можно было бы обозначить как *волю к предметности познания* или как повышенное и обостренное *чувство ответственности,* как постоянную готовность проявить величайшую *осторожность, приспособление и вчувствование*, чтобы приблизиться к созерцанию великой и глубокой тайны мироздания. Если исследователю удастся предвосхитить эту тайну в «большом мире» (в макрокосме), то он сумеет восчувствовать ее и в своем «малом обломке» (в микрокосме); и тогда его, неизбежное для всякого исследователя, «упрощение» не будет иметь дурного влияния на его познание. Напротив, выделенный обломок мира станет для исследователя как бы «представителем» мировой тайны, *Божьим иероглифом*, или как бы входной дверью в познаваемую предметную глубину бытия.

Так начинается всякое настоящее исследование: с *аскеза — в ограничении и с волею к безграничному углублению.* И тогда каждое выделенное и упрощенное содержание опыта предстает ученому как своего рода «шахта», подлежащая разработке, как подземный ключ или как кладезь, в который надо спуститься для того, чтобы узреть священный центр мировой тайны. При этом каждая найденная нить связуется с сокровенной, но непотерянной тайной мироздания; каждый исследуемый «отрывок» мировой ткани является как бы живою тенью Бога или отблеском Его света; а самая наука — позитивная, эмпирическая, доказывающая наука — оказывается своего рода *введением в созерцание Божественного Существа.*

Именно так понимали это великие основатели и подвижники современного естествознания; именно это было не понято и упущено малыми умами и духовно подслеповатыми наблюдателями. Но в будущем это возродится и оживет. Тогда наука опять превратится из мертвого гербариума в живой сад Божий и никакая рассудочная доктрина не отпугнет ее от преклонения перед чудом и тайною, сотворенными Господом. А исследующее мышление вернет себе свою созерцающую силу и осуществит необычайное.

Потерянная тайна мироздания будет опять возвращена человеку для переживания и творческого созерцания. Но это станет возможным только тогда, когда *обновится строение познавательного акта.* Тайна никогда не станет доступною для простого чувственного наблюдения. Она не будет усмотрена и аналитическим рассудком с его экспериментирующим и препарирующим мышлением. Предметная тайна мироздания доступна для *созерцающего вчувствования* и может сообщиться наблюдению и анализирующему рассудку *только через вчувствование.* Именно таков был в общем и целом акт великих исследователей. Они подходили к миру с открытым, любящим и дивующимся сердцем; они наблюдали, созерцая и медитируя; они думали, вчувствуясь в предмет и преклоняясь перед его мудрой таинственностью; они с самого начала ведали о его глубине и до конца радостно удостоверялись в ней. Их сердце трепетало вместе с мирозданием и пребывало в нем. И потому мир жил в них и раскрывал перед ними свои глубины; а они сами были не только исследователями мира, но и мудрецами и любимцами природы.

И вот будущее сулит нам возрождение такого познания.

19

О СЕРДЕЧНОМ СОЗЕРЦАНИИ

I

Человек рожден прежде всего для созерцания: оно возносит его дух и делает его окрыленным человеком; если он сумеет верно пользоваться этими крыльями, то он сможет осуществить свое призвание на земле. И вот, надо

пожелать человечеству, чтобы оно уразумело свое призвание и чтобы оно восстановило в себе эту дивную окрыляющую способность созерцания.

Но это означает, что человечество должно приступить к великому, перестраивающему обновлению души и духа: оно должно *пересмотреть строение своих культурно-творящих актов*, признать их исторически сложившуюся несостоятельность, восполнить их, усовершенствовать и *открыть себе новые пути ко всем великим Богоданным предметам.* Это единственная возможность выйти из современного кризиса и начать духовное оздоровление; это единственный способ остановить современное скольжение в пропасть и начать период возрождения и подъема. Человечество подошло к пропасти, не замечая ее, воображая, что оно творит «новую культуру» и осуществляет великий прогресс «свободы» и «гуманности»; а на самом деле оно создавало бескрылую, декадентскую псевдокультуру, подрывающую свободу и отрекающуюся от гуманности. Оно не заметило главного, а именно: *омертвения своего сердца и своей духовности и обессиления своего творческого акта.*

Оно пыталось создавать «новую культуру», не применяя необходимых для нее внутренних, духовных «органов» и предоставляя им угасать и отмирать. Оно пользовалось неверными, бессильными «орудиями» внутреннего мира и не замечало, что истинная культура требует *иных сил и иных органов*, и забывало, что никакое самовосхваление и самодовольство не обеспечивает истинного качества.

Эти формулы имеют общее и определяющее значение для *всей* культуры наших дней. И дальнейшая история, ныне закрытая непроглядным туманом, зависит от того, увидит ли человечество это заблуждение и когда именно оно увидит его: — постигнут ли его наши дети, или дети наших детей, или еще более отдаленные потомки и, постигнув, захотят ли они и сумеют ли начать это творческое обновление.

На развалинах мира, который еще недавно казался «новым», а ныне стал «отжившим», мы все — европейцы, азиаты, американцы — должны одуматься, сосредоточиться на нашем внутреннем душевно-духовном укладе, произнести над собою честный и искренний суд и распростра-

нить это самоосуждение на все области культурного творчества. То, что совершается в мире за последние полвека, есть *крушение нашей культуры*, которая не справляется с внутренно глубокими, а внешне грандиозными задачами наших дней. Крушение это выражается, во-первых, в том, что она предоставила в своих собственных недрах сложиться, окрепнуть и победоносно выступить новому *духовному варварству*; во-вторых, в том, что она сумела противопоставить этому духовному варварству только *формальную цивилизацию, чувственное разложение и хозяйственную жадность*. Нам нельзя отвертываться от этого печального зрелища и замалчивать его; напротив, мы обязаны поставить честный диагноз, выговорить правду и приступить к отысканию новых жизненных путей...

...Почему *современная философия* ушла в отвлеченную пустоту, в бесплодную запутанность, в конструктивные выдумки и в мертвый «гносеологизм»? Чего не хватало ей? Почему отлетел от нее живой дух? Почему дедуктивная *теология* со всей ее «диалектикой» и религиозной мертвостью расцвела именно теперь, одновременно с воинственно-кощунственным безбожием, к которому она обнаруживает странную и страшную симпатию? Почему эта теология несет одни педантические рассуждения, лишенные света, тепла и живого творчества? Откуда это разложение в современном *искусстве*, эта духовная беспредметность, ведущая к бесформенности, эта кощунственная игра без души и без художественного измерения? Откуда в *музыке* эта безобразная «политональность» и вызывающая «атональность», эта погоня за назойливой и безвкусной «звучностью», это отвращение к прекрасному и глубокому? Откуда в *живописи* этот культ самодовлеющей красочности, это презрение к естественному, эта жажда хаоса? Откуда в *поэзии* это сочетание блеклости с пустозвонством? Откуда в *беллетристике* эта погоня за непристойностью? Чего хотят люди от искусства? В какую низину и пошлость соскользнут еще так называемые «художники»? — Откуда этот исторически не слыханный *кризис государственности*, с его революционными брожениями и тоталитарными извращениями? Не свидетельствует ли он о прямом разложении современного *правосознания*. предавшегося релятивизму и отвлеченно-мертвому формализму? Как это

могло случиться, что последние *естественнонаучные открытия и технические изобретения* (радио, воздухоплавание, газоведение, расщепление атома) были немедленно использованы для тоталитарного рабства и бесчеловечнейших войн истории? Почему современное человечество так неистово в разрушении (атомная бомба) и так убого и неумело в создании новой социальной жизни? Что же, демократии последнего века так долго и так успешно боролись за свободу, за частную инициативу и за самоуправление для того, чтобы *разнуздать* освобожденных и отдать их в новое, неслыханное *рабство?* Где же новые, творческие, социальные идеи современности, где синтез свободы и справедливости?..

Можно не продолжать этот ряд обличительных вопросов. Наши поколения уже видели и на живом опыте убедились, куда ведет и приводит это разложение культуры. Теперь надо решить: как остановить этот процесс и где искать спасения?

Здесь может помочь только критический пересмотр и обновление структуры нашего, унаследованного нами, культуро-творческого акта. В строении этого акта у нас не хватает самой глубокой и благородной способности человеческого существа — *сердечного созерцания* и всего того, что с ним связано, всех его духовных сил, даров и проявлений. И вот, человечество должно вернуть себе эту компоненту: понять ее значение и назначение, возжелать ее и *дострадаться до ее возрождения.* Мы не представляем себе этого процесса как произвольного решения и быстрой перемены. Это процесс длительный, органически-духовный, требующий от людей творческих усилий и ведущий их через страдания. Но в отдельных представителях человечества он может и должен начаться теперь же. Надо побороть в себе ложный стыд, мешающий нам *любить и созерцать из любви*, надо почувствовать всю оплодотворяющую силу этого акта; надо будить его в детях и завещать новое воспитание внукам и правнукам; надо внести этот оживший дар во всю человеческую культуру — от религиозной веры до архитектуры, от научной лаборатории до концертного зала, от судебного присутствия до земледельческого труда, от законодательного собрания до народной школы и армии. Надо доверить все свое творчество и всю свою

судьбу этой благодатной, евангельски-христианской силе сердечного созерцания, издревле жившей в восточном Православии...

II

Условимся различать в человеке следующие душевные силы или «способности»: восприятия, возникающие из чувственных ощущений; мышление; инстинкт; волю; силу воображения; и жизнь чувства. Из этих способностей культуротворящий акт современности покоится на *чувственных* восприятиях, признавая их как бы «дверью», ведущею к внешнему миру; а над ними ставится в качестве критического стража, — *индуктивное мышление*, по возможности с механически-инструментальной проверкой; отсюда возникает естествознание и техника. То, что добывается этими двумя способностями, передается затем *инстинкту и воле*; инстинкт созидает из этого хозяйство, а воля — государственный строй. При этом приходится неизбежно пользоваться и *силой воображения*; совсем без нее нельзя обойтись; но она всегда остается под подозрением, под именем «фантазия» и подвергается строгому контролю *мысли и машины*. Что же касается *чувства*, то оно вообще устраняется из серьезной, научно признанной и деловитой культуры; ему отводится место, — в зависимости от личных потребностей, — в частной жизни. В деловом обороте чувству нечего делать; в культурном творчестве оно только отвлекает и вносит сентиментально-личный элемент; что же касается частной жизни, то людям предоставляется предаваться или не предаваться своим чувствам по мере досуга, склонностей и инстинктивных влечений: для этого у них есть семья...

Что же дают нам и чего не дают основные, «официально» признанные силы современной культуры?

И вот *чувственные ощущения*, взятые самые по себе, оказываются в *духовном* отношении слепыми и творчески бессильными; они нуждаются в руководстве; им необходима высшая, целесознательная и ведущая инстанция. Если ее нет, то они начинают служить телу и его похотям, бездуховному инстинкту самосохранения и размножения во всей его самовластности и безоглядности. Это мы видим

в хозяйственной наживе и конкуренции; это обнаруживается и в современном модернистическом искусстве.

В науке власть и контроль принадлежат *теоретическому мышлению.* Это, несомненно, приводит к познавательным успехам. Однако такой «научный прогресс» остается духовно-безразличным и мертвенным. Ибо мысль, взятая сама по себе, отвлечена и логически понудительна, но *бездуховна и бессердечна.* Предоставленная собственной природе и инерции, она является аналитически-отвлекающей силой, все разлагающей, развязывающей и подкапывающей. Еще недавно в мире чествовали мышление как величайшую силу доказательства и просвещения, как орган самой истины, как «разум» (Ratio!); и вот оно незаметно опустилось до произвольного и плоского «конструктивизма» и превратилось в пошлый, скептический рассудок. И оказалось, что «чистое» (голое) мышление — духовно индифферентно и мертво в делах созерцания и сердца. Оказалось, что оно представляет из себя величайшую опасность для человеческого рода — орган лжи и мнимых доказательств, орудие обманной и губительной пропаганды, путь соблазна и разрушения...

Не стоит доказывать, что человеческий *инстинкт*[1] есть великая сила, что от него можно ждать большой «пользы» и жизненной «службы», но что, взятый сам по себе, он ведет не путями духа, а звериными тропами. Поскольку око духа в инстинкте спит или, может быть, угасло совсем, постольку он становится орудием человеко-животности — гибким, цепким, изворотливым и лукавым. Но *о достойной* жизни, но *о духовной* жизни, *о социальной* жизни он и не задумывается. В биологическом отношении человеческий инстинкт есть сила таинственная и изумительная; но в духовном отношении он может остаться слепым и бессильным. Свою истинную мощь, полноту своих способностей он приобретает только тогда, когда в нем просыпается *око духа* и когда оно, пробудившись, становится определяющим, ведущим и облагораживающим началом жизни. Дело не в том, чтобы «дух» и «инстинкт» как-нибудь примирились в человеке, ужились и «не мешали» друг другу, но в том, чтобы «волк» инстинкта ра-

[1] См. выше главу о «Духовном инстинкте».

достно предался «ангелу» духа и свободно служил ему, встречая с его стороны бережное и благодатное водительство. Проблема разрешена верно, если духовность светит из инстинкта, а инстинкт «облекается в дух».

Что же касается человеческой *воли*, то и она, взятая сама по себе, есть сила формальная и духовно-безразличная. Она есть способность выбирать и решать, но верного критерия для выбора и предпочтения она не имеет. Она есть способность «держаться» и «нести бремя», но ведения того, во имя чего она несет свое бремя, ей не дано. Это есть сила концентрации, лишенная очевидности. Это есть дар повелевать, но без веры в правоту и в духовное достоинство предписанного. В сущности, великая, но *страшная и пустая сила.* Поскольку дело сводится к «единой линии» в жизни и к ее «ритму» — воля необходима и незаменима; но поскольку дело идет о верном выборе духовно-истинных целей и жизненных содержаний — постольку воля бескрыла и беспомощна. Самые отвратительные, самые преступные, самые богопротивные организации человеческой истории строились и держались силою воли. Но воля, взятая сама по себе, есть сила холодная, жесткая и безлюбовная; она создает беспринципную власть; она ведет не к Богу, а к дьяволу.

Что же касается *воображения*, то оно, предоставленное самому себе и своему нестесненному полету, оказывается приятной и развлекающей способностью: оно представляет себе в образах все возможное, что кому угодно. Оно легкоподвижно, капризно и безответственно; оно угождает инстинктивным желаниям человека и жаждет удовольствий; оно всегда может «так», и еще «иначе», и еще «совсем иначе»; ему нравится беспочвенность и беспредметность; иногда оно может случайно вознестись в сферу духа, но и там оно остается духовно-безразличным и не превращается в творческое созерцание.

Есть одна сила, которая имеет призвание направлять, укоренять и сообщать духовную предметность всем этим способностям, — это *сердце, сила любви*, и притом *духовной любви к действительно прекрасным и драгоценным предметам.* Дело жизненного *выбора*, и притом *верного и окончательного* выбора, есть дело духовной любви. Кто ничего не любит и ничему на земле не служит, тот остается пустым, бесплодным и духовно мертвым существом. У него

нет в жизни высшего и властного руководства, и все силы его остаются как бы на распутье. Но так как жизнь требует движения и не терпит застоя, то способности его начинают жизнь самовольную и разнузданную. *Чувственные ощущения* становятся у него самодовлеющими и распущенными; *мышление* развивается механически, холодно и оказывается во всей своей прямолинейной последовательности враждебным жизни и разрушительным (таково дедуктивное мышление у полуобразованных людей! Таков всеразлагающий анализ скептиков!). В жизни человека с пустым и мертвым сердцем господствует жадный до удовольствия *инстинкт*. Воля его становится жесткой и циничной; воображение — легкомысленным и творчески бесплодным. Ибо в высшей и последней инстанции все вопросы человеческой судьбы решаются любовью. Только любовь может ответить человеку на важнейшие вопросы его жизни: «чем стоит жить? чему стоит служить? с чем бороться? что отстаивать? за что идти на смерть?» И все остальные душевные и телесные силы человека суть в конечном счете не более чем верные и способные слуги духовной любви...

Так слагаются высшие духовные органы человека. Любовь превращает *воображение* в *предметное видение*, в *сердечное созерцание*, из этого вырастает *религиозная вера*. Любовь наполняет мысль живым содержанием и дает ему силу *предметной очевидности*. Любовь укореняет *волю* и превращает ее в могучий орган *совести*. Любовь очищает и освящает *инстинкт* и отверзает его *духовное око*. Любовь углубляет и облагораживает *чувственные восприятия*, она придает им художественный смысл и заставляет их служить искусству. И во всем этом нет никаких преувеличений; все это простые и основные истины духовной жизни, в которых опытный глаз сразу узнает основные истины христианства.

III

Согласно этому *сердечное созерцание* надо понимать так.

Когда человеческая любовь избирает себе такое жизненное созерцание, которым действительно стоит жить и за которое стоит и умереть, то она становится *духовной*

любовью. Если же духовная любовь овладевает человеческим воображением, наполняет его своею силою и своим светом и указывает ему достойный предмет, то человек отдается *сердечному созерцанию*: в нем образуется новый, чудесный орган духа, орган творчества, познания и жизни, который возносит и окрыляет его. Этот орган требует внимания, упражнения и привычки; он открывает перед человеком новые возможности и новые пути культуры.

Тогда человек обращается к миру с тем, чтобы *предметно вчувствоваться в* него, и сочетает, таким образом, весь *объективизм предметной культуры* со всею силою *лично субъективного самовложения*. От этого его творческий акт получает новое направление и новую силу. А если к этому присоединяется *художественное дарование*, то он приобретает способность особой мощи. Его восприятие может дойти до *художественного отождествления с сущностью вещей и человека*, и тогда оно начинает открывать ему гораздо более того, чем обычно считается возможным. Систематическое укрепление и осуществление такого акта художественного отождествления может дать настоящие чудеса в смысле точного постижения: у человека может развиться дар своеобразного *ясновидения*. Этот дар может стать для него сущим бременем и мукой, ибо в мире столько зла, злых побуждений, отвратительных преступлений и хаоса, что воспринимающий их в порядке отождествления человек не может не страдать.

И вот созерцающее вчувствование может постепенно овладеть всеми другими способностями человека: инстинктом, волею, мыслью и другими силами духа. Тогда личная душа человека станет как бы покорным и лепким воском, который будет повиноваться каждому предмету и до известной степени *превращаться в то самое*, что человек воспринимает и познает. От этого у гениальных художников накапливается целое богатство жизненных постижений, сокровище из разнообразнейших образов мира, так что со стороны может показаться, что этот художник обладает каким-то «всеведением». Это и есть то самое, что изумляет нас у Пушкина, у Достоевского, у Леонардо да Винчи и у Шекспира: кажется, что этому художнику открыто *все*, что он *все* знает, все видит и обладает способностью переживать и изображать «чужое» как «свое собственное»; или еще: кажется, что он «всюду побывал»

и всюду точно и до конца постиг первозданные состояния всех вещей и глубочайшие связи всех духов между собою; или еще, что дух его древен, как мир, ясен, как зеркало, и мудр некой божественной мудростью... и что именно поэтому он всегда творчески юн и нов, оригинален и неисчерпаем...

Такой акт можно было бы обозначить как «созерцание сердца» или просто как «созерцание». Именно этой творческой компоненты не хватает современному человеку и современной культуре. Мы должны признать ее драгоценной способностью и добиться ее возрождения и восстановления; мы должны дорожить ею и укреплять ее в себе, для того чтобы очистить, оплодотворить и углубить нашу культуру.

Созерцать — значит приблизительно то же самое, что «смотреть» или «рассматривать»; но созерцание есть *духовное* смотрение и видение, которое способно очищать, символически углублять и творчески укреплять чувственный взгляд человека.

Созерцать — значит приблизительно то же самое, что «наблюдать»; но созерцание есть такое наблюдение, которое *вчувствуется в самую сущность вещей.*

Созерцание можно было бы условно охарактеризовать как *«воображение»*; но только созерцать — значит взирать *интенционально*; поэтому созерцание призвано вживаться в образы мира или в объективный состав каждого предмета — *ответственно и сосредоточенно.*

Созерцание, если угодно, сродни «фантазии»; но только созерцающая фантазия руководится *духовной любовью.* Поэтому она не разбрасывается, а сосредоточивается и отдает свою «интенцию» — в смысле «направления» и в смысле «интенсивности» — любимому духовному предмету.

Можно было бы определить *созерцание* как *непосредственное восприятие* («по-ятие» или «по-н-ятие»), но только в том смысле, что оно предается *тотальному вживанию в любое жизненное содержание.* Это содержание, может быть, мыслится, или желается, или воспринимается чувственно, или видится в мечте, или же рисуется, лепится, поется, строится, выговаривается в слове или совершается в виде поступка. Созерцающее вчувствование может предаться любому жизненному содержанию, или любому предмету, — воспринять его и культурно-твор-

чески претворить его. При этом оно всегда обращено к *реальностям,* которые избираются и воспринимаются силою духовной любви.

Поэтому сердечное созерцание может присоединиться к любому культурному акту; и каждый культурный акт, к которому оно приходит, приобретает особую предметность, проницательную глубину, духовную значительность и творческую силу.

Так, в *познании* оно может возвыситься до того «интеллектуального ви́дения», которым жил Платон, в котором Кант отказал человеку и которое Гегель положил в основу своей философии. В *этике и политике*, в целепонимании и действии оно может приобрести волюнтаристический характер и открыть человеку предвидение событий, практическое созерцание вдаль, вширь и вглубь. В *искусстве* оно приведет человека к *символически-художественному* ви́дению и сделает его мастером «эстетического предмета». В сфере *права и правоведения* оно пробудит в человеке живую интуицию правосознания и сообщит ему такое предметное *правовое видение,* о котором современная юриспруденция забыла и думать.

Оно зажжет в *ученом* любовь к его предмету, даст ему волю к вчувствованию, искусство отождествления и сделает его исследователем «самосути» и знатоком человеческой души. *Священник* и духовник научатся зреть сердца людей, зажигать их Божьим лучом и вести их к самостоятельному и предметному религиозному опыту. Все лечение *врача* обновится силою индивидуализирующего вчувствования. Школьное *преподавание* переродится, и дети начнут переживать по-новому уроки геометрии, географии, истории, педагогики и особенно Закона Божия, излагаемые в словах и образах сердечного созерцания. Кто имел хоть одного учителя, *так* преподававшего свой предмет; кто хоть раз в жизни встретил адвоката, или судью, или податного инспектора, обладавшего *этим* даром; кто имел дело с ротным или батальонным командиром, любившим своих солдат, — тот сразу поймет эту перспективу и верно оценит ее. Что же касается *художественного творчества*, то его настоящий источник живет именно в сердечном созерцании. Воображающее вчувствование есть именно тот подход к миру, который открывает человеку

все двери и все богатства вселенной; нет ничего такого, что могло бы заменить художнику луч созерцающего сердца, — ни в замысле, ни в вынашивании, ни в формировании, ни при завершающей отделке.

При этом нельзя забывать, что в человеческой жизни есть такие реальности, которые воспринимаются, открываются и обогащают дух *только через сердечное созерцание.* Замечательно, что это именно те предметы, которые определяют смысл человеческой жизни, так, что без них жизнь человека скудеет и мертвеет. Духовно воспринять *Бога* и утвердить свою *веру* в Него можно только при помощи сердечного созерцания; оно не может быть заменено никаким умственным доказательством, никаким волевым решением, потому что вера возникает от *вчувствования в Совершенство.* Обрести свою *земную родину* и служить ей верою и правдою можно только через сердечное созерцание: тот, кто не любит свою родину, кто не умеет беречь и творить ее любовным созерцанием, кто не видит ее сущности, ее своеобразия, ее развития, ее живых сил, ее жизненных необходимостей и опасностей, кто не имеет духовного основания вложить в нее свою волю и отдать за нее свое достояние и свою жизнь, — тот не знает, что такое патриотизм. Есть еще и другие предметы, требующие именно этого акта. В конце концов, сердечное созерцание составляет подлинную сущность всякого творческого отношения человека к человеку: без него нет ни истинной *дружбы,* ни истинного *брака и семьи,* — но лишь бледные и обманчивые тени живого общения.

Вот почему я сказал с самого начала: созерцание возносит человеческую душу и делает ее окрыленною. Об этом знали все религиозные вожди и все великие мыслители человечества. Об этом знает кое-что и каждый счастливый человек. И если наша грядущая культура сулит нам надежду и утешение, то лишь при том условии, что возродится и обновится эта великая сила человеческого духа.

20

О БЛАГОДАРНОСТИ

Нет сомнения, человечество найдет пути, ведущие к обновлению, углублению и окрылению своей культуры.

Но для этого оно должно научиться *благодарности* и на ней строить свою духовную жизнь.

Современное нам человечество не ценит того, что ему дается; не видит своего естественного и духовного богатства; не извлекает из своего внутреннего мира того, что в нем заложено. Оно ценит не внутреннюю силу духа, а внешнюю власть — техническую и государственную. Оно хочет не творить, создавать и совершенствовать, а владеть, распоряжаться и наслаждаться. И поэтому ему *всегда мало и всего мало*: оно вечно считает свои «убытки» и ропщет. Оно одержимо *жадностью и завистью* и о благодарности не знает ничего.

И вот, каждый из нас должен прежде всего научиться благодарности.

Стоит нам только раскрыть наше духовное око и присмотреться к жизни — и мы увидим, что каждое мгновение как бы испытывает нас, созрели ли мы для благодарности и умеем ли мы благодарить. И тот, кто выдерживает это испытание, тот оказывается *человеком будущего*: он призван творить новый мир и его культуру, он *уже* носит их в себе, он творческий человек; а тот, кто не выдерживает этого испытания, тот одержим духовною слепотою и завистью, он носит в себе разложение гибнущей культуры, он человек отживающего прошлого. Вот критерий духовности, вот закон и мера, о которых мало кто думает, но по которым необходимо различать людей.

Как только человек откроет свое духовное око и воспримет окружающую его вселенную, — сквозь эту жестокую кору повседневности и примелькавшейся, привычной, омертвевшей пошлости, — так он откроет великое множество даров, окружающих его отовсюду. Обычно мы принимаем эти дары самоуверенно и равнодушно, как нечто само собою разумеющееся, как наш «экзистенцминимум», причитающийся нам: кажется, что все это рассыпается в мире «так, между прочим», «ниоткуда» и никакого особенного значения не имеет. Мы измеряем эти дары мерою нашей личной пользы, и ропщем, и негодуем, если что-нибудь нас не удовлетворяет или нам не подходит... Мы проходим через жизнь как властные и самодовольные хозяева, которые имеют полное право заметить и не обратить внимания, принять и отвергнуть, одобрить

и пожурить, воспользоваться и забыть. Мы выбираем нужное и полезное, мы предпочитаем удобное и приятное — и оставляем прочее без внимания. Как неблагодарные наследники, мы совершенно не думаем о Том, Кто оставил нам это жизненное богатство и Кто вложил в каждый самомалейший дар следы Своего Духа.

Как только мы откроем наше духовное око, так мы увидим везде и повсюду целое богатство таких даров, данных нам не для жизненного использования или злоупотребления, а для изучения, истолкования, изумления и радования. Мы разучились дивоваться на эти истинные чудеса Божии, мы проходим мимо них с каменным и холодным сердцем, и если кто-нибудь дивуется на их таинственную божественность, то мы пытаемся разочаровать и «успокоить» его при помощи механически-плоских «объяснений» — и считаем это признаком нашей «образованности» и «просвещенности». Но это и свидетельствует о нашей духовной «декадентности» и бесплодности; и еще о нашей *завистливости и неблагодарности.* Ибо, в самом деле, кто, получив некий богатый дар, начинает злоупотреблять им в бессердечии, тот лишен чувства благодарности: он отвечает на щедрость — черствостью и на благость — пренебрежением, и это обличает в нем завистника. А зависть делает его слепым.

Мир полон чудес Божиих — вот древняя мудрость, которая не увянет во веки веков. Никакие научные исследования и открытия не отнимут у нее ничего; они только возобновят и подтвердят ее с новою силою. Так было, так и будет. Никакое наблюдение не лишит богосозданного чуда — его глубины и значительности; никакое мышление, познание и объяснение не погасит его необъясненной таинственности. Мы просыпаемся к бытию и жизни — и видим себя окруженными этими дарами, как бы включенными или вращенными в них: *пространство, время, живая материя, душевные способности, духовные силы.* Мы живем всю жизнь в *этих дарах, ими, из них*; мы *творим* в них *новое* и можем создать из них дивное и значительное; мы наслаждаемся ими и тогда, когда злоупотребляем ими; а когда мы покидаем эту жизнь, то иногда уходим с чувством, что нам было дано бесконечное богатство и что мы сделали из него слишком мало.

Какой драгоценный дар имеет собственное, лично-особенное, единственное в своем роде, покорно-непослушное *тело*, всю жизнь прислушиваться к нему, чтобы овладеть его таинственными законами и подчинить их законам *духа!* Какое драгоценное право — превратить его в верный символ своей духовности и, наконец, когда оно впадает в изнеможение, покинуть его для лучшей, более свободной и духовной жизни!

А этот изумительный дар Божий, именуемый *пространством,* с его светом и тенью, с его прерывно-непрерывным наполнением, с его бесконечными звездными далями, с его богатством форм и красок, со всеми радостями движения и относительного покоя, с творческими перспективами в искусстве! Сколько созерцания, сколько тайн, сколько мудрости!

А дивный дар *времени* — с неисследимым началом и неведомым концом... Всего один, кратчайший, светлый миг длительности, скользящий из будущего в прошлое, пожизненно непреходящий, раскрывающий нам сразу две перспективы — утрачиваемого богатства в прошедшем и обетованного богатства в будущем... Великое русло мгновений, которое мы можем заполнить творческим трудом, любовью, богосозерцанием, молитвой и красотой и по которому мы в действительности то проносимся в страстях и злодеяниях, то влачимся в пошлых развлечениях...

А это неисчерпаемое богатство *природы* — в ее органическом единстве, в ее сокровенной закономерности, в ее покое и в ее бурях, в ее благостной готовности служить человеку, показывать ему свою красоту, открывать ему свою разумность и тихо принять его покинутые останки...

Каждый дар дивен и драгоценен, каждый указывает человеку его задачи и его никогда не заполнимые перспективы. Каждый говорит нам о сокровенной благости, мудрости и любви к человеку; каждый зовет его к истинному счастью.

Да, это счастье — властвовать над своим телом и над своею душою, строить и крепить свой характер, копить духовные богатства, совершенствовать свои духовные акты. Это счастье — творчески работать, создавать в мире новую красоту, отдавать свое вдохновение и свои усилия на создание Божией ткани в мироздании. Это счастье — ве-

сти общение с людьми, вчувствуясь в их жизнь и постигая ее смысл; отдавать им свое лучшее и принимать их дары; прощать им и получать от них прощение; иметь отца и мать, и самому делаться отцом или матерью; иметь верных друзей; отстаивать свою родину и служить своему народу. Это счастье — любить и быть любимым; это чудо — обмениваться взглядом любви и выражать любимой женщине полноту своего чувства — целостно и нежно. Это счастье — воспринимать веяние духа и одухотворять свою душу и жизнь. Это счастье — переживать молитву, исследовательскую очевидность, совестный акт, художественное созерцание, истинную политическую свободу и служить водворению справедливости на земле.

Но высшее счастье состоит в том, чтобы находить в собственном сердце *Божий луч*, следовать ему в молитве и в делах, постигать его во всем и повсюду, и открывать другим людям доступ к нему.

И вот, когда наше духовное око отверзается, видит эти дары во всей их драгоценности и неисчерпаемости и когда сердце наше ощущает скрытую за ними благость и любовь, — то приходит час нашего ответа на все узренное и полученное. И если мы не отвечаем молитвою благодарения, то мы оказываемся недостойными этих даров. Но при этом мы уже не можем оправдываться нашей прежней слепотой. Если наше сердце не отозвалось, не вострепетало и не загорелось, если оно не преисполнилось благодарности, то это означает, что оно ожесточилось в черствой зависти.

Что такое благодарность? Это ответ живого, любящего сердца на оказанное ему благодеяние. Оно отвечает любовью на любовь, радостью на доброту, излучением на свет и тепло, верным служением на дарованную благодать. Благодарность не нуждается в словесных изъявлениях, и иногда бывает лучше, чтобы человек переживал и проявлял ее бессловесно. Благодарность не есть и простое признание чужого благодеяния; ибо озлобленное сердце сопровождает такое признание чувством обиды, унижения или даже жаждою мести. Нет, настоящая благодарность есть *радость и любовь*, и в дальнейшем — потребность ответить добром на добро. Эта радость вспыхивает сама, свободно, невынужденно и ведет за собою любовь —

свободную, искреннюю. Человек приемлет дар — и радуется не только полученному дару, но и доброте дарящего. Его любви и Его бытию и, наконец, тому, что эта доброта пробуждает любовь в душе самого одаренного. Дар есть зов, взывающий к доброму ответу. Дар есть луч, требующий ответного излучения. Он обращается сразу — и к сердцу, и к воле. Воля принимает решения; она желает ответить и начинает действовать; и это действие *обновляет жизнь* любовью и добротою.

Когда человек видит перед собою неисчерпаемые дары Божии, то в нем очень скоро возникает чувство, что он никогда не сможет ответить сполна на эту неисчерпаемую благость. Чем дольше, чем постояннее он погружается в созерцание этих даров, тем увереннее он читает повсюду символические письмена Всевышнего и тем сильнее становится в нем чувство, что он никогда не сумеет ни прочесть их до конца, ни воздать Господу достойную благодарность и хвалу. Сколько гениальных естествоиспытателей носили в себе это чувство в течение всей жизни, и все они знали о том, что «достаточного» ответа они не имеют!..[1]

И в самом деле, чем мы можем ответить великому Подателю этих даров? Какая благодарность соответствовала бы Его благости?.. Поэтому правы те, кто, проведя свою жизнь в созерцании и благодарении, завершают ее молитвою: «Прости мне Господи, что я не сумел достойно возблагодарить Тебя за дары Твои, что не хватило у меня любви и радости для того, чтобы любить Тебя превыше всего и радоваться на Твои создания»...

Так отверстое око духа воспринимает дары Творца; так истинная благодарность поставляет нас в луч Божий и возводит нас к созерцанию Его. Каждый миг жизни испытывает человеческое сердце: способно ли оно к благодарению, созрело ли оно для благодарности, — ибо каждый миг несет ему дары, из коих благостно излучается верховная мудрость и любовь. Поэтому глубочайший смысл благодарности состоит в том, что она *открывает человеку доступ к Богу*: ибо она есть не что иное, как вос-

---

[1] См. книжечку профессора Деннерта: «Die Religion der Naturforscher». Leipzig, 1925. Я привожу выдержки из нее в моей книге «Путь духовного обновления», а также в «Аксиомах религиозного опыта».

пламенение личного огня, отвечающего на зов вечного отеческого пламени из средоточия вселенной.

Так религиозная благодарность очищает душу от зависти и ненависти. И будущее человечества принадлежит именно благодарным сердцам.

21

ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИОЗНОСТЬ

Из частного письма

Дорогой друг!

Ответить на вопрос, который ты мне ставишь с такой неумолимой строгостью, совсем не так легко и просто. Ведь это один из самых тонких и глубоких вопросов, касающихся человеческого существа. Здесь дело идет о самой интимной сфере внутреннего мира, где многое оказывается столь «воздушным» и неуловимым, безмолвным и избегающим слов, где самое ароматное оказывается невыразимым и неописуемым, так что иногда кажется совершенно невозможным приблизиться к исследуемому предмету, не говоря уже о его логических определениях и об их исчерпывающей точности. Далее, между верою и неверием, между религиозностью и безрелигиозностью есть множество своеобразных промежуточных состояний, при которых человек остается колеблющимся, нерешительным, неуверенным, сомневающимся и неустойчивым, причем из этих состояний есть пути, возводящие к подлинной вере, и другие пути, низводящие к слепому ожесточению. Иногда под корою теоретического неверия живет втайне настоящая и глубокая религиозность; и наоборот, нередко ярко выраженная церковная набожность скрывает за собою совершенно недуховную душу с ее совершенно сухими и бессердечными психическими механизмами, известными в науке под именем «навязчивых» или «панических»... Посмотри: в мире есть множество вероисповедно-причисленных, но неверующих людей, — «христиан», совершенно не верующих в Бога, и не способных сказать своим детям что-нибудь верное о Христе. И кто знает, проснется ли в этих людях и когда живое религиозное чувство...

Поэтому нельзя требовать в этой области скороготовых и притязательных логических определений! И если кто-нибудь предлагает такое определение, то мы имеем полное основание отнестись к нему с недоверием.

Но я попытаюсь дать тебе несколько существенных, исследовательски-нащупывающих указаний, по которым можно бывает узнать религиозного человека.

Самое важное состоит в том, что религиозность не есть нечто частичное, но *целостное*. Она имеет удивительную способность — внутренно объединять человека, придавать ему духовную цельность или «тотальность». Эта целокупность инстинкта, души и духа, разрозненных влечений и главного, основного жизненного потока достигается различно в разных религиях. Но она всюду имеется налицо, где религия сохраняет свое духовное достоинство. Религиозный человек подобен «монолиту». И строго говоря, человека только тогда следует называть религиозным, если и поскольку ему удается стать духовным единством. Бывает так, что человек становится таким единым духом только в труднейшие часы своей жизни; но тогда именно в эти часы он и оказывается подлинно религиозным. Но дело может сложиться и так, что человек только в последние часы своей пошлой или даже преступной жизни вознесется к внутренней, душевно-духовной тотальности, подобно тем «детопокупателям», о которых повествует Виктор Гюго («L'homme qui rit»*): в открытом океане их настигает буря, они терпят кораблекрушение, в первый раз в жизни произносят молитву Господню и тонут, стоя на коленях. Если человек духовно слаб, расколот или растерян, то это означает, что его религиозность только еще возникает или, наоборот, разлагается и гибнет. Тогда он не может молиться; а тот, кто в таком состоянии пытался молиться, тот знает хорошо, что это была попытка собраться воедино, духовно сосредоточиться и вознестись к цельности, стать хотя бы на миг духовно-тотальным существом...

Поэтому можно было бы сказать: религиозен тот, кто *способен молиться*. Но молиться не означает становиться в молитвенную позу и произносить определенные слова. Молитва совсем не означает и просьбу. Есть молитва бессловесного созерцания, молчаливой благодарности, само-

утраты в небесной благости. Можно молиться в форме вопрошания; можно молиться волевым решением; взывая о помощи; внимая новой, благодатно-молящейся музыке; простыми поступками; неутомимым исследованием. И такое молитвенное свершение всегда сохраняет свой религиозный характер; это есть подъем человеческого огня к Божьему Огнилищу и озарение человеческих сумерек божественным Светом.

Сущность религии состоит вообще в том, что человеку дается и человеком овладевает Откровение. Есть высшее озарение, окончательное и истинное узрение, — очевидность. Но это не то «озарение», которое касается одного взора, еле затрагивает холодный взгляд и бесплодно соскальзывает с него. Откровение не дается любопытному глазу воображения; оно не касается мертвой поверхности душевной, но вступает глубоко во внутренний мир, чтобы захватить сокровеннейшее чувствилище. Оно подобно не касательной линии, а секущей. Оно проникает до самой глубины *сердца*, до источника *воли* и освещает, подобно молнии, сумрачные пространства *инстинкта*. Его луч пронизывает душу до ее *инстинктивной духовности*. Подобно яркому лучу, оно пробуждает око инстинктивно сокрытого духа, чтобы осчастливить его и воссиять обратно из его глубины. В качестве пламени оно зажигает огонь воли, и воля начинает желать духовной жизни, с тем чтобы от его укрепления и облагодатствования эта воля вступила бы в единение с Божиим пламенем. Это и есть то самое, что Макарий Египетский, этот живой пламенник Божий, называл «срастанием» (χράδις — конкретность). И религиозность есть жизнь из этой, свободно и искренно принятой, таинственной и блаженной сращенности.

Образно говоря, это можно было бы описать так. С неба падает молния — и дуб загорается мощным огнем; чем выше дерево, тем ближе к нему молния, тем дальше светит охватившее его пламя. Или еще: молния падает в заснувший вулкан, и вулкан отвечает извержением, которому теперь не будет конца. После восприятия откровения начинается *новая жизнь*; и эта новая жизнь есть *религиозная* жизнь. Пронизанный лучом Благодати, человек становится единым и цельным. И молитва есть не что иное, как стремление к этой встрече, или отверзание духовного

ока навстречу лучу, или зов, направленный к божественному пламени.

Поэтому религиозность не есть какая-то человеческая «точка зрения», или «миросозерцание», или «догматически-послушное мышление и познание». Нет, религиозность есть *жизнь, целостная* жизнь, и притом *творческая*, жизнь. Она есть *новая реальность*, состоявшаяся в человеческом мире для того, чтобы творчески вложиться в остальной мир. Она есть соприкосновение мира с Богом, и притом в этой новой, лично человеческой точке. И более того, она есть новое вступление Божией «энергии» в человеческий мир, новое «облечение» божественного Света, божественной Благости и Силы в новое человеческое сердце. В общем, Событие мировой истории, в процессе возникновения и укрепления Царства Божия.

Люди, подходящие к этому событию извне, знают мало об этой реальности и говорят об изменении «субъективной точки зрения», о «личном обращении» данного человека. Но обновленный человек переживает нечто иное. Он ощущает в себе новую реальность, владеющую им, объединяющую его личность и включающую его по-новому в новый мир. Он чует в себе, подобно Илье Муромцу, новую силу, которая представляется ему беспредельною. Эта сила есть до известной степени «он сам», — отсюда его *повышенная ответственность*; и в то же время она гораздо больше и могущественнее его, — отсюда его *искреннее смирение*. И действительно, в нем живет новая Сила и Власть, которая делает его гораздо более сильным, чем он был сам по себе и чем он смел когда-нибудь надеяться. И теперь его величайшая забота состоит в том, чтобы оказаться достойным этой Силы и Власти и соблюсти себя в надлежащей чистоте...

То внутреннее воссоединение, которое он переживает, состоит в том, что в его собственных пределах возникает *новый, властный центр*. Этот центр светит ему в его внутренней жизни то как тихое сияние раскаленного угля, то как победное и радостное пламя. Это светоносное сияние подобно молитве, которая, раз начавшись, не прекращается более. Религиозный человек может исполнять свои жизненные дела, может, по-видимому, предаваться до поглощения своим исследованиям, восприятиям и увле-

чениям и не думать о своем светоносном источнике, — но свет не исчезает, он остается и длится, он сияет, светит и ведет. Иногда кажется, что он только дарует свет, но непрерывно, тихо благостно и властно. Но иногда кажется, что он зовет — то шепотом, то «знаменуя» и предупреждая, как у Сократа; то требуя и вовлекая в решение и деяния, как у христианских праведников; то в виде побеждающей любви, как у Исаака Сириянина и у Серафима Саровского; то разверзая внутреннее око и даруя созерцательную очевидность, как у великих философов и естествоиспытателей. А когда человек возвращается из своих мирских предприятий и земных вовлечений к себе, в свою лично-духовную глубину, то он убеждается, что его пребывание «вне центра», в земном лесу, куда он уходил от своего храма, не разлучало его с его священным центром и что огонь его божественного алтаря не угасал. Это испытывается как великая радость и ободрение. Возвращение в уже сложившийся и устойчивый центр придает его пламени *очистительную силу*; и каждый раз, как это возобновляется, духовная центрированность человека становится все более мощной и определяющей. Так человек получает возможность постоянно осязать в своей душевно-духовной глубине некую непрекращающуюся сокровенную молитву, — бессловесную, тихо сияющую наподобие лампады, — и не выходить из центрального луча даже и в таких жизненных положениях, которые являются, по-видимому, «безразличными» или «периферическими»...

Так слагается характер религиозного человека. Постепенно его духовный центр, — где он обретает в себе Божию Энергию или где он «утрачивает» себя в Его лучах, — становится в нем *вездесущим*. Это совсем не выражается в том, что он то и дело принимает благочестивый вид, надоедает всем окружающим своим пустосвятством, держится чопорно и елейно или ведет постоянно богословские и моральные беседы. Нет, его центрированность остается интимной и личной, и притом совершенно подлинной в своей интимности и совершенно тихой, непоказной при всей ее подлинности. Но все в нем светится и сияет. Свет изливается во все его душевные состояния, планы, труды и предприятия. Светятся его глаза, лучится его взгляд. Светла его улыбка. Поют звуки его голоса; гармонически

естественна его походка. Он сам становится ясною и прозрачною «средой» для своего центра, послушным и верным «органом» своего излучающего сердца. И вся атмосфера его души уподобляется утреннему воздуху, промытому ночным ливнем с бурею. Про таких людей хочется иногда сказать: «Он чист, как стеклышко Божие»...

Или, иными словами, духовный центр такого человека непрерывно посылает свои «волны» и «лучи». Эти лучи освещают его внутреннее пространство в его одиночестве; они светят вовне, исходя из его дел; они проникают из него во внешний мир. А мир должен быть счастлив и горд, имея в своем составе такого свободно-искреннего и духовно-прозрачного человека.

Вот почему религиозный человек не склонен ко лжи. *Отвращение к неискренности* есть дивный и верный знак религиозности. При наличности серьезных духовных побуждений такой человек может, конечно, заставить себя умолчать об известных событиях и скрыть известные состояния души. Жизнь сложна и многообразна; и голая правда не всегда в жизни духовно уместна и благотворна. Но религиозный человек никогда не лжет *перед лицом* своего Центра, никогда и ни в чем, так же как он не лжет о своем Центре и *из* него. Он не может выговорить ложь или совершить предательство перед лицом Божиим уже в силу одного того, что он не выходит из своего центрального луча и сам служит ему верной и прозрачной средой. Но именно поэтому каждый беззастенчивый лжец нерелигиозен и отчужден от Бога; и церковь, разрешающая и практикующая ложь, утрачивает свой священный смысл и становится орудием противобожественной силы.

Все это можно было бы выразить так. Религиозного человека нетрудно узнать по тем лучам света, которые исходят из него в мир. Один светит добротою; другой — своим художественным искусством; третий — своей очевидностью, или умиряющим покоем, или дивным пением, или простыми, но благородными деяниями. Именно это разумеет Евангелие: «по плодам их узнаете их» (Мтф. 7. 16). Этот свет живой религиозности трудно скрыть или не заметить, потому что он проникает сквозь все дела и «светит миру» (Мтф. 5. 14); и только совсем ожесточенные и сердечно слепые люди могут пройти мимо него, ничего не за-

метив. Внутренняя жизнь религиозного человека должна обнаруживаться и стремиться выйти во внешний мир. Из родникового ключа естественно и верно пить воду. Весенний воздух дается людям для того, чтобы они им дышали; и свет Божий должен светить людям (ср. Мтф. 5. 16). А живая религиозность есть дух Божией весны, веющий в проснувшемся сердце; и есть вода из Божьего родника, который таинственно пробился в облагодатствованной душе; и есть свет Божий, который призван свободно и беспрепятственно излучаться в мир.

По этим свойствам, и склонностям, и проявлениям узнается религиозный человек. В нем есть дуновение духа; в нем есть пение души; из него излучается свет. И всегда он больше, чем он сам; и всегда он внутренно богат, настолько, что он сам далеко не всегда знает меру своего богатства. Ибо то, что он в себе носит и что он излучает, есть Царство Божие, которого он является тайным участником.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
О ДУХОВНОМ ИЗЛУЧЕНИИ

Мы, люди современной эпохи, не должны и не смеем предаваться иллюзиям: кризис, переживаемый нами, не есть только политический или хозяйственный кризис; сущность его имеет духовную природу, корни его заложены в самой глубине нашего бытия; он ставит нас перед последними вопросами и ведет нас в священную область. Мы не имеем ни права, ни основания изображать наше крушение как «невинную» или «неопасную» случайность. Мы должны найти в себе мужество и остроту взгляда, чтобы увидеть вещи такими, каковы они суть на самом деле; мы должны найти в себе волю, чтобы выговорить всю правду и вступить на новые пути. Нам надо освободиться от мелочей повседневности и приучиться смотреть вдаль: куда идет, куда соскальзывает современный мир? Что ожидает нас? Что нам делать для того, чтобы предотвратить злейшие возможности и создать новую, прекрасную жизнь?..

Но есть закон, в силу которого грядущая даль открывается только тому, кто смотрит из глубины. Поэтому нам необходимо подлинное углубление духа; мы должны прежде всего сосредоточиться и уйти в живую глубину нашего собственного существа, в «субстанцию» нашей человечности или, как сказал бы Аристотель, в «энтелехию» нашего духа, в ту священную сферу, благодатность и божественность которой возвестил нам Сын Божий, Иисус Христос. Повсюду, во всем мире должен начаться постепенно духовный пересмотр наших душевных актов и наших предметных содержаний: в отдельных людях и в малых кружках, в религиозных общинах, в философских

обществах и в целых культурных движениях люди будут сосредоточиваться на последних, священных истоках своей жизни; они будут созерцать жизнь своего сердца и судить о нем, — каковым оно должно быть, и каким оно оказалось в действительности, и чего ему недостает... Чем серьезнее, чем ответственнее, чем глубже, чем искреннее будет этот пересмотр, тем лучше. Ибо бедствия нашего времени велики; и опасность можно будет преодолеть только тогда, если будет захвачена последняя глубина человеческой души, если человечество опять проложит себе путь к Богу. Здесь дело совсем не только в «моральном перевооружении», в этих скудных и вымученных словах, обозначающих новую и дешевую моду и обеспечивающих в лучшем случае укрепленную закулисную дисциплину. Человечество нуждается в обновлении духа и облагорожении инстинкта, в возвращении к евангельской вере, а не в «чистых перчатках», обещаемых антихристом.

Обновление, предстоящее нам, должно составить целую эпоху в истории. Ибо старые дороги исхожены, и прежнее строение акта, творившего культуру, привело нас к ужасным, чудовищным проявлениям внутренней жестокости и внешней техники. И близится время, когда мы все будем помышлять только о внутреннем обновлении и будем искать Божией помощи и спасения.

Поэтому наше время есть время поворота. Никогда еще отрицательные силы человеческого существа не выступали с таким дерзновением, так самоуверенно, с таким самосознанием; никогда еще они не делали таких вызывающих попыток захватить власть над миром; никогда еще человек не располагал такими техническими возможностями, никогда еще он не владел такими разрушительными средствами... В мире намечается перелом; может быть, он уже совершается. Прежнее равновесие утрачено. И той худшей опасности, которая нам грозит, мы можем противостоять только при условии внутреннего обновления...

И первые признаки начинающегося обновления мы узнаем в том своеобразном излучении, которое будет исходить от обновленных людей, в этих лучах живой доброты, сердечного созерцания, совести и мужественно-спокойной веры. Ибо нельзя приходить в соприкосновение.

с этими последними сферами человечески-божественной глубины, не пробудив в своем инстинкте живой духовности, не оживив в себе христианского сердца со всей его дивной энергией и прозорливостью. А живое сердце посылает в мир свои лучи; и эти исходящие из него лучи не просто человеческие, но божественно-духоносные...

Все чаще слышатся голоса, утверждающие, что человечество может спастись только через «Новое откровение»... Как если бы данное нам откровение Христа было «исчерпано» или «изжито»; как если бы человечество уже исходило Его пути — пути богосыновства, благодарности, сердечного созерцания и живой доброты, — и они не привели ни к чему... Как если бы современный кризис был не *нашим* кризисом, а кризисом *Господа Бога*, потому что Он открыл нам «слишком мало» или «слишком давно» и теперь должен поторопиться и восполнить упущенное. А в действительности это мы не сумели воспринять данное нам Откровение и зажить им по-настоящему...

Лучи божественного Откровения не были отняты у нас. Они светят нам и ныне, как в начале; и мы имеем задание — верно воспринять эти лучи и зажить ими. Нам надо найти религиозный акт верного строения, который позволит нам совершить это так, чтобы эти лучи не только светили нам, но излучались через нас и из нас самих, из нашего сердечного созерцания, соединяя нас с другими людьми, освещая нам близкое и далекое будущее и направляя нашу земную жизнь.

Современный человек должен увидеть и убедиться, что его судьба зависит от того, *что он сам излучает в мир*, и притом во всех сферах жизни. Он должен удостовериться в том, что дело идет о его душевном очищении, об оживлении и творческом изживании его сердца. Потому что заглохшее и омертвевшее сердце бессильно и слепо; и когда оно обращается к жизни, то оно не может вложить в нее ничего хорошего.

Человеческая культура может быть обновлена только живым, излучающим сердцем, ибо только в нем зарождаются новые творческие идеи, только ему дается *очевидность*.

◆

ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ
КНИГА ТИХИХ СОЗЕРЦАНИЙ

◆

ПРЕДИСЛОВИЕ
О ЧТЕНИИ

Каждый писатель тревожится о том, как его будут читать? Поймут ли? Увидят ли то, что он хотел сказать? Почувствуют ли то, что любило его сердце? И кто будет его читать? От этого зависит так много... И прежде всего — состоится ли у него желанная, духовная встреча с теми далекими, но *близкими,* для которых он втайне писал свою книгу?

Дело в том, что далеко не все читающие владеют искусством чтения: глаза бегают по буквам, «из букв вечно выходит какое-нибудь слово» (Гоголь) и всякое слово что-нибудь да «значит»; слова и их значения связываются друг с другом и читатель представляет себе что-то — «подержанное», расплывчатое, иногда непонятное, иногда приятно-мимолетное, что быстро уносится в позабытое прошлое... И это называется «чтением». Механизм без духа. Безответственная забава. «Невинное» развлечение. А на самом деле — культура верхоглядства и поток пошлости.

Такого «чтения» ни один писатель себе не желает. Таких «читателей» мы все опасаемся. Ибо настоящее чтение происходит совсем иначе и имеет совсем иной смысл...

Как возникло, как созрело написанное?

Кто-то жил, любил, страдал и наслаждался; наблюдал, думал, желал — надеялся и отчаивался. И захотелось ему поведать нам о чем-то таком, что *для всех* нас важно, что нам необходимо духовно увидеть, прочувствовать, продумать и усвоить. Значит — что-то *значительное* о чем-то *важном и драгоценном.* И вот он начал отыскивать верные

образы, ясно-глубокие мысли и точные слова. Это было не легко, удавалось не всегда и не сразу. Ответственный писатель вынашивает свою книгу долго, годами, иногда — всю жизнь, не расстается с нею ни днем, ни ночью, отдает ей свои лучшие силы, свои вдохновенные часы, «болеет» ее темою и «исцеляется» писанием. Ищет сразу и правды, и красоты, и «точности» (по слову Пушкина), и верного стиля, и верного ритма и все для того, чтобы рассказать, не искажая, видение своего сердца... И, наконец, произведение готово. Последний просмотр строгим, зорким глазом; последние исправления — и книга отрывается, и уходит к читателю, неизвестному, далекому, может быть — легковесно-капризному, может быть — враждебно-придирчивому... Уходит — без него, без автора. Он выключает себя и оставляет читателя со своею книгою «наедине».

И вот мы, читатели, беремся за эту книгу. Перед нами накопление чувств, постижений, идей, образов, волевых разрядов, указаний, призывов, доказательств, целое здание духа, которое дается нам прикровенно, как бы при помощи шифра. Оно скрыто за этими черными мертвыми крючками, за этими общеизвестными, поблекшими словами, за этими общедоступными образами, за этими отвлеченными понятиями. Жизнь, яркость, силу, смысл, дух — должен из-за них добыть *сам читатель.* Он должен воссоздать в себе созданное автором; и если он не умеет, не хочет и не сделает этого, то *за него* не сделает этого никто: всуе будет его «чтение» и книга пройдет мимо него. Обычно думают, что чтение доступно всякому грамотному... Но, к сожалению, это совсем не так. Почему?

Потому, что настоящий читатель отдает книге свое свободное внимание, все свои душевные способности и свое умение вызывать в себе ту верную духовную установку, которая необходима для понимания *этой* книги. Настоящее чтение не сводится к бегству напечатанных слов через сознание, оно требует сосредоточенного внимания и твердого желания верно услышать голос автора. Одного рассудка и пустого воображения для чтения недостаточно. Надо *чувствовать сердцем и созерцать из сердца.* Надо пережить страсть — страстным чувством, надо пережить драму и траге-

дию живою волею, в нежном лирическом стихотворении надо внять всем вздохам, вострепетать всею нежностью, взглянуть во все глуби и дали; а великая идея может потребовать не более и не менее как всего человека.

Это означает, что читатель призван верно воспроизвести в себе душевный и духовный акт писателя, зажить этим актом и доверчиво отдаться ему. Только при этом условии состоится желанная встреча между обоими и читателю откроется то важное и значительное, чем болел и над чем трудился писатель. Истинное чтение есть своего рода *художественное ясновидение,* которое призвано и способно верно и полно воспроизвести духовные видения другого человека, жить в них, наслаждаться ими и обогащаться ими. Искусство чтения побеждает одиночество, разлуку, даль и эпоху. Это есть сила духа — оживлять буквы, раскрывать перспективу образов и смысла за словами, заполнять внутренние «пространства» души, созерцать нематериальное, отождествляться с незнаемыми или даже умершими людьми и вместе с автором художественно и мыслительно постигать сущность богозданного мира.

Читать — значит *искать и находить;* ибо читатель как бы отыскивает скрытый писателем духовный клад, желая найти его во всей его полноте и присвоить его себе. Это есть *творческий* процесс, ибо воспроизводить значит творить. Это есть борьба за духовную встречу, это есть *свободное единение* с тем, кто впервые приобрел и закопал искомый клад. И тому, кто никогда этого не добивался и не переживал, всегда будет казаться, что от него требуют «невозможного».

Искусство чтения надо приобретать и вырабатывать в себе. Чтение должно быть углублено, оно должно стать творческим и созерцательным. И только тогда нам всем откроется его духовная ценность и его душеобразующая сила. Тогда мы поймем, что следует читать и чего читать не стоит, ибо есть чтение, углубляющее душу человека и строящее его характер, а есть чтение разлагающее и обессиливающее.

По чтению можно узнавать и определять человека. Ибо каждый из нас есть то, *что* он читает; и каждый человек

есть то, как он читает; и все мы становимся незаметно тем, что мы вычитываем из прочтенного, — как бы букетом собранных нами в чтении цветов...

Книга, для которой я пишу это предисловие, выношена в сердце, написана от сердца и говорит о сердечном пении. Поэтому ее нельзя понять в бессердечном чтении. Но я верю, что она найдет своих читателей, которые верно поймут ее и увидят, что она написана для русских о России.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПЕРВЫЕ ЛУЧИ

1

БЕЗ ЛЮБВИ

(Из письма к сыну)

Итак, ты думаешь, что можно прожить без любви: *сильною волею, благою целью, справедливостью и гневной борьбой с вредителями?* Ты пишешь мне: «О любви лучше не говорить: ее *нет* в людях. К любви лучше и не призывать: кто пробудит ее в черствых сердцах?»...

Милый мой! Ты и прав, и не прав. Собери, пожалуйста, свое нетерпеливое терпение и вникни в мою мысль.

Нельзя человеку прожить без любви, потому что она *сама в нем просыпается и им овладевает.* И это дано нам *от Бога и от природы.* Нам не дано произвольно распоряжаться в нашем внутреннем мире, удалять одни душевные силы, заменять их другими и насаждать новые, нам не свойственные. Можно воспитывать себя, но нельзя сломать себя и построить заново по своему усмотрению. Посмотри, как протекает жизнь человека. Ребенок применяется к матери — потребностями, ожиданием, надеждою, наслаждением, утешением, успокоением и благодарностью; и когда все это слагается в первую и нежнейшую любовь, то этим определяется его личная судьба. Ребенок ищет своего отца, ждет от него привета, помощи, защиты и водительства, наслаждается его любовью и любит его ответно; он гордится им, подражает ему и чует в себе его кровь. Этот голос крови говорит в нем потом всю жизнь, связывает его с братьями и сестрами, и со всем родством. А когда он позднее загорается взрослой любовью к «ней» (или, соответственно, она к «нему»), то задача состоит в том, чтобы превратить это «побуждение природы» в подлинное «посещение Божие» и принять его как свою судь-

бу. И не естественно ли ему любить своих детей той любовью, которой он в своих детских мечтаниях ждал от своих родителей?.. Как же обойтись без любви? Чем заменить ее? Чем заполнить страшную пустоту, образующуюся при ее отсутствии?

Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть *главная выбирающая сила в жизни.* Жизнь подобна огромному, во все стороны бесконечному потоку, который обрушивается на нас и несет нас с собою. Нельзя жить *всем,* что он несет, нельзя отдаваться этому крутящемуся хаосу содержаний. Кто попытается это сделать, тот растратит и погубит себя: из него ничего не выйдет, ибо он погибнет во всесмешении. Надо *выбирать:* отказываться от очень многого ради сравнительно немногого; это немногое надо привлекать, беречь, ценить, копить, растить и совершенствовать. И этим строить свою личность. Выбирающая же сила есть любовь: это она «предпочитает», «приемлет», «прилепляется», ценит, бережет, домогается и блюдет верность. *А воля есть лишь орудие любви* в этом жизненном делании. Воля без любви пуста, черства, жестка, насильственна и, главное, *безразлична к добру и злу.* Она быстро превратит жизнь *в каторжную дисциплину под командой порочных людей.* На свете есть уже целый ряд организаций, построенных на таких началах. Храни нас Господь от них и от их влияния... Нет, нам нельзя без любви: она есть великий дар — *увидеть лучшее, избрать его и жить им.* Это есть необходимая и драгоценная способность сказать «да», принять и начать самоотверженное служение. Как страшна жизнь человека, лишенного этого дара! В какую пустыню, в какую пошлость превращается его жизнь!

Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть *главная творческая сила человека.*

Ведь человеческое творчество возникает не в пустоте и протекает не в произвольном комбинировании элементов, как думают теперь многие верхогляды. Нет, творить можно только *приняв богозданный мир,* войдя в него, вросши в его чудесный строй и слившись с его таинственными путями и закономерностями. А для этого нужна вся сила любви, весь дар художественного перевоплощения, отпущенный человеку. Человек творит не из пустоты: он творит *из уже сотворенного,* из сущего, создавая новое в

пределах данного ему естества — внешне-материального и внутренно-душевного. Творящий человек должен внять мировой глубине и сам запеть из нее. Он должен научиться *созерцать сердцем,* видеть любовью, уходить из своей малой личной оболочки в светлые пространства Божии, находить в них *Великое — сродное — сопринадлежащее,* вчувствоваться в него и создавать *новое из древнего и невиданное из предвечного.* Так обстоит во всех главных сферах человеческого творчества: во всех искусствах и в науке, в молитве и в правовой жизни, в общении людей и во всей культуре. Культура без любви есть мертвое, обреченное и безнадежное дело. И все великое и гениальное, что было создано человеком — было создано из *созерцающего и поющего сердца.*

Нельзя человеку прожить без любви потому, что *самое главное и драгоценное в его жизни открывается именно сердцу.* Только созерцающая любовь открывает нам *чужую душу* для верного, проникновенного общения, для взаимного понимания, для дружбы, для брака, для воспитания детей. Все это недоступно бессердечным людям. Только созерцающая любовь открывает человеку его *родину,* т. е. его духовную связь с родным народом, его национальную принадлежность, его душевное и духовное лоно на земле. Иметь родину есть счастье, а иметь ее можно только любовью. Не случайно, что люди ненависти, современные революционеры, оказываются интернационалистами: мертвые в любви, они лишены и родины. Только созерцающая любовь открывает человеку доступ *к религиозности и к Богу.* Не удивляйся, мой милый, безверию и маловерию западных народов: они приняли от римской церкви неверный религиозный акт, начинающий с воли и завершающийся рассудочной мыслью, и, приняв его, пренебрегли сердцем и утратили его созерцание. Этим был предопределен тот религиозный кризис, который они ныне переживают.

Ты мечтаешь о сильной воле. Это хорошо и необходимо. Но она страшна и разрушительна, если не вырастет из созерцающего сердца. Ты хочешь служить благой цели. Это верно и превосходно. Но как ты увидишь свою цель, если не сердечным созерцанием? Как ты узнаешь ее, если не совестью своего сердца? Как соблюдешь ей верность, если не любовью? Ты хочешь справедливости, и мы все

должны ее искать. Но она требует от нас художественной индивидуализации в восприятии людей, а к этому способна только любовь. Гневная борьба с вредителями бывает необходима, и неспособность к ней может сделать человека сентиментальным предателем. Но гнев этот должен быть *рожден любовью,* он должен быть сам *ее воплощением* для того, чтобы находить в ней оправдание и меру...

Вот почему я сказал, что ты «и прав, и не прав».

И еще: я понимаю твое предложение «лучше о любви не говорить». Это верно: *надо жить ею,* а не говорить о ней. Но вот, посмотри: в мире раздалась открытая и безумная пропаганда ненависти, в мире поднялось упорное и жестокое гонение на любовь — поход на семью, отрицание родины, подавление веры и религии. Практическая бессердечность одних увенчалась прямою проповедью ненависти у других. Черствость нашла своих апологетов. Злоба стала доктриною. А это означает, что пришел час *заговорить о любви* и встать на ее защиту.

Да, в людях мало любви. Они исключили ее из своего культурного акта: из науки, из веры, из искусства, из этики, из политики и из воспитания. И вследствие этого современное человечество вступило в духовный кризис, невиданный по своей глубине и по своему размаху. Видя это, понимая это, нам естественно спросить себя: кто же пробудит любовь в черствых сердцах, если она не пробудилась от жизни и слова Христа, Сына Божия? Как браться за это нам, с нашими малыми человеческими силами?

Но это сомнение скоро отпадет, если мы вслушаемся в голос нашего сердечного созерцания, уверяющего нас, что Христос и в нас и с нами...

Нет, мой милый! Нельзя нам без любви. Без нее мы *обречены* со всей нашей культурой. В ней наша надежда и наше спасение. И как нетерпеливо я буду ждать теперь твоего письма с подтверждением этого.

2

О СПРАВЕДЛИВОСТИ

С незапамятных времен люди говорят и пишут о справедливости: может быть, даже с тех самых пор, как вообще начали говорить и писать... Но до сих пор вопрос, по-

видимому, не решен — что такое справедливость и как ее осуществить в жизни? Трудно людям согласиться в этом деле, потому что они чувствуют жизненное практическое значение этого вопроса, предвидят невыгодные последствия для себя и потому спорят, как заинтересованные, беспокойно и подозрительно: того гляди «согласишься» «на свою голову» — и что тогда?

Каждый из нас желает справедливости и требует, чтобы с ним обходились справедливо: каждый жалуется на всевозможные несправедливости, причиненные ему самому, и начинает толковать справедливость так, что из этого выходит *явная несправедливость в его пользу.* При этом он убежден, что толкование его правильно и что он «совершенно справедливо» относится к другим, но никак не хочет заметить, что все возмущаются его «справедливостью» и чувствуют себя притесненными и обойденными. Чем скуднее, теснее и насильственнее жизнь людей, тем острее они переживают все это и тем труднее им договориться и согласиться друг с другом. В результате оказывается, «справедливостей» столько, сколько недовольных людей и единой, настоящей Справедливости найти невозможно. А ведь, строго говоря, только о ней и стоит говорить.

Это означает, что интересы и страсти искажают великий вопрос, ум не находит верного решения и все обрастает дурными и ловкими предрассудками. Из предрассудков возникают ложные учения, они ведут к насилию и революции, а революции приносят только страдания и кровь, чтобы разочаровать и отрезвить людей, оглушенных своими страстями. Так целые поколения людей живут в предрассудках и томятся в разочаровании; и иногда бывает так, что самое слово «справедливость» встречается иронической улыбкой и насмешкой.

Однако все это не компрометирует и не колеблет старую, благородную идею справедливости и мы по-прежнему должны противопоставлять ее всякой бессовестной эксплуатации, всякой классовой борьбе и всякому революционному уравнительству. Мы можем быть твердо уверены, что ей принадлежит будущее. И все дело в том, чтобы верно постигнуть ее сущность.

Французская революция восемнадцатого века провозгласила и распространила вредный предрассудок, будто

люди от рождения или от природы «равны» и будто вследствие этого со всеми людьми надо обходиться «одинаково»... Этот предрассудок *естественного равенства* является главным препятствием для разрешения нашей основной проблемы. Ибо сущность справедливости состоит именно в *неодинаковом обхождении с неодинаковыми людьми.*

Если бы люди были действительно равны, т. е. одинаковы телом, душою и духом, то жизнь была бы страшно проста и находить справедливость было бы чрезвычайно легко. Стоило бы только сказать: «одинаковым людям — одинаковую долю» или «всем всего поровну» — и вопрос был бы разрешен. Тогда справедливость можно было бы находить арифметически и осуществлять механически; и все были бы довольны, ибо люди и в самом деле были бы, как равные атомы, как механически перекатывающиеся с места на место шарики, до неразличимости одинаковые и внутренне и внешне. Что может быть наивнее, упрощеннее и пошлее этой теории? Какое верхоглядство — или даже прямая слепота — приводят людей к подобным мертвым и вредным воззрениям? После французской революции прошло 150 лет. Можно было бы надеяться, что этот слепой материалистический предрассудок отжил давно свой век. И вдруг он снова появляется, завоевывает слепые сердца, торжествует победу и обрушивает на людей целую лавину несчастья...

На самом деле люди *не равны* от природы и *не одинаковы* ни телом, ни душою, ни духом. Они родятся существами различного пола; они имеют от природы неодинаковый возраст, неравную силу и различное здоровье; им даются различные способности и склонности, различные влечения, дары и желания; они настолько отличаются друг от друга телесно и душевно, что на свете вообще невозможно найти двух одинаковых людей. От разных родителей рожденные, разной крови и наследственности, в разных странах выросшие, по-разному воспитанные, к различным климатам привыкшие, неодинаково образованные, с разными привычками и талантами — люди творят неодинаково и создают неодинаковое и неравноценное. Они и духовно неодинаковы: все они — различного ума, различной доброты, несходных вкусов; каждый со своими воззрениями и со своим особым правосознанием.

Словом, они различны во *всех* отношениях. И справедливость требует, чтобы с ними обходились согласно их личным особенностям, не уравнивая неравных и не давая людям необоснованных преимуществ. Нельзя возлагать на них одинаковые *обязанности:* старики, больные, женщины и дети не подлежат воинской повинности. Нельзя давать им одинаковые *права:* дети, сумасшедшие и преступники не участвуют в политических голосованиях. Нельзя *взыскивать* со всех одинаково: есть малолетние и невменяемые, с них взыскивается меньше, есть призванные к власти, с них надо взыскивать строже и т. д. И вот, кто отложит предрассудки и беспристрастно посмотрит на жизнь, тот скоро убедится, что люди *неравны* от природы, *неравны* по своей силе и способности, *неравны* и по своему социальному положению; и что *справедливость не может требовать одинакового обхождения с неодинаковыми людьми;* напротив, она требует *неравенства для неравных,* но *такого неравенства,* которое *соответствовало* бы действительному неравенству людей.

Здесь-то и обнаруживается главная трудность вопроса. Людей — бесконечное множество, все они различны. Как сделать, чтобы каждый получил в жизни согласно своей особливости? Как угнаться за всеми этими бесчисленными своеобразиями? Как «воздать каждому свое» (по формуле римской юриспруденции)? Они *не* одинаковы; значит, и обходиться с ними надо не одинаково — согласно их своеобразию... Иначе возникнет несправедливость...

Итак, справедливость совсем не требует равенства. Она требует *предметно-обоснованного неравенства.* Ребенка надо охранять и беречь, это дает ему целый ряд *справедливых привилегий.* Слабого надо щадить. Уставшему подобает снисхождение. Безвольному надо больше строгости. Честному и искреннему надо оказывать больше доверия. С болтливым нужна осторожность. С одаренного человека справедливо взыскивать больше. Герою подобают почести, на которые не герой не должен претендовать. И так — во всем и всегда...

Поэтому справедливость есть *искусство неравенства.* В основе ее лежит внимание к человеческой индивидуальности и к жизненным различиям. Но в основе ее лежит также *живая совесть и живая любовь* к человеку. Есть осо-

бый *дар справедливости,* который присущ далеко не всем людям. Этот дар предполагает в человеке *доброе, любящее сердце,* которое не хочет умножать на земле число обиженных, страдающих и ожесточенных. Этот дар предполагает еще живую наблюдательность, обостренную чуткость к человеческому своеобразию, способность вчувствоваться в других. Справедливые люди отвергают механическое трактование людей по отвлеченным признакам. Они созерцательны, интуитивны. Они хотят рассматривать каждого человека индивидуально и постигают скрытую глубину его души...

Вот почему справедливость есть начало *художественное:* она созерцает жизнь сердцем, улавливает своеобразие каждого человека, старается оценить его верно и обойтись с ним *предметно.* Она «внимательна», «бережна», «социальна», она блюдет чувство меры, она склонна к состраданию, к деликатному снисхождению и прощению. Она имеет много общего с «тактом». Она тесно связана с чувством ответственности. Она по самому существу своему *любовна:* она родится от сердца и есть живое проявление любви.

Безумно искать справедливость, исходя из ненависти, ибо ненависть завистлива, она ведет не к справедливости, а к всеобщему уравнению. Безумно искать справедливости в революции, ибо революция дышит ненавистью и местью, она слепа, она разрушительна, она враг справедливого неравенства, она не чтит «высших способностей» (Достоевский). А справедливость сама по себе есть одна из высших способностей человека и призвание ее состоит в том, чтобы *узнать и беречь высшие способности...*

Люди будут осуществлять справедливость в жизни тогда, когда *все* или, по крайней мере, очень многие станут ее *живыми художниками* и усвоят *искусство предметного неравенства.* И тогда справедливый строй будет сводиться не к механике справедливых учреждений, а к *органическому интуитивному нахождению предметных суждений и предметных обхождений для непрерывного жизненного потока человеческих своеобразий.* Справедливость не птица, которую надо поймать и запереть в клетку. Справедливость не отвлеченное правило для всех случаев и для всех людей, ибо такое правило *уравнивает,* а не *«опредмечивает»* (от

слова «предмет») жизнь. Справедливость не следует представлять себе по схемам «раз навсегда», «для всех людей», «повсюду». Ибо она именно *не* «раз навсегда», а *живой поток индивидуальных отступлений.* Она не «для всех людей», а *для каждого в особенности.* Она не «повсюду», а живет *исключениями.*

Справедливость нельзя найти ни в виде общих правил, ни в виде государственных учреждений. Она не «система», а жизнь. Ее нужно представлять себе в виде *потока живой и предметной любви к людям.* Только такая любовь может разрешить задачу: она будет *творить жизненную справедливость,* создавать в жизни и в отношениях людей все новое и новое *предметное* неравенство.

Вот почему в жизни важнее всего не *«найденная раз навсегда»* справедливость: это иллюзия, химера, вредная и неумная утопия. В жизни важнее всего *живое сердце, искренно желающее творческой справедливости* и еще — *всеобщая уверенность,* что люди действительно искренно хотят творческой справедливости и честно ищут ее. И если это *есть,* тогда люди будут легко мириться с неизбежными несправедливостями жизни — условными, временными или случайными, и будут охотно покрывать их *жертвенным настроением.* Ибо каждый будет знать, что впереди его ждет *истинная, т. е. художественно-любовная справедливость.*

3
ЕГО НЕНАВИСТЬ

Как тягостно, почти невыносимо бывает это ощущение, что «он меня ненавидит»... Какое чувство собственного бессилия овладевает душою... Хочется не думать об этом, и это иногда удается. Но, и не думая, чувствуешь через духовный эфир эту струю, этот ток чужого отвращения, презрения и зложелательства. И не знаешь, что начать, и не можешь совсем забыть, и несешь на себе через жизнь это проклятие.

Каждый человек — знает он об этом или не знает — есть живой излучающий личный центр. Каждый взгляд, каждое слово, каждая улыбка, каждый поступок излучают в общий духовный эфир бытия особую энергию тепла

и света, которая хочет действовать в нем, хочет быть воспринятой, допущенной в чужие души и признанной ими, хочет вызвать их на ответ и завязать с ними живой поток положительного, созидающего общения. И даже тогда, когда человек по-видимому ни в чем не проявляет себя или просто отсутствует, мы осязаем посылаемые им лучи, и притом тем сильнее, тем определеннее и напряженнее, чем значительнее и своеобразнее его духовная личность.

Мы получаем первое восприятие чужой антипатии, когда чувствуем, что посылаемые нами жизненные лучи не приемлются другим человеком, как бы отталкиваются или упорно не впускаются им в себя. Это уже неприятно и тягостно. Это может вызвать в нас самих некоторое смущение или даже замешательство. В душе возникает странное чувство неудачи, или собственной неумелости, или даже неуместности своего бытия; воля к общению пресекается, лучи не хотят излучаться, слова не находятся, жизненный подъем прекращается и сердце готово замкнуться. Замкнутые и малообщительные люди нередко вызывают такое чувство у общительных и экспансивных людей даже тогда, когда об антипатии не может быть еще и речи. Но антипатия, раз возникнув, может обостриться до враждебности, «сгуститься» в отвращение и углубиться до ненависти, и притом совершенно независимо от того заслужили мы эту ненависть чем-нибудь определенным или нет...

Тот, кто раз видел глаза, горящие ненавистью, никогда их не забудет... Они говорят о личной злобе и предвещают беду; а тот, кто их видит и чувствует себя в фокусе этих лучей, не знает, что делать. Луч ненависти есть луч, ибо он горит и сверкает, он заряжен энергией, он направлен от одного духовного очага к другому. Но ненавидящий очаг горит как бы черным огнем, и лучи его мрачны и страшны; и энергия их не животворна, как в любви, а смертоносна и уничтожающа. За ними чувствуется застывшая судорога души, мучительная вражда, которая желает причинить другому муку и уже несет ее с собою. И когда пытаешься уловить, что же так мучает ненавидящего, то с ужасом убеждаешься, что он мечтает увидеть тебя погибающим в муках и мучается от того, что это еще не свершилось... Я смотрю в эти ненавидящие глаза и вижу, что «он» меня не переносит, что «он» с презрительным отвращени-

ем отталкивает мои жизненные лучи, что «он» провел черту разлуки между собою и мною и считает эту черту знаком окончательного разрыва: по ту сторону черты — он в неутомимом зложелательстве, по сю сторону — я, ничтожный, отвратительный, презираемый, вечно недопогубленный; а между нами — бездна... Зайдя в тупик своей ненависти, он ожесточился и ослеп; и вот, встречает всякое жизненное проявление с моей стороны — убийственным «нет». Этим «нет» насыщены все его лучи, направленные ко мне; а это означает, что он не приемлет лучей от меня, не прощает мне моего бытия и не терпит моего существа — совсем и никак. Если бы он мог, то он испепелил бы меня своим взглядом. Он одержим почти маниакальной идеей — моего искоренения: я осужден, совсем и навсегда, я не имею права на жизнь. Как это выражено у Лермонтова: «нам на земле вдвоем нет места»[1]... В общем и целом — духовная рана, уродство, трагедия...

Откуда это все? За что? Чем я заслужил эту ненависть? И что же мне делать? Как мне освободиться от этого цепенеющего проклятия, предвещающего мне всякие беды и грозящего мне преднамеренным погублением? Могу ли я пренебречь его ожесточением, пройти мимо и постараться забыть об этой черной злобе? Имею ли я право на это? Как избавиться мне от этого угнетающего сознания, что мое существо вызвало в ком-то такое духовное заболевание, такую судорогу отвращения?

Да, но разве вообще возможно распоряжаться чужими чувствами? Разве возможно проникнуть в душу своего ненавистника и погасить или преобразить его ненависть? И если возможно, то как приступить к этому? И где взять для этого достаточную силу и духовное искусство?..

Когда я встречаюсь в жизни с настоящею ненавистью ко мне, то во мне просыпается прежде всего чувство большого несчастья, потом огорчение и ощущение своего бессилия, а вслед за тем я испытываю настойчивое желание уйти от своего ненавистника, исчезнуть с его глаз, никогда больше с ним не встречаться и ничего о нем не знать. Если это удается, то я быстро успокаиваюсь, но потом скоро замечаю, что в душе осталась какая-то удрученность

---

[1] Слова Грушницкого. «Герой нашего времени».

и тяжесть, ибо черные лучи его ненависти все-таки настигают меня, проникая ко мне через общее эфирное пространство. Тогда я начинаю невольно вчувствоваться в его ненавидящую душу и вижу себя в ее черных лучах — их объектом и жертвою. Это ощущение трудно выдерживать подолгу. Его ненависть есть не только *его* несчастье, но и *мое,* подобно тому как несчастная любовь составляет несчастье не только любящего, но и любимого. От его ненависти страдает не только он, ненавидящий, но и я — ненавидимый. Он уже унижен своим состоянием, его человеческое достоинство уже пострадало от его ненависти; теперь это унижение должно захватить и меня. На это я не могу дать согласия. Я должен взяться за это дело, выяснить его, преодолеть его и постараться преобразить и облагородить эту больную страсть. В духовном эфире мира образовалась рана, надо исцелить и зарастить ее.

Мы, конечно, не можем распоряжаться чужими чувствами; и, действительно, совсем не легко найти верный путь и надлежащую духовную силу для того, чтобы разрешить эту претрудную задачу... Но одно я знаю наверное, именно, что этот мрачный огонь должен угаснуть. Он должен простить меня и примириться со мною. Он должен не только «подарить мне жизнь» и примириться с моим существованием; он должен испытать *радость* от того, что я живу на свете и дать мне возможность радоваться *его* бытию. Ибо, по слову великого православного мудреца Серафима Саровского, «человек человеку — радость»...

Прежде всего мне надо найти и установить, чем и как я мог заслужить эту ненависть? Как могла его возможная любовь ко мне — превратиться в отвращение, а его здоровое уважение ко мне — в презрение? Ведь мы все рождены для взаимной любви и призваны ко взаимному уважению... Нет ли и моей вины в том, что мы оба теперь страдаем, он, ненавидящий, и я, ненавидимый? Может быть, я нечаянно задел какую-нибудь старую, незаживающую рану его сердца, и теперь на меня обрушилось накопившееся наследие его прошлого, его былых обид и непрощенных унижений? Тогда помочь может только сочувственное, любовное понимание его души. Но, может быть, я как-нибудь незаметно заразил его моей собственной, скрытой ненавистью, которая жила во мне, забытая,

и излучалась из меня бессознательно? Тогда я должен прежде всего очистить свою душу и преобразить остатки моей забытой ненависти в любовь. И если даже моя вина совсем ничтожна и непреднамеренна, то и тогда я должен начать с признания и устранения ее; хотя бы мне пришлось для этого — искренно и любовно — добыть себе прощение от него.

Вслед за тем мне надо простить ему его ненависть. Я не должен, я не смею отвечать на его черный луч таким же черным лучом презрения и отвержения. Мне не следует уклоняться от встречи с ним, я не имею права на бегство. Надо встретить его ненависть лицом к лицу и дать на нее духовно верный ответ сердцем и волею. Отныне я буду встречать луч его ненависти белым лучом, ясным, кротким, добрым, прощающим и добивающимся прощения, подобно тому лучу, которым князь Мышкин встречал черный луч Парфена Рогожина. Мой луч должен говорить ему: «Брат, прости мне, я уже все простил и покрыл любовью, примирись с моим существованием так, как я с любовью встречаю твое бытие»... Именно с любовью, ибо простить — значит не только не мстить, не только забыть рану, но и полюбить прощенного.

Два человека всегда связаны друг с другом двумя нитями: от *него* ко *мне* и от *меня* к *нему*. *Его* ненависть обрывает первую нить. Если она оборвалась, то страдают оба: *он* — потому что его сердце судорожно сжалось и ожесточилось, и я — потому что я должен смотреть, как он из-за меня мучается, и еще потому, что я сам, ненавидимый им, страдаю из-за него. Спасать положение можно только так: поддерживать вторую нить — от меня к нему — крепить ее и восстанавливать через нее первую. Нет другого пути. Я должен убедить его в том, что я не отвечаю ненавистью на его ненависть, что я не вменяю ему его вражду и злобу, что я признаю свою возможную вину и стараюсь ее искупить и погасить, что я понимаю его, страдаю вместе с ним и готов подойти к нему с любовью, и, главное, что моей духовной любви хватает для того, чтобы выдержать напор и пыл его ненависти, чтобы встретить ее духовно и постараться преобразить ее. Я должен обходиться с моим ненавистником так, как обходятся с тяжело больным человеком, не подвергая его новым, до-

бавочным страданиям. Я должен посылать ему в моих лучах понимание, прощение и любовь до тех пор, пока он не восстановит оборванную им нить, ведущую ко мне.

Это, наверное, совершится не легко; вероятно, его ненависть будет упорствовать и не захочет так скоро угомониться и преобразиться. Но я буду настойчив и сохраню уверенность в победе, это залог успеха. Ненависть исцеляется любовью и только любовью. Луч настоящей любви укрощает диких зверей; то, что по этому поводу рассказывают о святых, — не фантазия, не благочестивая легенда. Излучение любви действует умиряюще и обезоруживающе, напряжение злобы рассеивается, злой инстинкт теряется, уступает и вовлекается в атмосферу мира и гармонии. Все это не пустые слова: любовь заклинает бури и умиротворяет духовный эфир вселенной; и даже врата адовы ей не препятствие.

А если однажды это состоится, ненависть его преобразится и рана духовного эфира исцелится и зарастет, тогда мы оба будем радоваться радостью избавления и услышим, как высоко над нами все ликует и празднует до самого седьмого неба, ибо Божия ткань любви едина и целостна во всей вселенной.

4
МОЯ ВИНА

Нет, я еще не научился распознавать и нести свою вину. Мне надо для этого больше мужества и смирения. Но, может быть, я однажды еще достигну этого.

Как тягостно, подчас мучительно трудно бывает установить и признать свою вину. Душа начинает беспокойно метаться, а потом просто ожесточаться и не желает видеть правду. Хочется непременно оправдать себя, отвергнуть свою виновность, свалить вину на другого или на других, а главное — доказать не только другим людям, но и самому себе, да, именно самому себе, что «я тут ни при чем» и что я нисколько не виноват в этом. Виноваты все окружающие, в конечном счете — весь мир, но только не я: — враги и друзья, природа и человек, родители и воспитатели, несчастное стечение обстоятельств и тяжелые

условия, «среда» и «влияние», небо и ад, но не я! И это можно доказать, и это необходимо удостоверить, потому что в этом «не может быть никакого сомнения»...

Ах, эта предательская «потребность» в самооправдании... Она-то и выдает меня с головой... Эта погоня за доказательствами... Зачем они мне, если я твердо и окончательно уверен, что я «тут ни при чем»? Кто же требует от меня доказательств? Кто заподозревает меня, если не я сам? Но это свидетельствует лишь о том, что в глубине души я все-таки считаю себя виноватым, что есть некий тихий голос, который тайно твердит мне об этом и не оставляет меня в покое...

И вдруг, под влиянием этих неожиданных соображений, мое бегство от собственной вины прекращается... Конец малодушной тревоге. Я готов примириться с мыслью о своей виновности, исследовать, в чем именно я виноват и признать свою вину. Ведь эта трусость многих уже запутала в тяжелые внутренние противоречия, в раздор с самим собою, в раздвоение личности, а иных доводила и до галлюцинаций. Но я готов... Пусть говорит мой обвинитель.

Да, нужно *мужество,* чтобы спокойно исследовать свою вину и не искать спасения от нее в бегстве. И еще нужно *смирение.* Если человек не переоценивает своих сил и своих качеств, если он не кажется сам себе «умнейшей» и «добрейшей» личностью, то он будет всегда готов предположить свою вину. Зачем рассматривать все свои поступки с их наилучшей, наиблагороднейшей стороны? Что за наивность... Откуда эта потребность изображать себя — перед собой и перед другими — всепредвидящим и неошибающимся праведником? Зачем идеализировать свои побуждения и успокаиваться только тогда, когда небывалый образ «чистоты» и «величия» воссияет под моим именем? Кто из нас свободен от небезупречных желаний и побуждений? Кто из нас прав от рождения и свят от утробы матери?..

Нет, мне надо еще научиться тому, что есть вина и как ее распознавать и нести в жизни. Как же научиться этому?

Прежде всего надо удостовериться в том, что *все люди* без исключения, пока они живут на земле, *соучаствуют во всеобщей мировой вине,* желанием и нежеланием, но так-

же и безволием, и трусливым уклонением от волевого решения, деланием и неделанием, но также и полуделанием или пилатовским «умовением рук», чувствами и мыслями, но также и деревянным бесчувствием и тупым безмыслием. Мы соучаствуем в вине всего мира — непосредственно, и через посредство других, обиженных или зараженных нами, и через посредство третьих, неизвестных нам, но воспринявших наше дурное влияние. Ибо все человечество живет как бы в *едином сплошном духовном эфире,* который всех нас включает в себя и связует нас друг с другом. Мы как бы вдыхаем и выдыхаем этот общий духовный воздух бытия, и посылаем в него свои «волны» или «лучи» даже и тогда, когда не думаем об этом и не хотим этого, и воспринимаем из него чужие лучи даже и тогда, когда ничего не знаем об этом. Каждая лукавая мысль, каждое ненавистное чувство, каждое злое желание — незримо отравляют этот духовный воздух мира и передаются через него дальше и дальше. И каждая искра чистой любви, каждое благое движение воли, каждая одинокая и бессловесная молитва, каждый сердечный и совестный помысл — излучается в эту общую жизненную среду и несет с собою свет, теплоту и очищение. Бессознательно и полусознательно читаем мы друг у друга в глазах и в чертах лица, слышим звук и вибрацию голоса, видим в жестах, в походке и в почерке многое сокровенное, несовершённое, несказанное, и, восприняв, берем с собою и передаем другим. Кащей бессмертный недаром обдумывает свои коварные замыслы. Баба Яга напрасно развозит в ступе свою злобу. Сатанисты не бесцельно и не бесследно предаются своим медитациям. Но и одинокая молитва Симеона Столпника светит миру благодатно и действенно. А неведомые праведники, коими держатся города и царства, образуют истинную, реальную основу человеческой жизни.

Вот почему на свете нет «виновных» и «невинных» людей. Есть лишь такие, которые *знают* о своей виновности и *умеют нести* свою и общемировую вину, и такие, которые в слепоте своей *не знают* об этом и стараются вообразить себе и изобразить другим свою мнимую невинность.

Первые имеют достаточно мужества и смирения, чтобы не закрывать себе глаза на свою вину. Они знают истинное положение в мире, знают об общей связанности всех людей и стараются очищать и обезвреживать посылаемые ими духовные лучи. Они стараются не отравлять, не заражать духовный воздух мира, наоборот — давать ему свет и тепло. Они помнят о своей виновности и ищут верного познания ее, чтобы гасить ее дурное воздействие не увеличивать ее тяжесть. Они думают о ней спокойно и достойно, не впадая в аффектацию преувеличения и не погрязая в мелочах. Их самопознание служит миру и всегда готово служить ему. Это — *носители мировой вины,* очищающие мир и укрепляющие его духовную ткань.

А другие — вечные беглецы, безнадежно «спасающиеся» от своей вины: ибо вина несется за ними, наподобие древней Эриннии. Они воображают, что отвечают лишь за то, что они обдуманно и намеренно осуществили во внешней жизни, и не знают ничего о едином мировом эфире и об общей мировой вине, в которой все нити сплелись в несплетаемое единство. Они ищут покоя в своей мнимой невинности, которая им, как и всем остальным людям, раз навсегда недоступна. Как умно и последовательно они размышляют, как изумительна их сила суждения, когда они обличают своих ближних, показывают их ошибки, обвиняют их, пригвождают их к позорному столбу... И все потому, что им чудится, будто они тем самым оправдывают себя. Но как только дело коснется их самих, так они тотчас становятся близоруки, подслеповаты, наивны и глупы. И если бы они знали, как они вредят этим себе и миру... Они стремятся доказать себе, что они сами «очень хороши» и «совершенно невиновны», что, следовательно, им не в чем меняться и не надо совершенствоваться. Но именно вследствие этого лучи, посылаемые в мир, остаются без контроля и очищения, и мировой воздух, уже отравленный и больной, впитывает в себя снова и снова источаемые ими яды пошлости, ненависти и злобы...

Если я увидел и понял все это, то я стою на верном пути. Каждый из нас должен прежде всего подмести и убрать свое собственное жилище. С этого начинаю и я.

Итак, я не ищу спасения в бегстве. Я принимаю свою вину и несу ее отныне — спокойно, честно и мужествен-

но. Наверное, будут и тяжелые, болезненные часы, но эта боль — очистительная и полезная. Я буду искать и находить свою вину не только в том, что я совершил внешне, в словах и поступках, но и дальше, глубже, интимнее, в моих с виду не выразившихся, а может быть, и неизреченных состояниях души, там, где начинается мое полнейшее одиночество и куда не проникает мое самопознание. Везде — где у меня не достает любви и прощения, везде — где я забываю о едином «пространстве» и общем «эфире» духа, везде, где я перестаю служить Богу и делать Его Дело или где я, во всяком случае, нецелен в этом служении.

Если я однажды понял мою вину, то мое сожаление о ней должно стать истинным страданием, вплоть до раскаяния и до готовности искупить ее, и главное — вплоть до решения впредь стать иным и поступать иначе. Так вырастает во мне настоящее чувство ответственности, которое будет отныне стоять как бы на страже каждого нового поступка.

Исследуя мою личную вину, я нахожу и распутываю сто других различных нитей, сцеплений и отношений к другим людям. Медленно развертывается передо мною ткань общественной жизни; я постепенно привыкаю воспринимать и созерцать общий эфир духовного бытия — и вот, я начинаю постигать, что я в действительности «посылаю» в этот общий воздух и что я из него «получаю». Это научает меня верно измерять мою виновность и не падать под ее реальным бременем. Суровая, но драгоценная школа. Каждый шаг становится для меня ступенью, ведущей к укреплению духа и верного характера. Не впадая в замешательство и не отчаиваясь, я вижу всю мою жизнь как длинную цепь виновных состояний и деяний — и почерпаю отсюда все больше мужества и смирения.

И по мере того как я достигаю этого, я получаю право исследовать вопрос о чужой вине, не для того чтобы изобличать других и предавать их осуждению — потребность в этом все более исчезает во мне, — но для того чтобы вчувствоваться в их жизненные положения и в их душевные состояния так, как если бы я каждый раз оказывался на месте виновного человека и как если бы *его* вина была *моею*. Это значительно увеличивает и углубляет мой опыт виновности, и я постепенно научаюсь нести не только

свою вину, но и чужую: — нести, т. е. преодолевать ее духом и любовью.

Но, по правде говоря, мне еще далеко до этого... Овладею ли я когда-нибудь этим искусством, не знаю... Может быть, и нет... Но одно не подлежит для меня никакому сомнению, а именно, что это — верный путь...

5
О ДРУЖБЕ

У каждого из нас бывают в жизни такие времена, когда естественная, от природы данная нам одинокость вдруг начинает казаться нам тягостною и горькою: чувствуешь себя всеми покинутым и беспомощным, ищешь друга, а друга нет... И тогда изумленно и растерянно спрашиваешь себя: как же это так могло случиться, что я всю жизнь любил, желал, боролся и страдал, и, главное, служил великой цели — и не нашел ни сочувствия, ни понимания, ни друга? Почему единство идеи, взаимное доверие и совместная любовь не связали меня ни с кем в живое единство духа, силы и помощи?..

Тогда в душе просыпается желание узнать, как же слагается жизнь у других людей: находят они себе настоящих друзей или нет? Как же жили люди раньше, до нас? И не утрачено ли начало дружбы именно в наши дни? Иногда кажется, что именно современный человек решительно не создан для дружбы и не способен к ней... И в конце концов неизбежно приходишь к основному вопросу: что же есть настоящая дружба, в чем она состоит и на чем держится?

Конечно, люди и теперь нередко «нравятся» друг другу и «водятся» друг с другом... Но, Боже мой, как все это скудно, поверхностно и беспочвенно. Ведь это только означает, что им «приятно» и «забавно» совместное времяпрепровождение или же что они умеют «угодить» друг другу... Если в склонностях и вкусах есть известное сходство, если оба умеют не задевать друг друга резкостями, обходить острые углы и замалчивать взаимные расхождения, если оба умеют с любезным видом слушать чужую болтовню, слегка польстить, немножко услужить, — то вот

и довольно: между людьми завязывается так называемая «дружба», которая, в сущности, держится на внешних условностях, на гладко-скользкой «обходительности», на пустой любезности и скрытом расчете... Бывает «дружба», основанная на совместном сплетничании или на взаимном излиянии жалоб. Но бывает и «дружба» лести, «дружба» тщеславия, «дружба» протекции, «дружба» злословия, «дружба» преферанса и «дружба» собутыльничества. Иногда один *берет* взаймы, а другой *дает* взаймы — и оба считают себя «друзьями». «Рука моет руку», люди вершат совместно дела и делишки, не слишком доверяя друг другу, и думают, что они «подружились». Но «дружбой» иногда называют и легкое, ни к чему не обязывающее «увлечение», связывающее мужчину и женщину, а иногда и романтическую страсть, которая подчас разъединяет людей окончательно и навсегда. Все эти мнимые «дружбы» сводятся к тому, что люди взаимно посторонние и даже чуждые проходят друг мимо друга, временно облегчая себе жизнь поверхностным и небескорыстным соприкосновением: они не видят, не знают, не любят друг друга, и нередко их «дружба» распадается так быстро и исчезает столь бесследно, что трудно даже сказать, были ли они раньше вообще «знакомы».

Люди сталкиваются друг с другом в жизни и отскакивают друг от друга — подобно деревянным шарам. Таинственная судьба взметает их, как земную пыль, и несет их через жизненное пространство в неизвестную даль; а они разыгрывают комедию «дружбы» в трагедии всеобщего одиночества... Ибо без живой любви люди подобны мертвому праху...

Но истинная дружба проламывает это одиночество, преодолевает его и освобождает человека к живой и творческой любви. *Истинная дружба*... Если бы только знать, как она завязывается и возникает... Если бы только люди умели дорожить ею и крепить ее...

На свете есть только одна единственная сила, способная преодолеть одиночество человека; эта сила есть *любовь*. На свете есть только одна возможность выйти из жизненной пыли и противостать ее вихрю; это есть *духовная жизнь*. И вот, истинная дружба есть духовная любовь, соединяющая людей. А *духовная любовь* есть сущее *пламя*

Божие. Кто не знает Божьего пламени и никогда не испытал его, тот не поймет истинной дружбы и не сумеет осуществить ее; но он не поймет также ни верности, ни истинной жертвенности. Вот почему к истинной дружбе способны только *люди духа.*

Нет истинной дружбы без любви, потому что именно любовь *связывает* людей. А истинная дружба есть *свободная связь:* в ней человек сразу — *свободен и связан;* и связь эта не нарушает и не уменьшает свободы, ибо она осуществляет ее; и свобода эта, осуществляя себя в привязанности, связывает человека с человеком в духе. Самая крепкая связь на земле есть свободная связь, если она слагается в Боге, соединяет людей через Бога и закрепляется перед лицом Божиим. Вот почему в основе каждого настоящего брака и каждой здоровой семьи лежит свободная, духовная дружба. Истинная дружба, как и истинный брак, заключается в небесах и не расторгается на земле.

Если мы видим где-нибудь на земле истинную верность и истинную жертвенность, то мы можем с уверенностью принять, что они возникли из настоящей духовной близости. Дружба свойственна только людям духа: это *их* дар, *их* достояние, *их* способ жизни. Люди без сердца и без духа неспособны к дружбе: их холодные, своекорыстные «союзы» всегда остаются условными и полупредательскими, их расчетливые и хитроумные объединения держатся на уровне рынка и карьеризма. Истинное единение людей возможно *только в Божием луче,* в духе и любви.

Настоящий человек носит в своем сердце некий скрытый жар, так, как если бы в нем жил таинственно раскаленный уголь. Бывает так, что лишь совсем немногие знают об этом угле и что пламя его редко обнаруживается в повседневной жизни. Но свет его светит и в замкнутом пространстве, и искры его проникают во всеобщий эфир жизни. И вот, истинная дружба возникает из этих искр.

Кто однажды видел пылинку радия, то никогда не забудет этого чуда Божия. В малом замкнутом пространстве, в темноте, за стеклом лупы видно крошечное тело, из которого непрерывно вылетают во все стороны подвижные искорки и быстро исчезают в темноте. Легким поворотом винта можно слегка ослабить зажим пинцета, держащего эту пылинку, — и тогда искры начинают вы-

летать щедро и радостно; зажим усиливается — и искры летят скудно и осторожно. А естествоиспытатели утверждают, что лучевой заряд этой пылинки будет действителен по крайней мере две тысячи лет...

Наподобие этого живет и сверкает человеческий дух, так посылает он свои искры в мировое «пространство». И из этих искр возникает истинная дружба.

Есть люди, для которых слово «дух» не пустой звук и не мертвое понятие: они знают, что в жизни есть *«Божии цветы»* и что жизнь ими красуется и светится; они знают, что человеку дано *внутреннее око,* способное видеть и узнавать эти цветы; они ищут их, находят их, радуются им и любят их сердцем. Такие люди носят в своем сердце духовный «заряд» и «душевный жар». Их личный дух подобен пылинке радия, излучающей свои искры в мировое пространство. И в каждой такой искре сверкает их любовь и светит сила любимого ими божественного содержания. И каждая такая искра ищет приятия, признания и ответа, ибо человеческая любовь всегда требует понимания и взаимности.

Но излетевшая искра духа может быть воспринята и постигнута только духовно живым и искрящимся духом, только таким сердцем, которое само любит и излучает. Холодный мрак поглощает все бесследно. Мертвая пустота не может дать ответа. Огонь стремится к огню и свет тянется к свету. И когда встречаются два огня, то возникает новое мощное пламя, которое начинает шириться и пытается создать новую, живую «ткань» огня.

Истинная дружба начинается там, где излетевшая искра духа касается чужой огненной купины и воспринимается ею. За восприятием следует ответная искра, которая воспринимается первопославшим и вызывает в нем ответ на ответ. Тогда начинается световой обмен. Искры отнюдь не исчезают в окружающем мраке. Каждая достигает цели и зажигает. Вспыхивают целые снопы света, пламя разгорается, пожар растет. Свободные дары, творческое восприятие, светлая благодарность... И ни тени зависти. Дух наслаждается своей беззаветной откровенностью. Он знает, что его встретит духовное созерцание и вчувствующееся постижение. Сердце чутко вслушивается и радостно

предвосхищает дальнейшее. И пламя Божие справляет на земле свой праздник...

Да, человеческая *душа* одинока на земле и часто страдает от этого. Она может почувствовать себя покинутой и заброшенной. Но *дух* человека не мирится с одиночеством. Он укореняется в Божественном, живет для Божьего дела, свободно рассылает свои искры и никакие «стены» ему не страшны. Он не верит в то, что атомное разъединение или распыленная множественность составляет последнее слово человеческого бытия, непреодолимую форму жизни; он не верит, что люди обречены на одинокое блуждание в хаосе, что им никогда не найти друг друга; он не верит в торжество «мировой пыли». Где-то, неизвестно где, когда-то, неизвестно когда, — в великом лоне Божиих замыслов и творческих идей он видел некое видение: единое, сплошное море пламени *сонно почивало* в пророческом спокойствии, так, как оно было задумано Богом изначала и призвано к *пробужденному бытию* в грядущем; он узрел это видение — вступил в новое, земное бытие, чтобы проснуться в виде обособленного, единичного «огонька» и начать на земле творческую борьбу за *духовно пробужденное воссоединение человеческого огневого множества*... Ибо человеческие души, эти духовные огни Божии, призваны пройти через индивидуацию и одиночество и вновь воссоединиться в единое, сплошное море — но уже духовно пробужденного огня...

И вот, истинная дружба как любовь, и притом как духовная любовь, создает первоначальную ячейку этого единства; из таких ячеек духовного огня сложится однажды великое и единое пламя Божие, светлая и радостная ткань Божьего Царства во вселенной...

Вот почему каждый духовно живой человек ищет истинной дружбы на земле и бывает счастлив, если ему удается найти ее и осуществить. Этим он исполняет завет своего Творца и участвует в совершении Его обетования, этим он участвует в обновлении и преображении Божьего мира.

На свете есть много людей, которые ничего не знают об истинной дружбе и тем не менее беспомощно толкуют о ней; и не находя к ней пути, и не зная, как осуществить ее, удовлетворяются земною страстною «любовью», обычно

вынося из нее разочарование и уныние. Но именно они должны узнать и почувствовать, что они призваны к ней и что она для них достижима. Ибо самый слабый луч благожелательства, сострадания, бережного и чуткого отношения человека к человеку; — и малейшая искра духовного обмена, в живой беседе, в искусстве, в совместном исследовании или созерцании; — и всякая попытка совместно помолиться единому Божеству единым воздыханием, — содержит уже начаток, зерно истинной дружбы. Лестница начинается уже с первой ступени, и пение начинает свою мелодию уже с первого звука... И как грустно, если жизнь пресекается уже в своем зерне, если лестница обламывается на первой ступени, если песнь обрывается на первом звуке!..

Поэтому каждый из нас должен всю жизнь искать истинной дружбы, духовно строить ее и любовно беречь ее. Тогда он узнает, в чем состоит блаженство истинной *верности* и легкая естественность настоящей *жертвы*.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ШКОЛА ЖИЗНИ

6
МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ

Одно мгновение живет этот блаженный шарик... Всего один краткий миг — и конец... Радостный миг! Светлое мгновение! Но его надо создать и уловить, чтобы насладиться как следует; иначе все исчезнет безвозвратно... О, легкий символ земной жизни и человеческого счастья!..

Легкими стопами, тихими движениями, сдерживая дыхание, надо приступать к этому делу: заботливо выбрать соломинку, непомятую, девственную, без внутренней трещины; осторожно, чтобы не раздавить ее, надо надрезать один конец и отвернуть ее стенки... И потом бережно окунуть ее в мыльную муть, чтобы она вволю напилась и насытилась... Лучше не торопиться. Главное — не волноваться и не раздражаться. Все забыть, погасить все мысли и заботы. Отпустить все напряженные мускулы. И предаться легкому, душевному равновесию; ведь это игра... И захотеть играющей красоты, заранее примирившись с тем, что она будет мгновенная и быстро исчезнет...

Теперь можно бережно извлечь соломинку, отнюдь не стряхивая ее и доверяя ей, как верному помощнику; затем набрать побольше воздуху, полную грудь... и тихо, тихо, чуть заметным, скудным дуновением дать легчайший толчок рождению красоты...

Вот он появился, желанный шарик, стал наполняться и расти...

Не прерывать дыхания! Бережно длить игру. Ласково беречь рожденное создание. Чутким выдыхом растить его объем. Пусть покачивается чуть заметным ритмом на конце соломинки, пусть наполняется и растет...

Вот так! Разве не красиво? Законченная форма. Веселые цвета, все богаче и разнообразнее оттенки красок. И внутри играющее круговое движение. Шар все растет, все быстрее внутреннее кружение, все сильнее размах качания. Целый мир красоты, законченный и прозрачный...

А теперь создание завершилось. Оно желает отделиться, стать самостоятельным и начать радостный и дерзновенный полет через пространства... Надо остановить дыхание и отвести соломинку от губ. Окрестный воздух должен замереть! Ни резких жестов, ни вздохов, ни слова! Бережным движением надо скользнуть соломинкой в сторону и отпустить воздушный шар на волю...

О, дерзновенно-легкий полет навстречу судьбе... О, миг беззаботного веселья...

И вдруг — все погибло! И веселое создание разлетелось брызгами во все стороны...

Ничего! Мы начнем сначала...

— «Что за ребячество»... «Какой смысл в этой детской забаве?»...

Да, это, конечно, «детская забава»... И все же — не только «детская» и не просто «забава». Признаюсь, я с удовольствием предаюсь этой игре и многому научился при этом...

«Помилуйте, да чему же можно научиться у мыльного пузыря?»

* * *

Всякая красота, даже самомалейшая, даже самая бесцельная, так же как и всякий радостный миг жизни — имеют большую, непреходящую ценность. Они смывают душевные огорчения, они несут нам легкое дыхание жизни (даже и тогда, когда учат нас бережно выпускать воздух) и дают нам немножко счастья... И мы можем быть уверены: ни *один легкий, счастливый миг не пропал даром в человеческой жизни, а следовательно, и в мировой истории...*

Совсем не надо ждать, чтобы легкая красота или этот счастливый миг сами явились и доложили нам о себе... Надо звать их, создавать, спешить им навстречу... И для этого годится всякая невинно-наивная игра, состоящая хотя бы из соломинки и мыла... Так много легкого и красивого таится в игре и родится из игры. И недаром дыха-

ние игры живет в искусстве, во всяком искусстве, даже в самом серьезном и трудном...

Не отнимайте у взрослого человека игру: пусть играет и наслаждается. В игре он отдыхает, делается радостнее, ласковее, добрее, становится как дитя. А свободная, невинная целесообразность — бескорыстная и самозабвенная — может исцелить его душу.

Но мгновение красоты посещает нас редко и гостит коротко. Оно исчезает так же легко, как мыльный шарик. Надо ловить его и предаваться ему, чтобы насладиться. Обычно оно не повинуется человеческому произволению, и насильственно вызвать его нельзя. Легкою поступью приходит к нам красота, часто неожиданно, ненароком, по собственному почину. Придет, осчастливит и исчезнет, повинуясь своим таинственным законам. И к законам этим надо прислушиваться, к ним можно приспособиться, в их живой поток надо войти, повинуясь им, но не требуя от них повиновения...

Вот почему нам надо научиться *внимать:* с затаенным дыханием внимать природе вещей, чтобы вступить в ее жизненный поток и приобщиться счастию природы и красоте мира. И потому всякий, кто хочет живой природы, легкого искусства, радостной игры, должен освободить себя внутренно, погасить в себе всякое напряжение, отдаться им с детскою непосредственностью и блюсти легкое душевное равновесие, наслаждаясь красотою и радостью живого предмета.

Наши преднамеренные, произвольные хотения имеют строгий предел. Они должны смолкнуть и отступить. И творческая воля человека должна научиться *повиновению: послушание природе* есть путь к радости и красоте. Мы не выше ее, она мудрее нас. Она сильнее нас, ибо мы сами — природа и она владеет нами. Ей нельзя предписывать, ее живой поток не следует прерывать; и тот, кто дует против ветра или в перебой его полету, не будет иметь успеха. Порыв не терпит перерыва, а прерванный порыв — уже не порыв, а бессилие.

Но прежде чем предаться этому играющему порыву и приступить к созданию новой красоты, надо возыметь *доверие* к себе самому, надо погасить всякие отговорки и всякие побочные соображения, надо отдаться непосред-

ственно, не наблюдать за собою, не прерывать себя, не умничать, не обессиливать себя разными «намерениями» и «претензиями»... Надо забыть свои личные цели и свои субъективные задания, ибо всякая игра имеет *свою предметную цель* и свое собственное задание. Этой цели мы и должны отдаваться, чем наивнее, чем непосредственнее, чем цельнее, тем лучше.

А когда он настанет, этот радостный миг жизни, надо его беречь, ограждать, любить; — все забыть и жить им одним, как замкнутым, кратковременным, но прелестным мироздaньицем...

Тогда нам остается только — благодарно наслаждаться и в наслаждении красотою находить исцеление.

А если однажды настанет нежеланный миг, и наша радость разлетится «легкими брызгами», тогда не надо роптать, сокрушаться или, Боже избави, отчаиваться. Тогда скажем угасшему миру ласковое и благодарное «прости» — и весело, и спокойно начнем сначала...

Вот чему я научился у мыльного пузыря.

И если кто-нибудь подумает, что самый мой рассказ не больше, чем мыльный пузырь, то пусть он попробует научиться у моего рассказа той мудрости, которую мне принесло это легкое, краткожизненное, но прелестное создание... Может быть, ему это удастся...

7

ОБЛАКА

Я полюбил облака еще ребенком. Я не знал, за что, и не мог бы тогда рассказать, чем они меня пленяют. Но я мог любоваться ими без конца. Они казались мне живыми существами, которые сами плывут в блаженную даль и меня зовут с собою: там жизнь воздушна и светла, легка и радостна. Какие-то желанные сны просыпались в душе, какие-то чудесные сказки завязывались в этих облаках. Я засматривался на эти воздушные сказки, пока не заболевала шея и не начиналось тихое головокружение; кто-нибудь из старших называл меня «ротозеем», и я ходил некоторое время словно пьяный. О, любимые друзья моих детских мечтаний, кроткие, ласковые, озаренные... Мы

ничего не требовали друг от друга, мы ничего не обещали друг другу; они только плыли надо мною, а я наслаждался ими и забывал мои детские огорчения...

Я уже давно вырос, но ребенок живет во мне по-прежнему и радуется на своих старых и всегда юных друзей. А говорят, будто на свете нет вечной привязанности... Как только жизнь становится мне в тягость, как только земные состояния кажутся мне непосильными — я обращаюсь к облакам, я ухожу в их созерцание и утешаюсь.

Совсем незаметно и неожиданно оказываешься в другом мире, живущем по иным законам и радостно принимающем тебя в свой состав. Какая дивная вознесенность надо всем, и как она легка; она дается им сама собою, без малейшего труда: она у них врожденная. И потому они сами так легки, так скромны, так свободны от всяких притязаний; они, наверное, не знают ничего о своей величавости и вознесенности. Или, может быть, они все же смутно ощущают эту могучую, неизмеримую, божественную высоту, которая простирается над ними?..

И потом — эта тишина, это спокойствие, эта дивная беззвучность! Она изливается от них и воспринимается нами как облегчение, как отпущение и освобождение. И в глубине души родится лермонтовская мечта стать как они: приобщиться их беззаботности, бесстрастию их воздушных игр, безболию и безволию этих светорожденных созданий.

Как быстро они возникают! Как покорно они сливаются, растекаются и тают; как охотно они исчезают совсем, приемля свою судьбу и поддаваясь легчайшему ветерку. И все-таки чудится иногда, что они уверенно и настойчиво плывут к своей цели, как если бы они точно знали, куда спешат.

И вечно меняется их образ, их очертание, их строение. Каждый миг обновляет их, каждый час делает их неузнаваемыми, каждый день несет нам небывалое и неповторимое. Неисчерпаемое богатство воздушных форм, непредвиденные сочетания бытия и небытия, пустоты и полноты, нежданные, неописуемые оттенки света и тени, тусклой серости и ликующих красок. То простота млечного покрова; то прозрачность тончайшей сети, то сложнейшее нагромождение тяжелых масс. И подчас их облик

так странно напоминает наши земные формы. Не горы ли вознеслись там вдали, закрывая горизонт? А здесь — не развалины ли небесного замка? Как таинственен этот вход в огромную пещеру!.. Проползают и исчезают драконы. Проплывают лежащие ели. Слагаются и уносятся крылья ангелов. Вихрями вьются легкие кудри. Плывут воздушные корабли. Встают грозные, играющие видения. И все исчезает, и вот — на голубом небе ни облачка. Сколько чудесных иллюзий, сколько блаженных возможностей, сколько мгновенных поэм, вызываемых к жизни и отзываемых неведомым поэтом мироздания. И все — всегда — прекрасно; прекрасно и значительно; даже и тогда, когда все сольется в серую, сумрачную, безнадежную пелену. Великое зрелище. Щедрый дар. Небесная картина. Божия беседа и Божие утешение.

Этот дар дается нам для того, чтобы нам было куда спастись из этого перенапряженного, замученного мира с его злобою и тяготою, с его чрезмерными требованиями. Здесь нам открывается дверь в царство легкой безответственности и прекрасного безразличия. Тут от нас никто ничего не требует, никто ничем не грозит и ни к чему не принуждает. Нам не нужно желать, добиваться, судить, отвергать, сосредоточиваться и помнить. Здесь не надо бороться и негодовать. Здесь можно забыться. Пусть задремлет утомленная воля, пусть исчезнут напряженные помыслы, пусть успокоится огорченное или раненое сердце. Человек предается легкому и свободному взиранию; ему дается счастье чистого и бескорыстного созерцания; он вступает в некий божий театр, древний как мир и благостный как его творец.

Облака дают нам самозабвение, уводят нас от дневной заботы, смягчают и утоляют наш гнев, разрешают все судороги души, угашают ее жадность, рассеивают ее сумраки и смягчают ее упрямство, — столь бесстрастно и свободно их течение, столь кротко и благодушно их легкое естество. Успокаивается ожесточенная воля — и сладостно становится человеку ничего не желать и иметь право на безволие. Отдыхает утомленная мысль — и упоителен оказывается покой бездумия, рассредоточенного и наивного неразумения. Изболевшееся сердце перестает любить или не любить, звать или возмущаться — целебно

льется в него бесстрастие тишины, смирения и благодарности. И вся душа очищается, созерцая этот символ земной отрешенности и небесной благости — все покрывающей и прощающей щедрости.

Если бы мы чаще и дольше созерцали облака, то мы, наверное, сами стали бы лучше. Ведь это живые сказки, сказки о том, как сбываются несбыточные желания... Или, может быть, это верные тени высших, небесных сил? Может быть, это дым кадильный, клубами овевающий незримый алтарь Божий? Почему сердце мое трепещет от предчувствия, когда заходящее солнце освещает это мощное, грозное облако, как бы благословляя его и даруя ему невиданную красоту? Почему я чувствую иногда, что по этим облакам, во всей силе и славе их, мог бы шествовать сам Господь Вседержитель? Может быть, это просыпается во мне довременная память о том, что совершалось в древлем бытии вещей? Или, может быть, я сам некогда был облаком и ныне радостно узнаю моих древних братьев?

Кто созерцает облака и живет в них сердцем, тот видит сны наяву, сны о возможном и приближающемся совершенстве... Может быть, это снятся нам дивные помыслы Божии, легким дуновением покинувшие лоно Его?..

8

О ЛИШЕНИЯХ

Когда мне стукнуло восемь лет, бабушка подарила мне на елку красивую тетрадь в синем сафьянном переплете и сказала: «Вот тебе альбом, записывай в него все, что тебе покажется умным и хорошим; и пусть каждый из нас напишет тебе что-нибудь на память»... Вот было разочарование!.. Мне так хотелось оловянных солдатиков, они даже по ночам мне снились... И вдруг — альбом. Какая скучища... Но дедушка взял мою сафьянную тетрадь и написал на первой странице: «Если хочешь счастья, не думай о лишениях; учись обходиться без лишнего»... Да, хорошо ему было говорить: «не думай»... А мне было до слез обидно. Но пришлось помириться...

Я тогда и не заметил, как глубоко меня задел этот постылый жизненный совет, данный мне дедом. Сначала я

и слышать о нем не хотел: это была прямая насмешка надо мною и над моими солдатиками. Но позднее... и потом еще много спустя... У меня было так много лишений в жизни... И всегда, когда мне чего-нибудь остро недоставало или когда приходилось терять что-нибудь любимое, я думал о сафьянной тетради и об изречении деда. Я и сейчас называю его «правилом счастья» или «законом оловянного солдата». Кажется, тут замешана и сказка Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»: храбрый был малый — прошел через огонь и воду, и даже глазом не моргнул...

А теперь этот закон кажется мне выражением *настоящей жизненной мудрости.* Жизнь есть борьба, в которой мы должны побеждать; а победителем становится тот, кто осуществляет благое и справедливое. Конечно, тут являются искушения и опасности; и каждая опасность есть в сущности угроза. Если рассмотреть все эти угрозы, то все они приблизительно одинаковы: *они грозят лишениями.* Потому, что так называемые «унижения» суть тоже лишения в вопросах независимости, признания со стороны других и жизненного успеха; эти лишения бывают, конечно, наиболее тягостными. Нельзя примириться с утратой истинного достоинства и уважения к себе, но нельзя принимать к сердцу отсутствие успеха у других, а также поношение и клевету. Мы должны уметь обходиться без жизненного «успеха», без «почета» и без так называемой «славы».

И вот, если я буду бояться таких и им подобных лишений, то мне придется отказаться от главного, *предметного успеха в жизни* и от победы в жизненной борьбе. А если я хочу *предметной* победы, то я должен *пренебрегать лишениями и презирать угрозы.* То, что иногда называют «крепкими нервами», есть не что иное, как мужественное отношение к возможным или уже начавшимся лишениям. Все, что мне грозит, и притом часто *только* грозит и даже не осуществляется, есть своего рода лишение, — лишение в области еды, питья, одежды, тепла, удобства, имущества, здоровья и т. д. И вот, человек, поставивший себе серьезную жизненную задачу, имеющий великую цель и желающий предметного успеха и победы, должен *не бояться лишений;* мужество перед лишениями и угрозами

есть уже половина победы, или как бы выдержанный «экзамен на победу». Тот, кто трепещет за свои удобства и наслаждения, за свое имущество и «спокойствие», тот показывает врагу свое слабое место, он подставляет ему «ахиллесову пяту» и будет скоро ранен в нее: он будет ущемлен, обессилен, связан и порабощен. Ему предстоит жизненный провал...

Всю жизнь нам грозят лишениями. Всю жизнь нас беспокоят мысли и заботы о возможных «потерях», «убытках», унижениях и бедности. Но именно в этом и состоит школа жизни: в этом — подготовка к успеху, закал для победы. То, чего требует от нас эта школа, — есть *духовное преодоление угроз и лишений.* Способность легко переносить заботы и легко обходиться без того, чего не хватает, входит в искусство жизни. Никакие убытки, потери, лишения не должны выводить нас из душевного равновесия. «Не хватает?» — «Пуская себе не хватает. Я обойдусь»... Нельзя терять священное и существенное в жизни; нельзя отказываться от главного, за которое мы ведем борьбу. Но все несущественное, повседневное, все мелочи жизни — не должны нас ослеплять, связывать, обессиливать и порабощать...

Искусство сносить лишения требует от человека двух условий.

Во-первых, у него должна быть в жизни некая *высшая, все определяющая ценность,* которую он действительно больше всего *любит* и которая на самом деле *заслуживает* этой любви. Это и есть то, чем он живет и за что он борется; то, что освещает его жизнь и направляет его творческую силу; то, перед чем все остальное бледнеет и отходит на задний план... Это есть священное и освящающее *солнце любви,* перед лицом которого лишения не тягостны и угрозы не страшны... Именно таков путь всех героев, всех верующих, исповедников и мучеников...

И, во-вторых, человеку нужна способность *сосредоточивать свое внимание, свою любовь,* свою волю и свое воображение — не на том, чего не хватает, чего он «лишен», но *на том, что ему дано.* Кто постоянно думает о недостающем, тот будет всегда голоден, завистлив, заряжен ненавистью. Вечная мысль об убытках может свести челове-

ка с ума или уложить в гроб[1]; вечный трепет перед возможными лишениями унижает его и готовит его к рабству. И наоборот: тот, кто умеет с любовью вчувствоваться и вживаться в дарованное ему, тот будет находить *в каждой жизненной мелочи новую глубину и красоту жизни,* как бы некую *дверь, ведущую в духовные просторы;* или — вход в сокровенный Божий сад; или — колодезь, щедро льющий ему из глубины бытия родниковую воду. Такому человеку довольно простого цветка, чтобы коснуться божественного миротворения и изумленно преклониться перед ним; ему, как Спинозе, достаточно наблюдения за простым пауком, чтобы постигнуть строй природы в его закономерности; ему нужен простой луч солнца, как Диогену, чтобы испытать очевидность и углубиться в ее переживание. Когда-то ученики спросили у Антония Великого, как это он видит Господа Бога? Он ответил им приблизительно так: «Ранним утром, когда я выхожу из моей землянки в пустыню, я вижу, как солнце встает, слышу, как птички поют, тихий ветерок обдувает мне лицо — и сердце мое видит Господа и поет от радости»...

Каким богатством владеет бедняк, если он умеет быть богатым...

Это значит еще, что лишения призывают нас к сосредоточенному созерцанию мира, так, как если бы некий сокровенный голос говорил нам: «В том, что тебе *уже дано,* сокрыто *истинное богатство;* проникни в него, овладей им и обходись без всего остального, что тебе *не* дано, ибо оно тебе не нужно»... Во всех вещах мира есть *измерение глубины.* И в этой глубине есть потаенная дверь к мудрости и блаженству. Как часто за «богатством» скрывается сущая скудость, жалкое убожество; а бедность может оказаться сущим богатством, если человек духовно овладел своим скудным состоянием...

Поэтому не хорошо человеку обходиться без лишений: они нужны ему, они могут принести ему истинное богатство, которого он иначе не постигнет. Лишения выковывают характер, по-суворовски воспитывают человека к победе, учат его самоуглублению и обещают ему открыть доступ к мудрости.

---

[1] Ср. рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда».

И я не ропщу на лишения и утраты, постигшие меня в жизни. Но о моей синей сафьянной тетради, научившей меня когда-то «закону оловянного солдатика», я вспоминаю с благодарностью: она отняла у меня когда-то желанную игрушку, но открыла мне доступ к истинному богатству. И *ее* — я не хотел бы лишиться в жизни...

9
О ЗДОРОВЬЕ

«Как это томительно, все время думать о своем здоровье... вечно беречься, всего опасаться, обходиться без запрещенного и все спрашивать: не повредит ли мне то-то и то-то? Вся жизнь наполняется страхом и опасениями... Все время наблюдаешь за собой, живешь с оглядкой, становишься сам себе тюремным наблюдателем... Радость жизни исчезает. Душой овладевает мнительность, ипохондрия. Не жизнь, а прозябание. Кому и зачем нужна такая жизнь?»...

Так жаловался я однажды в письме к моему деду, когда у меня начался процесс в легких и я должен был лечь в санаторию на много месяцев. Вот была тоска! Один этот градусник три раза в день, который я называл тогда «тюрьмометром»... Я был молод, подвижен, разговорчив и как раз начал интересную научную работу, которая требовала постоянных справок в библиотеке и выписок. И еще одно: я был влюблен... и не уверен в ее отношении ко мне. Ах, как я тогда терзался!..

Милый мой дед... Он давно уже скончался... Но я сохранил его ответное письмо. Оно настолько значительно и глубокомысленно, что его следовало бы непременно напечатать. У моего деда философия вырастала из сердца, питалась созерцанием и сливалась с жизнью; но больших философских трудов после него не осталось.

Вот его письмо от слова до слова.

«Ах ты, мой нетерпеливец, — писал он мне. — Чего ты томишься? Ведь я по письму твоему слышу, как ты тоскуешь. Пожалуйста, успокойся и не мешай своему Врачу. Да нет, не санаторному, Бог с ним; он все равно будет делать свое дело. Я разумею *твоего собственного, внутреннего* Врача, с которым ты не в ладах. А ты о нем ничего

и не знаешь? Тогда я должен рассказать тебе про него. Но ты изволь спокойно лечь, поудобнее. Вот так, на спину... Удобно? Ну и не напрягайся, не делай угрюмого лица! Если будешь предаваться мрачным мыслям, то ничего не услышишь и не поймешь из моего рассказа. Пожалуйста, не хмурь бровей. Дыши спокойно и глубоко, будто заснуть хочешь. Ну вот, а теперь слушай меня сердцем и внутренно проверяй каждое мое слово.

У всякого из нас есть свой собственный, внутренний Врач. Его нельзя ни видеть, ни слышать. Он ведет скрытую, таинственную жизнь и не отвечает на прямые вопросы. Но к нему можно и должно «прислушиваться». Изредка мы его видим во сне, но обыкновенно не знаем, что это *он*. Тогда нам снится какой-то симпатичный, дружелюбный человек, к которому мы питаем полное доверие; он очень благожелателен, сопровождает нас, молча помогает нам в делах и устраняет всякие неприятности; обычно мы не видим даже его облика, он живет как будто в тени; мы чувствуем только доброе и заботливое существо, и просыпаемся с чувством благодарности, ободренные и обласканные... Это и есть наш внутренний Врач, который нам дан на всю жизнь и с которым мы должны жить в ладах...

Ты, конечно, спросишь, как до него добираться? А видишь ли, у нас есть особый дар *внутреннего созерцательного внимания* и нам надо упражнять его. Надо прислушиваться к жизни нашего собственного инстинкта, той великой и умной подземной силы, без которой наша жизнь была бы совсем невозможной. Эта сила растит и строит человеческий организм — это удивительное сожительство или «земное единожительство» личного тела и личной души. Он печется о нас, ведет нас и охраняет, присутствует во всех органах нашего естества. Можно было бы сказать, что каждому человеку дан от Бога некий внутренний «строитель». Это он «просыпает» тебя по утрам, потому что ты «достаточно» поспал; он именно «просыпает» тебя изнутри, тогда как другие люди могут тебя только разбудить. Ты видал, вероятно, людей, которых никак не добудишься? Понятно почему: ты их насильно и произвольно будишь, а «их» органически-внутренно «спит»... Ты поскользнешься на ходу — а он уже позаботился о том, чтобы ты не упал: он поддержал твое равновесие. Ты

порезал палец, и уже все сделано для того, чтобы ты не истек кровью; и пока ранка не заживет, она будет изнутри залечиваться твоим заботливым Врачом. Чтобы ты ни предпринял, он все время заботится о тебе. Ты сегодня много поработал и хотел бы посидеть над книгами еще всю ночь; он считает это вредным и заявляет об этом в форме усталости и сонливости. И если ты будешь настаивать на своем, начнешь много курить и пить крепкий кофе, то ты окажешься с ним в разладе и он может устроить тебе внутреннюю «забастовку». Трудный и напряженный день прошел, тебе пора спать, и он сигнализирует тебе об этом: глаза твои слипаются, ты начинаешь зевать и становиться вял и сонлив. Это от него идут чувства голода, жажды, холода, скуки и тоски: ты не бережешь себя, ты не знаешь, что тебе нужно, а он знает все потребности твоего организма и бережет тебя. Это он предупреждает тебя о том, что тебе нужно больше углеводов (сахар), меньше соли, гораздо больше витаминов; это от него «мороз по коже», чихание, зубная боль, повышенная температура, обложенный язык. Если ты не считаешься с этим — тем хуже для тебя; он не может и не будет «уговаривать» тебя, а сделает тебя слабым и больным — одумывайся и опоминайся, забрел в тупик — ищи выхода...

О каждом излишестве (вино), о каждом упущении (отморозил нос) — он все время дает тебе знать. Живой человек есть целая система равновесий: равновесие тепловое, пищевое, сонно-бодрственное; равновесие в напряжении мускулов и нервов; кровообращение, мера движения и покоя, мера горя и радостей, мера чувственных наслаждений и мера целомудрия, мера сосредоточенной мысли и мера отвлечения и развлечения. Это он блюдет во всем необходимую меру и надлежащее равновесие, и знает, что тебе необходимо; это *он* сокращает твою работоспособность, посылает тебе мигрень или бессонницу, или желание прыгать и бегать; или валит тебя на теплую лежанку, или устраивает тебе длительный нейроз.

Это он побуждает беременную женщину есть мел или древесный уголь, потому что они ей необходимы для ребенка. Когда ты в темноте подходишь к незримой для тебя опасности — он предупреждает тебя замиранием сердца и чувством непонятного ужаса. Надо приучиться при-

слушиваться ко всему этому. Таинственный Врач твоего инстинкта мудрее и дальновиднее тебя. Он во всем требует *равновесия, целесообразности и меры.* Он есть воплощение *молчаливой творческой мудрости.* А от нас он требует — *внимания и повиновения;* и за это он посылает нам *здоровье:* само себя поддерживающее равновесие жизни, и легкое, бодрое самочувствие...

Это искусство прислушиваться к бессловесному голосу своего инстинктивного Врача — современный человек, к сожалению, утратил. Первобытный человек обладал этим даром и был счастлив. Но теперешний злосчастный умник не способен к этому. Он гордится своим рассудочным мышлением и воображает, что сознательная мысль составляет главную суть и силу жизни. Он воображает, что «культура» одолела природу и подчинила ее себе. Он самодовольный рассудочник и гордец; и думает, что его произвол призван покорить богозданную природу и, может быть, даже впоследствии заместить ее. Он доходит до того, что выдумывает всякие противоестественные теории и способы жизни, и ставит все вверх ногами. А его безбожие ослепляет его все более и более, и завлекает его все дальше и дальше. *Грех противоестественности* становится все глубже у современного человека — и ему уже не избежать справедливого возмездия. Упорное неповиновение природе может *сломать человеку хребет,* ибо тот, кто восстает против богозданной природы, — *бунтует против Бога.*

Поэтому нам надо кое в чем вернуться *назад* — к *богозданной природе,* чтобы вернуть себе дары неба. Мы должны научиться ладить с нашим инстинктивным строителем и таинственным Врачом. Мы должны научиться вопрошать его, не надеясь на словесный ответ: чего бы ему «хотелось», чего бы он желал «избежать», что ему подходит и что — нет, и что он решительно отклоняет как вредное. Тут не следует умничать, не надо ничего изобретать самому. Советоваться со своим Врачом совсем не значит потакать своим страстям и вожделениям. Это — совсем иное: человек внутренно сосредоточивается и прислушивается к голосу своего организма; он внемлет голосу своего инстинкта, но не его слепоте и страстности, не его противодуховной жадности, а его *духовной мудрости,* данной ему от Бога и взлелеянной от природы. Человек

как бы *возрождает в себе тот акт, при котором дух владеет инстинктом до самой его глубины и из самой его глубины.* Он совещается с *духом своего инстинкта* и олицетворяет его в образе своего «Врача». Это пробуждает в душе древнюю, первозданную глубину, которая, может быть, уже совсем заглохла, а может быть, только засушена рассудком. Человек как бы стучится в дверь своего богоданного и естественного Врача, чтобы приобщиться его самодеятельной мудрости и возобновить в себе *органическое самочувствие природы.* Врач отвечает без слов; его мудрость не «логична», а «органична»; он молча указует нужное, «одобряет — подтверждает» или «отводит — не советует». Именно там, в этой глубине *инстинктивной духовности* живет творческое зерно здоровья, тот дивный *дар органического самоцеления,* с которым мы должны вступить в связь.

Вот в этом-то и дело, мой нетерпеливый мальчик! Ты тоже утратил живую непосредственную связь с твоим строителем и Врачом; и вследствие этого ты заболел. Теперь тебе надо во что бы то ни стало восстановить эту связь. Тебе нужно не просто вылечиться от кашля и зарастить «раненое» легкое; тебе нужно начать новый образ жизни. Ты должен вступить в живой ритм природы, как бы окунуться в поток самоцеления и естественного самоподдержания. Это нельзя сделать насильно, простым решением, в кратчайшее время. Ты должен постепенно освоиться с мыслью, что здесь надо не приказывать, а повиноваться; не эксплуатировать свои силы по произволу, а блюсти *меру* напряжения и *равновесия* во всей жизни. Только *повинуясь природе, можно ей повелевать.* Кто живет и творит вместе с ней, из нее, того она несет охотно и радостно как своего господина. Ибо природа, подобно судьбе, ведет послушного и насильно тащит непокорного. Поэтому, если ты будешь доверять своему инстинктивному Врачу и слушаться его тихих указаний и предупреждений, то тебе не надо будет постоянно тревожиться о своем здоровье: он будет делать это за тебя. Ты будешь жить, любить и творить, а он будет поддерживать твое здоровье. Ты будешь блюсти его органические пожелания, а он будет идти навстречу всем твоим духовным требованиям. Вы будете сообща — живым, здоровым единством. И ты будешь здо-

ров и будешь наслаждаться прекрасным, уверенным спокойствием за себя и за свое дело.

Так-то, мой милый. Здоровье есть нечто большее, чем люди обычно думают... Здоровье есть предначертанная Богом и угодная Ему гармония между личною природою и личным духом. Каждый человек создан для здоровья и призван к тому, чтобы быть здоровым. В больном виде мы не соответствуем нашему назначению и Божьему замыслу; какая Ему радость от наших уродств и мучений?.. Он посылает нам недуг для того, чтобы мы выздоровели, — как путь к здоровью. Поэтому болезнь есть как бы таинственная запись, которую нам надо расшифровать: в ней записано о нашей прежней, неверной жизни, и потом о новой, предстоящей нам, мудрой и здоровой жизни. Этот «шифр» мы должны разгадать, истолковать и осуществить. В этом — *смысл болезни.*

И все это есть *чудо,* живое чудо природы, великое чудо Божие, которого мы по привычке не замечаем; мы проходим мимо него, и наше заглохшее сердце остается холодным и безразличным. Подумай только, как это дивно: в каждом из нас заложена способность осуществлять в себе задуманную Богом гармонию духа, души и тела...; каждому из нас дан таинственный строитель и Врач, призванный к осуществлению этой гармонии...; каждый из нас обладает даром погрузиться в себя духом и воззвать к этой предначертанной и обетованной гармонии... Это значит сразу — вернуться *к природе и предать себя воле Божией...*

Но не верь мне на слово. Постарайся увидеть это все самостоятельно. Воспользуйся для этого своей болезнью: она должна не только исцелить тебя (ибо в этом ее призвание), но и умудрить. А мудрость дается только через испытание и страдание. Поэтому не сердись на свою болезнь; «дай себе отпуск»; представь себе, что ты уехал в путешествие и должен привести с собою — дружбу со своим Врачом, дар здоровья и органическую мудрость. Пережив все это сам, проверь, удостоверься и доведи себя до очевидности. Для этого нужно терпение. Все прекрасное на свете растет и развивается медленно. А ты ведь хочешь именно прекрасного — предначертанной от Бога жизненной гармонии. Взрасти ее, и вся жизнь твоя озарится по-новому: и любовь, и семья, и творчество и старость»...

С тех пор я и в самом деле пережил все это, проверил, удостоверился и дошел до очевидности. А письмо деда я читал и перечитывал много раз, так что теперь знаю его почти наизусть...

10
МИРОВАЯ ПЫЛЬ

Притаившись, мягким пластом лежит она в колеях проселочной дороги и ждет только повода, чтобы взмыть и полететь: ветер ли заиграет, лошадь ли поднимет ее копытом или колесом — ей все равно, взлетит и облепит путника, и он не так легко отделается от нее. А если налетит настоящий вихрь и начнет вертеть, то она понесется смерчем, вздымаясь и торжествуя... Куда не взглянешь — пыль повсюду. И в солнечном луче летают и золотятся миллионы легких пылинок: сверкнут, покрасуются и исчезнут в тени; значит, и тень полна ими... Где молотят или веют, там ей свободный полет: ее отдувает в сторону, а тяжелое зерно тихо струится в мешки и закрома. И напрасно хозяйки стараются отделаться от нее, выбивая ее из ковров и стирая ее с мебели: они только будят ее ото сна и наполняют ею воздух. Пыль оседает на черных лицах трубочистов и угольщиков; слеживается пластами на забытых книгах; ищет себе пристанища в мировом пространстве. А когда самум поднимает песок пустыни и несет его ураганом навстречу страннику, то она заслоняет ему самое солнце и дышит ему в лицо гибелью.

Кто вдумается и оглядится, тот найдет ее повсюду: и в золе от костра, и на свежем яблоке, и в человеческих легких, и в людской болтовне, в скучающей душе и в глупой книге, в хвосте кометы и в распадающемся обществе, и особенно во всех гражданских войнах и революциях. Все ветры бытия кружат ее во всех пространствах, отпавшую, беспочвенную и заблудшую; с виду безвредную, но в сущности — обременительную и несчастную, беспризорную и беспокойную. Ибо она выпала из мирового строя, не нашла себе места в слаженном порядке бытия и стала живым символом мирового хаоса и мировой угрозы. Пыль — это неустроенное множество, это хаос мировой безработицы, это надвигающийся распад и разложение.

Весь мир ищет единения и устроения; вся жизнь его проходит в борьбе за живой, творческий порядок; и смысл мирового множества в том, чтобы найти себе верную сопринадлежность, целесообразное взаимослужение, творческое равновесие. Так обстоит на всех ступенях бытия: и в малой клетке и в величавом течении планет, и в полевой былинке и в личной душе, в произведении искусства и в человеческом обществе. Всюду мир живет *необходимым* и выбрасывает *излишнее;* и там, где лишнее бывает извергнуто, оно или распадается в мировой прах, или смыкается в болезненное новообразование, грозящее расстройством и гибелью.

И вот, в этом великом созидательном вращении мира малый атом имеет свое призвание: он должен верно постигнуть свою природу и свое отношение к целому, утвердить свою внутреннюю свободу и свое бытие и добровольно включиться в общую связь вселенной, в ее трудовой порядок. Если это удастся ему, то жизнь его сложится верно и счастливо: он будет развиваться и цвести, и этим расцветом своим служить великому делу вселенной. Если же это ему не удастся, то он не найдет ни своего служения, ни своего ранга; он окажется отпавшим и беспочвенным, одиноким и неустроенным, и присоединится к мировой пыли. Одинокая и безработная пылинка, бесцельно вращаясь в жизни, носится туда и сюда, как отвергнутый изгой, как праздный вертопрах, как беспризорное дитя мира. Жизнь ее лишена смысла и цели, ибо у нее нет питающей почвы и нет органической сопринадлежности; ей остается только слоняться в безделии, томиться и бунтовать... Существо, отколовшееся от мира, не участвует в великом хоре вселенной и его личный голос не ведет свою самостоятельную и верную мелодию. Оно не несет совместно с другими бремя мирового бытия; и именно поэтому для него становится невыносимым и личное бремя жизни. Счастье примирения, включенности, вселенского братства не дается ему. Его судьба иная: вечная бесприютность, вечная жалоба, вечный протест, пока оно не найдет своего призвания, своего органического места, своего *служения,* а потому и *счастия:* ибо на свете нет счастия вне служения и нет покоя в одиночестве. Атом мира, нашедший *себя в мире,* — уже не

жертва «случая» и не дитя хаоса: он обретает свою *личную свободу* в служении *мировой необходимости* и вступает во вселенный хор, поющий осанну...

Правда, есть в мире «мудрость», которая пользуется и пылью, как пассивным орудием, как слепым и притом страдающим средством — пусть оторвавшимся и несчастным, но все же полезным целому, — пусть несогласным и бунтующим, но вынужденным повиноваться; так что и хаос некоторым образом таинственно служит космосу. Но эта безжалостная «мудрость» не дает оторвавшемуся атому ни удовлетворения, ни покоя, предоставляя ему слепо страдать и проклинать свою судьбу. Отверженное дитя мира, отовсюду выколачиваемое и выметаемое, блуждающее в пространстве наподобие вечного жида, не может утешиться мыслью о том, что и пыль, и грязь, и бактерии, и злодеи играют какую-то неясную роль во всеобщей «экономии мира»: эта мысль не дает ему ни избавления, ни счастия. Все неустроенные атомы мира — образуют единую, великую проблему мироздания, великое бедствие и грозящую опасность. Рано или поздно они начинают объединяться и поднимают восстание — то в космическом пространстве, то в пустыне, охваченной самумом, то в форме болезненного «новообразования» организма, то в виде социальной революции или гражданской войны...

Такова великая «организационная» задача мира: пыль должна быть принята и включена в живой порядок вселенной и общества, она требует от нас избавления и исцеления — счастья через свободное служение. Это не задача «мига» или «часа», это не случайное заболевание, исцеляемое по какому-то единому рецепту: нет, это задание всегдашнее, вечное, требующее постоянных усилий, все новых и новых *мудрых* и в то же время *бережных* мер. Ибо в великом вращении и формировании мира всегда будут вновь и вновь появляться отпавшие и неустроенные атомы, выброшенные, не приспособившиеся, «потерявшие голову» и неспособные вложиться в работу целого. И всегда будет возможность, что такие блуждающие атомы, протестующие и ожесточенные, сгрудятся и затянут мрачный гимн злобы и отвержения — протестуя против неустроившего их Творца, грозя космосу завистью

и ненавистью, неся другим людям месть, уравнение и порабощение...

... Однако великая проблема «пыли» имеет еще иную сторону и иное значение. Ибо во *внутренней* жизни человека имеется *свое* распыление и *своя* особая пыль. Живя изо дня в день, мы совсем не замечаем, как душу нашу засыпает пыль ничтожных, повседневных мелочей и как самая душа наша начинает от этого мельчать, распыляться и вырождаться. Каждая человеческая душа имеет призвание стать неким гармоническим единством, живущим и действующим из единого духовного центра. Человек должен обладать духовно укорененным характером. Он должен быть подобен городу с единым крепким кремлем, в котором покоятся почитаемые им святыни. Или еще: он должен быть подобен художественному произведению искусства, в котором все обосновано единою, главною идеею. Поэтому он не должен позволять жизни заносить себя пылью и распылять себя по мелочам.

Вот почему нам надо постоянно отличать духовно-существенное от неважного, главное от неглавного, руководящее от пустяшного, священное и значительное от мелочного и праздного; и притом для того, чтобы все время перелагать ритмический акцент жизни на значительное и священное. Тут дело не в бегстве от пустяков, не в важничанье, не в педантизме или ханжестве, а в укреплении духовного вкуса и распознавании вещей. Надо постоянно приводить наши жизненные содержания в связь с нашим духовным центром, измеряя их *его* светом и *его* содержанием так, чтобы они освещались из него и обличали свое истинное жизненное значение: то, что устоит в свете этого центрального огня и оправдается, то есть благо, то подлежит избранию и предпочтению, а все иное, не оправдавшееся, само будет обличаться и отпадать. Это и есть процесс очищения от душевной пыли. Не все потребно духовному организму для его внутреннего строительства; то, что не может служить ему, пусть выделяется и не живет в нашем внутреннем пространстве. Жить — значит различать, ценить и выбирать; кто этому не научится, тот будет засыпан пылью жизни. Жить — значит укорениться в главном и организовывать из него свой характер и свое

мировоззрение; кто не способен к этому, тот сам распадется в прах и потеряет сам себя...

Все ничтожные мелочи нашего существования — все эти несчастья, низменные и пустые «обстоятельства» жизни, которые желают иметь «вес» и «значение», а на самом деле лишены всякой высшей существенности; — все эти праздные, беспризорные жизненные содержания, несущиеся на нас непрерывным потоком, все эти засыпающие нас пошлости, которые претендуют на наше время и на наше внимание, которые раздражают нас, возбуждают и разочаровывают, развлекают, утомляют и истощают — все это *пыль,* злосчастная и ничтожная пыль жизни... И если мы не сумеем избавиться от нее, и будем жить ею, отдавая ей пламя нашего существа; если мы не воспитаем в себе лучшего вкуса и не противопоставим ей более сильную и благородную глубину духа, то пошлость поглотит нас: наши жизненные деяния утратят высший смысл, станут бессмысленными и безответственными; наш жизненный уровень станет низменным; наша любовь станет капризною, нечистою и нетворческою; наши поступки станут случайными, неверными, предательскими — и дух наш задохнется в пыли бытия...

Тогда наша жизнь окажется поистине «даром напрасным, даром случайным» (Пушкин); она утратит свой смысл и свое священное измерение. Человек, доживший до этого, блуждает как бы в тумане и видит, по слову Платона, лишь пустые тени бытия. Занесенный прахом, он сам поднимает прах, целые облака пыли, и именно поэтому он, по слову епископа Беркли, из-за поднятой им пыли не видит солнца. А когда им овладевают страсти, то влага этих страстей, смешиваясь с прахом его ничтожной жизни, становится липкой грязью, которою он и наслаждается, по словам Гераклита...

Притаившись у дороги нашей жизни, лежит вокруг нас эта коварная пыль; и лучше нам не тревожить ее и не посылать ее клубы по ветру. Незаметно забивается она во внутреннюю горницу нашей души и оседает на всем, что в ней укрыто; вот почему нам необходимо умение очищать от нее наши душевные пространства, и тот, кто этим искусством пренебрегает, рискует однажды задохнуться в своей собственной пыли. Ибо от пыли вырождается в человеке

все: и мышление, условно «комбинирующее» относительные, отвлеченные понятия (логическая пыль); и беспочвенная, беспредметно играющая образами фантазия (эстетическая пыль); и воля, оторвавшаяся от своих священных корней, циничная, властолюбивая и жестокая, воспринимающая человечество как безличную, политическую пыль; и холодное и омертвевшее сердце, разучившееся любить и засыпаемое нравственно безразличным прахом существования...

А если сердце заглохло, то человек наполовину мертв; и не справиться ему с жизненной пылью. И современный мировой кризис есть кризис заглохшего сердца и восставшего праха.

11
О ЩЕДРОСТИ

Вы не знали моего прадеда?.. Жаль... Это был добрый и привлекательный человек... Ему было уже 76 лет, когда Господь отозвал его в Свои селения. Он был резчик по дереву, большой мастер; и тонкие работы удавались ему прямо удивительно: кружево да и только, и с каким вкусом! А больше всего он радовался, когда мог подарить какую-нибудь изящнейшую вещицу значительному, талантливому человеку. Тогда он приговаривал: «Ведь этим я вошел в его жизнь, я помог ему найти в жизни хоть маленькую радость...» — и улыбался счастливой улыбкой.

А, значит, вы его все-таки встречали?.. Да, да, это был он: с длинными, белыми волосами... Высокий лоб, мечтательные, немножко отсутствующие глаза и незабываемая улыбка: будто все вокруг улыбнулось... Да, и последние годы он ходил немного сгорбившись. Вот о нем-то я и хотел вам рассказать.

Видите ли, когда я наблюдаю современную жизнь, то мне часто кажется, что люди придают чрезмерное значение всякому имуществу и богатству, как будто большое состояние равносильно большому счастью. А это совсем не верно. Кто так думает и чувствует, тот, наверное, проживет несчастливую жизнь. И этому я научился у моего покойного прадеда.

Ему всю жизнь приходилось зарабатывать себе пропитание, и это давалось ему подчас не легко; и несмотря на это, он был одним из самых счастливых людей на свете. Вы спросите, как ему это удавалось?.. А это он и называл «искусством владения» — или щедростью.

Он был седьмым в своей семье и притом младшим; одни мальчики. Старшие братья были все черствые и жадные. На него они смотрели свысока и ничего ему не давали. Родители у него умерли рано, и он едва мог дотянуть до конца городского училища. Тогда братья заявили ему: «изволь сам себе зарабатывать пропитание». Ссориться и пререкаться он не любил и стал учиться тому, к чему его особенно тянуло: резьбе по дереву и игре на скрипке. С резьбою у него сразу пошло; вещи его очень нравились. И он объяснял это так: «Я *от души* это делаю, *с любовью,* а люди это чувствуют; ведь они все ищут в жизни любви, прямо голодают по ней; вот им и нравится»...

Через год он не только зарабатывал себе на хлеб (жизнь-то тогда была дешева), но платил сам и за скрипичные уроки. Тогда он ушел от братьев и стал жить у бездетного дяди. Там его тетка очень любила; так и называла его: «голубчик мой». А в нем и вправду было что-то голубиное. А уж образование свое он позднее пополнял ненасытным чтением.

Бывало, только возьмет в руки смычок, так мелодия и польется. Все сидят и слушают как очарованные, и у всех глаза влажные. И горечь жизни забудешь: будто все заботы и тяготы с тебя сняли и только сердце поет. Как он играл русские народные песни, да еще в настоящих древне-народных тонах и гармониях... Он потом с Мельгуновым водился и с гуслярами все дружил... Бывало, сам стоит серьезный, благоговейный; и только глаза сияют блаженством.

Вы спрашиваете про «искусство владения»? — Сейчас, сейчас расскажу... Бедности он не знал. Но и богатым никогда не был. Два раза ему сватали богатых невест. Он сам об этом рассказывал: «Обе были из твердого дерева и грубой резьбы. Таких нельзя любить. И никакого пения в них не было. А во владении они тоже ничего не понимали: обожали свое богатство, оно из них так и смотрело. Ведь у каждого из нас *свое главное* из глаз глядит, а у них

глядела жадность». Позднее он женился на моей прабабушке и жил с ней душа в душу. Она была необычайной доброты, бедна, но умна и первая певунья на свадьбах; все старинные свадебные песни знала и как зальется, так все слушают и не дышат.

Когда прадед начинал бывало рассказывать или советы давать, я мог слушать часами, неотрывно. Потом я стал даже кое-что записывать для памяти. Вот и про владение.

«Слушай, малыш, — говорил он мне не раз, — есть особое искусство владеть вещами; и в нем секрет земного счастья. Тут главное в том, чтобы *не зависеть от своего имущества,* не присягать ему. Имущество должно служить нам и повиноваться. Оно не смеет забирать верх и господствовать над нами. Одно из двух — или ты им владеешь, или оно на тебе поедет. А оно — хи-и-трое. Только заметит, что ты ему служишь, так и начнет подминать тебя и высасывать. И тогда уж держись: проглотит тебя с душою и телом. И тогда тебе конец: оно займет твое место и станет твоим господином, а ты будешь его холопом. Оно станет *главным* в жизни, а ты будешь его привеском. Вот самое важное: человек должен быть *свободен;* да не только от гнета людей, но и *от гнета имущества.* Какая же это свобода: от людей независим, а имуществу своему раб? Свободный человек должен быть свободным и в богатстве. Я распоряжаюсь; мое имущество покоряется. Тогда я им действительно *владею,* ибо *власть* в моих руках. Тут нельзя бояться и трепетать. Кто боится *за* свое богатство, тот трепещет *перед ним:* как бы оно не ушло от него, как бы оно не повергло его в бедность. Тогда имущество, как ночной упырь, начнет высасывать человека, унижать его, и все-таки однажды, хотя бы в час смерти, покинет его навсегда...

Вот я вырезаю по дереву. Это удается мне потому, что я владею моим скобелем и могу делать с деревом все, что захочу. Поэтому я могу вложить в мою резьбу все мое сердце и показать людям, какая бывает на свете нежная красота и радость.

Или вот — на скрипке. Смычок и струны должны меня слушаться; они должны петь так, как у меня на душе поет. Любовь владеет *мною,* а я владею *скрипкой;* вот она и поет вам всем про радость жизни и про Божью красоту.

То же самое и с имуществом. Оно дается нам не для того, чтобы поглощать нашу любовь и истощать наше сердце. Напротив. Оно призвано *служить нашему сердцу и выражать нашу любовь.* Иначе оно станет бременем, идолом, каторгой. Недаром сказано в Евангелии о маммоне. Кто верует в Бога, тот не может веровать в богатство, а кто раз преклонился перед чужим или перед своим богатством, тот сам не заметит, как начнет служить дьяволу...

Дело не в том, чтобы отменить или запретить всякое имущество; это было бы глупо, противоестественно и вредно. Дело в том, чтобы, *не отменяя имущество, победить его* и стать *свободным.* Эта свобода не может прийти от *других* людей; ее нужно *взять самому, освободить свою душу.* Если мне *легко* думать о своем имуществе, то я свободен. Я определяю судьбу каждой своей вещи и делаю это с легкостью; а они слушаются. Мое достоинство не определяется моим имуществом; моя судьба не зависит от моего владения; я ему не цепная собака и не ночной сторож; я не побирушка, выпрашивающий копейку у каждого жизненного обстоятельства и прячущий ее потихоньку в чулок. Стыдно дрожать над своими вещами; еще стыднее завидовать более богатым. Надо жить совсем иначе: где нужно, там легко списывать со счета; где сердце заговорит — с радостью дарить; снабжать, где у другого нужда; с радостью жертвовать, не жалея; не требовать возврата, если другому невмоготу; и братски забывать о процентах. И главное, — слышишь, малыш, — никогда не трепетать за свое имущество: «Бог дал, Бог и взял, да будет благословенна воля Его». Кто трясется за свое богатство, тот унижается, теряет свое достоинство; а низкому человеку с низкими мыслями лучше вообще не иметь богатства...»

«В умных книгах пишут, — сказал он мне раз, — что имущество есть накопленный труд, а по-моему, и труд, и имущество *от духа и для духа.* А дух есть прежде всего — *любовь.* Поэтому у настоящего человека имущество есть *запас сердца и орудие любви.* Богатому человеку нужно много сердца; тогда можно считать, что он заслужил свое богатство. Много денег и мало сердца — значит тяжелая судьба и дурной конец».

Бывало, поговорит так и возьмется за свою скрипку и начнет играть старинные русские песни, одну за другой:

«Верный наш колодец» и «Не пой, соловушка» и еще много других, а я сижу счастливый и слушаю...

И все это он навсегда врезал мне в душу. И песни эти я и сейчас не могу слышать равнодушно. Эх, сколько свободы и доброты в русском человеке! Какая ширина, и глубина, и искренность в его песнях!

И кажется мне, что прадед мой думал и жил, как настоящий мудрец...

12

РАННИМ УТРОМ

Отчего это я проснулся сегодня так рано? Может быть, это ночная бабочка заметалась на рассвете? Или донеслись тихие раскаты далекой грозы? Или души моей коснулся тот молчаливый укор просыпающегося мира, который настигает всякого, погруженного на заре в свои одинокие сны? Не знаю. Но только я вскочил с таким чувством, как если бы проспал что-то очень важное, и полусонный, растерянный — открыл окно в сад. И тотчас же меня охватила струя раннего воздуха, нежная прохлада, упоительная щедрость мира...

Еле светлело, но ночь уже шла к концу. Высоко, высоко, в бледном небе тихо гасли звезды. Неуверенный, слабый свет разливался с востока, как бы робко спрашивая, не пора ли?.. Ночные тени уже таяли, но все еще пытались сохранить свои тайны. И каждое мгновение все менялось...

Вчера весь день было так душно... Все было подавлено и надломлено зноем. Земля поглотила так много солнечной жары, что, возвращала ее избыток, а мы, жалкие люди, томно слонялись в изнеможении, ища прохлады. И даже ветер своим горячим, больным дыханием не давал облегчения... Где же это все? Куда исчезло? Воздух чист и легок; он струится весельем, играет. Он выздоровел, вернул себе свежесть и упоен такою радостью, что сразу захватывает, будит и опьяняет светлыми предчувствиями. И вся тварь Божия купается в нем, наслаждается, отвечает благоуханием или пением.

Сладостно пахнет сирень, сама изнемогая от своей щедрости; чуть доносится струя от первых ландышей; густыми волнами катится от черемухи; и от времени до времени все заполняется дыханием соснового бора.

А у птиц сущее ликование; высвистывают все сразу с такой прямодушной откровенностью, будто за ночь досыта намолчались и теперь хотят сообщить миру все свои открытия; или будто они ясно и окончательно разрешили все вопросы жизни и должны провозгласить свои решения. Где-то вдали чокает еще соловей, но уже слабо и утомленно. Зато остальное птичье население предается беззаветному веселью. Все пространства полны нежным щекотом, бодрым щебетом, близким посвистом и далеким граем; говор, лепет, восклицания и нежданный громкий всписк; тут и короткая долбня, и долгая дудка, и капризное чивиканье, и надоедный треск; перебой и перекличка, обрывы и раскаты. Птичье праздничное гулянье; птичий сумасшедший дом. А с высокого каштана все покрывает своими авторитетными возгласами певучая иволга. И все эти звуки четки, как самый воздух. А воздух все светлеет, как бы расступается и показывает просыпающиеся краски мира. И только люди досыпают свои тяжелые, то угнетающие, то соблазнительные сны...

Вдруг — легкое, но совсем особенное, прохладное дуновение, трепет и шелест в вершине большого тополя, скользящий шепот в высокой траве — и в чуть голубеющем небе загорается маленькое сонное облачко... Новый день начался...

Почему так упоителен этот ранний утренний час? Откуда это счастье, наполняющее душу? Что видим мы, что постигаем мы в эти девственные минуты жизни?

Древняя старушка с лучистыми глазами рассказывала мне об этом, когда я был еще ребенком; и я поверил ей на всю жизнь.

«День-то Божий, — говорила она, — уж очень светел да нежен. Все освещает. Все видит, все слышит и знает. А это куда как тяжко... Сколько дурного на земле, сколько злобы и греха... Разве это вынесешь?? Потому он и не может долго длиться. Ему надо скрыться и уйти; он и прекращается. Все обиды забирает он с собой, все горе, всю боль человеческую уносит. И приходит на его место

тьма ночная, всех разгоняет, все огни гасит, все дневные грехи прекращает, чтобы не видно было ничего и чтобы все поприкончилось. А день тем временем отдыхает и выздоравливает. А когда ночь настанет, загораются звезды Божии, кротко светят, чистоту изливают, земле мир даруют, человекам благоволение. Вот от этой звездной чистоты и доброты все и очищается; угомоняется шум человеческий, ложится пыль земная, все яды душевные истребляются, вся духота греховная исчезает. Земной воздух становится опять легким и пречистым. И Божий день опять может начаться»...

Как она все это разведала, не знаю. Должно быть, днями очень мучилась, а по ночам долго подслушивала. Но я поверил ей на всю жизнь. И когда меня посещает опять счастливый час и мне удается увидеть Божие утро во всей его красе и чистоте, тогда я твердо знаю, что она рассказала мне правду мира.

Это истинная правда, что наши дневные, человеческие дела поднимают целую тучу земной пыли. Истинная правда, что наши дурные человеческие страсти засоряют и заражают атмосферу. И еще большая правда, что в пыльном, зараженном воздухе земли нельзя вести прекрасную жизнь, нельзя радоваться ни земной красоте, ни Божьему совершенству. И если благодатное исцеление не дастся нам свыше, и не очистит нас от нашей скверны — то откуда же ждать нам спасения?..

И разве не правда, что дневная жизнь все выводит на свет, обнажает перед нами все коварство, всю жестокость, всю низость мира и наносит нам рану за раной? О, впечатлительность дня! О, нежность детских восприятий! О, это горе за огорченных и стыд за нестыдящихся!.. И бывает так, что уже в первую половину дня накопится столько, что дышать нельзя от ядовитой пыли и что свет меркнет в глазах. И тогда надо непременно прервать дневной поток сознания и искать целительного одиночества. И потому самые впечатлительные и нежные люди ищут облегчения в дневном, хотя бы и кратчайшем, сне...

День — забота и нужда, ночь — беззаботность и богатство. День — запряженность и напряженность, ночь — освобождение и простор. День — томление и утомление,

ночь — забвение и самозабвение. День — борьба, ночь — покой. День — труд, ночь — желанная мечта. День — присутствие, ночь — отпуск и отсутствие. День — общение, ночь — разобщение и тишина одиночества. И что сталось бы с нами, земнородными, если бы ночь не давала нам облегчения, покрова и прощения? А мы еще и в снах не можем расстаться с нашими соблазнами и затруднениями... Что сталось бы с нами без этой тихой забвенности, без этой целительной темноты, без этой благостной глубины, в которую мы незаметно погружаемся, чтобы приобщиться блаженному покою и свободным видениям?..

Все земное так скоро устает: природа устает от дневного напряжения; день утомляется от нашей пыли и от нашего яда, а мы сами устаем, от нашей собственной беспомощности и неумелости, от неверного отношения к другим — нелюбовного, нетворческого, жадного и опасливого восприятия людей. И если бы исцеление и укрепление не давалось нам свыше, то откуда было бы нам ждать спасения?..

Но именно поэтому помощь нисходит к нам свыше. Меркнет дневной свет. Наступают сумерки. Темнеет. Гаснут потускневшие краски. Утомленные образы теряют свои очертания. Легкое кажется массивным; тяжелое становится почти невесомым. И тихий мрак покрывает, наконец, неразличимую, исчезающую вселенную. Наступает час разлуки: все вещи расстаются друг с другом, чтобы отдохнуть друг от друга, чтобы уйти в себя, чтобы утратить себя в блаженном одиночестве и вступить в забвенную, таинственную связь с заснувшим миром. И почерпнуть в этом отдых и очищение.

Тогда зажигаются в небе Божии звезды и посылают свои лучи запыленной и усталой земле. Тихо изливают они свою мудрость на землю, на всю природу и на человека, на всех усталых, запыленных и отравленных, посылая им очищение и исцеление, чтобы они могли уподобиться звездам; чтобы люди утихли и умиротворились, ибо шум и гнев не от Бога; чтобы они стали кроткими и нежными, ибо грубость и жестокость — от человеческой испорченности; чтобы они стали чистыми и ясными, ибо пыль и грязь означают болезнь и страдание; чтобы они

стали послушными и гармоничными, ибо в небе нет ни бунта, ни хаоса...

Так текут ночные часы. Сонный мир дышит этой целительной мудростью, воздух становится чистым и блаженным, краски опять получают свою жизненность и прелесть, цветы благоухают нежно и благодарно, а птицы и звери внемлют сквозь сон небесной гармонии.

Но именно потому человек бывает так счастлив, когда проснется в ранний час и приобщится пробуждению исцеленного мира; — когда подышит очистившимся воздухом, увидит обновленную природу, услышит ликование пернатой твари, получит прощальный привет от гаснущих звезд и почувствует в начавшемся дне, в восходящем солнце и в его первом, дивно-прохладном дуновении — дыхание самого Бога. Тогда он начинает день, как если бы вновь родился для жизни: ибо сердце его очистилось, и воля его живет надеждами; освежилось и обновилось его воображение и окрылились его замыслы...

Каждый день несет нам этот блаженный ранний час, ибо каждое утро есть *Божие утро,* а мы не помним этого и проходим в жизни мимо Божией благодати, не умея находить и беречь ее дары.

13

О ВОЗРАСТЕ

Разве человек бывает когда-нибудь доволен тем, что у него есть? Ему всегда хочется чего-то другого — быть иным, иметь больше, уметь то, чего он не умеет делать. Всегда ему чего-то не хватает. Всегда он жалуется и претендует. Он не умеет ценить свое достояние и извлекать из него все возможное; и слишком часто ему кажется, что он непременно должен «достать» или «добыть» себе такое, чего у него нет. Все мы, люди, существа несытые и неблагодарные, склонные к недовольству и ропоту.

Вот так — и с возрастом...

Есть в жизни человека такая раздельная черта, *до* которой он торопит течение времени и *от* которой он хотел бы его замедлить или остановить. Эту раздельную черту люди переступают в разные сроки. *До* нее человек гово-

рит себе и другим: «ну, я совсем уже не так молод»... потому что ему все кажется, что его принимают за ребенка... А *после* нее человек всегда готов сказать и другим и себе: «но я совсем еще не так стар»... — потому что он чувствует бремя лет и не хочет поддаваться ему. Мы все незаметно косимся на других — что они о нас думают, за кого нас принимают и как определяют наш возраст? А эти «другие» нигде не учились верному восприятию людей и определяют возраст по внешним признакам, и признаки эти слишком часто бывают обманчивы. Личность человека есть состояние внутреннее, внешними признаками неуловимое; а возраст относится именно к внутреннему миру человека, ибо он есть качество духовное.

Бывают дети без сердца и воображения, рассудительные не по летам и черствые от рождения: «тощий плод, до времени созрелый» (Лермонтов); они никогда не были молоды и приходят в жизнь высохшими стариками. И бывают люди больших лет, с глубоким сердцем и живым духом, подобные старому, благородному, огненному вину. У кого сердце поет, тот всегда юн, а у кого сердце никогда не пело, тот родился стариком. Истинная молодость есть свойство *духа — его* сила, *его* творческая игра. И там, где дух веет и расцветает, где сердце поет, там старость есть только бестактность времени и обманчивая видимость.

К сожалению, люди мало знают об этом. У них не хватает духовной силы, чтобы самостоятельно определять свой возраст; и нет у них искусства оставаться духовно молодыми. Поэтому они покоряются состояниям своего тела, озабоченно считают про себя прожитые годы, сокрушенно смотрят на свои падающие волосы, стараются скрыть от других свой настоящий возраст, сердятся на неосторожные вопросы, замалчивают день своего рождения и в конце концов принимают свои железы за главное в жизни... Как часто мы бываем несчастны от близорукости и наивности, и не понимаем, что *духовность есть ключ к истинному счастью*...

Смолоду человек смотрит вперед и ждет небывалых возможностей; ему не терпится стать постарше и показать себя взрослым, а то ему слышатся отовсюду обидные

словечки («ребенок», «мальчишка», «молокосос»), и ему все кажется, что люди обмениваются улыбками на его счет... Он все мечтает выйти из детских лет и приобщиться всем тайнам взрослости, которые от него зачем-то скрывают... Зачем?

Но вот, свершилось: испытания детства кончились и взрослые говорят с ним, как со взрослым; ребяческая обидчивость исчезает, ни юношеской заносчивости, ни раздражительности больше нет. Ему кажется только, что старшее поколение скучно и надоедливо, что в нем есть что-то старомодное, устарелое, какая-то даже закостенелость. «Эти старики» думают, что у них есть какой-то особый «опыт жизни», которого он будто бы лишен, — что они все знают и понимают лучше и что все всегда должно оставаться «по-старому, как мать поставила». И все они ссылаются на свой «авторитет», и не дают ему ходу. Но, впрочем, время идет и скоро он вступит в свои права...

Незаметно для себя он переступает потом ту роковую черту, тот жизненный водораздел, после которого человек перестает торопиться и опоминается лишь тогда, когда все уже свершилось. Теперь ему уже не хочется становиться все старше и старше — довольно. Напротив, так приятно было бы замедлить или приостановить полет времени. Вот уже подрастает новое поколение, со своими новыми вкусами, манерами и суждениями. И ему уже кажется, что это какая-то странная молодежь, что у нее что-то неладно и что сама она не знает, чего хочет. «Трудно с ними сговориться, они нас не понимают, а мы их»... И скоро он уже жалеет о прошлом, и хотел бы его вернуть, и хотел бы сбросить с плеч лет десять-пятнадцать... Но, к сожалению, это невозможно...

Итак, человек всегда недоволен, — и он не прав в этом, особенно в том, что касается возраста. Надо не жаловаться и не роптать, не торопить и не замедлять, а *уходить* от своего возраста, *не поддаваться ему.* Возраст не определяется долготою жизни и состоянием тела, он определяется другим мерилом. Покорность и безмощность здесь неуместны; страх и притворство — унизительны. Надо добиваться и добиваться *независимости от своего возраста.* Не надо спорить с ним и тяготиться им, пусть приходит старость:

она не должна гасить нашу молодость. Можно быть сразу старым и молодым. Надо духовно одолевать свой возраст и превращать его в неважную мелочь существования...

Легко сказать... Но как же это делается?

А вот как.

Во-первых, надо определять возраст не по состоянию тела, а *по состоянию духа*. Во-вторых, надо *наслаждаться* во всяком возрасте его *благороднейшими радостями и разрешать выдвигаемые им духовные задачи*. И, в третьих, надо жить во всяком возрасте тем, что не стареется и *не устаревает*, что от века и на века. И все это входит в искусство жизни.

Каждый возраст имеет свои цветы. Каждый несет свои радости. Каждому доступна своя духовная красота. И надо уметь наслаждаться всем этим.

Ребенок открывает глаза и видит перед собою мироздание во всем его богатстве и великолепии. Каждая былинка готова сообщить ему свою тайну, каждый цветок смотрит на него с приветливой лаской, каждая стрекоза прельщает его своим полетом, каждое дерево шепчет ему о величии и силе. Это есть время естественного богатства, изумления, радости, доверчивости и тайн. Девственная восприимчивость души, радость новых открытий, догадок и предчувствий, художественная серьезность в игре, непосредственное слияние с природою, первые пробуждения духа...

Юноша открывает любовь в ее сладостном томлении и в ее мучительном блаженстве. Каждая женщина кажется ему сосудом с нежною тайною, каждая сулит ему возможность будущего, идеального счастья. Это есть время мечтательных поисков, влюбленности и застенчивости, дружбы и отречения, время «вопросов» без ответа и время внутренней борьбы с самим собой. Весна, целомудренная любовь, первые бури, первый закал в разочарованиях, счастье искренней любви ко всей вселенной...

Взрослый человек находит свое жизненное призвание и занимает свое место в мире. Ему предстоит целый ряд драгоценных и радостных открытий. Он познает жизнь во всей ее трудности, серьезности и ответственности; он утверждает свою духовную самостоятельность; он убежда-

ется в том, что воля есть сила строящая и оформляющая. Это есть время завершения личного характера, обнаружения своих сил и способностей; это время увлекательных замыслов и перспектив, время вступления в брак и рождения первого ребенка. Счастье начавшейся жизни, радость завершившейся любви.

Зрелый муж познает радость и муку человеческого творчества и божественную значительность мира. Он уже видит и предметную глубину жизни, и предел своих личных сил. Перед ним раскрывается сущность вещей, и жизнь его вступает в период плодоношения. Это есть время опубликования главных трудов и воспитания нового поколения, время заслуг, призвания и восхождения. Красота позднего лета, благоухание сложенных скирдов и собранных яблок, счастье зрелых и законченных созданий.

Старость вкушает покой и тишину сердца, она видит перед собой дивный горизонт жизни и наслаждается властью свободного отречения. Это есть время отстоявшегося созерцания, сладостных воспоминаний, высшей духовной зрелости. Чудесное бесстрастие дружбы, благодатное богатство осени; одинокое стояние на сторожевой башне, тихое учительство мудреца, мировая скорбь философа, молитва отшельника о страдающих людях.

А *древнему старцу* дано еще большее и высшее: он приобщается таинственной целесообразности мира во всей ее глубине и благости; он уже проникает взором в потустороннюю жизнь и готов благословить свой земной конец. Тихое освобождение от всего слишком-человеческого, беспристрастное и бескорыстное созерцание, благословляющая любовь, лучезарный закат солнца, предчувствие близкого преображения жизни.

Подумать только: сколь же счастлив человек, приемлющий утехи старости и не утративший даров юности... Сколь счастлив он, если в сердце его по-прежнему поет любовь, а из старческого ока сверкает детская искренность...

А если он прожил свою жизнь в служении вечному — в любви, в духовном созерцании и в божественной ткани мира, — то жизнь его была благословенная и счастливая... Это означает, что он еще ребенком радовался дуновениям

Божиим в мире и что юношей он созерцал искру Божию в своей возлюбленной; вступая в жизнь, он уже постигал, Кем он призван и к чему, а зрелым мужем — твердо знал, Кому и чему он хранит верность. Тогда и поздняя мудрость его будет проникнута духовной любовью и он будет светить своему народу, как духовный маяк. И кто вступил в его луч, тот почувствует неземной источник этого луча. И покидая землю, он спокойно и радостно вступит в тот вечный мир, которому всю жизнь принадлежали его помыслы...

И если *так* жить, то жизнь станет цветущим садом. Возраст будет преодолен, старость окажется одухотворенною... И не на что будет жаловаться и роптать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ДАР МОЛИТВЫ

14
О ДУХОВНОЙ СЛЕПОТЕ

У людей нередко бывает так: если кто чего-нибудь лишен, то ему обидно видеть, что другие этим обладают. «Чего у меня нет, того чтобы и у других не было». Неприятно сознавать себя лишенным и обойденным. Чужое преимущество уязвляет и оскорбляет; и редко кто умеет «прощать» другим их одаренность... Обида и недоброжелательство так легко превращаются в зависть и злобу... Но если обойденный завистник добьется власти, и, может быть, даже неограниченной власти над другими, тогда его убожество может стать для него совершенно нестерпимым и он сделает все, чтобы отнять у подвластных ему людей их «невыносимое» и «непростительное» преимущество. Отсюда в истории не раз возникали трагические столкновения между тиранами и талантами.

Если прислушаться к тому, что говорят современные воинствующие безбожники, то слагается впечатление, будто мы внемлем неистовым проповедникам — проповедникам безбожия, — старающимся навязать людям новую религию. И в самом деле, это есть религия безверия и противобожия. Дело не только в том, что эти люди сами утратили всякую связь с Богом; они еще принимают свое безбожие за величайшее достижение, за «освобождающую истину», за «радостное благовестие», словом — за *новое откровение*... Такое впечатление не случайно; оно исторически обосновано и верно. И тот, кто вдумается в это явление нового времени, тот почувствует глубокую скорбь и тревогу.

Эта скорбь будет сначала подобна тому тягостному чувству, которое мы все испытываем перед лицом слепорожденного или глухонемого. Мы видим несчастного человека, который лишен драгоценного и чудесного органа, обогащающего и просветляющего душу. Этот орган раскрывает нам столь многое в мире, он дарует нам, зрячим и слышащим, такое богатство жизненных содержаний, такой поток значительных, глубоких и чистых переживаний, что мы не можем даже вообразить себя без них. Перед нами открывается особое и самоценное измерение мира и вещей; оно дает нам бесконечно много света и радости. И вдруг мы видим людей, которые лишены этих органов и которые, по-видимому, даже не подозревают, что мы через них воспринимаем и от них получаем. Естественно, что перед лицом этих обойденных людей нас охватывает чувство, смешанное из сострадания, тяжелой грусти и растерянности.

Таково приблизительно то первое чувство, которое мы испытываем, встречая на жизненном пути духовно-слепорожденного безбожника. Как же он переживает мир без Бога? Что же он видит в природе и как он представляет себе человеческую душу? Как он справляется с жизненными страданиями и соблазнами? В чем он видит назначение и судьбу человека? Ведь мир должен казаться ему совершенно мертвым, плоским и пошлым, а судьба человеческого рода бессмысленною, слепою и жестокою.

И вот в нас просыпается смутное чувство ответственности и, может быть, даже вины: мы — счастливцы, он — несчастен; нам дано духовное богатство, которого он лишен; мы созерцаем и видим, а он слеп. Надо же помочь ему. Что же мы сделали для этого? Что надо сделать, чтобы восстановить в его душе орган духа? Как быть с такими людьми? И можно ли примириться с их духовною обреченностью?

И вдруг нам приходит в голову, что он сам не замечает своей слепоты и совсем не считает ее слепотою: напротив, он очень доволен тем, что у него нет этого дивного органа, этой духовной способности созерцать, видеть и веровать. Он совсем и не хотел бы приобрести его. Напротив, эту лишенность он переживает как особое преимущество, как начало «новой» жизни и нового творче-

ства, как знак «высшего призвания», как право на власть и на проповедь. Этот нищий принимает себя за богача; этот опасно больной воображает, что он-то и есть человек образцового здоровья; он принимает себя за новое существо, которому предстоит великое будущее. Он — «просвещенный мыслитель», а мы бродим во мраке, не то «обманутые», не то «злостные обманщики». Именно поэтому он должен просветить нас, освободить и показать нам путь к новому, истинному счастью. Одним словом, он рожден властвовать, а мы предназначены к покорности.

И вдруг мы видим, что все искажено, все перевернуто и поставлено вверх ногами. Нас охватывает легкое головокружение. Так бывает в тяжелых снах, которые мы потом называем кошмарными: люди ходят спиной вперед; или падают не вниз, а вверх; огромное богатство состоит из черепков и мусора; видишь себя слепым и испытываешь от этого чувство радости и гордости; чувствуешь себя злым тараканом и все-таки собираешься управлять миром... И наконец проснешься и благодаришь Бога за то, что эти сновидения кончились...

Подобное этому мы испытываем, когда прислушиваемся к проповеди современных безбожников. Чувство сострадания быстро исчезает и уступает место удивлению и негодованию. Мы видим перед собою людей в высшей степени самоуверенных и притязательных, которые по глупости принимают свою духовную скудость за высший дар и свои плоские фантазии за новое «откровение»: они считают нас отсталыми «мракобесами», рабами предрассудков и суеверий; они объявляют нас своими врагами и вредителями народной жизни и предлагают нам — или «передумать» и согласиться с ними, или же готовиться к мукам и смерти. Вот что, приблизительно, они говорят нам: «Мы, безбожники, не видим никакого Бога и не желаем ничего знать о Нем. И это превосходно, это начало новой свободы. И если это есть слепота, то пусть все ослепнут, подобно нам. Только тогда все станут свободны и начнется новая жизнь. Для нас нет Бога, и вы, все остальные, не смеете веровать в Него. Учитесь у нас, ибо мы призваны учить и вести. А если вы не согласны, то мы постепенно уничтожим вас, так, чтобы на земле совсем не осталось верующих»...

Мы знаем хорошо, что бывает, когда слепой ведет слепого: оба падают в яму. Но чтобы слепые люди брались вести зрячих, это неслыханно. Отвечать на это жалостью или состраданием невозможно. Тут решающим становится чувство ответственности и негодования. Надо выступить на защиту правого дела и восстановить естественный порядок вещей. Конечно, нельзя «запретить» безбожным их безбожие; запретом тут не поможешь и их самих не обезвредишь. Свобода веры обозначает и свободу неверия. Нельзя принуждать человека ни к безверию, ни к вере. Обратиться к Богу и уверовать можно только свободно. Но мы должны принять их вызов и дать им достойный ответ. Мы должны спокойно, предметно и убедительно доказать, что мы не нуждаемся в их «просвещении»; что мы уже видим духовный свет; что этот свет уже освободил нас; что вера наша по существу своему предметна, свободна по своему акту и освобождает нас своею силою и своим содержанием; и что *никакого освобождения от этой свободы нам не нужно.* Мы должны доказать, что их новое, мнимое «откровение» есть в действительности слепота, самообман и мрак; что оно не дает им никакого права на власть и ведет к погибели.

Мы, верующие в Бога, совсем не слепы. Мы видим *все* то, что видят безбожники, но мы это совсем иначе толкуем и оцениваем. Однако сверх того, что они видят, мы видим еще *иное,* несравненно более важное, драгоценное, глубокое и священное, чего они не видят. За это нас нельзя объявлять ни «фантазерами», ни «лицемерами».

Лучше было бы совсем не говорить о лицемерии: ибо лицемеры найдутся во всех направлениях и течениях и само существование этих притворщиков не говорит ничего против Истины и против Предмета. Надо считаться только с *искренними людьми и с честными созерцателями.*

Но мы не признаем себя и фантазерами. Фантазер смотрит в пустоту, сочиняет небылицы о несуществующем и сам верит вымыслам своего воображения. Напротив, мы имеем живое отношение к *подлинно сущим реальностям;* нам не надо их выдумывать и нам нет никакой нужды заселять пустоты собственными вымыслами. То, что мы видим, никак нельзя отнести к галлюцинациям. Галлюцинация есть обман чувственного видения, а наши

чувственные ощущения остаются трезвыми, естественными и здравыми и не переживают ни экстаза, ни обмана. Тот, кто галлюцинирует, помешался; он видит чувственные сны наяву, он носится с призраками и принимает их за материальную действительность. А мы свободны от всего этого. Мы не безумцы и не сумасшедшие; мы переживаем земное так же, как и все здравые люди, не искажая его ни иллюзиями, ни снами. Среди религиозно верующих людей было немало гениальных ученых и изобретателей, напр.: Коперник, Бэкон Веруламский, Галилей, Кеплер, Лейбниц, Бойль, Либиг, Рудольф Майер, Шлейден, Дюбуа-Реймон, Фехнер и многие другие. Разве не они создали нашу положительную науку? Когда и где носились они с беспредметными фантазиями или предавались галлюцинациям? Это были трезвые наблюдатели, зоркие исследователи, ответственные мыслители, великие мастера Предметности. И они веровали в Бога; и открыто выговаривали свою веру. В силу каких оснований они признавали Бога? Почему? Потому что их *созерцающий опыт* открывал им не только чувственно-земной и материальный мир, но и *великие объемы духа и его реальностей.*

Истинная вера возникает не из субъективных настроений и не из произвольных построений. Она зарождается в *полноценном опыте* и бывает всегда укоренена в *предметном созерцании духа.* Этот духовный опыт имеет дело с *реальностями не чувственного* (совесть) или *не только чувственного* (художество) или прямо *сверхчувственного* (религия) характера. Этот опыт не «мечта» и не «помешательство». Он требует *духовного трезвения* и поддается *духовной проверке.* Он имеет свою подготовку, свое очищение и особые упражнения; он осуществляется в предметном восприятии и добивается полной и окончательной очевидности. И тот, кто заранее все это отрицает и не желает этого знать, тот не имеет ни права, ни основания критиковать веру и отрицать религию.

Что мог бы сказать слепорожденный о *красках* дивной картины или прелестного цветка? Ничего... И вдруг кто-нибудь сделал бы отсюда заключение, что этой картины совсем не существует или что этот цветок есть наша галлюцинация... Кто поверит глухонемому, если он объявит, что никакой *музыки* нет, что все это «выдумки лицеме-

ров»?.. Человек, лишенный духовного ока и слуха, не имеет никакого основания и никакого права говорить о духовных предметах. Человек с заглохшим сердцем или мертвым чувствилищем не знает ничего о *любви;* как же он может воспринять Божию любовь? Смеет ли он отрицать ее и кощунственно смеяться над ней? Человек, не живущий нравственным измерением дел и ничего не знающий о силе и блаженстве *совестного акта,* не будет иметь ни малейшего представления о добре и зле, о грехе и милосердии, о благости Божией и об искуплении... Как объяснить ему, что такое *молитва?* Как поверит он, что молитва бывает *принята и услышана?* Как он может удостовериться в том, что истинная вера возникает совсем не из страха и что ей дано *преодолеть всякий страх?* Как объяснить ему, не знающему ни духа, ни свободы, что вера в Бога *освобождает душу* и что проповедуемое им безбожие несет людям *худшее в истории рабство* — порабощение страстям, материи и безбожным тиранам?..

Да, истинная вера имеет дело с великими и предивными *реальностями,* пробуждающими лучшие творческие силы человека. Общаясь с этими реальностями, верующие люди освобождаются от слишком человеческих страхов; и не уступают им даже тогда, когда начинается борьба за священные начала жизни и когда надо решиться на исповедничество и мученичество. Тогда страх преодолевается силою духа и человек уходит из жизни победителем. И современные безбожники с их гонением на религию могли убедиться в этом множество раз.

Эти великие и пресветлые реальности совсем не обретаются в какой-то недосягаемой и страшной темноте, как это рисуют себе безбожники. Бог живет не только «по ту сторону» нашего чувственного мира. Он присутствует и здесь, «по сю сторону». Он дает людям Свой свет и изливает Свою силу. Он дарует им Себя в откровении; и мы способны и призваны воспринимать Его живоносное дыхание и Его волю повсюду и во всем. Всюду, где природа или человеческая культура обнаруживает нечто прекрасное, истинное или совершенное, — всюду есть веяние Духа Божия: и в таинственной чудесности кристалла, и в органическом расцвете природы, и в любви, и в героическом деянии, и в художественном искусстве, и в научном глу-

бокомыслии, и в совестном акте, и в живой справедливости, и в правовой свободе, и во вдохновенной государственности, и в созидающем труде, и в простой человеческой доброте, струящейся из человеческого ока... И там, где мы сходимся во имя Его и молимся Ему, — там Он среди нас...

А когда безбожники ставят нам вопрос, почему же мы не видим Его *телесным глазом,* мы отвечаем: именно потому, что мы не галлюцинируем; мы воспринимаем Его не телесно, не чувственно, а духом, духовным опытом и духовным оком; и напрасно думать, наивно и скудно воображать, будто реально только то, что доступно нашим «пяти чувствам».

Подобно тому, как мир не возник бы без Бога, так вся человеческая культура сокрушилась бы, если бы Дух Божий покинул ее. Не было бы жизни без солнца. Не бывать человеческому духу без Бога. Человек, отвергнутый и покинутый Богом, утрачивает свою творческую силу: он становится бессердечною, безвдохновенною, жестокою тварью, бессильною в созерцании и созидании новых, совершенных форм, но тем более способною ко взаимному мучительству и всеобщему разрушению; и жизнь его заполняется страхом, каторжным трудом и взаимным предательством. История дала тому достаточно свидетельств; неужели же нужны новые подтверждения и дальнейшие страдания?.. Кто проповедует безбожие, тот готовит людям величайшие бедствия: разнуздание, унижение, рабство и муку...

Наше поколение призвано к тому, чтобы показать людям ожидающую их грозную судьбу, чтобы удостоверить их в том, что путь без Бога ведет к погибели... Но как показать это духовным слепцам, которые не могут и не хотят видеть?..

15
ГОРНОЕ ОЗЕРО

В стороне от общих исхоженных дорог, там, высоко, у подножия крутой стены, покоится горное озеро, погруженное в свои видения. Оно смотрит чистым оком вверх,

в мировое пространство, и принимает в себя все, что посылает ему небо, послушно и ясно отражая в себе его дары... — земное зерцало высоких событий...

Не легко к нему добраться. Долог подъем, терпеливо надо идти, шаг за шагом, все вверх и вверх, в твердой надежде увидеть необычайное. Все труднее становится восхождение, все стороже и скуднее — природа, все прохладнее — бодрящий воздух. Вокруг застывший хаос. Глубоким мхом обросли скалы. Чуть слышно шепчут редкие сосны. Первобытная, священная тишина. И только два голубых мотылька, беззаботно празднуя свое счастье, носятся друг за другом через светлые пространства...

И вдруг путник чует *его* присутствие... Его не видно еще, но душу охватывает уверенность, что путь закончен и что оно сейчас покажется... Это завершенное, благоговейное безмолвие — верный знак его близости; это легкое, чуть влажное, зовущее веяние — может исходить только от него; чуется вблизи некое живое средоточие, вокруг которого и для которого существует вся окрестность... И вот оно, наконец, во всем его тихом великолепии...

Просты и строги его берега: ему не нужно окружения, оно не ищет украшений. Оно лежит открыто, чтобы видеть все и на все отвечать. Неподвижна его прозрачная вода, законченною гладью смотрит его поверхность. Нежно сияет его глубина в неуловимых, бесчисленных, то голубых, то зеленых оттенках; и все оно прозрачно до самого дна. Там, внизу, видны упавшие когда-то скалы — так глубоко, что глаз не верит расстоянию; видны столетние стволы деревьев, утонувшие дары гор, — целый мир благостно принятых и сохраненных богатств, мир блаженного бытия. Все покоится там, как в ясном сне, — навеки сбереженное, нетленное воспоминание; — как помыслы первозданного глубокомыслия; — как безмолвные молитвы отшельника. И мало-помалу душа постигает, почему эта дивная тишина вокруг, и почему не слышно горных голосов, почему не щебечут даже птицы, и почему новоприбывшие путники начинают говорить между собой шепотом. Природа умеет беречь свои тайны и хранить священное молчание. И требует того же от людей. И там, где покоится Божественное, там слышен бывает молчаливый ход веков.

Благоговейно обходит путник все озеро и вдруг останавливается в изумлении. Все, что было видно в его глубине, исчезло. В нем появилось новое и величавое, образ захватывающей красоты, целый горный хребет, с утесами и ущельями, со снегом и льдом, с рассеянными клочьями облаков, все в лучах солнца, все светящееся, чудно опрокинутое, как бы свисающее в водную гладь... Не призрак ли?.. Но этот призрак не исчезает, он длится, он пребывает и излучает свет и радость... Может быть, это просто игра лучей и воды? Может быть... Но от этой игры сердце трепещет радостью: оно верит и не верит своему ясновидению, оно слышит гимн Богу, оно чувствует разумность и красоту вселенной и трепетно ждет дальнейших видений света и глубины...

Потрясенный и счастливый, стоит путник у берега, и видит и не верит, и все хочет еще удостовериться и навсегда запомнить увиденное. Пока сердце, переполненное счастьем и благодарностью, не потребует отдыха, и уставшие глаза не зальются влагой. Тогда он садится отдыхать на первый попавшийся камень.

А когда уходит дневной свет и разливаются тихие сумерки, когда появляются первые звезды и полумесяц показывается из-за крутой стены — какая радость искать и находить все эти образы в потемневшей глубине озера!.. Теперь эта глубина уже не прозрачна: она замкнулась в себе; таинственно и сумрачно молчит ее почерневшая вода и в этой черной глади колдует лунный свет... И путник не помнит, как он добирается до ночлега и где он спит до самого утра... А там — все уже проснулось и радуется Божьей заре...

Как изумительны эти первые, поддонные богатства прозрачного озера, его *собственные вечные помыслы*... Как просто и достойно, с какою ясностью и искренностью показывает оно глубину своего существа, посвящая всякого человека в свои тайны. О, чистота сердца! О, прозрачная, щедрая мудрость!

Но как великолепны, как ослепительны его *отраженные видения*... Как верно воспринимает его гладь эти дары, как охотно и радостно отдает их всякому оку... Оно радуется всему, исходящему от Отца Света, — и голубому небу, и чуть видным звездам, и замечтавшемуся вечернему об-

лачку, и вознесшейся голой стене, и каждому дереву, и каждой скале, которым дано счастье поглядеться в него. И передает эту радость каждому новому гостю, каждому усталому страннику, который подойдет и благоговейно посмотрит в его глубину; никто не уйдет без ответа, все унесут с собою утешение, свет и жизненную радость... О, смирение духа! О, созерцательность покоя! О, радость служения!

Так покоится оно в своем простом и строгом окружении, это око мира, воспринимающее и хранящее Божии дары, подобно тому праведнику, который ищет одних небесных видений и свято блюдет ради них чистоту и прозрачность своего сердца. Два мира встречаются в нем — внутренний мир сокровенных помыслов и внешний мир от Бога идущих видений — и оба срастаются в единое, светлое и щедрое богатство мудрости.

16

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Современное человечество переживает великую смуту. Колеблются все основы жизни. Замутились все истоки духа. Идет великий распад и грозят все новые и новые беды. В этих бедствиях и страданиях нашего времени, в заливающих нас искушениях, среди обставших нас страхов — мы снова учимся молиться. Ибо мы утратили этот высокий дар и разучились этому дивному искусству. А без молитвы человек оказывается отпавшим от Бога и оторванным от источника истинной жизни: он выдан началу зла и не имеет силы противостать ему.

Каждый человек, кто бы он ни был и чем бы он в жизни ни занимался, — мужчина или женщина, старик или молодой, образованный или необразованный, — должен обладать умением собирать свои душевные силы и сосредоточивать свое внимание. В этом первая задача всякого воспитания, начиная с народной школы и кончая академическим преподаванием. Жизнь несется и проносится в нас, как поток всевозможных ощущений, желаний и страстей; или как множество всяческих забот и занятий; или же как туча пыли, состоящая из разрозненных

и ничтожных содержаний. В этом потоке, в этой мгле мы теряем себя и смысл нашей жизни. Нас одолевают, нами овладевают единичные пустяки, лишенные всякого высшего смысла. Пыль жизни засоряет нам глаза и лишает нас верного видения. Нас засасывает болото страстей и особенно тщеславия и жадности. Нам надо непременно освобождаться от всего этого, хотя бы только от времени до времени. Нельзя гибнуть в этом болоте. Нельзя отдаваться этому потоку. Надо иметь минуты и часы для свободного дыхания и созерцания, когда заботы умолкают, повседневные жизненные содержания забываются и мы освобождаем себя от всего мелкого, слишком человеческого и пошлого. Наши душевные силы — помыслы, желания, чувствование и воображение, — освобожденные от обыденного и ничтожного, ищут иного, лучшего, обращаются внутрь и сосредоточиваются на том, что составляет самую *сущность* нашей личности; что есть *главное* в жизни человека; на том, что *священно и светоносно,* что определяет самый *смысл* нашего бытия. И это есть первый шаг к молитве.

Если мне удалось освободиться от повседневности и из хаоса жизненных содержаний, то мое сердце и моя воля оказываются *свободными для лучшего и высшего.* В чем же это «лучшее»? Как найти это «высшее»? Как узнать его? И почему я задаю эти вопросы, так, как если бы я ничего не знал о нем? Неужели я прожил на свете столько лет и никогда не ставил себе этого вопроса? Или ставил, но не умел разрешить его? Но чем же я жил доселе, если не знаю этого священного и светоносного и не умею вызвать его в себе? Чем же заполнена моя повседневная жизнь? Чем освещена она, если не этим светом? Чем освящена она, если не этой святынею? Чем она осмыслена, если этот смысл не дается мне даже в минуты свободы и сосредоточенности?.. И вот от всех этих вопросов душа моя приходит в смятение и растерянность; она видит *пустоту* своей жизни и *ничтожество* своих содержаний и отвечает на это *целостным порывом к лучшему,* к священному, светоносному, жизнеосмысливающему; и в этом порыве постигает, что это может быть только нечто *совершенное, подлинно совершенное* и притом не «фантазия» и не «иллюзия», а *подлинно-реальное подлинное совершенство.* Так ро-

дится во мне *живое желание* Бога и приближения к Нему. Ибо Бог есть подлинно-реальное совершенство, а живой и целостный порыв к нему Есть начавшаяся *молитва.*

Молитва есть сосредоточенный, искренний призыв, обращенный к Сущему Совершенству. Обращаясь к Нему, призывая Его, мы открываем Ему нашу душу; и наша открытая душа поднимается к Нему и вступает с Ним в живое творческое единение. В этом сущность всякой молитвы — и самой мудрой и самой наивной, и безмолвной и обильно-словесной, и просящей и благодарственной. И постольку люди всех религий могли бы молиться совместно.

Но наша, *христианская молитва* определяется не этим. Ибо мы обращаемся не к неосязаемому и непостижимому безличному Совершенству, но к живому, совершенному Богу, к нашему Небесному Отцу, который нераздельно с Сыном Божиим и с Духом Святым внимает молитвам своих земных детей. Мы видим в Боге прежде всего и больше всего неисчерпаемый *источник любви,* к которому мы сами приближаемся и которому мы уподобляемся именно через любовь. Слабый луч нашей любви находит Его любовь, укрепляется и утверждается в ней; и воспринимает излучаемую ею благость и силу. Так даются нам три величайших утешения: чувство непосредственного общения с Богом; чувство, что наша молитва может быть услышана Им; и чувство, что Он нас знает, любит и бережет. Христианину, который находит Бога любовью и слышит, как Бог отвечает ему Любовью на любовь, присуща особенная уверенность в том, что он не может быть покинут Богом, но что он всегда находится в Его любящей руке и под Его благостным покровом. Поэтому христианин молится прежде всего *сердцем, открытым и искренним сердцем;* и передает себя во власть любящего Отца. И именно поэтому всем нам естественно и необходимо, переживая эпоху нынешнего крушения с ее искушениями, опасностями и страхами — искать Его покрова, Его помощи, Его света и силы.

Но при этом мы должны соблюдать два основных требования.

Мы не должны воображать, будто мы можем призывать Бога любви и света во всех наших земных делах и затеях. Ибо наши земные дела бывают низки и своекоры-

стны, часто — злы, коварны и гибельны. Нельзя призывать Бога света в темных и бессовестных начинаниях. Нельзя ждать помощи от Бога любви в делах хищных и ненавистных. Молитва имеет оправдание и смысл только в борьбе за добро.

Если я действительно хочу добра, т. е. такого, что оправдано перед лицом Его любви и совершенства, то я смело и уверенно могу просить Его о помощи. И первая помощь, о которой я могу молиться, это умудрение и озарение души моей в деле выбора и служения: чтобы мне было дано — верно отличать добро от зла и неошибочно желать лучшего, совершенного; чтобы мне было даровано чистое созерцание, верное различение, истинное познание и окончательное предпочтение. Мне необходима уверенность в том, что я действительно узнал Его Дело и действительно служу Ему любовью и волею. И если я в этом уверен, тогда я могу просить о помощи, молиться «с дерзновением» (Первое Послание Иоанна 5, 14) и спокойно надеяться: «помоги мне в служении Делу Твоему»... Человек, следующий голосу своей христианской совести, молится с великой уверенностью: ибо он молится *вместе со своей совестью, от* нее и *за* нее.

Известный римский сатирик времен язычества, стоик Персий Флакк говорит, что люди часто просят у богов о таких низостях, о таких жалких и грязных делах, что они даже лучшему другу своему решились бы сообщить свою просьбу только на ушко, потихоньку. Такая молитва не только кощунственна, ибо ищет в Боге сообщника темному делу, но и бессмысленна, ибо с нею нельзя обращаться к Богу света и любви. Нельзя произносить такую молитву: «Господи, помоги мне в моих пошлых и злодейских начинаниях, пошли мне удачи в моих преступлениях и увенчай мои грехи успехом и счастьем»... И тот, кто ее произносит, молится не Богу, а господину своему — диаволу.

Таково первое требование настоящей молитвы. Но есть и второе.

Никакая молитва не исключает *моих собственных усилий* и не делает их излишними: моя любовь, мое желание, мой труд, моя борьба должны служить тому делу, о котором я молюсь. Если это дело действительно хорошее и

верное перед лицом Божиим, то я должен вкладывать в него свои силы, служить ему, бороться за него, идти против угроз и на всякую опасность. Тогда я молюсь самым служением моим; тогда со мною молятся моя любовь, моя воля, мое мужество и мое верное стояние; тогда я уверен, что служу всеми силами Божьему делу и что моя молитва будет услышана. Господь откроет мое духовное око, чтобы я мог видеть ясно и верно; очистит мое сердце, чтобы я искренно любил совершенное; укрепит мою волю, чтобы я не изнемог на пути и не пал духом; и направит мои шаги, чтобы я не попал на ложные пути и не заблудился. И если бы *моей* силы оказалось недостаточно, если бы всех наших человеческих сил не хватило бы, тогда, по молитве нашей, небесная сила сделала бы достижимым недостижимое.

Если же я молюсь *о себе самом,* о моей жизни и о моем благе, то я должен иметь уверенность, что *иду по верным путям жизни.* Молитва, восходящая из чистой совести, бывает чудодейственна. С великим дерзновением взывает к Богу человек, который в борьбе за Божие дело не щадит себя самого. Тот, кто пренебрегает своими личными делами ради Божьего Дела, тот чувствует себя любимым и огражденным; и молится Богу так, как возлюбленное дитя обращается к любящему отцу. «Господи, не оставь без помощи дитя Свое. Научи и огради Своего верного сына»...

Так слагается, так возникает настоящая молитва к Богу. Такая молитва есть целое духовное искусство, и это искусство мы должны восстановить в себе перед лицом настигшей нас великой смуты. И все беды и страхи нашего времени, все духовное землетрясение, переживаемое нами в революциях и войнах наших дней, — все это есть великое чистилище души, училище веры и молитвы.

17
О МОЛИТВЕ

Человеческий дух не знает более действительного, более чистого утешения, чем молитва. Она несет человеку сразу очищение и укрепление, успокоение и радость, благословение и целение. И тот, кто этого не испытал, пусть

лучше не судит о молитве: ему самому предстоит еще добиться этого утешения в борьбе и страдании. Тогда он почувствует, что приобщился новому источнику жизни и что в нем самом началось новое бытие, о котором он прежде не имел даже представления.

Современный человек живет на земле в вечных заботах и опасениях, переходя от разочарования к болезни и от личного горя к национальным бедствиям. И не знает, что начать и как преодолеть все это; и подчас с ужасом думает о том, что этот мутный поток будет нести и заливать его вплоть до самой смерти. Однако многое зависит от него самого: это он сам увеличивает себе бремя жизни и не умеет понять истинный смысл несомого бремени. Ибо путь ему указан: ему стоит только почувствовать свою *духовную свободу* и открыть свое *внутреннее око*. Это и совершается в молитве.

Нам всем хотелось бы, чтобы наша нескладная, угнетающая и часто унизительная жизнь началась по-новому и сложилась иначе, чтобы она цвела взаимным доверием, искренним благожелательством и вдохновением. Но как достигнуть этого, мы не знаем. Близоруко рассуждая, мы говорим о «счастии», счастие незаметно вырождается у нас в «удовольствие» и «наслаждение», а в погоне за наслаждениями и удовольствиями, мы забредаем в болото и не знаем, что начать. Но путь, ведущий к жизненному обновлению, известен и не так труден: мы должны *почувствовать сердцем священное в жизни, сосредоточиться* на нем нашим *созерцанием и зажить* им как *драгоценным и самым главным*. А это и есть путь молитвы.

Нам нельзя тонуть в *несущественностях* быта. Тот, кто живет ими, тот привыкает к пошлому существованию и сам превращается, по слову юного Гоголя, в «существователя». И вот, нам необходимо научиться *верно различать духовный ранг жизненных содержаний* и приучиться сосредоточивать свое внутреннее внимание на *божественной сущности* вещей, явлений и событий. Ибо жизненные содержания не равны, не равно-ценны, не равно-значительны. Среди них есть ничтожные и есть священные; есть такие, которые возводят душу и сообщают ей особую глубину и крепость, и есть такие, которые незаметно разлагают и обессиливают ее, делают ее мелкою, страстною и

слепою. Есть такие, которыми стоит жить и есть такие, которыми не стоит жить. Надо научиться распознавать их, выбирать существенно-священные и жить ими. Тогда и сам человек станет «существенным», он поймет смысл и цель жизни и войдет в живую связь со священной сущностью зримого мира. И путь к этому умению указывает и прокладывает молитва.

И пусть не думают люди, что вступить на этот путь — зависит не от них; что бывают чрезмерно тяжелые времена, которые затрудняют молитвенное обновление жизни; и что земная человеческая власть может лишить человека внутренней свободы и поработить его несущественностями быта. Ибо на самом деле тягчайшие времена посылаются людям именно для того, чтобы они опомнились и обновились; и нет на свете земной власти, которая могла бы погасить нашу внутреннюю свободу — и прежде всего *свободу молитвы* — и которая могла бы помешать нашему очищению от пошлости.

Поэтому надо признать, что жизнь сама по себе есть как бы *школа молитвы* или *воспитание* к *молитве*. И даже тот, кто совсем никогда не молился, может быть приведен к молитве самою жизнью. Ибо для каждого неверующего может настать время величайшей беды, когда его захваченное врасплох и потрясенное сердце вдруг начнет молиться из своей последней глубины — в такой скорбной беспомощности, такими вздохами отчаяния, такими вдохновенными призывами, о коих он дотоле и не помышлял. Тогда он почувствует как бы землетрясение во всем своем естестве, и неведомое пламя охватит его душу. Может быть даже так, что человек при этом сам не будет знать, к *Кому* он взывает, и уже совсем не будет представлять себе, откуда и какое может прийти спасение. Он взывает к Кому-то, Кто *все* может, даже и невозможное; он молит этого Неизвестного о помощи, которая уже не в человеческих силах, — молит в твердой уверенности, что *есть* на свете истинная Благость и она внемлет ему. И к этой неведомой, но всемогущей Благости он и обращается с молитвой, которая, как водный поток, внезапно прорывает все прежние плотины... Он говорит с этим Существом так, как если бы он видел Его перед собою, как если бы он знал Его от века...

И потом, когда проходит этот порыв, у него остается такое чувство, что он *всегда* веровал в этого Всеблагого-Всемогущего, всегда предполагал Его присутствие — каждым дыханием своим, и вот, только теперь впервые нашел Его. То, чего ему доселе недоставало, был *душевный подъем к молитвенному вдохновению.* Ему нужно было *мужество сердца,* чтобы противостать всем своим и чужим предрассудкам; нужна была *цельность души,* возникшая ныне из инстинктивного отчаяния; ему нужна была *мудрость сердца,* которая восторжествовала бы над глупостью ума; — *вдохновение,* не посещавшее душу в пыли и грязи. Может быть, он уже и сам замечал это, ибо чувствовал себя расколотым и исцеленным. Может быть, он даже мучился этим, но не умел или не хотел преодолеть в себе внутреннюю раздвоенность, и потому «запрещал» себе молитву по соображениям «внутренней честности»... В этом обнаруживается вообще влияние нашей эпохи, «верующей» в ум, в анализ и культивирующей всяческое разложение... И только великие бедствия нашего времени дают людям способность преодолеть эти внутренние препятствия: они потрясают все наше существо до корня, смывают предрассудки, обнажают наше трепещущее чувствилище и превращают жизнь в действительную школу молитвы.

Дело в том, что настоящая молитва требует *всего* человека и захватывает его *целиком.* Она может излиться и в связных словах, но она может и не найти их, и молящийся будет вместе с Андреем Юродивым лишь восклицать в слезах: «Господи! Господи!! Господи!!!..». И это единое, сердцем насыщенное слово будет весить более, чем множество душевно-полупустых слов. Молитва может найти себе выражение и в благочестивых движениях и обрядах; но бывают и такие молитвы, при которых внешние движения и свершения отпадают совсем. Тяжело раненный не может даже перекреститься. Неподвижно лежащий в окопе не смеет даже пошевелиться. А люди, живущие в эпоху гонения на веру, во время церковного террора, вырабатывают в себе умение молиться *внутренней молитвой сердца,* которая горит внутренним огнем при совершенно неподвижном, ничего не выражающем лице.

Это пламя внутренней молитвы и есть важнейшее и драгоценнейшее в религии. Оно требует *всю* душу человека. Здесь все цвета сливаются в белый цвет; все способности души — в единую силу. Феофан Затворник описывает это состояние так: «собранный должен гореть». Здесь *мысль* не думает, не анализирует, не размышляет, не сомневается, но отдает свою пристальность, свою интенсивность в общий и единый огонь. Здесь нет отдельных *волевых* решений, но вся стремящая *сила воли* направлена целиком к единому Предмету. *Сердце* с его глубоким и нежным чувствилищем становится главным горном души; именно в нем сосредоточивается и сила *созерцания,* исходя из него и возвращаясь в него.

Вот почему молитва есть некий *сердечный жар,* который все вовлекает в себя, расплавляет и делает текучим. Она есть некий *духовный свет,* собирающий лучи, подобно увеличительному стеклу, в единый центр: в этом центре начинается горение. Неопытному человеку нередко кажется, что это горение есть его личное, субъективное состояние, которым все и ограничивается. Но на самом деле это горение вводит личную душу в *сверхличное Пламя,* отзывающееся на личный призыв и включающее в Себя лично-возгоревшееся сердце. Человеческий огонь может и должен приобщаться в молитве *Божьему Пламени* — и в этом состоит таинственный смысл и благодатная сила молитвы. Сердце человека воспламеняется божественным Огнем и уподобляется «неопалимой купине». Личный огонь растворяется в Божием и человек теряет себя в Его Огнилище. В настоящей молитве человек забывает и теряет себя: он уже не помнит, что он «есть», не ощущает своего земного естества; он видит и чувствует себя как бы в некоем *огненном столпе,* восходящем вверх, и слышит, как из души его восходят «неизреченные воздыхания» «самого Духа» (Римл. 8, 26)... И в этом свете и огне он остается дотоле, доколе выносят его сердце и дыхание.

Возвращаясь к себе после такой молитвы, человек чувствует себя так, как если бы он удостоился посетить свою исконную и священную родину; или еще — как если бы обновилось самое естество (субстанция) его духовной личности; как если бы его омыл благодатный поток чистоты видения и ведения, утешения и покоя. Он удостоверился

в том, что истинная *благость* и истинная *Сила* суть едино; он чувствует себя приобщившимся этой благодатной силе; он напился из источника жизни и любви.

После такой молитвы — даже если она продолжалась всего единую минуту — у человека остается в сердце некий неугасающий, сияющий *угль,* который разливает свое сияние через все внутренние пространства личной души и всегда готов снова вспыхнуть лично-сверхличным пламенем. Это можно было бы и так описать: от настоящей молитвы остается в душе *тихое, тайное, бессловесное молитвование,* подобное немеркнущему, спокойному, но властному свету. Оно непрестанно излучается из глубины сердца, как бы желая осветить и освятить все жизненные содержания души. Это как бы тихое дуновение Божие, идущее из потустороннего мира. Это есть как бы незакрывающаяся дверь в алтарь, к священному месту Божьего присутствия. И отсюда у человека возникает это дивное чувство, будто Потустороннее стало посюсторонним для его сердца и совести.

А между тем жизнь совершает свой неудержимый ход: и человеку иногда кажется, что не произошло ничего особенного, только, что в нем живет это сияние безмолвной, тихо-трепетной молитвы, ни о чем не просящей и ничего не домогающейся, и что он знает об этой открытой ему двери соединения, и знает, что она ведет к ключу целительной воды. Поэтому он может вершить свои жизненные дела, есть, пить и спать, напряженно работать и предаваться отдыху, а внутренний свет не покидает его: он будет мерою вспыхивать и очищать его душу, светить ему во всех его жизненных делах, освещая в них добро и зло, утверждая его в благе и отнимая у него возможность совершать злые, черствые, низкие и пошлые поступки. Человек может забывать про этот, тихо тлеющий в нем, угль безмолвной молитвы; но угль этот будет неосязаемо вершить свое великое дело — жизнеосмысливающее, очистительное, освящающее и исцеляющее. И стоит только человеку опять постучать в эту дверь и воззвать к этому свету — и снова разгорится огонь, запоет сердце, заструится живая любовь, заговорит чистая совесть и раскроется перед ним дверь в потусторонний мир с дивной перспективой личного бессмертия. И опять он почувствует себя

у брега земной жизни и услышит дыхание Божие в себе и в мире.

Но теперь он уже знает, что его начальная молитва, предпогибельная молитва ужаса и отчаяния — была лишь первым, беспомощным порывом, лишь первым шагом по новому пути. Теперь он молится уже по-иному: свободным воспламенением, непрерывным излучением, всецелым включением своей жизни. И эти виды молитвы суть *высшие*. Их бывает много, столько, сколько человеку доступно отдельных жизненных актов. Всех видов молитвы «столько, сколько в одной душе или во всех душах может порождаться разных состояний и настроений» (Иоанн Кассиан Римлянин). Есть молитвы благодарности, преклонения, смирения, покаяния и очищения. Молитва может внимать дыханию Божию, созерцать мудрость Творца и даровать человеку очевидность; молитва может сомневаться, вопрошать, отчаиваться, скорбеть и призывать. Коперник молитвенно внимал законам природы. Фехнер молился вместе с цветами и деревьями. Сегантини преклонялся перед горами, как перед алтарями Божиими. Ломоносов молился вместе с северным сиянием. Державин — созерцая бренность земного и бессмертие Божественного. Пушкин — каждым актом вдохновения. Лермонтов — с ландышами у ручья. Человеку дана от Бога *великая молитвенная свобода, свобода превращать каждый акт своей жизни и своего труда в творческую молитву;* — наподобие той чудесной молитвы сеятеля, которую приводит Лесков в «Соборянах»: «Боже! устрой и умножь, и возрасти на всякую долю человека голодного и сирого, хотящего, просящего и произволяющего, благословляющего и неблагодарного»...

Так, есть молитва изнеможения, произносимая со многими слезами и дающая *укрепление:* «Господи, не могу больше»...

И есть молитва без слов и без слез, мгновенная, созерцательно-лучевая: единый взгляд духовного ока, направленный горé — «Он есть, Он бдит, и я есмь Его орудие». Это молитва *утешения и силы*.

И есть молитва сердечного тепла, подобная этой: коснуться в самом себе Его неугасающего угля; и только.

А в путях и страданиях личной жизни всегда будет иметь судьбоносное значение молитва *служения и одоления:* «Вот я, перед Тобою, Господи, слуга Твой, ищущий только воли

Твоей. Научи меня верно служить Тебе всяким дыханием и деянием моим. Пошли мне силы Твоей, мудрости Твоей, вдохновения Твоего. Не отдай меня на поругание врагам Твоим; изведи меня от угроз их. И соблюди мою свободу в жизни и творчестве, ибо свобода моя — в свершении воли Твоей».

И на этих путях жизнь становится школой молитвы, а молитва истинным источником жизни и творческой силы.

18
О МИРОВОЙ СКОРБИ

Поистине, это один из основных законов нашего мира, что все существа и все вещи *несовершенны* и должны *восходить к совершенству в борьбе и страдании.* Значение этого закона так велико и глубоко в жизни и творчестве людей, что настоящая зрелость человека начинается лишь с того момента, когда он продумает и прочувствует этот закон во всех его последствиях и выводах. Все, что есть хорошего, значительного, непреходящего, а особенно гениального и божественного в человеческой культуре, — все могло быть создано человеком только в страдании, все должно было быть заслужено и оправдано им. Это и имел ввиду глубокомысленный чешский мистик Якоб Бёме, когда говорил, что качество родится из муки...[1]

Постигнуть этот закон — значит получить некое благодатное облегчение в той духовной беспомощности, которая грозит всем людям на земле. Ибо это постижение как бы извлекает нас из мутного потока жизни и, подняв нас, хотя бы на миг, над страдающим миром, показывает нам его *извне и сверху.* И если человек дотоле жил как тварь среди твари, то отныне он приобретает способность выйти духом из ее состава, увидеть ее муку и поставить вопрос о смысле ее бытия и ее мучений. Доселе он только *мучился* в мире среди прочей твари; отныне он восходит на высшую ступень бытия, ибо ему дано *страдать о страданиях мира,* т. е. испытывать *мировую скорбь.*

Растение и животное страдают *в мире,* оставаясь в его составе и составляя его собою, но им не дано страдать о

[1] «Der Qualität guillt aus der Qual».

мире и за мир. Человеку дан высокий дар возноситься над тварною жизнью мира и болеть о судьбе всей твари, страдать за нее, страдающую. Поэтому человек призван понять и постигнуть, что *все живое должно страдать.*

Человек должен прислушиваться ко вздоху и стону вселенной, включая сюда и человеческую тварь, внимать ей открытым сердцем и приобщаться мировой скорби через *бескорыстное сострадание.* Мы должны вчувствоваться в муку и жалобы стенающей природы и забывать в этом вчувствовании наше собственное страдание. Мы должны принять на себя страдание живых существ и понести его, как общий и единый крест мира; и попытаться постигнуть скрытый, но глубокий смысл этого мирового креста. Этим мы предаемся мировой скорби, т. е. страданию о страдании мира. И предаваясь этой скорби, наш дух возвышается и вступает в дивную близость к Богу...

Пока человек пленен и ослеплен своим собственным личным страданием, пока он мечется в беспомощности и сослепу не видит исхода — он побежден своею тварностью и не находит пути к Богу. Он должен выйти духом из себя, вознестись над собою и увидеть страдание ближнего, всех людей, всей твари. Сначала он ужаснется, и этот ужас перед мукою мира вызовет в нем возмущение, ропот и, может быть, даже восстание: и эти чувства и настроения поведут его *не* к Богу, а уведут его *от Бога* и, может быть, даже подвигнут его *против* Бога. Ибо слепое возмущение свойственно именно твари в ее отношении к другой твари; если же оно направляется вверх, против Бога, то оно не освобождает тварь от ее тварности, но оставляет ее в слепоте, доводит ее до ожесточения и делает ее *восставшей тварью.* Человек, ослепший от ужаса, не видит вдаль и вглубь, он противится свету и разуму и уходит в отвращение и отвержение. Созерцание мировой муки требует мужества, а этого мужества у него нет. Созерцание должно окрылить его, а он остается бескрылым. Тварный страх уводит его в темные погреба безнадежности, пессимизма и Бого-отрицания. И в этой тьме им постепенно овладевает аффектированный, вызывающий *«демонизм»* и упоенный ненавистью и гордостью *сатанизм.* И «скорбь» его становится безбожною, озлобленною и разрушительною. Именно такова была судьба всей «пессимистической» философии и литературы девятнадцатого века.

Только любовь освобождает и спасает человека. Ее первая и элементарная форма есть жалость к страдающему. Человек вчувствуется в чужую муку, со-испытывает ее и начинает проявлять живое, творческое участие. Он забывает о себе, живя чужим страданием, и этим освобождает себя от пребывания в собственной боли и личном горе. Его *собственная тварность* уже не связывает и не ослепляет его, но зато *чужая тварность* начинает овладевать им и заполнять его жизнь и душу. И если он не заметит этого вовремя и не преодолеет этот новый плен, то он скоро окажется *пленником чужой тварной муки*. Пока жалость остается последним словом или высшим проявлением его любви, всякое страдание живого существа кажется ему бедою или несчастьем, а в тварной муке он видит сущее «зло» (Лев Толстой). Он начинает верить, что высшая цель жизни состоит в *избавлении человечества от страдания*. Он уже не может видеть страдающее существо, и борьба против страдания становится для него главной задачей. Безболезненная жизнь кажется ему высшим земным благом.

Это означает, что сострадательный человек *нашел своего ближнего;* и это очень хорошо. Но *смысл страдания* он не постигнул и *назначение человека* ему не открылось. Любя человека, он любит в нем не поборающего и освобождающегося «ангела», скрытого в глубине страдающей души, но вздыхающую и стенающую тварь; и на себя он берет не помощь «ангелу», а служение твари; и цель его не в том, чтобы страдающий дух очистился и победил, а в том, чтобы облегчить мучение твари. Вот почему жалостливый человек все еще подавлен страхом и ужасом; он все еще проклинает страдание и не постигает ни его смысла, ни его благодатности; он все еще боится муки и не знает ничего о ее творческом преодолении и просветлении. И потому его «мировая скорбь» не возводит его к Богу: он остается в пределах «гуманности» и «сентиментальности», и луч Божий не озаряет ее. А как помочь страдающей твари, борющейся, ищущей и взывающей к Богу, — он не знает.

Любовь только тогда освобождает, когда человек воспринимает в человеке *сына Божия,* страдающего, одолевающего и очищающегося страданием. Каждый из нас есть

Божие дитя, странствующее по земле в образе человеческой твари. Но именно человеческая тварность возлагает на каждого из нас тот способ земной жизни, со всеми его несовершенствами, трудностями и противоречиями, который неизменно и непременно присущ каждому человеку. Поэтому каждый из нас должен спокойно, достойно и терпеливо принимать все обусловленные этим боли и страдания, «нести свой крест» и учиться творческому преодолению посланного. Нам не следует приходить в чрезмерный ужас при виде страдающей твари. Нам не подобает спасаться любой ценой от боли и горя. Мы должны постигнуть необходимость страдания, его высшую духовную целесообразность и одухотворяющую силу, и раз навсегда усвоить его мировой смысл.

В отделении или даже удалении от Бога человеческая тварь должна страдать. Это страдание *зовет* ее к Богу и *ведет* ее к Богу; для этого страдание и посылается; в этом его назначение; таков его высший смысл. Растение и животное подвержены этому элементарному мировому страданию в его низшей «потенции» и не умеют претворять его в борьбу и просветление. Но человек имеет высшее призвание: он должен принять посланное ему страдание как «посланное» ему, как призыв к очищению, как свободную, личную борьбу за творческое просветление личности.

Божие дитя страдает на земле потому, что это страдание возводит его к Отцу: в борьбе и одолении оно стремится к своей блаженной первородине. Мучение твари ужасно, если она не понимает высшего смысла своего страдания и не находит своего восходящего пути: тогда оно является с виду бессмысленной мукой. Но если тварь находит и смысл и путь, и если этот высший смысл страдания исполняется и осуществляется, тогда не следует ужасаться и роптать, и тогда сентиментальная жалость не является словом земной мудрости. Тогда страдание осмыслено и оправдано; и мы должны воспринимать его как зов и благословение.

Тогда перед нами открывается великая творческая мистерия мира и мы можем воспринимать ее и сердцем, и взором, и разумом. Душа наша наполняется мировой скорбью; и эта скорбь действительно возводит нас в «пространства», близкие к Богу.

Бог есть первый и высший источник живой любви. Поэтому он не может не страдать, видя, как созданная им живая тварь вздыхает и стенает в ожидании. Первоначально Он страдает не *в мире,* а *о мире,* ибо вздохи и стоны твари восходят к Его престолу. Но потом Он нисходит в мир, приемлет тварный образ, кровь и плоть, дыхание и муку. Он приобщается жизни мира и страдает в составе мира, вместе со страдающей тварью. Он принимает на Себя иго и бремя человека, чтобы открыть ему и даровать божественное искусство освобождающего, избавительного, духовно-творческого страдания. Бог становится человеком, чтобы избавить отпавшего и слепого человека от обреченности бессмысленному страданию; Бог становится человеком, чтобы возвести человека к Богу.

Человеку открывается новый путь; он должен увидеть его, свободно признать его и свободно избрать его. Тогда он преодолевает страдание в мире и превращает его в повод, в исходный пункт, в источник творческого очищения и просветления. Сначала он научается этому в самом себе и на самом себе; потом он пытается научить этому других людей. Тогда он постигает смысл мирового страдания и поднимается до истинной, до творческой мировой скорби. Он видит, как страдает и борется человеческая тварь. Он видит, что Бог принимает на Себя ее иго и бремя. И он несет вместе с тварью и вослед за Господом творческое страдание мира.

Таков истинный образ мировой скорби. Усвоив его, человек молится уже не о том, чтобы мир избавился от бед и страданий, но о том, чтобы страдание мира стало осмысленным, возводящим, творческим и просветляющим — о том, чтобы оно было облегчено, чтобы оно достигло своей высшей цели, чтобы оно совершилось и завершилось на Божиих путях.

19
ГОРЫ

В безмерной дали веков, вскоре после сотворения мира, когда земля ощутила впервые свою первозданную форму и свои пределы, она опечалилась и воскорбела: ибо она

увидела себя отверженной и униженной, оторванной от света и отдаленной от неба, вровень приглаженной, голой, пустынной и беспомощной... И стала она вздыхать и роптать: и возмутилась, и поднялась, и восстала мятежом. Это было буйное восстание, страшное и хаотическое. Но оно шло из последней глубины, оно было искреннее, и искры его летели к небу: оно было пламенное, и пламя его молилось Творцу; и от этого огня плавились утесы, и первобытные камни текли потоком... Это был великий подъем глубин, жажда света, стремление к небу, изверженне творческой воли... Восстала мечта о новых, совершеннейших формах, о новом богатстве бытия, о приближении земли к небу... И это восстание было влечением к Богу, ропщущей молитвой, мольбой о неотвержении отвергнутого...

И увидел Господь в своей вечной благости — это воздыхание и эту бунтующую мольбу; и великий подъем глубин нашел Его благоволение: ибо косная пассивность и рабская покорность никогда не были угодны Ему, а всякий искренний порыв и молитвенный ропот приемлются в небесах, как молитва тоскующей твари. Потому благословил Господь это восстание земли и не позволил ему распасться в ничтожество, но повелел ему сохраниться навеки: возноситься к небу молчаливой молитвой, пробуждаться с благодатной зарею и блаженно расцветать в последних лучах уходящего солнца. А человеку Господь повелел созерцать эту таинственную запись прошлого и постигать ее сокровенный смысл.

И созерцая ее, мы называем ее ныне *горами*.

* * *

Когда я вижу снежные горы, поднимающиеся вдали к облакам, — сердце мое трепещет от нежданного счастья: в нем просыпаются какие-то угасшие древние воспоминания... как если бы я уже созерцал когда-то эти видения и потом всегда тосковал по ним, как если бы начинали исполняться самые дивные и священные обетования... Я стою захваченный и потрясенный, и не знаю, можно ли верить этим призракам... Как легок, как смел этот взмах к небесам. Как нежны, как призрачны очертания. И как могущественны скрытые за ними земные массы. Я вижу

землю, восходящую к небу, я вижу небо, ее обнимающее, я вижу, как земля теряется в небе, сливается с ним, — может быть, сама становится небом? Не сон ли это? Или, может быть, это видение есть сущая реальность, а плоская жизнь повседневности — всего-навсего тягостный сон? Откуда во мне эта блаженная тревога, это чувство приближающейся родины?.. Как если бы это издали светящееся великолепие, это обетованное будущее — возникло из моего интимного прошлого, из моего довременного бытия... Или, может быть, душа моя настолько «ветха деньми», что я и в самом деле мог присутствовать при образовании миров? Или, может быть, эти далекие горы повествуют мне о том, чем я сам был, и что я есмь, и чем я буду, и какое великолепие ожидает меня впереди?.. Нежные видения. Пророческие образы. Божии сны... Но вид исчез. Воздушные призраки скрылись в земном тумане и в небесных облаках. И только сердце шепчет мне о возможности невозможного...

* * *

А потом горы принимают меня в свою среду и несут меня вверх, спокойно и благостно позволяя мне попирать их ногою и карабкаться по их крутым обрывам. Их спокойствие передается мне, и я иду все выше и выше. Медленно взбираюсь я; торопиться нельзя и незачем; много времени нужно, чтобы одолеть высоту, чтобы привыкнуть к ней, чтобы не закружилась голова от этого дремлющего горного мятежа, чтобы не пресеклось дыхание от этой стихийной молитвы... Вот я уже устал, но с усталостью я не могу и не хочу считаться. Таинственная сила зовет меня кверху. Во мне проснулось некое влечение, как если бы меня захватил мощный довременный подъем, которому нельзя противостоять, — вверх, вверх, все выше — и только исчерпав последние силы можно отпасть и отказаться от восхождения... но и тогда в душе осталось бы чувство, будто я постыдно изнемог в великом деле... Нет, это невозможно, надо идти и дойти, чтобы пережить смысл и судьбу древнего восстания, чтобы научиться мятежной молитве гор...

И каждый миг все вокруг меняется: новые провалы, невиданные глубины, вознесшиеся высоты. Каждый по-

ворот открывает непредвиденное. Каждый обрыв говорит о страшных событиях прошлого и о предстоящих новых оформлениях. Самое дикое — прекрасно. Самое ужасное — закончено... Вот что снилось земле тогда, в предвечной давности; вот какое богатство новых возможностей и новых форм предносилось ей тогда... И душу охватывает счастье от того, что ей позволено увидеть и пережить эту древнюю мистерию бытия.

И потом — этот воздух, которым мы дышим... Сначала — благоуханный и цветочный, потом — смолистый и разреженный, и наконец — режущий холодом, ледяной и жгучий. Там, у нас, внизу, воздух густой и пыльный, вязкий и липкий; люди привыкают к нему и не замечают, что они вдыхают и глотают. Но здесь он струится сверху, как вода ледяного ключа, как небесный дар, как Божие благословение. Он кажется резким и колючим, и мнится, что его «мало», что тебе его не хватит. Но это надо побороть, к этому можно привыкнуть. Надо помнить, что близость к небу непривычна для человека, что ты переживаешь борьбу и судьбу первобытной земли, возжелавшей горней чистоты и приближения к Богу... А близость к Богу — требует иных способностей и новых усилий от грешной твари...

* * *

И вот, наконец, подъем закончен. Я наверху, в суровом уединении гор. Все исчезло — аромат цветов и гигантские сосны, стада и хижины. В строгом спокойствии смотрит на меня древний Хаос. Величаво молчат серо-желтые, голые утесы. В тяжелых сновидениях лежат обрывающиеся ледники, засыпанные сверху черной каменной пылью. И повсюду — захватывающая душу, потрясающая тишина, от которой слышны удары собственного сердца и в ушах начинает звенеть...

Да, все, что есть в мире великого, живет в молчании. И говорит тишиною. Если закрыл глаза, то кажется, что вокруг законченная пустота, полное отсутствие бытия. А если открыть их, то дивишься совершенному беззвучию этого обилия, этих каменных масс, этих грозных глыб... Горы не любят шума: они как бы ушли в себя, в свою сокровенную жизнь; и таят про себя свои издревле зрею-

щие помыслы. И только обвалы и лавины, не выдержав этого молчаливого величия, с грохотом и прахом свергаются вниз; да потоки вод, скатываясь в долину, выдают своим кипеньем и журчаньем тайные замыслы горных вершин. Но самые горы вещают только высочайшей тишиною, только своими незавершенно-завершенными очертаниями, только таинственной сопринадлежностью своих линий и масс...

Молчаливая красота. Строгая благость. Скромное величие... И все вместе — подобно вечным гимнам. Царство беззвучных симфоний.

Стоишь и слушаешь это беззвучие. И учишься блюсти в высоких сферах жизни целомудренную тишину. Учиться блюсти свое достоинство, ни на что не притязая: и постигаешь, что истинное величие облекается в смирение. В борьбе за высоту, восхождении к Богу не нужно шума; надо, чтобы вся жизнь стала тихой молитвой, и тогда она вознесется хвалой и светлым благодарением...

* * *

В далекие, предвечные времена восскорбела земля о своей судьбе и возроптала к Богу великим восстанием. И осталась в этом смятении. И застыла в своем мятеже. И мятеж ее был молитвою, а молитва ее была творческим хаосом. И вот этот хаос покорился Божьему слову, и восстание превратилось в гимн благодарности. Вдохновенный подъем смирился под Божиим благословением, а вознесенные скалы сдружились с лучами небесного света.

И горы почили в своей тишине, приемля некое богоподобие и раскрывая людям свой таинственный смысл в поучение и преображение.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПОСЕЩЕНИЕ

20
СОЗЕРЦАЮЩИЙ ПОЭТ

Мы, созерцающие поэты, уверены в том, что все, сущее на земле и на небе, может быть узрено или услышано нами, и что все ждет от нас изображения и истолкования... Все, даже самое нежное, лишенное чувственного образа; беззвучное, незримое и сокровенное... Мы не знаем сами, почему мы в этом уверены, как это нам удается и что мы делаем для этого. Никакая преднамеренность тут не поможет. И никакого «метода» мы указать не умеем. Нельзя же назвать «методом» — наше самозабвенное мечтание, наше созерцающее «погружение», наше сосредоточенное «отсутствие» и забвение окружающей жизни. Мы не хуже других знаем, что мечта есть мечта, что сновидение есть сновидение, что фантазия может разойтись с действительностью и что поэт — плохой свидетель в делах повседневности: уж очень часто он, по слову мудрого Гераклита, «присутствуя отсутствует»...

«Мечта»... «Сновидение»... «Фантазия»... Но разве все это так бессильно и ничтожно? Разве созерцающий мечтатель и вправду не более, чем «сочинитель», как говорили в эпоху Гоголя? Неужели его созерцания так-таки ничего и не стоят? А может быть — наоборот? Может быть, именно созерцающий поэт, этот мечтающий *сновидец* — и есть *ясновидец* и мастер в делах истинного бытия? Я разумею, конечно, не ночные сны нашей повседневности, где всегда видишь только себя самого во всевозможных чужих обличиях, сам на себя удивляешься, возмущаешься и сам себя соблазняешь всевозможными страстями...

Нет, я имею в виду *видения созерцающего поэта*. А это совсем иное.

Мы все могли бы согласиться в том, что сущность мироздания, его таинственная «самосуть» или, как говорят, «мировая душа» — остается сокровенною и не открывается людям легко, быстро или, тем более, исчерпывающе. Мы, поэты-мечтатели, решительно не знаем, как другие люди узнают о ней хоть что-нибудь; очень возможно, что они и в самом деле ничего о ней не знают; иногда они и сами открыто признаются в этом. Что же касается нас, то *мы* склонны допустить, что мир погружен в некий таинственный «сон»: он ушел в себя, погрузился в свою собственную глубину и скрыл свою настоящую сущность от посторонних взглядов; а мы... Мы следуем за ним, мы пытаемся настигнуть его на его собственных путях и воспринять его живую самосуть.

Когда поэт предается творчеству, то он уже не «спит». Но чтобы настигнуть ушедшую от него тайну мира, он вослед за нею тоже как бы «засыпает». В нем засыпает его трезвое и беспомощное дневное сознание, с его близоруким восприятием и с его по-видимому столь «умными» рассудочными мыслями. Этот ограниченный, подслеповатый «субъект» погружается в дрему, растворяется в некой душевной сумеречности и «исключается» как орган познания. Этим он освобождает место новому, с виду «сонному», на самом же деле *вдохновенному и проникновенному духовному созерцанию*. Тогда в душе просыпаются иные, окрыленные силы и перед нею раскрываются иные пространства. Словно разверзаются пол и потолок; они как бы свертываются и исчезают. Как во время ветра, дующего с гор, воздух становится прозрачным, далекое кажется близким, незримое становится зримым и глаз начинает видеть первозданную красоту и глубину; — так и поэт видит звезды при полном дневном свете, как если бы он смотрел из глубокого колодца; он слышит в ночном мраке таинственные голоса мира и касается сокровенных сил его самосути. Вдохновенный поэт внемлет, по слову Пушкина, «неба содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье»... Он вступает в иной мир, или, может быть, новый мир вступа-

ет в него и овладевает им. Он пребывает в этом мире, он непосредственно приобщается ему, созерцает его, слышит его, живет его таинственным естеством. Он теряет себя в ткани этого мира, в сокровенной и существенной, первозданной стихии бытия. Он «засыпает» и «спит» вместе с миром и видит *его «сновидения»:* он созерцает его творчески-движущую, священную Идею — *Божию Идею мироздания.* Он живет в мировой душе, владеющей всеми вещами и тварями и приобщается к ее творческому действию...

Если посмотреть на дело извне и выразить его на обыденно-трезвом языке — то это «сон наяву», «поэтическое мечтание», «полет фантазии», а может быть, даже «бессмыслица»... Но в действительности это не сон, а «пробуждение»: поэт просыпается для *внутреннейшего и реальнейшего* в жизни, ему открывается *живая самосуть бытия*...

И то, что он «слышит» и «видит», есть нечто совсем иное по сравнению с тем, что нам несут обычные чувственные восприятия. Солнце поет ему величественный гимн; звезды несут ему знамения и пророчества; он видит, как молятся горы; он слышит, о чем мечтает ручей; море зовет его и обещает ему живую бесконечность; тихий, чистый снег несет ему дивное утешение. Вся вселенная полна дремлющей любви и молчаливого пения. Цветы таят свои помыслы и настроения. Птицы знают о многом неведомом и могут предсказывать. Гордые замыслы зреют в деревьях и потоках. И никто не поверит поэту, если он попытается рассказать о том, что ему принес ветер...

Пока поэт тонет в этом сновидящем бодрствовании, он не может «творить», «сочинять» или создавать новые образы и формы. Но это состояние не может и не должно слишком долго продолжаться; иначе поэт может не вернуться больше в жизнь... Оно прекращается и исчезает; и он вновь возвращается к повседневной обстановке. Он возвращается обычно слегка «ошалевшим», утомленным и беспомощным, но обогащенным и счастливым. Он приносит с собой целый заряд, сокровище, которое он никогда не сможет исчерпать описанием и оформлением. А сколько он, может быть, еще растеривает «по дороге», забывает, не находит... И потому то, что ему удается сберечь и принести, кажется ему самому не то оскудевшим,

не то поредевшим, не то искаженным... Иногда у него бывает такое ощущение, как в сказке, где царевич, только что изнемогавший от богатства, видит перед собою одни черепки и пытается их зачем-то подсчитать...

И все-таки, все-таки — он *приобщился сокровенному естеству мира и воспринял его священную самосуть*. И вот, все собранное и сбереженное желает найти себе верное выражение, глубокое истолкование, прекрасное обличие, художественную форму...

Лучше не спрашивать нас, как мы находим это истолкование и эту форму... У кого хватит силы, чтобы выговорить Божии Идеи? Кто найдет для них верные и точные выражения? В смиренной беспомощности помышляет об этом поэт; им то и дело овладевает сознание своего бессилия и робкая растерянность. И только сила внутреннего заряда, только *вдохновенное восстание самих сбереженных богатств* заставляет его приступить к делу.

Один выражает узренное в звуках и пении. Другой рисует. Третий ищет художественно точных слов. Иные лепят или строят; иные пытаются найти верные телодвижения в танце. Но все, что они создают, — эти созерцающие поэты, — все идет не *от* них самих, а *через* них. Все создания их *больше* их самих, ибо они сами служат лишь орудием, лишь голосом для таинственной самосути мира.

А у того, кто верно слышит их пение, трепещет сердце и радуется дух; и постепенно слагается новое чувство, новая уверенность в том, что он прикоснулся к иному миру: «Нет, это не поэтический вымысел поэта. Это *древле,* как мир... И в то же время — *ново* и юно, как сегодняшний день... То, что я воспринял, было существенно, как хлеб жизни, и драгоценно, как откровение... Я коснулся сокровенной правды мира и был счастлив»...

А те, кому не дано услышать голос созерцающего поэта, те пожимают плечом и отходят; им это «не нравится», они обзывают нас «выдумщиками» и «фантазерами» и корят нас за самоуверенность и притязательность... Тогда мы смущаемся, и смолкаем, и сконфуженно уходим в наш угол; потому что мы ничего не умеем «доказать», мы можем только «показывать», а поднимать спор о видениях потустороннего мира — непозволительно и неприлично...

21
ОГОНЬ

Я могу часами сидеть перед камином и смотреть в огонь. На душу сходит дивная тишина и кажется, что видишь необычайные дали и глубины. Радостно играет свет. Капризно и причудливо ложатся тени. Ласково струится дыхание тепла. И мне чудится, будто в душе моей просыпаются забытые мечты моих предков; встают передо мною величавые образы; я постигаю какие-то древние законы, вечные истины; я ухожу в прошлое и теряю чувство времени. Радость и грусть борются в моем сердце; и где-то, в последней глубине пробуждается щемящая тоска по утраченной, но блаженной родине. Тогда я чувствую, будто знаю гораздо больше того, чем доселе предполагал; — будто мне открывается самая сущность мироздания; — будто я касаюсь края ризы Божией...

* * *

Но сначала надо вызвать огонь к жизни: «Приди, таинственная сила, посети и освети мой темный очаг и прими в свою власть чающее тебя древо». И вот вспыхивает первый синеватый огонек, осторожно, робко, как будто осматриваясь, вправду ли его зовут, можно ли ему довериться, готова ли для него пища?.. И потом, отзываясь и доверяясь, огонь все охотнее, все с большим увлечением вступает в жизнь, радуясь благоговейному призыву и расцветая в гостеприимном воздухе. Длинными языками охватывает он поленья, лаская и забирая их, и превращаясь в вольное пламя; легким хрустом, тихим шипением отвечают они ему, принимая и не принимая его игру, и медленно накаляясь от его жгучего дыхания. А потом уже начинается общий праздник: свет и радость, вспышки и треск, искры и обвалы, угольное тление и дымные струи. И благодатное, всепроникающее тепло... А я сижу и смотрю, как прикованный, созерцаю эту чудную стихию и вижу через нее жизнь человечества и строй мироздания. И кажется мне, что время уже не властно надо мною.

* * *

Так сидели у домашнего очага наши далекие предки, и смотрели в огонь и размышляли о своей суровой жизни

и об ее опасностях, предвидели новые вторжения врагов и готовились к отпору. Ибо вся история России протекала в борьбе, и душа русского человека всегда нуждалась в жертвенной готовности. И вот то, что человек подолгу и неотрывно созерцает, предаваясь и вчувствуясь, — то становится его даром, его живым прообразом, источником силы и воодушевления. Душа человека незаметно отождествляется со своим любимым символом... И от созерцания огня души наших предков сами становились огнеподобными: *живыми, легкими, интенсивными, ясными, светящимися и сильными*. Недаром восток создал религию «огнепоклонников»; недаром он видел в пламени символ Божества, дарующего *очищение и очевидность*...

Но огонь учил наших предков еще *свободе и единению*. Ибо там, где живет древнее пламя домашнего очага — там личная оседлость человека, там его *собственный* дом, его неприкосновенное, свободное жилище. Пусть мала его хижина, пусть невелика его домашняя власть, — но в этих пределах он желает быть *свободным хозяином* и имеет право на это. Домашний очаг был у всех народов первым священным приютом *свободы и самостоятельности*. У очага собиралась вся семья и чувствовала свое единство; люди рассказывали друг другу о заботах и о горе, об удачах и о радостях; они советовались друг с другом о нуждах и опасностях. Они зажигали лампаду перед иконою и читали священное писание. Здесь рассказывались сказки и былины. И когда огонь угасал, легкие призрачные тени скользили по стенам, быль и небывальщина смешивались воедино и мир фантазии населял трезвую и суровую жизнь людей...

Какое счастье — вновь очутиться в этой первой школе бытия, снова предаться созерцанию древней стихии и поновому внять опыту, и скорби, и мудрости предков!

* * *

Как воздушно, как легко бытие этой таинственной силы. Пламя, подобно ветру, есть самое легкое и подвижное существо мира... Его жизнь есть вечное бодрствование, вечное распространение, вечное поглощение. Где огонь вспыхивает, там он утверждает свою власть и празднует свою победу. Вот почему он является символом *ра-*

достного преодоления, естественного триумфа, победоносного танца.

Да и могло ли быть иначе? Ведь огонь есть величайшая сила мира. Он есть источник жизни и судьба вселенной — живое дыхание Божие. Он светит и показывает; поэтому без огня нет ни *очевидности,* ни *откровения.* От него идет тепло и жар: поэтому ни *жизнь,* ни *любовь* невозможны без пламени. Он несет нам очищение и зовет нас к новым формам бытия: кто жаждет *чистоты,* тот должен готовиться в духе к огненному очищению, а кто ищет *прекрасной формы,* тот должен сам возгореться внутренним пламенем. Огонь имеет власть преобразить и уничтожить: вот почему во всяком живом существе живет *влечение* к огню и *страх* перед огнем.

Пламенно горит солнце в середине мирового вращения — и земля кружится вокруг него в священном трепете и тихом блаженстве. Пламя живет и в глубине нашей планеты — и все земное ощущает благодатность этого сокровенного жара, и содрогается от ужаса, когда это пламя обращается к нам, сотрясая под нами землю. И где бы у нас ни загорался огонь — всюду тотчас же собираются люди, влекомые его видом, и жаром, и силою, и дивятся, как прикованные, и никак не могут наглядеться, вчувствуясь и трепеща, словно желая войти в него, слиться с ним и загореться; — но берегутся огня, и готовы бежать от него, ибо то, что земной огонь захватит в свою власть, он сожжет, испепелит и уничтожит...

* * *

Так вся тварь стремится к огню — и пугается, как только он вступает в свою полную силу и развертывает все свое великолепие... Как ужасно было бы, если бы огонь совсем угас в мире и навеки воцарились мрак и холод... Какой страх объял бы вселенную, если бы пламя овладело всем сущим и испепелило его до конца.

Но мир создан в благом порядке. Благостно и мудро распределены среди твари дары огня. Каждое существо приобщается ему лишь в меру своих сил и способностей, приемля лишь столько от его света, от его напряжения, от его могущества, сколько оно в состоянии вынести. И все, что приемлет от огня, приемлет как бы *искру Бо-*

жию — чтобы достойно отвечать самому Творцу и Его дивному миру из глубины своего естества.

Вот откуда этот таинственный отблеск, испускаемый драгоценным камнем, этот слепящий луч алмаза, этот мягкий и бархатный огонь рубина, этот пламень желтого топаза, это сверкание изумруда и аквамарина, этот глубокий и скрытый огонь альмандина и хризоберилла...

А у растения — дано цветку, с его невинно-сияющим ликом, воспроизводить черты мирового светила и непосредственно обращаться к нему за теплом и светом...

А у животного свет сосредоточен в глазу, с его необузданным и неистовым, а потому страшным сверканием.

Но у человека, существа мыслящего и созерцающего, свет глаза преодолевает свою животную неистовость и лучится одухотворенно в обращении к миру и молитвенно в обращении к Творцу.

И так повсюду: где огонь светит, там он требует ответа и наслаждается в этом ответном луче своим собственным светом...

* * *

Эта встреча двух огней — мирового и личного — осуществляется всего совершеннее в человеке. Ибо здесь огонь становится *пламенеющим духом,* и все его дары и способности проявляются в их высшей и превосходнейшей потенции. Ибо внешний, материальный огонь был вызван к жизни дуновением Божиим лишь в качестве живого прообраза самого Духа. И даже самый наивный, первобытный человек предчувствует, предвосхищает это высшее значение огня. Вот почему наши отдаленные предки, наивно-мудрые первочеловеки, молились земному огню, как живому символу Господа, поклонялись в нем чистому дыханию Творца, праздновали его явление, как начальное откровение Божие. Они поклонялись огню, а разумели Дух Божий. И это символическое поклонение столь же древне, как человеческий род; и продолжает жить в каждом из нас. Так и Гераклит греческий, пророк огня, света и разума, знал, что он говорил, когда воспевал в лице Огня божественную первостихию мира и когда утверждал, что Пламя есть Разум, а Разум есть Огонь...

Что сталось бы с нами, людьми, если бы мы лишились духовных даров этой родины? — Чем были бы мы без жара в сердце, без огня в молитве, без озаряющей очевидности в познании, без пламенной интенсивности в воле и в делах, без повелевающей, вдохновенной силы в очах? — Но не значит ли это, что все наше лучшее достояние — самое благородное, самое прекрасное, самое мощное, что в нас есть, — произошло от Огня?..

* * *

И мы, христиане, знаем этот великий религиозный символ; им живут наши мысли и чувства. Вот почему мы именуем Христа Спасителя «Светом истинным» (Иоан. 1, 9) и крещаемся от Него «Духом Святым и огнем» (Мтф. 3, 11; Лук. 3, 16). Мы называем себя «сынами Света» (Иоан. 12, 36) и чаем Духа Святаго в образе «языков огненных» (Деян. 2, 3). А когда мы читаем эти слова: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся» (Лук. 12, 49) — то в сердца наши нисходят пламя и свет, и мы знаем, коего мы духа...

* * *

Но огонь в моем камине на исходе. Он гаснет и меркнет; и надо проститься с ним. «Иди на покой, благое и чистое пламя, и будь благословенно за все, за твой свет, за твое тепло и за твое утешение»...

22
У МОРЯ

Давно я уже мечтал выбраться из этого душного города. Давно я уже томился в этой давящей, оглушающей уличной жизни, в этом городском существовании, полном горя и грязи, где все напрягает, выматывает и на каждом шагу ранит сердце. Туда, туда, на вольный простор, где все пределы снимаются и где даль раскрывает свои блаженные пространства... Как я мечтал о море...

И наконец — это состоялось... Тогда, давно, первый раз в жизни, когда я приобщился этому счастью.

* * *

То, о чем я мог только мечтать, — встало предо мною, как живое видение. Далекий, уходящий, исчезающий простор; он так тихо раскрывается, так легко дается, так ласково зовет. Взор впивается в него, ищет его предела и не находит; и радостно предчувствует, что и там, дальше, где предел глазу — нет предела простору. Здесь нет границ, а ведь каждая граница есть запрет и разочарование... Здесь нет стен, — а ведь каждая стена есть обида и угроза... О, как мы привыкли сидеть в клетках! Как мы связаны, подавлены, запуганы в нашей жизни! Как мало мы можем, как немного мы видим, как урезаны наши горизонты, как скудна наша жизнь! Сколь многого мы лишены — и даже не замечаем этого!

Но здесь... Здесь — праздник пространства, здесь царит Беспредельное, здесь дышит воздух, здесь живут бесконечные возможности. Я упиваюсь этим воздухом, я глотаю его. И сердце мое раскрывается, становится огромным и блаженным, и наслаждается потоком этой разрешающей, зовущей любви... Как если бы мир хотел сказать мне великое и благостное слово приятия, прощения и примирения...

* * *

И только потом, насладившись простором, помню, я заметил внизу огромное, тихое, но подвижное поле воды. Спокойно, мощно катило море свои гребни — куда? темно-синее, задумчивое, погруженное в свои и в небесные мысли... Как будто — вялое, с виду — утомленное; и в то же время — играющее, легкое, не знающее тяжести, не ведающее труда. Огромная живая равнина. С виду — обильное, неисчислимое множество: на самом деле — единое, дышащее существо. Странное — и приветливое; такое многосложное — и такое простое. Само величие — в царственной тишине; сама стихия, излучающая кротость и благость. Всем; *и мне, и для меня*... За что же мне? О, незаслуженная благодать... О, нежданная милость...

В сердце родится тихая грусть... Укор? Раскаяние? Почему мне всегда было «некогда»? Почему я впервые приобщаюсь к этому счастью? Боже мой, как скудна была

доселе моя жизнь! Как много я упустил! Какое богатство я утратил!.. Я вижу, я понимаю: это благостное лоно могло прожить без меня еще целую вечность... и Все же... Оно как будто бы ждало меня, готовило мне дары, оно согласно принять меня и осчастливить. И ныне прощает мне — и мое долгое отсутствие, и мой поздний приход... Мне будет все представлено, все открыто, все даровано — если только я открою ему мое сердце, и буду внимать и созерцать...

* * *

Какое странное чувство охватывает человека у самого края воды... Плещущая волна как будто хочет сказать: «досюда и ни шагу дальше» — и тем самым она пробуждает в душе потребность, настойчивое желание переступить этот предел и проникнуть дальше указанного... Она манит и дразнит — и не пускает... Нет, она, конечно, пускает и даже приглашает; но только эта нежная влага слегка расступится, ласково охватит меня и вымочит... Кто робок от природы, тому надо беречься; тут уже не избежишь, не спасешься, сухим не выйдешь; краткий, плещущий набег — и кончено, попался... И сразу — робости как не бывало... Какое бережливое прикосновение, какая гостеприимная встреча, какое любовное обхождение. Упоительно и радостно... Успокаивает и возбуждает... Единственное в своем роде наслажение. Но теперь предел перейден, дело сделано — и хочется перейти его еще раз и еще раз... проверить первое ощущение, повторить ласковый прием... И — отдаться этой дивной стихии: трогать ее, гладить; ласкать, будоражить, дразнить, разбрызгивать, плыть, нырять, глотать ее, исчезнуть в ней — и наслаждаться ею. И все время испытывать ее жизнь и ее привет: воспринимать ее любовь и отдавать ей свою... Пока не наступит полное единение, совершенная близость: пока из блаженной игры не возникнет светлая дружба...

* * *

Одеваюсь и ложусь, утомленный, у самого берега в тени старой пинии и прислушиваюсь к голосу моря. Оно как будто хочет успокоить меня, погасить мое возбуждение, может быть — усыпить меня, чтобы я отдохнул от непри-

вычного счастья: от этой глубокой дали, которая раскрыла и подготовила мое сердце, и от этой ласковой игры, которая его наполнила и опьянила. Я закрываю глаза и предаюсь вниманию. Множество струящихся и лепечущих голосов шепчут мне о чем-то едином: сначала я слышу как будто тихие упреки, но они тают в дыхании ласкового прощения; потом я различаю нежные утешения: от них исчезает последняя тень грусти и исцеляется скорбь моего сердца, а потом идут надежды и обетования: они сходят из некой древней, мирозабвенной глубины и повествуют мне о райской жизни и о ее дивной невинности...

Сердце наполняется сладостным, непонятным счастьем — легким, зовущим и ни к чему не обязывающим. Хочется без конца внимать, только благодарить и ничего больше не желать. И каждый миг набегает тихий шорох волны: она булькает и ласково шепчет, как будто понимает меня и хранит мой покой; она пенится и замирает, словно ворожит надо мной; нежно вскипает, шелестит и дышит на меня, будто хочет вызвать во мне несказуемые видения — и погрузить меня в блаженные сны, и уверить, удостоверить меня, что это не сны, а пророчества и обетования...

Я и доселе не знаю, что я тогда, убаюканный шепотом волн, спал или бодрствовал? или, может быть, я проснулся во сне к новой жизни? То, что было — исчезло, и никогда больше не появилось. Но я чувствовал, что вечное и благое лоно мира приняло меня в свою тихую любовь и раскрыло мне свои чистейшие пространства... Мне было позволено взглянуть в эти тайные недра бытия, коснуться тех мест, где мы все обитали некогда в доверчивой невинности, где нас и доселе ждет Божие прощение и Божия любовь... И с тех пор я ношу в сердце непоколебимую уверенность, что все страдания человека осмысленны и необходимы; что он должен *выстрадать себе свободный и целостный возврат к Богу;* и что всех нас ожидает любовное прощение, благостный покров, исцеление к невинности и мудрость блаженного созерцания...

* * *

Когда я пришел в себя, солнце заходило, исчезая в море, и я не знал, долго ли я был в отсутствии. Я лежал на берегу под пинией и все испытанное мною казалось сном.

И только поток счастья владел всем моим существом. Это счастье было подобно свету; а свет испытывался как любовь; а любовь дарила исцеление и упоение. И я чувствовал, что приобщился некой неизмеримой, неистощимой благости, для которой землерожденные еще не нашли верных слов; а то, что я сам мог выразить в словах, казалось мне только преддверием святыни, только папертью узренного мною храма...

Мое лицо было влажно. Не слезы ли это? — Но тогда это слезы исцеленного, слезы счастья и благодарности... Или, может быть, это был привет моей новодревней первородины? — Тогда я хотел бы сберечь его на всю жизнь и передать его другим людям, чтобы они испытали испытанную мною радость прощения и обновления.

* * *

И теперь, если меня посещает горе или овладевает мною тоска и слезы появляются на глазах, то это уже другие, новые слезы, которые я не умею отличить от блаженной влаги моей первородины... Ибо я посетил некий божественный берег и знаю наверное, что для сердечной боли есть мера, а для любви и прощения — меры нет; и еще, что всякая боль и всякое горе есть только подготовление к блаженству, есть только первая ступень к просветлению духа...

23
О СТРАДАНИИ

Как только ты почувствуешь себя страдающим, телесно или душевно, — вспомни сейчас же, что не ты один страдаешь, и что всякое страдание — всякое, без исключения — имеет некий высший смысл. И тотчас же придет облегчение.

Ты страдаешь не один, потому что страдает вокруг тебя весь мир. Надо только открыть свое сердце и внимательно присмотреться, и ты увидишь, что приобщен страданию вселенной. *Все* страдает и мучается — то в беззвучной тишине, скрывая свою боль, замалчивая свою скорбь, преодолевая страдание про себя, то в открытых муках, которых никто и ничто не может утолить... Томясь в люб-

ви, вздыхая от неудовлетворенности, стеная в самом наслаждении, влачась в борении, в грусти и тоске — живет вся земная тварь, начиная с ее первого беспомощного деяния — рождения из материнского лона, и кончая последним земным деянием, таинственным уходом «на покой». Так страдает и человек вместе со всею остальною тварью — как член мирового организма, как дитя природы. Страданий нам не избежать; в этом наша судьба, и с нею мы должны примириться. Естественно желать, чтобы они были не слишком велики. Но надо учиться страдать *достойно и одухотворенно.* В этом великая тайна жизни; в этом — искусство земного бытия.

Наше страдание возникает из свойственного нам, людям, способа жизни, который дан нам раз навсегда и которого мы изменить не можем. Как только в нас просыпается самосознание, мы убеждаемся в нашей *самостоятельности и беспомощности.* Человек есть творение, призванное к «бытию о себе», к самодеятельности и самоподдержанию; и в то же время он служит всей природе как бы пассивным средством или «проходным двором». С одной стороны, природа печется о нем, как о своем детище, растит его, строит, присутствует в нем, наслаждается им, как существом, единственным в своем роде; а с другой стороны, она населяет его такими противоположностями, она развертывает в нем такой хаос, она предается в нем таким болезням, как если бы она не знала ни целесообразности, ни пощады. Так, я призван и предопределен к самостоятельному действованию; но горе мне, если я уверую в свою полную самостоятельность и попробую предаться ей до конца... Я — свободный дух; но этот свободный дух всю жизнь остается подчиненным всем необходимостям природы и ограниченным всеми невозможностями естества... Во мне живет некая обобщающая сила сознания, охватывающая миры и разверзающая мне необъятные духовные горизонты; но эта сила всю свою жизнь замурована в стенах своего единичного тела, она слабеет от голода, изнемогает в переутомлении и иссякает при бессонице... Я обособлен от других людей, замкнут в своей душе и в своем теле и обречен вести одинокую жизнь, ибо никто никого не может ни впустить в себя, ни вместить в своих пределах; и в то

же время другие люди терзают мне душу и могут растерзать мое тело, как если бы я был их игрушкой или рабом... Таков я; таковы мы все, каждый из нас в отдельности, — однодневные цветы, распустившиеся для страдания, мгновенные и беззащитные вспышки вселенского огня...

> Жизнь ваша, смертные, сколь тленный дар богов:
> Цветете миг один, живые исполины...
>
> *(Илличевский)*

Да и все ли «цветем»? Мы, вечные «пациенты» природы, покорные «приемники» мировых волн, чувствительнейшие органы сверх-природы... Что-то царственное и рабствующее; нечто от Бога и кое-что от червя (Державин). Так много. И так мало. Свободные — и связанные. Цель мира — и жертва вселенной. Порабощенные ангелы. Создания божественного художества, отданные бактериям в пищу и чающие могильного тлена...

Вот почему нас так часто и так легко настигает страдание; вот почему мы должны примириться с ним. Чем утонченнее человек, чем чувствительнее его сердце, чем отзывчивее его совесть, чем сильнее его творческое воображение, чем впечатлительнее его наблюдательность, чем глубже его дух — тем более он обречен страданию, тем чаще его будут посещать в жизни боль, грусть и горечь. Но мы часто забываем об этом, мы не думаем о нашей общей судьбе и совсем не постигаем, что *лучшие люди страдают больше всех*... И когда на нас самих изливается поток лишений, муки, скорби и уныния, когда, как ныне, весь мир погружается в страдание и содрогается во всех своих сочленениях, вздыхая, стеная и взывая о помощи, мы пугаемся, изумляемся и протестуем, считая все это «неожиданным», «незаслуженным» и «бессмысленным»...

Только медленно и постепенно догадываемся мы, что все мы, люди, подчинены этому закону земной твари. Сначала в нас просыпается смутное ощущение, глухое предчувствие того, что на земле гораздо больше страдания, чем нам казалось в нашем детском чаянии. Это предчувствие тревожит нас; мы пытаемся проверить наше ощущение — и постепенно, путями неописуемыми, в по-

чти не поддающихся оформлению интуициях — мы убеждаемся в том, что нам действительно открылся *закон существования,* общий способ жизни, владеющий всею земной тварью, — что нет бытия без страдания, что всякое земное создание по самому естеству своему призвано страдать и обречено скорби. А человек с нежным сердцем знает не только это: он знает еще, что мы не только страдаем все вместе и сообща, но что мы все еще мучаем друг друга — то нечаянно, то нарочно, то в беспечности, то от жестокости, то страстью, то холодом, то в роковом скрещении жизненных путей... И может быть именно Достоевский, этот мастер терзающегося сердца, был призван пролить свет на эту земную трагедию...

Такова жизнь, такова действительность... И могло ли бы это быть иначе?.. И были ли бы мы правы, если бы стали желать и требовать иного?

Представим себе на миг иную, обратную картину мира. Вообразим, что земная тварь освобождена от всякого страдания, до конца и навсегда; что некий могучий голос сказал ей: «Делай, тварь, все, что хочешь. Ты свободна от страдания. Отныне ты не будешь знать неудовлетворения. Никакая телесная боль не поразит тебя. Ни грусть, ни тоска, ни душевное раздвоение тебя не посетят. Духовная тревога не коснется твоей души. Отныне ты приговорена к вечному и всестороннему довольству. Иди и живи».

Тогда началась бы новая, небывалая эпоха в истории человечества...

Вообразим, что человек потерял навсегда дар страдания. Ничто не угрожает ему неудовлетворенностью: одновременно с голодом и жаждою, этими первичными источниками труда и страдания, прекратилось и всякое недовольство собою, людьми и миром. Чувство несовершенства угасло навсегда и угасило вместе с собой и волю к совершенству. Самый призрак возможных лишений, доселе ведший человека вперед, отпал. Телесная боль, предупреждавшая человека об опасности для здоровья и будившая его приспособляемость, изобретательность и любознательность, — отнята у него. Все противоестественности оказались огражденными и безнаказанными. Все уродства и мерзости жизни стали безразличными для нового человека. Исчезло моральное негодование, возни-

кавшее прежде от прикосновения к злой воле. Смолкли навсегда тягостные укоры совести. Прекратилась навсегда духовная жажда, уводившая человека в пустыню, к великому аскетизму... Все всем довольны; все всем нравится; все всему предаются — без меры и выбора. Все живут неразборчивым, первобытным сладострастием — даже не страстным, ибо страсть мучительна, даже не интенсивным, ибо интенсивность возможна лишь там, где силы не растрачены, но скопились от воздержания...

Как описать те ужасные, опустошительные последствия, которые обрушились бы на человечество, обреченное на всестороннюю сытость?..

В мире возникла бы новая, отвратительная порода «человекообразных», — порода безразборчивых наслажденцев, пребывающих на самом низком душевном уровне... Это были бы неунывающие лентяи; ничем не заинтересованные безответственные лодыри, без темперамента, без огня, без подъема и без полета; ничего и никого не любящие — ибо любовь есть прежде всего чувство лишенности и голода. Это были бы аморальные, безвкусные идиоты, самодовольные тупицы, развратные Лемуры. Вообразите их недифференцированные, невыразительные лица, эти плоские, низкие лбы, эти мертвые, мелкодонные гляделки, вместо бывших глаз и очей, эти бессмысленно чмокающие рты... Слышите их нечленораздельную речь, это безразличное бормотание вечной пресыщенности, этот невеселый смех идиотов? Страшно подумать об этой погибшей духовности, об этой тупой порочности, об этом унижении ничего-не-вытесняющих полулюдей, которые прокляты Богом и обречены на то, чтобы не ведать страдания...

И когда представляешь себе эту картину, то видишь и чувствуешь, что́ дарует нам *дар страдания;* и хочется молить всех небесных и земных врачей, чтобы они ради Господа не лишали людей этого дара. Ибо без страдания — нам всем, и нашему достоинству, и нашему духу, и нашей культуре пришел бы скорый и трагический конец.

Вот что оно нам дарует... Какою глубиною светятся глаза страдающего человека! Как будто бы расступились стены, закрывавшие его дух и разошлись туманы, застилавшие его сокровенную личность... Как значительно, как

тонко и благородно слагаются черты лица у долго и достойно страдавшего человека! Как элементарна, как непривлекательна улыбка, если она совсем не таит в себе хотя бы прошлого страдания! Какая воспитательная и очистительная сила присуща духовно осмысленному страданию! Ибо страдание *пробуждает дух человека,* ведет его, образует и оформляет, очищает и облагораживает... Духовная дифференциация, отбор лучшего и всяческое совершенствование были бы невозможны на земле без страдания. Из него родится вдохновение. В нем закаляется стойкость, мужество, самообладание и сила характера. Без страдания нет ни истинной любви, ни истинного счастья. И тот, кто хочет научиться свободе, тот должен преодолеть страдание.

И мы хотели бы от этого отречься? И мы согласились бы потерять все это?.. И ради чего?

Гегель сказал однажды, что все великое на земле создано страстью. Еще большее, еще глубочайшее надо сказать о страдании: мы обязаны ему *всем* — и творчески-великим и творчески-малым. Ибо если бы человек не страдал, то он не пробудился бы к творческому созерцанию, к молитве и духовному оформлению. Страдание есть как бы *соль жизни;* нельзя, чтобы соль утрачивала свою силу. И более того: страдание есть *стремящая сила жизни;* главный источник человеческого творчества; тонкий и зоркий учитель меры; верный страж и мудрый советник; строгий призыв к облагорожению и совершенствованию; ангел-хранитель, ограждающий человека от пошлости и от снижения. Там, где этот ангел начинает говорить, водворяется благоговейная тишина, ибо он взывает к ответственности и очищению жизни; он говорит о заблуждениях и соблазнах; он требует, чтобы люди опомнились и обратились; он говорит об отпадении и дисгармонии, об исцелении, просветлении и о доступном нам блаженстве...

Страдающий человек вступает на путь очищения, самоосвобождения и возврата в родное лоно — знает он о том, или не знает. Его влечет великое лоно гармонии; его душа ищет нового способа жизни, нового созерцания, нового синтеза, созвучия в многозвучии. Он ищет пути, ведущего через катарсис к дивному равновесию, заду-

манному лично для него Творцом. Его зовет к себе сокровенная, творческая мудрость мира, чтобы овладеть им и исцелить его. Простой народ знает эту истину и выражает ее словами «посещение Божие»... Человек, которому послано страдание, должен чувствовать себя не «обреченным» и не «проклятым», но «взысканным», «посещенным» и «призванным»: ему *позволено страдать, дабы очиститься.* И все евангельские исцеления свидетельствуют о том с великой ясностью.

Таков смысл всякого страдания. Нерешенной остается лишь судьба самого страдающего человека: достигнет ли он очищения и гармонии в *настоящей земной жизни,* или же эти дары дадутся ему через утрату его земного телесного облика...

Страдание свидетельствует о расхождении, о диссонансе между страдающим человеком и богосозданной природой: оно *выражает* это отпадение человека от природы, обозначая в то же время *начало* его возвращения и исцеления. Страдание есть таинственное самоцеление человека, его тела и души: это он сам борется за обновление внутреннего строя и лада своей жизни, он работает над своим преобразованием, он ищет «возвращения». Избавление уже началось, оно уже в ходу; и человек должен прислушиваться к этому таинственному процессу, приспособляться к нему, содействовать ему. Можно было бы сказать: «Человек, помоги своему страданию, чтобы оно верно разрешило свою задачу. Ибо оно может прекратиться только тогда, когда оно справится со своей задачей и достигнет своей цели»...

Поэтому мы не должны уклоняться от нашего страдания, спасаясь от него бегством и обманывая себя. Мы должны стать лицом к нему, выслушать его голос, понять и осмыслить его жалобу и пойти ему навстречу. Это значит — принять его как естественное и духовно-осмысленное явление. Ибо оно обращается к нам *из целесообразности самого мира:* то, что в нас страдает, есть, так сказать, сама мировая субстанция, которая стремится творчески восстановить в нас свое жизненное равновесие. И если человек повинуется своему страданию и идет к нему навстречу, то он скоро убеждается в том, что в нем самом

раскрываются целые запасы жизненной силы, которые ввязываются в борьбу и стремятся устранить причину страдания.

Вот почему человеку не следует бояться своего страдания. Он должен помнить, что бремя страдания состоит, по крайней мере, на одну треть, а иногда и на добрую половину из *страха перед страданием.*

Но не подобает делать человеку и обратное, т. е. нарочно или произвольно вызывать в себе страдание. Неправы те, которые мучают себя, занимаются самобичеванием или оскопляют себя. Они неправы потому, что на них возлагается некая претрудная *внутренняя* борьба, борьба духа со страстью и вместе с этим душевно-духовное страдание в этой борьбе; а они не хотят принять этой борьбы, перелагают это страдание в материальную плоть, подменяют его телесною болью, заменяют его органическим увечьем. Градусник показывает естественную температуру; ошибочно и нелепо дышать на градусник, взгоняя ртуть кверху, или прикладывать к нему кусок льда, чтобы ртуть опустилась. Голод, жажда и любовная тоска, вдохновение и творчество — должны приходить *сами,* в силу естества тела, души и духа; возбуждающие, одурманивающие или экстатические яды — противоестественны и фальшивы. Ошибочно противопоставлять природе — искажающий ее произвол. Все хорошее и верное возникает как бы по собственному почину, естественно, гармонически, как говорил Аристотель, «δι αὐτοῦ» («через себя самого»). Мы призваны творчески жить и творчески любить; спокойно, мужественно и в мудром послушании принимать приближающееся страдание; и — главное — творчески преображать и просветлять страдание, уже настигшее нас. Ибо страдание есть не только плата за исцеление, но призыв к преображению жизни, к просветлению души, оно есть путь, ведущий к совершенствованию, лестница духовного очищения. Человек должен нести свое страдание спокойно и уверенно, ибо в последнем и глубочайшем измерении страдает в нас, с нами и о нас само Божественное начало. И в этом последний и высший смысл нашего страдания, о котором нам говорят евангельские исцеления.

Вот почему страдающий человек не должен терять терпения или тем более отчаиваться. Наоборот, он должен *творчески* воспринимать и преодолевать свое страдание. Если ему дана *телесная боль,* то он должен найти органические ошибки своей жизни и попытаться устранить их; и в то же время он должен настолько повысить и углубить свою духовную жизнь, чтобы ее интенсивность и ее горение отвлекли запасы жизненной энергии от телесной боли. Не следует предаваться телесной боли, пребывать в ней, все время прислушиваться к ней и бояться ее: это означало бы признать ее победу, отдаться ей и превратиться в стенающую тварь. Надо противопоставить плотской боли — духовную сосредоточенность и *внимать* не телесной муке, а духовным содержаниям. А если кто-нибудь скажет, что он не умеет этого или не может вступить на этот путь, то пусть он крепко помолится об этом умении и об этой силе и попытается идти по этому пути. Нет человека, который умел бы *все* и знал бы *все искусства;* а искусство одухотворять страдание есть одно из высших. Конечно, для победы над своей немощью нужна некоторая высшая мощь; но эта высшая мощь может быть вымолена, выработана и приобретена. И каждая попытка, каждое усилие в этом направлении будут вознаграждены сверх чаяния сторицею.

Но если человеку послано *душевное страдание* — а оно может быть гораздо тяжелее и мучительнее всякой телесной муки, — то он должен прежде всего не бежать от него, а принять его, т. е. найти в жизни время и досуг для того, чтобы *предаться* ему. Он должен стать лицом к лицу со своим душевным страданием и приучить себя созерцать его сущность и его причину. Надо научиться свободно и спокойно смотреть в глубь своей страдающей души, с молитвою в сердце и с твердой уверенностью в грядущей победе. Оку духа постепенно откроется первопричина страдания, и эту первопричину надо назвать по имени и выговорить перед собою во внутренних словах и произнести эти правдивые слова перед лицом Божиим во внутренней очистительной молитве. Чтобы одолеть свою душевную муку, надо прежде всего не бояться ее и никогда не отчаиваться; надо не предаваться ее страхам и капри-

зам, ее своеволию и ее тайным наслаждениям (ибо душевная мука всегда прикрывает собою больные наслаждения инстинкта); надо всегда обращаться к ней творчески, с властным словом зовущего господина; надо всегда говорить с ней от лица духа и научиться прекращать ее приказом, уходом от нее и творческим напряжением; надо рассеивать ее туманы, ее обманы и наваждения и превращать ее силу в радость божественным содержаниям жизни. Это путь из тьмы к просветлению и преображению души. Вот почему сокровенный смысл душевного страдания можно было бы сравнить с младенцем, дремлющим во чреве матери и чающем своего рождения; ибо страдание есть не проклятие, а благословение; в нем скрыт некий духовный заряд, зачаток новых постижений и достижений, — некое богатство, борющееся за свое осуществование.

Если же человеком овладевает *духовное томление,* то ему надлежит очистить его в молитве, чтобы оно преобразилось в истинную и чистую *мировую скорбь* и тем возвело страдающего к Богу: ибо мировая скорбь есть в последнем и глубочайшем измерении — скорбь самого Бога, а скорбь вместе с Ним есть «благое иго» и «легкое бремя» (Мтф. 11, 30).

Вот почему апостол Иаков пишет: «Злостраждет ли кто из вас? пусть молится» (Иак. 5, 13). Ибо молитва есть не что иное, как воздыхание духа к Богу, то «неизреченное воздыхание», которым «Сам Дух ходатайствует за нас» (Римл. 8, 26). Молитва есть зов о помощи, направленный к Тому, Кто зовет меня к себе через мое страдание; она становится творческим началом творческого преобразования и просветления моего существа.

Но совершить все это никто не может «за меня» или «вместо меня», страдающего: все это мое личное дело, мое усилие, мой подъем, мой взлет, мое творческое преображение. Другой человек может помочь мне советом; Господь не может не помочь мне дарованием сил и света. Но совершить мое очищение и просветление должен я сам. Вот почему оно требует свободы и без свободы невозможно. Свободное созерцание, свободная любовь, свободная молитва составляют самую сущность этой творческой мистерии, мистерии земного страдания. И именно этим

определяется верный путь, ведущий к истинному счастью на земле.

24

О СМЕРТИ

(письмо первое)

Дорогой мой. Ты хотел знать, что я думаю о смерти и о бессмертии, и я готов изложить тебе мое понимание. Я не выдумал его, а выстрадал и выносил его в течение долгого ряда лет. И теперь, когда опять пришло такое время, что смерть парит надо всеми нами и каждый из нас должен готовиться к уходу из земной жизни, я вновь пересмотрел мой опыт и мое видение, и расскажу тебе, к чему я пришел. В такие времена все чувствуют и предчувствуют наступление своего конца, и потому невольно возвращаются воображением и мыслью к проблеме смерти. При этом человек чувствует себя смущенным и подавленным, потому что он не знает, что же такое смерть на самом деле, и еще потому, что никто из нас не может примириться со своею смертью и *включить ее в свою жизнь.* Такие времена обычно называются «тяжкими» и «страшными», а в действительности, это времена духовного испытания и обновления — суровые, но благотворные времена Божьего посещения.

Видишь ли, у меня всегда было такое ощущение, что в смерти есть нечто благостное, прощающее и исцеляющее. И вот почему.

Стоит мне только подумать о том, что, вот, эта моя земная особа, во всех отношениях несовершенная, наследственно обремененная, вечно болезненная, в сущности не удавшаяся ни природе, ни родителям, — сделалась бы *бессмертною* — и меня охватывает подлинный ужас... Какая жалкая картина: самодовольная ограниченность, которая собирается не умирать, *а заполнить собою все времена.* Несовершенство, которое не подлежит ни исправлению, ни угашению... Бесконечный «огрех», вечный недотепа... Что-то вроде фальшивого аккорда, который будет звучать *всегда*... Или — несмываемое пятно земли и неба... Вижу эту приговоренную к неумиранию телесную и душевную ошиб-

ку природы — в виде моей особы, и думаю: а ведь законы природы будут действовать с прежней неумолимостью и я буду становиться все старше и, наверное, все немощнее, все беспомощнее, страшнее и тупее — и так без конца. Какая претензия и какое несчастье! После этих видений я просыпаюсь, как от тяжелого сна — к благословенной действительности, к реально ожидающей меня смерти... Как хорошо, что она придет и поставит свою грань. Как это прекрасно, что она прекратит мою земную дисгармонию. Значит, эта мировая ошибка, носящая мое земное имя, может быть погашена или исправлена... А смерть придет как избавительница и целительница. Милостиво укроет меня своим покровом. Даст мне прощение и отпуск. Откроет мне новые, лучшие возможности. А я приму от нее свободу и, ободренный ею, начну восхождение к высшей гармонии.

— И вот, это ожидание и эта уверенность даруют всей моей жизни — *меру и форму*. Слава Богу, все мое земное страстное кипение, эта бесконечная борьба с самим собою, с моими противниками и со слепым безразличием человеческой толпы, эта борьба, в которой я от времени до времени изнемогаю, доходя до муки и отчаяния, — все это не будет длиться вечно, не заполнит все Божии времена... Не вечно придется мне заживлять те раны, которые происходят от встречи моей немощи с непомерными заданиями жизни и мира. Придет час и «отрешит вола от плуга на последней борозде»... (Пушкин). Безмерная длительность отпадает, и моя жизнь получает *меру срока,* меру долга, меру в напряжении, меру плена и меру томления. Как это благостно... Моя жизнь приобретает форму — форму свершающего конца. Я знаю, я твердо знаю, что придет избавление, что откроется освобождающий исход и что мне надо к нему готовиться. И вот главное: мне надо постараться, чтобы мой земной конец стал не обрывом, *а завершением* всей моей жизни; все цели мои, все мои труды и творческие напряжения должны вести к этому завершению. Правда, я не знаю, когда и как наступит этот конец. Но и это — благо, ибо это понуждает меня быть всегда готовым ко всему, к отозванию и уходу. Одно ясно: меряя человеческой мерой, надо признать, что срок не слишком далек и что мне нельзя терять времени. Нельзя

откладывать того, что должно быть сделано. Но зато есть много такого, что надо совсем отменить, устранить с дороги. Время мое ограничено, и никто не знает, каким сроком. А когда осмотришься, то видишь, что неизмеримое, чудесное богатство мира — природы, человеческого общения и культуры — все эти возможности созерцания и радости, все эти поводы духовного восприятия и духовной отдачи, все эти творческие зовы и задания — все это неисчерпаемо, ответственно, претрудно и обязывающе...

Таким образом, смерть становится для меня оформляющим и осмысливающим *началом жизни,* не то призывом, не то советом. Как если бы старший друг, любящий и заботливый, сказал мне: «Знаешь что, жизнь-то ведь коротка, а прекрасным возможностям — в любви, в служении, в созерцании и созидании — нет числа; не лучше ли оставить без внимания все пошлое, жалкое и ничтожное и выбрать себе лучшее, подлинно лучшее, на самом деле прекрасное, чтобы не утратить божественных красот мира и жизни?..

Идея смерти как бы открывает мне глаза и вызывает во мне какой-то неутолимый голод, *жажду истинного качества, волю к божественным содержаниям, решение выбирать и отбирать,* верно, не ошибаясь и не обманываясь. Я постепенно учусь различать — что действительно хорошо и прекрасно перед лицом Божиим и что мне только кажется хорошим, а на самом деле лишь соблазняет, прельщает и разочаровывает. И проходя этот жизненный искус, я все более и более убеждаюсь, что в жизни есть многое множество содержаний, занятий и интересов, которыми *не стоит жить* или которые не стоят жизни; и, напротив, есть такие, которые раскрывают и осуществляют истинный смысл жизни. А смерть дает мне для всех этих различений и познаний — верный масштаб, истинный критерий.

Мне думается, что все мы уже переживали и еще переживем не раз нечто подобное: когда близится смерть или когда, по крайней мере, тень смерти осеняет нас, то все содержания и ценности жизни как-то вдруг, словно сами по себе, переоцениваются. Все то, что в тусклой повседневности, во время безопасного прозябания казалось нам стершимся, безразличным, почти обесценившимся — вдруг

раскрывает свои различия, показывает свое настоящее качество и находит себе верное место и истинный ранг. Око смерти глядит просто и строго; и не все в жизни выдерживает ее пристального взгляда. Все, что пошло, тотчас же обнаруживает свое ничтожество, наподобие того как листы бумаги, охваченные огнем, вдруг вспыхивают ярким пламенем и сейчас же чернеют, распадаются и истлевают в пепел. Так что впоследствии даже не верится, что этот прах и тлен мог представляться важным и ценным. Но зато все истинно ценное, значительное и священное утверждается перед лицом смерти, победоносно выходит из огненного испытания и является в своем истинном сиянии и величии. Первое изобличается и разоблачается; второе оправдывается и подлинно освящается. И не то, чтобы мы сами это производили; нет, это огненное испытание идет от смерти и осуществляется ее близким дыханием.

Бывают в человеческой жизни такие дни и минуты, когда человек внезапно видит смерть перед собой. Ужасные минуты. Благословенные дни. Тогда смерть, как некий Божий посол, судит нашу жизнь. И вся наша жизнь проносится перед нами духовным взором, как на молниеносном параде. И все, что в ней было верного и благого, все, чем на самом деле стоит жить, — все утверждается как подлинная реальность, все возносится в сиянии; а все, что было мелко, ложно и пошло, — все сокрушается и посрамляется. И тогда человек проклинает всю эту ложь и пошлость, и судит себя как растратчика сил и глупого мота. Зато — как он радуется всему верному и подлинному, и сам не понимает, как это он мог жить доселе чем-нибудь иным. Он слышит, как в глубине его души все упущенное стонет и молит о восстановлении; и сам начинает мечтать о том, чтобы прошлая жизнь считалась прожитою «начерно» и чтобы была дана ему возможность прожить новую жизнь уже «набело». Мгновенно родятся планы новой, чудной жизни, и тут же беззвучно произносятся клятвы верности ей, а к Богу восходят молитвы о даровании новых сроков и новых возможностей...

А когда опасность смерти проносится и вновь наступает тишина и спокойствие, тогда человек видит, что вся его жизнь была как бы разобрана и провеяна, и делает

один из значительнейших выводов в своей жизни: *не все, чем мы живем, стоит того, чтобы мы отдавали ему свою жизнь.* Только те жизненные содержания и акты полноценны, которые не боятся смерти и ее приближения, которые могут оправдаться и утвердиться перед ее лицом. Все, что стоит нашего выбора и предпочтения, нашей любви и служения даже и в предсмертный час, — все прекрасно и достойно. За что можно и должно отдать жизнь, то и надо любить, тому и надо служить. Жизнь стоит только тем, за что стоит бороться на смерть и умереть; все остальное малоценно или ничтожно. Все, что не стоит смерти, не стоит и жизни. Ибо смерть есть пробный камень, великое мерило и страшный судия.

Вот как я созерцаю смерть, мой дорогой друг. Смерть не только благостна, она не только выручает нас из земной юдоли и снимает с нас непомерность мирового бремени. Она не только дарует нам жизненную форму и требует от нас художественного завершения. Она есть еще некая таинственная, от Бога нам данная «мера всех вещей» или всех человеческих дел. Она нужна нам не только как узорешительница или как великая дверь для последнего ухода; она нужна нам прежде всего в *самой жизни и для самой жизни.* Ее облачная тень дается нам не для того, чтобы лишить нас света и радости или чтобы погасить в нашей душе охоту жить и вкус к жизни. Напротив, смерть *воспитывает* в нас этот *вкус к жизни,* сосредоточивая и облагораживая его; она учит нас не терять времени, хотеть лучшего, выбирать изо всего одно прекрасное, жить Божественным на земле, пока еще длится наша недолгая жизнь. Тень смерти учит нас жить светом. Дыхание смерти как бы шепчет нам: «опомнитесь, одумайтесь и живите в смертности бессмертным». Ее приближение делает наши слабые близорукие глаза — зрячими и дальнозоркими. А ее окончательный приход освобождает нас от бремени естества и от *телесной* индивидуации. Позволительно ли нам проклинать ее за все это и считать ее началом зла и мрака.

Я понимаю, что ее окончательность и непоправимость, ее таинственность и загадочность — могут внушать людям трепет. Но ведь поток жизни, в котором мы все время пребываем, — несет нам ежеминутно ту же непопра-

вимость, ту же таинственность и непостигаемую сложность. Ведь каждый миг нашего земного пути невозвратим и, отгорая, уносится в какую-то пропасть; и эта бездна прошлого и надвигающаяся на нас бездна будущего не менее страшны, чем миг предстоящей нам смерти. *Жизнь не менее таинственна, чем смерть;* только мы закрываем себе глаза на это и привыкаем не видеть. А смерть, если ее верно увидеть и понять, есть не что иное, как особый и *величественный акт личной жизни.* И тому, кто ее верно увидит и постигнет, она откроется как новый друг, бережный, верный и мудрый.

25
О БЕССМЕРТИИ
(письмо второе)

Но ты хотел еще знать, мой друг, признаю ли я бессмертие личной души; и я хотел бы ответить тебе и на этот вопрос, со всею прямотою и откровенностью, но помимо всякой богословской учености.

Скажу тебе по совести, что самая мысль об окончательном, бесследном исчезновении моей духовной личности, кажется мне бессмысленной, слепорожденной и мертвой. Эту «возможность» я переживаю как нелепую и отпетую невозможность, которую даже обсуждать не стоит, ну, приблизительно так, как если бы кто-нибудь начал рассуждать о темном свете, о бессильной силе или о небытии бытия. Есть люди, склонные к пустому, конструктивному мышлению: они не хотят исходить от реальностей, их прельщает стройность и последовательность мысли, беспочвенность им не страшна, а в истину они не верят. Им-то и надо предоставить оперировать такими понятиями, как «смертность живого духа». Но присущее мне чувство реальности уклоняется от этого. Каждый человек и в особенности каждый ученый исследователь должен обладать неким верным чутьем, опытным в созерцании глазом, интуитивным ощущением предмета и его объективной природы, чтобы не поддаваться таким соблазнам и не тратить время на обсуждение пустых и отвлеченных возможностей, чтобы не гоняться за такими логически-

ми призраками и не впадать в «последовательную», но мертвую схоластику. *Нереальные возможности суть невозможности,* праздные фикции. А тот, кто хочет говорить *о реальных возможностях,* тот обязан находить соответствующие реальности и держаться за них.

Вот почему я хотел бы установить, что о смерти нашей духовной личности может говорить только тот, кто или совсем лишен *духовного опыта* или не желает пребывать в нем и опираться на него. Возможно, что при этом он исходит всецело из *чувственного опыта естествознания,* рассудочно переработанного и духовно не осмысленного, принимаемого им за единственно допустимый и верный опыт. Но возможно, что он исходит при этом и из буквенного понимания какой-нибудь философской или религиозной книги, в которой об этом «ничего не сказано» или же сказано как раз обратное. Но во всех этих случаях люди идут мимо настоящего первоисточника, мимо подлинного духовного опыта и настоящих духовных реальностей и судят о том, что от них скрыто.

Этот опытный источник, эту подлинную реальность каждый из нас должен пережить лично и самостоятельно, он должен носить их в самом себе для того, чтобы судить *о них — из них.* Если он лишен этого опыта, если он ему совершенно недоступен, то вряд ли окажется возможным дать ему сколько-нибудь наглядное представление о духе и его жизни, а «доказательство» станет уже совсем невозможным. Но если у него есть хотя слабое ощущение духа, как бы «горчичное зерно» этого опыта, или тлеющая искра, скрытая под пеплом повседневной жизни и способная дать пламя, то ему наверное можно будет показать все существенное и добиться взаимного понимания.

При всем этом я имею в виду *живой опыт нашего* не материального, не телесного и притом именно *духовного бытия.*

Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти. Страшно нам представить себе, что наше телесное естество распадется и предастся тлению. Страшно нам, что угаснет наше земное сознание и самосознание, прилепленное к нашему телу, связанное с ним, им ограниченное и в то же время обогащенное. Прекратится все мое «здешнее». Расстроится все мое земное душевно-телесное уст-

ройство. Что останется тогда от меня? Да и останется ли что-нибудь? Что сделается со мной? Куда я денусь? Что это за бесследное, таинственное исчезновение в вечном молчании? Вопрос встает за вопросом и остается без ответа. Тьма. Бездна. Конец. Больше никогда.

Есть, однако, ключ к этой томительной загадке, есть некий подступ к этой пугающей тайне. А именно: никто не может дать мне ответ на этот вопрос, только *я сам,* только *я один* могу сделать это и притом через мой *собственный, внутренний опыт.* В этом опыте я должен пережить и увидеть *мое собственное духовное естество* и добыть себе *очевидность моего духовного бессмертия.* Пока я этого не совершу, всякий чужой ответ, как бы умно и изящно он ни был оформлен, будет мне не ясен, не убедителен, не окончателен; — уже в силу одного того, что земной язык не имеет для этих обстояний верных слов и отчетливых представлений, а сверхземному языку я еще должен самостоятельно научиться, т. е. приобрести его, или (еще точнее) *творчески создать* его в себе, чтобы понимать его и владеть им. Если я, например, не разумею по-китайски, то сколько бы живые свидетели ни рассказывали мне на китайском языке о китайских событиях, я останусь в недоумении, ничего не узнаю и ничего не пойму. Чтобы *узреть сверхземное,* надо реализовать и оформить в себе сверхземной способ жизни, из которого потом и возникнет *сверхземной язык...* И все это — в пределах земной жизни.

Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти, потому что мы не умеем отрываться от земного, чувственно-телесного способа быть и мыслить, и, не умея, цепляемся за наше тело, как за спасение. Мы принимаем его за наше «главное», за наше настоящее существо, а оно есть только Бого-данная «дверь», вводящая нас во внешний, материальный мир со всей его бременящей грузностью и легчайшей красотою. И когда мы видим, что эта «дверь» отказывается служить нам и рассыпается в прах, когда мы думаем о том, что наше тело станет «безгласною, бездыханною» перстию, то мы в смятении готовы допустить, что это и есть наш сущий и бесследный конец...

Мы не можем и не должны презирать или тем более «отвергать» наше тело: ведь оно вводит нас в веществен-

ный мир, полный разума и красоты: оно открывает нам все чудеса Бого-созданной твари, всю значительность, и чистоту, и величие материальной природы. Тело есть необходимое и естественное орудие нашего приобщения к Божьему миру, нашего участия в нем; и, пока мы живы, оно должно оставаться в нашем свободном и здоровом распоряжении. Оно дается нам совсем не напрасно, ибо мир природы, в который оно нас вводит, есть *таинственное и прикровенное воплощение мысли Божией,* живой и художественный *символ Его мудрости,* так что и мы сами становимся участниками этого воплощения и этого символа, его живою частью, его органическим явлением. Славно и дивно, что нам был открыт этот доступ... Но еще лучше, что он открывается нам *на время* и потом будет *отнят и закрыт:* ибо нам предстоит нечто более высокое, совершенное и утонченное.

Итак, несомненно, что наше тело входит в земной состав нашей личности. Но несомненно также, что оно не входит в состав нашего духовного бытия. И в этом мы должны убедиться еще при жизни. Мы должны научиться не переоценивать нашего тела и отводить ему подобающее место и надлежащий ранг в нашем существовании.

Человек способен не только к чувственно-телесному опыту. Ему доступен еще иной, не чувственный и все же предметный опыт; и мы должны вынашивать его, очищать его и предаваться ему. Нам дана способность извлекать себя из телесных ощущений и чувственных впечатлений, уходить нашим вниманием и созерцанием внутрь, в глубину душевно-духовных объемов и освобождать существенное ядро нашей личности от гнета и наваждений материи. Предаваясь этой способности и развивая ее в себе, мы постепенно открываем свое *нетелесное бытие* и утверждаем его как *главное и существенное.* Мы приобретаем нечувственный опыт, наполненный нечувственными содержаниями и удостоверяющий нас в бытии *духовных законов и предметов.* И первое, что нам при этом открывается, это *наша собственная духовная личность.*

Мое духовное Я открывается мне тогда, когда я убеждаюсь, что я есмь *творческая энергия,* такая энергия, которая сама не материальна, но имеет призвание владеть своим телом как символом, как орудием, как одеянием. Эта

духовная энергия имеет силу не служить своему земному телу, но господствовать над ним; она имеет власть отвлекаться от него и преодолевать его; она не признает его «мерою всех вещей». Эта творческая энергия живет ради других ценностей и служит другим целям. У нее другие критерии и мерила. У нее совершенно иные *формы,* иные *законы жизни,* иные пути и состояния, чем у тел или вообще у материи: это формы — *духовной самостоятельности свободы,* это законы — *духовного достоинства и ответственности,* это пути — *духовного очищения и самосовершенствования,* это состояние *бессмертия и богосыновства.* Эта энергия, как таковая, есть изначально и существенно *искра Божия;* и человек призван к тому, чтобы принять и утвердить в себе эту Божию искру, как свою подлинную и собственную сущность; человек должен предаться этой духовной искре, потерять себя в ней и тем самым найти себя вновь. Тогда он сам станет Божией искрой и сумеет разжечь ее в целое пламя, а себя превратить в *несгорающую купину духа.*

Но в действительной жизни дело совсем не обстоит так, что человек остается двойственным и распадающимся, так что Божия искра горит в человеке сама по себе и человек живет ее силою, ее формами и содержаниями, а земное тело чадит само по себе, со всеми своими слабостями и необходимостями, во всей своей тварности и тленности. Нет, человек предназначен к *единству* и призван быть живою и творческою *целокупностью.* Мой дух, эта творческая искра Бога, призван к тому, чтобы пронизать мою душу и прожечь мое тело, превратить и тело и душу в свое орудие и в свой символ, очистить их от мертвого бремени и художественно преобразить их. Каждому из нас дается своя искра, и эта искра хочет разгореться в нас и стать огненной купиной, пламя которой должно охватить всего человека и превратить его в *Божие огнилище,* в некий *земной маяк Всевышнего.* Итак, в этом жизненном развитии искра Божия очеловечивается и индивидуализируется, а человек оправдывает свое существование и освящается в своем творчестве. Человек становится художественным созданием Божиим, личным светильником Его Света, индивидуальным иероглифом Духа Божия... И тот, кто хоть несколько касался этой тайны единения, этого *художе-*

ства Божия в человеческой душе, тот сразу поймет и примет слово преподобного Серафима Саровского, сказавшего: «Бог заботится о каждом из нас так, как если бы он был у Него единственным».

И вдруг я слышу, что эта олицетворенная искра Божия, это художественное создание Его Духа, в котором Божия благодать и личная свобода человека сочетались и объединились в творческой мистерии, — имеет погибнуть, распасться, исчезнуть в ничтожестве, пустоте и смерти... И к этой праздной выдумке слепых людей я должен отнестись серьезно и принять ее на веру? Эти духовно слепые люди свято веруют в закон сохранения *земной* материи и *физической* энергии: это для них достоверно, в этом они не сомневаются. Но именно потому, что дух не есть ни материя, ни физическая сила, он, по их мнению, или вовсе не существует, или же бесследно погибнет... Дух — эта свободнейшая и интенсивнейшая энергия, призванная к созерцанию невидимого, к восприятию сверхчувственного, к обхождению с бессмертными содержаниями, постигающая именно в этом обхождении свое собственное призвание и бессмертие... Какая жалкая попытка перенести самую бренную мысль земного мира — мысль о смерти — в сферу нетленных и непреходящих обстояний духа...

Есть великий художник, который создал внешний мир во всех его великолепных законах и строгих необходимостях и который доныне продолжает создавать мир человеческих духов, во всей его дивной свободе и бессмертности. Мы — Его искры, или Его художественные создания, или Его дети. *И именно в силу этого мы бессмертны. И наша земная смерть есть не что иное, как наше сверхземное рождение.* Правда, человеку лишь редко удается предоставить свою свободу целиком — Божьему пламени; лишь редко становится человек во всей своей свободе совершенным художественным созданием Духа. Но каждый человек имеет определенную ступень достижимого для него совершенства. Всю жизнь свою он созревает, восходя к этой ступени; всю свою жизнь он *зреет к смерти.* И земная смерть его наступает тогда, когда ему не дано подняться выше, когда ему нечего больше достигать, когда он созрел к смертному уходу.

Друг мой. Это было великим счастьем, что мне дано было узреть Божий мир, внять его голосу, воспринять его живое дыхание — хотя бы бегло, скудно и беспомощно... Я ведь всегда знал и помнил, что за этим, хотя бы кратко и поверхностно воспринятым мною великолепием, имеется еще бесконечное богатство красоты, величия и таинственной значительности, которого я не могу воспринять, которое для меня погибает. И все-таки — какое счастье, что мне довелось посетить этот Божий сад! Сколь благостно было это данное мне разрешение, как много получил мой дух от этого пребывания — от прелести этих цветов, от этих радостно-сияющих бабочек, от молчаливо молящихся гор, от благовествующих потоков, от тишины облаков, от ликования птиц, от всех земнородных существ. От моря и от звезд. От добрых и от злых людей, и в особенности от великих созерцателей, которые хвалили Творца словами и помыслами, в пении и в живописании, изображением и изучением — или же прямою молитвою. Какое незаслуженное богатство! Какая неисчерпаемая глубина! Поистине, великие и неоплатные дары...

И это тоже было великим счастьем, что я не только мог видеть этот мир, но и участвовать в его жизни своею жизнью: что я мог сам дышать, любить и страдать, совершать поступки и делать ошибки, идти по пути очищения, верить и молиться; что я имел возможность испытать на самом себе законы мирового естества и осуществлять свою духовную свободу живыми решениями и делами: — что мне было предоставлено жить и созревать к смерти...

А потом я буду отозван, так, как если бы я созрел для этого отозвания, и как если бы я оказался достоин приобщиться новому, ныне для меня невообразимому, сверхземному богатству — чтобы воспринять его неким новым, внутренним, непосредственно-интимным способом. Все, что я упустил и утратил, все, что я, как чувственно-ограниченное земное существо, не сумел воспринять и в чем я смутно чувствовал или блаженно предчувствовал невыразимое в словах дуновение моего Творца, — все это и еще иное, прекраснейшее, ожидает меня там, зовет меня туда, — все это откроется мне по-новому в неземных образах и видениях. Тогда я буду воспринимать сущее не как внешний мне предмет, но свободным и блаженным

приобщением к его сущности: это будет творческое отождествление, в котором мой дух будет богатеть, не утрачивая личную форму, но совершенствуя ее. Мне еще надо *все* увидеть и постигнуть, оставаясь самим собою, все воспринять, чего меня лишала моя земная ограниченность, пережить ликуя все чудеса Божьего богатства, которые уже открывались мне или еще не открывались мне в предчувствиях, мечтах и созерцаниях моей земной жизни.

Мне предстоит долгое и блаженное восхождение к моему Творцу, к моему Отцу, Спасителю и Утешителю, — в дивовании и в молитве, в очищении и благодарении, в возрастании и утверждении. И в этом истинный смысл моего бессмертия, ибо всякое несовершенство неугодно Богу и в творении Его неуместно...

Так я понимаю бессмертие человеческого духа.

ГЛАВА ПЯТАЯ

У ВРАТ

26
О БОЖИЕЙ ТКАНИ

Вчера зашел ко мне мой сосед — душу облегчить. Он посидел у меня с полчаса, долго раскуривал свою прокуренную трубочку и под конец рассказал о самом важном, что у него лежало на сердце.

«Мой отец, знаете, был очень добрый человек. Он давно уже скончался, но как вспомнишь его, так на душе тепло и светло сделается. Он был, понимаете, портной; хороший портной, мастер своего дела; так умел построить костюм, что просто загляденье. К нему из соседних городов франты приезжали и всегда бывали очень довольны: так — посмотришь, будто нет ничего особенного, а приглядишься — ну просто художество. И всегда обо всех людях болел. Сам шьет, что-то грустное напевает, а потом вдруг скажет: «Нехорошо вчера соседи Митревну изобидели, зря, все виноваты перед ней»; или «Петру-то Сергеевичу в праздник надеть нечего, надо бы ему справить»... И опять шьет.

Бывало разволнуется и начнет мне о «ткани» рассказывать; а он никогда не говорил «матерьял» или «сукно», а всегда «ткань». «Присмотрись, — говорит, — Николаша к людям. Ведь мы все одна ткань. Вот, гляди, каждая ниткa к другой приникла и держит ее; все сплелись друг с другом, все вместе к единству сведены. Вот выдерни из этого суконца одну нитку, и всю ткань повредишь. Если только одна ниточка не удалась, сплоховала, истончилась или порвалась, так весь кусок выходит в брак. Ни один хороший мастер этакую больную ткань не возьмет, ни один заказчик и смотреть на нее не станет. Так и гляди, выби-

рая, чтобы не промахнуться, чтобы больной ткани и в заводе у меня не было.

Вот и с людьми так же. Мир от Господа так устроен, что мы все — одна сплошная ткань. Все друг к другу приникли, все друг друга держим и друг другом держимся. Если одному плохо, то всем нехорошо, а люди этого не разумеют: глупы, близоруки. Думают — «что мне до него, когда мне самому хорошо»... А на самом-то деле не так. Если одному, которому-нибудь плохо, то он мучается и болеет; и его мука от него во все стороны распространяется. Ходит угрюмый и других угрюмит. От его беспокойства всем неуютно. От его страха у всех раздражение делается. Люди друг к другу злым местом повертываются: не доверяют, подозревают, обижают, ссорятся. И все чувствуют, что это *от него* идет и на него за это раздражаются. И он это чует, отвернется, в себя уйдет, ожесточится. Ему любовь нужна, а они к нему с раздражением. И никто не видит его муку, а видят только его угрюмость, жестокость, сварливость; и не любят его... И вот уже разрыв, порвалась ткань, врозь идет, расползается. Надо скорей чинить дыру; а никто за это не берется: «мне, — говорят, — какое дело? его беда, он и чини». А разрыв все растет, и ткань испорчена. А чинить можно только любовью: твоя беда — моя беда, моя беда — общая...»

«А еще отец так говаривал: «Ведь это и в хозяйстве так. Бедный человек не одному себе беден, а всем. Нищий человек не у себя просит, а других тревожит, о муке своей говорит, язву свою обнажает. Где беда, там *общая* беда; где голод, там всем хлеб горек. Безработный не один скитается, мы все им заболели. Все равно, как зуб заболит; заболит — и весь человек в смятении. Несостоятельный человек, неудачник или пьяница — он свою беду во все стороны излучает, всех задевает, всех бременит. И опять вся ткань испорчена; и надо как можно скорее чинить, помогать, дыру заделывать. Где *ты* не можешь, я за тебя смогу; где *оба* не сможем, *другие* вывезут».

«Сердечнейший человек, знаете, был отец. И помогал всем, везде, где только мог. «Я, — говорил, — починкою был занят», «дырку заштопал». И так, бывало, делал: собирает отрезки от всех сукон и костюмов, иной раз прямо выпросит остаточек у заказчика, и подбирает; вертит, ли-

цует, составляет, подгоняет; очень ловок... И потом шить начнет. И уж тогда веселые песни поет. Глядишь — жилет построил; или брюки. А иногда и целый костюм подберет; завернет аккуратно в платок и снесет бедняку. И тому запретит рассказывать: этого, говорит, никому не надо знать; молчи и все. И только мы в семье понимали, что происходит. А уж любили его, как редко кого. И за советом приходили, и просто поплакать.

Нет, знаете, разбогатеть он не хотел; ни к чему это, говорил. Сами прокормитесь. Ка-кое наследство... Вот, что о ткани говорил, это наследие. А как почуял смерть, позвал меня и сказал: «Ухожу, Николаша. Не грусти. Все мы нити в ткани Божией; и пока живем на земле, дано нам эту ткань беречь и крепить. Помнишь ты, был хитон у Спасителя, несшитый, цельный, весь тканый сверху до низу. Вот этот хитон нам помнить надо. Все мы — нити его и по смерти призваны врасти в него. Помни о нем. Это ткань Божия. Береги ее в земной жизни: каждую нитку крепи, от сердца ревнуй. Сердце больше всего слушай. О чем оно вздохнет, то и делай. И все будет хорошо...»

«Вот и кажется мне, знаете, что он прав был. Все мы — одна ткань. И в этом, чуется мне, мудрость жизни сокрыта...»

27

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПИСЬМО

Это было несколько лет тому назад. Все собирались праздновать Рождество Христово, готовили елку и подарки. А я был одинок в чужой стране, ни семьи, ни друга; и мне казалось, что я покинут и забыт всеми людьми. Вокруг была пустота и не было любви: далекий город, чужие люди, черствые сердца. И вот, в тоске и унынии я вспомнил о пачке старых писем, которую мне удалось сберечь через все испытания наших черных дней. Я достал ее из чемодана и нашел это письмо.

Это было письмо моей покойной матери, написанное двадцать семь лет тому назад. Какое счастье, что я вспомнил о нем! Пересказать его невозможно, его надо привести целиком.

«Дорогое дитя мое, Николенька. Ты жалуешься мне на свое одиночество и если бы ты только знал, как грустно и больно мне от твоих слов. С какой радостью я бы приехала к тебе и убедила бы тебя, что ты не одинок и не можешь быть одиноким. Но ты знаешь, я не могу покинуть папу, он очень страдает, и мой уход может понадобиться ему каждую минуту. А тебе надо готовиться к экзаменам и кончать университет. Ну, дай я хоть расскажу тебе, почему я никогда не чувствую одиночество.

Видишь ли ты, человек одинок тогда, когда он никого не любит. Потому что любовь вроде нити, привязывающей нас к любимому человеку. Так ведь мы и букет делаем. Люди — это цветы, а цветы в букете не могут быть одинокими. И если только цветок распустится как следует и начнет благоухать, садовник и возьмет его в букет.

Так и с нами, людьми. Кто любит, у того сердце цветет и благоухает; и он дарит свою любовь совсем так, как цветок свой запах. Но тогда он и не одинок, потому что сердце его у того, кого он любит: он думает о нем, заботится о нем, радуется его радостью и страдает его страданиями. У него и времени нет, чтобы почувствовать себя одиноким или размышлять о том, одинок он или нет. В любви человек забывает себя; он живет с другими, он живет в других. А это и есть счастье.

Я уж вижу твои спрашивающие голубые глаза и слышу твое тихое возражение, что ведь это только *пол-счастья,* что целое счастье не в том только, чтобы любить, но и в том, чтобы тебя любили. Но тут есть маленькая тайна, которую я тебе на ушко скажу: кто действительно любит, тот не запрашивает и не скупится. Нельзя постоянно рассчитывать и выспрашивать: а что мне принесет моя любовь? а ждет ли меня взаимность? а может быть, я люблю больше, а меня любят меньше? да и стоит ли мне отдаваться этой любви?.. Все это неверно и ненужно; все это означает, что любви еще нету (не родилась), или уже нету (умерла). Это осторожное примеривание и взвешивание прерывает живую струю любви, текущую из сердца, и задерживает ее. Человек, который меряет и вешает, не любит. Тогда вокруг него образуется пустота, не проникнутая и не согретая лучами его сердца, и другие люди тотчас же это чувствуют. Они чувствуют, что вокруг него пусто,

холодно и жестко, отвертываются от него и не ждут от него тепла. Это его еще более расхолаживает, и вот он сидит в полном одиночестве, обойденный и несчастный...

Нет, мой милый, надо, чтобы любовь свободно струилась из сердца и не надо тревожиться о взаимности. Надо будить людей своей любовью, надо любить их и этим звать их к любви. Любить — это не пол-счастья, *а целое счастье.* Только признай это, и начнутся вокруг тебя чудеса. Отдайся потоку своего сердца, отпусти свою любовь на свободу, пусть лучи ее светятся и греют во все стороны. Тогда ты скоро почувствуешь, что к тебе отовсюду текут струи ответной любви. Почему? Потому что твоя непосредственная, преднамеренная доброта, твоя непрерывная и бескорыстная любовь будет незаметно вызывать в людях доброту и любовь.

И тогда ты испытаешь этот ответный, обратный поток не как «полное счастье», которого ты требовал и добивался, а как *незаслуженное земное блаженство,* в котором твое сердце будет цвести и радоваться.

Николенька, дитя мое. Подумай об этом и вспомни мои слова, как только ты почувствуешь себя опять одиноким. Особенно тогда, когда меня не будет не земле. И будь спокоен и благонадежен: потому что Господь — наш садовник, а наши сердца — цветы в Его саду.

Мы оба нежно обнимаем тебя, папа и я.

Твоя мама».

Спасибо тебе, мама! Спасибо тебе за любовь и за утешение. Знаешь, я всегда дочитываю твое письмо со слезами на глазах. И тогда, только я дочитал его, как ударили к рождественской всенощной. О, незаслуженное земное блаженство!

28
ПОТЕРЯННЫЙ ДЕНЬ

Вчера у меня был потерянный день. Это случилось как-то само собою, но вечером я почувствовал всем своим существом, что день этот для меня погиб.

Как только я проснулся, мною овладели заботы: выдвинулись всевозможные жизненные затруднения, ослож-

нения и прямые опасности, целое змеиное гнездо. Напрасно я пытался отделаться от него презрением или юмором, напрасно корил себя за робость и пессимизм, напрасно искал спокойствия в молитве. Как будто давящий туман надвинулся на мою душу; узлы не распутывались, надежды гасли. Воображение рисовало надвигающиеся беды и унижения: когда жизнью овладевают черствые фанатики, духовные идиоты, то надо готовиться ко всему. Горечь и отвращение овладели мною. Сердце судорожно сжалось и ожесточилось. Надо было бороться. И так начался этот погибший день.

Нужно было собрать все силы и проламывать стены — одну за другою. Надо было найти спокойствие в самой тревоге, сосредоточиться, все взвесить, выработать план и с достоинством встретить опасность. Надо было перейти в наступление: идти от человека к человеку, будить друзей, уговаривать жестоковыйных, заклинать врагов. Надо было доказывать бесспорное, дробить камни, плавить железо... Есть же на свете счастливые люди, которые и не подозревают, во что превращается жизнь под управлением бессердечных доктринеров, какую ложь, какую мертвость, какое опустошение и какую грязь они несут людям и что приходится переживать из-за них...

Вечером, когда я вернулся домой и все узлы оказались каким-то чудом распутанными, — я чувствовал себя смертельно усталым. Все удалось, успех превышал всякие надежды; но день был потерян.

Он был потерян, потому что сердце мое пребывало в судорожном ожесточении; а оно ожесточилось от того, что я видел вокруг себя ожесточенный мир и не заметил, как он меня заразил и отравил. Когда сердце ожесточается, то оно уже не способно к любви: оно не поет и не светит; оскорбленное и онемевшее, оно погружается в темное молчание; в нем нет ни ласки, ни улыбки; и к молитве оно уже неспособно. Оно каменеет. А когда сердце окаменело, то человек не может быть орудием Божиим; и день оказывается погибшим.

Это был погибший день, потому что я думал только о себе и хлопотал только за себя. Надо же было спасаться как-нибудь из этого жизненного тупика... И все-таки... О, этот страх за свою шкуру, как будто она так необходима и драго-

ценна. Жизнь становится вращением вокруг себя самого, как если бы ни на земле, ни в небе не было ничего лучшего, высшего... Человек слепнет и глохнет для всего остального страдающего мира; и живая ткань Божия, ради которой только и стоит жить на земле, как бы перестает существовать для него. И день проносится в душе, мертвый и пошлый; и уходит в прошедшее, как нерасцветший цветок.

Этот день пропал для меня, потому что я боролся с людьми, я старался подчинить себе их волю, использовать их как свое орудие, и не было во мне живой любви к ним — ни к одному. Я подходил к ним осторожно и ловко, я уговаривал и доказывал, я внушал им необходимое; но сам я оставался сухим и деловитым и только пристально и зорко рассматривал их, как каменщик рассматривает свое неуклюжие кирпичи. Мало того. Они все время были противны мне, эти жестокие, самодовольные, заносчивые выскочки; и отвращение царило в моей встревоженной душе. И отвращение это надо было скрывать; и лицемерить, и лгать, ненавидя... Куда мне девать теперь это бремя? Как мне смягчить и разбудить мое сердце? Проснется ли оно опять к любви?.. Уходи же, уходи, пропащий день, чтобы можно было забыть тебя и исцелиться.

Да, день был пропащий, потому что все прекрасное и нежное на свете не существовало для меня. Птички не пели мне. Цветы не радовали мою душу и не благоухали мне. Я не видел ни одной детской улыбки. Я совсем не мечтал о красоте. Холодный ветер проносился надо мною, как над уличным фонарем. Я даже не помню, было ли вчера солнце на небе. И самое внутреннее пение мое, вечно поющее во мне о далях и глубинах, смолкло, и ручей его иссяк. Мир как нежная тайна, мир как живой гимн, мир как чудо Божие — не существовал для меня. Нет, это была не жизнь; я не жил в этот день...

Он погиб для меня, потому что я не нашел ни одной нити, ведущей к Царству Божьему, и взор мой ни разу не коснулся его дивной, сияющей ткани. В такие дни жизнь лишается смысла и святыни, как бы ни везло человеку и как бы удачны ни были его земные дела. Ибо человек строит свою жизнь не делами, а деяниями; он дышит сверхчеловеческими веяниями; он живет близкими луча-

ми, приходящими из священной дали; он живет дыханием Божиим...

Прощай же, пропащий день. Угасай в забвении. Один единственный дар останется мне от тебя: что я увидел твою пустоту и понял, что потерял тебя в жизни.

29

О ТЕРПЕНИИ

У каждого из нас бывает иногда чувство, что его силы приходят к концу, что он «больше не может»: «жизнь так тягостна, так унизительна и ужасна, что переносить ее дальше нельзя»... Но время идет: оно приносит нам новые тягости и новые опасности — и мы выносим их; мы справляемся с ними, не примиряясь, и сами не знаем потом, *как* мы могли пережить и перенести все это. Иллюзия «невозможности» рассеивается при приближении к событиям, душа черпает откуда-то новые силы, и мы живем дальше, от времени до времени снова впадая в ту же иллюзию. Это понятно: наш взор близорук, и поле нашего зрения невелико: мы сами не обозреваем тех сил, которые нам даны, и недооцениваем их. Мы не знаем, что мы гораздо сильнее, чем это нам кажется; что у нас есть дивный источник, которого мы не бережем; — дивная способность, которую мы не укрепляем; — великая сила личной и национальной жизни, без которой не возникла бы и не удержалась бы никакая культура... Я разумею — *духовное терпение.*

Что сталось бы с нами, людьми, и прежде всего и больше всего — с нами, *русскими* людьми, если бы не духовное терпение? Как справились бы мы с нашей жизнью и с нашими страданиями? Стоит только окинуть взглядом историю России за тысячу лет и сам собою встает вопрос: как мог русский народ справиться с этими несчастиями, с этими лишениями, опасностями, болезнями, с этими испытаниями, войнами и унижениями? Сколь велика была его выносливость, его упорство, его верность и преданность, — его великое искусство не падать духом, стоять до конца, строить на развалинах и возрождаться из пепла... И если мы, поздние потомки великих русских «сто-

ятелей» и «терпеливцев», утратили это искусство, то мы должны найти его вновь и восстановить его в себе, иначе ни России, ни русской культуре больше не бывать...

Все время, пока длится жизнь, она несет нам свое «да» и свое «нет» — силу и бессилие, здоровье и болезнь, успех и неуспех, радость и горе, наслаждение и отвращение. И вот мы должны как можно раньше научиться спокойно принимать «отказы» жизни, бодро смотреть в глаза надвигающемуся «нет» и приветливо встречать неприветливую «изнанку» земного бытия. Пусть приближается низина жизни, пусть грозит нежеланное, неудобное, отвратительное или страшное; мы не должны помышлять о бегстве или проклинать свою судьбу; напротив, надо думать о том, как одолеть беду и как победить врага.

Сначала это бывает и трудно, и страшно, особенно в детстве. Как тяжела ребенку первая утрата... Как томительны — первые лишения... И первая боль нам кажется «незаслуженной», и первое наказание — чрезмерно суровым... Как легко детской душе заболеть завистью, ненавистью, ожесточением или чувством собственного ничтожества... Но все эти жизненные ущербы необходимы и полезны для воспитания характера. Нам надо научиться выносить их, не сдаваясь, и привыкнуть к этому. Нам надо одолеть в себе малодушие и не предаваться растерянности. Надо воспитать в себе *жизненного стратега:* спокойно предвидеть наступление «неприятеля» и твердо встречать его с уверенностью в собственной победе, ибо победа без этой уверенности невозможна. Искусство духовной победы состоит в том, чтобы извлекать из борьбы с лишениями, опасностями и испытаниями *все новую и новую силу духа.* Испытание посылается нам именно для творческого преодоления, для очищения, для углубления, закаления и укрепления. И если счастие может избаловать и изнежить человека, так что он станет слабее самого себя, то несчастие является *школой терпения* и научает человека быть сильнее себя самого.

Итак, человеку необходима прежде всего способность переносить лишения и неприятности, идти навстречу всякой неудовлетворенности и безрадостности и мужественно встречать страдание «с поднятым забралом». Это не легко; этому надо учиться и научиться. Это удается дале-

ко не каждому и не всегда. Человеку естественно томиться в безрадостной жизни; а бывает так, что его окружает непроглядная тьма, без всякой перспективы и без малейшей искры надежды. Тогда конь нашего инстинкта может подняться на дыбы и обнаружить неукротимое упрямство. Ибо человеку свойственно искать утех и развлечений; его тянет к чувственному наслаждению, к сильным и острым ощущениям; он «сластолюбие» от природы и сам не замечает, как вожделения и страсти овладевают его душою. С этим восстанием естественного сластолюбия надо уметь справляться. Дело не в том, чтобы искоренить его в себе: утеха нужна всякой твари, человеку нельзя прожить без радости. Дело в том, чтобы утехи нашей жизни *не зависели от внешних обстоятельств;* — чтобы радость наша имела внутренние источники; — чтобы мы умели видеть свет и там, где по-видимому непроглядная тьма. Бунт чувственного естества должен быть преодолен, иначе человеку грозит разложение личности. Он может быть отчасти укрощен силою воли; отчасти утешен новыми, иными радостями; он может быть — подвергнут молитвенному заклинанию; во всяком случае — утихомирен.

Жизнь человеческая покоится вообще на управлении самим собою и на самовоспитании; искусство жить есть искусство воспитывать себя самого к Божественному. Чем страшнее, чем безрадостнее жизнь, тем важнее *находить совершенное в мире и бескорыстно наслаждаться им.* Во всякой траве есть цветы; во всяком облаке есть красота; во всяком человеке есть своя глубина; о вечной тайне молчит природа; об отрешенности и бесконечности говорит звездное небо. Отвлечение, утешение и радость ждут нас повсюду; нужно только умение воспринимать их и предаваться им. Иногда достаточно просто поднять глаза к небу или взглянуть на вдохновенно писанную икону. И нет такого безрадостного тупика в жизни, которого нельзя было бы проломить молитвою, терпением или юмором.

Иногда с человеком надо обходиться как с ребенком. Если, например, ребенку надоедает списывать с книги, то надо подарить ему новую красивую тетрадь для собирания чудесных стихотворений — и радость дела рассеет скуку упражнения. Если ребенку кажется томительным

повторять пройденное и вечно начинать сначала, то надо научить его пускать мыльные пузыри: пусть радуется на мимолетную и обреченную красоту мгновения, пусть добьется мастерства в этой невинной игре и поймет значение усилия и упражнения для творчества... Надо упражняться в терпении; надо ввести в жизнь состязание в терпеливости; надо научиться *терпеть легко.* И пусть каждый из наших детей испытывает все радости и разочарования, всю гордость и чувство власти, которые дает нам школа терпения.

И что бы ни пришлось человеку переносить — грохот машины или головную боль, голод или страх, одиночество или тоску, — он не должен пугаться спозаранку, ибо застращенная душа теряет власть над собой. Страх возникает от воображения опасности или гибели, а храбрость есть власть над своей фантазией. Не надо предвосхищать возможное зло и осуществлять его в воображении; кто это делает, тот заранее готовит в своей жизни место для него, помогает ему и обессиливает себя. Он заранее застращивает и разочаровывает свое терпение и становится его предателем.

Терпение есть свого рода *доверие к себе и к своим силам.* Оно есть *душевная неустрашимость,* спокойствие, равновесие, присутствие духа. Оно есть способность достойно и спокойно предвидеть возможное зло жизни и, не преувеличивая его, крепить свою собственную силу: «пусть наступит неизбежное, я готов считаться и бороться с ним, и выдержки у меня хватит»... Мы не должны бояться *за* свое терпение и пугать его этим; а малодушное словечко: «я не выдержу» — совсем не должно появляться в нашей душе. Терпение требует от нас доверия к себе и усиливается тогда вдвое и втрое...

А если час пришел, если испытание началось и терпение впряглось своею силою, тогда важнее всего *не сомневаться в нем и в его выдержке.* Лучше всего не думать вовсе — ни о том, что терпишь, ни о своем терпении; если же думаешь о своем терпении, то думай с полным доверием к его неисчерпаемости. Стоит сказать себе: «ах, я *так* страдаю», или: «я не могу больше» — и сейчас же наступает ухудшение. Стоит только сосредоточиться на своем страдании, и оно тотчас же начинает расти и пух-

нуть, оно превращается в целое событие и заслоняет все горизонты духа. Кто начинает внимательно рассматривать свое терпение, тот пресекает его непосредственную и незаметную работу: он наблюдает за ним, подвергает его сомнению и обессиливает его этим. А как только терпение прекращается, так уже обнаруживается нетерпеливость: нежелание нести, бороться и страдать, отказ, протест, бессилие и отчаяние. А когда душу охватывает отчаяние, тогда человек готов на все и способен на все, от мелкого, унизительного компромисса, до последней низости: дело его кончено и сам он погиб...

И что же тогда? Как быть и что делать? Тогда лучше дать отчаянию свободно излиться в слезах, рыданиях и жалобах; надо высказаться перед кем-нибудь, открыть свое сердце верному другу... Или, еще лучше: надо излить свое отчаяние, свое бессилие, а может быть, и свое унижение в словах предельной искренности перед Отцом, ведающим все сокровенное, и просить у Него силы от Его Силы и утешения от Утешителя... Тогда поток отчаяния иссякнет, душа очистится, страдание осмыслится и душа почувствует снова *благодатную готовность терпеть* до конца и до победы.

Но лучше не доводить себя до таких падений и срывов. Надо укреплять свое терпение, чтобы оно не истощалось. Для этого у человека есть два способа, два пути: *юмор* — в обращении к себе, и *молитва* — в обращении к Богу.

Юмор есть улыбка земной мудрости при виде стенающей твари. Земная мудрость меряет тварную жизнь мерою духа и видит ее ничтожество, ее претензию, ее слепоту, ее комизм. Эта улыбка должна родиться из самого страдания, она должна проснуться в тварном самосознании — и тогда она даст истинное облегчение. Тогда и само терпение улыбнется вместе с духом и с тварью — и вся душа человека объединится и укрепится для победы.

Молитва имеет способность увести человека из страдания, возвести его к Тому, Кто послал ему испытание и призвал его к терпению. Тогда терпение участвует в молитве; оно восходит к своему духовному первоисточнику и постигает свой высший смысл. Нигде нет столько благостного терпения, как у Бога, терпящего нас всех и наши

заблуждения; и нигде нет такого сострадания к нашему страданию, как там, в небесах. Мир человеческий не одинок в своем страдании, ибо Бог страдает с ним и о нем. И потому когда наше терпение заканчивает свою молитву, то оно чувствует себя, как напившийся из божественного источника. Тогда оно постигает свою истинную силу и знает, что ему предстоит победа.

Так открывается нам смысл страдания и терпения. Мы должны не только принять и вынести посланное нам страдание, но и преодолеть его, т. е. добиться того, *чтобы наш дух перестал зависеть от него;* мало того, мы должны научиться мудрости у нашего страдания — мудрости естественной и мудрости духовной, оно должно пробудить в нас новые источники жизни и любви; оно должно осветить нам по-новому смысл жизни.

Терпение совсем не есть «пассивная слабость» или «тупая покорность», как думают иные люди; напротив — оно есть *напряженная активность духа.* И чем больше оно прикрепляется к смыслу побеждаемого страдания, тем сильнее становится его творческая активность, тем вернее наступает его победа. Терпение есть не только искусство ждать и страдать; оно есть, кроме того, вера в победу и путь к победе; более того — оно есть *сама победа,* одоление слабости, лишения и страдания, победа над деятельностью, над сроками, над временем: победа человека над своею тварностью и над всякими «жизненными обстоятельствами». Терпение есть поистине «лестница совершенства»...

И кто присмотрится к человеческой истории — сколь велики были страдания людей и что из этого выходило, — тот познает и признает великую творческую силу терпения. От него зависит выносливость всякого труда и творчества; оно ведет через все пропасти искушения и страдания; оно есть *орудие и сила самого Совершенства, начавшего борьбу за свое осуществление в жизни;* и потому оно составляет живую основу всего мироздания и всяческой культуры... Отнимите у человека терпение, и все распадется в ничтожество: верность, скромность и смирение; любовь, сострадание и прощение; труд, мужество и работа исследователя...

Терпеливо делает гусеница свое дело — и превращается в бабочку с дивными крыльями. И у человека вырастут еще прекраснейшие крылья, если он будет жить и творить с истинным терпением. Ибо почерпая свою силу из *сверхчеловеческого* источника, он сумеет нести *нечеловеческие* бремена и создавать на земле великое и чудесное.

30
О СОВЕСТИ

Есть старинное предание. В некотором государстве жил-был добрый король. Однажды в студеный зимний вечер, когда мятель заносила глаза и ветер наметал сугробы, он увидел на дороге замерзающего нищего. У него сжалось сердце, и, не задумываясь, он снял свою теплую мантию и завернул в нее несчастного. «Идем, — сказал он ему, поднимая его на ноги, — в моей стране найдется и для тебя любящее сердце...»

Так проявляется совесть в человеческой душе — часто неожиданно, но захватывающе и властно. Не произносится никаких слов, никаких повелений. В сознании нет ни осуждения, ни формул. В бессловесной тишине совесть овладевает нашим сердцем и нашей волею. Ее появление можно сравнить с подземным толчком, в котором выступает всегда присутствующая, но сокровенная сила. А слова и мысли просыпаются в нас лишь позже, при попытке описать и объяснить совершившийся поступок.

В тот миг, когда совесть овладевает нашей душой, у нас нередко бывает ощущение, будто в нас что-то проснулось или восстало — какая-то особая сила, которая, по-видимому, долго дремала и вдруг очнулась и властно развернулась... Эта сила жила во мне, но я как-то не считал ее «своею» и не включал ее в «себя». Хочется сказать: «я не знаю, откуда она взялась, но *совсем чужою* или *постороннею* мне я ее не ощущаю». Она как будто скрывалась где-то во мне самом, но я никогда не думал, что она может оказаться столь сильною и проявиться так, как она проявилась. Она казалась мне простою *возможностью* и вдруг оказалась *необходимостью*. Она воспринималась как дальний зов, и вдруг обнаружилась как ветер и буря... Она

была подобна чистому водному ключу, пробивающемуся из глубины, и вдруг превратилась в разливной, все затопляющий поток... Иногда мне казалось, что это не сила, а едва жизнеспособная слабость, и вдруг пришел час ее власти. Я не раз думал, что это прекрасная, но неосуществимая «мечта» о земном совершенстве, и вдруг эта мечта стала жизнеопределяющей силой...

В душе внезапно отпали все «трезвые» соображения и «умные» расчеты; стихли все большие страсти и мелкие пристрастия; и даже опасения и страхи исчезли, словно их и не было никогда. Я совершил поступок, которого раньше никогда не совершал; да я и не считал себя способным к нему... Но этот поступок был единственно правильным и исключительно верным... Да правда ли, что я это сделал? Или, может быть, это был не я, а кто-то другой во мне? Другой — лучше меня, больше меня, справедливее и храбрее?.. Но откуда же он взялся? И куда он девался? Он, может быть, появится еще раз? Или это все-таки был я сам?..

Я знаю одно, и знаю твердо: *тогда я иначе не мог.* Было что-то высшее и сильнейшее, что *заставило* меня поступить так. На меня как будто бы что-то «нашло», «захватило» меня и понесло. А подумать о себе, о своих силах, о последствиях моего поступка, — у меня просто не было времени. И теперь, оглядываясь назад, я признаю, что я, строго говоря, — *и не должен* был, *и не смел* действовать иначе. *Я не мог тогда иначе хотеть;* а теперь скажу: мне бы и не хотелось, чтобы я тогда желал иного и действовал иначе. *Так* и надо было. Это было *лучшее,* что я мог сделать. И когда я теперь все это выговариваю, то во мне живет великая и радостная уверенность, что я просто выговариваю правду. Эта уверенность наполняет мое сердце и всего меня каким-то *тихим, спокойным блаженством.* Одного только мне бы хотелось — чтобы *он,* этот «лучший» и «больший», явился опять, опять совершил свое дело и опять подарил мне эту светлую радость...

Так совесть научает человека забывать о себе и делает его поступки самоотверженными. Скорби, заботы, опасения, все трудности личной судьбы — не связывают его больше; все это отходит, хотя бы временно, на задний план. Человек перестает быть «личным» и вдруг стано-

вится «предметным» в лучшем и священном смысле этого слова. Это *не* значит, что он утрачивает свою «личность» и делается «безличным». Нет, совесть утверждает, созидает и укрепляет духовно-личное начало в человеке. Но лично-мелкое, лично-страстное, лично-жадное, лично-порочное отодвигается в нем и уступает свое место *дыханию высшей жизни,* побуждениям и содержаниям Царства Божия, объективной реальности, — тому, что можно обозначить строгим словом «Субстанциальности» или целомудренным словом «Предметности». Человек становится как бы живым и радостным органом великого и священного Дела, т. е. Божьего Дела на земле. Кажется, будто он сбросил с себя бремя своекорыстия; или будто у него внезапно выросли крылья, поднявшие его вверх и вынесшие его из жизненного ущелья. Он совершил свой самоотверженный поступок и вернулся, может быть, в серую прозу повседневной жизни, так, как если бы крылья «отвалились» у него и как если бы он опять был обречен пробираться в жизни через переулки земной жадности... Но он уже никогда не забудет то чувство *блаженной силы и свободы,* которое ему дано было пережить. Оно посетило его как бы из потустороннего мира; но он жил им, он испытал его и всегда будет тянуться к нему.

Мы живем на земле в состоянии внутреннего раскола, от которого мы страдаем и который мы не умеем преодолеть: это расхождение между нашими *лично-эгоистическими побуждениями* и нашим *божественным призванием,* которое мы иногда переживаем как внутреннее влечение, как духовную жажду. Тогда мы оказываемся в состоянии душевной раздвоенности, потому что это тайное влечение — окончательно и всецело отдаться Божьему Делу — *всегда* живет в глубине нашего сердца. Это влечение духа требует от нас всегда одного и того же: *самого лучшего.* И если бы мы предались ему всецело и окончательно, то вся наша жизнь сложилась бы из одних дел любви, мужественной верности, радостного исполнения долга, правды и великого служения...

Но в действительности жизнь идет иначе: мы слышим этот голос и не слушаемся его; а когда изредка слушаемся, то внутренняя раздвоенность лишает нас цельности и не дает нам той великой радости, которую цельность души

несет с собою. Тогда мы испытываем наше «повиновение» совести как опасное жизненное «предприятие» или даже «приключение», как неблагоразумную мечтательную затею, или, как того требовал Иммануил Кант, как безрадостное исполнение долга и, след., как тягостное бремя жизни... Если же мы *не* повинуемся голосу совести, то одна часть нашего существа, и притом *лучшая* его часть, остается приверженной ему; но внутреннее раздвоение продолжается... Тогда из самой глубины нашего духовного чувствилища, оттуда, где совесть по-прежнему взывает, шепчет, стенает, печалится и укоряет, — поднимается недовольство, особого рода печаль и тоска, мучительное неодобрение. Иногда удается вытеснить из сознания это тягостное, но священное неодобрение: тогда человек отводит ему место в глубоком подземелии своей души и пытается запереть этот подвал и завалить самый ход к нему; но это нисколько не обеспечивает его от вероятных и даже неизбежных укоров совести, от этих мучительных *угрызений,* которые будут пожизненно грозить ему, нарушать его душевное равновесие и лишать его духовного покоя...

...А между тем истинное *ис-целение,* обещающее *цельность* души, нуждается всего-навсего в моем согласии: только оно может дать человеку внутреннее примирение, единение между инстинктом и духом, радость добровольности и предметного служения. Я исцелюсь в тот миг, когда предамся божественному зову совести. Тогда я буду делать то, что я *должен* делать, но это будет не томительная покорность и не каторга принуждения, а *светлая радость жизни.* Потому что я буду делать тогда то, что желает *моя собственная воля;* и то, чего она желает, будет *лучшим,* и притом *на самом деле* лучшим. И это лучшее станет для меня *внутренней необходимостью, единственной возможностью* и осуществленным делом. Иначе я не могу; и не могу иначе хотеть, и не хочу иначе мочь. Именно в этом — мой долг. Но я желаю осуществить его не потому, что «это мой долг», а потому, что есть «объективно лучшее», к чему зовет меня мой *дух (совесть)* и к чему прилепляется *любовью* и мой *инстинкт.* Так возникает *совестная цельность человеческой души.*

Пока я еще не знал, что такое «совесть», и не переживал *силу и счастье совестного акта,* я спрашивал в холодном сомнении: «да разве это вообще возможно? разве человеку дано выходить из своей шкуры и подавлять в себе здоровый инстинкт самосохранения?»... Но если я испытал совестный акт, хотя бы единожды, — обнаруживаются глубокие изменения. Все былые сомнения и скептические вопросы отпадают; нет больше ни отрицания, ни иронии. Я знаю, что совестный акт возможен потому, что я пережил его в действительности. Правда, я не знаю, повторится ли он, когда и при каких условиях. Но кто же может мне помешать — *воззвать к совести по собственной инициативе?* Почему я должен думать, что она не отзовется на мой зов? А когда она отзовется, я могу свободно и радостно предаться ее зову... Все это в моей власти, все это будет происходить в моем внутреннем мире... Мне нужно только знать, *как это лучше сделать,* чтобы не подменить голос совести и не впасть в иллюзию, в ошибку и самообман...

Прежде всего надо отложить всякое *теоретическое умствование,* ибо оно непременно приведет за собою форму мысли, суждения, анализа, синтеза и облечет все это в понятия и слова. Все это не нужно, ибо акт совести *не есть акт словооблеченного мышления;* он не теория, не доктрина, не «максима», не закон и не норма. Не надо ничего выдумывать; не надо размышлять и изобретать. Не надо стремиться к какому-то «всеобщему законодательству». Не надо *ничего предвосхищать.* Надо ждать некоего эмоционально-волевого подземного толчка.

Не следует также спрашивать о том, что было бы *«полезнее»* всего или *«целесообразнее»* всего; эти вопросы решаются житейским опытом, наблюдением и рассуждением. Тем более не следует задавать вопрос о «приятном», «удобном», «выгодном», «умном» и т. под.; все это не имеет никакого отношения к совестному акту. Надо искать *лучшего, нравственно-лучшего,* и притом не «лучшего по-моему», а «лучшего на самом деле». Верующий христианин спросит о «христиански-лучшем», о «совершенном перед лицом Христа Спасителя».

И еще одно: этот вопрос следует ставить не теоретически, не с тем, чтобы *узнать,* познать истину, формули-

ровать ее и доказать; это было бы философское исследование, созерцание и теоретическое рассмотрение. Вопрос должен быть поставлен *практически,* чтобы сделать, поступить, осуществить. А так как каждый практически-жизненный случай *индивидуален, единствен в своем роде,* то надо искать не *общего правила, а личного указания для личного поведения в данном конкретном жизненном случае.*

Итак, без всяких предвзятых решений, без всяких оговорок, «условий», уклонений и «резерваций», я встану, таким, каков я есмь, перед лицом совести, с тем, чтобы в данный конкретный миг моей личной жизни, «сейчас» и «здесь» — внять ее голосу, отдаться ее зову и совершить поступок из глубины моего сердца; я спрошу: как мне поступить, чтобы сейчас и здесь осуществить христиански-лучшее, совершенное перед лицом Христа Спасителя?..

Я ставлю этот вопрос — и опускаю его в отверстую глубину моего сердца. И жизнь идет дальше. Тогда желанное дается само. Заглохшее сердце пробуждается и... королевская мантия ложится на плечи нищего...

Королевская мантия?.. Да, ибо это я, с моим заглохшим сердцем и черствым нравом, я был подобен нищему, сидящему у дороги жизни и занесенному мятелью повседневных забот и расчетов. Это меня Господь нашел замерзающим и полумертвым; и склонился ко мне, облекая меня своею Ризою, как светом, как любовью, как откровением. И в акте совести человек воспринимает от Бога откровение, любовь и свет новой жизни.

31

ЧТО ЕСТЬ ОПТИМИЗМ?

Вот что необходимо современному человеку — как воздух, как вода и огонь — это здоровый, творческий оптимизм. Мы стоим на пороге новой эпохи, нам нужны новые, творческие идеи; мы должны смотреть сразу вглубь и вдаль; мы должны хотеть верного и притом желать сильною волею; и в довершение всего — мы должны верить, что грядущее обновление нам удастся. Мы должны приступить к разрешению предстоящих задач с достоинством и спокойствием, и в то же время в великой, творческой

сосредоточенности, ибо от успеха наших трудов зависит дальнейшее развитие мировой истории. Во всех областях жизни от нас потребуются огромные усилия, ибо дело идет о религиозном, культурном, социальном и политическом обновлении.

И для этого нам необходим *духовно-верный оптимизм.*

Но в жизни встречается и неверный, ложный оптимизм. Недостаточно быть «в хорошем настроении»; мало «не предвидеть ничего дурного». Легкомысленный весельчак всегда «в хорошем настроении», а близорукий и наивный не предвидит вообще ничего. Мало верить в свои собственные силы и уметь успокаивать других людей; самонадеянность может вредить творческому процессу, и оптимизм не сводится к «спокойствию» во что бы то ни стало: оптимизм не дается людям от рождения и от здоровья; он приобретается в духовном созревании. Оптимист не предвидит успех и счастье при всяких условиях: ход истории может обещать в дальнейшем не подъем, а падение, и оптимист не может закрывать себе на это глаза. И тем не менее он остается оптимистом.

Итак, есть *ложный оптимизм и духовно-верный оптимизм.*

Ложный «оптимист» хранит хорошее расположение духа потому, что он человек настроений и предается своим личным, чисто субъективным состояниям. Его «оптимизм» не имеет предметных оснований. Он живет сам по себе, вне глубоких течений истории, вне великих мировых событий. Он «оптимист» только потому, что обладает здоровым, уравновешенным организмом и не страдает от душевной дисгармонии. Его «оптимизм» касается его самого и, может быть, его личных дел. Но в плане великих свершений он видит мало, а может быть даже и ничего; а если он в самом деле что-нибудь *видит,* то он видит смутно и расценивает неверно. Перед лицом духовных проблем он поверхностен и легкомыслен; он не видит ни их глубины, ни их размаха, а потому легко принимает пустую видимость за подлинную реальность. Вот почему он не видит ни лучей, ни знамений Божиих. И потому его «оптимизм» — физиологически объясним и душевно мотивирован, *но предметно и метафизически не обоснован;* и ответственности за него он не принимает. Его «оптимизм»

есть проявление личной мечтательности или даже заносчивости; он может привести к сущим нелепостям; и его уверенные разглагольствования имеют веса не больше, чем стрекотание кузнечика...

Совсем иначе обстоит в душе *настоящего оптимиста.* Прежде всего, его оптимизм не относится к повседневному быту со всеми его сплетениями, закоулками и пыльными мелочами, со всею его жестокостью и порочностью: ежедневная жизнь может взвалить на нас еще страшные бремена, лишения и страдания, но это нисколько не влияет на его оптимизм, ибо он смотрит на эти испытания как на подготовительные ступени к избавлению. Он имеет в виду *духовную проблематику человечества,* судьбу мира, и знает, что эта судьба ведется и определяется *самим Богом* и что поэтому она развертывается, как великая и живая творческая драма. Вот истинный и глубочайший источник его оптимизма: он знает, что *мир пребывает в Руке Божией,* и старается верно постигнуть творческую деятельность этой Руки; и не только — понять ее, но добровольно поставить себя, в качестве свободного деятеля, в распоряжение этой высокой и благостной Руки («да будет воля Твоя»). Он желает «содействовать» Божьему делу и плану, он стремится служить и вести, внимать и совершать: он желает того, что соответствует воле Божией, Его замыслу, Его идее... Он видит, что в мире слагается и растет некая Божия ткань, *живая ткань Царствия Божия;* он заранее предвосхищает зрелище этой ткани и радуется при мысли, что и ему удастся войти в нее живою нитью.

Это означает, что его оптимизм относится не столько к человеческим делам, сколько к Божьему Делу. Он верит в светлое будущее, в приближающееся Царство потому, что оно не может не настать, ибо оно осуществляется Богом. А его главная задача состоит в том, чтобы *верно постигнуть отведенное ему самому место и верно исполнить предназначенное ему самому служение.*

Узнав свое место в замысле Божием и найдя свое верное служение, он стремится наилучше осуществить свое призвание — исполнить свой «оптимизм»; и если он знает, что это делает, тогда на него нисходит спокойная жизнерадостность и духовный оптимизм. Он верит в свое призвание и в свое Дело. Он расценивает себя как нить в

Божией Руке; он знает, что эта нить вплетается в Божию ткань мира, и чувствует через это свою богохранимость. С молитвою идет он навстречу неизбежным опасностям жизни и спокойно «наступает на Аспида и на Василиска», «на змия и скорпия» — и остается невредимым; и потому исповедует вместе с Сократом, что Божьему слуге не может приключиться зла...

Это означает, что настоящий оптимист никогда не переоценивает своих личных сил. Он есть не более, чем одна из земных нитей в Руке великого Творца жизни, и эта земная нить может быть в любой миг оборвана. Но пока она живет на земле, она желает крепиться и верно служить. Такого человека движет воля к верности и победе. И там, где пессимист совсем выключает волю и растеривается перед лицом событий; где ложный оптимист предается своим настроениям и не справляется с затруднениями, — там настоящий оптимист справляется со всякой задачей. Трезво и зорко следит он за событиями, не поддаваясь страху и не преувеличивая опасность; и чем вернее он видит действительность, тем лучше он понимает, какая сила воли и какая выдержка потребуются от него. Он — *волевой человек,* знающий о своей ведомости и хранимости, *преданный тому Делу,* которому он служит, и питающий струю своей жизненной воли из Божественного источника.

Воля же есть замечательная и таинственная сила, которая всегда может стать еще более мощной и упорной, чем это кажется с виду. Воля настоящего оптимиста есть *дар силы* или *искусство самоусиления,* живая бесконечность усилий, — столь давно и безнадежно искомое «духовное perpetuum mobile»...

Настоящий оптимист видит современный ему ход истории, созерцает его сущность и смысл в плане Божием и черпает свою силу из бесконечного источника воли, преданной Богу и Богом ведомой. Он непоколебимо верит в победу, в победу своего Дела, хотя бы эта победа казалась временами «его личным поражением», ибо его победа есть победа того Божьего дела, которому он служит на земле. А когда его настигнет утомление или неуверенность, тогда он молитвенно взывает к последнему источнику своей воли и своей жизни — к Богу.

И тогда все необходимое посылается ему, и он продолжает свое служение.

32
ОБ ИСКРЕННОСТИ

Пока человек живет на земле, он остается одиноким; и ему не предоставлена свобода вырваться из этого одиночества или устранить его совсем. Основной *способ* бытия, присущий человеку, остается вечно тем же и не меняется на протяжении тысячелетий; и если бы он по существу своему изменился, то человек перестал бы быть собою, а стал бы каким-то «сверх-человеком» или «не-дочеловеком», о котором мы ныне не имеем ни малейшего представления.

Каждый из нас есть единичная, замкнутая в себе душа, скрытая за единичным и единственным в своем роде индивидуальным телом, с которым она таинственным образом связана, которое ее обслуживает и выражает ее состояния. Именно этот способ бытия обеспечивает каждому из нас все *бремя* и все *благодатные преимущества* одинокой жизни.

Одинокость[1] есть *бремя* потому, что было бы гораздо легче затеряться в слитном и несамостоятельном бытии людей, утонуть во всесмешении, нежели утверждать свою *самобытность и самостоятельность,* и притом — на надлежащей высоте, т. е. самому идти через жизнь, проходя

[1] Надо различать — *«одиночество»* и *«одинокость». Одиночество* человека состоит в том, что у него мало связей с другими людьми, мало общения, мало взаимного понимания, симпатии, дружбы, любви. Этому противостоит — *не-одиночество,* т. е. богатое и разнообразное общение и обилие творческих связей с другими. Все это осуществляется в пределах общей всем людям *одинокости,* потому что и скудость связей и обилие общения устанавливается и протекает в пределах неизбежной для человека основной для его жизни *одинокости. Одинокость* есть способ бытия, присущий и уединенно живущему, непонятому человеку, и успешно общающемуся, многообразно связанному индивидууму. *Все люди* одиноки — одинокостью. Но одни заполняют свою *одинокость* щедрым и цветущим общением и потому менее замечают ее и менее страдают от нее. А другие предаются *одиночеству* в пределах своей *одинокости,* и именно таким людям дано изведать до дна ее естество, ее духовное значение и ее законы.

ответственный, сердечно-искренний и творческий путь. Но одинокость имеет также свои великие и благодатные *преимущества,* потому что она есть живая основа и необходимая предпосылка *свободы духовности, личного очищения и просветления.*

Как ужасна была бы жизнь, если бы у человека не было внутренней отрешенности, если бы у него не было возможности уйти в свое огражденное и целомудренное одиночество, чтобы сосредоточиваться в себе, находить себя, работать над своим очищением и самосовершенствованием... Тогда человек был бы подобен дому с прозрачными стенами, в котором снаружи все всегда всем видно; — или проходному жилищу, доступ в которое всегда и отовсюду открыт всякому гаду, зверю и злодею: в жизни его не было бы ничего прикровенного, огражденного, неприкосновенного и священного... Вечный сквозняк. Вечный проход и пролом. Уличный тротуар, открытый для всяческого злоупотребления. Безличное и бесформенное смешение. Вечно попранная святыня...

Как это чудесно, как это премудро устроено, что мы, благодаря нашему человечески-земному способу бытия, защищены от взаимного вторжения, опошления и надругательства. Какое благотворное, прямо благодатное значение имеет в этом наша земная «оболочка», наше тело: оно ограждает непроницаемость нашей души, оно обороняет самоопределение нашего духа, оно блюдет тайну личного обращения к Богу и приближения к Нему. Человек устроен «от природы» так, что он может оставаться *с Богом наедине;* и он был создан таким именно для того, чтобы Господь мог быть *наедине с ним.* Человек есть *личный творческий центр:* в нем самом заложена та прочная граница, тот предел, о который сокрушится всякая произвольная коллективизация, противоестественная и противорелигиозная...

Но человеку даны одинокость и самостоятельность совсем не для того, чтобы изолировать его от его ближних или чтобы сделать из него хитроумного интригана, всесветного обманщика... Самостояние и самобытность человека — его, скажем, «само-основность» — совсем не означают отказ от общения, от совместности и любви. Духовная «аута́ркия» (самосильность) совсем не должна

вести к заносчивости или гордыне. Отрешенность дана человеку для того, чтобы он мог свободно обратиться к Богу, очиститься и укрепиться в Его Духе и вступить в общение с людьми *в качестве свободного, но уже укорененного в Боге сына Любви.* Ин-дивидуальность дается человеку как способность свободного Богосозерцания, как возможность стать духом, вести духовную жизнь и творить духовную культуру. В этом *цель* его жизни; это есть то, что он призван создать и развить в себе.

Человек есть мир в малом масштабе («микрокосм»), который должен осуществить в себе и про себя одухотворение, очищение и устроение (т. е. воспитать в себе духовный характер), с тем чтобы вслед за тем включиться и творчески вложиться в мир великого масштаба (в «макрокосм»). Самостоятельность человека не есть право на произвол и на безобразие. Свободу нельзя понимать как свободу *от* духа, *от* совести и *от* всякой веры. Напротив: великая симфония мира требует от каждого из нас, чтобы он укрепил и развил в себе свой самостоятельный голос и присоединил его свободное, личное пение, в верной гармонии, к общему хоровому пению, осуществляя предустановленный Богом мировой ритм.

И вот *одиночество* человека есть высокое и нелегкое искусство, а *искренность* — есть его лучшее проявление.

Чтобы быть искренним, человек должен внутренне найти себя и иметь достаточно мужества оставаться самим собою. Найти себя — значит увидеть сердцем свою святыню, прилепиться к ней и подчинить ей свою жизнь. Пока человек не совершил этого, он колеблется между различными возможностями, зовущими его, претендующими на него или соблазняющими его; ни одна из них не имеет безусловного преимущества перед другими, ни одна из них не окончательна, и он может предаваться им и разыгрывать их по очереди. Его сердце не принадлежит «ничему»; поэтому оно может в любую минуту измениться и изменить, начать «чувствовать» по-иному и предать всякое дело. Его дух есть как бы «ничья вещь» («res nullius»), и потому он будет принадлежать «первому захватчику» («primo occupanti»), как говорят римские юристы. Такой человек ни к чему не относится серьезно и благоговейно. Ни одна жизненная возможность не есть для него «единственная»,

т. е. главная и необходимая. Он даже не может понять, что в жизни бывает *необходимо* — быть «таким» и *только* «таким», и действовать «так» и *только* «так»...

Человек становится *искренним* тогда, когда он имеет в своей душе некое *священное средоточие,* к которому он относится с серьезным и целостным благоговением; — когда он в своем жизненном выборе и делании «иначе» *не может и не хочет.* Тогда он стоит твердо. Тогда он имеет как бы крепкий якорь, или живой и могучий корень. Тогда он и *не может* иначе *хотеть* и не хотел бы мочь иначе. И тогда ему нужно еще только *мужество,* чтобы блюсти верность своей святыне и делать из этого все жизненные выводы.

Чтобы быть искренним, человек должен стать *внутренно единым.* Пока его дух живет в разделении или разорванности, он не искренно любит, думает, говорит и поступает. Ибо в нем идет «гражданская война» с самим собою; он преследует одновременно различные цели и служит одновременно различным ценностям («богам»); в нем имеется несколько соперничающих между собою жизненных «центров» — и он предает их один за другим. Все в нем двусмысленно и неверно; его любовь не сильна и стоит малого; его мышление условно и относительно, он блуждает, сомневается и ничего не создает; его слова лукавы; в решениях он остается всегда «себе на уме»; в делах он ненадежен и верности он не знает. Поэтому он обладает слабым характером и полагаться на него нельзя. Первый и основной закон «ин-дивидуальности» есть закон *внутренней неделимости;* этого закона он не соблюдает; им он не живет. Поэтому он *всегда неискренен,* даже наедине с самим собою, когда он про себя размышляет и принимает «одинокие» решения. Ибо у него нет внутреннего единства; а без него не бывает и искренности.

Человек *искренен* тогда, когда он носит в себе *центральный огонь,* от которого разливается *свет* и из которого летят во все стороны *искры.*

У древних греков и римлян был в каждом доме священный алтарь, на котором всегда лежали наготове тлеющие угли. Этот алтарь назывался по-гречески «Εστια» (Гестия), а по-латыни «Vesta» (Веста) и почитался священным центром жилища...

Древние пифагорийцы утверждали, что в мире есть великий огненный центр («Κέντρον», «Μέσον»), первозданное священное огнилище, которое является творческим источником света, тепла и порядка. Филолай обозначал этот центр словом «Ἑστια»: это было сразу — «Дом Божий», и в то же время «связующая сила вещей» и творческий источник природного порядка. Из этого источника проистекал жизненный ритм мира...

И вот каждый из нас призван — утвердить в себе такую светящую и правящую *огненную Купину* и жить в ее свете и законе. Тот, кто живет из нее, становится искренним. Его Гестия светит ему во всех делах, а он сам излучает в жизнь *ее* лучи. Она дарит ему тепло и энергию; и его сердце становится Купиною и светит другим людям. Вся его жизнь получает направление и управление из этой Купины; от этого ритм жизни становится единым и центральным, а его собственная воля — становится верной и сильной. Тогда все искры его любви, его мысли, его поступков вылетают из этого огнилища; купина его сердца посылает ему *свои* слова, и они становятся *его* словами; искренними становятся его решения, его воззрения, его письма и написанные им книги; и самая душа его оказывается ясною, светлою, определенною и искреннею.

Искренность есть *мужество;* и человек становится мужественным. Искренность есть *верноподданность;* и человек становится верным поборником Божьего дела. Искренность есть *прозрачность* горящей души; и человек становится огненным и прозрачным. А это значит, что он счастливо разрешил *задачу отрешенности* и преуспел в *искусстве одиночества*...

Такие люди призваны совершать важнейшее в жизни, в культуре и в истории: их дело — молитва и освящение, созерцание и познание, воспитание и духовное окормление, академия и художество, правление и суд. Им дается в жизни истинная дружба, которая возникает из творческого обмена искрами. Такие люди суть столпы церкви, семьи и государства: ибо все человеческие союзы вырождаются при отсутствии духовной искренности, — от лжи и обмана, от лукавства и предательства, и только искренность делает их жизнеспособными и сильными.

Церковь, построенная на неискренности и неискренно ведомая — искажает и извращает дело религии; она потеряла дверь в Царство Божие, она водворила фальшь на святом месте, она есть *мнимая* церковь. *Семья,* построенная на притворстве и обмане, есть пустая иллюзия: она создает пролганное общение и мнимое единение; у нее нет духовной державы, и она обречена на распадение. Пролганное *государство,* построенное на насилии, страхе и притворстве — есть организованная порочность: оно подрывает и угашает всякое взаимное доверие; оно извращает и обессиливает личную совесть и честь; оно лишает человеческую жизнь ее божественного смысла и ее творческой свободы.

Но в человеческой жизни есть благостная и благодатная сила, которая невозможна вне искренности и всегда ее добивается. Это есть сила *живого сердца.* Сердце может любить только искренно; неискренняя любовь совсем не любовь. Сердце может петь только искренно; фальшивое пение фальшивого сердца не звучит перед Богом. Сердце может *молиться* только искренно; молитва, не восходящая из сердечной купины, есть предчувствие несостоявшейся молитвы или же простое притворство. Неискренняя *вера* есть самообман и симуляция. Неискреннее *искусство* — фальшиво и нехудожественно. Неискренняя *доброта* есть противное лицемерие.

Великая беда современного человека состоит в том, что он *утратил искренность сердца.* Спасение его в том, чтобы восстановить ее и из нее начать новую культуру. Все, что задерживает этот процесс исцеления и возрождения — вредоносно. И вреднее всего, пагубнее всего то, что подавляет и ослабляет, расшатывает и подрывает искренность человеческого сердца.

Что может начать и создать человек с заглохшим сердцем, если все великое и глубокое, все Божественное в жизни — требует искренности и любви?.. Из лицемерия и лжи никогда еще не возникало ничего великого и прочного. Вот почему искренность есть дар Бога и сокровище человека. И если современное человечество хочет выздороветь и возродиться, то оно должно вернуть себе силу и радость искреннего сердца.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ

Есть только одно истинное «счастье» на земле — *пение человеческого сердца.* Если оно поет, то у человека есть почти все; *почти,* потому что ему остается еще позаботиться о том, чтобы сердце его не разочаровалось в любимом предмете и не замолкло.

Сердце поет, когда оно любит; оно поет от любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не иссякает; не иссякает и тогда, когда приходят страдания и муки, когда человек постигает несчастье, или когда близится смерть, или когда злое начало в мире празднует победу за победой, и кажется, что сила добра иссякла и что добру суждена гибель. И если сердце все-таки поет, тогда человек владеет истинным «счастьем», которое, строго говоря, заслуживает иного, лучшего наименования. Тогда все остальное в жизни является не столь существенным: тогда солнце не заходит, тогда Божий луч не покидает душу, тогда Царство Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается освященною и преображенною. А это означает, что началась *новая жизнь* и что человек приобщился *новому бытию.*

Мы все испытали слабый отблеск этого счастья, когда были цельно и нежно влюблены. Но то был в самом деле не более как отсвет его, или слабое предчувствие; а у многих и того менее: лишь отдаленный намек на предчувствие великой возможности... Конечно, цельно и нежно влюбленное сердце, как это было у Данте, у Петрарки или у Пушкина, — чувствует себя захваченным, преисполненным и как бы текущим через край; оно начинает

петь, и когда ему это удается, то песнь его несет людям свет и счастье. Но это удается только одаренному меньшинству, способному искренно петь из чистого сердца. Обычная земная влюбленность делает сердце страдающим и даже больным, тяжелым и мутным, часто лишает его чистоты, легкости и вдохновения. Душа, страстно взволнованная и опьяненная, не поет, а беспомощно вздыхает или стонет; она становится алчною и исключительною, требовательною и слепою, завистливою и ревнивою. А поющее сердце, напротив, бывает — благостно и щедро, радостно и прощающе, легко, прозрачно и вдохновенно. Земная влюбленность связывает и прикрепляет, она загоняет сердце в ущелье личных переживаний и настраивает его эгоистически; а настоящая любовь, напротив, освобождает сердце и уводит его в великие объемы Божьего мира. Земная влюбленность угасает и прекращается в чувственном удовлетворении, здесь она разряжается и разочаровывается, опьяненность проходит, душа отрезвляется, иллюзии рассеиваются, и сердце смолкает, не пропев ни единого гимна. Часто, слишком часто, влюбленное сердце вздыхает бесплодно, вздыхает и бьется, жаждет и стонет, льет слезы и издает вопли — и не разумеет своей судьбы, не понимает, что его счастье обманно, проходяще и скудно, что оно не более чем отблеск настоящего блаженства. И сердце теряет и этот отблеск, не научившись ни пению, ни созерцанию, не испытав ни радости, ни любви, не начав своего просветления и не благословив Божьего мира.

* * *

Сердце поет не от влюбленности, а от любви; и пение его льется подобно бесконечной мелодии, с вечно живым ритмом, в вечно новых гармониях и модуляциях. Сердце приобретает эту способность только тогда, когда оно открывает себе доступ к *божественным содержаниям* жизни и приводит свою глубину в живую связь с этими не разочаровывающими драгоценностями неба и земли.

Тогда начинается настоящее пение; оно не исчерпывается и не иссякает, потому что течет из вечно обновляющейся радости. Сердце зрит во всем Божественное, радуется и поет; и светит из той глубины, где человечески-личное

срастается со сверхчеловечески-божественным до неразличимости: ибо Божии лучи пронизывают человека, а человек становится Божиим светильником. Тогда сердце вдыхает любовь из Божиих пространств и само дарит любовь каждому существу, каждой пылинке бытия и даже злому человеку. Тогда в нем струится и пульсирует священная кровь Бытия. Тогда в нем дышит дуновение Божиих уст...

Где-то там, в самой интимной глубине человеческого сердца, дремлет некое духовное око, призванное к созерцанию божественных содержаний земли и неба. Это таинственное око со всей его восприимчивостью и зрячею силою надо будить в человеке в самом раннем, нежном детстве, чтобы оно проснулось от своего первоначального сна, чтобы оно открылось и воззрилось в богозданные пространства бытия со священною и ненасытною жаждою созерцания. Это око, раз пробудившееся и раскрывшееся, подобно обнаженному чувствилищу, которое останется всю жизнь доступным для всего, что таит в себе Божий огонь; оно воспринимает каждую искру живого совершенства, радуется ей, любит ее, вступает с ней в живую связь и зовет человека отдать его личные силы на служение Божьему делу.

Древние греки верили, что у богов есть некий священный напиток, «нектар», и некое божественное кушанье, «амброзия». И вот, в мире есть действительно такое духовное питание, но предназначено оно не для олимпийских богов, а для самих людей... И кто из людей питается им, у того сердце начинает петь.

Тогда сердце поет при созерцании природы, ибо в ней все светится и сверкает от этих «искр живого совершенства», как небо в августовскую ночь. Тогда сердце поет и от соприкосновения с людьми, ибо в каждом из них живет Божья искра, разгораясь и поборая, призывая, светя, духовно оформляя душу и перекликаясь с другими искрами. Сердце поет, воспринимая зрелые создания и героические деяния человеческого духа — в искусстве, в познании, в добродетели, в политике, в праве, в труде и в молитве, — ибо каждое такое создание и каждое деяние есть живое осуществление человеком Божией воли и Божьего закона. Но прекраснее всего то пение, которое льется

из человеческого сердца навстречу Господу, Его благости, Его мудрости и Его великолепию. И это пение, полное предчувствия, блаженного созерцания и безмолвного, благодатного трепета, есть начало нового бытия и проявления новой жизни...

* * *

Однажды в детстве я увидел, как в солнечном луче играли и блаженствовали земные пылинки — порхали и кружились, исчезали и вновь выплывали, темнели в тени и вновь загорались на солнце; — и я понял, что солнце умеет беречь, украшать и радовать каждую пылинку, и мое сердце запело от радости...

В теплый летний день я лег однажды в траву и увидел скрытый от обычного глаза мир прекрасных индивидуальностей, чудесный мир света и тени, живого общения и радостного роста; и мое сердце запело, дивуясь и восторгаясь...

Часами я мог сидеть в Крыму у берега таинственного, грозного и прекрасного Черного Моря и внимать лепету его волн, шороху его камушков, зову его чаек и внезапно водворяющейся тишине... И трепетно благодарил я Бога поющим сердцем...

Однажды мне довелось созерцать любовный танец белого павлина; я стоял и дивился на его тончайший кружевной веер, грациозно раскинутый и напряженно трепещущий, на это сочетание горделивого изящества и любовного преклонения, на играющую серьезность его легких и энергичных движений; — я увидел чистоту, красоту и безгрешность природной любви — и сердце мое раскрылось в радости и благодарности...

На восходе солнца, в нежном сиянии и глубокой полусонной тишине вошел наш корабль в Коринфский канал. В розовом свете спали далекие цепи гор; крутые берега канала высились, как суровая стража; благоговейно молчали и люди и птицы, ожидая и надеясь... И вдруг берега впереди расступились, и зелено-млечные адриатические воды, несшие нас, хлынули в темно-синие недра Эгейского моря — и солнце и вода встретили нас ликованием света. Могу ли я забыть это счастье, когда сердце мое всегда отвечает на него ликующим пением?..

У каждого из нас сердце раскрывается и поет при виде доверчивой, ласковой и беспомощной улыбки ребенка. И может ли быть иначе?

Каждый из нас чувствует навертывающуюся слезу в оке своего сердца, когда видит настоящую человеческую доброту или слышит робкое и нежное пение чужой любви.

Каждый из нас приобщается высшему, сверхземному счастью, когда повинуется голосу своей совести и предается ее потоку, ибо этот поток уже поет ликующую мелодию состоявшегося преодоления и потустороннего мира.

Сердце наше поет, когда мы предаем погребению героя, служившего на земле Божьему делу.

Сердце наше поет, когда мы созерцаем в живописи подлинную святыню, когда мы сквозь мелодию земной музыки воспринимаем духовный свет и слышим голоса поющих и пророчествующих ангелов.

Сердце наше поет при виде тайн, чудес и красот Божьего мира, когда мы созерцаем звездное небо и воспринимаем вселенную как гармоническую целокупность, когда человеческая история являет нам сокровенную тайну Провидения и мы зрим шествие Господа через века испытаний, труда, страданий и вдохновения, когда мы присутствуем при победе великого и правого дела...

Сердце наше всегда поет во время цельной и вдохновенной молитвы...

* * *

А если нам сверх дается возможность в меру любви участвовать в событиях мира и воздействовать на них, то счастье нашей жизни может стать полным. Ибо поистине, мы можем быть уверены, что в развитии этого мира ничто не проходит бесследно, ничто не теряется и не исчезает: ни одно слово, ни одна улыбка, ни один вздох... Кто хоть раз доставил другому радость сердца, тот улучшил тем самым весь мир; а кто умеет любить и радовать людей, тот становится художником жизни. Каждый божественный миг жизни, каждый звук поющего сердца влияет на мировую историю больше, чем те «великие» события хозяйства и политики, которые совершаются в плоском и жестоком плане земного существования и на-

значение которых нередко состоит в том, чтобы люди поняли их пошлость и обреченность...

Нам надо увидеть, и признать, и убедиться в том, что *именно божественные мгновения жизни составляют истинную субстанцию мира;* и что человек с поющим сердцем есть остров Божий — Его маяк, Его посредник.

Итак, на земле есть только одно истинное счастье, и это счастье есть блаженство любящего и поющего сердца: ибо оно уже прижизненно врастает в духовную субстанцию мира и участвует в Царстве Божием.

ПРИМЕЧАНИЯ

РЕЛИГИОЗНЫЙ СМЫСЛ ФИЛОСОФИИ

Три речи. 1914—1923

Впервые опубликовано в Париже в 1925 г.

С. 41. * *Nihil est in intellectu, quod non fuerit ante in sensu* — Ничего нет в интеллекте, чего не было прежде в ощущении *(лат.)*.

** *Nisi intellectus ipse* — кроме самого интеллекта *(лат.)*.

С. 43. * *Humor sui* — самоирония *(лат.)*.

С. 49. * *Volens aut nolens* — волей-неволей *(лат.)*.

С. 62. * *Modus essendi spiritualis* — способ духовного бытия *(лат.)*.

С. 71. * *Primum esse, deinde agere, postremo philosophari* — Вначале быть, потом действовать, после этого философствовать *(лат.)*.

** «По-китайски слово «Тао» означает путь, дорогу... (См.: Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. Париж, 1953. Т. 1. С. 275). «Существо Тао — «правда и неизменная сила; оно бесконечно, не исчерпаемо ничем, возвышенно, блестяще, беспредельно и вечно» (Середина и Постоянство Конфуция. Рус. пер. Конисси. (XXVI) (См.: Там же. С. 256). (См.: Ильин И. А. Философия Фихте как религия совести // Вопросы философии и психологии. 1914. № 25. Кн. 122 (II). С. 184).

*** *Natura naturans* — природа творящая *(лат.)*. У Спинозы — природа, мыслимая как живое единство, Бог.

С. 72. * μετάβασις εἰς ἄλλο γένος — переход в другой род *(греч.)*.

С. 74. * *Mutatis mutandis* — соответствующими изменениями *(лат.)*.

С. 76. * *eo ipso* — тем самым *(лат.)*.

С. 79. * ὅδος— путь, дорога *(греч.)*.

** μέθοδος — путь или способ исследования, способ изложения *(греч.)*.

ПУТЬ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ

Первая публикация работы была осуществлена в Белграде в 1935 г.

С. 150. * Epistola ad Diogn. «ὡς πεῖθων οὐ βιαζόμενος». — Послание к Диогнету: «убеждающий, а не принуждающий, ибо Богу не свойственно принуждение» *(греч.)*.

С. 178. * «Sonnenklarer Bericht oder Versuch den Leser zum Vertelen zu zwingen» — «Ясное, как солнце, изложение, или попытка принудить читателя к пониманию» *(нем.)*.

С. 221. * Alfred Norman. Bolscewistische Weltmachtpolitik. Gotthelf-Verlag. Bern. — Альфред Норман. Большевистская великодержавная политика.

С. 278. * «Summum jus summa injuria» — «Высшее право — высшая несправедливость» *(лат.)*. Цицерон. Об обязанностях, I, 10, 33.

С. 334. * *Rerum novarum* — новых дел, нового *(лат.)* Папские послания принято обозначать первыми словами их латинского текста.

ПУТЬ К ОЧЕВИДНОСТИ

Книга впервые была опубликована в Мюнхене в 1957 г.

С. 371. * *In magnis et voluisse — sat est.* — В великом только желать — уже достаточно *(лат.)*.

С. 401. * *ia moelle du lion* — львиная суть *(фр.)*.

С. 518. * *«L'homme qui rit»* — «Человек, который смеется» *(фр.)*.

ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ
Книга тихих созерцаний

Работа издана после смерти автора его женой Натальей Николаевной в Мюнхене в 1958 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЛИГИОЗНЫЙ СМЫСЛ ФИЛОСОФИИ
Три речи. 1914—1923

I. Философия как духовное делание 7
II. Философия и жизнь 27
III. О возрождении философского опыта 52

ПУТЬ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ

Предисловие 85
Глава первая. О вере 88
1. Мы все верим 88
2. Вера и жизнь 92
3. Не все заслуживает веры 99
4. Знание и вера 103
5. Источник веры 110
Глава вторая. О любви 118
1. Что есть любовь 118
2. Любовь как путь 127
3. Любовь и вера 132
Глава третья. О свободе 136
1. Внешняя свобода 136
2. Внутреннее освобождение 142
3. Политическая свобода 152
Глава четвертая. О совести 159
1. Утрата 159
2. Неверные пути 165
3. Верный путь 171
4. Совестный акт 180

Глава пятая. О семье 192
1. Значение семьи 192
2. О духовно-здоровой семье 198
3. Основные задачи воспитания 205
Глава шестая. О родине 219
1. Проблема 219
2. Обретение родины 229
3. Что есть патриотизм 239
Глава седьмая. О национализме 248
1. Идея нации 248
2. О национальном воспитании 253
3. О соблазнах 260
Глава восьмая. О правосознании 270
1. Кризис современного правосознания 270
2. О свободной лояльности 276
3. О творческом правосознании 282
Глава девятая. О государстве 288
1. Его живая основа 288
2. Его идея 293
3. О государственном правосознании 298
4. Классы и партии 304
Глава десятая. О частной собственности 310
1. Проблема 310
2. Ложный путь 313
3. Обоснование частной собственности 320
4. Социальное понимание собственности 330
Послесловие 338

ПУТЬ К ОЧЕВИДНОСТИ

Предисловие. О новом человеке 343
Часть первая 347
1. Бессердечная культура 347
2. Обреченный путь 352
3. О чувстве ответственности 359
4. О духовности инстинкта 368
5. Спасение в цельности 377
Часть вторая 386
6. Хвала труду 386
7. О творческом человеке 393
8. О силе суждения 399
9. О художественном совершенстве 411

10. Борьба за академию 425
11. О пастырском призвании 432
12. О призвании врача 437
13. О политическом успехе *(Забытые аксиомы)* 446
14. Что есть философия? 460
Часть третья 471
15. О свободе 471
16. О доброте 476
17. О смирении 482
18. Потерянная тайна 490
19. О сердечном созерцании 500
20. О благодарности 511
21. Что такое религиозность. *Из частного письма* 517
Послесловие. *О духовном излучении* 524

ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ
Книга тихих созерцаний

Предисловие. *О чтении* 529
Глава первая. Первые лучи 533
1. Без любви. *(Из письма к сыну)* 533
2. О справедливости 536
3. Его ненависть 541
4. Моя вина 546
5. О дружбе 551
Глава вторая. Школа жизни 557
6. Мыльный пузырь 557
7. Облака 560
8. О лишениях 563
9. О здоровьи 567
10. Мировая пыль 573
11. О щедрости 578
12. Ранним утром 582
13. О возрасте 586
Глава третья. Дар молитвы 592
14. О духовной слепоте 592
15. Горное озеро 598
16. Возвращение 601
17. О молитве 605
18. О мировой скорби 612
19. Горы 616

Глава четвертая. Посещение 621
20. Созерцающий поэт 621
21. Огонь 625
22. У моря 629
23. О страдании 633
24. О смерти *(письмо первое)* 643
25. О бессмертии *(письмо второе)* 648
Глава пятая. У врат 656
26. О божией ткани 656
27. Рождественское письмо 658
28. Потерянный день 660
29. О терпении 663
30. О совести 669
31. Что есть оптимизм? 674
32. Об искренности 678
Послесловие. Поющее сердце 684

Примечания 690

Научно-популярное издание

Ильин Иван Александрович

Религиозный смысл философии

Художественный редактор *О.Н. Адаскина*
Компьютерный дизайн: *Н.В. Пашкова*
Технический редактор *Е.В. Триско*
Компьютерная верстка: *В.Н. Амелин*
Корректор *О.В. Петрушова*

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Гигиеническое заключение
№ 77.99.02.953.Д.008286.12.02 от 09.12.2002 г.

ООО «Издательство АСТ»
368560, Республика Дагестан, Каякентский район,
с. Новокаякент, ул. Новая, д. 20
Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU
E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии
ФГУП «Издательство «Самарский Дом печати»
443080, г. Самара, пр. К. Маркса, 201.
Качество печати соответствует качеству предоставленных диапозитивов.